

БЕЛЛЪ

енрису

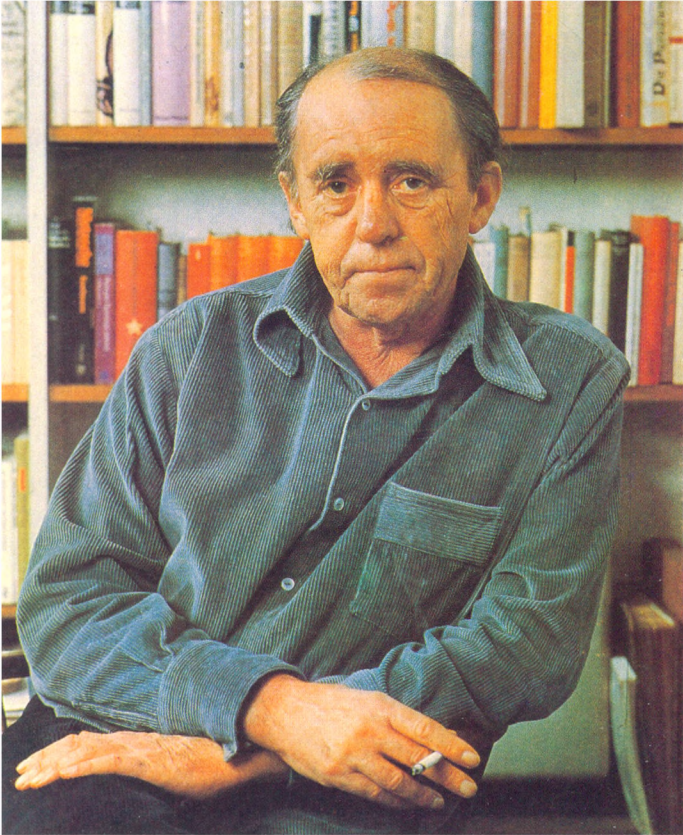
Г БѢЛЛЪ

енрису

Г

1

1



Г. БЕЛЫЙ

Г БЁЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

А. В. КАРЕЛЬСКИЙ

Н. С. ПАВЛОВА

И. М. ФРАДКИН



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1989

Г БЁЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ ПЕРВЫЙ

РОМАНЫ
ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ
ЭССЕ

1946 - 1954

Перевод с немецкого



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1989

**ББК 84.4Ф
Б43**

HEINRICH BÖLL

Составление и вступительная статья

И. М. ФРАДКИНА

Комментарии

Г. Ю. БЕРГЕЛЬСОНА

Оформление художника

Ю. Ф. КОПЫЛОВА

Б $\frac{4703010100-297}{028(01)-89}$ подписное

© Составление, вступительная статья, переводы, отмеченные в содержании *, комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

**ISBN 5-280-00824-9 (Т. I)
ISBN 5-280-00825-7**

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ — ПИСАТЕЛЬ, И, БОЛЬШЕ ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ

Наряду с многочисленными почетными званиями и титулами, присвоенными Генриху Бёллю различными институтами и организациями, он обладал еще одним — правда, не имевшим юридического статуса — званием, которым его наделило общественное мнение: званием посла. Он был послом, нередко опережавшим официальную дипломатию своей страны. «Произведения Бёлля,— как писал один из критиков,— прибыли в Москву раньше, чем Конрад Аденауэр, и обрели здесь с того времени многомиллионного и благодарного читателя»¹. Бёлль был принят и признан в ряде социалистических стран раньше, чем состоялось признание и были установлены дипломатические отношения между этими странами и ФРГ.

Переведенный на 48 языков, Бёлль достойно представлял духовную культуру своего народа во всех регионах мира, в том числе и там, где еще жила память о немецко-фашистской оккупации, где еще не затянулись раны, нанесенные нацистской агрессией. В Москве и Нью-Йорке, в Париже и Риме, в Варшаве и Тель-Авиве Бёлль воспринимался как выдающийся писатель, но и больше чем писатель: как посол, как олицетворение и совесть новой, лучшей Германии. Вершиной его интернациональной популярности и признания было избрание его в 1971 году президентом Международного ПЭН-клуба и присуждение ему в 1972 году Нобелевской премии по литературе.

А между тем Бёлль по некоторым обстоятельствам своей биографии не был тем немцем, который мог рассчитывать на заведомо добрый прием и априорное доверие со стороны иноземной демократической общественности. В годы нацистской диктатуры он не был ни узником концлагеря, ни антифашистом-эмигрантом. Он жил в Германии, не подвергаясь репрессиям, ему даже пришлось — разумеется, не по доброй воле — побывать в Польше, Франции, Советском Союзе, Румынии, Венгрии, Чехословакии в мундире солдата вермахта. И если ему удалось сравнительно легко преодолеть барьеры предубеждений и

¹ In Sachen Böll. Ansichten und Einsichten. Köln—Berlin, 1968, S. 321.

завоевать сердца зарубежных читателей, то произошло это не благодаря благоприятным анкетным данным, а в силу покоряющего гуманизма, которым были проникнуты каждая страница его художественного творчества и каждый шаг его общественной деятельности.

* * *

Генрих Бёлль (1917—1985) родился в Кёльне. Город, в котором он появился на свет и прожил почти всю жизнь, семья и окружающая среда, в которой он провел свое детство и годы юности,— все это наложило неизгладимый отпечаток на весь его духовный облик, на его политические взгляды, общественное поведение и, разумеется, на его творчество. Город, семья, социальная среда были решающими факторами формирования Бёлля-писателя и гражданина.

Однажды в беседе с писательницей Карин Штрук он заметил: «Дом моих родителей был неоднородным — богемным, мелкобуржуазным, пролетарским»¹. Формула очень емкая, за каждым из ее трех членов стояло многое.

Отец Бёлля был скульптором и столяром-краснодеревщиком: работая по дереву, соединял в себе художника и ремесленника. И если в дальнейшем Бёлль не раз признавал большое влияние, оказанное на него изобразительным и пространственным искусством и особенно экспозициями кёльнских музеев, а о романских соборах заметил, что они, «может быть, для него были важнее даже, чем Достоевский или Честертон»², то этими запавшими ему в душу еще с детства впечатлениями и знаниями он был прежде всего обязан отцу, который водил своих сыновей по городу и в музеи и привил им на всю жизнь любовь к искусству и тонкое его понимание. Мне не раз доводилось в Москве и Ленинграде сопровождать Бёлля в мастерские художников и музеи, куда его влек неослабевающий интерес к новаторским течениям нашего искусства.

В доме Виктора Бёлля, отца будущего писателя, царили простота и естественность, человеческая непринужденность взаимоотношений. Ничто так не презиралось, как буржуазно-респектабельный образ жизни, как завистливо-холуйская ориентация на престижные, состоятельные слои общества. Дух богемной вольности освобождал чад и домочадцев от строгого соблюдения светских ритуалов. И это осталось на всю жизнь. Вряд ли кому-нибудь доводилось видеть Генриха Бёлля чопорно одетым или хотя бы при галстуке. А когда в 1972 году состоялась церемония вручения ему Нобелевской премии по литерату-

¹ Böll Heinrich. Einmischung erwünscht. Köln, 1977, S. 72.

² Böll Heinrich und Linder Christian. Drei Tage in März. Ein Gespräch. Köln, 1975, S. 28.

ре — вручал ее шведский кронпринц Карл Август, — лауреату пришлось срочно брать фрак напрокат в костюмерном ателье.

Виктор Бёлль владел небольшой деревообделочной мастерской, но был, возможно, коммерсантом менее искусным, чем скульптором. Впрочем, разорение, которое постигло семью в 1929 году, было связано главным образом не с недостаточными деловыми способностями ее главы, а с разразившимся в это время мировым экономическим кризисом и знаменитой «черной пятницей» на нью-йоркской бирже. Материальное положение Бёллей резко ухудшилось, рухнули стабильность жизненного уклада и уверенность в завтрашнем дне, семья скромно, но надежно обеспеченного ремесленника переживала болезненный процесс деклассирования. Вынуждаемые обстоятельствами, Бёлли меняли дома и квартиры и вскоре оказались в рабочем предместье. Новые соседи, новая среда, новые условия жизни вызывали изменения в социальном самосознании семьи. Генрих приближался к возрасту духовного созревания, становления личности. Свое и своих родных и близких тогдашнее умонастроение он впоследствии определял так: «Никакого стремления к буржуазной жизни, а напротив — абсолютное и почти уже сознательно сложившееся отрицание всех буржуазных норм; нечто такое, что я совершенно безоговорочно назвал бы пролетарским взглядом на вещи при — одновременно — очень высокой чувствительности ко всем политическим событиям»¹.

Юный Бёлль жил в Кёльне, городе примечательном не только своими художественными и историческими памятниками. Это был город с очень своеобразным политическим обликом, который определялся сложным переплетением двух влиятельных сил — социалистического рабочего движения и бытовых и нравственных традиций католицизма. Это были силы не только конфронтации, но и некоего взаимного притяжения, и общим для них было неприятие национал-социализма. «Завоевание» Кёльна давалось нацистам с великим трудом; достаточно сказать, что на выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года гитлеровцы сумели собрать лишь 20,5 процента голосов, в то время как за католическую партию Центра проголосовало 27,3 процента, за коммунистов — 24,5 процента и за социал-демократов — 17,5 процента избирателей.

Семья Бёллей была семьей с потомственными католическими традициями. Но сколь это ни парадоксально (а вернее, лишь по застарелой догматической привычке может нам показаться парадоксальным), в этой пролетаризированной католической семье с пониманием и сочувствием относились к коммунистам, во многом симпатизировали их социальной программе, их борьбе. Политически наиболее радикальных убеждений придерживалась Мария Бёлль, мать Генриха, женщина

¹ Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung. München, 1981, S. 41.

с незаурядным характером и общественным темпераментом (послужившая психологическим прототипом Иоганны Фемель, Лени Пфайфер, Катарины Блюм). Коммунисты были и среди вхожих в семью Бёллей соседей, среди товарищей Генриха...

* * *

Итак, в начале 30-х годов Генрих Бёлль впервые встречается, а позднее — уже будучи солдатом — близко знакомится с людьми, называющими себя «коммунистами», в его сознательную жизнь входят понятия «коммунизм», «коммунистическая партия». В связи с этим стоит, временно прервав последовательное изложение жизненного пути Бёлля, задержаться на этих понятиях.

В 1959 году в романе «Бильярд в половине десятого» Бёлль вложил в уста одного из персонажей замечание, что «каждый порядочный человек должен был быть когда-то коммунистом». Призванный к ответу критиком Марселем Рейх-Раницким, писатель не отступил, не дрогнул — он дал распространенный комментарий к этой реплике. Он заявил, что «стать коммунистом и по возможности остаться им — это необходимый духовный процесс». Правда, его, Бёлля, ровесники, немцы его поколения, за некоторыми исключениями, этот процесс, к несчастью, не успели пройти, и именно это (то есть отсутствие коммунистов среди тех, кому в 1933 году было 5—15, а в 1945 соответственно 17—27 лет.— *И. Ф.*) стало, по словам писателя, причиной «плачевного состояния политической жизни в ФРГ». Добавлю еще, что в разговорах с друзьями, возвращаясь к этому вопросу, Бёлль не раз повторял, что отсутствие массовой, влиятельной Коммунистической партии деформирует демократическую структуру общества, пагубно сказывается на раскладке политических сил в Западной Германии.

Рассуждая чисто гипотетически, Бёлль говорит о себе, что он «возможно стал бы коммунистом». Но он им не был и не стал. И далее следует поразительная, универсальная по своему по меньшей мере всеевропейскому звучанию формула: «Может быть, я — коммунист, которому помешали стать таковым»¹. Кто же помешал или что помешало «его поколению определить свое отношение к коммунизму и принять его вместе с теми шансами и теми опасностями, которые заключала в себе принадлежность к нему»? Конечно, прежде всего воцарившаяся в Германии кровавая фашистская диктатура с ее карательной политикой. А с другой стороны — тревожные вести о судебных процессах и массовом терроре в Советском Союзе в конце 30-х годов.

Мысль о коммунизме («впрочем, что до меня, то мы можем упустить также слово «социализм») и коммунистах не покидала

¹ Böll Heinrich. Aufsätze, Kritiken, Reden. Köln—Berlin, 1967, S. 503—504.

Бёлля и позднее. Уже незадолго до смерти в документально-автобиографической повести «И что только из этого парня получится?» писатель вспоминал о том потрясении, которое пережил весь Кёльн, когда 3 ноября 1933 года погибли геройской смертью семь молодых коммунистов-ротфронтовцев, публично казненных средневековым способом отсечения головы топором¹. Бёлль не раз возвращался в различных статьях и интервью к вопросу о выдающейся роли коммунистов в антифашистском Сопротивлении и бесчестном замалчивании этой роли, о недостойной клевете, которой они подвергались в послевоенные годы со стороны Аденауэра и реакционных кругов ФРГ. «Намертво замалчивалось то, что в обстановке больших, очень больших опасностей делали весьма многочисленные малые, средние и большие подпольные группы и очень многие одиночки... Этим господам никак не подходило, этого просто не должно было быть, чтобы коммунисты, объявленные после 1945 года злодеями, оказались на самом деле смелыми и последовательными борцами Сопротивления»².

При этом Бёлль был далек от не критического отношения к практике современных коммунистических партий. В 60—70-х годах он не раз выступал против ряда конкретных проявлений политики КПСС в области международных отношений, а также религии, литературы, искусства, свободы выражения мнений и т. п. Справедливость многих высказываний Бёлля ныне признана нашим общественным мнением, аналогичные идеи утверждаются сегодня советской прессой, но тогда реакция на эти выступления Бёлля не делала нам чести — была резкой и нетерпимой; к нему применили привычные по тем временам «санкции»: начиная с 1974 года, в течение по крайней мере двенадцати лет этот один из самых популярных в нашей стране зарубежных авторов не переводился и не издавался на русском языке.

Но ни разногласия, ни обиды не привели Бёлля в лагерь антикоммунизма. Критикуя политические несовершенства современного социализма, он был искренне заинтересован в их успешном преодолении. «Я хотел бы,— говорил он в интервью с Рейх-Раницким,— чтобы коммунизму для осуществления его целей было дано по крайней мере столько столетий, сколько их имел капитализм. Ибо для меня коммунизм по-прежнему является надеждой, возможностью обрести «право владеть землей» и утвердить на ней справедливый порядок... Эту надежду я разделяю со всеми народами земли, которые ныне вступают на путь своего освобождения»³.

Так сказал Генрих Бёлль в 1967 году. В конце 80-х он мог бы это повторить с еще большей уверенностью.

¹ Böll Heinrich. Was soll aus dem Jungen bloß werden? Bornheim, 1981, S. 31—33.

² Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 11—12.

³ Böll Heinrich. Aufsätze, Kritiken, Reden, S. 504.

Наступило 30 января 1933 года — в этот день президент республики, бывший кайзеровский фельдмаршал Гинденбург передал власть в стране Гитлеру, поручив ему сформировать и возглавить правительство. Хронометр истории начал отсчитывать время третьей империи, которое с первых же недель ознаменовалось провокационным поджогом рейхстага, актами массового террора и насилия.

Казни и репрессии начались и в Кёльне. Правда, семье Бёллей непосредственная опасность не угрожала. В расовом отношении они были «чисты», в антифашистских политических партиях и организациях прежде не состояли. Но весь строй привычных им как рейнским католикам идей и настроений, их традиционная — из поколения в поколение — неприязнь к «бисмарковской» прусской государственности, к холодной и жесткой берлинской администрации, присущий им дух интеллектуальной вольности и критического свободомыслия — все заставило их воспринять приход Гитлера к власти как большое несчастье. Старший брат будущего писателя вступил в подпольный антифашистский союз католической молодежи, и в доме Бёллей в присутствии Генриха происходили, даже не раз, нелегальные заседания руководства этого союза. Молодой Генрих Бёлль чувствовал себя отныне в родном городе, как на оккупированной врагом территории: выйдешь прогуляться, и вдруг по улице навстречу марширует под знаменем со свастикой отряд штурмовиков или гитлеровской молодежи. Полагается стать во фронт и отдать честь. И чтобы не приветствовать эту «шляпу Геслера», приходится бежать или поспешно скрываться в первом попавшемся подъезде.

«Почему вы не эмигрировали?» — спрашивали позднее писателя некоторые не желавшие считаться с реальностью максималисты. Но эмигрировать Бёллям, при их социальном статусе? Как? Куда? «Это было все равно, как если бы кто-то меня спросил, почему я не заказал такси на луну...»¹ И так, Бёлль не эмигрировал, не уехал за границу, но то состояние, в котором он в 30-е годы находился по отношению к нацистскому режиму, справедливо назвать состоянием «внутренней эмиграции». Его «внутренней эмиграцией» была семья и ее ближайшее окружение, то есть в определенном смысле замкнутая среда со своим образом жизни и мыслей, со своей системой нравственных ценностей, не приемлющей фашистского чело-веконенавистничества. И кроме того, «внутренней эмиграцией», вернее, прикрытием «внутренней эмиграции» Генриха Бёлля была его гимназия.

¹ Böll Heinrich. Was soll aus dem Jungen bloß werden? S. 37.

Гимназия имени кайзера Вильгельма, которую Бёлль посещал с 1928 по 1937 год, была для гитлеровской Германии не совсем обычным учебным заведением. Она не была полностью отравлена духом нацистской педагогики, фанатизма, нетерпимости, доношительства. Здесь можно было свободно дышать и даже говорить, чем Бёлль иногда неосторожно злоупотреблял. «Некоторые порицали мои невзначай высказанные фривольные замечания о Гитлере и других нацистских шишках, но никому из них, даже соученику-эсесовцу, никогда и в голову бы не пришло на меня донести». Из двухсот гимназистов лишь трое (в их числе, разумеется, Бёлль) проявили достаточную смелость и убежденность, отказавшись вступить в Союз гитлеровской молодежи. Они были белыми воронами в стае, но знали, что их не заключают и не выдадут на расправу.

Многие учителя в гимназии были правой ориентации, отнюдь не нацисты, но люди консервативно-националистических взглядов. Они сохранились в памяти Бёлля как образованные и субъективно порядочные наставники, но в то же время воспитывавшие юношество в духе «слепого поклонения Гинденбургу» и направлявшие его на путь, «конечным завершением которого стали Сталинград и Освенцим». Впрочем, были и другие. Учитель немецкого языка и литературы Шмитц, испытывавший, видимо, состояние дискомфорта в связи с программным требованием обязательного изучения книги Гитлера «Майн кампф», нашел довольно своеобразный выход из положения. Сочинение фашистского фюрера, помимо прочих своих достоинств, отличалось поразительной синтаксической неграмотностью и бессмысленным многословием. Учитель Шмитц организовал проработку этой книги посредством домашних заданий: взять четыре страницы текста и, решительно отредактировав и сократив, изложить весь его скудный смысл на двух страницах. Такой метод изучения пресловутой библии национал-социализма был весьма эффективен, гимназисты быстро понимали что к чему.

Последние годы пребывания в гимназии были омрачены для Бёлля все усиливавшимся сознанием, что он и его товарищи «учатся не для жизни, а для смерти». Получив весной 1937 года аттестат зрелости, он с еще большей остротой почувствовал, сколь мрачны перспективы, какая неотвратимая угроза нависла над его поколением. «Мы не могли ни за что как следует взяться — ни за освоение профессии, ни за дальнейшее образование, потому что мы совершенно точно знали — во всяком случае у себя дома и в кругу своих друзей, — что война разразится не позже 1938 года, что нацисты ее так или иначе спровоцируют»¹.

А пока лишь бы как-нибудь перебиться. Все, что делает Бёлль в это время, несет на себе печать временности и незаконченности.

¹ Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S.117.

Сразу после гимназии он поступает учеником в книготорговую фирму, но прерывает обучение весной 1938 года, дает уроки в качестве репетитора, а с осени того же года отбывает трудовую повинность — непереносимое официальное условие, дающее право для продолжения образования. Летом 1939 года он записывается в университет по специальностям «германистика» и «классическая филология», но занятий не посещает, а в июле — за несколько недель до начала войны — он получает призывную повестку из вермахта.

В эти беспокойные и беспорядочные дни в жизни Бёлля происходит нечто очень важное — он начинает писать. Возможно, что он начал даже раньше, еще в гимназические годы, но лето 1938 года оказывается в творческом отношении особенно интенсивным. На старой пишущей машинке Бёлль выстукивает стихи, рассказы, пишет даже роман. Ни тогда, ни позднее эти первые пробы пера не были опубликованы. Мы до сих пор их не прочли и не знаем, каким писателем был Бёлль в своих первых опытах, но мы твердо знаем, что именно тогда определилось его жизненное предназначение — быть писателем.

Бёлля иногда спрашивали, что его побудило стать писателем, каковы были его творческие импульсы. Он отвечал по-разному, но в этом не было противоречия: разными были причины, и они залегали на неодинаковой глубине. Первая и, видимо, главная причина — можно сказать, фундаментальная, социально-историческая. Юный Бёлль осознавал ее в лично-биографическом плане, через судьбу семьи и собственные наблюдения — полудетские по времени и уже далеко не детские по их серьезности. «Это было связано, я думаю, с впечатлениями от мирового экономического кризиса в начале 30-х годов, с крушением относительно цельного мира, и это крушение было тотальным — в политическом, экономическом, социографическом отношении. Это произошло очень рано, мне было 15—16 лет... Распад буржуазного общества. Коренная тема литературы. Распад, который в 20-е и 30-е годы был настолько очевидным, что он для меня без большой идеологической подготовки стал темой, стал содержанием»¹.

Другой побудительный импульс к творчеству был собственно психологического характера. Он был заключен для молодого жителя Кёльна в романтической загадочности, в интригующей анонимности большого города. В деревне обыкновенно все и всё друг о друге знают. В городе же уличное многолюдье на каждом шагу возбуждает воображение, мелькание лиц в толпе ставит неисчислимые вопросы перед любопытным и вдумчивым наблюдателем, каким был гимназист и абитуриент Генрих Бёлль. Откуда и куда идет этот? О чем

¹ Böll Heinrich und Linder Christian. Drei Tage im März, S. 30, 53.

думает, какие мысли гнетут того? Что завтра произойдет с тем? Такие вопросы порождают сюжеты, зовут к перу...

Наконец, стимул к литературному творчеству мог исходить и от самой литературы. В доме Бёллей книги были в большом почете, и Генрих с отроческих лет был страстным читателем. Среди массы им прочитанного он выделял некоторых авторов, видел в них своих учителей — в жизни и в творчестве. Это — прежде всего Достоевский, Леон Блуа, Честертон и Бернанос, но также и Диккенс, Поль Клодель, Франсуа Мориак, Ивлин Во, Рейнгольд Шнейдер, Вернер Бергенгрюн, Гертруд фон Ле Форт. Как легко заметить, все это — главным образом писатели религиозно-нравственного, христианского направления, в большинстве своем католики.

* * *

Здесь как раз подошло время снова прервать последовательный рассказ о жизни Бёлля. Тема второго отступления — «католицизм». От этого вопроса мы иной раз с непонятной застенчивостью уклонялись, хотя он является, пожалуй, ключевым для понимания Бёлля как писателя и гражданина.

Обращаясь к этому вопросу, мы сразу вступаем на минное поле непроходимых парадоксов. Да, в ряде работ благочестивых западных литературоведов Бёлль давно уже был зачислен в разряд «католических писателей». Но, с другой стороны, Карл Амери, друг и коллега Бёлля, действуя как бы по его полномочию, утверждает: «Он (и подобно ему, например, и Грэм Грин) яростно противится тому, чтобы на него навесили ярлык «католического романиста»¹. Еще бы! Бёлль имел веские основания всячески отбиваться от этого дезориентирующего обозначения. «У меня,— говорил он,— проблема заключалась в том, что в глазах многих людей я считался так называемым «католическим писателем» и, следовательно, уже à priori совершенно неприемлемым из-за этого конфессионального ярлыка; для тех же, для кого этот ярлык мог бы как раз быть знаком качества, я был гнусным коммунистом и дьяволом во плоти»².

В этом противоречии необходимо разобраться.

Генрих Бёлль родился и воспитывался в католической среде, в семье, где религия отнюдь не была некоей проформой и не сводилась к привычно равнодушному отправлению обрядов. Отец, изготовлявший для церквей и монастырей алтари и статуи святых в неоготическом стиле, был связан с религией не только духовно, но и профессионально. Отсюда, возможно, и происходила известная

¹ In Sachen Böll. Ansichten und Einsichten, S. 119.

² Böll Heinrich. Einmischung erwünscht, S. 76.

двойственность умонастроений в семье: искренняя вера в соединении с независимо критическим отношением к церкви и к официально-административной стороне вероисповедальной практики. Это сказывалось на характере религиозного воспитания в доме. Испытав на себе в детстве деспотический гнет своих непомерно строгих, фанатично религиозных родителей и вспоминая об этом как о тягостном кошмаре, Виктор и Мария Бёлль воспитывали своих детей в обстановке свободы, без жесткого контроля. И именно «это отсутствие принуждения в отношении религиозной практики,— вспоминал Бёлль,— сильно укрепило во мне религиозное начало»¹. Тем не менее уже в ранние годы Генрих знал, что «быть религиозным в истинно христианском смысле (т. е. прежде всего в духе Нагорной проповеди.— *И. Ф.*) не значит быть им в церковном смысле»². Антиклерикализм писателя, с годами приобретающий все более резкий характер, восходил еще к его юности.

В течение трех десятилетий читатели и телезрители ФРГ были свидетелями того, как популярнейший в стране писатель, католик, непримиримо критиковал католическую церковь, а она, не оставаясь в долгу, в свою очередь в лице своих официальных представителей в официальных католических органах информации всячески пыталась скомпрометировать его. Ситуация несомненно парадоксальная, но нисколько не загадочная. Бёлль имел предостаточно оснований предъявить католической церкви тяжкие политические обвинения. Разве конкордат, заключенный в 1933 году Ватиканом с гитлеровским правительством, не был черным предательством по отношению к германской демократии? Разве не означал он, что Ватикан благословляет или, по меньшей мере, санкционирует кровавые, террористические действия фашистского режима? Конкордат вызвал возмущение среди многих верующих католиков. «Члены нашей семьи — в том числе и я — всерьез подумывали о выходе из церкви»³. Правда, впоследствии консервативные политики и церковники пытались задним числом создать католической церкви политический капитал на том, что в годы фашизма тысячи католиков — мирян и священников — участвовали в антигитлеровском Сопротивлении и многие из них сложили головы в этой борьбе. Это действительно так. Но на это Бёлль с полным основанием отвечал: «Сопротивление того или иного католика или католического священника было их частным делом. Немецкий католицизм очень ловко устроился: если от него требуют доказательств его лояльности по отношению к государству, он ссылается на конкордат... если его критикуют за эту лояльность, он ссылается на героев Сопротивления, католиков. Но я повто-

¹ Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 42.

² Böll Heinrich und Linder Christian. Drei Tage im März, S. 32.

³ Böll Heinrich. Was wird aus dem Jungen bloß werden? S. 26.

ряю: Сопrotивление было свободным выбором частных лиц, официальным статусом был конкордат»¹.

Как в своих романах и повестях, так и в публицистических, общественных выступлениях Бёлль предъявлял католической церкви политический и социально-нравственный счет. Все перечислить трудно, да и незачем. Конкордат — дело уже давнее, но вот другой пример, вполне современный, церковная «десятина». Кто бы мог подумать, что спустя двести лет после секуляризации в ФРГ по сей день существует закон, согласно которому 10 процентов всего подоходного налога, уплачиваемого прихожанами, автоматически отчисляется в церковную кассу, образуя огромные богатства?! «Этот финансовый базис,— утверждал Бёлль,— я без всяких оговорок считаю преступным. Я сравнивал его с сутенерским промыслом и не отказываюсь от этого сравнения»².

Бёлль был весьма своеобразным католиком не только потому, что он страстно обличал политическую и социальную практику служителей церкви. Он был еретиком, и в вероисповедальном смысле его религиозность была и не ортодоксальной, и не заурядно бытовой, и вообще не такой, как мы могли бы себе представить. «Бёллевская религиозность,— констатирует А. Карельский,— основана не столько на вере в бога, сколько на вере в человека... Бёллевская религия — это синоним человеческой совести. Она — ересь, бог которой человек»³.

Мне вспоминается и, может быть, только сейчас становится до конца понятным в своем скрытом значении один давний разговор с Бёллем. Разговор этот неожиданно принял исповедальный характер, и тогда я смущенно (смущенно потому, что мне казалось, я совершаю по отношению к собеседнику бестактность) признался, что я — атеист. «Откуда вы это знаете?» — спокойно ответил Бёлль.

Я был готов к любому ответу, но только не к такому... Что значит «откуда»? Кому же это еще знать, как не мне? Требуются ли по этому делу какие-либо свидетели или эксперты, если я сам знаю и говорю, что я — атеист? Я признаю право других быть верующими и уважаю их чувства. Но уж что касается меня, то простите... Так рассуждал я тогда и не понимал, что можно рассуждать иначе. А Бёлль, видимо, имел в виду, что главное положение атеизма — бога нет! — так же недоказуемо, как и обратное утверждение. Ибо для объективного решения этого вопроса нет такой точки отсчета, таких мерил, такой цепи логических аргументов, которые были бы одинаково безусловны и равно признавались бы как верующими, так и атеистами. Следовательно, не следует о себе утверждать

¹ Böll Heinrich. Aufsätze, Kritiken, Reden, S. 136.

² Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 57.

³ Бёлль Генрих. Семь коротких историй. Москва, 1968, с. 199.

то, в чем ты сам не можешь быть до конца уверен. А кроме того, та незримая сила внутри нас, которая диктует нам наши поступки, подсказывает нам нравственный выбор,— может быть, это и есть бог?

«Я понимаю религию не как нечто церковно-абстрактное, а как единение людей»¹,— говорил Бёльль. Его вера была, по его собственному определению, «мистической». Вернее, он разделял религию на компоненты «мистические», то есть компоненты «чистой веры», и компоненты «административные». Административные компоненты он решительно отвергал: как можно святые таинства организовывать, регистрировать, приходовать? Как можно юридически фиксировать мистические явления? Их нельзя также делать предметом передачи посредством обязательного обучения и послушного восприятия². Бёльль верил в интимное, чувственное восприятие святых таинств, не поддающееся «административному» контролю рационального сознания. Он верил в слиянность душ людских в совместной трапезе или коллективном богослужении, но не по обязанности, не потому, что «так полагается», а по внутреннему побуждению. «Религиозность Генриха Бёлля,— справедливо замечает Вольфдитрих Раш,— делает его очень чувствительным к расхожим и бессодержательным, чисто внешним формам благочестия»³. Иначе говоря, к ритуалам, обрядам, к отбыванию богослужебной повинности, ко всем подобным формам «организации» религиозного чувства католик-еретик Бёльль относился весьма скептически.

Вот выразительная бытовая сценка, схваченная метким пером художника: «Воскресное утро — как раз тот час, когда вся семья в полном сборе, вместе. Отцу не нужно идти на работу, детям не нужно идти в школу и мать может, наконец, несколько расслабиться. И вдруг, в этот самый момент, все обязаны немедленно отправляться к мессе. Я не иначе как с ужасом думаю об этих воскресных утренних часах в почтенном бюргерском доме. Это значит, что если у вас пятеро детей, то вы должны позаботиться, чтоб у всех пятерых были вымыты руки, были чистые чулки, были надраены ботинки, были выглажены штаны и вся прочая мура — будь она трижды неладна!»⁴ Совершенно ясно, что спокойный, семейный, совместный отдых в праздничный день гораздо больше соответствовал бы естественным и гуманным религиозным представлениям Бёлля, чем эта принудительная «мура».

В той мере, в какой Бёльль был католиком, он как писатель и идеолог был несомненно причастен к определенному кругу идей в европейском католицизме, к социально-критическому направлению

¹ Böll Heinrich. Einmischung erwünscht, S. 72.

² Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 61—62.

³ Der Schriftsteller Heinrich Böll. Ein biographisch-bibliographischer Abriss. Köln—Berlin, 1965, S. 11.

⁴ Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 63.

в нем. Эти идеи еще в юношеском возрасте с огромной впечатляющей силой вторглись в духовный мир Бёлля через посредство литературы, в частности французской. Книги Леона Блуа, Жоржа Бернаноса, Франсуа Мориака непосредственно сообщались с теми мучительными проблемами (верующий христианин в его отношении к государственному насилию, социальной несправедливости и т. п.), которые переживали в 30-е годы Бёлль и его ближайшее окружение. Эти книги укрепляли антинацистские и антибуржуазные убеждения немецких читателей и в этом смысле значили для них даже больше, чем книги своих немецких писателей-католиков. Критика в них носила резкий социально-политический и этический характер, в то время как у Рейнгольда Шнейдера и Вернера Бергенгруна, чей антифашизм не подлежит сомнению, он все же часто переносился в сферу метафизики и теологии.

Бёлль особенно часто ссылался на Леона Блуа, писателя, у которого религиозная идея была неразрывно связана с идеей социальной. Блуа гневно и страстно обличал нарушителей заветов христовых, богачей, пьющих кровь бедняков. «Деньги — это кровь бедняка!»¹ — в такой формуле он выразил мысль о богопротивной эксплуатации человека человеком. Отголоски «уроков Блуа» впоследствии слышатся в творчестве Бёлля в социально-нравственной типологии бедности и богатства, слабости и пробивной силы, простоты и элитарности, в делении общества на «агнцев» и «буйволов».

С творчеством французского католика Леона Блуа Бёлль познакомился еще в 1936 году: «Огромное влияние оказал на нас — я говорю «на нас», т. е. на мою семью и моих друзей — Леон Блуа. Одна из его книг появилась в нацистское время, в 1936 году, и мы ее буквально проглотили, она на многие годы стала для нас как Библия. Это была «Кровь бедняка». В ней одновременно содержались и очень личные мистические настроения, но также несомненно и социально-критические моменты. Позднее я прочел «Капитал» Карла Маркса и — как ни странно — обнаружил сходные черты. Это испугало бы как Маркса, так и Блуа, если бы они об этом узнали»².

Как известно, в каждой шутке есть доля правды. В данном случае эта доля заключается в том, что и в социальном пафосе левого католицизма, и в провозглашенной научным социализмом борьбе за освобождение трудящихся действительно есть сближающие их черты, сходство гуманистических устремлений. Это сходство и составляет основу для их духовного диалога и политического сотрудничества в современном западном мире. Это сознавал Генрих Бёлль и сознает Грэм Грин, это знают современные марксисты, но это знание отнюдь не пугает ни ту ни другую сторону.

¹ Bloy Léon. Le sang du pauvre. Paris, 1922, p. 23.

² Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 30.

Первые литературные опыты Бёлля были прерваны призывом в вермахт. Несколько недель спустя началась война, германские дивизии вторглись в Польшу. Рядовой необученный Бёлль проходил муштру в запасном полку и в польском походе не участвовал, а затем был отправлен для дальнейшей службы в тыловой гарнизон в оккупированной к тому времени Польше. Ему «везло» до поры до времени и дальше: он заболел, много месяцев провел в Германии в госпиталях и командах для выздоравливающих, не участвовал ни в боях на Западном фронте, ни во вторжении в Советский Союз. Вместо того ему довелось провести около полутора лет на Атлантическом побережье, где он ожидал, но так и не дождался высадки англо-американских войск. Сталинград он пережил не на Волге, а здесь, во Франции: «Наступил Сталинград, и что это значило — французы нам показали очень наглядно. Внезапно, за одну ночь, на всех стенах появилось только одно слово «Сталинград», ничего более, никаких «убирайтесь вон, фашисты-нацисты!», только «Сталинград». Это действовало очень впечатляюще... Настроение в армии стало подавленным, т. к. каждый чувствовал... что Сталинград был решающим сражением»¹.

Летом 1943 года Бёлль из Франции был отправлен на Восток в район Черного моря. Четыре года он был солдатом и лишь теперь впервые ехал на фронт. Этот фронт начался уже в дороге: французские партизаны взорвали воинский эшелон, Бёлль при этом был ранен. Ранение оказалось легким, он продолжил свой путь, прибыл на Украину, из Одессы по воздуху был переброшен в отрезанный с суши Крым. Далее тягостное отступление с боями, ранение, санитарный поезд, госпиталь, возвращение на фронт и новый тур в той же последовательности. Осенью 1944 года под Яссами Бёлль был в очередной раз ранен, на этот раз тяжело, ранение осложнилось малярией. Несколько месяцев он провел в тыловых лазаретах.

Наступил 1945 год. Во все сокращавшемся под ударами войск антифашистской коалиции пространстве разыгрывалась агония гитлеровского режима и вермахта. Агония сопровождалась хаосом, развалом знаменитого прусского порядка и вместе с тем слепым и отчаянным эсэсовским террором. В этой обстановке ненависть к фашизму и здравый смысл подсказали Бёллю тактику поведения. С помощью поддельных документов он переводится из части в часть, дезертирует, скрывается то у жены, то в доме родителей. В апреле из соображений относительной безопасности, дабы избежать встреч с эсэсовскими патрулями, он возвращается в вермахт с тем, чтобы

¹ Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 124—126.

при первой возможности сдаться в плен. После нескольких месяцев пребывания в американском и английском плену, осенью 1945 года Бёлль вернулся домой.

Но дома не было — одни развалины. Подобно миллионам других пришедших с «великой войны» Бёлль с мастерком и молотком в руках восстанавливает жилье для себя и своей семьи (он женат с 1942 года на Аннемари Цех, появляются сыновья Кристиан, Раймунд, Рене, Винсент) и с невероятными усилиями в условиях разрухи и черного рынка добывает продукты и отопительные брикеты. Одновременно он возобновляет, хотя и не особенно интенсивно, прежде всего ради продовольственной карточки, свои занятия в университете и служит в статистическом бюро кёльнского муниципалитета. Но за всеми тяготами послевоенного быта таилось главное: Бёлль снова садится за старую, загадочным образом пережившую войну отцовскую машинку, он снова пишет.

В 1946 году он пишет, подвигнутый на то объявленным в газете литературным конкурсом, объемистый роман, но получает рукопись обратно без всяких комментариев, возможно даже не прочитанную жюри. Он пишет и рассказы, часть из них, как он сам считает, учебно-тренировочного, экспериментального характера, и они также оседают в его архиве неопубликованными. Но с конца 1946 года некоторые рассказы начинают появляться в журналах и газетах. Зимой 1946/47 годов Бёлль работает над повестью с первоначальным названием «Между Лембергом и Черновицами». После долгих скитаний по разным издательствам эта повесть выходит в 1949 году отдельным изданием под окончательным названием «Поезд пришел вовремя». Это была первая книга Бёлля. За ней вскоре последовал сборник рассказов «Путник, придешь когда в Спа...» (1950), а в 1951 году был издан роман «Где ты был, Адам?». Эти книги были замечены, особенно высоко был оценен критикой роман «Где ты был, Адам?». Бёлль был приглашен на очередные чтения «Группы 47», и ему была присуждена премия этой группы. В течение четырех-пяти лет после выхода первой книги имя Бёлля приобрело громкую известность не только в ФРГ, но и в ряде других европейских стран, он стал признанным лидером послевоенного поколения западногерманских писателей.

Путь от ефрейтора Бёлля к писателю Бёллю был предельно краток, к пишущей машинке он пришел, можно сказать, прямо из фронтового окопа. В своих первых рассказах, в первой повести, в первом романе он все еще жил впечатлениями недавнего прошлого, и кровавые видения войны неотступно стояли перед его мысленным взором. Бёлль однажды признался, что он не может (и не хочет) писать ни на исторические, ни на утопические темы, что его перу подчиняется лишь лично пережитая современность. Современность, запечатленная в ее материальных и духовных ре-

лиях. Такой современностью для Бёлля на рубеже 40—50-х годов была действительность нацистской Германии и мировой войны.

Тем более стоит остановиться на споре, который в рамках обширного интервью состоялся осенью 1975 года в Париже между Бёллем и французским журналистом Рене Винтценом. В этом интервью писатель сделал неожиданное, явно парадоксальное заявление: «...примем гипотезу: допустим, что не было ни войны, ни нацистов... Я совершенно уверен, что и без войны и нацистов я бы написал роман «И не сказал ни единого слова» почти точно таким же». Ибо тема «упадка, распада, непрочности» таких структур, как брак, церковь, о чем, собственно, и идет речь в романе, разрабатывалась уже и после первой мировой войны и даже раньше. И далее, как бы противореча себе, своему собственному творческому опыту и отвергая вполне аргументированные возражения своего оппонента, Бёлль утверждает, что конкретное бытописание, изображение социально дифференцированных обстоятельств ничего не решают, ибо главное — экзистенциальная обобщенность проблем: «Всяческие валуны и бревна, которые мировая история швыряет нам под ноги, — война, мир, нацисты, коммунисты, буржуи, — все это, пожалуй, вещи второстепенные. Что действительно идет в счет, так это — через все проходящая, я бы даже, может быть, сказал, мифологически-теологическая проблематика, которая всегда во всем присутствует»¹.

Терминология, применяемая Бёллем, может несколько дезориентировать. О каких экзистенциальных или теологических проблемах идет речь? Вопрос несколько проясняется в дальнейшем ходе спора. Винтцен ссылается на роман «Где ты был, Адам?». Как можно себе представить образы Файнхальса или Фильскайта, «не пробудив в своем воображении такие понятия, как война, жестокость, садизм, тирания»? Бёлль на это отвечает, что эти понятия могут выступать не обязательно в военном или фашистском облики, а также в школьной, церковной, производственной и т. п. среде — везде, где царят иерархические порядки.

Действительно, жестокость, тирания могут проявляться и в школьной, и в церковной среде, но ведь все же не случайно они выступают у Бёлля именно в военном, фашистском облики. И не могли, разумеется, его произведения первых послевоенных лет быть такими, какими мы их знаем, если бы автор сам не прошел через испытания фашизма и войны. Другое дело, что и фашизм, и война были проявлением некоего более общего и глубокого исторического (именно исторического и социального, а не только «экзистенциального» или «теологического») процесса — кризиса капиталистического мира. И Бёлль это понимал, и был прав, когда возводил первоначальные импульсы своего творчества к «великому кризису». «Ибо

¹ Böll Heinrich. Eine deutsche Erinnerung, S. 16—17.

все прочие исторические события — нацизм, война, первые послевоенные годы — были лишь следствием того, что назревало с конца 20-х — начала 30-х годов»¹.

• • •

Первыми публикациями Бёлля были рассказы. В течение десятилетия он их опубликовал около сотни. Рассказы в это время были доминирующим жанром, в котором зарождавшаяся западногерманская литература осваивала по крупицам хаотическую, разорванную на клочки, лишённую эпической цельности действительность войны и первых послевоенных лет. Это время запечатлено в малой прозе Бёлля, Вольфганга Борхерта, Вольфдитриха Шнурре... Впрочем, тяготение к рассказу, новеллистический инстинкт сказывались даже в произведениях большой прозы, которые создавались в эти годы. Так, роман «Где ты был, Адам?» в сущности состоит из девяти рассказов. Отдельные новеллистические узлы ощущаются и в структуре романа «И не сказал ни единого слова». Новеллистична композиция «Ирландского дневника».

В 1948 году Бёлль написал повесть «Завет», которая в то время не была издана, ее рукопись претерпела сложные приключения, считалась пропавшей, была случайно обнаружена спустя более тридцати лет и наконец опубликована в 1982 году. В этой ранней повести, написанной между «Поезд пришел вовремя» и романом «Где ты был, Адам?», уже просматривалась очень важная черта повествовательной манеры Бёлля, на первый взгляд черта чисто формального значения, но фактически выражавшая сущность твердо определившейся общественной и нравственной позиции писателя. Действие этой повести происходит в двух временных планах — в военном 1943 году и в год написания повести, то есть в 1948 году. В дальнейшем эта композиционная двуплановость, эта переключка времен станет характерной приметой большинства романов и повестей Бёлля, таких, как «Дом без хозяина», «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна», «Самовольная отлучка», «Групповой портрет с дамой» и т. д., вплоть до «Женщин у берега Рейна». В этих произведениях современный план все время расширяется, он становится главным предметом изображения, но как бы ни возрастало с каждым днем расстояние между настоящим и прошлым, это фашистское и военное прошлое неизменно присутствует в повествовании, его зловещие очертания проецируются на современность.

Это достаточно продемонстрировать на одном примере, предположим, на романе «Бильярд в половине десятого». Действие

¹ Böll Heinrich und Linder Christian. Drei Tage im März, S. 55.

его: разворачивается в течение одного точно обозначенного дня — 6 сентября 1958 года. Казалось бы, автор мог в то время, когда он создавал этот роман, наблюдать описываемые им события непосредственно из окна своего кабинета — настолько современны все элементы повествования: социально-политическая атмосфера в ФРГ, быт, люди и окружающий их материальный мир. Но этот современный план все время перекрывается в романе ретроспекцией, многослойными воспоминаниями и внутренними монологами героев, простирающимися на много десятилетий назад, вплоть до начала XX века. Эти воспоминания и внутренние монологи уводят читателя то в близкие, то в дальние дали подобно тому, как влияли на Гуго рассказы Роберта Фемеля, которые «то отбрасывали его на шестьдесят лет назад, то бросали его оттуда на двадцать лет вперед, то снова отбрасывали на десять лет назад, а потом внезапно швыряли в сегодняшний день, обозначенный на большом календаре». Путем такой ретроспекции автор не только посвящает читателей в тайны прошлого своих героев, но и своеобразно воссоздает через совокупность частных судеб и индивидуальных конфликтов историю Германии, ее роковой путь от войны к войне, от катастрофы к катастрофе.

Воспользуемся метафорой из другого произведения Бёлля. В воображении одного из персонажей романа «Дом без хозяина» все время мерцает картина: он идет по тонкому льду, а под ним бездонная водная глубь. При чтении «Бильярда в половине десятого» этот образ невольно вспоминается, хотя здесь он приобретает совсем другой смысл, соотнесенный с принципом построения, с композицией этого романа. Все, что делают его герои 6 сентября 1958 года,— приводят в порядок личный архив, играют на бильярде, едут в автомобиле, осматривают ход строительных работ, собираются за праздничным столом и т. д.— все эти их поступки совершаются на тонком льду сегодняшнего дня, но под ногами у каждого разверзается темная пучина прошлого. В этом прошлом скрыт яд, все еще отравляющий души, некогда пережитые страхи, горе и разочарования все еще действуют парализующе на людей и определяют их нынешнее безверие, апатию и пассивность. Прошлое вторгается в мысли и в чувства героев Бёлля, в их сознание и подсознание, оно властно напоминает им о себе повседневными симптомами реставрации.

Композиционный принцип, который лежит в основе романа «Бильярд в половине десятого», можно назвать принципом «сжатого времени». Процессы социальной и духовной жизни, история страны и частные судьбы людей на протяжении полувека — все это как бы «сжато», сконцентрировано и выражено через особый способ, особые формы описания событий одного дня. Сама композиция романа, само «сжатое время» говорит читателю: 6 сентября

1958 года, как и любой другой день в ФРГ, не может быть понят, объяснен и правильно оценен, если не показать его связь с фашистско-милитаристским прошлым и не увидеть в нем элементов продолжения и реставрации этого прошлого.

Появление в творчестве Бёлля (начиная с повести «Завет») дуплановой повествовательной структуры свидетельствовало о рано определившемся отношении писателя к общественно-политической действительности послевоенной Западной Германии. Дуплановость была художественной материализацией решительного неприятия и критики реставрационного курса канцлера Аденауэра.

* * *

В сознании многих немцев время, наступившее после мая 1945 года, представлялось неким «нулевым пунктом»: прошлое безвозвратно разрушено, все предстоит начинать заново, «с нуля». В каком же направлении пойдет новое развитие? Это был коренной вопрос, вызывавший размежевание в обществе.

Вернувшийся в 1945 году из эмиграции на родину поэт Иоганнес Р. Бехер написал в это время сонет «О смысле поражения»:

Есть высший смысл и в самом пораженье,
И даже в нем победа может быть:
Найти, оплакав мертвых, просветленье,
Позор в благословенье обратить;

Когда народ, поставив под сомненье
Все, чем он жил, найдет, чем дальше жить,—
Как тяжесть гирь, все истины значенье
Он на весы сумеет положить;

Тогда ошибки наши мы оценим,
Былых соблазнов отменяя путь,
И проигрыш сумеем окупить,
Детей лелеять и сады растить.

Так поражение станет нам спасеньем:
Вот пораженья праведная суть!

(Перевод В. Луговского)

Генрих Бёллер переживал сходные настроения; и он думал о смысле поражения, о той исторической перспективе, которую оно открывает перед немецким народом. Правда, там, в американском плену первой реакцией на известие о капитуля-

ции было шоковое состояние тотальной растерянности. «Я вообще не мог себе представить, что Германия снова будет существовать в какой-нибудь форме... Моей единственной мыслью было: предстоит мне десять, двадцать или тридцать лет каторги». Но постепенно политическое сознание Бёлля пробуждается, и последующие месяцы после возвращения из плена стали для него временем великих надежд, за которым, однако, последовало время не менее великих разочарований. Интерпретируя впоследствии свой роман «И не сказал ни единого слова», автор — по собственному признанию — считал своей главной задачей показать в этом романе, что «новое общество, основанное на стяжательстве и семейном эгоизме, было в сущности возвращением к старому образу жизни. Причину этого я видел в том, что немцы все еще не проиграли войну, что они до сих пор не признали своего поражения и краха и не осознали, что в этом поражении и крахе был для них заключен большой шанс»¹.

Бесспорно: политическая программа Бёлля в первые послевоенные годы носила слишком общий, теоретически недостаточно проясненный характер, но, во всяком случае, его надежды были ориентированы на общественные и нравственные идеалы социализма. Позднее в диалоге с Кристианом Линдером Бёлль так вспоминал об этом решающем, переломном времени: «После этой войны конечно же надо было начать создавать нечто, что можно, пожалуй, назвать социализмом, т. е. соединение христианских идей с социальными или социалистическими... Но в конечном счете выяснилось, что процесс, который мы называем реставрацией и который действительно является таковым, почти принудительно и неизбежно возрождает старый уклад жизни». В своем последнем — незадолго до смерти — интервью от 11 июня 1985 года Бёлль назовет это «чистым восстановлением тотального капитализма».

Итак, на рубеже 40—50-х годов, в то время когда к Бёллю приходит литературный успех, перед ним со всей остротой встает вопрос: как соотносить свое призвание художника со своим долгом гражданина? Иначе говоря, вправе ли он, целиком отдавшись творчеству, повернуться спиной к тому, что Томас Манн называл «требованиями дня»? Ответ на эти вопросы Бёллю подсказывает история: «Наш опыт нам показал, куда приводит ни к чему не обязывающая интеллектуальная жизнь, эта неестественная, несколько нарочитая безродность писателя. Ведь богемный стиль поведения в 20-е годы действительно оказал роковое действие на историю и политику...» И вывод отсюда: «Там, где ты себя чувствуешь в родном доме, ты должен сам вмешиваться и позволить себя вовлекать в общественно-политическую жизнь»².

¹ Böll Heinrich und Linder Christian. Drei Tage im März, S. 74.

² Там же, с. 73, 59, 60.

«Моя биография меня политизировала», — говорит Бёль, и действительно, он становится политически активным, возможно, даже самым активным писателем в Европе. Его общественная активность приносит ему всенародное признание, его называют «совестью нации», но не надо думать, что Бёль, столь ответственно относившийся к своему нравственному долгу, с легкостью нес на плечах это бремя. Его «имидж», сам по себе очень почетный, вряд ли облегчал ему жизнь. Общественное мнение ожидало и требовало от него публичных выступлений и политических действий по поводу каждого привлекавшего к себе внимание события, и эти требования были иной раз непосильны для писателя, не говоря уже о том, что затрудняли его творческую работу. И любая его реакция на эти требования — молчание равно как и тот или иной отклик — неизбежно вызывала несогласие и осуждение со стороны какой-то части общественности.

Бёль никогда не был членом какой-либо партии и не идентифицировал себя полностью с той или иной партийной программой. У него были свои политические мечты и надежды, и периодически, когда ему казалось, что их хотя бы отчасти разделяет та или иная партия, он оказывал ей известное предпочтение и поддержку. Но иллюзии вскоре рассеивались и временный союз расторгался. Смена этих союзников была наглядным свидетельством непрерывной эволюции писателя все дальше влево. В конце 40-х годов, обманутый социалистической фразеологией первых программных заявлений Христианско-Демократического Союза, он голосует на выборах за эту партию, но затем, убедившись в реакционной и реставрационной сущности политики Аденауэра и ХДС в целом, переносит свои политические симпатии на Вилли Брандта и социал-демократов, а в 70—80-е годы нередко солидаризируется со студенческим движением и партией «зеленых».

Политическая активность Бёля все чаще выводит его за рамки того образа жизни и того бытового церемониала, который и единственно который, по понятиям обывателя, приличествует уважаемому, всемирно известному интеллектуалу. А вместо того он, присоединившись к простым и миру неизвестным сторонникам мира, блокирует американскую военную базу в Мутлангене, чтобы не допустить там развертывания «Першингов». Он публично заявляет о своей готовности предоставить (и предоставляет) убежище в своем доме «инакомыслящим», гонимым органами безопасности. Он ворошит своим пером осиное гнездо газетного концерна Шпрингера, разжигающего — под предлогом борьбы с терроризмом — массовый психоз и науськивающего на «смутьянов» толпы мещан-линчевателей.

В свою очередь не остаются в долгу и противники, избличаемые Бёлем влиятельные антидемократические силы. Шпрингеровская

пресса развязывает бешеную травлю писателя, объявляет его «приемным отцом терроризма», возбуждает против него ярость напуганных и озлобленных реакционеров. Результаты не замедлили сказаться. Полиция является к нобелевскому лауреату с орденом на домашний обыск. В Эйфеле неуставленные злоумышленники учиняют поджог дома Бёлля.

Идейная эволюция Бёлля, его прогрессирующее полевание сказывались не только в смене партийных ориентиров, во все более частых и недвусмысленно резких высказываниях на политические темы (речи, интервью, публицистические эссе), в возраставшей остроте конфликтных эпизодов, связанных с его общественной деятельностью, но и в сфере собственно художественного творчества писателя. С годами заметно менялась его общая тональность. От лиризма, пронизанного болью и трагической безысходностью («Поезд пришел вовремя», «Где ты был, Адам?», «Тогда в Одессе», «Путник, придешь когда в Спа...», «Через мост», «Прощание» и др.), от юмора, в котором пробивается экзистенциальная тоска («Балаган», «Белая ворона», «Не только под рождество» и др.), Бёльль переходит к другим жанрам, к другой изобразительности и интонации — к сатирическому гротеску, приближающемуся иногда к резкости памфлета.

Все это вместе взятое накаляло политические страсти и вызывало подчас в последние годы жизни Бёлля острую полемику вокруг него, в которой врагов отделяло от друзей отнюдь не только различие эстетических вкусов. Мы уже упоминали, что реакционная пресса нарекла Бёлля «приемным отцом терроризма». Поводом для такого дикого обвинения послужила не только нашумевшая статья писателя «Хочет ли Ульрика Майнхоф пощады или охранной грамоты?». Ему инкриминировалось также, что в некоторых его произведениях звучат выстрелы, совершаются акты насилия. В романе «Бильярд в половине десятого» Иоганна Фемель стреляет в западногерманского министра господина М.; в повести «Потерянная честь Катарины Блюм» героиня убивает продажного журналиста бульварной прессы, в романе «Под конвоем заботы» появляются представители леворадикального молодежного движения, а в радиопьесе «Неуловимые» сюжет связан с ограблением банка группой лиц, которых, впрочем, трудно причислить к «террористам», и т. д.

Бёльль решительно протестовал против того, чтобы изображение насилия истолковывалось (и притом не по недомыслию, а злонамеренно, демагогически) как пропаганда насилия, и тем более такой его политической формы, как терроризм. Насилие — утверждал он — мрачный и неизбежный атрибут буржуазного общества. Бомбы и пистолеты — это насилие. А производить и продавать их — это не насилие? А держать деньги в банке, не зная и не

думая о том, что происходит с этими деньгами, на кого они «работают», что ими финансируется — это не соучастие в насилии? Но изображать насилие — вовсе не значит призывать к насилию. «Если все произведения, — говорил Бёлль, — в которых происходит или провозглашается насилие, например у Шекспира или Достоевского, были бы сами призывом к насилию, следовало бы запретить всю литературу, почти всю... Но изображение насилия в романе конечно же является не моральным оправданием насилия, а лишь конфронтацией тех проблем и тех человеческих типов, которые приводят к насилию... Это не проблема насилия, а проблема конфликта...»¹ То есть проблема социальных и нравственных противоречий большого общества.

* * *

Бёлля изначально, еще задолго до того как он впервые оказался в Советском Союзе, многое связывало с Россией. Прежде всего, я думаю, главные черты его личности, столь созвучные некоторым свойствам русского национального характера. Естественность и человечность, идея справедливости, самокритичный голос совести, способность понимать человеческие слабости и относиться к ним без непримиримой требовательности и педантизма, дух волюнтаризма и неприятие всяческой казенщины, строгой официальности и регламентации — таковы были нравственные предпосылки, способствовавшие сближению Бёлля со (выражаясь словами Томаса Манна) «святой русской литературой». Эта духовная связь настолько очевидна, что можно без чрезмерного удивления отнестись к словам западногерманского критика Петера Демеца, который назвал Бёлля «по существу русским писателем XIX века среди современных немецких авторов»².

Русская тема выступала в творчестве Бёлля прежде всего в ее духовно-нравственном значении. С наибольшей полнотой это выражено в романе «Групповой портрет с дамой». Появляющийся среди основных его персонажей военнопленный советский офицер Борис Колтовский призван не только выполнять определенные фабульные функции. С его образом связано и признание «немецкой вины», и мысль о высоком, едва ли не провиденциальном смысле русско-немецкого сближения.

Среди классиков русской литературы Бёлль испытывал наибольшее тяготение к Достоевскому, который был одной из главных опор его духовного становления еще в юные годы. И впоследствии его, словно магнитом, влекло к Достоевскому, он постоянно к нему возвращался, написал сценарий телевизионного фильма «Федор Дос-

¹ Böll Heinrich und Linder Christian. Drei Tage im März, S. 86—90.

² Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.06.1977.

тоевский и Петербург», вспоминал о нем в своих эссе и интервью. В Ленинграде он просил в первую очередь провести его по местам, связанным с памятью о Достоевском, и будучи приведен к «дому Раскольников», прошел описанный в романе и в неизменном виде сохранившийся роковой путь: тринадцать ступенек вниз — мимо хозяйкиной кухни — дальше вниз и через двор — каморка дворника в подворотне (не лежит ли там и сейчас тот топор?)...

Достоевский прежде всего, но Бёлля интересовали и другие русские писатели — классики и современники. Он оставил эссе о Льве Толстом, Юрии Трифонове, Василии Гроссмане и др. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну¹, он просил своих московских, ленинградских и тбилисских друзей, филологов и переводчиков-германистов, показать ему все, что могло оживить в его сознании образы хорошо ему известных и любимых писателей. Он посетил, в частности, музей-квартиру Пушкина на Мойке, дом Льва Толстого в Хамовниках, усадьбу «Ясная Поляна», музей-квартиру Чехова, музей-квартиру Горького.

Кстати, об этом последнем визите и последовавшем за ним разговоре. Сопровождавший Бёлля при осмотре дома Горького сотрудник музея рассказал ему о том, каким вниманием и заботой со стороны государства был окружен Горький в последние годы жизни: когда он решил вернуться на родину, к его приезду был приготовлен и ждал его богато обставленный дом-дворец, где он и поселился. Бёльль был шокирован тем, что он увидел и услышал. Как же так? — говорил он. — Этот замечательный писатель был даже лишен возможности выбрать себе мебель по своему вкусу. Хорошо, по крайней мере, что не он в ответе за ту безвкусную роскошь, которая его окружала. Но ведь это ущемляло достоинство и независимость писателя. В принадлежавшем государству доме он оказывался хотя и самым ценным, но все же лишь предметом принадлежавшей государству обстановки.

Здесь не место разбирать, насколько и в чем именно был прав Бёльль. Во всяком случае, даже не располагая достаточной информацией, он интуитивно уловил двусмысленность и трагичность положения, которое постепенно складывалось для Горького. Но важно и другое. В этом эпизоде сказался весь Бёльль с его пониманием общественной и нравственной миссии художника. Он никогда не произносил на этот счет громких самовозвеличивающих слов, не называл писателя пророком, пастырем, судьей, не возносил его над кругом общегражданских прав и обязанностей, но и не признавал над его пером ничьей иной власти, кроме власти правды.

И. Фрадкин

¹ Бёльль приезжал в СССР шесть раз — в 1962, 1965, 1966, 1970, 1975 и 1979 годах.

ПОЕЗД ПРИШЕЛ ВОВРЕМЯ



Перевод Е. Вильмонт

ПОВЕСТЬ



DER ZUG WAR PÜNKTLICH

Шагая по темному подземному переходу, они слышали, как наверху поезд подкатил к перрону и звучный голос в громкоговорителе очень мягко произнес: «Поезд с отпускниками, следующий из Парижа в Пшемысль через...»

Они поднялись по ступенькам на перрон и остановились перед вагоном, откуда с сияющими лицами выходили нагруженные огромными пакетами отпускники. Перрон быстро опустел, все было как всегда. Лишь кое-где под окнами вагонов стояли чьи-то девушки или жены... или молчаливый ожесточившийся отец... а звучный голос говорил, что надо поторапливаться. Поезд следует строго по расписанию.

— Почему не садишься? — робко спросил капеллан солдата.

— А что? — удивился солдат. — Ты полагаешь, я могу броситься под поезд... или дезертировать... Да? Чего тебе надо?.. Да, я могу, могу даже спятить, это мое право; я имею полное право спятить. Я не хочу умирать, весь ужас в том, что я не хочу умирать. — Он говорил очень холодно, слова его льдинками срывались с губ. — Не волнуйся. Сейчас сяду, где-нибудь обязательно найдется местечко... да... да, не надо сердиться, лучше помолись за меня!

Он взял вещи, вошел в купе, опустил стекло и высунулся наружу, а над ним каким-то слизистым облаком плыл звучный голос: «Поезд отправляется...»

— Я не хочу умирать! — закричал он, — я не хочу умирать, но ужас в том, что я умру... скоро!

Все дальше, дальше черная фигура на холодном сером перроне... все дальше... пока вокзал не растворился в ночи.

Иной раз слово, сказанное как бы невзначай, приобретает вдруг что-то кабалистическое. Оно становится тяжелым и до странности скорым, еще не произнесенное, оно уже спешит где-то там, в неведомых сферах отомкнуть засовы будущего и вернуться назад с пугающей целеустремленностью бумеранга. Из пустого журчания необдуманных речей, но особенно из тех чудовищно тяжелых и тусклых слов, что при прощании вертятся на языке у тех, кого везут на верную смерть, словно бы возникает свинцовая волна, что ударяет самого говорящего, и он вдруг постигает страшную и в то же время упоительную мощь рока. Любящим и солдатам, тем, кто обречен на смерть, и тем, кто преисполнен космической силой жизни, иной раз неожиданно сообщается эта мощь, даря и отягощая их внезапным просветлением... и слово падает, западает им в души.

Когда Андреас медленно, чуть ли не ощупью пробирался в глубь вагона, ему в душу запало слово «скоро», оно было точно пуля, безболезненно и почти незаметно пронзившая плоть, клетки, нервы, пока наконец не застряла как рыболовный крючок и вдруг разорвалась, образовав жуткую рану, из которой так и хлещет кровь... жизнь... боль...

Скоро, подумал он и почувствовал, что бледнеет. При этом, сам того почти не сознавая, он все делал по старой привычке. Чиркнул спичкой, осветив спящих солдат — кто спал лежа, кто сидя, но все в обнимку со своим багажом. Пахло холодным табачным дымом и холодным потом вперемешку с той на редкость вонючей пылью, что всегда окружает солдат. Огонек заходящей спички еще раз ярко вспыхнул напоследок, в этом свете он обнаружил свободное место в конце коридора и осторожно направился туда, зажав свой мешок под мышкой, а фуражку держа в руке.

Скоро, думал он, и ужас проникал все глубже и глубже. Ужас и полная уверенность. Никогда, думал он, никогда больше я не увижу этот вокзал и лицо своего друга, которого ругал даже в последнюю минуту... Никогда...

Скоро! Он добрался до свободного места, осторожно, чтобы не разбудить спящих, опустил на пол свой мешок, сел на него, прислонясь спиной к двери купе, и попытался как-нибудь поудобнее пристроить ноги. Левую он аккуратно вытянул, стараясь не задеть лицо

спящего солдата, а правую положил на чей-то рюкзак. Кто-то чиркнул спичкой и молча закурил в темноте. Чуть повернув голову, Андреас мог видеть светящуюся точку, а когда незнакомец затягивался поглубже, видно было даже его лицо, чужое, усталое, серое, с горькими складками ужасающей скуки.

Скоро, думал Андреас. Грохот поезда, все, как всегда. Вонь. Закурить, закурить во что бы то ни стало! Только не спать! За окном мелькали темные силуэты города. Где-то вдали лучи прожекторов обшаривали небо, точно длинные пальцы мертвеца раздирали синий покров ночи... дальние залпы зенитных орудий... и эти темные, без единого огонька безмолвные дома. Когда будет это «скоро»? Кровь отлила от сердца, потом опять прихлынула, туда-сюда, это циркулирует жизнь, а биение сердца говорит только одно: скоро!.. А он не мог уже и подумать: я не хочу умирать. Стоило ему мысленно начать эту фразу, как он тут же вспомнил: я умру... скоро...

Позади него в свете сигареты вынырнуло из темноты еще одно серое лицо и донеслось приглушенное усталое бормотанье. Разговаривали двое.

— Дрезден,— произнес один голос.

— Дортмунд,— сказал другой.

Бормотанье продолжалось, становясь все оживленнее. Потом кто-то выругался и бормотанье вновь стало тише; одна сигарета потухла, и опять позади него виднелся только один огонек. Это была та, вторая сигарета, а вскоре и она погасла, и вот опять вокруг лишь эта серая тьма, а впереди черная ночь с бесчисленными домами, которые немые, все как один немые и черны. И только вдалеке видны были тонкие чудовищно длинные мертвые пальцы прожекторов, обшаривающих небо. Ему казалось, что лица тех, кому принадлежат эти пальцы, ухмыляются, отвратительно, цинично ухмыляются, как лица ростовщиков и мошенников. Ты от нас не уйдешь, говорили их узкие огромные рты. Ты от нас не уйдешь, мы всю ночную тьму прощупаем! Может, они, эти пальцы, искали клопа, крохотного клопа в покрове ночи, и они найдут этого клопа...

Скоро. Скоро. Скоро. Скоро. Когда — скоро? Какое страшное слово «скоро»! «Скоро» может быть через секунду, «скоро» может быть и через год. «Скоро» ужасное слово. Это «скоро» сжимает будущее, делает его

ничтожно маленьким, и нет уже ничего определенного, совсем ничего определенного, одна сплошная неизвестность. «Скоро» это ничто и «скоро» — это очень многое. «Скоро» — это все. «Скоро» — это смерть...

Скоро я буду мертв. Я умру, скоро. Ты же сам это сказал, и кто-то в тебе и кто-то вне тебя сказал, что это «скоро» сбудется. Во всяком случае, сбудется на войне. Хоть что-то определенное, хоть что-то наверняка. Сколько еще продлится война?

Она может продлиться еще год, пока на востоке все окончательно не рухнет, а если американцы и англичане не ударят с запада, то и все два года, пока русские не выйдут к Атлантике. Но они должны ударить... Однако самое меньшее год война еще продлится. К концу сорок четвертого года она не может кончиться. Слишком покорна, слишком труслива и слишком бесстрашна вся эта система. Стало быть, срок от секунды до года. А сколько секунд в году? Скоро я умру, умру на войне. И не увижу больше мирной жизни. Не будет для меня мира. Ничего для меня больше не будет, ни музыки... ни цветов... ни стихов... ни простых человеческих радостей: скоро я умру...

Это «скоро» было как удар грома. Это маленькое слово сверкнуло, как молния, и в какую-то тысячную долю секунды высветило весь мир.

Запах человеческих тел, как всегда. Запах грязи, пыли и ваксы. Странно, где солдаты — там грязь... Пальцы мертвеца нашли клопа...

Он закуривает новую сигарету. Я хочу представить себе будущее, думает он. А может, это «скоро» ошибка, может, я просто слишком устал, слишком раздражен, слишком запуган. Он пробует вообразить, что станет делать, если не будет войны... тогда он... тогда он... но перед ним стена, которую ему не одолеть, сплошная черная стена. Он ничего не может себе представить. Конечно, он мог бы принудить себя додумать до конца эту фразу: тогда я буду учиться... найду где-нибудь комнату... будут книги... сигареты... буду учиться... будет музыка... стихи... цветы... Но и принуждая себя додумать фразу до конца, он все-таки сознает, что этого не будет. Ничего этого не будет. Это не мечты, это совсем блеклые мысли, они не имеют ни веса, ни крови, никакой человеческой субстанции. У будущего больше нет лица, как отрезало, и чем больше он об этом думает, тем яснее сознает, как близко это «скоро».

Скоро я умру, в этом есть определенность, умру в промежутке между годом и секундой. Какие уж тут мечты...

Скоро. Может, через два месяца. Он пытается представить себе, он хочет выяснить, высится ли стена перед ближайшими двумя месяцами, та стена, которую ему уже не одолеть. Два месяца... это уже будет конец ноября. Но у него ничего не получается. Представление об этих двух месяцах не имеет силы. Он мог бы с таким же успехом сказать: три месяца или четыре, или шесть — ничто не отзывается. Он думает: январь. Но никакой стены нет. Странная, тревожная надежда просыпается в нем. И вдруг, точно совершив прыжок, он думает: май. Ничего. Стена молчит. Нигде никакой стены. Ничего. Это «скоро»... это «скоро» всего лишь страшный призрак... Он думает: ноябрь. И ничего! Оживает безумная дикая радость. Января! Это уже следующий январь, через полтора года! Полтора года жизни! И ничего, никакой стены! Он счастливо вздыхает и тут уж мысли его перескакивают через время, точно через низкие пустышные барьеры. Января, май, декабрь! Ничего! И вдруг он чувствует, что хватается руками за пустоту. Эта стена ведь не временное понятие. Время мало что значит. Времени больше не существует. А надежда все-таки еще есть. Так хорошо он перескакивал через месяцы, через годы...

Скоро я умру, и он чувствует себя, как пловец, который знает, что берег уже совсем близко, но внезапно волной его отшвыривает назад, в пучину. Скоро! Вот она, стена, и через нее ему уже не перебраться, его больше не будет...

Краков, думает он вдруг, и сердце его замирает, кровь стынет в жилах. Он на верном пути! Краков! Ничего! Дальше, вперед! Пшемисль! Ничего! Лемберг! Теперь скорее дальше: Черновицы, Яссы, Кишинев, Никополь! Но уже с последним названием он чувствует, что все это ерунда, ерунда, и только, вроде той мысли: я буду учиться. Никогда, никогда он не увидит Никополья! Назад! Яссы! Нет, и Яссы он не увидит. И Черновицы тоже. Лемберг! Лемберг он еще увидит, до Лемберга он доберется живым. Да я спятил, думает он, я сошел с ума, выходит, я должен умереть между Лембергом и Черновицами?! Безумие... Медленно, с трудом он расстаётся с этими мыслями и вновь закуривает, уставясь в лицо ночи. Я просто истерик, чокнутый,

я перекурил, ночи и дни напролет только говорил, говорил, не спал, не ел, только курил, тут любой рехнется...

Надо что-то съесть, да и выпить тоже. Еда и питье помогают душе держаться в теле. Будь проклято это вечное курение! Он возится со своим мешком, напряженно вглядывается в темноту, пытаясь отыскать застежку и уже роясь в мешке, где все вперемешку: бутерброды и белье, табак, сигареты и шнапс, он вдруг ощущает свинцовую беспощадную усталость, которая просто сковала его по рукам и ногам... он засыпает... руки на открытом мешке... у его левой ноги лицо, которого он никогда не увидит, а под правой ногой чей-то рюкзак... усталые и уже грязные руки на мешке... он засыпает, уронив голову на грудь...

Просыпается он оттого, что кто-то наступил ему на руку. Внезапная боль — и он открывает глаза: кто-то быстро прошел мимо, толкнув его в спину и отдавив руку. Он видит, что уже светло, и слышит, как очередной звучный голос отчетливо произносит название станции, и понимает, что это Дортмунд. Тот парень, что ночью курил и бормотал что-то у него за спиной, выходит здесь, бесцеремонно, с руганью пробивается через тамбур. Этот человек с незнакомым серым лицом уже дома. В Дортмунде. Тот, что сидел рядом с ним и на чей рюкзак Андреас положил ногу, спросонья трет глаза в холодном коридоре. А тот, возле лица которого Андреас пристроил вторую ногу, еще спит. По платформе снуют девушки с дымящимися кофейниками. Всё как всегда: плачущие жены, девушки, позволяющие целовать себя, отцы... всё, как всегда. Это и есть безумие.

Но в сущности он знает, — едва продрав глаза, он сразу ощутил — «скоро» еще тут. Рыболовный крючок засел глубоко, и ему уже не сорваться. Он попался на это «скоро», как на удочку, и теперь будет трепыхаться на крючке, трепыхаться, покуда между Лембергом и Черновицами...

Мгновенно, на какую-то миллионную долю секунды, когда он проснулся, у него мелькнула надежда, что «скоро» исчезло, как ночь, как призрак, явившийся после бесконечных разговоров и бесконечного курения. Но «скоро» здесь, неумолимо...

Он распрямляет спину и видит свой еще полуоткрытый мешок. Запихивает внутрь вылезшую оттуда рубашку. Справа от него парень открывает окно и протяги-

вает кружку худой усталой девушке на перроне, которая наливает ему кофе. Кофе пахнет отвратительно, от этого теплого запаха сводит желудок; это запах казармы, казарменной кухни, запах, распространившийся по всей Европе... а может распространиться и по всему миру. И все-таки до чего же велика сила привычки! Он тоже протягивает в окно свою кружку, и девушка наливает ему этот серый кофе, серый, как военная форма. Он слышит запах девушки, по нему можно определить, что она спала, не раздеваясь, бегала среди ночи от поезда к поезду, с трудом таща тяжелый кофейник, тяжелый кофейник...

Она вся пропахла этим мерзким кофе. Может, она даже спит возле кофейника, который стоит на печке, чтобы не остыл, спит до прихода следующего поезда. Кожа у нее сухая и серая, как разбавленное молоко, жидкие тускло-черные волосы выбиваются из-под накладки, но глаза у нее ласковые и печальные, а когда она наклоняется, чтобы налить кофе в кружку, он видит ее прелестный затылок. Какая красивая девушка, думает он, наверняка все сочли бы ее уродиной, а она красива, она прекрасна... какие у нее нежные пальчики, я готов часами смотреть, как она наливает мне кофе; хоть бы эта кружка прохудилась, а она пусть льет, льет, а я буду смотреть на этот прелестный затылок, загляну в эти ласковые глаза, а звучный голос пусть молчит. Все беды от этих звучных голосов, эти голоса начали войну и эти голоса регулируют худшую из войн — войну на вокзалах.

Черт бы побрал эти звучные голоса!

Человек в красной фуражке послушно ждет, что ему прикажет звучный голос, потом поезд трогается, одних героев оставив на вокзале, а других увозя с собой. Уже совсем светло, хоть и очень рано: семь часов. Никогда, никогда в жизни я не проеду больше через Дортмунд... Столько раз проезжал его, но ни разу в нем не был. Никогда я уже не узнаю, как выглядит Дортмунд, и никогда не увижу эту девушку с кофейником. Никогда больше. Я скоро умру, между Лембергом и Черновицами. Моя жизнь теперь — определенное число километров, дистанция на железной дороге. Но странно, ведь между Лембергом и Черновицами нет линии фронта, и партизан там немного, или фронт за одну ночь продвинулся так невероятно глубоко? Или война внезапно, совсем внезапно кончилась? Или мир наступит раньше, чем «ско-

ро»? Какая-нибудь катастрофа? Или подход этот окаянный идол? Может, наконец, его убили, или русские предприняли генеральное наступление и разбили нас везде, вплоть до отрезка между Лембергом и Черновицами, и капитуляция...

Теперь уж никуда не денешься, спящие солдаты проснулись, стали пить, есть, трепаться.

Он высунул голову в окно, подставив лицо холодному утреннему ветру. Надо напиться, думает он, выхлебать целую бутылку, тогда все из головы вылетит, тогда по крайней мере до Бреслау буду спокоен. Он наклоняется, рывком открывает мешок, но словно чья-то невидимая рука удерживает его, не давая взяться за бутылку. Он достает бутерброд и начинает медленно, спокойно жевать. Это ужасно, что незадолго до смерти еще приходится есть. Я скоро умру, и все-таки я должен сперва поесть. Бутерброды с колбасой. «Противовоздушные» бутерброды, которые завернул для него его друг капеллан, большой пакет с бутербродами, густо намазанными маслом, и хуже всего то, что они очень вкусные. Он опять высовывается в окно и спокойно жует, изредка наклоняясь к открытому мешку за следующим бутербродом, и маленькими глотками прихлебывает чуть теплый кофе.

Как страшно смотреть на эти жалкие домишки, где рабы собираются в путь на свои заводы и фабрики. Дом за домом, дом за домом, и везде живут люди, они страдают, они смеются, эти люди, они едят и пьют и делают новых людей, люди, которые завтра, возможно, умрут... Все кишмя кишит людьми. Старухи и дети, мужчины и даже солдаты... Где-нибудь у окна стоит солдат, один тут, другой там, и каждый знает, когда ему опять садиться в поезд и ехать обратно, в ад...

— Эй, парень,— произносит хриплый голос за его спиной,— не хочешь сыграть в картишки?

Он испуганно оборачивается и, сам не сознавая, что делает, отвечает:

— Хочу.

И видит колоду карт в руках небритого человека, с ухмылкой глядящего на него. Я сказал «хочу», думает он, кивает и идет вслед за Небритым. Коридор теперь пуст. Картежники, видно, успели перенести в тамбур свои вещички, их стережет высокий блондин с улыбкой на мягком лице.

— Нашел партнера?

— Нашел! — хрипло отвечает Небритый.

Я скоро умру, думает Андреас, усаживаясь на свой мешок, который он захватил с собой. Всякий раз, как он ставит мешок на пол, каска, прицепленная к нему, громко звякает, и сейчас, при виде ее, он вдруг вспоминает, что забыл свою винтовку. Моя винтовка осталась у Пауля в гардеробе, за его прорезиненным плащом. Он улыбается.

— Вот и хорошо, приятель, — говорит Блондин, — забудь свои неприятности и сыграй с нами.

Они здесь очень уютно устроились. Сидят у самой двери, но дверь заперта и забаррикадирована багажом, и ручка накрепко перетянута проволокой. Небритый достает из кармана синей рабочей куртки кусачки, откуда-то из-под вещей вытаскивает моток проволоки и еще крепче заматывает ручку двери.

— Вот и хорошо! — одобряет Блондин. — Пусть они до самого Пшемысля лопаются от злости! Ты ведь до Пшемысля едешь? Сразу видно, — говорит он, когда Андреас кивает в ответ.

Вскоре Андреас замечает, что оба пьяны. У Небритого целый картонный ящик с бутылками. Он пускает их по кругу. Играют в покер.

Поезд грохочет на стыках рельсов, за окнами все светлее, то и дело они стоят на станциях со звучными голосами и без. Поезд заполняется людьми и снова пустеет, и снова заполняется и снова пустеет, а эти трое все сидят в углу и играют.

Иной раз на станции кто-нибудь снаружи бешено колотит в запертую дверь, сыплет проклятиями, но эти трое только смеются, играют себе дальше и швыряют в окно пустые бутылки. Андреас совсем не думает об игре, они ведь так чудесно просты, эти азартные игры, можно совсем не думать и обратить свои мысли на что-то иное...

Пауль сейчас уже встал, если он вообще ложился. Может, у них там опять объявили воздушную тревогу и он вовсе не спал. А если и спал, то каких-нибудь два-три часа. Домой он попал в четыре. Сейчас почти десять. Что ж, до восьми он, может, и спал, а потом встал, умылся, уже отслужил обедню, помолился за меня. Он молился о том, чтобы я мог радоваться жизни, ведь я же отрекся от людских радостей.

— Пас! — говорит он. Все-таки здорово, что можно сказать «Пас!» и выиграть время, чтобы думать дальше...

Потом Пауль вернулся к себе, закурил трубку, набитую табаком из окурков, перекусил «противовоздушными» бутербродами и ушел. Куда-нибудь ушел. Может, к девушке, которая ждет внебрачного ребенка от какого-то солдата, может, к чьей-нибудь матери, а может, на черный рынок, купить несколько сигарет.

— Флеш! — говорит Андреас. Он опять выиграл. В кармане у него уже целая пачка денег.

— Ну и везет же тебе, приятель, — заявляет Небритый. — Пейте, ребята! — Он вновь пускает бутылку по кругу. Он вспотел, и его лицо под маской грубова-того веселья очень печально и задумчиво. Он тасует карты... Как хорошо, думает Андреас, что сейчас не мне сдавать. У меня есть одна минута, и я могу ни о чем, совсем ни о чем не думать, только о Пауле, который сейчас, усталый и бледный, бредет среди развалин и все время молится. А я на него накричал... нельзя вообще ни на кого кричать, даже на унтер-офицеров...

— Фулы! — сообщает Андреас. Он опять выиграл. Партнеры смеются, они играют не из-за денег, а чтобы убить время. Какое трудное, страшное занятие — убивать время, вновь и вновь, словно тяжелым темным мешком отбрасывать назад незримо бегущую за горизонтом секундную стрелку и знать, что она все равно бежит по кругу, неумолимо...

— Нордхаузен! — произносит звучный голос, — наш поезд прибыл на станцию Нордхаузен. — Слова эти раздаются, когда Андреас тасует карты. — Поезд с отпускниками на Пшемысль, следующий через... — А потом: — Просим занять места и закрыть двери.

Все это вполне нормально. Он медленно сдает карты. Скоро уже одиннадцать. Выпьем еще шнапса, отличный шнапс. Он говорит об этом Небритому. Поезд опять набрал скорость, в вагоне снова теснота, и многие посматривают на них. Становится как-то неуютно, да и разговоры отвлекают, хочешь не хочешь.

— Пас! — говорит Андреас.

Блондин и Небритый добродушно толкают друг друга. Они знают, что оба блефуют, и оба смеются, им важно, кто из них блефует лучше.

— Практически, — слышится чей-то голос с нижне-немецким выговором, — практически мы уже выиграли войну!

— Гм! — произносит другой голос.

— Как будто фюрер может проиграть войну! —

раздается третий голос.— Это вообще чушь, говорить «выиграли войну». Кто так говорит, тот всегда думает, что ее можно и проиграть. Когда мы начали войну, тогда мы ее и выиграли!

— Крым отрезан,— вмешивается четвертый голос,— русские заперли нас под Перекопом.

— А мне,— доносится совсем слабый голос,— мне как раз надо в Крым...

— Только на «юнкерсе»,— с уверенностью говорит тот, что уже выиграл войну.— До чего же здорово вот так, на юнкерсе...

— У англичан от них поджилки трясутся...

Молчание тех, кто не говорит ничего, кажется зловещим, это молчание людей, которые не забывают, которые твердо знают, что они обречены...

Блондин сдает. Небритый ставит пятьдесят марок.

Андреас видит, что у него флеш-рояль.

— Ставлю сто! — смеется он.

— Играю! — соглашается Небритый.

— И еще двадцать сверху!

— Играю! — говорит Небритый. Естественно, он проигрывает.

— Надо же, двести сорок марок! — говорит кто-то позади них, и по голосу слышно, что человек этот качает головой. На минуту все стихло, игроки торгуются. Затем треп возобновляется.

— Давайте выпьем! — предлагает Небритый.

— Что за глупость с этой дверью!

— Какой дверью?

— Да эти сволочи забаррикадировали дверь, своих же товарищей надувают!

— Заткнись!

Вокзал без звучного голоса. Да благословит господь вокзалы без звучного голоса. Монотонная болтовня продолжается, все уже забыли и про дверь, и про двести сорок марок, и Андреас чувствует, что мало-помалу начинает пьянеть.

— Может, прервемся,— предлагает он,— что-то есть захотелось.

— Нет! — кричит Небритый,— ни за что, играть будем до самого Пшемысля. Нет! — в его голосе неподдельный страх.

Блондин зевает, что-то бормоча себе под нос.

— Нет! — кричит Небритый.

Игра возобновляется.

— Мы одними только МГ-42 войну выиграем. Против них никто не попреет.

— Фюрер не подкачает!

Но молчание тех, кто ничего, совсем ничего не говорит, просто страшно. Это молчание людей, знающих, что все они обречены.

На некоторых станциях в вагон набивается столько народу, что игрокам едва удастся держать карты в руках. Теперь уже все трое пьяны, но головы у них ясные. Потом вагон опять пустеет, голоса становятся громкими, звучные и незвучные. Вокзалы. Уже полдень. Между делом они закусывают, опять играют, опять пьют. Шнапс просто отличный.

— Французский! — объясняет Небритый. Сейчас он выглядит совсем уж заросшим. Лицо его сплошь покрылось черной щетиной, отчего кажется еще бледнее... Глаза красные. Он почти совсем не выигрывает, но денег у него, похоже, куры не клюют. Теперь везет Блондину. Они уже играют в «моя тетка, твоя тетка», вагон опять почти пуст, потом играют в «кучки» и вдруг у Небритого карты падают из рук, он валится набок и начинает жутко храпеть. Блондин ласково усаживает его попрямее, чтобы Небритый мог спать, прислонясь к стене. Они чем-то прикрывают ему ноги, и Андреас сует ему в карман выигранные деньги. Как нежно и заботливо обходится с ним Блондин! Никогда бы не подумал, что этот олух с мягким лицом на такое способен.

Интересно, что делает сейчас Пауль?

Они встают, потягиваются, стряхивают с себя крошки и пепел и выбрасывают в окно последнюю пустую бутылку.

За окнами слева и справа тянутся прелестные сады, мягкие изгибы холмов, веселые облака — осенний полдень... Скоро, скоро, я умру. Между Лембергом и Черновицами. За картами он пробовал молиться, но мысли его то и дело сбивались, он вновь и вновь пытался строить какие-то фразы в будущем времени, но чувствовал, что фразы эти не имеют силы. Он хотел разобраться, в чем же дело — это все чепуха, ничтожная чепуха, пустота! Но стоило ему мысленно произнести «Пшемысль!», как он понял, что теперь он на верном пути. Лемберг! Сердце замирает! Черновицы. Ничего... Значит, где-то посередине, между... Он ничего не мо-

жет вспомнить, ни одного названия, он так плохо помнит географическую карту.

— Послушай, у тебя есть карта? — спрашивает он Блондина, который все время смотрит в окно.

— Нет, — приветливо отвечает тот, — а вот у него есть! — Он указывает на Небритого. — У него есть карта. До чего ж он беспокойно спит! У него какая-то тяжесть на сердце. Я тебе говорю, у этого человека на сердце что-то очень страшное...

Андреас молча смотрит в окно через плечо Блондина.

— Радебейлы! — возглашает звучный голос с саксонским выговором. Бравый голос, красивый голос, немецкий голос, вполне достойный произнести: «Следующие десять тысяч прошу на бойню...»

А за окном чудесный, почти летний, погожий сентябрьский день. Скоро я умру и никогда больше не увижу это дерево, это красно-коричневое дерево перед зеленым домиком. И эту девушку, ведущую велосипед, никогда не увижу эту девушку в желтом платье, с черными волосами, никогда не увижу все то, мимо чего пронесится поезд...

Блондин тоже уснул, примостясь рядом с Небритым, во сне они прижались друг к другу; один храпит громко и хрипло, другой потише, с присвистом. Коридор пуст, только изредка кто-то пройдет в клозет, да кто-то скажет иной раз:

— Эй, приятель, там в купе есть место!

Но в тамбуре куда лучше, уединеннее, а сейчас, когда оба его партнера уснули, он совсем один... До чего же великолепная была идея — прикрутить ручку двери проволокой.

Все, что поезд оставляет позади, я тоже навсегда оставляю позади, думает он. Ничего, ничего я больше не увижу, ни вот этот кусочек неба с легкими серо-голубыми облаками, ни эту маленькую мушку, сидящую на оконной раме, вот сейчас она улетит, улетит куда-нибудь в Радебейль; ах, эта маленькая мушка навсегда останется в Радебейле, останется под этим кусочком неба и не проводит меня до того места между Лембергом и Черновицами... Она полетит в Радебейль, влетит в какую-нибудь кухню, где стоит душный запах картошки в мундире и острый — дешевого уксуса, там готовят салат для какого-нибудь солдата, которому предстоят три недели пытки мнимыми радостями от-

пуска... ничего я больше не увижу, потому что поезд уже делает поворот и идет к Дрездену.

В Дрездене на перроне полно народу, многие сходят в Дрездене. Как раз за окном целая орава солдат, во главе ее толстый краснолицый молодой лейтенант. На солдатах новое обмундирование, и лейтенант тоже в новом, с иголки, мундире смертника, и ордена у него на груди новенькие, как свежеотлитые оловянные солдатики, они выглядят до ужаса ненастоящими. Лейтенант дергает ручку двери.

— Откройте двери! — кричит он Андреасу.

— Она не открывается, заперто! — орет Андреас в ответ.

— Не кричите на меня, а откройте дверь, откройте немедленно!

Андреас, сжав губы, мрачно смотрит на лейтенанта. Я скоро умру, а он кричит на меня. И он смотрит мимо лейтенанта, в пространство. Солдаты за спиной лейтенанта усмеваются. У них хоть лица не новенькие, у них старые, серые, всепонимающие лица, только обмундирование новое, на таком и ордена выглядят старыми, поношенными. Только лейтенант весь новый с головы до пят, у него даже лицо сияет новизной. Щеки его еще больше покраснели, и голубые глаза уже наливаются кровью. Он говорит теперь тихо, так грозно, так устрашающе тихо, что Андреасу впору расхохотаться.

— Вы откроете дверь? — спрашивает лейтенант. Ярость так и брызжет с его начищенных пуговиц.— Вы хоть посмотрите на меня! — орет он на Андреаса.

Но тот не смотрит на него. Я скоро умру, думает он, и никогда не увижу всех этих людей, что толпятся тут на платформе, никого... И запаха этого он больше не услышит, запаха пыли и паровозного дыма, здесь у окна к этому запаху примешивается еще и запах новенькой формы лейтенанта, форма пахнет штапельным полотном.

— Я прикажу вас арестовать! — рычит лейтенант, — я сдам вас патрульной службе!

К счастью, проснулся Блондин. С заспанным лицом он выглядывает в окно, вытягивается по стойке смирно и говорит:

— Весьма сожалею, господин лейтенант, но дверь эта сломана и во избежание несчастных случаев заперта снаружи.

Он говорит как положено по уставу, быстро и сми-

ренно, речь его звучит на удивление четко, как полночный бой часов. Лейтенант опять возмущенно пыхтит.

— Почему же вы мне это не сказали? — набрасывается он на Андреаса.

— Еще раз сожалею, господин лейтенант, но должен сообщить, что мой товарищ — глухой, абсолютно глухой, — мурлычет Блондин. — Результат ранения в голову.

Солдаты за спиной лейтенанта смеются. Лейтенант краснеет, как помидор, и направляется к соседнему вагону. Солдаты следуют за ним.

— Вот глупый боров, — бормочет Блондин, глядя ему вслед.

Я мог бы здесь сойти, думает Андреас, наблюдая за пестрой толпой на перроне. Сошел бы здесь и поплелся куда-нибудь, все равно куда, лишь бы подальше, пока меня не схватят и не поставят к стенке, и тогда я умер бы не между Лембергом и Черновицами, а был бы расстрелян в какой-нибудь саксонской дыре или подход бы в концлагере. Но я стою тут у окна, весь как будто налит свинцом. Я не могу пошевелиться, я весь застыл, этот поезд связан со мной, как и я связан с этим поездом, который везет меня навстречу моему предназначению, и самое странное, что я не испытываю ни малейшей охоты выйти здесь и пройтись по берегу Эльбы под этими чудными деревьями. Я стремлюсь в Польшу, стремлюсь к этому горизонту так страстно и искренне, как только любящий стремится к своей возлюбленной. Когда же поезд тронется, когда он наконец отойдет? Зачем ему здесь стоять, зачем ему так долго стоять в этой проклятой Саксонии, и почему на сей раз так долго молчит звучный голос? Я сгораю от нетерпения, у меня нет страха, и это поразительно, совсем нет страха, одно только невероятное любопытство и беспокойство. И все-таки мне не хочется умирать. Мне хочется жить, ведь теоретически жизнь прекрасна, теоретически жизнь великолепна, но я не хочу сойти с поезда, странно, неужели я мог бы сойти? Достаточно пройти по коридору, бросив тут свой жалкий багаж, и удрать куда глаза глядят, гулять под деревьями, под осенними деревьями... а я стою здесь, как будто налит свинцом... я хочу остаться в этом поезде, я как безумный стремлюсь в угрюмую Польшу, к тому неведомому месту между Лембергом и Черновицами, где мне суждено умереть.

Вскоре после Дрездена проснулся и Небритый. Его лицо под темной щетиной кажется совсем белым, а глаза стали еще более несчастными. Он молча открывает банку консервов, достает вилку и начинает есть мясо очень маленькими кусочками, заедая их хлебом. Руки у него грязные, кусочки мяса иногда падают на пол, туда, где он ночью будет спать, туда, где валяются окурки и масса того неопределенного мусора, которого всегда полно вокруг солдат. Блондин тоже решает поесть. Андреас стоит у окна и ничего не видит. За окнами светло, и солнце еще не спит, но он ничего не видит. Все его мысли заняты очаровательным мягким ландшафтом, садами и парками в окрестностях Дрездена. Он с нетерпением ждет, когда же Небритый покончит с трапезой, чтобы спросить его насчет карты. Он понятия не имеет, что там, между Лембергом и Черновицами. Никополь он в состоянии себе представить, и Лемберг и Пшемысль... и Одессу и Николаев... и Керчь, но Черновицы — одно лишь название... оно наводит на мысль о евреях и запахе лука... мрачные улицы, дома с плоскими крышами, широкие улицы и руины административных зданий в классическом австрийском стиле, и разбитые, типично австро-венгерские фасады в одичалых садах, где сейчас, вероятно, скрываются лазареты или пункты сбора раненых, и прелестные меланхоличные восточные бульвары с низкими толстыми деревьями, чтобы они своими верхушками не задевали плоские крыши домов. Никаких вершук...

Так должны выглядеть Черновицы, а вот что там, между Лембергом и Черновицами, об этом он и представления не имеет. Кажется, это Галиция. Лемберг — главный город Галиции. А где-то еще есть Волынь, всё темные, мрачные названия, они пахнут погромами и неимоверно печальными громадными поместьями, где томные женщины мечтают о супружеских изменах, ибо им опротивели их мужья с жирными загривками...

Галиция, мрачное слово, страшное слово, и все-таки прекрасное. Что-то от неслышно вонзающегося ножа... Галиция...

Лемберг очень красив. Лемберг он вполне представляет себе. Эти города красивы, угрюмы, лишены легкости, прошлое их кроваво, города с глухими переулками, тихими и глухими...

Небритый выбрасывает в окно пустую консервную

банку, прячет в карман обкусанный хлеб и закуривает. Лицо у него грустное-грустное, какое-то покаянное, словно он стыдится этой беспутной карточной игры и пьянства. Он становится у окна рядом с Андреасом, и Андреас чувствует, что ему хочется говорить.

— Вон, гляди, фабрика,— произносит он,— мебельная фабрика.

— Да,— отвечает Андреас, он ничего не видит, он и не хочет ничего видеть, только карту.— Слушай,— говорит он, встряхнувшись,— ты не мог бы дать мне карту?

— Какую карту?

Андреас пугается и чувствует, что бледнеет. Что, если у Небритого нет никакой карты?

— Ну, эту...— лопочет он,— эту... географическую.

— Ах, вот что...— Небритый сразу нагибается, роется в мешке и протягивает Андреасу сложенную карту.

Неприятно, что Небритый вместе с ним склоняется над картой. Он дышит на него перегаром и запахом мясных консервов. От него разит потом и грязным бельем. Андреас от волнения почти ничего не видит. И вдруг замечает указательный палец Небритого, толстый, красный, грязный и все-таки какой-то очень добродушный палец. Небритый говорит:

— Мне вот сюда надо.

Андреас читает название: Коломыя. Странно, сейчас, внимательно взглядевшись, он замечает, что Лемберг совсем не так уж далеко от этой самой Коломыи... теперь немного назад... Станислав... Лемберг... Лемберг... Станислав... Коломыя, Черновицы. Странно, думает он. Станислав, Коломыя... У этих названий нет никакого эха. А голос в нем, этот постоянно бодрствующий и чуткий голос колеблется и дрожит, как стрелка компаса перед тем, как замереть. Коломыя, доберусь ли я еще до Коломыи? Ничего определенного... странное колебание постоянно вибрирующей стрелки... Станислав? То же кружение. Никополь! Ничего.

— Вот тут,— говорит Небритый,— стоит моя часть. Ремонтные мастерские. Я неплохо устроился.— Он произносит это таким голосом, каким обычно говорят: «Мне ужасно плохо».

Странно, думает Андреас. Я думал, там равнина, и на карте будет зеленое пятно с черными точками, но карта там беловато-желтая. «Отроги Карпат» вспоминает он вдруг и видит перед собой свою школу, всю

школу с вестибюлями и бюстом Цицерона, и узкий школьный двор, зажатый между двумя густонаселенными домами, где летом в окна высовывались женщины в одних бюстгальтерах, школьный сортир рядом с каморкой швейцара, и большой высохший пруд, где они на перемене быстренько выкуривали по сигарете.

«Отроги Карпат»...

Палец Небритого теперь движется на юго-восток.

— Херсон, тут мы стояли до последнего времени, а теперь отступили к Лембергу или даже к венгерским Карпатам. В Никополе тоже прорвали фронт, ты в курсе? И отступаем теперь по такой грязи! Представляешь, отступить по грязи? Это же чистое безумие, всю технику побросали, и если три машины, одна за другой, застрянут на дороге, значит, пиши пропало, тут уж ни вперед, ни назад, и все надо взрывать, и всем топтать пешком, даже генералам... надо надеяться. Но эти-то улетят, наверняка... А им бы пешочком, пешочком, как любимице фюрера — пехоте. Ты из пехоты?

— Да,— говорит Андреас. Он мало что понял. Он чуть ли не с нежностью смотрит на желтовато-белый кусочек карты, где всего четыре черные точки: одна, жирная, это Лемберг, чуть поменьше — Черновицы, и две совсем маленькие: Коломыя и Станислав.

— Подари мне эту карту,— хрипло просит он,— подари мне ее,— просит он, не глядя на Небритого. Он уже не в силах оторваться от карты и дрожит от страха, что Небритый откажет ему. У многих так бывает, что вещь вдруг кажется необыкновенно ценной, если кто-то на нее позарился. Может, в следующую минуту ты ее и выбросишь, но в этот миг она кажется тебе ценной и непродажной только оттого, что она кому-то понадобилась.

Со многими это бывает, но Небритый не таков.

— Конечно, бери,— говорит он удивленно,— это ж чепуха, двадцать пфеннигов. И к тому же она старая. А ты куда едешь?

— В Никополь,— отвечает Андреас и опять ощущает отвратительную пустоту при этом слове, ему кажется, будто он солгал Небритому. Он не смеет поднять на него глаза.

— Пока ты доедешь, Никополь уже — тю-тю, вот, может, в Кишинев попадешь... вряд ли дальше...

— Ты думаешь? — спрашивает Андреас. И название «Кишинев» тоже ничего ему не говорит.

— Ясное дело. Коломыя еще держится,— смеется Небритый.— Сколько тебе ехать до места? Давай поглядим. Завтра утром мы в Бреслау. Завтра вечером в Пшемысле. Значит, в четверг или в пятницу, а то и в пятницу вечером попадем в Лемберг. В субботу вечером я буду в Коломые, а у тебя на дорогу уйдет еще несколько дней, если исхитриться, то, может, и неделя, а через неделю наши уйдут из Никополя, через неделю Никополь для нас, считай, потерян.

Суббота, думает Андреас. Суббота — в этом слове уверенность. Полнота жизни. В субботу я еще буду жив. О таком близком сроке он думать прежде не отваживался. Теперь-то он понял, почему его сердце молчало, когда он думал о месяцах и годах. Это был прыжок, прыжок на огромное расстояние, прыжок через цель, выстрел в пустоту, выстрел без эха, выстрел в ничейную страну, которая уже не для него. Конец близок, чудовищно близок. Суббота. Безумная, сладостная, болезненная дрожь. В субботу я еще буду жив, всю субботу еще буду жив. Итого, три дня. Но в субботу вечером Небритый собирается быть в Коломые, значит, в субботу ночью я должен быть в Черновицах, а ведь это случится не в Черновицах, а между Лембергом и Черновицами, а значит, не в субботу. Воскресенье! — мысленно произносит он. Ничего... совсем чуть-чуть... нежное, очень-очень грустное и неопределенное чувство... В воскресенье утром я умру между Лембергом и Черновицами.

Только теперь он поднимает глаза на Небритого. И пугается его лица, белого как мел под черной щетиной. В глазах у Небритого страх. А ведь он едет не на фронт, а в ремонтные мастерские. Откуда этот страх, откуда эта печаль? Тут не просто похмелье. Андреас пристально смотрит в глаза Небритого, но еще больше пугается зияющей в них бездны отчаяния. Это не только страх и пустота так жутко сосут его изнутри, и Андреас понимает теперь, почему Небритый столько пьет, он пьет, чтобы хоть чем-то заполнить эту бездну...

— Самое смешное,— хриплым голосом произносит Небритый,— самое смешное в том, что у меня еще отпуск. Отпуск до следующей среды, целая неделя. Но я удрал. Моя жена... моя жена...— он мучительно давится чем-то страшным, то ли всхлипом, то ли яростью.— Моя жена,— повторяет он,— моя жена мне

изменила. Да,— он вдруг громко смеется,— да, она мне изменила, приятель. Я прошел Европу, с французенкой спал, и с румынкой путался, и в Киеве за русскими ухлестывал... а в отпуске или в увольнительной, где-нибудь в Варшаве или в Кракове разве устоишь перед красивыми польками... Немыслимое дело... и... и...— опять горло его сдавил этот страшный комок — то ли ярости, то ли рыдания, точно комок пуха в глотке хищной птицы.— И вот приезжаешь домой, совершенно неожиданно, конечно, больше года дома не был, а на твоей кушетке лежит парень, русский, да, русский лежит на твоей кушетке, граммофон играет танго, а твоя жена в красной пижаме сидит у стола и смешивает коктейль... да, так оно и было, в точности. Я присылал домой много водки и разных ликеров, из Франции, из Венгрии, из России. Парень с перепугу чуть не подавился сигаретой, а жена закричала, как зверь... Я тебе точно говорю, как зверь! — Его массивные плечи дрогнули.— Как зверь, говорю я тебе, а больше я ничего не знаю.

Андреас испуганно оглядывается, один-единственный быстрый взгляд. Но Блондин ничего не мог слышать. Он сидит себе спокойно, абсолютно спокойно, и мажет на белый хлеб ярко-красный мармелад из чистенькой завинчивающейся баночки. Так аккуратно и спокойненько мажет, ни дать ни взять чиновник, какой-нибудь там старший инспектор. А может, Блондин и в самом деле инспектор? Небритый молчит, его бьет дрожь. Никто не мог слышать его слов. Сквозняк унес их... они улетели, неслышно улетели со сквозняком, может, полетели обратно в Дрезден... в Радебейль... туда, где сидит маленькая мушка и где черноволосая девушка в желтом платье стоит, опершись на велосипед... все еще стоит... все еще...

— Да,— поспешно говорит Небритый, говорит почти официальным тоном, наверно, хочет побыстрее размотать этот начатый клубок.— Я сбежал, просто взял и сбежал. В дорогу я надел старые брюки, а новые, черные, танкистские, со складочкой, хотел сберечь для отпуска. Я так радовался предстоящей встрече с женой... как полоумный... не только из-за... не только из-за этого... Нет! Нет! — кричит он.— Радуешься ведь совсем из-за другого. Ведь это же твой дом, ведь это же твоя жена, пойми. То, что было с другими бабами, это все ерунда, через час забываешь...

а тут, тут... русский, высокий такой парень, насколько я мог заметить... и как он там развалился, покуривая... так вальяжно мы никогда не лежим и не курим... мы нигде в мире не умеем лежать и курить так вальяжно. Я по его носу понял сразу, что это русский... по его носу...

Я должен больше молиться, думает Андреас, я как сел в поезд, так почти и не молился. Небритый опять молчит, глядя на мягкий, залитый золотым мерцанием солнца ландшафт. Блондин по-прежнему сидит, пьет кофе из бутылки и ест белый хлеб с маслом; масло у него в новенькой красной масленке; ест он очень аккуратно и размеренно. Надо больше молиться, думает Андреас, и только он собрался молиться, как Небритый опять нарушает молчание:

— Да, я сбежал. Сел в первый же поезд, а все, что привез, забрал с собой. Водку, мясо и деньги, знаешь, сколько я денег привез, и все для нее, знаешь, сколько я всего приволок, и только для нее. Эх, был бы у меня сейчас шнапс, хватил бы я... но где его теперь взять... я уж прикидывал, но они тут все с ума посходили, о черном рынке и понятия не имеют...

— У меня есть шнапс,— предлагает Андреас,— хочешь?

— Шнапс! Слушай, парень... Шнапс!

Андреас улыбается.

— Я дам тебе шнапс в обмен на карту, идет?

Небритый обнимает его... Лицо у него почти счастливое. Андреас достает бутылку. На секунду у него мелькает мысль: надо быть педагогичным и отдать ему вторую бутылку, только если она позарез ему будет нужна или потом, когда проспится. Но тут же опять наклоняется к мешку и достает вторую бутылку.

— Вот! — говорит он. — Нет, пей один, я больше не могу.

Я скоро умру, думает он... Скоро, скоро, и это «скоро» уже не так расплывчато, он уже нащупал это «скоро», подкрался к нему, выследил, и теперь знает, что умрет в ночь с субботы на воскресенье между Лембергом и Черновицами... в Галиции. Вот на карте восточная Галиция, отсюда рукой подать до Буковины и Волыни. Эти названия как диковинные напитки. Буковина, это слово отдаст сливовицей, а Волынь — как крепкое, густое пиво, он пил один раз такое в Будапеште, не пиво, а настоящий суп...

Он опять смотрит в окно и по отражению в стекле видит, как Небритьй пьет из горлышка, как Блондин жестом показывает Небриту, что не хочет шнапса. И опять он смотрит в окно, но ничего не видит... только где-то впереди, за бесконечной равниной видится ему это польское небо, опьяняюще широкий горизонт, который откроется ему, когда придет час...

Как хорошо, думает он, что я не один. Пожалуй, никто не справился бы с этим в одиночку... Он радуется, что принял приглашение сыграть в карты и познакомился с этими двумя парнями. Небритьй ему сразу понравился, и Блондин тоже не такой неженка, как кажется с виду. А может, и в самом деле неженка, но все равно он человек. Плохо человеку быть одному. Как тяжело было бы ему одному среди тех, кто заполняет коридор, среди всех этих трепачей, которые горазды говорить только об отпусках и геройствах, о чинах и орденах, о жратве, о табаке и о бабах, бабах, бабах, что у всех у них в ногах валялись... А по мне ни одна девушка не заплачет, думает он, странное дело... Это грустно. Если б хоть одна обо мне вспомнила! Пусть даже какая-нибудь несчастная. Господь не оставит несчастных. Несчастье это жизнь, и боль это жизнь. Как было бы прекрасно, если б хоть одна обо мне думала, заплакала бы по мне... Я бы ее позвал, повел за собою, чтобы она не ждала меня целую вечность. Нет такой девушки! Странно. Я еще ни разу не целовал ни одну. Конечно, вполне возможно, хотя и маловероятно, что одна еще помнит обо мне; нет, не может она обо мне помнить. Наши глаза встретились на какую-то десятую долю секунды, а может, и того меньше, но я не могу забыть ее глаза. Три с половиной года я думал о ней, все не мог ее забыть. Только десятая доля секунды, а то и меньше... я даже не знаю, как ее зовут, ничего я не знаю, помню только ее глаза, печальные глаза цвета мокрого песка, несчастные глаза, в них было что-то от зверька и все от человека, никогда, никогда я их не забывал, ни на один день за три с половиной года, но я не знаю, как ее зовут, не знаю, где она живет. Три с половиной года! Я не знаю, высокая она или маленькая, ни разу не видел, какие у нее руки. Если бы я хоть видел ее руки! Но я видел только лицо, да и то мельком; темные волосы, может, черные, а может, каштановые, узкое длинное лицо, некрасивое, с неправильными чертами, но глаза... как тем-

ный от влаги песок, немного раскосые, горестные... и эти глаза вдруг задержались на мне, и в них на десятую долю секунды мелькнула улыбка... Там была только ограда, а за нею дом, на ограде — два локтя, а между ними — лицо, и эти глаза... в какой-то французской дыре за Амьеном под раскаленным летним небом, серым от зноя. Перед глазами у меня была проселочная дорога, бегущая в гору, вдоль нее росли чахлые деревца, справа тянулась стена, а за стеной, как в кипящем котле — Амьен. Дым стлался над городом, дым боя нависал над городом грозовой тучей, слева проносились мотоциклы с истеричными офицерами, шли танки, оставляя на земле широкий след и обдавая нас пылью, а где-то впереди громыхали пушки. Оттого, что дорога шла вверх, у меня вдруг закружилась голова, все поплыло перед глазами, и стена справа от дороги вдруг как полоумная полезла на гору и опрокинулась, просто взяла и опрокинулась, и я вместе с нею повалился набок, как будто моя жизнь была жизнью этой стены. Весь мир кружился передо мной, и я больше ничего не видел, кроме падающего самолета, но самолет падал не сверху вниз, не с неба на землю, а с земли на небо, и тут я увидел, что небо было землей, а я лежал на серо-голубом, немилосердно горячем небе. Потом кто-то брызнул мне в лицо коньяком, встряхнул меня, влил коньяк мне в глотку, и когда я наконец открыл глаза, то увидел над собою ограду, ту самую узорную ограду из кирпича, а на ограде два острых локтя и на десятую долю секунды встретился взглядом с этими глазами. Потом лейтенант закричал: «Вставай, вставай! Живее!» Кто-то схватил меня за воротник и почти швырнул на дорогу, и дорога понесла меня вперед, я опять шагал в строю и не мог даже оглянуться, ни разу не смог оглянуться...

Ах, что ж постыдного в том, что мне хотелось знать, какой у нее лоб, какие губы, какая грудь, какие руки? И что тут такого, если б я даже захотел узнать, какое у нее сердце, наверное, девичье сердце... если бы даже я захотел поцеловать ее в губы, хоть разок поцеловать, прежде чем судьба забросит меня в какую-то новую дыру и бог весть как все обернется. Было лето, в полях стояли золотые хлеба, тощие колосья, многие сгорели дочерна, их сглодало знойное лето, и ничто не было мне так ненавистно, как мысль о том, чтобы «пасть геройской смертью на поле спелой ржи». Мне

слишком часто вспоминались эти стишки, а я не хотел умереть как в этих стихах, не хотел геройской смерти, как на картинке, рекламирующей эту поганую войну... и все-таки все было, как в этом патриотическом стихотворении: я лежал на поле спелой ржи, раненый, истекающий кровью и проклинающий все на свете, но, главное, я умирал в пяти минутах ходьбы от этих глаз.

Однако задета была только кость. Я был героем, раненным во Франции, под Амьеном, неподалеку от стены, что как полоумная лезла на гору, и всего в пяти минутах ходьбы от ее лица, на котором я успел разглядеть только глаза... десятую долю секунды видел я свою единственную возлюбленную, которая, возможно, была лишь видением, а сейчас мне предстоит умереть между Лембергом и Черновицами, под широким польским небом...

Разве не обещал я этим глазам молиться, каждый день молиться за них, каждый божий день, а сегодняшний день уже почти на исходе. Смеркается, и вчера за карточной игрой я только один раз мельком о ней вспомнил, о той, чьего имени я не знаю, чьих губ я не целовал...

Ужасно, но Андреас вдруг ощутил голод. Сегодня четверг, вечер, в воскресенье он умрет, а ему хочется есть, даже голова болит от голода, он изнемогает от голода. В коридоре тихо и опять просторно. Он подсаживается к Небритому, тот с готовностью освобождает для него местечко, и оба они молчат. Блондин тоже молчит. Он беззвучно играет на губной гармонике, держа ее обратной стороной к губам. Гармоника совсем маленькая, он мягко водит ею по губам, и по лицу его видно, что он придумывает мелодию. Небритый пьет, пьет тихо и размеренно, через равные промежутки времени, и мало-помалу глаза его начинают блестеть. Андреас доедает последние «противовоздушные» бутерброды. Они немного зачерствели, но он так голоден, что все сойдет, к тому же они все равно очень вкусны, он съедает шесть двойных бутербродов и просит Блондина налить ему немножко кофе. Бутерброды действительно на редкость вкусные, и ему вдруг становится до ужаса хорошо, на него внезапно нисходит прекрасное настроение. Он счастлив, что его попутчики молчат, и в равномерном грохоте колес на стыках рельсов и легком покачивании вагона есть

что-то убаюкивающее. Сейчас я буду молиться, думает он, прочту все молитвы, какие знаю наизусть, и еще некоторые... Сперва он читает «Верую», затем «Отче наш и «Аве Мария», «De Profundis... ut pupillam oculi...», потом «Дух святой, снизойди», потом опять «Верую», ведь это такое совершенство... потом «Молитву о Страстной пятнице», ибо эта молитва за всех и вся, даже и за неверных евреев. Он думает о Черновицах и отдельно молится за черновицких евреев и за лембергских, и в Станиславе наверняка есть евреи, и в Коломые тоже... Потом еще раз «Отче наш», а дальше уже собственная молитва... как же хорошо молиться рядом с двумя молчащими попутчиками, один из которых беззвучно, но от души играет на обратной стороне губной гармоники, а другой непрерывно дует шнапс...

За окнами стемнело, а он долго молится за те глаза, безумно долго, много дольше, чем молился за всех остальных. И за Небритого молится, и за Блондина, и за того, кто вчера говорил: «Практически, практически мы уже выиграли войну», за него — особенно.

— Бреслау,— говорит вдруг Небритый странно тяжелым, почти металлическим голосом, видимо, он опять уже начинает хмелеть.— Бреслау, скоро будем в Бреслау...

Андреас про себя повторяет стихок: «В городе Бреслау колокол отлили...» Ему очень нравятся эти стихи, только жаль, он плохо помнит их.

Нет, думает он, я еще не скоро умру. Я умру в воскресенье утром или ночью, между Лембергом и Черновицами, под бескрайним польским небом. Он повторяет про себя балладу «Арчибальд Дуглас», вспоминает горестные глаза и с улыбкой засыпает...

Пробуждение всегда ужасно. Прошлой ночью кто-то наступил ему на руку, а этой ночью приснился страшный сон: он сидит где-то на сырой холодной равнине и у него нет ног, совсем нет ног, одни обрубки, и небо над этой равниной черное и тяжелое, оно медленно опускается на равнину, все больше, все ближе, очень-очень медленно опускается, а он не может убежать, и закричать тоже не может, ибо знает, что кричать не имеет смысла. И эта бессмысленность парализует его. Должен же где-то быть человек, который услышит его крик? Неужто меня так и расплющит падающее небо? Он не знает, сидит ли он на траве, на

мокрой траве, или просто на голой земле или в жидкой грязи... он не может пошевелиться, он даже и не думает, что мог бы уползти, помогая себе руками, подпрыгивая, как раненая птица, да и куда?.. Горизонт бесконечен, куда ни глянь, бесконечен, а небо все опускается, и вдруг что-то ледяное и мокрое падает ему на голову... на какое-то мгновение ему кажется, что черное небо — всего лишь дождевая туча, и что сейчас дождь прольется, так он думает одно мгновение и хочет крикнуть... но просыпается и сразу видит, что над ним стоит Небритый с бутылкой в руке. Андреас понимает, это капли из бутылки упали ему на лоб...

И сразу все опять вернулось. В воскресенье утром... Сегодня пятница. Еще два дня. Все на месте. Блондин спит. Небритый пьет жадными глотками, а в вагоне холодно, дует из-под двери, и молитвы иссякли, и мысль о глазах не будит уже в нем того болезненного счастья, а только печаль и одиночество. Все на месте, но утром все выглядит иначе, как-то бесцветно и бессмысленно, а как было бы прекрасно, бесконечно прекрасно, если бы утром исчезло «скоро», это теперь уже несомненное, очень определенное «скоро». Но оно здесь, оно всегда здесь, словно ждет, изговываясь к прыжку; с того момента, как он выговорил слово «скоро», оно слито с ним, оно как второе его лицо. Два дня оно так близко, так неразрывно с ним связано, как его душа, сердце. Оно и нынче утром сильно и определенно. В воскресенье...

Небритый заметил, что Андреас проснулся. Он все еще стоит над ним и пьет из горлышка. В сумеречном свете утра это выглядит устрашающе. Массивное тело, откинутае назад, как перед броском, бутылка у губ, сверкающие глаза и странное, какое-то даже опасное бульканье в бутылке.

— Где мы? — охрипшим тихим голосом спрашивает Андреас. Ему страшно, а кругом холодно и еще почти темно.

— Недалеко от Пшемысля, — отвечает Небритый. — Выпить хочешь?

— Да.

Шнапс отличный! Жжет как огонь! Кровь быстрее бежит по жилам... Этот шнапс, как огонь под котлом воды, и вода уже закипает. Отличный шнапс, сразу согревает. Андреас возвращает бутылку Небритому.

— Да пей, пей! — хрипит тот, — я в Кракове пополнил запас.

— Нет.

Небритый подсаживается к Андреасу, и Андреасу приятно, что вот есть рядом человек, который не спит, когда ты просыпаешься с ощущением такой безнадежности. Все кругом спят, Блондин в углу тихонько, с присвистом, похрапывает. Остальные все — и болтуны и молчуны, все спят. Воздух в коридоре ужасный, прокисший, пропитанный удушливыми запахами пота, грязи и дыма.

Вдруг до него доходит, что они уже в Польше. Сердце на мгновение замирает, останавливается, словно вены вдруг завязались узлом, и кровь не проходит по ним. Никогда я больше не увижу Германию, с Германией покончено. Поезд пересек границу Германии, пока я спал. Где-то была черта, незримая черта, проходящая по полям или посреди деревни, и это была граница, поезд просто пересек ее, и вот я уже не в Германии, и никто меня не разбудил, чтобы я мог еще раз взглядеться в ночь или увидеть хоть клочок ночи, нависшей над Германией. Никто ведь не знает, что я больше ее не увижу, никто не знает, что я умру, никто во всем поезде. Никогда больше я не увижу Рейна. Рейн! Рейн! Никогда больше! Этот поезд подхватил меня и несет к Пшемьслию, здесь уже Польша, безотраднейшая Польша, и никогда я не увижу Рейна, никогда не услышу его запаха, изумительного терпкого запаха воды и водорослей, который источает каждый камень по берегам Рейна, он словно сросся с этими камнями; никогда не увижу ни аллея над Рейном, ни садов, ни вилл, ни кораблей, пестрых, чистых и веселых, и мостов не увижу, великолепных мостов, строго и элегантно летящих над водой, словно большие изящные звери в прыжке.

— Дай-ка мне еще разок хлебнуть! — говорит он хрипло.

Небритый протягивает ему бутылку, и Андреас делает один большой затажной глоток, глоток жидкого огня, что выжигает безутешность сердца. Потом он закуривает и ему хочется, чтобы Небритый заговорил. Но прежде хорошо бы помолиться, именно оттого, что так безутешно на сердце. Он повторяет опять вчерашние молитвы, но, чтобы не забыть, сперва молится за те глаза. Они всегда с ним, но не всегда

он видит их с одинаковой отчетливостью. Иногда они словно бы исчезают на долгие месяцы, хотя остаются всегда с ним, как его губы или, скажем, ноги — они всегда при нем, но вспоминает он о них только когда они болят. А иногда после нескольких месяцев эти глаза вдруг всплывают в сознании, вот вчера они опять всплыли с новой жгучей болью, и в такие дни он по вечерам молится за эти глаза. Но сегодня он помолится за них и с утра. Он снова молится за черновицких евреев, и за евреев Станислава и Коломыи; здесь, в Галиции, повсюду евреи. Галиция, это слово, как змея, но только с малосенькими ножками, змея, похожая на кинжал, змея с блестящими глазами, она легко ползет по земле и режет ее, режет землю пополам... Галиция, темное, красивое, исполненное боли слово, и в этом краю мне предстоит умереть.

Это слово налито кровью, кровью, стекающей с ножа. Буковина, думает он, добротное слово, крепкое слово, там я не умру, я умру в Галиции, в Восточной Галиции. Надо мне, когда рассветет, поглядеть, где начинается Буковина, я ее никогда не увижу, а она все ближе... Черновицы, это уже Буковина, которой я не увижу...

— Скажи,— обращается он к Небритому,— Коломыя это еще Галиция?

— Не знаю, по-моему, Польша.

В любой границе есть что-то чудовищно окончательное. Просто линия и — конец. Поезд переезжает ее, как переехал бы мертвеца или живого человека. И надежда мертва, надежда еще раз попасть во Францию и отыскать те глаза... и губы, и сердце, и грудь той, у которой такие глаза. Эта надежда мертва, отсечена. Глаза вовеки пребудут глазами, и никогда уже не вызовут в его памяти ни тела, ни платьев, ни волос, ни рук, человеческих, женских рук, которые могли бы тебя приласкать. Эта надежда еще жила в нем, ведь она же человек, живой человек, та, у которой такие глаза, девушка или женщина. Ничего больше не будет. Только глаза. Никогда ты не увидишь никаких губ, никогда не ощутишь под нежной кожей биение женского сердца, живого сердца... никогда... никогда... никогда. В воскресенье утром, между Лембергом и Коломыей. Черновицы еще очень далеко, так же далеко, как Никополь и Кишинев. «Скоро» еще приблизилось, оно совсем близко. Два дня, Лемберг и Коломыя. Он понимает, что, навер-

ное, еще доберется до Коломны, но никак не дальше. Ни сердца, ни губ, только глаза, только душа, горестная прекрасная душа, душа вне тела... зажатая между двумя локтями... как привязанная к столбу ведьма перед сожжением...

Граница многое отсекала. И Пауля тоже. Остались лишь воспоминания, надежда и мечта. «Мы живем надеждой», — сказал однажды Пауль. Так говорят: «Мы живем в долг». У нас нет никакой уверенности, ничего... только глаза... и неизвестно, удастся ли с помощью молитвы через три с половиной года встретить эти глаза там, куда мы надеемся попасть...

Да, позже, когда он вышел из госпиталя в Амьене и, хромя, взобрался на гору, все выглядело иначе. Дорога вовсе не круто, а вполне нормально взбегала на гору. Гора несла дорогу на своей спине, а стена вовсе и не думала шататься и бежать бегом, стена стояла на месте. А вот и дом, которого он не узнал. Узнал только ограду, кирпичную ограду с дырочками там, где кирпичи были положены не вплотную, чтобы изобразить нечто вроде узора. У ограды стоял типичный французский обыватель с трубкой в зубах, и в глазах его отражалась типично французская обывательская свинцовая ирония. Человек этот ничего не знал. Знал только, что все отсюда ушли, сбежали, и что немцы все разграбили даже там, где через улицу был натянут транспарант: «За маршдерство — смерти!» Нет, никаких глаз там не было. Была только жена хозяина, толстая матрона, прикрывавшая рукой вырез на платье, с лицом, напоминавшим кролика. И ни дочери, ни сестры, ни невестки, никого! Только маленькие комнаты со спертым воздухом, битком набитые мещанским барахлом, да насмешливые взгляды супружеской четы, наблюдавшей, как он беспомощно тычется во все углы.

Вот стеклянная горка. Немцы ее разбили. А вот ковер, прожженный множеством окурков, на этой кушетке они спали со своими девками, она вконец испакощена. От презрения хозяин плюет на пол. Но все это было потом, все — потом, а не во время боя, когда дымился Амьен, много позже, после того как самолет рухнул на поле, там и сейчас торчат его обломки. Рука с трубкой указывает в окно... да, вон торчит фюзеляж с кокардой, а на французской каске, что лежит рядом, на могиле летчика, играет солнечный луч. И все это наяву, наяву, как и запах жареного мяса из кухни,

и разбитая горка, и Амьенский собор внизу, в котловине. «Здание французской готики...»

И никаких глаз. Ничего, совсем ничего.

— А может,— говорит француз,— это была какая-нибудь шлюха? — Он явно сочувствует ему, это удивительно, что такой насмешник может сочувствовать ему, немецкому солдату, ведь это немецкие солдаты украли его столовое серебро и часы, они спали на его кушетке со своими девками и испакостили ее, вконец испакостили.

Боль так сильна, что он замирает на пороге, не сводя глаз с того места, где когда-то упал без сознания, боль так велика, что он ее уже не чувствует. Француз качает головой, наверное, он никогда еще не видел таких несчастных глаз, как у этого солдата, что стоит, тяжело опираясь на палку.

— Peut-être,— говорит он Андреасу на прощание,— peut-être une folle, может, это была какая-нибудь сумасшедшая из лечебницы,— и он указывает на стену, за которой под высокими красивыми деревьями видны здания с красными крышами.— Сумасшедший дом. Они все тогда разбежались, их потом еле выловили...

— Спасибо, спасибо...

Скорее наверх, к лечебнице. Стена недалеко, но не видно ворот. Долго, долго он поднимается на раскаленную гору, находит ворота и узнает, что никого тут больше нет. Есть только часовой в стальной каске, а сумасшедших нет, только раненые и больные, да еще есть венерическое отделение.

— Большое венерическое отделение,— сообщает часовой.— Ты что, тоже триппер подхватил?

Андреас не сводит глаз с поля, где торчит обломок фюзеляжа, а рядом блестит на солнце каска.

— Здесь это дело дешево,— говорит часовой, которому до смерти скучно,— можно за пятьдесят пфеннигов,— он хохочет,— за пятьдесят пфеннигов...

— Да,— говорит Андреас и думает: сорок миллионов, во Франции сорок миллионов жителей, это слишком много. Так искать нельзя. Я должен набраться терпения... должен заглядывать в глаза всем женщинам, которых встречу. Ему вовсе неохота, пройдя еще три минуты, очутиться на поле, где его ранили. Это же совсем другое поле, все теперь другое. И дорога не та, и стена не та... они всё забыли, и стена забыла, как тогда упала со страха и он вместе с ней. И обломок

самолета — только сон, сон с французской кокардой. Зачем осматривать это поле? Зачем идти еще три минуты и снова, с ненавистью и болью, вспоминать патриотические стишки, что всплывали в памяти помимо его воли? Зачем еще мучить усталые ноги?..

— Вот теперь,— говорит Небритый,— мы уже недалеко от Пшемысля.

— Дай еще разок глотнуть,— просит Андреас и пьет из бутылки.

Все еще холодно. Постепенно светает, и вскоре уже будет виден горизонт, польский горизонт. Темные дома и равнина, полная теней, над которой всегда нависает небо, грозя рухнуть, так как не имеет опоры. Может, это уже Галиция, может, та самая равнина мало-помалу выступает из темноты, нищая, серая, печальная и кровавая, может, эта равнина уже Галиция... Галиция, Восточная Галиция...

— Долго же ты спал,— говорит Небритый,— с семи до пяти. Сейчас уже пять. Краков, Тарнув давно проехали, а я глаз не сомкнул. Мы уже давным-давно в Польше. Сперва Краков, Тарнув и вот теперь Пшемысль.

Как все здесь непохоже на долину Рейна! Десять часов кряду я спал и вот опять хочу есть, а жить мне осталось еще сорок восемь часов. А сорок восемь уже прошло. Сорок восемь часов висит надо мной это «скоро». Скоро я умру. Сначала это было хоть и несомненно, но далеко; несомненно, но неясно, однако, все больше сужаясь, «скоро» сузилось до нескольких километров проселочной дороги, приблизилось на два дня, и каждый оборот поездных колес неотвратимо приближает меня туда. С каждым оборотом колес уходит кусок моей жизни, моей несчастной жизни. Эти колеса мельчат, дробят мою жизнь своим идиотским ритмом, они катят по польской земле так же тупо, как вдоль берега Рейна, это те же самые колеса. Может быть, Пауль смотрел вот на это колесо, что как раз под этой дверью, на измазанное маслом, заросшее грязью колесо, прикатившее из Парижа или из Гавра. Париж, вокзал Монпарнас... там люди скоро рассядутся на плетеных стульях под тентами, будут пить вино на осеннем ветру, прихлебывать абсент или перно, глотая сладкую пыль Парижа, и с небрежной элегантностью швырять окурки в водосточный желоб, под мягким, всегда насмешливым небом. В Париже всего пять миллионов жителей, и много, очень много улиц, переулков, и

бесконечно много домов, но ни из одного окна не глянут на меня те глаза; пять миллионов — тоже чересчур много...

Небритый вдруг начинает говорить, горячо и быстро. Рассвело, спящие уже ворочаются, и, похоже, Небритый спешит выговориться, прежде чем они окончательно проснутся. Ему нужна была бы ночь, чтобы под ее покровом шептать на ухо тому, кто слушает...

— Хуже всего то, что я никогда больше ее не увижу, я это знаю,— тихонько произносит Небритый,— но не знаю, что будет с нею. Я три дня в дороге, уже три дня. Что она делала в эти три дня? Не думаю, что этот русский еще у нее. Нет, она ведь выла, как зверь... как зверь под прицелом охотника. Она одна. Она ждет. Ох, не хотел бы я быть женщиной. Вечно ждать... ждать... ждать...

Небритый кричит шепотом, но это настоящий крик, страшный тихий крик.

— Она ждет... она жить без меня не может. Никого у нее нет и никогда никого больше не будет. Она ждет только меня, а я люблю ее. Она теперь так же невинна, как девочка, которая даже еще и не помышляет о поцелуях, и вся эта невинность — для меня. Я знаю, жуткий, чудовищный испуг очистил ее, и ни один человек во всем свете не поможет ей, кроме меня, ни один человек, а я еду в этом поезде в Пшемьсль... доеду до Лемберга, до Коломыи... и никогда больше не пересеку немецкой границы. Никто не сможет понять, почему я следующим же поездом не уехал обратно, к ней... почему? Никто этого не поймет. Но я боюсь этой невинности... я очень люблю ее, и я умру... и она уже ничего от меня не получит, кроме официального извещения: «Пал за Великую Германию...»

Он делает большой глоток.

— А поезд, приятель, тащится еле-еле, ты не находишь? Мне хочется быть подальше, подальше отсюда... и поскорее... но я и сам не пойму, отчего мне не пересесть, не поехать назад, у меня еще есть время... А поезд должен идти быстрее, куда быстрее...

Кое-кто уже проснулся и угрюмо шурится на неверный свет, исходящий от этой равнины...

— Я боюсь,— шепчет Небритый на ухо Андреасу,— боюсь смерти, но еще больше боюсь вернуться и пойти к ней... лучше умереть... может, я напишу ей...

Те, что уже проснулись, причесываются, закури-

вают и презрительно смотрят в окна, за которыми среди заброшенных полей виднеются темные хижины; эта земля безлюдна... где-то видны холмы... все серое... польские дали...

Небритый молчит. Силы совсем оставили его. Он всю ночь не спал, он потух, и глаза его как мутные зеркала, щеки пожелтели и обвисли, и щетина уже превратилась в бороду, в черно-рыжую бороду. Густые волосы падают на лоб.

— Преимущество противотанковой пушки 3,7 в подвижности,— произносит чей-то очень вежливый голос,— в подвижности ее преимущество.

— Правда, стреляет она еле-еле,— со смехом отвечает не менее вежливый голос.

— Ну нет!

— Да, но он за это получил Рыцарский крест, а мы... мы только в штаны наложили...

— Надо было слушаться фюрера. Покончить с дворянами. Фон Крузайтен его звали. Такая вот фамилия. Слишком много хотел знать...

Как хорошо Небритому, он спит, сейчас, когда начались разговоры, и он может бодрствовать, когда все стихает... Что мне унывать, у меня две ночи в запасе, думает Андреас, две долгие, долгие ночи... Мне хочется побыть одному... Если бы они знали, что я молился за евреев Черновиц, Станислава и Коломыи, они бы меня арестовали или упекли бы в сумасшедший дом... Противотанковая пушка 3,7...

Блондин долго трет свои узкие, до ужаса мутные глаза. Уголки глаз гноятся, смотреть противно... но он предлагает Андреасу белый хлеб с мармеладом, и в его бутылке есть еще кофе. Как приятно что-то съесть. Андреас чувствует, что снова проголодался. Это почти уже жадность, но он не может оторвать глаз от ковриги. Этот белый хлеб такой вкусный!

— Да,— вздыхает Блондин,— его моя мать пекла.

Потом Андреас долго сидит в уборной и курит. Уборная единственное место, где действительно можно побыть одному. Единственное место на всем свете, во всей славной армии Гитлера. Как прекрасно сидеть тут и курить; он чувствует, что все не так уж безнадежно. Безнадежность всего лишь призрак, являющийся сразу после пробуждения. Сейчас он наедине с собою, и всё вновь обступает его. Когда он не один, эти мысли уходят. Сейчас всё при нем, и Пауль, и глаза любимой

девушки... и Блондин, и Небритый, и тот, кто сказал: «Практически, практически мы уже выиграли войну», и тот, кто только что говорил о преимуществах противотанковой пушки 3,7, все они с ним, и молитвы его ожидают, они так близко, от них так тепло... и это прекрасно. Когда человек один, он уже не одинок. Сегодня вечером, думает Андреас, я снова буду молиться, сегодня вечером в Лемберге. Лемберг это трамплин... между Лембергом и Коломыей... Поезд все больше приближается к цели, и колеса, проехавшие через Париж, вокзал Монпарнас... а может, и через Гавр и Аббевиль, эти колеса катят к Пшемыслию... все ближе, ближе к трамплину...

За окнами уже совсем светло, но в этот день солнце не проглядывает, только где-то в плотной пелене серых облаков плавает светлое пятно, от него сквозь облака просачивается серый свет, заливающий леса и далекие холмы... деревни и одетых в темное людей, которые, прикрыв глаза рукою, как козырьком, смотрят вслед поезду. Галиция... Галиция... Он долго еще сидит в уборной, покуда снаружи не раздастся громкий стук и брань.

В Пшемысль поезд прибыл вовремя. Там оказалось даже красиво. Они подождали, пока все выйдут из вагона, и тогда разбудили Небритого. Платформа уже опять опустела. Солнце пробилось из-за туч и теперь ярко освещает пыльные кучи камней и песка. Бородатый сразу сообразил, в чем дело. И только сказал:

— Да, да.

Он встает, кусачками перерезает проволоку на ручке двери, и они сразу спускаются на перрон. У Андреаса из вещей только мешок, теперь совсем легкий, ведь тяжелые «противовоздушные» бутерброды съедены. Рубашка, носки, папка с писчей бумагой, всегда пустая фляжка да каска. Винтовку он забыл в гардеробе у Пауля, за прорезиненным плащом.

У Блондина — рюкзак, как у летчиков, и чемодан. У Бородатого — две картонные коробки и ранец. И у обоих пистолеты. Только теперь, выйдя на солнце, они увидели, что Бородатый — унтер-офицер. На сером воротнике тускло блеснули нашивки. Перрон пуст и уныл, все очень смахивает на товарную станцию. Справа бараки, много бараков, дезинсекционные, кухонные, жилые и, конечно же, один барак — бордель, где гигиена гарантирована. Ничего, кроме бараков, но они идут не

направо, а налево, далеко, туда, где проходит мертвая, заросшая травой колея, где рядом с высокой елью виден поросший травой дощатый помост. Они ложатся в траву и смотрят на солнце над бараками и на старые башни Пшемысля-на-Сане.

Бородатый не стал ложиться, он только опустил наземь свои вещи и сказал:

— Пойду раздобуду пропитание и заодно узнаю, когда поезд на Лемберг, ладно? А вы пока поспите.

Он берет у них отпускные свидетельства и очень медленно сходит с помоста. Он идет невероятно медленно, раздражающе медленно, и они замечают, что его синие рабочие брюки на удивление грязны, все в пятнах и маленьких прорехах, как от колючей проволоки. Он идет очень медленно, почги шатаясь, издалека можно даже подумать, что он моряк.

Уже полдень, жарко, тень ели пронизана солнцем, сухая тень, без прохлады. Блондин расстелил свой плед, и они лежат, подмостив под головы мешки, и поверх раскаленных, пярящих барачных крыш смотрят на город. Бородатый исчезает где-то между двумя бараками. Он идет такой отрешенный...

На путях стоит поезд, идущий в Германию. Паровоз уже дымит. Из окон высовываются солдаты с непокрытыми головами. Почему я не еду туда, думает Андреас, это же дико. Почему не сажусь в этот поезд и не еду обратно, на Рейн? Почему не покупаю себе отпускное свидетельство в этой стране, где можно купить все что душе угодно, и не еду в Париж, на вокзал Монпарнас?.. Я бы исходил там все улицы из конца в конец, одну за другой, обшарил бы все дома в поисках капли нежности от той, у которой такие глаза... Пять миллионов, это восьмая часть, почему бы ей не оказаться среди них?.. Почему я не еду в Амьен, к тому дому с дырчатой оградой из кирпича... Пустить бы себе пулю в лоб на том самом месте, где она была по-настоящему близко от меня, где нежно и проникновенно смотрела мне прямо в душу какую-нибудь четверть секунды? Но мысли эти так же вялы, как и его ноги. Какое блаженство вытянуть ноги, все больше, все дальше... ему чудится, что он мог бы дотянуться ими до Пшемысля.

Они лежат, курят, вялые, утомленные, как всегда после вагонной тесноты.

Солнце стало уже клониться к западу, когда Анд-

реас проснулся. Небритый еще не возвращался. Блондин не спит, курит.

Поезд в Германию уже ушел, но теперь на путях стоит новый состав, и тоже в Германию, а внизу из дезинсекционных барakov выходят серые фигуры с тюками, ранцами, с автоматами на шее. Они поедут в Германию. Один вдруг припускается бегом, за ним еще трое, потом десять, потом уже бегут все, обгоняя друг друга, теряя вещи... и вот уже вся серая безутешная толпа бежит бегом, оттого что один из них внезапно испугался...

— Где у тебя карта? — спрашивает Блондин. Это его первые слова за долгое уже время.

Андреас вытаскивает из кармана карту, разворачивает ее, расправляя у себя на коленях. Его взгляд прикован к Галиции, но палец Блондина скользит дальше, на юго-восток; очень изящный, длинный, поросший бесцветными волосками палец, даже грязь не портит его изящества.

— Вот, — говорит Блондин, — мне вот сюда, еще десять дней пути, если повезет.

Его палец с плоским, все еще блестящим, отливающим голубизною ногтем закрывает все пространство между Одессой и Крымом. Кончик ногтя упирается в Николаев.

— Тебе в Николаев? — спрашивает Андреас.

— Нет, — Блондин вздрагивает, ноготь соскальзывает ниже, и Андреас понимает, что он смотрел на карту и ничего не видел, думая о чем-то своем. — Нет, — повторяет Блондин, — в Очаков. Я зенитчик. Раньше мы стояли в Анапе, на Кубани, но ты же знаешь, оттуда пришлось убраться, теперь мы в Очакове.

Неожиданно они взглянули друг на друга. Первый раз за сорок восемь часов, проведенных бок о бок, взглянули друг на друга. Они долго играли в карты, пили, ели, спали, привалясь один к другому, но только теперь посмотрели друг на друга. Глаза у Блондина затянуты отвратительной, белесо-серой слизистой пленкой. Андреасу кажется, что он своим взглядом пронзает насквозь тонкую корочку, затянувшую гнойную рану. Теперь он понимает, что отвращает его в этом человеке, хотя он, несомненно, был очень красив, когда у него еще были ясные глаза, белокурый, стройный, с изящными руками. Так вот в чем дело, думает Андреас.

— Да, — тихо говорит Блондин, — в том-то и дело, —

как будто он понял, что подумал Андреас.— В том-то и дело. Меня вахмистр совратил. Я погибший человек, отравленный, ничто в этой жизни меня не радует, даже жратва... это только кажется... нет, я ем автоматически, пью автоматически, сплю автоматически. И ничего я не могу, они меня испортили! — кричит он вдруг, и тут же вновь утихает.— Полтора месяца стояли мы на Сиваше, на одной позиции... там куда ни глянь — ни одного дома... ни одной даже разрушенной стены... Болота, вода... заросли лозняка, а над головой носятся русские и сбивают наши самолеты, летающие из Одессы в Крым. Полтора месяца мы там проторчали. Этого не опишешь. Одно орудие, шестеро солдат и вахмистр. И хоть бы одна собака поблизости... Боеприпасы нам доставляли на машине к краю болота, оттуда мы должны были сами их забирать и по гати тащить на свою позицию, всякий раз боеприпасы на две недели и прорву жратвы. Жратва у нас была единственным развлечением, а еще мы ловили рыбу и били комаров... кошмарные тучи комаров, не знаю, как мы не спятили. Вахмистр был просто зверюга. Целыми днями нес похабщину, это еще в первые дни, и жрал так, что смотреть страшно. Мясо и сало, почти без хлеба. Да,— из груди его вырвался тяжкий вздох,— знаешь, что я тебе скажу, человек, который уже не ест хлеба — пропащий человек. Да...— Страшное молчание, а над Пшемыслем — золотое, теплое, прекрасное солнце.

— Господи,— стонет Блондин,— он нас всех совратил, что тут еще скажешь? Мы все были такие... кроме одного. Тот не захотел. Он был уже старый, женатый, и дети у него были, он по вечерам частенько плакал и показывал нам карточки своих детей... до того. Он не захотел, дрался, угрожал... он был сильнее, чем мы впятером... А однажды ночью, когда он один стоял на посту, вахмистр его пристрелил. Подкрался сзади и выстрелил из своего пистолета. Потом растолкал нас, чтобы мы помогли ему утопить труп в болоте. Трупы такие тяжелые... Знаешь, человеческие трупы ужасно тяжелые. Тяжелее всего на свете. Мы шестером еле его тащили, было темно, шел дождь, и я подумал: это — ад. Вахмистр доложил по начальству, что старик взбунтовался и угрожал ему оружием, и приложил к рапорту пистолет старика в качестве вещественного доказательства — в обойме не хватало одного патрона. И они послали его жене извещение, что он

«пал за Великую Германию» в сивашских топях... И только через восемь дней после этого пришла машина с боеприпасами и почтой, мне доставили телеграмму, что наша фабрика разрушена и я могу взять отпуск и поехать домой. Так что я уже не вернулся на позицию, просто сел и уехал с этой машиной,— в его голосе слышится безумная радость,— уехал! Вот уж вахмистр, наверно, взбесился! Меня, конечно, допрашивали как свидетеля по делу старика, и я подтвердил все, что сообщил вахмистр. А потом совсем уехал... уехал! Сперва в Очаков, в часть, потом в Одессу и домой...

Пугающее молчание, а солнце по-прежнему такое прекрасное, теплое, мягкое. Андреаса охватывает безмерное отвращение. Это хуже всего, думает он, хуже всего...

— Но радости больше не было, ни в чем я ее не видел. На женщин даже смотреть боялся. Дома я все время ходил мрачный и плакал, как слабосильный ребенок, моя мать решила, что я тяжело болен. Но я ничего не мог ей рассказать, этого никому не скажешь...

Как дико, что солнце светит по-прежнему, думает Андреас. И ужасающее отвращение, точно яд, проникает в его кровь. Он хочет взять Блондина за руку, но тот отшатывается.

— Нет! — кричит он,— нет!

Он переворачивается на живот и, закрыв голову руками, плачет навзрыд. Кажется, от этих рыданий должна разверзнуться земля, но небо лишь улыбается этим рыданиям, улыбается баракам, множеству барачников и башням Пшемысля-на-Сане.

— Умереть! — рыдает Блондин,— только умереть, я хочу умереть, тогда конец всему. Умереть...— Слова застревают у него в горле, и теперь Андреас слышит, что он действительно плачет, плачет настоящими слезами.

Андреас ничего больше не видит. Словно каток прошел по нему, каток, липкий от крови и грязи, а он все молится, отчаянно молится... так утопающий кричит на середине озера, хоть и знает — до берега далеко и некому спасти...

Как хорошо, думает он, как хорошо плакать, как это прекрасно... плакать, плакать... какой человек в несчастье не плачет? И мне надо заплакать, конечно, надо. Бородатый плакал, и Блондин плачет, а я, я уже три с половиной года не плакал, ни слезинки не про-

ронил с того дня, как спустился с горы к Амьену и поленился пройти еще три минуты до того поля, где был ранен.

Вот и второй поезд отошел, вокзал снова опустел. Странно, думает Андреас, теперь если б я даже захотел, то уже не смог бы уехать обратно. Просто не смог бы оставить этих двоих. Но я и не хочу назад, ни за что...

Вокзал и все пути теперь совсем пусты. От разбегающихся рельсов рябит в глазах, где-то на заднем плане работает группа поляков, они насыпают и ровняют щебень, а по платформе движется странная фигура в штанах Небритого. Сразу, издалека, видно, что это уже не тот бородатый, обезумевший от отчаяния человек, который в вагоне с горя глушил шнапс. Это совсем другой человек, только вот штаны на нем от Небритого. Лицо теперь гладкое и розовое, и фуражка сидит чуть набекрень, и в глазах, когда он подходит ближе, читается уже что-то вполне унтер-офицерское: смесь холодности, насмешки, цинизма и агрессивности. Глаза уже не отрешенные. Небритый теперь побрит, помыт и причесан, руки чистые, и как же приятно узнать, что его зовут Вилли, его уже и мысленно не назовешь Небритым, а только Вилли. Блондин все еще лежит на своем пледе лицом вниз, закрыв голову руками, и по его тяжелому дыханию не разберешь, спит он, плачет или стонет.

— Спит? — спрашивает Вилли.

— Да.

Вилли аккуратно раскладывает на две кучки принесенные продукты.

— Тут на три дня, — сообщает он.

Каждому по буханке хлеба, по большому куску вареной колбасы, такой сочной, что оберточная бумага вся пропиталась этим соком. И еще по полфунта масла, по восемнадцать сигарет и по три трубочки леденцов.

— А тебе — ничего?

Вилли смотрит на него удивленно, чуть ли не с обидой.

— У меня талонов хватит на шестнадцать дней.

Как странно, что все рассказанное Вилли ночью — не сон. Всё правда, это и есть тот самый человек, что ночью стоял с ним рядом, только гладко выбритый, со спокойными, чуть скорбными глазами, осторожно, чтобы не помять складки, надевает он в тени ели свои

черные форменные брюки. Новенькие, с иголочки, брюки, которые превосходно сидят на нем. Вот теперь он выглядит настоящим унтер-офицером.

— А вот и пиво! — говорит Вилли и достает три бутылки.

Они ставят один из картонных ящиков Вилли между собой вместо стола и принимаются за еду. Блэндин не шелохнется, все лежит лицом вниз, как часто лежат убитые. Себе Вилли раздобыл польское сало, пшеничный хлеб и лук. Пиво прекрасное, и даже холодное.

— Эти польские парикмахеры, — рассказывает Вилли, — просто блеск! За шесть марок — все что душе угодно, выходишь другим человеком, даже голову моют. Просто блеск, а как стригут! — Он снимает фуражку и демонстрирует Андреасу превосходно подстриженный затылок. — Вот это я понимаю, стрижка!

Андреас не может отделаться от изумления. В глазах Вилли теперь отражается что-то сентиментальное, унтер-офицерски сентиментальное. Ведь так славно закусить за этим подобием стола, вдалеке от барачков.

— Вам, — говорит Вилли, продолжая жевать и с удовольствием прихлебывая пиво, — вам тоже надо пойти помыться, сразу становишься другим человеком. Все как рукой снимает, всю грязь... Но перво-наперво побриться! Тебе очень не помешает. — Он смотрит на подбородок Андреаса. — Нет, правда, тебе не мешает побриться. Знаешь, это просто блеск, всю усталость как рукой... снимет, и ты... ты... — он подыскивает подходящее слово, — ты сразу станешь другим человеком. Время еще есть, до нашего поезда два часа. Сегодня вечером будем в Лемберге. От Лемберга поедem скорым поездом, как на гражданке. Курьерский поезд Варшава — Бухарест. Сказочный поезд, я всегда им езжу, надо только печать иметь, а печать мы получим, — он громко смеется, — печать мы получим, но как, я вам не скажу...

Значит, нам не понадобятся сутки, чтобы от Лемберга добраться до того места, где это случится, думает Андреас. Что-то тут не сходится. Значит, завтра на рассвете, в пять часов, мы не выедем из Лемберга... Удивительно вкусные бутерброды. Он густо мажет масло на хлеб и сверху кладет толстые ломти сочной колбасы. Странно, думает он, выходит, это воскресная порция масла, а может, даже немножко и от понедельничной, а значит, я ем масло, которое мне уже не

полагается. Впрочем, воскресная порция мне тоже не полагается. Довольствие рассчитывается от обеда до обеда, а воскресный обед мне уже не положен. Может, меня отдадут под трибунал... положат мой труп на стол перед военным судьей и скажут: он съел воскресную порцию масла и даже немного от понедельничной, тем самым он обокрал славный германский вермахт. Он знал, что умрет, и все-таки съел масло, колбасу, хлеб, и даже леденцы, и сигареты все выкурил, и мы не сможем провести это по бухгалтерским книгам. Довольствие на мертвецов не проводят по книгам. Мы же не язычники, чтобы класть довольствие покойникам в могилы. Мы истинные христиане, а он обокрал истинно христианский великогерманский славный вермахт. Мы должны приговорить его к...

— В Лемберге,— смеется Вилли,— в Лемберге я получу печать. В Лемберге что угодно можно получить, уж я-то знаю.

Андреасу достаточно сказать одно только слово, задать один только вопрос, и он узнает, как и где в Лемберге можно поставить печать. И Вилли как раз горит желанием ему об этом поведать. Но Андреас не хочет этого знать. Он будет в восторге, если они получают печати. Он будет счастлив поехать курьерским. Это же чудесно — ехать курьерским. Там ведь не только солдаты, не только мужчины. Какой ужас, всегда находится только среди мужчин, в мужчинах столько бабьего! А там будут и женщины... Польки... румынки... немки... Шпионки... жены дипломатов. Это же прекрасно, ехать в одном поезде с женщинами... до... до... до места, где я умру. Что же там случится? Партизаны? Здесь всюду партизаны, но зачем партизанам нападать на поезд с гражданскими лицами? Хватит с них воинских эшелонов, где представлены все рода войск, с оружием, багажом, довольствием, обмундированием, деньгами и боеприпасами.

Вилли разочарован, что Андреас не спрашивает, где в Лемберге он намерен поставить печати. Ему так охота поговорить о Лемберге.

— Лемберг! — произносит он и смеется. И так как Андреас по-прежнему ничего не спрашивает, Вилли просто начинает рассказ: — Знаешь, именно в Лемберге мы всегда загоняли машины.

— Всегда? — Андреас настораживается. — Загоняли машины?

— Я имею в виду, когда было что загнать. Мы же ремонтная мастерская, у нас постоянно остаются какие-нибудь развалюхи, и столько всякого хлама, который вовсе и не хлам. Достаточно только объявить, что это уже лом. И порядок. А обер-интендант хочешь не хочешь на все закрывает глаза, потому как путался с одной черновицкой еврейкой. А это никакой не лом, а машина, ясно тебе? Из двух или трех таких можно сказочное авто сладить. Русские это здорово умеют.

А в Лемберге дают за это сорок тысяч чистыми. Раздели на четыре. Я и трое моих ребят из колонны. Это, понятное дело, опасно, но приходится рисковать.— Он тяжело вздыхает.— Перетрухаешь, будь здоров. Никогда ведь не известно, а вдруг тот, с кем ты связался, из гестапо, это ведь до самого конца не узнаешь. Так что две недели трясешься. А уж если две недели все тихо и никого не арестовали из участников, значит, порядок, ты опять в выигрыше. Сорок тысяч чистыми.— Он со смаком тянет пиво.— Как подумаю, сколько техники мы побросали в грязи вокруг Никополя... На миллионы, вот что я тебе скажу, на много миллионов! И никому от этого никакого проку, разве что русским.— Он с наслаждением затягивается.— Знаешь, а между делом можно еще кое-что загнать, и с куда меньшим риском. Какие-нибудь ценные запчасти, мотор или покрывку. Или тряпки. Они с ума сходят из-за тряпок. Пальто... Хорошее пальто идет почти за тысячу марок. А в доме... знаешь, я построил себе маленький домик, чудный маленький домик с мастерской... так вот... в... в... ты что? — спрашивает он вдруг.

Но Андреас ничего не говорил. Он бросает на Вилли быстрый взгляд и замечает, что глаза его мрачны, лоб пошел морщинами. Вилли залпом допивает остатки пива. Опять его прежнее лицо, хоть и без бороды... а золотое солнце все еще стоит над башнями Пшемысля. И тут зашевелился Блондин. Сразу видно, что он притворялся спящим. И сейчас он делает вид, будто только что проснулся. Долго потягивается, поворачивается на спину, открывает глаза, но он не знает, что на его чумазом лице явственно видны следы слез. Они точно тропинки, тропинки в грязи — ни дать ни взять маленькая девочка, у которой на детской площадке стянули бутерброд. Он этого не знает, может, он вообще уже не помнит, что плакал. Глаза его покраснели и

выглядят совсем ужасно, можно подумать, что у него и в самом деле венерическая болезнь...

— Ау! — зевает он, — вот здорово, есть чего пожрать!

Пиво, правда, уже не такое холодное, но он жадно пьет его и берется за еду, а они оба курят и не спеша пьют водку, прозрачную как слеза, замечательную водку, которую добыл Вилли.

— Да! — смеется Вилли, но тут же обрывает смех так внезапно, что Андреас и Блондин испуганно смотрят на него. Вилли краснеет, опускает голову и отпивает большой глоток водки.

Андреас спокойно спрашивает:

— Что ты хотел сказать?

Вилли отвечает очень тихо:

— Я хотел сказать, что я сейчас пропиваю нашу ипотеку, в буквальном смысле слова. На доме, который жена принесла мне в приданое, висела закладная, небольшая, на четыре тысячи, и я хотел ее выкупить... Да ладно, давайте выпьем, ваше здоровье!

Блондину тоже неохота идти куда-то в город, к парикмахеру или в баню тут, в бараке. Они просто берут под мышку полотенца и мыло и идут по заросшей колее.

— Не забудьте на сапоги глянец навести! — кричит им вслед Вилли. У него самого сапоги надраены до блеска.

В конце одного из путей стоит большой водяной насос для паровозов, из которого непрерывно течет. Тоненькая ровная струйка воды на земле растекается в лужу. А ведь и в самом деле приятно помыться. Если б еще мыло нормально мылилось. Андреас берет мыло для бритья. Мне оно уже не понадобится, думает он. Здесь на три месяца запас, а выдали мне его только месяц назад, мне оно уже не понадобится, и все, что останется, пойдет партизанам. Но партизанам тоже нужно мыло, поляки любят бриться. Бритье и чистка обуви — их пунктик. Но едва Андреас и Блондин собрались бриться, как увидели наверху Вилли, который что-то кричал им, размахивая руками; его движения были столь красноречивы и неподдельно драматичны, что они поспешили собрать свое барахлишко и вытираться уже на бегу.

— Ребята! — кричит Вилли. — Только что подошел эшелон на Ковель, он опаздывает, так что через четыре

часа уже будем в Лемберге. Вот в Лёмберге и побреетесь...

Они одеваются, берут вещи и идут на платформу, где стоит опаздывающий эшелон. В Пшемысле мало кто выходит. Но Вилли сразу замечает вагон, из которого вываливается группа танкистов, молодых парней в новенькой форме, от которой еще пахнет вещевым складом. Тамбур оказался пустым, и они побыстрее заняли его, пока другие пассажиры не свалили там свой багаж.

— Четыре часа! — торжествует Вилли. — Самое позднее в десять мы будем в Лемберге. Блеск! И как же удачно он опоздал, этот роскошный поезд! В нашем распоряжении ночь, целая ночь!

Они быстро и удобно уселись, прислонясь спинами к стенке вагона.

Уже сидя Андреас вытирает мокрые уши и приводит в порядок содержимое своего мешка. Грязная рубашка, грязные подштанники, чистые носки, остаток колбасы, остаток масла в коробочке. Колбаса на понедельник, масло на полпонедельника, леденцы на воскресенье и понедельник, сигареты, которые ему еще причитаются по праву, и хлеб на воскресное утро, да еще молитвенник, этот молитвенник он всю войну таскает с собою, но никогда не открывает. Он молится просто так, но молитвенник всегда при нем. Странно, думает он, все очень странно. Он достает сигарету, еще причитающуюся ему сигарету, субботнюю сигарету, положенную ему на сутки от обеда в пятницу до обеда в субботу...

Блондин играет на губной гармошке, а Андреас и Вилли молча курят, когда поезд трогается с места. Теперь Блондин играет по-настоящему и, похоже, импровизирует, это не какие-то известные правильные мелодии, а странно мягкие, волнующие, абсолютно бесформенные музыкальные картины, навевающие мысли о болотах.

Да, думает Андреас, сивашские болота, интересно, что там эти ребята делают сейчас возле своего оружия? Его пробирает дрожь. Может, они поубивали друг друга, может, прикончили своего вахмистра, а может быть, их уже сменили. Надо надеяться, что сменили. Сегодня ночью я помолюсь за этих людей в сивашских топях, и за того, который пал за Великую Германию, потому что не... потому что не хотел... стать таким.

Это поистине геройская смерть. Его кости лежат где-то в Крыму, в болоте, и никто не знает, где его могила, никто не откапает его прах и не перенесет на кладбище героев, никому это даже в голову не придет, и вот однажды он восстанет там, в Крыму, восстанет из сивашских топей, отец двоих детей, чья жена живет в Германии, женщина, которой местный группенляйтер со скорбным видом вручил письмо; она живет в Бремене, или в Кёльне, или в Леверкузене, вполне возможно, что в Леверкузене. Он восстанет из сивашских топей, и тогда всем будет ясно как божий день, что он пал вовсе не за Великую Германию, и не потому что взбунтовался и грозил вахмистру оружием, а потому что не хотел стать таким...

Андреас и Вилли вздрогнули, когда Блондин внезапно перестал играть; их пленила, буквально обволокла мягкая, нежная пелена этих мелодий и вдруг пелена разорвалась...

— Смотрите,— говорит Блондин, указывая на руку солдата, который стоит у окна и курит трубку,— вот это мы сделали, дома, смешно просто, сделали мы их тысячи, а встретишь редко.

Им не понятно, что он имеет в виду. Блондин смущенно смотрит в их недоумевающие глаза и заливается краской.

— Крымские нашивки,— объясняет он чуть ли не сердито.— Мы изготовили массу крымских нашивок. Теперь делаем кубанские, скоро они появятся. И значки за подбитые танки тоже мы делали. А в свое время сделали Судетский орден с крошечным изображением Градчан. В тридцать восьмом.

Они все еще смотрят на него так, словно он говорит по-древнееврейски, с недоумением, и он еще больше краснеет.

— Да поймите вы! — он почти уже кричит,— у нас в Германии была фабрика!

— Ах вот что,— произносят оба.

— Да, отечественная фабрика знамен.

— Фабрика знамен? — переспрашивает Вилли.

— Это только так называется, хотя мы, конечно, изготавливаем и знамена тоже. Целые вагоны знамен, представьте себе, тогда... я имею в виду в тридцать третьем... да, тогда это нужно было. Но в основном мы выпускаем ордена, медали, значки разных союзов, знаете, такие, в форме маленькой медали с надписью

«Победителю чемпионата 1934 года», и значки спортивных обществ, и значки со свастикой и маленькие жестяные флажки на булавках. Сине-бело-красные, например, французские сине-бело-красные в поперечную полосу. Мы много чего выпускали на экспорт, но как началась война, стали работать только на свою страну, и нашивки за ранения делали, массу нашивок за ранения. Черные, серебряные и золотые. Особенно много черных. Кучу денег заработали. И старые ордена, времен мировой войны, изготавливали, и значки фронтовиков, прорву таких значков, и всякие застёжки для гражданских костюмов... да... — он вздыхает и, вдруг умолкнув, смотрит на солдата с крымской нашивкой, который все еще курит, высунувшись в окно. Потом опять берется за гармонику. Мало-помалу начинает смеркаться... и вдруг, сразу, наступают сумерки, они как бы разбухают, темнеют, и вот уже совсем темный вечер и чувствуется, что холодная ночь у порога. Блондин наигрывает свои болотные мелодии, и они как наркотик по капле проникают в их души... Сиваш, думает Андреас, я должен, пока не заснул, помолиться за тех людей у орудия в сивашских болотах. И понимает, что вот-вот заснет... предпоследняя ночь. Он молится... молится... но слова путаются, все сплывается... жена Вилли в красной пижаме... глаза... французский обыватель... Блондин и тот, который говорил: «Практически, практически мы уже выиграли войну»...

Он просыпается оттого, что поезд долго стоит. На станциях обычно как-то иначе бывает, там не успеешь и зевнуть, как уже чувствуешь нетерпение в колесах поезда и знаешь, что он скоро тронется. Но сейчас поезд стоит так долго, что кажется, будто колеса окоченели. Поезд стоит. Не на станции, а на запасном пути. Андреас в замешательстве поднимается и видит, что все сгрудилось у окон. Ему чудится, что все его покинули, так одиноко ему в темном тамбуре, особенно оттого, что он не видит Вилли и Блондина. Наверное, оба пробились к окнам. За окнами темно и холодно, видимо, час ночи или уже два, думает он. Он слышит, как мимо проносятся вагоны и как солдаты в вагонах распевают песни... старые, глупые, идиотские песни, которые им уже в печенки въелись, которые погребены в них, как мелодия в граммофонной пластинке, и стоит им открыть рот, как они уже поют, поют эти песни: «Хайде-Мария» и «Стрелок»... И он иной раз их пел,

сам того не желая и не ведая, пел эти песни, которыми вечно забивали головы солдатам, чтобы убить мысли. И эти песни солдаты теперь кричали в ночь, в темную, мрачную, печальную польскую ночь, и Андреасу чудилось, что он обязательно должен где-то далеко-далеко услышать эхо, где-то за темным невидимым горизонтом, насмешливое, тихое, но очень пронзительное эхо. «Стрелок», «Стрелок», «Хайде-Мария». Много, должно быть, пронеслось вагонов, и вот все кончилось, все вернулись на свои места. И Вилли с Блондином тоже.

— Эсэсовцы,— говорит Вилли,— их бросают под Черкассы. Там опять котел. А они будут его лудить! Лудильщики!

— Они-то справятся...— произносит чей-то голос.

Вилли опять сидит рядом с Андреасом и говорит, что сейчас уже два часа.

— Вот свинство, мы не поспеем на лембергский поезд, если сейчас же не тронемся. У нас два часа в запасе... А иначе мы выедем только в воскресенье утром.

— Да мы сейчас поедем,— сообщает Блондин, который опять приткнулся к окну.

— Может, и поедем, но в Лемберге у нас ни на что не будет времени. Полчаса для Лемберга — это фигня. Лемберг.— Он смеется.

И вдруг они слышат, как кто-то окликает Блондина.

— Я? — отзывается тот.

— Да, вы, вы! — кричит кто-то снаружи.— Собирайтесь, пойдете в караул!

Сердито ворча, Блондин возвращается к ним, а за окном человек в стальной каске влезает на подножку и заглядывает в вагон. Они видят тяжелую большую голову, темные глаза и командирский лоб — Блондин чиркнул спичкой, чтобы найти свою каску и ремень.

— Есть тут унтер-офицеры? — кричит человек в каске. Такой голос может только кричать. Никто не отзывается.— Есть тут унтер-офицеры?

Никто не отзывается. Вилли шутливо толкает Андреаса локтем.

— Не вынуждайте меня проверять; если обнаружу унтер-офицера, пусть пеняет на себя.

Еще мгновение никто не отзывается, хотя Андреас видел, что тут полно унтер-офицеров. Вдруг кто-то рядом с ним говорит:

— Есть!

— Вы что, дрыхли? — орет голос из-под каски.

— Так точно,— отвечает кто-то, и тут Андреас узнает того, с крымской нашивкой.

Слышатся смешки.

— Ваша фамилия? — орет голос из-под каски.

— Фельдфебель Шнайдер.

— Вы назначаетесь старшим по вагону на то время, что мы здесь простоим, понятно?

— Так точно!

— Хорошо, а вот этот парень...— он указывает на Блондина,— как ваша фамилия?

— Ефрейтор Зибенталь.

— Итак, ефрейтор Зибенталь дежурит перед вагоном до четырех часов, если мы еще будем стоять, в четыре смените его. Кроме того, поставьте часового с другой стороны вагона, в случае необходимости его тоже смените. Могут напасть партизаны.

— Слушаюся!

Голова в каске исчезает, бормоча себе под нос «фельдфебель Шнайдер».

Андреас дрожит. Только бы не стоять на посту, думает он. Я сижу совсем рядом со Шнайдером, и он может просто схватить меня за рукав и поставить в караул. Фельдфебель Шнайдер зажигает карманный фонарь и светит им в коридор. Он светит на воротники солдат, притворяющихся спящими, потом хватается кого-то за шиворот и говорит со смехом:

— Пошли, постоишь на часах со своим пугачом, но я ни в чем не виноват.

Захваченный врасплох солдат, чертыхаясь, приводит себя в порядок. Только бы они не дознались, что у меня нет винтовки, и вообще нет никакого оружия, ведь моя винтовка стоит у Пауля в шкафу, за его непромокаемым плащом. А на что Паулю винтовка? Капеллан с винтовкой просто находка для гестапо. И заявить о ней он не может, ведь тогда ему пришлось бы назвать мое имя, а он понимает, что они тут же сообщат в мою часть. Это ужасно, что вдобавок ко всему я еще и винтовку у него оставил...

— Да ладно тебе, это ведь только до отхода поезда,— урезонивает фельдфебель чертыхающегося солдата, который уже пробрался ощупью к двери. Странно, что поезд стоит здесь. Проходит еще четверть часа, никто не может заснуть от беспокойства. Видно, и впрямь партизаны поблизости, а это жутко, быть застигнутым

в поезде. Может, и в следующую ночь будет что-то похожее. Странно... странно. Может, что-то похожее будет между Лембергом и... нет, до Коломыйи мне уже не доехать. Еще двадцать четыре часа, двадцать четыре или, самое большее, двадцать шесть часов. Ведь уже суббота, как ни верти, уже суббота. Я был безумно легкомыслен... я еще со среды знаю... и я ничего не сделал, я знаю это совершенно точно, и все-таки я молился почти так же мало, как обычно. Я играл в карты, пил шнапс, ел с отменным аппетитом и даже спал. Я чересчур много спал, а время бежало, время всегда бежит, а теперь впереди у меня только двадцать четыре часа. Я ничего не сделал, а если человек знает, что умрет, он должен собраться с мыслями, покаяться и помолиться, он должен много молиться, а я молился не больше обычного. И ведь я точно знаю, что умру. Субботнее утро. Воскресное утро. Буквально один день. Надо молиться, молиться...

— Дай-ка мне глоток, я замерз как собака.— Это Блондин просунул голову в окно, и его ставшая уродливой в стальной каске голова, по форме похожая на голову гончей, выглядела устрашающе.

Вилли подносит бутылку к его губам и долго держит, пока тот напьется. Потом протягивает бутылку Андреасу.

— Нет,— отказывается Андреас.

— Еще поезд идет,— это опять голос Блондина.

Все ринулись к окнам. После первого поезда прошло полчаса, и вот опять эшелон с войсками, и опять песни, опять «Стрелок»... «Стрелок» и «Хайде-Мария» в темной печальной польской ночи... «Стрелок». Это длится долго, пока весь состав пройдет... платформы, вагоны, солдаты, и без конца «Стрелок» и «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — целый мир... целый мир... целый мир...».

— Опять эсэсовцы,— говорит Вилли,— всё на Черкасы. Похоже, там полный крах.— Он произносит это тихо, потому что совсем рядом кто-то с пылом и оптимизмом утверждает, что уж эти-то справятся...

Уже едва слышен в ночи «Стрелок», песня тает, уносясь к Лембергу, точно тихий нежный стон, и вновь вокруг темная, печальная польская ночь.

— Мало кто из этих ребят вернется домой,— ворчит Вилли. Он опять предлагает Андреасу выпить, но тот опять отказывается. Наконец-то, думает он, у меня

будет время помолиться. В предпоследнюю ночь своей жизни я не хочу ни спать, ни дремать, ни наливатьсь шнапсом, ни просто считать ворон. Я должен помолиться и во всем покаяться перед господом. Человеку всегда есть в чем каяться, даже и в моей несчастной жизни было много грехов. Вот тогда, во Франции в жуткую жару я выпил бутылку шерри-бренди... как последняя скотина... и упал, как последняя скотина, и чуть не умер. Целую бутылку шерри-бренди, в тридцатипятиградусную жару, на улице без единого деревца в какой-то французской дыре. Потому что я умирал от жажды, а пить было нечего. Это был кошмар, и я восемь дней мучился головной болью. А еще я ссорился с Паулем, обзывал его попиком, и вообще ругал попов. Очень страшно перед смертью вспомнить о том, что кого-то ругал. И учителей в школе я поносил, и на бюсте Цицерона нацарапал «дерьмо», глупость какая, но я был так еще юн... хотя и сознавал, что это дурно и глупо, однако нацарапал, поскольку знал — другие будут смеяться, я сделал это только потому, что мне хотелось, чтобы другие посмеялись моей шутке. То есть из тщеславия. А не оттого, что я считал Цицерона дерьмом; будь это так, мой поступок был бы не столь уж дурным, но я это сделал ради шутки. Ничего нельзя делать ради шутки. И над лейтенантом Шрекмюллером я подшучивал, над этим грустным, бледным, низкорослым юношей, которому лейтенантские погоны давили на плечи, невыносимо давили, и по его лицу сразу можно было сказать, что он уже не жилец. Над ним я тоже шутил, потому что мне нравилось слыть шутником, насмешливым бывалым солдатом. Наверное, это хуже всего, и я не знаю, может ли господь такое простить. Я шутил над ним, над его внешностью мальчишки из гитлерюгенда, а он был уже не жилец, я видел это по его лицу, и он действительно погиб; его подстрелили во время первой нашей атаки в Карпатах, и тело его скатилось с обрыва, так страшно оно катилось, облипая грязью... это было очень страшно и в то же время почти смешно, как тело катилось вниз, все быстрее, быстрее, быстрее, пока наконец не замерло внизу...

А в Париже я обругал проститутку. Среди ночи, и это скверно. Было холодно, она пристала ко мне, она буквально вцепилась в меня, и по ее пальцам, по кончику носа я увидел, что она ужасно замерзла, замерзла от голода. Меня чуть не стошнило, когда она сказала:

«Пойдем!» — и я оттолкнул ее, а она была вся продрогшая, уродливая и совершенно одинокая на этой большой широкой улице, может, она была бы рада лечь со мной в свою жалкую постель и просто согреться. А я буквально пихнул ее в грязь и наговорил ей гадостей. Если бы я мог узнать, что случилось с нею в ту ночь! Может, она бросилась в Сену, оттого что была так уродлива и никто не клюнул на нее в эту ночь, и самое страшное, что я не был бы с нею так суров, будь она красивой... Будь она красивой, возможно, и ее профессия не показалась бы мне такой мерзкой, и я не пихнул бы ее в грязь, и сам, наверно, с радостью согрелся бы возле нее, и все было бы иначе. Бог весть что случилось бы, будь она красивой. Какой ужас, так дурно обойтись с человеком только потому, что он уродлив. Да и нет вообще уродливых людей. Бедняжка... Господи, прости мне за двадцать четыре часа до смерти то, что я оттолкнул эту несчастную уродливую продрогшую проститутку, ночью, на широкой пустынной парижской улице, где для нее не нашлось ни одного клиента, кроме меня. Господи, прости мне все это, что ж теперь поделать, что было, то было, и уже навеки укором мне будут и горестный стон бедной девушки на парижской улице, и жалкие беспомощные собачьи глаза лейтенанта Шрекмюллера, на детских плечах которого такой непомерной тяжестью лежали погоны.

Если бы я мог заплакать... Из-за всего этого я никогда еще не плакал. Мне больно, тяжело и страшно, но плакать я не могу. Все они могут плакать, даже Блондин, только я не могу. Господи, сделай так, чтобы я заплакал...

Еще многое мне сейчас просто не приходит в голову. Это далеко не всё. Ведь скольких людей я презирал, ненавидел, проклинал про себя. Вот и того, который говорил: «Практически, практически мы уже выиграли войну», его я тоже ненавидел, но заставил себя за него помолиться, потому что он просто глуп. Я должен еще помолиться и за того, который сказал: «Уж эти-то справятся», и за всех тех, что с воодушевлением распевали «Стрелка».

Я всех их ненавидел, тех, что ехали мимо и пели «Стрелка» и «Хайде-Марию»... и «Как прекрасно быть солдатом»... и... и «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра целый мир!». Всех, всех их я ненавидел, всех,

кто лежал рядом со мною в вагоне и в казарме. Ах, в казарме...

— Внимание! — раздается снаружи чей-то голос, — всем по вагонам!

Появляются Блондин и часовой, стоявший с другой стороны вагона, паровоз свистит, и поезд трогается.

— Слава богу! — радуется Вилли.

Но все-таки они опаздывают. Уже половина четвертого, до Лемберга еще минимум два часа, а курьерский Варшава—Бухарест отходит в пять.

— Еще лучше, — говорит Вилли, — так у нас будет целый день в Лемберге. — Он опять смеется. Он готов без конца рассказывать о Лемберге. Это слышно по его голосу, но никто ни о чем не спрашивает, не просит рассказать. Все устали, половина четвертого, холодно, темное польское небо нависает над ними, а те два батальона или полка, которым предстоит «лудить» котел под Черкассами, заставили их призадуматься. Все молчат, хотя никто не спит. Но грохот колес так хорошо убаюкивает, гонит прочь все мысли, вытряхивает задумчивость, это равномерное тра-та-та, тра-та-та усыпляет их. Все они бедные, серые, голодные, соблазненные и обманутые дети, и их колыбели — поезда, фронтные эшелоны — усыпляют их своим равномерным тра-та-та...

Блондин, похоже, и в самом деле спит. Он замерз на насыпи, и вагонная духота показалась ему желанным теплом, усыпила его. Только Вилли бодрствует, Вилли, который раньше был Небритым. Иногда слышно, как он тянется к своей бутылке и с бульканьем глотает водку, а между глотками тихонько чертыхается, иногда чиркает спичкой, закуривает, а потом светит в лицо Андреасу и видит, что тот и не думает спать. Но он ничего не говорит. И это странно, что он ничего не говорит...

Андреас хочет молиться, он непременно хочет молиться, сперва прочесть все обычные молитвы и еще несколько собственных, а потом он хочет подсчитать, хочет сосчитать всех тех, за кого надо молить Господа, но, думает он, это глупость, всех не перечтешь. Ведь надо считать всех, весь мир. Пришлось бы пересчитать два миллиарда... Сорок миллионов, вспоминает он... Нет, пришлось бы пересчитывать два миллиарда. Лучше просто сказать: всех. Но это слишком мало, и надо все-таки отдельно посчитать тех, за кого он хочет мо-

лить Бога. Сперва за тех, кого он обидел, чтобы хоть как-то загладить эти обиды. Начать надо со школы, потом он отбывал трудовую повинность, потом — казарма, потом война... и еще за всех тех, кто вспомнится ему по ходу дела. Вот, например, дядя, которого он тоже ненавидел за то, что тот бредил военной службой, по его словам, лучшим временем его жизни. Андреас вспоминает родителей, которых никогда даже не знал. Пауля. Пауль скоро проснется и отслужит обедню. Это будет уже третья обедня с тех пор, как я уехал, может, он тоже все понял, когда я кричал «я скоро умру!»... скоро. Может быть, Пауль понял и в воскресенье утром отслужит за меня обедню, за час до моей смерти или уже после. Надо надеяться, Пауль вспомнит и о солдатах вроде Блондина, и еще о других, вроде Вилли, и о тех, которые говорят: «Практически, практически мы уже выиграли войну», и о тех, которые день и ночь поют «Стрелка», и «Хайде-Марию», и «Как прекрасно быть солдатом», и «Солнце Мексики». Он совсем не вспоминает о глазах в это холодное безотрадное утро под темным печальным галицийским небом. Теперь мы уж точно в Галиции, недалеко до Лемберга, а Лемберг ведь столица Галиции. Сейчас я почти в самом центре той сети, в которую должен попасться. Ведь я уже в Галиции. За всю свою жизнь я ничего не хотел видеть так, как Галицию. Оно уже свелось к самой малости, это «скоро». Всего каких-то двадцать четыре часа и несколько десятков километров. Лемберг уже близко, километров шестьдесят, и за Лембергом не больше шестидесяти. К ста двадцати километрам свелась моя жизнь здесь, в Галиции... в Галиции... Это слово как нож на невидимых змеиных ножках... нож... он блуждает здесь, тихо блуждает... Тихо блуждающий нож. Галиция. И как это все будет? Застрелят меня или зарежут... или задавят... или просто меня расплющит вместе с вагоном? Есть бесконечно много вариантов смерти. Можно быть застреленным вахмистром, если не захочешь стать таким, как Блондин... умереть можно как угодно, а в письме домой все равно напишут: «Пал за Великую Германию». Надо мне во что бы то ни стало помолиться за тех ребят у орудия в сивашских топях... во что бы то ни стало... во что бы то ни стало... тра-та-та... во что бы то ни стало за ребят у орудия... в сивашских топях... тра-та-та...

Как это ни ужасно, но в конце концов он снова заснул. И вот они уже в Лемберге. Большой вокзал, черный железный каркас и грязно-белые вывески, и между платформами черным по грязно-белому: Лемберг. Это трамплин. Удивительно, как быстро мы добрались с берегов Рейна до Лемберга. Лемберг, черным по белому, неоспоримо: Лемберг. Главный город Галиции. Еще на шестьдесят километров меньше. Сеть теперь совсем маленькая. Шестьдесят километров, а может, и того меньше, может, только десять. За Лембергом, между Лембергом и Черновицами, может, уже в одном километре за Лембергом... Это так же растяжимо, как и то «скоро», в близость которого он поверил...

— Ну и здоров ты спать,— говорит Вилли, весело собирая вещи,— это ж с ума сойти. Мы еще два раза стояли. Тебя чуть не послали в караул. Но я сказал фельдфебелю, что ты больной, и он не стал тебя будить. А теперь вставай!

Вагон уже пуст, Блондин ждет на платформе со своим рюкзаком и чемоданом.

До чего же странно идти по перрону лембергского вокзала...

Время — одиннадцать часов, почти что полдень, и Андреас жутко проголодался. Но о вареной колбасе он думает с отвращением, хочется хлеба с маслом и чего-нибудь горячего. Я давно уже не ел горячего, а так хочется! Странно, думает он, идя вслед за Вилли и Блондином, моя первая мысль в Лемберге: надо поесть горячего! За четырнадцать или пятнадцать часов до смерти тебе обязательно надо поесть горячего! Он смеется, так что его приятели оборачиваются и смотрят на него вопросительно, но он отводит взгляд и краснеет. А вот и выход с перрона. Возле него, как на всех вокзалах Европы, стоит часовой, и он говорит Андреасу, поскольку тот идет последним:

— Зал ожидания для нижних чинов и рядового состава — налево.

Отойдя от часового, Вилли взрывается. Он закуривает сигарету и передразнивает часового:

— Зал ожидания для нижних чинов... налево... Им охота, чтобы мы сами топали в стойло, которое они нам приготовили.

Андреас и Блондин испуганно смотрят на него, но он смеется.

— Положитесь на меня, ребята! В Лемберге я как дома. Зал ожидания для рядового состава! Здесь есть пивные, здесь есть рестораны,— он прищелкнул языком,— и притом европейского класса,— и тут же повторил, уже с иронией,— европейского класса!

Он опять уже выглядит небритым, похоже, он обрастает с чудовищной быстротой. У него теперь старое, очень грустное, полное отчаяния лицо.

Он молча идет впереди них, выходит из дверей вокзала, не говоря ни единого слова, пересекает огромную площадь, кишашую народом, и быстро сворачивает в темный узкий переулок, там на углу стоит машина, старая легковая колымага, и это просто чудо, что шофер оказывается знакомцем Вилли.

— Стани! — кричит Вилли, и это опять как чудо, что заспанный грязный старый поляк поднимается со своего сиденья. Вилли называет какое-то польское имя, и вот они все трое уже садятся в такси со своими пожитками и катят по городу. Улицы здесь, как во всех больших городах мира. Широкие, элегантные улицы, с крутыми спусками, печальные улицы с желтоватыми домами, которые кажутся вымершими. Люди, везде люди, а Стани едет очень быстро... и это тоже как чудо: весь Лемберг, кажется, принадлежит Вилли. Они въезжают в очень широкую аллею, такую же, как и во всех больших городах мира, и все-таки очень польскую аллею, и тут Стани тормозит. Он получает деньги, Андреас видит — пятьдесят марок, и с ухмылочкой помогает выгрузить багаж на тротуар, все очень быстро, опять все происходит очень быстро, и вот уже они идут через заросший палисадник, входят в длинный и душный коридор дома с облупившимся фасадом. «Австро-венгерский» дом. Андреас сразу понял, что это бывший австро-венгерский дом, должно быть, когда-то, во времена, когда еще танцевали вальсы, здесь жил какой-нибудь генерал или высокопоставленный чиновник, кто знает. Это старый дом, такие есть повсюду на Балканах, и в Венгрии есть и в Югославии, и конечно же в Галиции. Эти мысли мелькали у него, пока они не вошли в длинный, темный, остро пахнущий затхлостью коридор.

Но тут Вилли с довольным смехом распахнул грязно-белые высокие и широкие двери, и за ними оказался ресторан с мягкими креслами и изящно сервированными столиками. На столиках букеты цветов. Осен-

ние цветы, думает Андреас, такие кладут на могилы, и для меня это будет последний обед приговоренного к смерти. Вилли ведет их в нишу, которую можно задернуть занавеской; в нише тоже кресла, изящно сервированный столик, и все это как чудо. Разве не стоял я только что под щитом, на котором черным по белому написано: Лемберг?

Кельнер! Элегантный кельнер-поляк в сверкающих туфлях, идеально выбритый, ухмыляющийся, вот только пиджак у него немного запачкан. Всё тут ухмыляется, думает Андреас. Пиджак кельнера немного запачкан, но это ничего, туфли у него царские, и выбрит он как бог... начищенные до блеска черные полуботинки...

— Георг, — говорит Вилли, — господа желают помыться и побриться.

Это звучит как приказ. Нет, это и есть приказ. Андреас даже рассмеялся, идя следом за непрерывно ухмыляющимся кельнером. Ему кажется, будто он в гостях у знатной бабушки или у знатного дядюшки и дядюшка может сказать: небритые или неумытые дети не будут допущены к столу...

Ванная комната просторная, чистая. Георг приносит горячую воду.

— Может, господа желают туалетное мыло, прекрасное мыло, пятнадцать марок.

— Принесите! — говорит Андреас смеясь, — папа платит за все!

Георг приносит мыло и с ухмылкой повторяет:

— Папа платит за всё!

Блондин тоже моется. Они оба снимают рубашки, моются с мылом, с наслаждением растираются насухо, трут полотенцами плечи, трут пожелтевшую, привядшую без воздуха солдатскую кожу. Какое счастье, что я прихватил с собой носки, думает Андреас, сейчас вымою ноги и смогу надеть чистые носки.

Носки здесь наверняка дорого стоят, и с какой стати мне оставлять носки в мешке. У партизан, конечно, есть носки. Он моет ноги и смеется над Блондином, а тот смотрит на него с удивлением. Блондин все делает как во сне!

Как чудесно быть гладко выбритым, таким же выбритым, как поляк, вот жаль только, что к утру я снова зарасту щетиной. А Блондину незачем бриться, у него над губой едва пробивается пушок. В первый раз

Андреас задается вопросом, сколько лет может быть Блондину, а сам тем временем натягивает красивую чистую рубашку, с настоящим штатским воротничком, так что можно даже забыть о солдатских тесемках, голубую рубашку, когда-то она была синей, а теперь — небесно-голубая. Он застегивает ее и поверх надевает китель, глухой серый китель с нашивками за ранения. Возможно, эти нашивки изготовлены у Блондина на отечественной фабрике знамен, думает Андреас. Ах да, он же думал о том, сколько лет Блондину. Борода у него не растет, но у Пауля тоже не растет борода, а ему уже двадцать шесть. Блондину может быть семнадцать лет, а может, и все сорок, такое у него странное лицо, но ему, должно быть, лет двадцать. И он уже ефрейтор, значит, в солдатах не меньше года, а то и двух. Двадцать—двадцать один, прикидывает Андреас. Так. Китель надет, воротничок застегнут, это действительно здорово, быть чистым.

Нет, спасибо, они сами найдут дорогу обратно в нишу. В ресторане сидят несколько офицеров, которым они обязаны отдать честь. Это отвратительно — отдавать честь, просто ужасно, а потому очень приятно опять оказаться в нише за занавеской.

— Вот такими вы мне нравитесь, ребята,— говорит Вилли. Он пьет вино и курит сигару, на столе множество разных тарелок, вилок, ножей и ложек.

Георг подает беззвучно. Сначала — суп. Бульон, определяет Андреас. Он долго молится про себя. Вилли и Блондин уже едят, а он все еще молится, и, странное дело, они ничего ему не говорят.

После бульона подают что-то вроде картофельного салата, только совсем чуточку. И к этому аперитив. Как во Франции. Дальше следуют несколько мясных блюд. Сначала настоящий немецкий бифштекс... а потом что-то странное...

— Это что такое? — высокомерно осведомляется Вилли, но сам при этом смеется.

— Это? — ухмыляется Георг, — это свиное сердце... прекрасное свиное сердце...

Затем он подает котлеты, отличные, сочные котлеты. Вот уж поистине последний обед приговоренного к смерти, думает Андреас, и пугается оттого, что ему так вкусно. Ведь это грех, думает он, я должен был молиться, молиться, должен был весь день простоять на коленях, а я сижу тут и ем свиное сердце... Это

грех. Далее — овощи, сперва фасоль, затем наконец картофель. И опять мясо, что-то похожее на гуляш, очень поджаристый гуляш. И опять овощи, салат. Хорошо, хоть какая-то зелень. И ко всем блюдам вино. Вилли с высокомерным видом, но смеясь наливает им.

— Все денежки сегодня вылетят в трубу, да здравствует лембергская ипотека!

Они пьют за лембергскую ипотеку.

На десерт — целый ряд разных блюд. Как во Франции, думает Андреас. Сперва пудинг, настоящий яичный пудинг. Потом кусок пирога с горячим ванильным соусом. И опять они пьют вино, которое им наливает Вилли, очень сладкое вино. Затем — что-то маленькое, просто крошечное на белой тарелке. С шоколадной подливкой. Слоеное тесто с шоколадной подливкой и взбитыми сливками. Настоящие сливки. Жаль, что так мало, думает Андреас. Они едят молча. Блондин все еще как во сне, на него даже страшно смотреть, он ест и пьет с открытым ртом. Под конец подают сыр, настоящий сыр. Черт, совсем как во Франции, сыр и хлеб, и на этом — все. После сыра уже ничего не съешь, думает Андреас, и они пьют вино, белое французское вино... Сотерн...

Господи, разве не пил он сотерн в Ле-Трепоре, на террасе над морем, сотерн, восхитительный, как молоко, огонь и мед, сотерн на террасе над морем летним вечером, и разве не были с ним в тот вечер любимые глаза, почти так же близко, как в Амьене? Сотерн в Ле-Трепоре. Это то самое вино. Он прекрасно помнит вкус. Сотерн в Ле-Трепоре, и она была с ним, ее рот, волосы, глаза, и все благодаря вину, и до чего же приятно запивать вином хлеб с сыром...

— Ну как, ребятки,— добродушно произносит Вилли,— вкусно было?

Да, все было по-настоящему вкусно, и чувствуют они себя превосходно.

А при этом они не объелись. Вино к обеду — замечательная штука. Андреас молится... надо же помолиться после еды, и он молится очень долго,— пока Блондин и Вилли сидят, откинувшись на спинки кресел, и курят, Андреас молится, облокотясь на стол...

Жизнь прекрасна, думает он, вернее, была прекрасна. За двенадцать часов до смерти я должен признаться, что жизнь прекрасна, но это слишком

поздно. Я был неблагодарным, я отрицал, что есть простые человеческие радости... А жизнь была прекрасна. Он краснеет от смущения, краснеет от страха, краснеет от раскаяния. Я ведь действительно отрицал существование простых человеческих радостей, а жизнь была прекрасна. У меня была несчастливая жизнь... как говорится, пропащая жизнь, я страдал каждую секунду в этой проклятой военной форме... они заговаривали меня до смерти, они заставили меня проливать за них кровь на поле брани, по-настоящему проливать кровь, я трижды был ранен на полях так называемой чести, там, под Амьеном, потом под Тирасполем и еще под Никополем, я видел только грязь, кровь, дерьмо, дышал только вонью... только запахом нищеты... слышал только непристойности, и лишь на десятую долю секунды узнал истинную человеческую любовь, любовь мужчины и женщины, которая все-таки должна быть прекрасной, только на десятую долю секунды, и вот за одиннадцать или двенадцать часов до смерти я должен признать, что жизнь была прекрасна. Я пил сотерн... на террасе над морем в Ле-Трепоре и в Кайе, в Кайе я тоже пил сотерн, и тоже летним вечером, и любимая тоже была со мной... и в Париже на бульварах я тоже сиживал на этих террасах, попивая другое вино, великолепное золотое вино. И конечно же возлюбленная была со мною, и мне не было надобности разыскивать ее среди сорока миллионов французов, чтобы быть счастливым. Я думал, что ничего не забываю, а я все забыл... все... и этот обед был прекрасен... даже свиное сердце и сыр, а вино подарило мне воспоминание о том, что жизнь была прекрасна... Еще двенадцать или одиннадцать часов...

И уже под конец он думает опять о черновицких евреях, потом вспоминает о евреях Лемберга, Станислава и Коломыи... и об орудийном расчете там, в сивашских топях. И о том, кто сказал: «Вот в этом-то и есть преимущества противотанковой пушки 3,7...», и о бедной уродливой окоченевшей парижской шлюхе, которую он оттолкнул темной ночью...

— Что ж ты не пьешь, — хрипло произносит Вилли. Андреас поднимает голову и пьет. Вино еще есть, бутылка стоит в ведерке со льдом, он выпивает свой бокал, и ему опять наливают.

И ведь все это происходит в Лемберге, думает он,

в австро-венгерском доме, в старом, полуразвалившемся доме, в большой зале этого дома, где давались балы, большие, прекрасные балы с вальсами, еще каких-нибудь — он тихонько подсчитывает — еще каких-нибудь двадцать восемь, нет, двадцать девять лет назад, двадцать девять лет назад, еще до той войны. Двадцать девять лет назад здесь еще была Австрия... потом Польша... потом Россия... а теперь, теперь все это — великая Германия. Тогда здесь давали балы... танцевали вальсы, дивные вальсы, и улыбались друг другу, танцую... а в саду — за домом наверняка есть большой сад — в этом большом саду целовались, лейтенанты с девицами... а может, и майоры с дамами, а хозяин дома, должно быть полковник или генерал, делал вид, будто ничего не замечает... а может, он был правительственным чиновником или кем-то в этом роде...

— Да пей же ты!

О да, он с удовольствием еще выпьет... Время бежит, думает он, интересно, который час. Было одиннадцать, вернее, четверть двенадцатого, когда мы вышли с вокзала, сейчас, конечно, уже два, а то и три... Еще двенадцать часов, нет, побольше. Поезд отойдет только в пять утра, и тогда уже до... «скоро». Это «скоро» теперь опять так расплывчато... В шестидесяти километрах от Лемберга это уже не может быть... Шестидесят километров на поезде это полтора часа, значит, около половины седьмого, будет уже совсем светло. И вдруг, пока он подносил бокал к губам, Андреас понял, что уже не будет больше светло. Сорок километров... час или сорок пять минут... и наверное, мало-помалу начнет светать. Нет, будет еще темно, никакого рассвета! Там это и случится! Именно там! Без четверти шесть... а завтра уже воскресенье, и для Пауля начнется новая неделя, и всю эту неделю он будет служить утреннюю мессу. Я умру, когда Пауль подойдет к алтарю. Это совершенно точно, когда он начнет молитву на ступенях без службы. Он говорил мне, что теперь со служками трудно... Если Пауль будет читать молитву на ступенях, между Лембергом и... надо посмотреть, какой есть населенный пункт в сорока километрах за Лембергом. Ему необходима карта. Он поднимает глаза и видит, что Блондин дремлет в своем мягком кресле. Блондин устал, Блондин стоял на часах. Вилли же бодр, Вилли счаст-

ливо улыбается, он пьян, а карта в рюкзаке у Блондина. Но время еще терпит. Еще больше полусуток, еще пятнадцать часов... за эти пятнадцать часов предстоит многое сделать. Молиться, молиться, не спать больше... ни в коем случае не спать, и хорошо, что теперь я уже все точно знаю. И Вилли знает, что умрет, и Блондин хочет умереть, их жизнь на исходе, жизнь изрядно пьяна, бокал оставшегося времени налит почти до краев и смерти остается подлить в него совсем немного, совсем чуточку...

— Так, ребята,— говорит Вилли,— очень жаль, но нам пора уходить. Здорово было, правда? — Он толкает Блондина, и Блондин просыпается. И все же он еще спит, лицо совсем сонное, и глаза уже не выглядят так отвратительно, в них появилось что-то детское, может, это оттого, что он как следует выспался, как следует порадовался. Радость многое смывает, так же как и страдание многое смывает.— А сейчас,— говорит Вилли,— сейчас мы пойдем и поставим печати, но больше я вам пока ничего не скажу.

Ему немного обидно, что они ни о чем его не спрашивают; он подзывает Георга и расплачивается. Дает ему больше четырехсот марок. Царские чаевые.

— Машину! — требует Вилли.

Они берут свои вещи, застегивают ремни, надевают головные уборы и идут мимо офицеров, мимо штатских и мимо тех, в коричневых мундирах. И сколько же удивления в глазах офицеров и тех, в коричневых мундирах. Всё как во всех ресторанах Европы, французских, венгерских, румынских, русских, югославских и чешских, голландских и бельгийских, норвежских и итальянских и люксембургских ресторанах — канитель с ремнями и головными уборами, уставное приветствие в дверях, как перед выходом из святилища, где обитают очень строгие боги.

И вот они покидают австро-венгерский дом, австро-венгерский палисадник, и Андреас еще раз бросает взгляд на облупившийся фасад, бальный, вальсовый фасад... они садятся в такси... и уезжают.

— Сейчас,— говорит Вилли,— сейчас мы едем ставить печати. Там как раз в пять открывается.

— Не мог бы ты еще раз дать мне карту,— просит Андреас Блондина, но не успел тот достать карту, как машина опять останавливается. Они совсем немного преехали по этой широкой меланхоличной австро-

венгерской аллее. Перед ними открытое пространство с редко разбросанными виллами, а дом, возле которого они стоят,— типично польский дом. Довольно плоская крыша, грязно-желтый фасад, высокие узкие окна, наглухо закрытые ставнями, напоминающими Францию, эти ветхие ставни с узкими щелевидными прорезями выкрашены серой краской. Настоящий польский дом, и вдруг до Андреаса доходит, что учреждение, где ставят печати, просто-напросто бордель. Весь нижний этаж скрыт живой буковой изгородью.

Идя через палисадник, Андреас замечает, что на первом этаже окна не закрыты ставнями... Он видит темные занавески, грязно-коричневые с красноватым отливом.

— Тут любые печати ставят, какие душе угодно,— смеется Вилли.— Нужно только это знать и держаться поувереннее.

Они стоят с вещами у входа, а Вилли звонит. И это длится довольно долго, наконец они слышат какое-то движение в этом безмолвном таинственном доме. Андреас уверен, что за ними наблюдают. И наблюдают долго, так долго, что Вилли уже начинает тревожиться.

— Проклятье,— говорит он,— чего им от меня прятать? Дело в том, что, когда к дверям подходит кто-то незнакомый, они прячут все подозрительное,— сердито поясняет он. Но вот дверь открывается, и немолодая женщина встречает Вилли с распростертыми объятиями и сладкой улыбкой.

— Я вас едва признала,— говорит она приветливо,— входите! А эти молодые люди тоже? — Она показывает на Андреаса и Блондина.— Пожалуй,— она осуждающе качает головой,— пожалуй, для нашего заведения они слишком молоды.

Все трое входят и оставляют свои пожитки у вешалки.

— Нам нужны печати; чтобы утром уехать пятичасовым курьерским, вы же знаете...

Женщина с сомнением смотрит на Андреаса и Блондина. Она явно нервничает. Ее волосы с проседью — парик, это сразу видно. Узкое, резко очерченное лицо с томными глазами накрашено, но очень скромно. На ней элегантно черное с красным рисунком платье, довольно закрытое, чтобы не видно было

кожу, увядшую кожу, морщинистую кожу, которая особенно заметна на шее. Ей бы носить высокий, наглухо застегнутый ворот, думает Андреас, генеральский ворот.

— Хорошо,— говорит она, чуть помедлив.— И? Еще чего-нибудь?

— Пожалуй, выпить немножко, и мне девочку, а вам, ребята, тоже?

— Нет,— отвечает Андреас,— никаких девочек.

Блондин весь красный и потный от страха. Как ему должно быть жутко, думает Андреас, уж лучше бы взял себе девочку.

И вдруг Андреас слышит музыку. Это лишь клочок, обрывок музыки. Наверное, открылась дверь в комнату, где есть радио, и за те считанные мгновения, что дверь была открыта, он уловил обрывок мелодии, кто-то, видно, шарит по радиоволнам... джаз... солдатские песни... звучит голос и вдруг Шуберт... Шуберт... Шуберт... Но вот дверь закрылась и Андреасу кажется, что его кто-то ударил прямо в сердце, и вдруг в нем словно открылись тайные шлюзы... он бледнеет, шатается и приваливается к стене. Музыка... Шуберт... я отдал бы десять лет жизни, чтобы еще раз услышать песню Шуберта, с начала и до конца, но мне осталось жить чуть более двенадцати часов, сейчас уже наверняка пять...

— А вы? — спрашивает хозяйка. У нее отвратительный рот. Сейчас он это ясно видит, тонкие губы, рот, похожий на щель, рот, не признающий ничего, кроме денег, рот, как щель в копилке.— А вы? — испуганно переспрашивает она,— вы ничего не хотите?

— Музыку... — лепечет Андреас,— музыку здесь тоже можно купить?

Она растерянно смотрит на него, она медлит. Она конечно же торговала чем угодно. Печатами и девушками, и пистолетами, по губам видно, что она чем угодно может торговать, но она не знает, можно ли торговать музыкой.

— Музыку... — произносит она смущенно,— музыку... конечно.— В любом случае лучше сначала сказать «да». Сказать «нет» всегда успеется. Если сразу говорить «нет», никакой каши не сваришь.

Андреас выпрямляет спину.

— Так вы продадите мне музыку?

— Только вместе с девушкой,— улыбается она.

Андреас страдальчески смотрит на Вилли. Он не знает, сколько это будет стоить. Музыка, да еще девушка впридачу... но странно, Вилли сразу понимает его взгляд.

— Приятель! — кричит он, — вспомни об ипотеке, да здравствует ипотека, все принадлежит нам!

— Хорошо, — говорит Андреас хозяйке, — я беру и музыку и девушку.

Тем временем три девицы распахнули дверь и вышли к ним, они слышали их переговоры. Две черненькие и одна рыжая. Рыжая узнала Вилли, повисла у него на шее и крикнула старухе:

— Продай-ка ему «Оперу»!

Черненькие смеются. Одна из них выбрала Блондина и вот уже кладет руку ему на плечо. Блондин всхлипывает от этого прикосновения, никнет, как былинка, но Черненькая подхватывает его и, крепко обняв, шепчет:

— Не бойся, мальчик... только не бойся!

А ведь это хорошо, что Блондин всхлипывает. Андреасу тоже хочется плакать, все, что накапливалось в душе, мощно хлынуло к открывшемуся шлюзу... Наконец-то я могу плакать, но я не стану плакать перед этой бабой, со ртом, похожим на щель в копилке, ей лишь бы деньги. Может, я смогу заплакать у «Оперы»...

— Да, — вызывающе говорит вторая Черненькая, оставшаяся не у дел, — если он хочет музыки, пришли ему «Оперу».

Она отворачивается и уходит, а Андреас, все еще стоя у стены, слышит, как вновь открывается дверь и до него доносится обрывок мелодии, но это не Шуберт... это что-то из Листа... и Лист тоже прекрасен... и Лист тоже поможет мне заплакать, думает он, я не плакал три с половиной года...

Блондин, как ребенок, рыдает на груди Черненькой, и это добрые слезы. Ничего в этом плаче не осталось от сивашских болот, ничего от страха, осталась только боль, много боли. А Рыжая, с добродушным лицом, говорит Вилли, обнимающему ее за талию:

— Купи ему «Оперу», он такой сладкий мальчик, с этой своей музыкой! — Она посылает Андреасу воздушный поцелуй. — Такой молоденький, такой сладенький... Уж ты, старина, купи ему и «Оперу» и рояль...

— Вся лембергская ипотека в нашем распоряжении! — кричит Вилли.

Хозяйка ведет Андреаса вверх по лестнице, потом по коридору мимо множества запертых дверей, в комнату, где стоят удобные кресла, кушетка и рояль...

— Это наш маленький салон для интимных праздников, — говорит она, — шесть сотен за ночь, а «Опера» — это прозвище, вы понимаете? Она стоит двести пятьдесят за ночь, не считая еды и вина.

Андреас падает в кресло, кивает, машет рукой... и радуется, когда она уходит. Слышен ее голос, зовущий:

— Олина! Олина!

Надо было мне взять только рояль, думает Андреас, только рояль, и вдруг его охватывает ужас, — куда он попал... В отчаянии он бросается к окну и рывком поднимает штору. За окном еще светло. Зачем эта искусственная темнота, ведь это последний день, который я вижу, зачем же его занавешивать? Солнце стоит еще высоко над холмом, теплым мягким светом заливая сады за красивыми виллами и крыши этих вилл. Самая пора собирать яблоки, думает Андреас, конец сентября, здесь яблоки наверняка созрели. А в Черкассах опять котел, и «лудильщикам» опять есть работа, все, все ухнет в этот котел, а я сижу у окна борделя, в доме «где ставят печати», и жить мне осталось двенадцать часов, двенадцать с половиной часов, мне бы сейчас молиться, молиться коленопреклоненно, но я бессилен перед открывшимся во мне шлюзом, перед кинжалом, вонзившимся в меня там, внизу: бессилен перед музыкой. И хорошо, что я не буду всю ночь наедине с этим роялем. С ума сойти, именно рояль... Рояль. Хорошо, что придет Олина, «Опера». Я забыл карту, вспоминает он, карту! Забыл попросить ее у Блондина, а мне во что бы то ни стало надо узнать, что же находится в сорока километрах от Лемберга... во что бы то ни стало... это не Станислав, нет, не Станислав, до Станислава я не доберусь. Между Лембергом и Черновицами... но как уверенно я еще недавно думал о Черновицах. Я готов был поспорить, что увижу Черновицы... окраину Черновиц... а теперь только сорок километров... только двенадцать часов...

Он страшно пугается легкого шороха, словно кошка шмыгнула по комнате. На пороге стоит «Опера» и тихонько притворяет за собою дверь. Она маленького

роста, очень нежная, изящная и красивая, с большим узлом белокурых волос, пышных золотых волос. На ней бледно-зеленое платье и красные домашние туфельки. Едва их взгляды встречаются, как она подносит руку к плечу, словно торопится расстегнуть платье...

— Нет! — кричит Андреас и тут же раскаивается, что так грубо закричал на нее. Однажды я уже орал так на другую, думает он, и тут уж ничего не поделаешь. «Опера» смотрит на него не столько обиженно, сколько удивленно. Странно-болезненный звук его голоса тронул ее.

— Нет,—уже мягче повторяет Андреас,— не надо. Он подходит к ней, потом опять отходит, садится, снова вскакивает.

— Можно говорить вам «ты»? — спрашивает он.

— Да,— очень мягко отвечает она,— меня зовут Олина.

— Я знаю, а меня — Андреас.

Она садится в то кресло, на которое он ей указал, и смотрит на него с изумлением, чуть ли не со страхом. Он подходит к двери и поворачивает ключ в замке. Усевшись рядом с нею, он видит ее профиль. У нее изящный нос, ни круглый, ни острый, эдакий фрагонаровский носик, думает он, и фрагонаровский рот. Она кажется почти порочной, но может с таким же успехом быть и вполне невинной, такой же невинно-порочной, как пастушки у Фрагонара, только лицо у нее польское, и польский, вполне заурядный, чуть выпуклый затылок.

Хорошо, что он запасся сигаретами. Но спичек у него больше нет. Она вскакивает, открывает буфет, битком набитый коробками и бутылками, и достает оттуда спички. Прежде чем подать их ему, она записывает что-то на листке бумаги, лежащем в буфете.

— Я должна все записывать,— опять очень мягко говорит она,— даже спички.

Они курят, любуясь золотыми садами и виллами.

— Ты пела в опере? — спрашивает Андреас.

— Нет, они так прозвали меня только потому, что я училась музыке. Думают, раз я училась музыке, значит, я певица.

— Так ты не умеешь петь?

— Ну почему, я, правда, не училась пению, но я пою, так... просто так.

— А чему ты училась?

— Игре на фортепьяно,— спокойно отвечает она,— я хотела стать пианисткой.

Странно, думает Андреас, я ведь тоже, тоже хотел стать пианистом. Невероятная боль сжимает ему сердце. Я хотел стать пианистом, это была мечта моей жизни. Я уже очень неплохо играл, даже хорошо играл, но школа камнем висела у меня на шее. Школа мешала мне. Я должен был сначала сдать экзамены на аттестат зрелости. Каждый человек в Германии должен сначала сдать экзамены на аттестат зрелости... Ничего не может быть без аттестата зрелости. Сперва надо было окончить школу, а когда я ее окончил, шел уже тысяча девятьсот тридцать девятый год, и мне пришлось отбывать трудовую повинность, а когда я отбыл трудовую повинность, началась война, и так четыре с половиной года я не прикасался к роялю. А я хотел стать пианистом. Я мечтал об этом, как другие мечтают стать директором школы. Но я, я хотел стать пианистом, и ничего на свете я не любил так, как любил рояль, но какое это имело значение... Сперва школа, потом трудовая повинность, а потом они начали войну, эти свиньи... Боль сжимает ему горло, он никогда еще не чувствовал себя таким несчастным. Это хорошо, что я страдаю. Может, за это мне простится то, что я сижу в этом лембергском борделе, рядом со шлюхой по кличке «Опера», ночь с которой обходится в две с половиной сотни, и это без стоимости спичек и рояля, который сам стоит шесть сотен. Может, мне все это простится за то, что я просто парализован болью, парализован болью от произнесенных ею слов: пианистка и фортепьяно. От этой боли теряешь разум, она, как страшный яд, сжигает горло, по пищеводу спускается в желудок и расходится по всему телу. Еще полчаса назад я был счастлив оттого, что пил сотерн, оттого, что вспоминал террасу в Лептрепоре, где со мною были те глаза и я играл для них на рояле, мысленно, конечно, а сейчас я изнемогаю от боли в этом борделе, рядом с такой красивой девушкой, что мне мог бы позавидовать весь славный германский вермахт. И я рад, что страдаю, рад, что вот-вот упаду от этой боли, я счастлив, что страдаю, безумно страдаю, потому что смею надеяться, что все это простится мне, простится, что я не молюсь, не молюсь, не молюсь коленопреклоненно в последние

двенадцать часов моей жизни. Но где мне преклонить колени? Нигде во всем свете я не мог бы без помех преклонить колени. Я скажу Олине, чтобы она покараулила у дверей, и попрошу Вилли заплатить шестьсот марок за рояль и двести пятьдесят за прекрасную «Оперу» без стоимости спичек, и еще поставлю Олине бутылку вина, чтобы она не скучала...

— Что с тобой? — спрашивает Олина. В ее нежном голосе изумление, с той минуты, как он крикнул «Нет!».

Он смотрит на нее, как хорошо глядеть ей в глаза. Серые, нежные, грустные глаза. Он должен ей ответить.

— Ничего,— говорит он и вдруг тоже задает вопрос, и это невероятное напряжение — произнести несколько слов, когда рот полон ядом боли.— А ты окончила консерваторию?

— Нет,— коротко отвечает она. Конечно, это жестокость спрашивать ее... Олина швыряет сигарету в большую жестяную пепельницу, которую она поставила на пол между двумя креслами, а потом спрашивает, тихо и ласково: — Рассказать тебе?..

— Да,— говорит он, не смея взглянуть на нее, он боится этих серых глаз, совершенно спокойных серых глаз.

— Хорошо.

Но она молчит и смотрит в пол. Он чувствует, что она поднимает наконец голову.

— Сколько тебе лет? — спрашивает она.

— В феврале было бы двадцать четыре,— отвечает он тихо.

— В феврале было бы двадцать четыре. Было бы... но не будет?

Он смотрит на нее с изумлением. Какой у нее тонкий слух! И вдруг он понимает, что ей он все скажет, ей одной. Она единственная все узнает — что он умрет завтра утром, незадолго до шести или вскоре после шести в...

— Ах,— говорит он,— это я так.— И вдруг спрашивает: — А какой город или деревня в сорока километрах от Лемберга в сторону... в сторону Черновиц?..

Она удивлена еще больше, но отвечает:

— Стрый.

Стрый? Что за странное название, думает Андреас, надо будет потом проверить по карте. О господи, я ведь еще должен помолиться за стрыйских евреев.

Надеюсь, в Стрые еще остались евреи... Стрый... Итак, значит, он умрет под Стрыем... а вовсе не в Станице и не в Коломые, и уж конечно далеко, очень далеко от Черновиц. Стрый! Вот оно! А может, Стрыя и нет на той карте...

— В феврале тебе будет двадцать четыре,— говорит Олина,— как это ни смешно, мне тоже.

Он смотрит на нее. Она улыбается.

— Мне тоже. Я родилась двенадцатого февраля двадцатого года.

Они долго смотрят друг на друга, очень долго, они тонут в глазах друг друга, а потом Олина тянется к нему, но расстояние между креслами слишком велико, тогда она встает, подходит к нему, хочет его обнять... но он противится...

— Нет,— говорит от тихо,— этого не нужно... не сердись, потом... я тебе объясню... я ... я родился пятнадцатого февраля...

Олина опять курит, хорошо, что она не обиделась. Она улыбается и думает: он же взял на всю ночь и эту комнату, и меня. А сейчас только шесть, даже нет шести...

— Ты же хотела мне рассказать...— напоминает Андреас.

— Да. Мы с тобой ровесники, это хорошо. Я на три дня старше тебя. Я наверняка твоя сестра...— Она смеется.— А может, я и в самом деле твоя сестра.

— Рассказывай, прошу тебя.

— Да, я все расскажу. В Варшаве я училась в консерватории. Тебе ведь интересно знать, как я училась, правда?

— Да!

— Ты бывал в Варшаве?

— Нет.

— Ну ладно. Так вот, Варшава — большой город, прекрасный город, и консерватория помещалась в доме вроде этого. Только сад был больше, много больше. После занятий и в перерывах мы могли гулять в этом роскошном саду, флиртовать... Мне говорили, что у меня талант. Я занималась по классу фортепьяно. Поначалу мне хотелось учиться на клавесине, но этому никто там не учил, и я стала заниматься на фортепьяно. На приемных экзаменах я играла совсем простенькую маленькую сонату Бетховена. Эти маленькие простенькие вещи, как правило, или смазывают,

или играют чересчур патетично. Играть простенькие вещи очень сложно. А тут Бетховен, понимаешь, Бетховен, только совсем ранний, почти совсем классический, почти еще Гайдн. Очень опасная вещь для приемных экзаменов, понимаешь?

— Да,— говорит Андреас, чувствуя, что вот-вот заплачет.

— Ну ладно, я выдержала на отлично. Я училась и играла до... ну... до начала войны, то есть до осени тридцать девятого... два года я усердно училась и много флиртовала. Мне нравилось целоваться и все такое, понимаешь? Я уже хорошо играла Листа и Чайковского. Но Бах мне никак не давался. А мне хотелось играть Баха. Шопен у меня тоже хорошо получался. Ладно. Потом началась война... ах, за консерваторией был сад, такой дивный сад, а в саду скамейки и беседки... мы иногда устраивали там праздники, музицировали, танцевали... однажды устроили Моцартовский праздник.. изумительный Моцартовский праздник. Моцарта я тоже очень хорошо играла. Ну а тут началась война!

Она вдруг умолкла, вопросительно глядя на Андреаса. Вид у нее сердитый, над фрагонаровским лбом топорщатся волосы.

— Господи,— говорит она раздраженно,— да делай уж со мной то, что все делают. Чепуха какая-то!

— Нет,— говорит Андреас,— рассказывай!

— Это,— говорит она, наморщив лоб,— это тебе не оплатить.

— Ничего, я отплачу той же монетой. Я тоже все тебе расскажу. Все...

Но она молчит, смотрит в пол и молчит. Он, глядя на нее сбоку, думает: все-таки она похожа на шлюху. Похоть таится в каждой черточке этого красивого лица, и она вовсе не невинная пастушка, очень даже порочная пастушка. Как больно видеть, что она все-таки девка. Сон был красивый, ничего не скажешь. Она вполне могла бы стоять где-нибудь на вокзале Монпарнас. И хорошо, что боль опять вернулась. На какое-то время она совсем исчезла. Приятно было слышать мягкий голос Олины, рассказывающей о консерватории...

— Это скучно,— говорит она вдруг. И говорит совсем равнодушно.

— Давай выпьем вина,— предлагает Андреас.

Она встает, деловито подходит к шкафу и так же равнодушно осведомляется:

— Что будешь пить? — Заглянув в буфет, она перечисляет: — Есть красное и белое, кажется, мозельское...

— Идет,— соглашается он,— выпьем мозельского.

Она приносит бутылку, пододвигает к нему маленький столик, протягивает Андреасу штопор и достает бокалы. А он тем временем откупоривает бутылку, и при этом не сводит с нее глаз. Потом наливает, они чокаются, и он улыбаясь глядит в ее сердитое лицо.

— Выпьем за наш год рождения, тысяча девятьсот двадцатый! — говорит он.

Она нехотя улыбается.

— Хорошо, но рассказывать я больше не буду.

— А может, мне рассказать?..

— Нет,— говорит она,— вы все рассказываете только о войне. Это скучно.

— А чего бы тебе хотелось?

— Мне хотелось бы тебя соблазнить, ты ведь девственник, верно?

— Да,— отвечает Андреас и вдруг пугается — так внезапно она вскакивает с кресла.

— Я так и знала! — восклицает она,— я так и знала!

Он смотрит в ее возбужденное порозовевшее лицо с блестящими глазами и думает: как странно, меня совсем не влечет к ней, меньше, чем к любой другой женщине, а ведь она красивая и хоть сейчас могла бы мне отдаться. Ах, иной раз меня помимо воли пробирает дрожь при мысли, что это и в самом деле прекрасно — обладать женщиной... Но эта кажется мне менее желанной, чем любая другая. Я скажу ей об этом, я все ей скажу...

— Олина,— просит он, указывая на рояль,— Олина, сыграй мне маленькую сонату Бетховена.

— Обещай мне, что ты... что ты меня будешь любить.

— Нет,— отвечает он спокойно.— Сядь вот сюда.

Он усаживает ее в кресло, она молча смотрит на него.

— Слушай,— говорит он,— я сейчас тебе все расскажу...

Он взглянул в окно и увидел, что солнце уже зашло и над садами висит лишь тонкая полоска света. Это

продлится совсем недолго, и скоро в садах уже не будет солнечного света, и никогда его больше не будет, никогда не будет светить солнце, ни единого солнечного луча он больше не увидит. Наступает последняя ночь, а последний день прошел, как все другие, бессмысленно, зазря. Он мало молился, пил вино, и вот теперь попал в бордель. Он ждет, пока стемнеет. Он не сознает, сколько это длится, он забыл о девушке, забыл о вине, об этом доме, он только видит вдалеке последние очертания леса, где на верхушках деревьев еще лежат последние брызги зашедшего уже солнца, всего лишь несколько крохотных солнечных брызг. Красноватые пятнышки света, драгоценные, несказанно прекрасные на этих верхушках деревьев. Крохотная корона света, последнего света, который он видит. Больше никогда... и все-таки еще немножко, еще совсем чуть-чуть вон на том, самом высоком дереве, которое торчит далеко-далеко, оно еще ловит что-то от золотого сияния, еще полсекунды... и ничего уже не будет. Еще есть, думает он, затаив дыхание... еще капелька света вон на той верхушке... смехотворно малый отблеск солнечного света, и я единственный человек на всей земле, который обращает на это внимание. Еще есть... есть... это как улыбка, медленно гаснущая улыбка... еще есть, и всё! Света нет, светильник исчез, и я никогда его не увижу...

— Олина! — тихонько зовет он, чувствуя, что теперь он сможет говорить, и знает, что она будет принадлежать ему, потому что уже темно. Женщиной можно обладать лишь в темноте... Странно, думает он, неужели это правда? Он чувствует, что Олина принадлежит ему, что она в его власти.— Олина,— говорит он негромко,— завтра утром я умру. Да,— он спокойно смотрит в ее испуганные глаза.— Завтра утром я умру. Ты первая и единственная, кому я это говорю. Я знаю. Я умру. Солнце только что зашло. Я умру неподалеку от Стрыя...

Она вскакивает, с ужасом глядя на него.

— Ты с ума сошел,— шепчет она, бледнея.

— Нет, я не сошел с ума, это так, поверь мне. Ты должна поверить, что я не сумасшедший и что утром я умру, а сейчас сыграй мне сонату Бетховена.

Она не сводит с него глаз и в ужасе шепчет:

— Так... так не бывает.

— Я знаю это совершенно точно, а ты внесла

теперь полную ясность — Стрый, вот это место. Какое страшное слово «Стрый». Что это за слово? Почему я должен умереть под Стрыем? Почему сначала я думал «между Лембергом и Черновицами...», потом «в Коломые», потом «в Станиславе», а теперь — в Стрые. Ты сказала «Стрый», и я сразу понял, вот оно самое! Постой! — кричит он. Она подбежала к двери и остановилась, испуганно глядя на него. — Останься со мной, ты должна остаться со мной. Я человек, и одному мне этого не вынести. Останься со мной, Олина! Я не сумасшедший. Не кричи! — Он зажимает ей рот рукой. — О Боже, что мне сделать, как доказать, что я не сумасшедший? Что мне сделать? Скажи, что мне сделать, как доказать, что я не сумасшедший?

Но она ничего не слышит от страха. Она только смотрит на него расширенными от ужаса глазами, и он вдруг понимает, до чего же отвратительная у нее профессия. Если бы он действительно был сумасшедшим, она бы так же стояла здесь. И была бы так же бессильна... Ее посылают в комнату, за нее заплатят двести пятьдесят марок, потому что она — «Опера», дорогостоящая маленькая кукла, и она должна идти в эту комнату, как солдат на фронт. Должна, даже если она «Опера», дорогая маленькая кукла. Какая страшная жизнь. Ее посылают в комнату, а она даже не знает, кто там. Старик, юноша, урод или красавец, развратник или девственник. Она ничего не знает и идет. Вот теперь она стоит тут и боится, страх, только страх, от страха она даже не слышит, что он говорит. Это и в самом деле грех — ходить в бордель, думает он. Ведь тут просто посылают в комнату... Он легонько гладит ее руку, и, как ни странно, страх в ее глазах постепенно исчезает. Он все гладит и гладит ее руку, ему кажется, что он гладит ребенка. Эта женщина совсем, совсем не волнует его. Ребенок... и вдруг он словно воочию видит ту бедную чумазую малышку из берлинского пригорода, что играла между бараками, где такие убогие садики... другие дети бросили в лужу ее куклу и убежали... А он наклоняется, вылавливает куклу из лужи, с нее капает грязная вода, неуклюжая, потрепанная, дешевая матерчатая кукла... ему приходится долго гладить девочку, утешать ее, ведь кукла промокла насквозь... девочка...

— Все в порядке? — спрашивает он, — правда?

Она кивает, но в глазах у нее слезы. Он ласково

подводит ее к креслу. Сумерки налились тяжестью и печалью.

Она послушно садится, не спуская с него все еще испуганных глаз. Он наливает ей вина. Она пьет. Потом тяжело вздыхает.

— Боже правый, как ты меня напугал,— говорит она и залпом выпивает бокал.

— Олина, тебе теперь двадцать три года. Но ты подумай, будет ли тебе двадцать пять? — говорит он проникновенно.— Попробуй вообразить: тебе двадцать пять лет. Это будет февраль сорок пятого года, Олина. Попробуй, вдумайся.

Она закрывает глаза, и он видит по ее губам, как она что-то бормочет себе под нос, бормочет по-польски, наверное: тысяча девятьсот сорок пятый год, февраль.

— Нет,— говорит она, словно проснувшись и качая головой,— ничего не выходит, как будто этого и не будет... смешно.

— Вот видишь,— говорит он.— Когда я думаю о воскресном дне, о завтрашнем дне, его для меня уже не существует. Так оно и есть. Я не сумасшедший.

Он видит, как она опять закрывает глаза и что-то тихонько шепчет...

— Странно, но февраля сорок четвертого года тоже как будто нет... Ах,— говорит она вдруг,— почему ты не хочешь любить меня? Почему не хочешь танцевать со мной?

Она подходит к роялю, садится и начинает играть: «Мы танцуем с тобою на небе, на седьмом небе любви»...

Андреас улыбается.

— Сыграй все-таки сонату Бетховена, сыграй...

Но она опять играет «Мы танцуем с тобою на небе, на седьмом небе любви». Она играет очень тихо, так же тихо, как сумерки сочатся в открытые шторы. Она играет эту сентиментальную песенку без всякой сентиментальности, и это удивительно. Звуки твердые, почти пунктирные, легкие, словно она вдруг превратила этот бордельный рояль в клавесин.

Клавесин, думает Андреас, вот настоящий инструмент для нее, она должна играть на клавесине...

Что она играет, это как будто уже не та песенка, и все-таки та самая. Какая прекрасная мелодия, думает Андреас. С ума сойти, что она сделала из этой песенки. Наверное, она училась и композиции, ведь

она из этой песенки делает сонату, звуки которой тают в сумерках. Иногда, как бы между прочим, слегка, она вплетает сюда прежнюю мелодию, очень ясно и чисто, без всякой сентиментальности. «Мы танцуем с тобою на небе, на седьмом небе любви». А иногда основная тема возникает у нее как каменный утес среди нежных и шутливых волн мелодии.

Почти совсем стемнело, холодает, но ему все это безразлично: ее игра так прекрасна, что он просто не в силах встать и закрыть окно... Даже если бы оттуда, из лембергских садов, на него дохнуло тридцатиградусным морозом, он бы все равно не встал... Может, это всего лишь сон, что сейчас тысяча девятьсот сорок третий год, и я в серой форме армии Гитлера сижу в лембергском борделе, может, это сон, и на самом деле я родился в семнадцатом столетии или в восемнадцатом, и сижу в будуаре моей возлюбленной, а она играет на клавесине только для меня, вся музыка мира только для меня... Это замок, где-нибудь во Франции или на западе Германии, и я слушаю клавесин в гостиной восемнадцатого века, слушаю игру той, которая любит меня, которая играет для меня одного, для меня одного. В этих сумерках весь мир принадлежит мне; пора зажечь свечи, но мы не станем звать лакея... не надо лакея... я сам зажгу свечи, скручу бумажку и зажгу... скручу свою солдатскую книжку и зажгу от огня в камине. Нет, камин не горит, я сам разожгу камин, холодом и сыростью веет из сада, из дворцового парка, я опущусь на колени перед камином, с наслаждением уложу поленья, скомкаю свою солдатскую книжку, подожду ее спичкой из тех, что она вписала в счет. Эти спички будут оплачены ипотекой. Я упаду к ее ногам, а она с очаровательным нетерпением будет ждать, когда же наконец разгорится огонь в камине. Пока она сидела за клавесином, у нее замерзли ноги, долго, очень долго она сидела в холоде у открытого окна и играла для меня, сестра моя, она играла так чудесно, что я не мог встать и закрыть окно... но я разожгу настоящий яркий огонь, и не нужен нам никакой лакей... только никаких лакеев! Хорошо, что дверь заперта...

Тысяча девятьсот сорок третий год. Страшный век. Как ужасно будут тогда одеты мужчины... Они будут славить войну и носить на войне грязного цвета форму, а мы, мы не славим войну, для нас это просто

честное ремесло, работа; иной раз, правда, нас обводят вокруг пальца, хоть и за хорошее вознаграждение... к тому же, выполняя эту работу, мы носим пестрое платье, такое, как носит врач и бургомистр... и шлоха; а они, они будут носить омерзительную форму и славить войну и воевать во славу своих отечеств... ужасный век... тысяча девятьсот сорок третий год...

У нас впереди ночь, целая ночь. Только что вечерние сумерки окутали сад, дверь заперта, и ничто не может помешать нам; весь этот дворец принадлежит нам, вино, свечи, клавесин! Восемьсот пятьдесят марок без стоимости спичек; миллионы в Никополе... Никополь! Ничего... Кишинев! Ничего... Черновицы? Ничего!.. Коломыя? Ничего!.. Станислав? Ничего!.. Стрый? Стрый... Какое страшное название, похоже на штрих, кровавый штрих на моей шее. В Стрые меня убьют. Каждая смерть — убийство, каждая смерть на войне — убийство, за которое кто-то несет ответственность. В Стрые!

Мы танцуем с тобою на небе, на седьмом небе любви!

И вовсе это не сон, который кончится с последним звуком этой мелодичной парафразы... звук только рвет легкую паутинку, опутавшую его, и лишь теперь, у открытого окна, в сумеречной прохладе, он чувствует, что плакал. Только не осознавал, не ощущал этого, но лицо его мокро от слез, и Олина мягкими ласковыми руками утирает их... ручейки сбежали по его щекам и, можно сказать, слились у глухого ворота его кителя. Олина расстегивает крючок и платочком вытирает ему шею. Вытирает щеки и подглазья, и он радуется, что она ничего не говорит...

Странная, трезвая веселость вдруг переполняет его. Девушка зажигает свет, закрывает окно, отвернувшись от Андреаса, возможно, она тоже плакала. Такой целомудренной радости я еще не знал, думает он, а она подходит к буфету. Я прежде только жаждал, жаждал обладать женским телом, жаждал завоевать душу... но сейчас я ничего не жажду... Странно, что я понял это здесь, в лембергском борделе, в последний вечер своей жизни, на пороге последней ночи моей земной жизни, которая оборвется завтра на рассвете в Стрые, последний кровавый штрих...

— Приляг,— говорит Олина, указывая на кушетку. И тут он видит, что она включила электрический ки-

пятильник в этом таинственном буфете.— Я сварю кофе,— продолжает она,— а пока буду рассказывать дальше...

Он ложится, она присаживается подле него. Они курят, и пепельница очень удобно стоит на пуфике, оба могут до нее дотянуться. Ему достаточно лишь чуть-чуть вытянуть руку.

— Мне не нужно предупреждать тебя,— начинает она тихонько,— чтобы ты никому об этом не рассказывал. Даже если ты... если ты не умрешь, ты никогда не выдашь эту тайну. Я уверена. Я клялась именем господним, всеми святыми, Польшей, что ничего никому не скажу, но сказать тебе, это все равно что сказать себе самой, и я ничего не могу от тебя скрыть, как не могу скрыть от себя.

Она встает и очень медленно, любовно, наливает кипящую воду в маленький кофейник. Она делает это с небольшими паузами, улыбается ему и продолжает лить воду; теперь он видит, что она и в самом деле плакала. Потом она наливает кофе в чашки, стоящие возле пепельницы.

— Война началась в тридцать девятом. Мои родители погибли в Варшаве под развалинами нашего большого дома... Помню, как я стояла совсем одна в консерваторском саду, где я столько раньше веселилась... а директора нашего забрали, он был еврей. А у меня просто пропала охота учиться. Немцы надо всеми нами так или иначе надругались, надо всеми, надо всеми нами.

Она пьет кофе, он тоже отпивает глоток. Она улыбается ему.

— Странное дело, ты немец, а я не чувствую к тебе ненависти.— Она опять замолкает и улыбается, а он думает: удивительно, до чего же быстро она сдалась. Подходя к роялю, она хотела меня соблазнить, а когда заиграла «Мы танцуем с тобою на небе, на седьмом небе любви», все еще было неясно... Играя, она плакала...

— Вся Польша,— продолжает она,— сплошное движение Сопротивления. Вы же ни о чем и понятия не имеете. По-настоящему никто об этом понятия не имеет. Вряд ли найдется хоть один непатриотически настроенный поляк. Когда кто-то из вас, в Варшаве или Кракове, продает свой пистолет, то он должен знать, что вместе с пистолетом продает жизни столько своих товарищей, сколько в пистолете патронов. Если где-

нибудь, где-нибудь,— говорит она со страстью,— какой-то генерал или старший стрелок переспит с девушкой и сболтнет ей только, что под Киевом или Лубковичами или еще не знаю где они не получили довольствия или отступили всего-навсего на три километра, то он и не подозревает, что все это берется на заметку и что сердце девушки в этот миг ликует куда больше, чем когда она получает свои двадцать или даже двести пятьдесят злотых, которые ей платят за готовность отдаться. С вами так легко быть шпионкой, что мне это быстро опротивело. Стоит только взяться... Я не понимаю.— Она качает головой и смотрит на него чуть ли не с презрением.— Не понимаю. Вы самый болтливый народ на свете и сентиментальны до ужаса. Ты из какой армии?

Он называет ей номер.

— Нет,— говорит она,— тот был из другой. Это один генерал... он иногда бывал у меня и вел себя как сентиментальный подвыпивший школяр, все причитал: «Мои мальчики! Мои бедные мальчики!» А немного погодя, уже распалившись похотью, выбалтывал такое, чему и впрямь цены нет. Так что у него на совести много бедных мальчиков... он много чего порассказал. А после... после,— проговорила она, запинаясь,— после я была как лед...

— А многих ты любила? — спрашивает Андреас и думает: как странно, мне ведь больно при мысли, что она кого-то иногда могла любить.

— Да, иной раз я действительно любила, но не многих.

Она смотрит ему в глаза, и он видит, что она снова плачет. Он хватает ее за руку, вскакивает, наливает ей кофе...

— Любила,— говорит она вполголоса,— да, любила нескольких солдат... хоть и знала, что это немцы, которых я должна ненавидеть, всех до единого, но мне было все равно. Знаешь, когда я была с ними, я чувствовала себя выключенной из той страшной игры, в которую все мы играем и в которой мне отведена особая роль. Это такая игра: посылать на смерть тех, кого не знаешь. Вот, например,— шепчет она,— какой-нибудь обер-ефрейтор или генерал что-то мне здесь рассказывает, я передаю это дальше, механизм срабатывает, и где-то гибнут люди, гибнут оттого, что я передала эти сведения, понимаешь? — Она смотрит на него безумными глазами.— Понимаешь? Или вот ты, ты говоришь кому-

то на вокзале: «Поезжай этим поездом, приятель, поезжай этим, а не тем», и именно на этот поезд будет совершено нападение, и твой приятель погибнет оттого, что ты сказал ему: «Поезжай этим поездом». Вот почему мне было приятно просто отдаваться им, и ничего больше, только отдаваться. Я ни о чем их не расспрашивала для нашей мозаики и ничего им не говорила, я могла просто любить их, но как страшно, что потом они всегда грустят...

— Мозаика? — хрипло спрашивает Андреас, — что это такое?

— Весь этот шпионаж — мозаика. Все скомбинировано и пронумеровано, каждый мельчайший обрывок сведений, который ты ловишь, и так, куда картина не будет завершена... все клетки мало-помалу заполняются... многие умеют из этих мозаик составить законченную картину... о вас... о вашей войне... вашей армии...

— Знаешь, — говорит она, очень серьезно на него глядя, — самое страшное, что все это бессмысленно. Повсюду убивают только безвинных. Повсюду. И у нас. Почему-то я всегда это чуяла... — она отводит взгляд, — знаешь, как это ни жутко, но я все сразу верно поняла, как только вошла сюда, в эту комнату, и увидела тебя. Твою спину, твой затылок в золотом свете солнца. — Она рукой указывает туда, где у окна стоят оба кресла. — Я все сразу поняла. Как только старуха послала меня сюда, как только она сказала: «Тебя ждут. Много у него не выпытаешь, но по крайней мере он хорошо платит». Едва она это сказала, я подумала: что-нибудь я из него вытяну. Или это один из тех, кого я могу полюбить. Но не надо никаких жертв, ведь бывают только жертвы и палачи. Однако, едва я тебя увидела стоящим у окна, увидела твою спину, твой затылок, твое юное тело, согбенное, словно тебе уже много тысяч лет, я сразу вспомнила, что мы ведь убиваем только безвинных... только безвинных...

Плач ее пугающе беззвучен. Андреас встает, как бы мимоходом треплет ее по затылку и садится к роялю. Она смотрит на него с изумлением. Слезы сразу высохли, она не сводит с него глаз, а он сидит, уставясь на клавиши, испуганно растопырив пальцы, и на лбу у него пролегла глубокая морщина, морщина боли.

Он забыл обо мне, думает она, забыл обо мне, как страшно, что они всегда забывают о нас в те мгнове-

ния, когда вновь обретают себя. Он уже не думает обо мне, он никогда не будет обо мне думать. Завтра на рассвете он умрет в Стрые... и не станет напоследок думать обо мне.

Он первый и единственный, кого я люблю. Первый. И он сейчас совсем одинок. Безумно одинок и печален. И эта морщина, перерезавшая его лоб... лицо его бледно от страха, и он растопыривает пальцы так, словно собирается ловить какого-то страшного зверя... Если бы он умел играть, если бы он умел играть, он опять был бы со мною. Первый же звук вернет его мне. Мне... мне... он принадлежит мне... он мой брат, я на три дня старше его. Если бы он умел играть... Он весь словно сведен судорогой, поэтому он растопыривает пальцы, поэтому бледен как смерть и поэтому кажется таким безмерно несчастным. Уже ничего не осталось от того, чем я хотела его одарить, когда играла... когда рассказывала... ничего от этого у него не осталось. Все исчезло, только боль еще с ним...

И в самом деле, когда с какой-то дикой яростью на лице он вдруг ударяет по клавишам, его взгляд обращается к ней. Андреас улыбается ей, и никогда еще она не видала столь счастливого лица, как лицо человека над черной крышкой рояля в тусклом свете желтой лампы. Ах, как я люблю его, думает она. Как он счастлив, и он мой, мой до самого утра...

Она думала, что он будет играть что-то безумное, бравурное, Чайковского или Листа или великолепные мазурки и вальсы Шопена, ведь он как сумасшедший ударил по клавишам...

Но нет, он играет сонатину Бетховена. Нежную, изящную, весьма опасную пьесу, и на мгновение она пугается, что он «смажет» ее. Но он играет очень хорошо, очень осторожно, может быть, даже излишне осторожно, словно не веря в свои силы. Так любовно играет... нет, она никогда не видала такого счастливого лица, как лицо этого солдата над черной блестящей крышкой рояля. Он играет сонатину немного неуверенно, но очень чисто, так чисто, как она никогда не слышала, ясно и четко.

Ей хочется, чтобы он играл еще и еще. Как чудесно! Она ложится на кушетку, где недавно лежал он, и видит дымящуюся в пепельнице сигарету. Ей хочется затануться разок, но она не смеет пошевелиться, малейшее движение может вспугнуть эту музыку... но всего пре-

краснее счастливое лицо солдата над черной блестящей крышкой рояля.

Но он встает и говорит, смеясь:

— Нет, хорошенького понемножку. Какой смысл? Надо было учиться, а я совсем не учился.

Он склоняется над ней, утирает ей слезы, ему приятно, что она плачет.

— Нет, не вставай,— говорит он,— я тоже хочу тебе кое-что рассказать.

— Да,— шепчет она,— расскажи... и дай мне вина.

Как же я счастлив, думает он, подходя к буфету. Я безумно счастлив, хотя надо сознаться, что дело тут не в рояле. Никакого чуда со мной не случилось. Я не стал вдруг пианистом. С этим покончено, и все же я счастлив. Он заглядывает в буфет.

— Какого тебе?

— Красного,— говорит она с улыбкой,— теперь красного.

Он достает из буфета пузатую бутылку, и тут замечает бумажку и карандаш. Он разглядывает бумажку. Наверху что-то написано по-польски, это спички, а вот по-немецки: «Мозель», а перед ним еще какое-то польское слово, наверняка «бутылка». Какой у нее славный почерк, думает он, красивый, мягкий, и под словом «мозель» он пишет «бордо», а под польским словом, обозначающим бутылку, ставит точки.

— Ты действительно записал это в счет? — улыбается Олина, покуда он наливает ей вино.

— Да.

— Ты никого не можешь обмануть, даже бандершу?

— Ну почему? — говорит он и тут же видит перед собою главный дрезденский вокзал и с болезненной отчетливостью ощущает на языке вкус воздуха на главном дрезденском вокзале и видит краснорожего лейтенанта.— Ну почему, я обманул одного лейтенанта.

Он рассказывает ей этот эпизод.

— Не такой уж это грех! — смеется она.

— Нет, все-таки грех. Я не должен был этого делать, должен был отозваться, я же не глухой. А я промолчал, ведь я скоро умру, а он так на меня орал... и еще мне было больно... А еще мне было лень. Да,— добавляет он тихо,— мне действительно было лень отвечать, ведь так приятно ощущать на языке вкус жизни. Я только хотел уяснить себе это, я точно помню, я тогда подумал: ты не смеешь допускать, чтобы по твоей

вине человек чувствовал себя униженным, пусть даже этот с иголки одетый лейтенант с новеньким орденом на груди. Я думал: ты не смеешь этого допускать, я и сейчас еще вижу его словно наяву, вижу, как он уходит со своими ухмыляющимися солдатами, обиженный, смущенный, красный как рак. Вижу его толстые руки и несчастные опущенные плечи. Когда я вспоминаю эти опущенные плечи, мне хочется плакать. Но я поленился, просто поленился открыть рот. Это был даже не страх, а просто лень. Ах, думал я, до чего же хороша жизнь, этот кишачий людьми перрон. Один едет к жене, другой к возлюбленной, а эта женщина едет к сыну, и такая дивная стоит осень... а вот та парочка, что бредет к выходу, сегодня вечером или ночью будет целоваться под прекрасными деревьями на берегу Эльбы.— Он вздохнул.— Я расскажу тебе обо всех, кого я обманывал...

— Ах нет,— говорит она,— расскажи мне что-нибудь красивое... и главное — подлиннее...— Она хочет.— Какой из тебя обманщик!

— Я хочу рассказать всю правду, как я крал, кого обманывал...— Он опять наливает вино в бокалы, чокается с ней и в ту же секунду, когда их взгляды и улыбки встречаются, он как бы вбирает в себя красоту ее лица. Я не имею права потерять это, думает он, не могу потерять ее, она моя.

Я люблю его, думает она, я люблю его.

— Мой отец,— начинает он вполголоса,— мой отец умер от последствий тяжелого ранения через три года после войны. Мне был год, когда он умер. И мать тоже вскоре умерла. Больше я ничего о них не знаю. Мне все это рассказали в один прекрасный день, когда сочли нужным сообщить, что женщина, которую я считал матерью, вовсе и не мать мне. Я рос у тетки, одной из сестер моей матери, она была замужем за адвокатом. Он много зарабатывал, но мы всегда были очень бедны. Он пил. Для меня было настолько чем-то само собой разумеющимся, что мужчина встает по утрам с тяжелой головой и завтракать садится с угрюмым видом, что когда я потом познакомился с другими мужчинами, отцами моих друзей, я подумал, что они вовсе и не мужчины. Мужчина, который не напивается по вечерам и не устраивает истерик за завтраком, был для меня понятием несуществующим. «Вещь, которой нет», как говорили гуингнмы у Свифта. Я считал, что мы являем-

ся на свет, чтобы на нас орали. И женщины рождаются, чтобы на них орали, рождаются, чтобы воевать с судебными исполнителями, улаживать отвратительные конфликты с торговцами и пытаться где-то еще раздобыть новый кредит. Моя тетка была своего рода гением. Гением по части раздобывания кредитов. Когда дело уже казалось безнадежным, она вдруг становилась очень тихой, принимала первитин и куда-то убегала, а возвращалась всегда с деньгами. Я считал ее своей матерью, а этого толстого опухшего изверга с лопнувшими сосудами на щеках считал своим дражайшим родителем. У него были желтые белки, от него всегда пахло пивом, разило как из пивной бочки. Я считал его своим отцом. Мы жили в роскошной вилле, держали горничную и все такое прочее, а у тетки часто не было даже мелкой монетки, чтобы проехать несколько остановок на трамвае. А мой дядя был знаменитый адвокат. Тебе не скучно? — спрашивает он вдруг и встает, чтобы опять наполнить бокалы.

— Нет, — шепчет она, — нет, рассказывай.

Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы налить вино в изящные бокалы, стоящие на курительном столике, но она смотрит на его руки, на его бледное худое лицо и думает, интересно, как он выглядел в возрасте пяти или шести или тринадцати лет, утром, за завтраком... Она вполне может вообразить себе того жирного пропитого типа... как он воротит нос от мармелада и хочет только колбасы. Они, когда напиваются, хотят только колбасы. А жена у него, наверно, была хрупкая, да еще этот маленький бледный мальчуган, застенчивый, которому от страха кусок в горло не лезет, он даже кашлять не смеет, хотя густой сигарный дым дерет ему горло, ему хочется откашляться, а он не смеет, потому что тот пьяный жирный тип придет в неистовство, потому что знаменитый адвокат выходит из себя, когда слышит этот детский кашель...

— А как выглядела твоя тетя? — спрашивает она. — Опиши мне ее.

— Тетя была очень маленькая и хрупкая.

— Она похожа была на твою мать?

— Да, очень похожа, если судить по фотографиям. Потом, когда я вырос и многое уже узнал, я думал всегда, что ей, должно быть, бывало страшно, когда он ее обнимал, этот высокий здоровенный мужик с вонючим дыханием и лопнувшими сосудами на толстых ще-

ках и на носу, ведь тогда она видит все это так близко, и эти большие мутные глаза с желтыми белками, и вообще... Стоило мне один раз все это себе вообразить, и уже эта картина преследовала меня долго-долго. И потом я думал, что он мой отец, и по ночам мучился от мысли, зачем женщины выходят замуж за таких. И...

— И ее ты тоже обманывал, да?

— Да,— отвечает он. И молчит, избегая смотреть ей в глаза.— Да, это было ужасно. Знаешь, однажды он тяжело заболел, печень, почки и сердце, все пришло в негодность. Он лежал в больнице, и как-то воскресным утром мы поехали туда на такси. Ему предстояла операция. Солнце светило так ласково, но мне было до ужаса плохо. А тетя плакала и все шептала мне: ты должен за него помолиться, тогда все обойдется. Она шептала мне это вновь и вновь, и я вынужден был пообещать ей, что буду молиться. Но не молился. Мне было девять лет, я уже знал, что он мне не отец, и я не стал молить бога, чтобы все обошлось. Просто не мог. Но я и не молил его, чтобы все кончилось плохо. Только невольно думалось: как хорошо было бы, если бы... да, я так думал. Весь дом только для нас, и никаких сцен, и вообще... и все-таки я обещал тете молить за него Господа. Но не мог. Я только все время, все время думал: Господи, ну почему они выходят замуж за таких мужчин, почему?

— Потому что любят их,— вмешивается вдруг Олина.

— Да,— удивляется он,— ты это понимаешь. Она любила его, любила и продолжала любить. Ведь раньше он выглядел совсем по-другому, он был молод, сохранилась его фотография, на которой он снят вскоре после окончания университета, в такой студенческой шапочке, знаешь? Кошмар! Девятьсот седьмой год. Тогда он был совсем другой, но только на первый взгляд.

— То есть как?

— Только на первый взгляд, понимаешь? По-моему, глаза у него были те же самые, только живота такого не было. Но, на мой взгляд, он и на той карточке отвратителен. Я сразу понял, как он будет выглядеть в сорок пять лет, разве можно за такого выйти замуж? А она его все-таки любила, хотя он уже был развалиной, мучил ее и даже изменял ей. Она любила его вне всяких сомнений. Не понимаю...

— Не понимаешь? — настороженно спрашивает она.

Он опять с удивлением смотрит на нее. Она поднялась, спустила ноги с кушетки и сидит теперь совсем близко от него.

— Значит, не понимаешь? — требовательно спрашивает она.

— Нет, — удивленно отвечает он.

— Значит, ты не знаешь, что такое любовь. Да! — Она смотрит ему в глаза, и он вдруг пугается ее серьезного, страстного, совершенно изменившегося лица. Да! — повторяет она. — Вне всяких сомнений! Любовь сомнений не ведает! А ты, — она переходит на шепот, — ты никогда ни одну женщину не любил?

Он вдруг закрывает глаза. Опять его глубоко пронзает острая боль. И это, думает он, и это я ей тоже расскажу. Между нами не должно быть никаких тайн, а я-то думал, что сохраню только для себя воспоминание о незнакомом лице, думал, что эта надежда, этот дар божий будут только моими и исчезнут вместе со мною. Глаза его все еще закрыты, оба молчат. Он весь дрожит, он терзается. Нет, думает он, пусть это будет только моим. Это мое, и только мое, я три с половиной года жил этим... десятой долей секунды на горе за Амьеном. Зачем ей так глубоко, так непоправимо вторгаться в мою душу? Зачем уже затянувшуюся, бережно охраняемую рану бередить словом, которое проникнет в меня точно зонд, зонд не ведающего сомнений врача...

Да, думает она, так и есть. Он любит другую. Он дрожит, он растопыривает пальцы, закрывает глаза — я сделала ему больно. Тому, кого любишь, чаще всего и делаешь больно, это закон любви. Ему так больно, что он даже не может заплакать. Бывает такая боль, что и слезы не помогают, думает она. Ах, почему я не та, другая, которую он любит. Почему я не могу стать ею, душой и телом? Я ничего, ничего не хотела бы сохранить от себя самой, я все готова отдать, лишь бы иметь... лишь бы... лишь бы иметь глаза той, другой. В эту ночь перед его смертью, в эту ночь, последнюю и для меня, ибо если его не станет, мне все будет все равно... ах, иметь бы хоть ее ресницы, все готова отдать за ее ресницы...

— Да, — произносит он еле слышно. В голосе его никаких чувств, это почти уже голос мертвеца. — Да,

я так любил ее, что готов был душу продать, только бы на мгновение прикоснуться к ее губам. Я лишь сейчас это понял, в ту секунду, когда ты меня спросила... Может, именно поэтому мне не довелось ее узнать. Я бы даже на убийство пошел, лишь бы увидеть подол ее платья, когда она свернет за угол. Хоть что-то, хоть что-то реальное... А я молился, каждый день за нее молился. Все выдумка, самообман, я ведь верил, что люблю только ее душу. Только душу! А я отдал бы все эти тысячи молитв за один-единственный поцелуй. Только сейчас я это понял.

Он вдруг встал, а она обрадовалась, что у него опять человеческий голос, голос мужчины, который живет и страдает. И опять ей ясно, что сейчас он один, что он не думает больше о ней, опять он один...

— Да,— говорит он как бы в пространство,— мне казалось, что я люблю только ее душу. Но что такое душа без тела? Я не мог жаждать ее души с той безумной, безумной страстью, на которую был способен, и не мечтать, чтобы она хоть раз, хоть один раз улыбнулась мне. Ах,— он машет рукой,— всегда только надежда, только надежда, что однажды встречу ее живую, реальную! — уже кричит он,— всегда это тяжкое бремя надежды! Который час? — он вдруг кричит на нее, а она, хоть он и обратился к ней грубо и резко, точно к горничной, все-таки радуется, что он хотя бы не забыл о ее присутствии.— Извини,— тут же спохватывается он и берет ее за руку, но она уже все ему простила, она заранее все простила. Она смотрит на часы и улыбается:

— Одиннадцать.

Счастье переполняет ее, еще только одиннадцать. Еще даже не полночь, не полночь, и это чудесно, это поистине прекрасно, изумительно. Она радуется и резвится, как дитя, вскакивает и танцуя проносится по комнате: «Мы танцуем с тобою на небе, на седьмом небе любви...»

Глядя на нее, он думает: как странно, я совсем не могу на нее сердиться. Я полумертвый от боли, я смертельно болен, а она танцует, хоть и делит со мной мою боль... а я не могу сердиться, нет, не могу...

— Знаешь что,— говорит она, вдруг останавливаясь,— нам с тобой непременно надо хоть что-то съесть.

— Нет,— пугается он,— ни за что.

— Почему?

— Потому что тогда тебе придется уйти. Нет, нет! — кричит он с мукой в голосе, — ты не должна ни на секунду оставлять меня. Я не могу без тебя... без тебя... я не могу больше жить без тебя...

— Правда? — спрашивает она и не знает, что ей еще сказать, ибо в ней зарождается безумная надежда...

— Да, — говорит он уже тихо, — ты не смеешь уйти.

Нет, думает она, это не то. Не меня он любит.

— А мне и не надо никуда уходить. В буфете найдется что поесть.

Как чудесно, что в одном из ящичков буфета есть печенье и сыр, завернутый в серебряную бумагу. Какой восхитительный ужин: печенье, сыр и вино! Сигареты ему не нравятся. Табак слишком сухой, и к тому же в нем есть омерзительный привкус войны.

— Дай-ка мне сигару! — говорит он, и конечно же в буфете есть и сигары. Целый ящичек настоящих гаванских сигар. Все за счет ипотеки. Как прекрасно стоять на мягком ковре, наблюдая, как Олина своими изящными ласковыми руками сервирует на курительном столике легкую закуску. Сделав все необходимое, она оборачивается к нему с улыбкой:

— Значит, ты больше не можешь жить без меня?

— Да, — отвечает он, а на сердце у него так тяжело, что он и засмеяться не в силах. Он думает, к этому мне следовало бы добавить: я люблю только тебя, и это было бы правдой и в то же время неправдой. Если бы я это сказал, я должен был бы поцеловать ее, а это было бы ложью, все было бы ложью, и все-таки я мог бы с чистым сердцем сказать ей: я люблю тебя, но мне пришлось бы долго, очень долго все ей объяснять, а что объяснять, я и сам не знаю. А тут еще ее глаза, такие ласковые, любящие и счастливые, полная противоположность тем глазам, к которым я так стремился и сейчас еще стремлюсь... И он говорит, глядя ей прямо в глаза:

— Я больше не могу жить без тебя, — теперь он улыбается.

Но едва они поднимают свои бокалы, чтобы чокнуться и выпить за год своего рождения или за всю свою пропащую жизнь, как руки их начинают дрожать, они опускают бокалы на стол и в растерянности озираются — в дверь кто-то стучит...

Андреас удерживает Олину за плечо и медленно

поднимается. Он идет к двери, всего лишь три секунды нужно, чтобы дойти до двери. Итак, это конец, думает он. Они пришли за ней, они не хотят, чтобы она оставалась со мной до утра. Время течет, земля вертится. Вилли и Блондин лежат себе в постелях с девицами, старуха внизу караулит деньги, ее рот-копилка всегда открыт, безмолвно открыт. Что мне делать, если я опять останусь один? Я больше не смогу молиться, не смогу преклонить колени. Я не могу без нее жить, я ведь люблю ее. Они не посмеют...

— Кто там? — спрашивает он тихонько.

— Олина! — слышится голос старухи. — Мне надо кое-что сказать Олине.

Андреас оборачивается, бледный и испуганный. Я готов пожертвовать последними пятью часами ради получаса с нею. Пусть возьмут их. А я хотел бы пробыть с нею еще только полчаса и видеть ее, просто видеть, а может, она еще что-нибудь сыграет. Пусть хоть «Мы танцуем с тобою на небе...».

Олина улыбается ему, и по этой улыбке он понимает, что она все равно останется с ним, что бы ни было. Но все-таки ему страшно, и пока Олина тихо поворачивает ключ в замке, он чувствует, что ему не хочется лишиться даже этого страха за нее. Что он любит даже этот страх.

— Хотя бы дай мне руку, — шепчет он, когда она хочет выйти, и она подает ему руку. Он слышит, как, выйдя за дверь, она горячо и поспешно шепчется о чем-то со старухой по-польски. Они явно препираются. Копилка препирается с Олиной. Когда она возвращается в комнату, он испуганно заглядывает ей в глаза. Дверь она не закрыла. Он все еще держит ее за руку. Она тоже побледнела и держится уже не так уверенно...

— Генерал явился. Предлагает две тысячи. Он просто вне себя. Наверное, бушует там, внизу. У тебя есть еще деньги? Надо возместить старухе разницу, иначе...

— Да, — соглашается он и спешит вывернуть карманы. Там еще есть деньги, которые он выиграл в карты у Вилли. Олина через дверь что-то щебечет по-польски.

— Скорее, — шепчет она ему. И считает деньги. — Тут триста, да? А у меня ничего! Ни гроша! — в отчаянии шепчет она. — Вот только кольцо, это еще пятьсот. Больше ничего ценного нет. Итого восемьсот.

— Шинель! — вспоминает Андреас, — возьми!

Олина идет к двери с тремя сотнями, кольцом и шинелью. Сейчас в ней еще меньше уверенности...

— За шинель она дает четыреста, только четыреста, а за кольцо шестьсот, слава богу, шестьсот. Итого тысяча триста. Больше у тебя ничего нет? Скорее! Если он выйдет из терпения и явится сюда, мы пропали.

— Солдатская книжка! — вспоминает он.

— Хорошо, давай сюда! Настоящая солдатская книжка недешево стоит.

— И часы.

— Да,— она нервно смеется,— часы. У тебя ведь есть еще часы... Они ходят?

— Нет.

Олина уносит солдатскую книжку и часы. Опять взволнованный польский шепот. Андреас бежит за нею.

— Вот еще свитер! — кричит он,— а есть еще рука, и нога. Вам не нужна нога, прекрасная человеческая нога... нога почти невинного человека? Вам она не стодится? В счет остального? Сколько там еще осталось?

Он произносит все это деловито, спокойно, и все время держит Олину за руку.

— Нет,— слышится голос старухи.— А вот сапоги, сапоги вполне сгодятся.

Очень нелегко быстро стащить с себя сапоги. Очень нелегко, если ты их давно не снимал. Но это ему удается, так же как удавалось быстро натягивать сапоги, когда русские вдруг оказывались слишком близко от их позиций. Он стягивает сапоги и отдает Олине, а та своими изящными ручками передает их старухе. И вот дверь опять заперта. Олина стоит перед ним, и губы у нее дрожат.

— У меня же нет ничего своего,— плачет она,— все мои платья — старухина собственность. И мое тело, и душа. Хотя душа моя ей ни к чему. Душа нужна только черту, а люди куда хуже чертей. Прости меня,— рыдает она,— но у меня же ничего нет.

Андреас притягивает ее к себе, нежно гладит по голове.

— Иди ко мне,— шепчет он,— иди ко мне, я хочу любить тебя...

Она поднимает голову, улыбается.

— Нет,— шепчет она,— нет, оставь, это не так важно.

Опять за дверью слышатся шаги, твердые шаги, но

странно, что теперь Олина и Андреас несколько не боятся. Они улыбаются друг другу.

— Олина! — слышится голос за дверью.

Опять этот польский щебет. Олина с улыбкой спрашивает его:

— Когда тебе надо уходить?

— В четыре.

Она закрывает дверь, но на ключ не запирает и говорит ему:

— В четыре генерал придет за мной машину.

Она убирает со столика сыр, на который их дрогнувшие руки пролили вино, грязную салфетку, и сервирует все заново. Сигара еще не погасла, думает Андреас. Мир чуть не рухнул, а сигара не погасла. И руки Олины уже не дрожат.

— Садись.

Да, он садится напротив нее, откладывает сигару, несколько минут они молчат, не глядя друг на друга, и оба краснеют, им ужасно стыдно сознавать, что они молятся, оба молятся здесь, в борделе...

Они принимают за еду.

— Уже полночь, — говорит Олина.

Значит, уже воскресенье, думает Андреас... воскресенье... Он вдруг опускает свой бокал, кладет на стол надкусанное печенье, страшная судорога свела ему челюсти и руки, в глазах потемнело... я не хочу умирать, думает он, и сам того не сознавая, как маленький ребенок лепечет:

— Я... я не хочу умирать.

Что за наваждение, думает он, я так отчетливо слышу сейчас запах краски... а мне было от силы лет семь, когда красили забор... то был первый день каникул, дядя Ганс был в отъезде, ночью прошел дождь, утром солнце освещало еще мокрый сад... это было так чудесно... так красиво, и я, еще лежа в кровати, слышал запах сада и запах краски, маляры уже красили забор зеленой краской... а я мог валяться в постели сколько вздумается... ведь у меня каникулы... и дядя Ганс в отъезде, на завтрак мне обещан шоколад, тетя Марианна еще вечером сказала... она опять раздобыла новый кредит, а по такому случаю она всегда покупала что-нибудь вкусное. И вот этот запах краски, я так отчетливо слышу его, что за наваждение... не может здесь пахнуть зеленой краской. Я же здесь, в борделе, а вот эта бледная девушка — Олина, польская шлюха и шпионка... ничто в

этой комнате не может так пахнуть краской, вызывая в памяти с поразительной отчетливостью тот день моего детства...

— Я не хочу умирать,— шепчут его губы,— не хочу покидать все это... никто не может меня принудить сесть в этот поезд, который идет в... в Стрый, никто в целом свете, Господи, смилуйся надо мной, лиши меня рассудка. Нет, не дай мне, Господи, лишиться рассудка! Нет! Нет! Больно, безумно больно слышать этот запах зеленой краски, но лучше переносить эту боль, чем лишиться рассудка... И голос тети Марианны, которая говорит мне, что я могу валяться, сколько захочу, ведь дядя Ганс в отъезде...

— Что такое? — спрашивает он вдруг с испугом.

Олина уже сидит за роялем, а он и не заметил... Она бледна, и губы ее дрожат.

— Дождь,— говорит она тихо, впечатление такое, будто ей мучительно трудно шевелить губами, и она едва находит в себе силы указать рукою на окно.

Да, мягкий шорох, заставивший его очнуться, словно это был не шорох, а звуки органа, всего-навсего дождь... За окнами борделя идет дождь, дождь омывает и те деревья, на верхушках которых он в последний раз видел солнце.

— Нет! — вскрикивает он, едва Олина касается клавиш,— нет!

Он чувствует, что его душат слезы, и понимает, что еще никогда в жизни не плакал... Эти слезы — сама жизнь, бурный поток, образующийся из множества маленьких ручейков... все сливается воедино, причиняя мучительную боль... зеленая краска, пахнувшая каникулами... и страшный труп дяди Ганса в гробу, стоявшем на столе в кабинете, где воздух такой тяжелый от горящих свечей... много, много вечеров, проведенных с Паулем, и мучительно-прекрасные попытки у рояля... школа и война, война... война и незнакомое девичье лицо, о котором он так мечтал... и в этом слепящем потоке бледным мерцающим пятном отражается лицо Олины — единственно реальное...

И все это из-за обрывка шубертовской мелодии, я плачу, как никогда в жизни не плакал, плачу, как плакал, быть может, только родившись, когда яркий свет ударил по мне... Внезапно он слышит аккорд, испугавший его до глубины души, это Бах, но ведь ей никогда не давался Бах...

Эта музыка точно башня, растущая вверх сама по себе, этаж за этажом. Она растет, увлекая его за собою, так, будто его вынесло на поверхность из самых глубин земли струею внезапно забившего источника, который с бешеной силой бьет вверх, минуя все мрачные века и эпохи, к свету, к свету! Болезненное ощущение счастья переполняет его, когда он вот так, против воли, но все понимая и сознавая, возносится ввысь вместе с этой чистой и стремительно растущей башней; он чувствует, что легко, играючи, летит под облака, охваченный невесомой и болезненной веселостью, и все-таки ему приходится испытать все муки и усилия человека, карабкающегося вверх; это дух, это ясность, нет больше никаких человеческих заблуждений, а есть лишь эта чистая, ясная игра покоренных сил природы. Да ведь это же Бах, ей никогда не давался Бах... а может, это и не она играет... может, это играют ангелы ясности... они поют во всё растущих, светлеющих башнях... свет, свет, о господи... сколько света...

— Довольно! — восклицает он в испуге, и пальцы Олины застывают в воздухе, словно его голос оторвал их от клавиш...

Он трет себе лоб, так болит голова... и вдруг видит, что девушка, освещенная мягким светом лампы, не просто испугана звуком его голоса, она в изнеможении, она устала, бесконечно устала, ей, с ее нежными ручками, пришлось карабкаться на несказанно высокую башню... она так устала, уголки губ подергиваются, как у ребенка, который от усталости уже не может плакать. Волосы ее распустились... она бледна, и глубокие тени залегли вокруг глаз...

Андреас подходит к ней, обнимает, укладывает на кушетку; она закрывает глаза и вздыхает, слегка покачивая головой, словно хочет сказать: отдохнуть... ничего не хочу, только немножко отдохнуть... Тишина, и хорошо, что она засыпает... голова ее клонится набок...

Андреас сидит за столиком, подперев голову руками, и чувствует, что он тоже бесконечно устал. Уже воскресенье, час ночи, осталось еще три часа, а я не могу спать, я не хочу спать, я не имею права спать... Он разглядывает ее, пристально, любовно. Чистое, нежное, усталое, осунувшееся, бледное девичье лицо, в упоении сном, она едва приметно улыбается. Мне нельзя спать, думает Андреас, и тут же ощущает, что усталость неминуемо наваливается на него... мне нельзя спать. Гос-

поди, не дай мне заснуть, позволь мне смотреть на нее. Я должен был прийти сюда, в этот лембергский бордель, дабы узнать, что бывает любовь без вожделения, именно так я люблю Олину... мне нельзя спать, я должен видеть эти губы... этот лоб, эти рассыпавшиеся по лицу тонкие прядки золотых волос, темные тени невыразимого изнеможения, залегшие у глаз. Она играла Баха на пределе человеческих возможностей. Мне нельзя спать... как холодно стало... за темным покровом ночи уже притаилась жестокая хмурость утра... холодно, а мне даже нечем прикрыть ее... шинель я продал, салфетка валяется где-то, залитая вином... Китель, можно прикрыть ее кителем, набросить его хотя бы на вырез платья... но он чувствует, что так устал... даже подняться нет сил, снять с себя китель... Я даже рукой не могу пошевелить, и все-таки спать мне нельзя, мне еще так бесконечно много надо успеть... так бесконечно много. Вот отдохну чуть-чуть здесь, за столом, а потом встану, укурю ее и буду молиться, преклоню колени перед кушеткой, видевшей столько греха, преклоню колени перед этим чистым лицом, благодаря которому я понял, что бывает любовь без вожделения... я не смею спать... нет, нет, не смею...

Когда он просыпается, взгляд его подобен птице, застигнутой смертью в полете и падающей, падающей в бездну отчаяния, но ласковые глаза Олины ловят птицу на лету... Он безумно испугался, что уже поздно, слишком поздно, и он не успеет туда, где обязан быть. Не успеет на то единственно важное свидание... Ее ласковый взгляд успокаивает его, и она шепотом отвечает на его невысказанный мучительный вопрос:

— Половина четвертого, не бойся!

Только теперь он чувствует, что ее легкая рука гладит его волосы.

Ее лицо совсем рядом, и ему достаточно чуть вытянуть шею, чтобы поцеловать ее. Как жаль, думает он, что я не хочу ее, что для меня это вовсе не жертва — не хотеть ее... не жертва — не поцеловать ее и не жаждать проникнуть в ее якобы оскверненное лоно...

Он касается губами ее губ и — ничего. Они переглядываются, изумленно улыбаясь. Ничего. Точно пуля на излете отскочила от брони, а они и не подозревали об этой броне...

— Пойдем, — шепчет она, — надо же раздобыть тебе что-нибудь на ноги, да?

— Нет,— просит Андреас,— не уходи, не оставляй меня даже на секунду. Бог с ними, с сапогами. Я могу умереть и в носках, многие умирают в носках, когда в панике бегут от русских, умирают от тяжелых ранений в спину, лицом к Германии... Ранение в спину у спартанцев считалось самым тяжким грехом. Многие так умерли, так что бог с ними, с сапогами, я так устал...

— Нет,— говорит она, глядя на свои ручные часы. — Если бы я отдала часы, тебе не пришлось бы отдать сапоги. Всегда кажется, что отдать уже больше нечего, я тогда совсем забыла про часы. Сейчас я обменяю их на сапоги, ведь часы нам больше не понадобятся... ничего больше не понадобится...

— Ничего больше не понадобится,— повторяет он тихо, обводя взглядом комнату, и только тут замечает, как все в ней убого. Старые обои, нищенская мебель: два вытертых кресла у окна, неприглядная кушетка.

— Я тебя спасу! — вдруг заявляет Олина. — Не бойся! — Она улыбается, видя его бледное, измученное лицо. — Эту генеральскую машину нам сам бог послал. Только доверься мне. Там, куда я тебя повезу, будет жизнь. Ты мне веришь?

Андреас растерянно кивает. И она повторяет, глядя ему в глаза, как заклинание:

— Куда бы я тебя ни повела, там будет жизнь. Идем!

Она берет в ладони его голову.

— В Карпатах есть крохотные деревеньки, где никто не найдет. Несколько домишек, церквушка, и никаких партизан. В одну из таких деревень я иногда ездила, пыталась молиться и играла там на старом кабинетном рояле в доме священника. Слышишь?

Она ищет его взгляд, который снова блуждает по старым обоям, захватанным жирными пальцами, залитым вином из разбитых об стену бутылок.

— Слышишь? Играла на рояле...

— Да! — стонет он,— но те двое, как быть с ними? Я не могу их бросить. Это невозможно.

— Нет, не говори так!

— А шофер? — спрашивает он.— Что будет с шофером?

Они стоят друг против друга, и вот взгляды их, встретившись, словно высекли искру враждебности. Олина пытается улыбнуться.

— С сегодняшнего дня,— говорит она едва слыш-

но,— я не стану больше посылать на верную гибель ни одного безвинного человека. Ах, ты должен, должен мне поверить. Тебя одного не так уж трудно спасти. Просто остановим машину и сбежим... совсем! Сбежать и... свобода! Но с теми двумя ничего не выйдет.

— Тогда ладно. Оставь меня. Нет! — Он поднимает руку, призывая ее к молчанию.— Я только скажу тебе — никаких переговоров: или-или. Ты должна меня понять, да! — говорит он, глядя в ее уже серьезные глаза,— ведь ты любила... некоторых... и ты должна понять, правда?

Медленно, тяжело голова Олины падает на грудь, и лишь когда она говорит: «Хорошо, я попробую...» — он понимает, что это она кивнула в знак согласия.

Олина ждет его, держась за ручку двери, а он еще раз обводит взглядом эту тесную, грязную польскую комнату и идет за Олиной в тускло освещенный коридор. Даже эта комната кажется роскошной в сравнении с коридором в этот предутренний час. Язвительно-холодный, серый, душный полумрак в коридоре лембергского борделя в четыре часа утра. И множество дверей, и все одинаковые, как в казарме. И все одинаково обшарпанные. Убожество, нищета.

— Заходи! — говорит Олина и толкает одну из дверей. Это ее комната: жалкая комнатуха, где есть все необходимое для ее ремесла — кровать, маленький столик с двумя стульями, таз на шатком треножнике, рядом кувшин с водой, а у стены маленький шкаф. Лишь самое необходимое, как в казарме...

Все как-то нереально — сидеть на кровати и наблюдать, как Олина моет руки, как, сбросив красные домашние туфельки, надевает уличные туфли, которые она достала из шкафа. Ах да, здесь есть еще зеркало, чтобы можно было навести красоту. Она стерла следы слез, попудрилась, ведь нет ничего омерзительней заплаканной шлюхи. Она еще подкрасила губы, подвела брови, почистила ногти, и все это споро, как солдат, поднятый по тревоге.

— Ты должен мне верить! — говорит она подчеркнуто будничным тоном,— я спасу тебя, слышишь? Это будет нелегко, если ты непременно хочешь взять с собой тех двоих, но я это сделаю. Я многое могу...

Господи, не дай мне сойти с ума, молится Андреас, не дай мне сойти с ума от этой чудовищной попытки осознать реальность... Просто не может быть, чтобы это

было наяву, не может быть... эта комната в борделе, такая убогая и жалкая в предутреннем свете, полная отвратительных запахов... и эта девушка, которая что-то напевает, для меня напевает, подкрашивая губы перед зеркалом. Не может быть... Наяву... И мое усталое сердце, которое ничего больше не хочет, и вялое сознание, чуждое любых желаний — я не хочу ни курить, ни пить, ни есть... и душа, которую уже ничто не трогает... я хочу спать, только спать...

Или я уже мертв? Кто может все это постигнуть... эти простыни, которые я, не думая, автоматически, отодвинул, садясь на край кровати — так полагается. Эти простыни... не слишком чистые и не слишком грязные, пугающие, таинственные простыни, не грязные и не чистые... и эта девушка перед зеркалом, что подводит брови, черные, тонкие брови на бледном лице.

— «Охотиться вволю и рыбу удить, как в давние времена...» — знаешь эти стихи? — с улыбкой спрашивает Олина, — это немецкие стихи, «Арчибальд Дуглас». В них говорится о человеке, которого изгнали из родной страны, понимаешь? А мы, мы изгнанники в своей собственной стране, изгнанники посреди родной страны, этого никому не понять. Год рождения тысяча девятьсот двадцатый. «Охотиться вволю и рыбу удить, как в давние времена...» Послушай!

Она и в самом деле тихонько напевает балладу, а Андреас думает, что это уж слишком: холодное серое утро в польском борделе и эта баллада на музыку Карла Лёве, которую ему тут напевают...

— Олина!

Опять этот ровный голос из-за двери.

— Да?

— Счет! Просунь мне в дверь счет! И собирайся поживее, машина уже подана...

Так вот она, реальность — девушка просовывает в дверь счет, тонкими пальчиками просовывает бумажку, на которой проставлено все, начиная со спичек, лежащих в его кармане, спичек, которые он получил еще вчера, в шесть вечера... Как же быстро пролетело время, невозвратимое время, и ничего, ничего он не успел за это время, я ничего уже не успею, только спуститься по лестнице вслед за этой аккуратно подкрашенной красоткой, чтобы покончить уже все счета...

— Эти польские девки — просто сказка! — говорит Вилли. — И до чего страстные, понимаешь?

— Да!

Вестибюль меблирован тоже очень убого. Несколько гнутых стульев, лавка, истоптанный ковер, похожий на смятую бумагу. Вилли курит. Он опять уже весь зарос щетиной и ищет в своих вещах сигареты.

— Ты мне дороже всех обошелся, приятель. За себя я, правда, тоже заплатил не намного меньше. А вот он, наш юный белокурый друг, он мне почти ничего не стоил. Эй, ты! — Вилли пихнул в бок задремавшего Блондина, — всего сто сорок шесть марок! — Он громко смеется. — Похоже, он у своей девки просто дрых, дрых в буквальном смысле слова. У меня оставалось еще двести марок, так я сунул их под дверь его малютке, на чай, понимаешь ли, она так задешево сделала его счастливым! У тебя случайно не осталось сигарет?

— Есть.

— Спасибо.

Как невероятно долго Олина торчит в комнате старухи, ведет переговоры, и это в четыре утра. В такое время весь мир еще спит. Даже в комнатах у девиц все тихо, а внизу, в большой гостиной совсем темно. Дверь, из-за которой вчера доносилась музыка, заперта. Можно осмотреться в этой гостиной, принюхать к ее запахам. Но у подъезда уже гудит сильный мотор генеральской машины. А Олина сейчас за этой дверью, выкрашенной в красный цвет, и это реальность. Должно быть, реальность...

— Так ты думаешь, что эта коляска для генеральских шлюх возьмет и нас тоже?

— Да!

— Гм! Это «майбах», по звуку мотора слышно. Тачка что надо. Ты не против, если я пока выйду, поболтаю с шофером? Наверняка, это капо.

Вилли взваливает на плечо свою поклажу и открывает дверь. За дверью и в самом деле ночь, затянутая серой вуалью ночь, а сквозь вуаль видны тусклые огни машины, стоящей за палисадником. Ночь холодна и неотвратима, как все ночи войны, исполнена холодной угрозы, чудовищной насмешки — над теми, кто прячется в грязных норах... в подвалах... во многих, многих городах, сторбившихся от страха... от страха накликать эти ночи, которые достигают своей страшной силы к четырем утра, полные ужаса, несказанно страшные военные ночи... И вот она поджидает за

дверью... ночь, полная страха, ночь без родины, без единого, даже крохотного, теплого уголка, где можно было бы схорониться... эти ночи накликаны звучными голосами...

Итак, она и в самом деле верит, что может меня спасти. Верит, что можно проскочить сквозь эту частую сеть. Дитя, она верит, что можно спастись... верит, что найдет пути, которые вели бы в обход Стрыя. Стрый. Это слово живет во мне с рождения. Оно таилось глубоко под спудом и спало, не обнаруживая себя, оно было со мной еще в младенчестве, и, может быть, меня пробрала темная дрожь еще тогда, в школе, когда мы проходили отроги Карпат, когда я прочел на карте, на желтовато-белом пятне эти названия: Галиция, Лемберг, Стрый. Но я позабыл об этой дрожи. А может, смерть уже не раз забрасывала в меня свой крючок, но все тщетно, и вдруг это слово, как будто только того и ждало, зацепилось за крючок, и уже намертво...

Стрый... это крохотное, короткое, страшное, кровавое слово поднялось со дна души и разрослось в темное мрачное облако, которое заволокло все... А она верит, что найдет пути, которые вели бы в обход Стрыя...

А при этом меня вовсе не манит ее обещание. Не манит маленькая деревенька в Карпатах, где она будет играть на кабинетном рояле. Не манит эта мнимая безопасность... есть ведь иные обещания и обеты и есть темные, чреватые опасностью дали, и лишь пройдя их, можно обрести безопасность...

Наконец дверь открывается и Андреас с изумлением видит мертвенно-бледное, застывшее лицо Олины. Она в меховой шубке и прелестном маленьком берете на распущенных волосах. Часиков на руке уже нет, но зато она несет его сапоги. Все счета погашены. Старуха улыбается весьма загадочно. Она стоит, скрестив руки на тощей груди. Солдаты забирают свои пожитки, и когда Андреас открывает дверь, она с улыбкой произносит одно только слово:

— Стрый.

Олина этого не слышит, она уже вышла из дому.

— Я тоже,— говорит она, когда они уже сидят рядом в машине,— я тоже обречена. Я тоже предала свою родину, ведь всю эту ночь я пробыла с тобой, вместо того чтобы вытягивать у генерала важные

сведения.— Она берет его за руку, улыбается ему.— Только не забывай, что я тебе сказала: там, куда я тебя везу, будет жизнь. Да?

— Да,— отвечает Андреас. Вся ночь проходит в его памяти ровной нитью, которую он разматывает, как с катушки, но есть на этой нити один узелок, который не дает ему покоя. Старуха сказала «Стрый», а откуда она может знать, что в Стрие... он же не говорил с нею об этом, и уж тем более Олина не стала бы упоминать...

Итак, это, по-видимому, реальность: благородный шум мощного мотора, мягкий свет фар, освещающих незнакомую улицу. Деревья, изредка дома, все затянуто серой мглой. Впереди два затылка в унтер-офицерских фуражках, почти одинаковые, надежные немецкие затылки, и дым от сигареты шофера тянет назад, потому что стекло между передним и задним сиденьями чуть приспущено. Рядом с Андреасом сидит Блондин, он дремлет, как ребенок, утомившийся от долгих игр, а справа Андреас все время ощущает нежный мех Олининой шубки. А ровная нить воспоминаний об этой прекрасной ночи разматывается все быстрее, быстрее, и вот он опять цепляется за тот странный узелок... Старуха сказала «Стрый»...

Андреас наклоняется вперед, чтобы взглянуть на мягко освещенные часы на приборной панели. На часах шесть, ровно шесть.

Дрожь холодного ужаса пробирает его, он думает: господи, на что я потратил время, я же ничего не успел, я никогда ничего не успевал, я должен молиться, молиться за всех... вот сейчас Пауль поднимается по ступеням алтаря и начинает молитву «Introibo». И губы Андреаса тоже шепчут:

— Introibo...

Но тут словно невидимая великанья рука опустилась на медленно ползущую машину, легкое дуновение ужаса, и вот в этой ужасающей тишине раздается сухой голос Вилли:

— Ты куда ж это правишь, приятель?

— В Стрий,— отвечает какой-то призрачный голос.

А потом два скрежещущих ножа с дикой яростью вонзаются в металлическое тело машины и кромсают его, один сзади, другой спереди, машина опрокидывается, кружится на месте под вопли сидящих в ней...

В наступившей тишине не слышно ничего, кроме потрескивания огня, усердно пожирающего добычу.

Господи, думает Андреас, неужто все погибли?.. моя рука... нога... неужто от меня осталась только голова... неужто никого больше нет... я лежу на этой пустынной дороге, и весь мир навалился мне на грудь своей тяжестью, так что и слов не найти для молитвы...

Я плачу? — думает он вдруг, потому что чувствует влагу на щеках. Нет, что-то капает ему на лицо, и тут в блеклом сумраке, еще не смягченном милосердной желтизной солнца, он видит, что с обломка машины над его головой свисает рука Олины и кровь с нее капает ему на лицо, но он уже не сознает, что и сам он тоже плачет...

ГДЕ ТЫ БЫЛ, АДАМ?



Перевод М. Гимпелевич и Н. Португалова

роман



WO WARST DU, ADAM?

И всемирная бойня может задним числом пригодиться. Скажем, для того, чтобы доказать свое алиби перед лицом Всевышнего. «Где ты был, Адам?» — «В окопах, Господи, на войне...»

Теодор Хеккер
«Дневники и ночные раздумья».
31 марта 1940 г.

Мне случалось переживать подлинные приключения. Я прокладывал новые авиатрассы, первым перелетел через Сахару, летал над джунглями Южной Америки...

Но война — это не подвиг, а лишь его дешевый суррогат.

Война — это болезнь, эпидемия, вроде сыпняка...

Антуан де Сент-Экзюпери
«Полет в Аррас».

I

Сперва перед ними проплыло лицо генерала — усталое, желтое, скорбное лицо с крупными чертами. Высоко подняв голову, генерал торопливо шагал вдоль рядов, и каждый из тысячи выстроенных перед ним солдат видел синие мешки под его глазами, залитыми малярной желтизной, и бескровный тонкогубый рот неудачника. Генерал выглядел усталым. Он начал обход с правого фланга пропыленного полукаре. Он тоскливо вглядывался в солдатские лица и повороты делал нечетко, не срезая углы. Все заметили сразу: на груди орденов у него хватало — золото и серебро слепило глаза; а вот на шее, под воротником, никакого ордена не было. И хотя солдаты отлично знали, что крест на генеральской шее немногого стоит, их все же удручало, что генерал его не удостоился. Тощая, желтая генеральская шея без орденского креста невольно наводила на мысли о проигранных сражениях, неудачных отходах, о смещенных начальниках штаба, об иронических телефонных разговорах, о нагоняях и тех обидных, язвительных

словечках, которыми обмениваются высшие чины; и можно было представить себе, как этот усталый, изможденный старик по вечерам, сняв мундир, сидит в нижнем белье на краю своей койки, поджимает худые ноги и, трясаясь в малярийном ознобе, глотает водку. Все девятьсот девяносто девять человек — по триста тридцать три с каждой стороны незамкнутого каре — испытывали под его взглядом странное чувство: какую-то смесь жалости, тоски, страха и затаенного гнева. Гнев вызывала эта война, которая тянется слишком уж долго, так долго, что генералы просто права не имеют расхаживать без высшего ордена на шее. Генерал шел, не отрывая руки от козырька своей поношенной фуражки, — руку у козырька он, правда, держал твердо. Дойдя до левого фланга, он сделал поворот, на сей раз более резкий, двинулся вдоль незамкнутого фронта полукаре и остановился точно на середине. И тут же стайка офицеров рассыпалась за его спиной — на первый взгляд как попало, но на самом деле каждый занял четко определенное ему место, и всем было неловко за генерала, не заслужившего даже креста на шею, тем более что у некоторых офицеров его свиты такие кресты поблескивали на солнце.

Генерал хотел было что-то сказать, но вместо этого резко козырнул и повернулся так неожиданно, что офицеры, стоявшие позади него, шарахнулись в стороны, освобождая ему дорогу. И все видели, как сухонький старичок влез в свою машину, офицеры снова взяли под козырек, и вскоре на дороге осталось лишь крутящееся светлое облако пыли, показывая, что генерал укатил на запад, туда, где предзакатное солнце уже низко нависло над плоскими белыми крышами, туда, где не было фронта.

Потом их разделили на три колонны, по триста тридцать три человека в каждой; они зашагали на другой конец города, к его южной окраине, прошли мимо фешенебельных, но запущенных кафе, мимо кинотеатров и церквей, через бедняцкие кварталы, где у дверей валялись в пыли собаки и куры, из окон выглядывали неопрятные пышногрудые красотки, а из грязных пивных доносились пьяные песни; заунывная, однотонная мелодия брала за душу. С какой-то неправдоподобной быстротой проносились мимо трамваи. Под конец солдаты снова вышли на тихую, опрятную улицу,

застроенную особняками, утопавшими в зелени садов. У каменных ворот стояли армейские грузовики; солдаты прошли сквозь ворота и очутились в нарядном парке. Здесь их снова выстроили в полукаре — но на этот раз их было лишь три шеренги по сто одиннадцать человек.

Солдаты составили винтовки в пирамиды, сложили в тылу каре вещевые мешки, и когда они снова застыли по стойке смирно, изнемогая от голода и жажды и проклиная про себя опостылевшую войну, перед ними поплыло новое начальственное лицо: узкое, холеное, породистое. Вдоль рядов шагал бледный поджарый полковник с холодным, твердым взглядом и плотно сжатыми губами под длинным носом. Само собой разумелось, что подобные физиономии немислимы без креста на шее. Но и это лицо не внушало солдатам доверия. Полковник шел медленно, печатая шаг, четко срезая углы на поворотах, впиваясь взглядом в каждого. Закончив обход, он в сопровождении небольшой группы офицеров двинулся к центру каре, и солдаты тотчас же поняли, что дело тут без напутствия не обойдется, и все сразу вспомнили о том, что им давно уже хочется пить, хочется есть, спать и курить.

— Солдаты, соратники! — прозвенел в тишине резкий голос полковника, — не буду тратить слов попусту. Надо вышвырнуть отсюда этих вислоухих, загнать их назад, в степи. Ясно?

Полковник умолк. Воцарилась гнетущая, смертная тишина, и солдаты увидели, что багровый диск солнца повис уже над самым горизонтом. Орденский крест на шее полковника поглощал кровавые лучи, его сверкающие планки, казалось, вобрали в себя весь закат. И тут только солдаты заметили, что крест у полковника был особенный — с дубовыми листьями, которые они между собой называли «ботвой». Сомнений не было, на шее полковника красовалась «ботва».

— Ясно? — выкрикнул полковник, и голос его сорвался.

— Так точно, — вразброд откликнулось несколько голосов — хриплых, усталых и безразличных.

— Ясно, спрашиваю? — снова выкрикнул полковник и дал такого петуха, что его голос и впрямь равнялся ввысь, словно рехнувшийся петух, который захотел вдруг склонуть звезду.

— Так точно,— вновь откликнулись ряды; теперь голосов стало больше, но кричали они так же хрипло, устало и равнодушно. Слова этого человека не в силах были утолить их жажду, притупить голод, заглушить тоску курильщиков по табаку.

Полковник гневно рассек воздух стеклом и, пробормотав нечто похожее на «скоты», быстро пошел прочь. За ним вышагивал адъютант, непомерно долговязый, совсем еще юный обер-лейтенант, такой долговязый, и такой юный, что солдатам невольно стало жаль его.

Солнце все еще стояло в небе прямо над домами — казалось, по плоским белым крышам катится докрасна накалившее железное яйцо, и когда солдат снова повели куда-то, над ними простиралось тусклое, выгоревшее, почти бесцветное небо; чахлая листва бессильно свисала с придорожных деревьев. Теперь они шли прямо на восток — по булыжной мостовой городской окраины, мимо убогих домишек и лавок старьевщиков, мимо обшарпанных многоэтажных корпусов, неведомо как затесавшихся сюда. Потом потянулись свалки, пустыри, огороды — перезревшие дыни догнивали на грядках, тугие сочные помидоры гроздьями висели на кустах. Все здесь было чужое, непривычное,— и несуразно большие кусты помидоров, и толстобокые початки кукурузы, которую клевали стаи черных птиц, они взлетали, когда мимо проходили солдаты; но, покружив в воздухе, тучей опускались на поле и снова принимались клевать желтые зерна.

Теперь солдат осталось всего сто пять человек. Они шли колонной по три, смертельно усталые, пропыленные, с потными лицами и сбитыми в кровь ногами, впереди шагал обер-лейтенант, на лице которого было написано глубочайшее отвращение ко всему. Солдаты сразу раскусили его. Принимая команду, обер-лейтенант лишь мельком взглянул на них, но люди, несмотря на усталость и жажду, жгучую жажду, прочли в его глазах, что он хочет сказать: «Дерьмо все это, но что поделаешь!»

И тут же они услышали его голос — с наигранным безразличием он сказал: «Пошли!» — просто «пошли» — без обычных строевых команд.

Их привели к грязному зданию школы. На школьном дворе среди чахлах, полузасохших деревьев стояли черные зловонные лужи, над которыми роились жир-

ные мухи, должно быть, лужи месяцами не просыхали — они тянулись через весь двор от булыжной мостовой до исчерканной мелом дощатой уборной, откуда несло зловонием невыносимым и мерзким.

— Стой, — бросил обер-лейтенант и направился к дверям школы упругой и в то же время разболтанной походкой человека, которому все опостылело до предела.

Здесь их не строили в каре, а вышедший к ним капитан даже не взял под козырек. Он был в мундире без ремня, жевал травинку, и его круглое черноброе лицо выглядело добродушным. Остановившись перед строем, он лишь кивнул головой, неопределенно хмыкнул и сказал: «Времени у нас в обрез, ребята. Не до отдыха. Фельдфебель разведет вас по ротам».

Но солдаты, глядевшие мимо круглолицего капитана, успели заметить и бронетранспортеры в глубине двора, и вещевые мешки на грязных подоконниках школы — аккуратные квадраты защитного цвета, и рядом с каждым из них — все что положено — ремень, подсумок, лопатка и противогаз.

Со двора они вновь вышли колонной по три, и осталось их всего двадцать четыре человека; они снова прошли вдоль знакомого уже кукурузного поля, но дойдя до уродливых многоэтажных корпусов, опять свернули на восток и остановились в редкой рощице, среди которой были разбросаны одноэтажные домики, коттеджи с плоскими крышами и широкими застекленными верандами, какие строят в поселках художников.

В садиках стояли плетеные кресла. Когда солдаты повернули по команде кругом, они увидели, что солнце уже скрылось за крышами домов, — багровое зарево медленно расползлось по всему небосводу, окрашивая его в алый цвет — цвет грубо намалеванной крови. Восток у них за спиной уже подернулся сумеречной дымкой.

У домов в тени деревьев сидели солдаты. Вдалеке виднелись ружейные пирамиды — их было не меньше десятка. Пришедшие сразу заметили, что их теперешние однополчане были в полном боевом снаряжении, — отблески заката играли на касках, пристегнутых к поясным ремням.

Обер-лейтенант, появившийся на пороге одного из домиков, и не подумал обходить строй. Он просто

подошел к ним, остановился, и солдаты увидели, что у него был один-единственный орден, даже не орден — так, пустячная медаль — штампованный кружок из вороненой жести, свидетельство о том, что его обладателю посчастливилось пролить кровь за отечество. Лицо у офицера было усталое и грустное. Он посмотрел на солдат, сначала на их ордена и ленточки, потом на лица, произнес: «Прекрасно», — и, помолчав немного, взглянул на часы и добавил:

— Устали, ребята, знаю, но ничего не поделаешь — выступаем через четверть часа. — Затем он обратился к стоявшему рядом унтер-офицеру:

— Составлять список — нет смысла. Соберете солдатские книжки и перешлете их в штаб. Да побыстрей разводите людей по взводам, чтобы успели напиться. — И вновь повернувшись к солдатам, обер-лейтенант громко сказал: — Фляги налить не забудьте!

Физиономия унтера была недовольная, спесивая, а орденов у него на груди было в четыре раза больше, чем у обер-лейтенанта. Он только кивнул в ответ и рявкнул:

— Сдать солдатские книжки!

Положив стопку солдатских книжек на колченогий столик под деревом, унтер-офицер начал распределять людей по взводам. Пока он рассчитывал их и разбивал на группы, все они думали об одном и том же. Да, они устали в дороге, будь она трижды проклята, но это бы еще полбеды. И генерал, и полковник, и капитан, и даже обер-лейтенант — все они останутся позади — и плевать на них. Но вот этому пижону-унтеру, лихо отдающему честь и щелкающему каблуками, словно и не было четырех лет войны, и этому мордастому фельдфебелю с бычьим загравком, который, подойдя откуда-то сбоку, щелчком отбросил недокуренную сигарету и затянул потуже ремень, — этому начальству солдат выдан с головой — до той минуты, пока не попадет в плен, не будет ранен или убит.

И вот из тысячи солдат остался один — последний. Он стоял перед унтер-офицером, растерянно озираясь, ибо рядом с ним больше не было привычных соседей — ни спереди, ни сзади, ни сбоку. Взглянув еще раз на унтера, солдат вспомнил вдруг, что он хочет пить, пить, а от пятнадцатиминутного привала осталось самое большее минут семь-восемь.

Унтер взял со стола последнюю солдатскую книжку, перелистал ее, поднял глаза на стоявшего перед ним солдата и спросил:

— Ваша фамилия Файнхальс?

— Так точно.

— До войны были архитектором и умеете чертить?

— Так точно.

— Оставьте его при себе, господин обер-лейтенант.

Пригодится.

— Прекрасно,— произнес обер-лейтенант, не отрывая взгляда от дальней панорамы города, и Файнхальс тоже посмотрел в ту сторону и сразу понял, почему ротный глядит туда как зачарованный. Там, вдалеке, солнце опустилось прямо на улицу и, словно сплющенное светящееся яблоко, лежало в пыли между убогими домишками на окраине румынского городка— оно все больше тускнело, словно заплывая собственной тенью.

— Прекрасно,— повторил офицер, и Файнхальс так и не узнал, относилось ли это к солнцу или было обычным присловьем обер-лейтенанта. Сам Файнхальс в этот миг думал о том, что вот уже четыре года, как он воюет, четыре года, а в повестке, полученной им когда-то, говорилось лишь о военных сборах. Он и поехал на сборы, но тут внезапно началась война.

— Идите пейте,— сказал унтер, и Файнхальс ринулся туда, куда давно уже побежали остальные. Воду он нашел сразу — между тонкими стволами сосенок торчала заржавевшая колонка со свернутым краном. Струя воды, вытекавшая из него, была не толще мизинца, да вдобавок у колонки сгрудилось человек десять и каждый, нещадно ругаясь, старался отпихнуть в сторону котелок соседа.

При виде льющейся воды Файнхальс чуть не обезумел. Мозг сверлило только одно слово — «вода». Он выхватил котелок из вещевого мешка и, ощутив вдруг необычайный прилив сил, протолкался к крану. Ему удалось втиснуть котелок между другими, и вскоре он уже не мог распознать его среди десятка металлических ячеек, безостановочно перемещавшихся под струей воды. Но, посмотрев вдоль своей руки, он заметил, что эмаль на его котелке темней, чем у других. Резким движением он толкнул его вперед и с жадной дрожью ощутил, что котелок тяжелеет. Файнхальс так и не успел решить, что приятней: пить или чув-

ствовать, как наполняется водой котелок в его руке. Вдруг рука его дрогнула, слабость растеклась по жилам; Файнхальс поспешно потянул к себе котелок и сел на землю, хотя за спиной у него раздались голоса: «Строиться! Становись!» Не в силах поднести котелок ко рту, он зажал его между коленями, склонился над ним, словно пес над миской, потом слегка подтолкнул доньшко — котелок чуть накренился, и вода коснулась наконец его потрескавшихся губ. И когда он почувствовал на губах воду и стал судорожно пить, перед глазами его вспыхнули, заплясали, переливаясь всеми цветами радуги, буквы: *вода, во-да-во-да-во...* Словно в бреду, он ясно видел перед собой это слово. Руки его вновь окрепли, он поднес котелок ко рту и осушил до дна. Кто-то на бегу схватил его за плечо, рванул с земли и подтолкнул вперед. Еще издали Файнхальс увидел, что рота уже построена, и услышал голос обер-лейтенанта: «Вперед, шагом марш». Вскинув на плечо винтовку, он по знаку унтер-офицера встал на свое место в одном из первых рядов.

Они зашагали вперед, в темноту, и Файнхальс поневоле двигался вместе со всеми, хотя охотнее всего он растянулся бы на земле, но, казалось, собственная тяжесть заставляла его сгибать попеременно колени, и его натруженные, сбитые в кровь ноги послушно шли вперед, волоча за собой непомерно тяжелые, многопудовые комья боли; ноги переступали одна за другой, а вслед за ними приходило в движение и все тело — зад, плечи, руки, голова, и снова тело обваливалось, оседало на ноги, и те снова подгибались в коленях и шли вперед...

Часа три спустя, совершенно обессилев, он лежал где-то в выгоревшей степной траве и тупо смотрел вслед человеку, уползавшему в серую мглу: этот человек только что передал ему два просаленных бумажных кулька, краюху хлеба, пакетик леденцов, шесть сигарет и сказал:

— Пароль знаешь?

— Нет.

— «Победа», пароль — «победа».

«Пароль — «победа», — шепотом повторил Файнхальс, и это слово растеклось по языку, словно тепловатая затхлая вода.

Он сорвал обертку с леденцов и сунул один из них в рот. Кисловато-сладкая слюна с аптечным при-

вкусом сразу заполнила рот. С усилием сглотнув волну сладковатой горечи, Файнхальс внезапно услышал вой пролетающих над ним снарядов: уже несколько часов подряд снаряды рвались далеко впереди, но на этот раз они пролетели над головами солдат, тяжело шлепая по воздуху, словно плохо заколоченные ящики, и разорвались где-то позади. Следующий залп пошел недолетом: впереди, совсем близко, взметнулись высокие грибовидные фонтаны песка и стали медленно оседать, расползаясь на фоне светлеющего на востоке неба. Файнхальс еще успел подумать, что теперь перед ними на востоке посветлело, а мрак остался за спиной; третьего залпа он не услышал, казалось лишь, что совсем рядом, до ужаса близко, кто-то с силой бьет молотком по фанере, с треском раскалывая ее в щепы. Пыль и пороховой дым стлались низко над землей. Файнхальс вжался в землю, уткнув голову в вырытый им окопчик, и вдруг услышал переданную по цепи команду: «Приготовиться к броску!»

Тут справа до него донесся шорох, перешедший в негромкое и зловещее шипение, казалось, трескучее пламя ползет в его сторону по бикфордову шнуру. И в тот момент, когда Файнхальс пристраивал удобней ранец на спине, рядом с ним рвануло воздух, и ему показалось, что кто-то дернул его за левую руку, а потом схватил ее выше локтя и резко рванул к себе. И тут же вся рука окунулась в теплую влагу.

— Я ранен,— закричал Файнхальс, приподняв голову из грязи окопа, но сам не услышал своего голоса. Вместо этого чей-то чужой голос тихо, но явственно произнес: «Навозник».

Голос доходил до него словно сквозь стену из толстого стекла, ясно различимый и в то же время очень далекий. Негромкий, приглушенный, приятный голос настойчиво повторял: «Навозник», я «навозник», капитан Бауэр у аппарата». Потом последовала недолгая пауза, и тот же голос произнес: «Слушаю, господин подполковник». И снова пауза. Наступила глубокая тишина, лишь откуда-то издали доносилось бульканье, шлепанье и шипенье, словно вода кипела на огне.

Файнхальс вдруг понял, что лежит с закрытыми глазами. Открыв их, он сразу увидел голову капитана, голос тоже зазвучал как будто громче. Голова капитана отчетливо вырисовывалась в темном проеме окна

с обшарпанной рамой, на его небритом лице застыло усталое раздражение. Прищурив глаза, капитан трижды повторил с секундными интервалами: «Так точно, господин подполковник!»

После этого капитан нахлобучил каску, и его округлая, добродушная, жукастая физиономия сразу стала на редкость комичной. Он сказал кому-то, стоявшему рядом: «Дело дрянь! Прорыв в третьем и четвертом квадратах. Придется ехать на передовую». Другой голос крикнул в глубину дома: «Связного мотоциклиста — к капитану!» Казалось, что разноголосое эхо подхватило эти слова, разнесло их по дому и постепенно затихло: «Связного — к капитану! Связного — к капитану!»

Вскоре Файнхальс услышал нарастающий сухой треск мотора, а потом увидел мотоцикл, выехавший из-за угла; запыленная, глухо урчащая машина понемногу замедляла ход и остановилась неподалеку от него. Лицо у мотоциклиста было усталое, безразличное. Не выключая мотора и сидя на подпрыгивающей машине, он крикнул в темное окно: «Связной по вашему приказанию прибыл, господин капитан!» На крыльце появился капитан с сигарой в зубах, в каске он походил на кряжистый, насупленный гриб. Медленно и тяжело шагая, он подошел к мотоциклу, нехотя втиснулся в коляску, буркнул: «Поехали», — и машина, сорвавшись с места, треща, подпрыгивая, вздымая клубы пыли, понеслась вперед, в бурлящий хаос боя.

Пожалуй, никогда еще Файнхальс не испытывал такого блаженства. Боли он почти не чувствовал — лишь слегка ныла левая рука, которая лежала рядом с ним, словно чужая, упакованная в бинты и вату, одеревенелая и окровавленная. Все остальное было в целости, он без труда поднял сначала правую, потом левую ногу, пошевелил пальцами ног в сапоге, приподнял голову, ему даже удалось закурить лежа. Прямо перед собой он видел всходившее солнце, которое только что выбралось из пыльной завесы, затянувшей на востоке весь горизонт. Все звуки доходили до него как-то приглушенно, будто голова его была обернута в вату. И тут только Файнхальс вспомнил, что за последние сутки он ничего не ел, кроме кислого леденца, пахнувшего аптекой, и ничего не пил, кроме нескольких глотков ржавой тепловатой воды с примесью песка.

Почувствовав, что его поднимают и несут куда-то, он снова закрыл глаза, но по-прежнему отчетливо видел окружающее. Все это было ему уже не внове, все это однажды уже случилось с ним. Сначала его обдало теплой волной выхлопного газа от санитарной машины, стоявшей с включенным мотором; потом его внесли в накаленный, пропахший бензином кузов; носилки скрипнули, дверца захлопнулась, взревел мотор, и шум фронта стал постепенно отдаляться, медленно, почти незаметно, точно так же, как незаметно он подбирался вчера. Лишь на городской окраине по-прежнему рвались через равные промежутки времени одиночные снаряды. И, засыпая, Файнхальс успел подумать: хорошо, что на этот раз все кончилось так быстро. Очень быстро! Только немного хотелось пить, ноги сбил и страшновато было, как всегда.

Очнулся он от внезапного толчка: машина резко затормозила. Рывком распахнулись дверцы, снова заскрипели носилки, и его внесли в прохладный, чисто выбеленный коридор. Стояла полная тишина, носилки были поставлены в ряд, друг за другом, словно шезлонги на узкой палубе. Прямо перед собой Файнхальс увидел густую черную шевелюру, — обладатель ее лежал неподвижно, на следующих носилках беспокойно поблескивала чья-то лысина, то появляясь, то вновь скрываясь, а еще дальше белела наглухо забинтованная голова уродливая, непомерно длинная, и этот марлевый пакет не переставая кричал: «Шампанского!» Знакомый голос давешнего полковника, беспомощный и в то же время наглый, рвался к потолку в непрерывном крике: «Ша-ампанского!»

— Помочись и хлебай! — спокойно сказала лысина. Сзади кто-то осторожно хихикнул.

— Ша-ампанского! — надрывался полковничий голос. — Шампанского со льдом!

— Заткнись, — так же спокойно произнесла лысина, — заткнись же, гад.

— Шампанского, — жалобно захныкал вдруг полковник. Белая, забинтованная голова его откинулась назад, и Файнхальс увидел кончик длинного носа, торчащий из марли.

— И девочку, теплую девочку...

— Переходи на самообслуживание! — тут же откликнулся лысый.

Потом полковника унесли наконец в перевязочную, и все стихло.

В наступившей тишине до раненых донеслись глухие разрывы на дальних окраинах, казалось, звук их добирался сюда из бесконечной дали, с края войны. Когда в коридор снова вынесли полковника — теперь он лежал молча, повернув набок забинтованную голову, а на смену ему в двери перевязочной протиснули носилки лысого, — со двора донесся шум приближающейся автомашины. Мягкое урчание мотора нарастало с почти угрожающей быстротой, чудилось, что автомобиль вот-вот протаранит белую стену коридора. Но урчание вдруг стихло, чей-то голос во дворе выкрикнул слова команды, и когда задремавшие было раненые повернули головы к двери, они увидели генерала. Он медленно шел вдоль ряда носилок, молча опуская на одеяло каждого раненого пачку сигарет. В гнетущей тишине Файнхальс слышал приближающиеся шаги и вот совсем рядом с ним выплыло лицо генерала — желтое, скорбное лицо с крупными чертами, с седыми бровями и черной каймой пыли вокруг бескровного рта. По лицу генерала было видно, что и это сражение он проиграл...

II

— Брессен, Брессен, взгляните на меня, — раздался голос у его изголовья, и он сразу узнал фон Клевица, дивизионного хирурга, которого, как видно, послали выяснить на месте, когда же полковник Брессен сможет вернуться в строй. Нет уж, слуга покорный, он и слышать не желает про свой полк. Брессен даже не посмотрел в сторону Клевица. Он уставился неподвижным взглядом на картину, висевшую справа от него, почти в самом углу, дальнем и темном: на зеленом лугу паслись серые овцы, а пастух в голубом плаще играл на флейте.

Никто бы в этот миг не догадался, о чем думает полковник Брессен. А думал он о неприятнейших вещах, о которых он, как ни странно, вспоминал часто и охотно. Брессен никак не мог уяснить себе, действительно ли он слышал только что голос Клевица; то есть он слышал его, конечно, но не желал признаваться в этом даже самому себе и продолжал упорно смотреть на пастуха с флейтой, вместо того чтобы повернуть

голову и сказать: «А, Клевиц, рад вас видеть. Спасибо, что не забыли!»

Потом Брессен услышал шорох перелистываемой бумаги и решил, что врачи углубились в его историю болезни. Он лежал, уставившись в затылок пастуха, и думал о тех далеких временах, когда ему привелось служить в фешенебельном ресторане. В часы обеда он, картинно расправив плечи, вышагивал между столиками и раскланивался с посетителями. Просто поразительно, до чего быстро он освоил тогда все виды и оттенки поклонов. Короткий поклон, глубокий поклон, полупоклон, небрежный кивок. Иным он даже и не кивал, а просто на мгновенье прикрывал глаза, но тем казалось, что он кивнул. Брессен быстро постиг и новую «табель о рангах» — совсем как в армии с ее иерархией серебряных плетений, просветов и звездочек на погонах, за которыми шла серая масса пустых или полупустых солдатских погон. Шкала поклонов в ресторане была несложной — все зависело от бумажника да от суммы счета. Брессен обходился там даже без профессиональной угодливости — он почти не улыбался, а с лица его, как ни старался он принять безразличный вид, не сходило выражение бдительной строгости. Посетитель, удостоившийся его внимания, чувствовал себя не столько польщенным, сколько провинившимся в чем-то. Все гости ежились под его пристальным, оценивающим взглядом, и Брессен вскоре обнаружил, что некоторых из них его взгляд повергает в полное смятение, бедняги принимались резать ножом пюре и судорожно ощупывали в кармане бумажник всякий раз, когда Брессен проходил мимо. Его удивляло лишь, что на следующий день его жертвы снова появлялись в ресторане и безропотно выносили его кивки и оценивающие взгляды, считая, видимо, что в первоклассных ресторанах так уж заведено. За породистое лицо и умение носить фрак Брессену прилично платили и вдобавок кормили бесплатно.

Но при всем своем напускном высокомерии Брессен, в сущности, и сам постоянно робел. Бывали дни, когда от волнения он внезапно начинал потеть. Пот лил с него градом, и он не знал, куда деваться.

Хозяин ресторана был добродушный плебей, уверенный своей удачливостью в делах. Он унижал Брессена своими подачками: иногда по вечерам, когда ресторан постепенно пустел и Брессен уже подумывал

о том, как бы уйти, хозяин, порывшись своими короткими пальцами-обрубками в ящике с дорогими сигарами, выуживал две-три штуки и, как ни отнекивался Брессен, совал их ему в верхний карман пиджака. «Берите, не стесняйтесь,— бормотал при этом хозяин с обычной смущенной улыбкой,— это хорошие сигары!» И он брал сигары. Дома он выкуривал их с Фельтеном, с которым они вместе снимали меблированную комнату. Фельтен каждый раз восторгался сигарами. «Брессен, черт возьми, вот это — вещь!» — приговаривал он. Брессен помалкивал и, в свою очередь, не ломался, когда у Фельтена оказывалась хорошая выпивка. Фельтен был коммивояжером какой-то виноторговой фирмы, и случалось, что в удачные дни он приносил домой даже шампанское.

— Шампанского,— произнес Брессен вслух.— Шампанского со льдом.

— Только это от него и слышишь,— сказал ординатор.

— Вы имеете в виду господина полковника? — сухо спросил Клевиц.

— Так точно, господина полковника Брессена. Это единственные слова, которые изволят время от времени произносить господин полковник. Кроме того, господин полковник изредка упоминают еще о девочке — теплой девочке.

Но хуже и мучительней всего были в те дни его трапезы. Он ел в грязноватой каморке за столом с потертой скатертью. Подавала ему сварливая повариха, которая и знать не желала, что Брессен предпочитает пудинги всем прочим блюдам. Тошнотворный кухонный чад, омерзительный всепроникающий запах застывшего сала лез в рот, в ноздри, царапал горло. Вдобавок в комнату то и дело заходил хозяин, не вынимая изо рта сигары, подсаживался к столу, наливал себе рюмку водки и залпом выпивал ее.

Позже Брессен ушел из ресторана и стал давать уроки хорошего тона. Город, в котором он жил, был просто идеальным местом для подобного занятия. Многие из здешних нуворишей даже не подозревали, что рыбу принято есть иначе, чем мясо. Всю свою жизнь эти люди вообще ели руками, и теперь, став обладателями автомобилей, особняков и дорогих женщин, буквально из кожи лезли вон, лишь бы научиться хорошим манерам. Брессен выводил своих клиентов

в большой свет, словно новичков на каток, он регулярно навещал их, обсуждая с ними очередное меню, учил правильному обхождению с прислугой и в завершение, ужиная с ними, показывал, как владеть вилкой и ножом, контролировал каждое их движение, то и дело поправлял и пытался научить собственноручно откупоривать за столом бутылку шампанского.

— Шампанского! — снова повторил он. — Шампанского со льдом.

— Господи, боже мой, — простонал Клевиц, — Брессен, да посмотрите же на меня в конце концов!

И не подумает он смотреть на Клевица. Он и слышать не желает про этот проклятый полк, который рассыпался, словно пепел. Где три его батальона, именовавшиеся по коду «навозник», «стрелок» и «колпак»? Где «шалаш» — его КП, с которого он руководил боем? К черту! Все пошло прахом!

Вскоре он услышал удаляющиеся шаги — Клевиц вышел из палаты.

Брессен с облегчением оторвал взгляд от дурацкой картины с овцами и пастухом: она висела в дальнем правом углу, смотреть на нее было неудобно, и у него даже затекла шея. Зато вторая картина висела почти напротив него; волей-неволей пришлось ее разглядывать, хотя и эта картина была не лучше первой. На ней был изображен Михай, юный наследник румынского престола, при посещении крестьянской фермы, слева и справа от него художник поместил маршала Антонеску и королеву-мать. Румынский крестьянин на картине застыл в необычной позе — он стоял, судорожно сжав ступни, и, казалось, вот-вот ткнется носом в землю, уронив на сапоги наследника свое подношение: то ли хлеб-соль, то ли кусок брынзы, — тем не менее юный принц улыбался. Впрочем, Брессен смотрел на картину невидящим взором, он просто был рад, что может теперь смотреть в одну точку прямо перед собой, не поворачивая головы и не испытывая боли в затылке.

Обучая выскочек хорошим манерам, Брессен сделал одно совершенно неожиданное открытие, в которое сам долго не хотел верить. Он и не подозревал раньше, что их и впрямь можно научить этому священнодействию с вилкой и ножом. Подчас он даже пугался, когда спустя каких-нибудь три месяца эти типы и их дамы вдруг давали ему понять, что он хоть и толковый, но весьма односторонний репетитор, и,

подписав чек, любезно выпроваживали его. К счастью, попадались и такие, которые никак не могли постичь всю эту премудрость; пальцы их слишком загрубели — изящно срезать сырную корку, взять, как положено, бокал за ножку им было просто не по силам. Была еще одна категория учеников — те ничему научиться не могли, но и значения этому никакого не придавали. Поговаривали, что есть и такие, которые вообще не считают нужным брать у него, Брессена, уроки хорошего тона.

Единственное утешение в то время он находил в интрижках с женами своих учеников, интрижках совершенно безопасных и довольно приятных. Но почему-то все его партнерши очень быстро преисполнились к нему отвращением. У него в те годы было множество связей с самыми различными женщинами; но ни одна из них не приходила к нему дважды — хотя, ужиная с ними, он почти всегда заказывал шампанское...

— Шампанского,— повторил он снова,— шампанского со льдом!

Он произносил это, даже когда оставался один в палате,— так было надежней. Он вдруг вспомнил мельком о войне, которая еще не кончилась, но тут в палату снова вошли двое врачей, и Брессен немедленно уставился на кусок брынзы, которую мужик на картине протягивал юному королю Михаю. На секунду картину заслонила от него розовая рука главного врача, протянувшаяся за температурным листом на спинке кровати.

— Шампанского! — отчетливо произнес Брессен.— Шампанского и девочку!

— Господин полковник,— тихо сказал главврач.— Вы слышите меня?

Последовала короткая пауза, потом главврач сказал кому-то, стоявшему рядом с ним:

— Придется эвакуировать его с дивизионным госпиталем в Вену. В штабе дивизии не хотели бы, естественно, лишиться полковника Брессена, но что поделаешь!

— Так точно,— подтвердил ординатор.

После этих слов Брессен долго ничего не слышал, хотя врачи, по-видимому, все еще стояли у его койки, иначе скрипнули бы двери. Но вот снова зашуршала бумага — опять они взялись за эту чертову историю болезни. Они листали ее, не произнося ни слова.

Потом наконец там, наверху, вспомнили, что Брессен может учить людей другим вещам, действительно достойным изучения,— например, новому боевому уставу пехоты. Он уже знал его наизусть — все новинки регулярно присылали ему по почте. Брессен занялся военной подготовкой членов «Стального шлема» и молодежных организаций в своем округе, и он хорошо помнил, что это почетное назначение совпало с неожиданным изменением его вкусов и привычек: он пристрастился к сладостям и охладел к случайным связям. Вскоре он убедился, что хорошо сделал, заведя всеми правдами и неправдами собственного коня. Теперь в дни учений он выезжал на загородный плац задолго до начала занятий, проводил совещания с командирами отрядов, просматривал расписание, а главное — теперь он мог поближе узнать людей, приглядеться к ним во внеслужебной обстановке. Среди них попадались и бывалые фронтовики и зеленые — на удивление трезвые и в то же время наивные юнцы, которые иногда решались даже возражать ему. Все было бы хорошо, если бы не приходилось соблюдать некоторые меры предосторожности: так, например, после занятий нельзя было въехать в город верхом, во главе отряда. Но на учениях почти все шло по старому. В боевой подготовке батальона он разбирался хорошо, а пересматривать новый устав не было надобности: его создатели в достаточной мере учли опыт войны, не изменив при этом ничего коренным образом. Особое внимание Брессен уделял строевой подготовке — он считал ее делом первостепенной важности и без устали отработывал с людьми маршировку, основные стойки и повороты. Случались дни,— для Брессена это было настоящим праздником,— когда он, чувствуя небывалый прилив сил, решался даже проводить батальонные строевые учения, которые в мирное время далеко не всегда удавались даже регулярным воинским частям.

Однако вскоре все предосторожности были отброшены, и Брессен, став снова всамделишным майором и командиром пехотного батальона, даже не ощутил существенных изменений в своем положении.

Вдруг он почувствовал, что вращается, и сначала не понял, действительно ли он вращается или это — обман чувств. Но он вращался и хорошо знал, что действительно вращается,— как это было ни печально,

он отлично сознавал все происходящее. Его приподняли и осторожно уложили на носилки, стоявшие рядом. Голова его запрокинулась назад, и несколько секунд он глядел в потолок, но ему тут же подсунули под голову подушку, и взгляд его непроизвольно остановился на третьей картине, висевшей в палате. Брессен до сих пор еще не видел этой картины — она висела у самой двери, — и поначалу он даже обрадовался: не будь картины, ему пришлось бы смотреть на врачей, стоявших теперь как раз по обе его стороны. Главного врача в палате не было, а ординатор разговаривал с другим молоденьким врачом, которого Брессен до сих пор не примечал. Ординатор, приземистый толстяк, тихо зачитывал своему коллеге сведения из брессеновской истории болезни и, видимо, давал пояснения. Брессен, к величайшей своей досаде, так и не уловил ни слова из того, что они говорили, и не потому, что ему изменил слух, — его мучило именно то, что он до сих пор все слышал и понимал; просто врачи стояли довольно далеко и к тому же перешли на шепот. Зато он отлично слышал все звуки, долетавшие в палату извне, — гул голосов, стоны раненых, ворчание заводимых моторов. Потом перед ним выросла спина санитаря, а другой солдат, стоявший за изголовьем носилок, сказал: «Ну, взяли!»

— А багаж его? — откликнулся первый и, обращаясь к ординатору, добавил: — Кто вещи понесет, господин доктор?

— Пойдите поищите кого-нибудь. Пусть вынесут.

Оба санитаря снова вышли из палаты.

Брессен тем временем, не поворачивая головы, всматривался в третью картину, по обе стороны которой торчали головы врачей. Просто невероятно, как она попала сюда? Конечно, госпиталь могли разместить в школе, а то и в монастыре. Но он в жизни своей не слышал, что в Румынии есть католики. В Германии они как будто еще не перевелись, но в Румынии? И вот извольте — здесь на стене висит изображение богоматери. Брессен со злостью смотрел на картину — иного выбора у него не было. Приходилось смотреть не отрываясь на эту женщину в небесно-голубом одеянии, да и выражение лица у нее было раздражающе серьезное. Святая дева на картине парила над земным шаром, подняв очи к небу, покры-

тому белоснежными облаками; в руках у нее были кедровые четки. «Экая мерзость», — подумал Брессен, слегка покачав головой. И тут же пожалел об этом: оба врача вдруг насторожились, посмотрели на него, потом как по команде перевели глаза на картину, словно проследив направление его взгляда, и медленно двинулись к его носилкам. Брессену было теперь очень трудно смотреть на раздражавшую его мадонну между головами врачей, мимо двух пар устремленных на него глаз. Ему никак не удавалось вновь погрузиться в воспоминания, вернуться к тому блаженному времени, о котором он думал всего лишь несколько минут тому назад. В те годы привычный мир возрождался у него на глазах, медленно, но неуклонно. Все возвращалось — и общество генштабистов, и гарнизонные сплетни, и адъютанты, и денщики. Но сейчас ему никак не удавалось снова перенестись в этот мир. Он как в тиски был зажат в узком промежутке в двадцать сантиметров, в котором висела картина, обрамленная головами обоих врачей. Но вскоре он с некоторым облегчением заметил, что промежуток этот расширился, ибо врачи подошли вплотную к его носилкам и остановились по обе стороны.

Они почти исчезли из поля его зрения, лишь краем глаза он видел белые пятна их халатов. Теперь он ясно слышал их разговор.

— Значит, вы полагаете, что дело тут не в ранении?

— Исключено, — отозвался ординатор. Зашуршала бумага — он опять раскрыл историю болезни. — Исключено. До смешного пустячная царапина. Осколок по касательной задел кожу головы. Через пять дней зажило бы без следа. К тому же никаких симптомов сотрясения мозга! Разве что шок у него, или... — Ординатор вдруг умолк.

— Или? — переспросил другой врач.

— Я лучше воздержусь от диагноза...

— Да говорите, чего там!

Наступила мучительная для Брессена пауза: оба врача обменивались, видимо, какими-то знаками, незнакомый врач внезапно расхохотался, хотя Брессен не слышал больше ни слова. Потом засмеялся и ординатор. Брессен обрадовался, когда в палату ввалились двое солдат, ведя с собой третьего. Последний, судя по руке на перевязи, был из выздоравливающих.

— Файнхальс, — сказал ему ординатор, — отнесите

в машину портфель полковника. Чемодан отправим потом,— добавил он, обращаясь к санитарам.

— Так вы это всерьез?— спросил незнакомый врач.

— Вполне!

Тут Брессен почувствовал, что его подняли и понесли; дева Мария качнулась влево, белая стена надвинулась на него, потом выплыл переплет окна в коридоре; санитары развернули носилки, пронесли Брессена по коридору, снова повернули, и Брессен невольно зажмурился от яркого солнечного света. Он облегченно вздохнул, когда за его спиной захлопнулись наконец дверцы санитарной машины.

III

В германской армии было великое множество фельдфебелей — звездочек с их погон хватило бы на то, чтобы разукрасить своды какой-нибудь бездарной преисподней; было там и немало фельдфебелей по фамилии Шнейдер, а в их числе попадались и такие, которых при рождении нарекли именем Алоиз. Но лишь один фельдфебель Алоиз Шнейдер нес в те дни службу в венгерском местечке Сокархей — полудеревне, полукурорте. Стояло лето.

Шнейдеру отвели маленькую комнату, оклеенную желтыми обоями; снаружи на дверях висела розовая картонная табличка с надписью, выведенной черной тушью: «Фельдфебель Шнейдер. Выписка и отпуска». Шнейдер сидел за столом спиной к окну, и, когда не было работы, обычно вставал из-за стола и, повернувшись, бездумно смотрел на пыльный проселок. Направо дорога вела в деревню, налево, петляя между садами и кукурузными полями, уходила в «пусту» — бескрайнюю венгерскую степь. Делать Шнейдеру было почти нечего. В госпитале остались лишь тяжелораненные — всех сколько-нибудь «транспортабельных» больных эвакуировали, а ходячих выписали и, выдав им обмундирование и сухой паек, отправили на фронтовой пересыльный пункт. В окно Шнейдер мог смотреть часами. Духота на дворе была невыносимая — лучшим средством против такого климата Шнейдер считал абрикосовую водку, смешанную с сельтерской. Водка эта была в меру крепкая, очищенная и к тому же недорогая. Приятно было постепенно пьянеть, сидя у окна и

уоставившись на дороге или голубое небо. Но хмель приходил медленно, Шнейдер пил с остервенением, и даже по утрам ему приходилось поглощать изрядную порцию водки, прежде чем хмельная волна смывала обычное отупение. Он разработал целую систему: в первый стакан добавлял к сельтерской лишь самую малость водки, во второй — побольше, в третьем смешивал сельтерскую с водкой пополам, в четвертый не добавлял сельтерской, пятый снова шел половина на половину, шестой он пил, как второй, и седьмой был вновь почти без водки, как первый. На седьмом стакане он всегда останавливался. Всю эту процедуру Шнейдер успевал завершить к половине одиннадцатого и становился, как он говаривал, «яростно трезвым». Холодный огонь разливался по его жилам, и он был теперь в состоянии кое-как вытерпеть очередной идиотский день. На выписку больные приходили обычно не раньше одиннадцати, чаще всего в четверть двенадцатого, и в распоряжении Шнейдера всегда оставалось еще около часа. Он мог глядеть в окно на дорогу, по которой лишь изредка, вздымая клубы пыли, проезжала телега, запряженная парой тощих кляч; мог ловить мух или же мысленно вести беседы с кем-нибудь из начальства — тщательно продуманные немногословные диалоги, полные снисходительной иронии. Впрочем, случалось, что Шнейдер просто сортировал печати или раскладывал бумаги у себя на столе.

В то утро, в половине одиннадцатого, доктор Шмиц вошел в палату, куда поместили двух раненых офицеров, прооперированных им еще на рассвете. По левую руку от него лежал лейтенант Молль — двадцатилетний юнец с острым старушечьим лицом. Он еще не проснулся после наркоза и, казалось, ухмылялся во сне. Мухи роем кружились над его забинтованными руками и над головой, упакованной в заскорузлую от крови марлю. Шмиц попытался было отогнать мух, но, отчаявшись, махнул рукой и лишь натянул простыню на голову спящего. Потом, как всегда перед обходом, он надел отутюженный белый халат и, медленно застегнув его на все пуговицы, повернулся к другому раненому — капитану Бауэру. Тот как будто медленно выходил из наркотического оцепенения — он невнятно бормотал что-то, не открывая глаз и тщетно пытаясь

пошевелинуться: после операции его привязали к койке. Голова его тоже была перехвачена ремнями и притянута к спинке кровати — шевелились только губы, он бормотал не переставая, и временами казалось, что он вот-вот откроет глаза. Шмиц терпеливо ждал, засунув руки в карманы халата. В душевой палате стоял полумрак и слегка пахло навозом. Несмотря на плотно закрытые окна и двери, воздух кишел мухами. До войны подвалы этого дома служили зимними стойлами для скота.

Прерывистое, невнятное бормотание раненого обрело форму — теперь от раздвигал губы через равные промежутки времени и повторял какое-то слово. Шмиц никак не мог разобрать его и словно зачарованный стоял, вслушиваясь в этот непонятный поток звуков, в котором «е» и «о» чередовались с гортанными согласными. И тут капитан внезапно открыл глаза. «Бауэр», — громко произнес Шмиц, хотя и знал, что это бесполезно. Он склонился над койкой и несколько раз резко взмахнул рукой перед самыми глазами раненого. Рефлекса не последовало. Шмиц еще ближе поднес руку к лицу капитана, так близко, что коснулся его густых бровей. Но тот лишь беспрестанно повторял непонятное слово. Казалось, он смотрел в глубь своей души, но нельзя было понять, что он там видит. Вдруг он произнес это слово ясно, четко, как заученное, потом еще и еще раз. Шмиц низко склонился над койкой, приставив ухо почти к самым губам капитана. «Белогорша», — произнес Бауэр. Шмиц напряженно вслушивался — он никогда не слышал такого слова, не понимал, что оно значит, но слово нравилось ему, казалось загадочным и прекрасным. Стояла глубокая тишина — врач слышал дыхание раненого, смотрел в его невидящие глаза и каждый раз с напряжением ждал, пока он вновь повторит: «Белогорша». Шмиц посмотрел на часы — крохотный палец секундной стрелки еле-еле полз по циферблату. Ровно через пятьдесят секунд капитан вновь произнес: «Белогорша». Следующие пятьдесят секунд показались Шмицу целой вечностью. За окном послышался шум моторов, во двор госпиталя въехало несколько грузовиков. Из коридора донеслись голоса. Шмиц вспомнил вдруг, что начальник госпиталя просил заменить его сегодня на обходе. Во дворе снова загудел мотор. «Белогорша», — сказал Бауэр. Шмиц опять стал ждать. В дверях палаты появился фельдфебель. Он раскрыл было рот, но Шмиц

досадливо отмахнулся, не спуская глаз с секундной стрелки. Вот она наползла на цифру 30. «Белогорша», — сказал капитан. Шмиц шумно вздохнул.

— Что там у вас? — повернулся он к фельдфебелю.

— Пора начинать обход.

— Сейчас приду, — сказал Шмиц.

Посмотрев еще раз на часы, он прикрыл их рукавом халата в тот момент, когда капитан только что сомкнул губы, а секундная стрелка стояла на 20. Шмиц не сводил взгляда с губ больного. Как только они дрогнули, он потянул рукав халата и, услышав «Белогорша», быстро приоткрыл часы. Стрелка стояла точно на цифре 10.

Шмиц медленно вышел из палаты.

В этот день на выписку никто не явился. Подождав до четверти двенадцатого, Шнейдер отправился в буфет за сигаретами. Проходя по коридору, он задержался у окна: во дворе шофер поливал из шланга машину начальника госпиталя. «Стало быть, сегодня четверг», — мелькнуло в голове у Шнейдера. По четвергам шофер начальника всегда возился с машиной.

Корпуса, в которых разместили госпиталь, составляли незамкнутый четырехугольник, обращенный своей открытой стороной к железной дороге. В северном крыле здания было хирургическое отделение, в центре — канцелярия и рентгеновский кабинет, в южном крыле — кухня и жилые помещения для личного состава. Там же, в самом конце коридора, в шестикомнатной квартире жил с семьей директор сельскохозяйственного училища, которое находилось здесь до войны. Внутри прямоугольника, с его открытой стороны, был разбит обширный сад, где размещались душевая, конюшни и несколько опытных участков — аккуратные грядки разных злаков и овощей. Сад тянулся далеко, его плодовые деревья росли у самых путей. Иногда по дорожкам разъезжала верхом жена директора, вслед за ней, визжа от восторга, ехал на маленьком пони ее сын, шестилетний сорванец. После каждой такой прогулки директорша, молодая красавица, неизменно являлась с жалобой в канцелярию: она обнаружила в саду у навозной ямы неразорвавшийся снаряд, который, по ее мнению, мог в любой момент взорваться. Ей каждый раз обещали принять меры, но так ничего и не делали.

Шнейдер, стоя у окна, наблюдал за шофером начальника, который, как всегда, трудился с необычайным усердием. Хотя он водил одну и ту же машину уже два года и знал ее как свои пять пальцев, он все же, как положено по уставу, расстелил перед собой на ящике схему смазки, облачился в рабочий комбинезон и обставился множеством ведерок и канистр. Сиденья в низком лимузине начальника были обиты красной кожей.

— Четверг, подумать только, снова четверг,— пробормотал Шнейдер.— Если шофер начальника чистит машину, значит, четверг, можно не заглядывать в календарь.

Кивнув миловидной белокурой сестре, пробежавшей мимо него по коридору, Шнейдер направился в буфет. Но дверь была заперта.

Во двор въехали друг за другом два грузовика и остановились неподалеку от машины начальника. Шнейдер выглянул в окно; в эту минуту во дворе появилась знакомая тележка с фруктами. Девчонка-мадьярка, сидя на перевернутом ящике, держала вожжи. Осторожно лавируя между машинами, она направила тележку к кухне. Звали ее Сарка — каждую среду она привозила в госпиталь фрукты и овощи из какой-то окрестной деревушки. У госпитального интенданта было много поставщиков — фрукты закупали ежедневно. Но по средам приезжала только Сарка, Шнейдер знал это совершенно точно — уже не раз по средам около половины двенадцатого он прерывал работу и, стоя у окна, смотрел, как вдалеке, на аллее, ведущей к станции, показывалось знакомое облако пыли. Он ждал, пока из этого облака вынырнет лошадиная морда, потом передние колеса телеги и под конец хорошенькое личико Сарки с улыбочивым ртом. Шнейдер закурил свою последнюю сигарету и уселся на подоконник. «Сегодня я уж обязательно с ней познакомлюсь», — подумал он и тут же вспомнил, что каждую среду думал точно так же: сегодня я обязательно с ней познакомлюсь, но все оставалось по-старому. И все же сегодня он непременно с ней заговорит!

У Сарки была одна черта, которую Шнейдер вообще впервые для себя обнаружил только у здешних женщин. Раньше он видел этих мадьярских девчонок-степнячек лишь в кино — горячие, как огонь, они самоабвенно отплясывали свой чардаш. Но Сарка на них

не походила — спокойная, на вид как будто недотрога, она была на самом деле полна глубоко скрытой ласки. Она была ласкова со своей лошадкой и даже с фруктами и овощами в корзинах: со всеми этими абрикосами, помидорами, сливами, грушами, огурцами и красным перцем.

Вот ее пестрая тележка, благополучно миновав все грязные бидоны и ящики, подкатила к дверям кухни, и Сарка постучала в окно кнутовищем.

Обычно в эти часы в госпитале было тихо. Во время обхода воцарялась какая-то молчаливая настороженность. Повсюду было чисто прибрано, и неуловимая тревога расползалась по палатам. Но сегодня все были возбуждены, шумели, хлопали дверьми, раздавались громкие голоса.

Шнейдер слышал все это как бы краем уха — шум не доходил до его сознания. Докуривая свою последнюю сигарету, он видел в окно, как Сарка торговалась с поваром. Прежде торг с ней вел всегда интендант, то и дело пытавшийся ущипнуть ее за мягкое место. Но сегодня к ней вышел повар — фельдфебель Працки, тщедушный, немного суетливый, но очень дельный парень. Готовил он превосходно. Поговаривали, что женщины для него не существуют. Сарка втолковывала ему что-то и, судя по ее красноречивым жестам, требовала денег. Повар в ответ лишь пожимал плечами, тыкал пальцем в направлении главного корпуса, как раз туда, где сидел на подоконнике Шнейдер. Сарка повернулась и посмотрела, куда указывал повар, — почти в упор на Шнейдера. Фельдфебель спрыгнул с подоконника и в этот момент услышал, как кто-то зовет его: «Шнейдер! Шнейдер!» Потом голос на мгновение умолк, но тут же прозвучал снова: «Шнейдер! Фельдфебель Шнейдер!»

Шнейдер еще раз взглянул в окно: Сарка, взяв под уздцы свою лошаденку, направилась прямо к главному корпусу; шофер начальника, топчась в большой маслянистой луже, аккуратно складывал схему смазки. Шнейдер нехотя двинулся к канцелярии; по дороге туда он успел поразмыслить о многом: о том, что сегодня он непременно познакомится с Саркой, и о том, что эта неделя вообще какая-то путаная: ведь шофер никогда не чистил машину по средам, а Сарка никогда не приезжала по четвергам.

Из общей палаты, теперь почти опустевшей, на-

встречу ему вышла группа людей в белых халатах. Безмолвную процессию, состоявшую из палатных сестер, старшего фельдшера и санитаров, возглавлял на сей раз не начальник, а доктор Шмиц, младший ординатор в чине унтер-офицера. Приземистый, толстый Шмиц был на редкость молчалив и ничем не привлекал к себе внимания. Его холодные серые глаза смотрели жестко, и по временам, когда Шмиц опускал на мгновенье веки, казалось, что он вот-вот скажет что-то веское. Но Шмиц еще ни разу ничего такого не сказал. Подойдя к канцелярии, Шнейдер увидел, что обход окончен,— участники его стали расходиться. Доктор Шмиц направился к Шнейдеру; открыв двери канцелярии, Шнейдер пропустил врача вперед и сам вошел следом за ним.

Старший каптенармус, помощник начальника госпиталя, сидя за столом, говорил по телефону. На его широкой физиономии застыла брюзгливая гримаса.

— Никак нет, господин майор,— произнес он в тот момент, когда Шмиц и Шнейдер появились в дверях. В трубке послышался голос шефа. Каптенармус поднял глаза на вошедших, жестом предложил врачу сесть, улыбнулся Шнейдеру и, сказав: «Так точно, господин майор!»— повесил трубку.

— Ну что там стряслось?— спросил Шмиц.— Смаываем удочки?

Он развернул было газету, лежавшую перед ним на столе, но тут же снова сложил ее и заглянул через плечо писаря Файнхальса, склонившегося над листом бумаги. Он заметил, что Файнхальс чертит план местечка. «Полевой эвакуопункт Сокархей»— значилось на листе. Шмиц холодно взглянул на каптера.

— Да, да,— откликнулся тот,— эвакуируемся. Приказ уже получен.

Он пытался скрыть волнение, но Шнейдер уловил в его глазах какую-то пакостную дрожь. Да и руки у него тряслись.

Каптенармус окинул рассеянным взглядом зеленые раздвижные ящики, расставленные вдоль стен и служившие попеременно и шкафами, и письменными столами. Он так и не предложил Шнейдеру сесть.

— Файнхальс, одолжите сигарету. Сегодня же верну,— сказал Шнейдер.

Файнхальс встал, достал из кармана голубую пачку сигарет и протянул ее фельдфебелю. Шмиц тоже

потянулся за сигаретой. Все молчали. Шнейдер стоял, прислонясь к стене, и курил.

— Все ясно,—сказал он, ни к кому не обращаясь,— я, конечно, уйду последним с группой прикрытия. В былые времена, когда шли вперед, я всегда был квартирмейстером.

Каптер побагровел. Из-за стены доносился стук пишущей машинки. Зазвенел телефон. Он взял трубку, назвал ее, послушав с минуту, произнес: «Так точно, господин майор, приказ я пришлю вам на подпись».

— Файнхальс,—сказал он, положив трубку,— узнайте, готов ли приказ.

Шмиц и Шнейдер переглянулись. Врач снова развернул газету. «Процесс против изменников отечества начался»— прочел он заголовок и бросил газету обратно на стол.

Файнхальс вернулся в канцелярию в сопровождении старшего писаря, бледного, белобрысого унтера. Пальцы его пожелтели от табака.

— Оттен,—кликнул его Шнейдер,—открой еще разок буфет.

— Одну минуту,—раздраженно перебил каптер,— у меня есть к нему дела поважнее.— Он нетерпеливо барабанил по столу пальцами, пока Оттен раскладывал копии приказа и вытаскивал копирку. Приказ уместился на двух машинописных страничках и, казалось, состоял сплошь из фамилий исполнителей. Оттен отпечатал его с двумя копиями. Шнейдер все думал о девушке. Должно быть, она пошла к интенданту за деньгами. Он устроился у окна так, чтобы не терять из поля зрения ворота.

— Не забудь сигарет нам оставить,—бросил он Оттену.

— Прекратить разговоры,—рявкнул каптенармус. Он протянул Файнхальсу экземпляр приказа: «Отнесите начальнику на подпись». Файнхальс сколол листы скрепкой и вышел.

Каптенармус повернулся к Шнейдеру, но тот по-прежнему смотрел в окно. Близился полдень. На улице не было ни души. Напротив госпиталя тянулся обширный пустырь, на котором по средам собирался базар. Солнце заливало ярким светом грязные прилавки торговых рядов. «Значит, все-таки среда,—подумал Шнейдер и повернулся к каптенармусу, все еще державшему в руке копию приказа. Файнхальс,

успевший к тому времени возвратиться, стоял у двери.

— ...остаются здесь,— дошли до сознания Шнейдера слова каптенармуса.— Карту возьмете у Файнхальса. На сей раз все будем делать, как положено в боевой обстановке. Надо соблюсти формальности. Кстати, Шнейдер, возьмите-ка сейчас же людей, заберите со склада личное оружие и раздайте персоналу инфекционного отделения. Остальные уже в курсе дела.

— Оружие?— переспросил Шнейдер.— Это что, тоже формальность?

Каптер снова побагровел. Шмиц выудил очередную сигарету из пачки Файнхальса.

— Покажите мне список раненых, подлежащих эвакуации,— сказал он.— Начальник, видимо, сам выедет с первой партией?

— Да,— сказал каптенармус,— и список этот он сам составлял.

— Покажите его мне.

Каптер покраснел в третий раз. Он выдвинул ящик и, достав список, через стол протянул его врачу. Тот стал внимательно читать его, бормоча себе под нос каждую фамилию. В коридоре не стихал шум голосов. Все молча смотрели на Шмица и вздрогнули от неожиданности, когда он вдруг, с силой отшвырнув список, громко сказал:

— Капитан Бауэр и лейтенант Молль внесены. Это черт знает что! Любой студент вам скажет,— продолжал он, глядя в упор на каптенармуса,— что через полтора часа после сложной нейрохирургической операции больной еще нетранспортабелен!

Он снова взял список и щелкнул по нему пальцами.

— Чем грузить их в санитарную машину, лучше сразу пустить им пулю в лоб.

Шмиц обвел глазами всех находившихся в комнате.

— Ведь, наверно, еще вчера знали, что сегодня мы сматываемся, а? Почему же не отложили операцию? Почему, я вас спрашиваю?

— Приказ пришел только сегодня утром, еще и часу не прошло,— сказал каптенармус.

— Да что там приказ,— махнул рукой Шмиц. Бросив список на стол, он повернулся к Шнейдеру и

сказал: — Все ясно, пойдете, — и уже за дверями добавил: — Вы прослушали, когда он зачитывал приказ. Группу прикрытия в этот раз возглавляю я. Мы еще обговорим это.

Шмиц повернулся и быстро зашагал к кабинету начальника, а Шнейдер уныло поплелся к себе.

По дороге он смотрел в каждое окно и видел, что тележка Сарки все еще стоит у дверей. Весь двор заполнили грузовики и санитарные машины, в самой гуще их стоял лимузин начальника. Погрузка уже началась, и Шнейдер заметил, что из кухни понесли к одному из грузовиков корзины с только что закупленными фруктами, а шофер начальника поволок к своей машине большой, обитый жестью ящик. В коридорах было столпотворение. Пробившись наконец к себе, Шнейдер быстро подошел к шкафу, выплеснул в стакан остаток водки из бутылки и долил туда немного сельтерской. Не успел он выпить, как во дворе глухо застучал первый заведенный мотор. Со стаканом в руке Шнейдер вышел в коридор и встал у окна: по шуму мотора он сразу узнал машину начальника. У нее был хороший мотор; Шнейдер, правда, ничего не смыслил в моторах, но знал, что такой мотор не подведет. Тут он увидел и самого начальника госпиталя, спешившего к своей машине, — он шел без вещей, в кепи, надетом слегка набекрень. Он выглядел как всегда, только его выхоленная физиономия, обычно бледная, с нежным малиновым румянцем, сегодня густо пунцовела. Вообще шеф был красавец мужчина, высокий, статный, к тому же отличный наездник. Каждое утро ровно в шесть часов он выезжал на верховую прогулку и, помахивая ременной плетью, пускал коня в галоп; его фигура, равномерно уменьшаясь, таяла в бескрайней степи, казавшейся сплошным горизонтом. Но сегодня шеф был красный, как вареный рак. Таким Шнейдер видел его лишь однажды — в тот день, когда Шмицу удалась сложная операция, на которую сам шеф не отважился.

Шмиц сейчас шел рядом с начальником. Он был совершенно спокоен, а шеф возбужденно размахивал руками... Но в этот миг Шнейдер увидел в глубине коридора Сарку — она шла прямо к нему. Девушка, как видно, растерялась в общей суматохе и тщетно искала кого-нибудь, кто мог бы уделить ей внимание. Подойдя к Шнейдеру, она что-то сказала ему по-вен-

герски. Он ничего не понял и жестом пригласил девушку к себе в комнату. Как раз в эту минуту лимузин начальника тронулся с места и вся автоколонна медленно поползла следом за ним.

Судя по всему, девушка решила, что Шнейдер — помощник интенданта. Она не обратила внимания на пододвинутый ей стул, и, когда Шнейдер сам присел на край стола, подошла к нему и затараторила что-то, оживленно жестикулируя. Шнейдеру это было как нельзя более кстати, он мог смотреть на девушку, не вникая в смысл ее слов: по-венгерски он все равно не понимал. Сарка все говорила, а он молча глядел на нее. Ей не мешало бы слегка пополнеть, слишком уж она молода, совсем еще подросток с неразвившейся грудью. Но ее нежное личико было безупречно. Затаив дыхание, Шнейдер каждый раз ждал, когда она снова на мгновение умолкнет, опустив глаза, и ее длинные ресницы коснутся загорелых щек. Несколько секунд она стояла так, плотно сомкнув алые, пожалуй, несколько тонкие губы, и потом вновь начинала говорить. Шнейдер разглядел девушку во всех подробностях — он немного переоценил ее, бесспорно, но все же она была просто очаровательна, и вдруг он, словно защищаясь, прикрыл лицо руками и закачал головой. Сарка сразу умолкла и посмотрела на него, недоверчиво и настороженно.

— Я хочу поцеловать тебя, слышишь? — негромко сказал Шнейдер.

Он и сам не знал, действительно ли он все еще хочет этого, но когда девушка зарделась и ее смуглая кожа стала медленно заливаться пылающим румянцем, ему стало стыдно, и он увидел, что хоть она не поняла его слов, смысл их был ей ясен. Когда фельдфебель прыгнул со стола, Сарка мгновенно отпрянула в сторону. И увидев, как в глазах ее плеснулся страх, как трепещет на ее худенькой шее голубоватая жилка, Шнейдер окончательно убедился, что девушка еще слишком молода. Он остановился, покачал головой и тихо сказал:

— Прости меня. Забудь! Понимаешь?

Но взгляд ее стал еще тревожней, и Шнейдер вдруг испугался, что она закричит. Теперь казалось, она совсем ничего не понимала. Тогда Шнейдер, тяжело вздохнув, подошел к ней, осторожно взял ее маленькие руки и поднес к губам. Пальцы у нее были грязные, — в нос Шнейдеру ударил смешанный запах лука, чеснока и чернозема, —

но он все же прикоснулся к ним губами и через силу улыбнулся. Окончательно сбитая с толку, девушка растерянно смотрела на Шнейдера, пока он не сказал, слегка хлопнув ее по плечу: «Ну, пойдем, надо же тебе деньги получить?» Но лишь когда он подкрепил свои слова убедительным жестом, губы ее дрогнули в улыбке и она вышла следом за ним из комнаты.

В коридоре он сразу же столкнулся со Шмицем и Оттенем.

— Вы куда? — спросил врач.

— Да вот интенданта ищем. Девчонке надо заплатить за фрукты.

— Ищи ветра в поле, — сказал Шмиц, — интендант еще вечером укатил в Солнок. Там он будет ждать наших квартирьеров.

Шмиц на миг опустил глаза, потом снова посмотрел на стоявших рядом мужчин. Наступило молчание. Сарка выжидающе поглядывала то на врача, то на фельд-фебеля.

— Оттен, — произнес наконец Шмиц, — соберите людей во дворе. Надо разгрузить последнюю машину, а то ведь нам и корки хлеба не оставили!

Врач выглянул в окно; на опустевшем дворе одиноко стоял последний грузовик.

— А с девушкой как же быть? — осведомился Шнейдер.

Шмиц пожал плечами.

— Денег у меня нет!

— Может, ей завтра утром зайти?

Шмиц посмотрел на Сарку. Та улыбнулась ему.

— Пусть уж лучше сегодня после обеда заглянет.

Оттен побежал по коридору, крича во все горло: «Группа прикрытия, строиться!»

Шмиц вышел во двор и остановился у грузовика. Шнейдер проводил Сарку к ее тележке. Он долго пытался втолковать ей, чтобы она заехала еще раз после обеда, но девушка только упрямо качала головой, и он понял, что без денег Сарка не уедет. Он все еще не решался уйти. А Сарка уже взобралась на телегу, перевернула ящик, служивший ей козлами, и достала большой коричневый сверток. Потом, подвесив лошади мешок с овсом, она развернула свой пакет и извлекла оттуда краюху хлеба, большую котлету, пучок лука и принялась за еду, запивая ее вином из толстой зеленой бутылки. Теперь она непринужденно улыбнулась

Шнейдеру и сказала вдруг с набитым ртом: «Надьварад», ткнув при этом несколько раз сжатым кулачком в воздух прямо перед собой и состроив испуганную гримасу. Шнейдер решил, что она изображает схватку боксеров или просто возмущается тем, что ее надули. Что такое «Надьварад», он не знал. Экая тарабарщина этот венгерский язык, ни одного знакомого слова — даже табак они называют как-то по-своему.

Девушка озабоченно покачала головой.

— Надьварад, Надьварад, — выразительно повторила она и снова ткнула кулачком в воздух прямо перед собой, словно отталкивая от себя кого-то. Она тряхнула головой, рассмеялась и стала поспешно есть, прихлебывая вино из бутылки.

— Надьварад — рус! — произнесла она некоторое время спустя и повторила свой жест, на этот раз неторопливо и широко размахнувшись. — Рус, рус! — И, показав рукой на юго-восток, Сарка для пущей убедительности забормотала: «Бру, бру, бру», — подражая лязгу приближающихся танков.

Шнейдер вдруг понял и закивал головой, а Сарка звонко рассмеялась, но тут же умолкла, и личико ее сделалось очень серьезным. Шнейдеру теперь было ясно, что Надьварад — это какой-то город поблизости, а жест девушки не вызывал больше сомнений. Он обернулся и посмотрел в глубину двора, туда, где разгружали одинокий грузовик. Шмиц стоял у кабины водителя и подписывал какие-то бумаги.

— Доктор, — позвал фельдфебель, — сделайте одолжение, подойдите на минутку сюда!

Шмиц кивнул.

Девушка между тем покончила с едой, аккуратно завернула в бумагу остатки хлеба и лука и закупорила бутылку.

— Принести вам воды — лошадь напоить? — спросил Шнейдер.

Сарка посмотрела на него непонимающим взглядом.

— Воды, воды — лошадь поить! — сказал он, слегка нагнувшись и пытаясь изобразить пьющую лошадь.

— О йо, — откликнулась Сарка. Глаза ее засветились вдруг каким-то странным ласковым любопытством.

Грузовик тронулся с места и поехал к воротам. Шмиц подошел к фельдфебелю. Они молча смотрели вслед грузовику. Снаружи к воротам подъехала новая

автоколонна. Машины остановились, пропуская шедший навстречу грузовик.

— Что там у вас? — спросил Шмиц.

— Она говорит, что русские прорвались у какого-то города, название которого начинается все с того же «Надь».

— Знаю, — отмахнулся Шмиц, — на наших картах этот город называется Гроссвардейн.

— Откуда же вы об этом знаете?

— Слышал ночью по радио.

— Далеко это отсюда?

Шмиц задумчиво смотрел на грузовики, друг за другом въезжавшие во двор.

— Что значит далеко? — вздохнул он. — Теперь на войне нет дальних расстояний — километров сто будет. Кстати, может быть, мы расплатимся с девушкой сигаретами? Прямо сейчас?

Шнейдер поглядел на врача и почувствовал, что краснеет.

— Погодите немного, пусть она еще побудет здесь!

— Дело ваше, — сказал Шмиц и, повернувшись, направился к южному крылу здания...

Он вошел в палату Бауэра как раз в тот момент, когда капитан глухо и негромко произнес: «Белогорша». Шмиц знал, что проверять по часам паузы между одним и другим «Белогорша» нет смысла, — наоборот, по этим интервалам можно проверить любые часы. Присев на край кровати, он механически перелистывал историю болезни и, почти убаюканный звуками этого вновь и вновь повторявшегося слова, мучительно размышлял над тем, как мог возникнуть в искаленном мозгу раненого этот странный ритм, какой непостижимый механизм действовал в этом проломленном и грубо залатанном черепе, заставляя его через равные промежутки времени беспрестанно и монотонно твердить одно и то же слово. А что же происходило в мозгу больного в течение тех пятидесятисекундных интервалов, когда он только дышал и не видел, не слышал, не говорил? Шмиц не знал о нем почти ничего. Много ли узнаешь из истории болезни? Фамилия — Бауэр; время и место рождения — март 1895 года, город Вупперталь. Чин — капитан. Род войск — пехота. Вероисповедание — лютеранин. Гражданская профессия — коммерсант. Что там еще? Местожителство, какой части, прежние ранения, перенесенные заболевания, характер полученного ране-

ния. В жизни этого человека и впрямь не было ничего примечательного. В школе он не блистал ни успехами, ни прилежанием. Впрочем, на второй год он остался только в одном классе, а в его аттестате зрелости было даже три хороших оценки — по географии, гимнастике и английскому языку. На войну он идти не хотел, но пришлось, и в 1915 году он, сам того не желая, был произведен в лейтенанты. Он всегда не прочь был выпить, но знал меру. Поздней он женился и потом за всю жизнь так и не набрался духу, чтобы хоть раз изменить своей благоверной. Даже тогда не мог, когда соблазнительная интрижка напрашивалась сама собой. Не мог, и все тут — совесть не позволяла.

Шмиц чувствовал, что все сведения в истории болезни капитана для него, Шмица, пустой звук, пока он не узнает, почему этот человек повторяет без конца свое «Белогорша» и что кроется за этим словом, но в то же время он отлично понимал, что этого ему никогда не узнать, даже если он просидит здесь целую вечность. И все же он готов был сидеть без конца и снова и снова с нетерпением ждать, когда прозвучит голос раненого.

Шмиц напряженно вслушивался в окружающую его тишину. Вот бултыхнулась в нее, словно камень в воду, «Белогорша» капитана, потом еще и еще раз. Но тишина была сильнее — бездонная, гнетущая тишина. Шмиц медленно встал и тяжело, словно через силу, пошел к двери.

Когда врач ушел, Сарка как-то застенчиво поглядела на Шнейдера и потом вдруг проворным жестом поднесла к губам воображаемый стакан. «Ах, да, лошадь напоить надо!» — спохватился Шнейдер и быстро зашагал к дому. По дороге его чуть не сбила машина, он еле успел отскочить — элегантный темно-красный лимузин, только что въехавший во двор, шел, правда, не очень быстро, но все же гораздо быстрее, чем положено ездить во дворе госпиталя. Ловко прошмыгнув среди стоявших санитарных фургонов, лимузин покатил в глубину двора — к квартире директора училища.

На обратном пути Шнейдеру с полным ведром в руках тоже пришлось отскочить в сторону. На этот раз за его спиной тронулись, беспрестанно сигналив,

госпитальные машины. В кабине головного грузовика восседал каптенармус — он даже не удостоил Шнейдера взглядом. Шнейдер переждал, пока мимо него прошла длинная автоколонна, и направился к тележке Сарки. На опустевший двор обрушилась давящая тишина. Шнейдер подставил лошаденке ведро с водой и взглянул на девушку. Та указала ему на Шмица, который шел от южного крыла здания. Пройдя мимо них, врач остановился у ворот. Они подошли к нему и все трое долго смотрели вслед грузовикам, удалявшимся в сторону вокзала.

— Знаете, двое санитаров из инфекционного все-таки приволокли оружие, — тихо сказал Шмиц.

— В самом деле? Я и забыл о нем, — отозвался Шнейдер.

Шмиц покачал головой.

— Будьте уверены, оно нам не понадобится. Еще чего не хватало! Пойдемте разберемся. — И, поглядев на девушку, добавил: — Пожалуй, расплатимся с ней сигаретами, пока есть время. Кто знает, как там дальше получится!

Шнейдер кивнул.

— Они, что же, ни одной машины нам не оставили? Мы-то сами как будем отсюда выбираться? — спросил он.

— За нами придет машина, начальник обещал прислать.

Они переглянулись.

— Смотрите-ка, беженцы едут, — сказал врач и махнул рукой в сторону деревни, откуда тянулся длинный обоз.

Телеги медленно проезжали мимо них, усталые, удрученные люди не смотрели в их сторону. Казалось, они вовсе не видят ни обоих военных, ни девушки.

— Они идут издалека, — добавил Шмиц, — поглядите, лошади еле тащатся. Все это ни к чему — таким аллюром от войны не уйдешь.

За их спиной просигналила машина — гудок был резкий, раздраженный, словно грубый окрик. Они медленно разошлись в стороны: врач — налево, Шнейдер с девушкой — направо. Директорский лимузин протиснулся между ними к воротам, но ему тут же пришлось затормозить: он чуть не врезался в одну из телег. Они ясно видели сидевших в машине, словно в кино из первого ряда, когда от экрана мучительно

болят глаза. За рулем сидел сам директор училища — его резко очерченное, но отнюдь не энергичное лицо будто окаменело. Рядом с ним громоздились узлы и чемоданы, накрепко привязанные к сиденью. Сзади сидела его красавица жена, тоже неподвижная, как изваяние. Казалось, они твердо решили не смотреть по сторонам. На коленях женщина держала грудного младенца, а старший ее сын — шестилетний мальчуган — сидел рядом с ней, смотрел в окно как ни в чем не бывало, прижав к стеклу свое живое, быстроглазое лицо, и улыбался военным. Лишь несколько минут спустя директорский лимузин поехал дальше: лошади беженцев были измотаны и где-то, далеко впереди, на дороге образовалась пробка. Врач и Шнейдер видели, что директору за рулем явно не по себе, пот лил с него градом, он щурился, нервно мигал. Жена, перегнувшись через сиденье, что-то прошептала ему на ухо. Вокруг было тихо, лишь изредка раздавались голоса беженцев да слышался детский плач. Тут внезапно кто-то хрипло завопил во дворе. Не успели они оглянуться, как мимо пролетел камень, брошенный в машину, но угодил он лишь в палатку, притороченную к крыше. Второй камень оставил глубокую вмятину в кастрюле, привязанной поверх палатки. Глядя на машину, можно было подумать, что директор с семьей отправляется на загородную прогулку. Человек, с воплями бежавший по двору за машиной, был директорский дворник — он жил в двух комнатах при душевой. Он подбежал к самым воротам. С такого близкого расстояния он бы не промахнулся, но у него под рукой не оказалось камня. Крича и ругаясь, дворник наклонился и стал шарить по земле, но в этот момент телега, преграждавшая путь, проехала, и лимузин, надменно просигналив, тронулся с места. Вслед ему просвистел в воздухе цветочный горшок, но было уже поздно, горшок шлепнулся туда, где только что стояла машина, — на дорожку, аккуратно выложенную мелким голубоватым булыжником. Горшок раскололся — осколки его разлетелись и легли до странности правильным кругом, — в центре круга в земле, еще сохранившей прежнюю форму, невинно алел цветок герани. Потом осыпалась и земля, безжалостно обнажив корни цветка.

Дворник остановился между врачом и фельдфебелем; теперь он не кричал и не ругался, а плакал, по

его грязному лицу катились крупные слезы. На него смешно и жалко было смотреть: он стоял согнувшись, судорожно ломая руки; засаленная старая куртка болталась на его плечах, как на вешалке. Но вот из глубины двора донесся женский голос; дворник вздрогнул, повернулся и, все еще плача, поплелся к себе. Посмотрев ему вслед, Сарка тоже пошла к своей тележке. Шнейдер протянул было к ней руки, но она увернулась. Взяв под уздцы лошаденку, она подвела ее к воротам, взобралась на свой ящик и натянула вожжи.

— Пойдите, задержите ее на минутку,— воскликнул вдруг Шмиц,— я сбегаю за сигаретами.

Шнейдер взял лошадь под уздцы, Сарка больно хлестнула его кнутом по руке, но он не выпустил поводья. Оглянувшись, он, к изумлению своему, увидел, что Шмиц действительно побежал со всех ног. Шнейдер раньше не мог даже представить его себе бегущим.

Сарка снова замахнулась кнутом, но на этот раз не ударила Шнейдера, а положила кнут рядом с собой на ящик и вдруг улыбнулась ему своей обычной ласковой, но холодноватой улыбкой; изумленный, он подошел совсем близко к тележке, обхватил девушку за талию, осторожно приподнял и поставил на землю рядом с собой. Сарка что-то негромко крикнула своей лошади. Когда Шнейдер прижал девушку к себе, она не вырывалась, но как и прежде, робко и беспокойно глядела по сторонам. Под аркой ворот было полутемно — Шнейдер нежно поцеловал девушку в смуглые щеки, в нос, потом, слегка пригнув ей голову, приподнял завесу черных, прямых волос и поцеловал еще раз в шею у затылка. Тут он вздрогнул, заслышав позади себя шум шагов: Шмиц подошел к тележке и бросил в нее принесенные сигареты. Девушка быстро подняла голову и, заглянув в тележку, увидела лежавшие там красные пачки. Шмиц, не посмотрев в сторону Шнейдера, повернулся и пошел прочь. Сарка покраснела и как-то странно взглянула на Шнейдера: в лицо, но мимо его взгляда, куда-то в висок, потом резко и коротко крикнула что-то своей лошадке и, высвободившись из объятий Шнейдера, снова взобралась на телегу и взяла вожжи. Шнейдер не стал ее больше удерживать. И только когда она отъехала шагов на пятьдесят, он громко окликнул ее. Сарка вздрогнула, но

не обернулась и лишь прощальным жестом подняла над головой кнут. Шнейдер медленно направился к дому.

Семь человек — «группа прикрытия» — сидели за столом в опустевшей госпитальной кухне. Перед каждым дымился котелок с супом и лежало по толстому ломтю хлеба с вареным мясом. Подойдя к ним, Шнейдер насторожился — из глубины дома доносились тяжелые глухие удары.

— Это дворник квартиру директорскую заколачивает, — пояснил Файнхальс и, помолчав, добавил: — Зря старается. Сломают дверь потом — только и всего!

Шмиц в сопровождении четырех санитаров пошел по госпиталю — собирать все оставшееся имущество на тот случай, если за ними приедет грузовик. Шнейдер остался на кухне с Оттенем и Файнхальсом.

— Хорошенькую мне работенку дали, — сказал Оттен.

Файнхальс хлебнул абрикосовой водки из фляжки, потом вытащил из кармана несколько пачек сигарет и протянул их Шнейдеру. Тот благодарно кивнул.

— Мне приказали, — упрямо продолжал Оттен, — утопить в навозной яме наш пулемет, автоматы и прочий хлам, который у нас имеется. В яме, знаете, там, где лежит этот чертов снаряд. Пойдемте, Файнхальс, поможете мне.

— Сейчас! — отозвался Файнхальс, не вставая с места, и, обмакнув черенок ложки в коричневую лужицу супа, расползавшуюся по столу, стал вычерчивать на столе замысловатые узоры.

— Да пойдемте же! — сказал Оттен.

Мгновение спустя Шнейдер крепко заснул, уронив голову на крышку котелка. Перед ним на краю стола дымилась недокуренная сигарета, пепел из нее выползал, словно из тюбика, огонь въедался в бумагу, оставляя на столе узкий черный след. Минут через пять сигарета догорела до основания и от нее остался лишь серый столбик пепла. Этот столбик долго еще лежал, прилипший к столу, пока, почти час спустя, Шнейдер не проснулся и не смахнул его рукавом, сам того не заметив. Его разбудил шум въехавшего во двор грузовика. Почти одновременно все они услышали и далекий гул танковых моторов. Шнейдер вскочил как ужаленный, все кругом засмеялись, но смех

застрял у них в горле — слишком уж красноречив был этот дальний рокот.

— Скажи пожалуйста, — удивился Шмиц, — прислали ведь машину! Файнхальс, полезайте на крышу — посмотрите, не видно ли там чего!

Файнхальс направился к южному крылу здания. Дворник, высунувшись из окна директорской спальни, не сводил глаз с солдат. В квартире позвякивала посуда — должно быть, дворничиха пересчитывала хозяйский хрусталь.

— Давайте, ребята, погрузим всю рухлядь, что осталась.

Водитель грузовика, усталый, небритый солдат, сердито отмахнулся.

— Бросьте вы все это дерьмо, и полезайте скорей сами. — Он взял пачку сигарет, лежавшую на столе, надорвал ее и жадно закурил.

— Грузите, — повторил Шмиц, — все равно надо подождать, пока Файнхальс вернется.

Водитель пожал плечами, уселся за стол, плеснул себе из кастрюли супу в котелок Шнейдера и стал хлебать. Остальные принялись грузить в машину все, что еще оставалось в доме: несколько матрасов, забытый багаж какого-то офицера — большой ящик с нестершейся еще черной надписью: «Обер-лейтенант Грэк», переносную печурку, несколько солдатских ранцев, вещевых мешков и винтовок. Под конец в кузов швырнули кипу больничного белья: бязевых рубах, кальсон, носков и меховых безрукавок.

Файнхальс закричал сверху, высунув голову из чердачного оконца:

— Ничего отсюда не видно. Тополя весь обзор загораживают. Зато слышно хорошо. Вы их слышите?

— Слышим, слышим, — откликнулся Шмиц. — Слезайте скорей!

— Иду!

Голова Файнхальса исчезла из круглого оконца.

— Надо кому-нибудь к путям сбегать. На насыпь, — сказал Шмиц, — оттуда наверняка все видно.

— Ну к чему это? — вмешался водитель. — И от туда еще не видно.

— А вы-то откуда знаете?

— Слышу! По звуку слышу, что их еще не видать. К тому же они идут с двух сторон — в клещи берут! Он махнул рукой на юго-восток, и все действитель-

но услышали, что рокот доносится и оттуда,— казалось, водитель, словно чародей, вызвал его из тишины.

— Черт возьми, что же нам делать? — произнес Шмиц.

— Сматываться,— буркнул водитель.

Он отошел в сторонку и, выразительно покачивая головой, смотрел, как солдаты в довершение всего втаскивают в кузов кухонный стол и скамью, на которой он только что сидел. Из дверей здания во двор выбежал Файнхальс.

— Там в палате больной один кричит,— сказал он.

— Поезжайте,— сказал Шмиц,— я останусь с больным.

Стоявшие у грузовика помялись, но потом все, кроме водителя, двинулись следом за врачом. Шмиц, повернувшись к ним, спокойно повторил:

— Поезжайте. Я все равно не могу бросить раненых.

Люди остановились в нерешительности, но минуту спустя снова потянулись за Шмицем.

— Да поезжайте же, черт вас возьми,— взорвался врач.— Поживей. Иначе не уйдете! В этой чертовой степи танки ходят на полной скорости!

На этот раз они остановились и больше уже не пошли за ним.

Один лишь Шнейдер, подождав, пока Шмиц скроется в дверях, медленно зашагал за ним следом.

Остальные поплелись назад, к машине. Но Файнхальс, поколебавшись немного, направился к дому. В дверях он нагнал Шнейдера.

— Что вам оставить? — спросил он.— Мы ведь все уже погрузили.

— Хлеба, несколько банок консервов и сигарет, разумеется!

Дверь в палату распахнулась. Файнхальс заглянул туда и удивленно вскрикнул:

— Бог ты мой, это же наш капитан!

— Вы его знаете? — спросил Шмиц.

— Да,— сказал Файнхальс,— я полдня воевал в его батальоне!

— А где это было, не помните?

— Не знаю, как называлась эта деревня.

— Ну ладно! А теперь не валяйте дурака и катитесь,— повысил голос Шмиц.

— До скорой встречи,— сказал Файнхальс и вышел.

— А вы чего остались? — спросил Шмиц у фельдфебеля.

Шнейдер промолчал, но врач, видимо, и не ждал ответа. Оба они прислушивались: со двора донесся шум отъезжающего грузовика. Вот он стал глуше — машина въехала под арку ворот. Потом по слабеющему стуку мотора они поняли, что грузовик уже подъехал к вокзалу. Они слышали его еще некоторое время, пока наконец он не замер где-то вдали. Не слышно было больше и гула танковых моторов. Зато теперь до них долетел грохот оружейных выстрелов.

— Тяжелые зенитки бьют,— определил Шмиц,— надо бы пройти к насыпи, посмотреть, что творится.

— Я сейчас схожу,— отозвался Шнейдер.

«Белогорша»,— раздался в палате голос капитана. На этот раз он произнес свое слово почти механически, и в то же время им показалось, что голос его радостно дрогнул. Шнейдер взглянул на раненого — подбородок его зарос густой черной щетиной, головы почти не было видно под бинтами. Фельдфебель перевел глаза на врача. Тот пожал плечами: «Безнадежное дело! Даже если выкарабкается, выздоровеет, то и тогда...»

«Белогорша»,— снова сказал капитан и вдруг беззвучно заплакал. Выражение его лица не изменилось, только слезы текли из широко открытых, невидящих глаз. Но и сквозь слезы он продолжал все так же монотонно повторять: «Белогорша».

— Его дело передано в военно-полевой суд — членовредительство,— сказал Шмиц.— Он был капитаном, ехал на передовую, был без каски, потом его выбросило на полном ходу из коляски мотоцикла.

— Пойду-ка я к насыпи,— сказал Шнейдер.— Может быть, хоть оттуда что-нибудь увижу. Доктор, если наши еще будут проходить мимо, я уйду с ними. Так что...— Шмиц молча кивнул.

«Белогорша»,— произнес капитан.

Выйдя во двор, Шнейдер увидел, что дворник вывесил в окне директорской спальни красный флаг, до смешного маленький клочок красной материи, на котором были нашиты неуклюже вырезанные желтый серп и белый молот. Он услышал гул, снова доносившийся с юго-востока. Стрельба утихла. Шнейдер про-

шел мимо опытных делянок и остановился, лишь подойдя к навозной яме,— взгляд его упал на лежавший у ямы снаряд. Этот неразорвавшийся снаряд валялся здесь уже давно. Несколько месяцев тому назад эсэсовские части, наступавшие со стороны вокзала, вели здесь бой с венгерской группой Сопротивления, которая засела в здании училища. Бой, как видно, был недолгим — на фасаде здания почти не осталось следов обстрела. И только неразорвавшийся снаряд — длинный проржавевший стальной карандаш — напоминал о происшедшем. На первый взгляд, он смахивал на полусгнивший кусок дерева и был почти не виден в высокой траве. Но жена директора все же углядела его; она осыпала госпитальное начальство жалобами. По этим жалобам писали докладные наверх, испрашивали указаний, но снаряд так и остался лежать у навозной ямы.

Подойдя к снаряду, Шнейдер замедлил шаги. Он увидел в траве следы сапог: Оттен и Файнхальс совсем еще недавно приволокли сюда пулемет и швырнули его в яму. Но навоз в яме успел уже вновь подернуться гладкой ядовито-зеленой пленкой. Шнейдер миновал грядки, молодые деревья питомника и, пройдя через лужайку, вскарабкался на железнодорожную насыпь. Насыпь была не выше полутора метров, но Шнейдеру показалось в этот миг, что он взобрался на высокую вершину. Налево от путей, где простиралась бескрайняя степь, он ничего не увидел. Зато гул доносился сюда более явственно. Он ждал, что вот-вот прозвучат где-нибудь поблизости выстрелы. Но стрельбы не было слышно. Нарастающий гул шел оттуда, где исчезали за горизонтом железнодорожные пути. Шнейдер сел на насыпь и стал ждать. По правую руку от него лежала притихшая, словно вымершая деревня — крохотные домики, утопающие в зелени, четырехугольная колокольня церквушки. Деревня казалась очень маленькой, ибо по ту сторону железнодорожного полотна не было ни единого строения. Шнейдер сел на землю и закурил...

А в палате доктор Шмиц все еще сидел, склонившись над капитаном, который по-прежнему повторял: «Белогорша». Снова и снова. Раненый не плакал больше. Его темные глаза были устремлены в одну

точку, и он без усталости твердил «Белогорша», будто тянул какую-то монотонную грустную мелодию, которая казалась Шмицу чарующей. Слово это врач готов был слушать без конца. Другой больной еще не просыпался после наркоза.

Фамилия человека, повторявшего «Белогорша», была Бауэр. Капитан Бауэр до войны был коммивояжером трикотажной фирмы, еще раньше — студентом, а в юности он почти четыре года прослужил лейтенантом. Позже, когда он стал коммивояжером, ему тоже пришлось не сладко. Он рыскал в поисках людей с лишними деньгами, но лишних денег, как на грех, почти ни у кого не было. Во всяком случае, у его возможных клиентов, которым он рассчитывал всучить свои второсортные свитера, деньги вообще не водились. Не повезло ему с этими свитерами: на дорогие всегда найдется покупатель, дешевые — тоже, в общем, нетрудно сбыть. Но вот поди-ка продай второсортные свитера. Их брали очень редко... Получить комиссию на дорогие или на совсем дешевые свитера ему никак не удавалось: такое счастье всегда выпадало людям, которые вовсе в этом не нуждались. Пятнадцать лет подряд Бауэр сбывал эти проклятые второсортные свитера. Первые двенадцать лет его коммерческой деятельности были годами непрерывной унижительной и беспощадной борьбы за существование. Он обивал пороги бесчисленных магазинов и квартир. Жизнь изрядно помотала его. Недаром так быстро состарилась его жена. Когда они познакомились, ей было двадцать три года, ему — двадцать шесть. Тогда он еще учился в университете и не упускал случая выпить, а жена — стройная хрупкая блондинка — совсем не могла пить и хмелела от первой рюмки. Но она была женщина тихая, кроткая, никогда не возражала ему, даже тогда, когда он бросил университет и стал коммивояжером. Он не раз удивлялся, до чего же он живуч: подумать только, двенадцать лет сбывать эти никому не нужные свитера. И не в меньшей степени удивляло его долготерпение жены. Потом три года кряду дела его медленно, но верно шли в гору, на пятнадцатом году наконец привалило счастье. Он получил комиссию и на дорогие, и на самые дешевые свитера, однако второсортные тоже оставили за ним. Теперь он преуспевал — за него бегали другие, а он сидел до-

ма, заключал сделки, звонил по телефону. В подчинении у него был уже целый штат — управляющий складом, бухгалтер, машинистка. Завелись и деньги, но вот жена — она всегда была хрупкая, а за эти годы у нее случилось пять выкидышей, — заболела раком матки. Врачи не ошиблись в диагнозе. Да к тому же вся эта благодать со свитерами длилась всего четыре месяца. Потом началась война.

«Белогорша», — сказал капитан.

Шмиц смотрел на него, не отрывая взгляда. Ему очень хотелось узнать, что происходит сейчас в мозгу капитана. Чего бы он только не дал, чтобы понять до конца, чем жил и о чем думал этот человек, с полным и в то же время заострившимся лицом, по которому под черной щетиной разлилась уже смертная белизна. Невидящие глаза больного, казалось, тихо шептали «Белогорша» — губы его уже почти не шевелились. И тут он снова заплакал, и слезы беззвучно покатались по его небритым щекам.

Нет, капитан Бауэр не годился в герои. Но он был исправный офицер и очень расстроился, когда подполковник накричал на него по телефону и ядовито спросил, кто, собственно говоря, будет командовать «навозником» — так был закодирован батальон Бауэра. На его участке творилось что-то неладное, и капитану самому пришлось выехать на передовую да еще нахлобучить на голову каску, в которой он выглядел совершенно уморительно. Нет, Бауэр не был героем, никогда не претендовал на это, да и сам отлично знал, что в герои он не годится.

Но, подъезжая на мотоцикле к передовой, он снял каску — он не хотел выглядеть комично; в каске он просто не смог бы орать на своих людей — а ведь без этого не обойдешься. Держа каску на коленях, он сидел в коляске мотоцикла и думал: «Придется расхлебывать эту кашу. Ничего не поделаешь». Все ближе был грохот боя, все ближе эта чертова кутерьма на передовой, — но капитан больше не испытывал страха.

«Черт бы их всех побрал, — думал он, — знают же они, что никто тут не поможет, — ни я, ни другой. Танков нет и маловато артиллерии. К чему же горло драть, спрашивается? Все офицеры в полку знают, что на сей раз сняли с передовой непомерно много танков и артиллерии для прикрытия штабов. Эх, дерьмо!» Так думал капитан, даже не подозревая, что он и есть по-

настоящему храбрый человек. Но тут мотоцикл перевернулся, капитану раскроило череп, и вот теперь вся жизнь, еще теплившаяся в нем, умещалась в единственном слове: «Белогорша». Но этого было достаточно, чтобы сохранить ему дар речи до последней секунды. В этом слове заключался для него целый мир, никому не ведомый и недостижимый уже ни для кого.

Капитан, разумеется, не знал, что дело по обвинению его в «умышленном членовредительстве» передано в военно-полевой суд. Ему ставили в вину, что он в боевой обстановке да еще сидя в коляске мотоцикла, шедшего на полной скорости, снял с головы каску. Но узнать все это было ему уже не суждено. Зря завели в суде дело на капитана Бауэра — дело с номером и различными показаниями и заключениями. Не узнает он об этом деле. Ему уже теперь никто не судья. Он лежит без сознания и повторяет через каждые пятьдесят секунд: «Белогорша».

Шмиц не сводил с него глаз. Он и сам согласился бы впасть в безумие, только бы узнать, что творится сейчас в мозгу больного. И в то же время он завидовал ему.

Он испуганно вздрогнул, когда в дверях появился Шнейдер.

— Ну как? — спросил Шмиц.

— Подходят. Они уже здесь. Ни одна наша часть так и не прошла через деревню.

До тех пор Шмиц ничего не слышал, но после слов фельдфебеля до него сразу донесся грозный гул. Сомнений не было. Слева входили в деревню русские танки. Только сейчас Шмиц понял слова, недавно сказанные шофером: «По звуку знаю, что их еще не видно». Вот теперь, напротив, по звуку чувствовалось, что их уже можно различить невооруженным глазом, что они — рядом!

— Позабыли мы с вами белый флаг с красным крестом вывесить. Попытка — не пытка, — сказал Шмиц.

— Это и сейчас не поздно, — заметил Шнейдер.

— Вот возьмите. — Шмиц порывлся в своем чемоданчике, стоявшем на столе, вытащил оттуда флаг и протянул его Шнейдеру.

— Пойдемте вместе, — сказал тот.

Оба вышли из палаты. В коридоре Шнейдер высунул было голову в окно, но тотчас отпрянул к стене. Лицо его побелело.

— Вон они стоят! У насыпи! — сказал он.

— Я пойду к ним, — сказал врач.

Шнейдер отрицательно мотнул головой. Высоко подняв над головой флаг с красным крестом, он вышел во двор, свернул направо и двинулся прямо к насыпи. Кругом царила мертвая тишина. Танки неподвижно стояли на околице села. Стволы их орудий были наведены на здание училища — никаких других построек до самых путей здесь не было. Но Шнейдер не видел ни танков, ни насыпи — перед глазами его плыл туман. На ходу он подумал о том, что с прижатым к животу флагом выглядит совершенно нелепо — словно линейный на параде, и в то же время он чувствовал, что сердце толчками гонит по его жилам сгустки страха, что весь он превратился в комок страха. Он шел, словно робот, медленно, прямо, не глядя по сторонам и судорожно прижимая к животу белый флаг. Так он шел, пока не споткнулся о проволочную ограду одной из опытных делянок. Шнейдер словно очнулся, туман перед его глазами рассеялся, и он сразу увидел все. За насыпью стояли два танка — башня головной машины медленно повернулась в его сторону, и длинный палец орудия уставился прямо на Шнейдера. Выйдя из-за деревьев, он обнаружил, что танков было много. Они стояли в боевых порядках, выстроившись в длинные шеренги. На их броне Шнейдер впервые в жизни увидел красные звезды — огромные, чужие, устрашающие. Вот он уже у навозной ямы, остается пройти еще мимо нескольких грядок, через молодую поросль питомника и, миновав лужайку, вскарабкаться на насыпь. Но, дойдя до навозной ямы, Шнейдер словно прирос к месту: он почувствовал прилив неодолимого страха. В самом начале пути он еще не понимал, что такое страх, он ощущал только, что кровь леденеет в жилах. Но теперь кровь словно кипела, бешено билась, стучала в виски, а перед глазами, заслонив все остальное, будто кровавая завеса, стояли огромные красные звезды. Не помня себя от ужаса, Шнейдер шагнул вперед, наступил на снаряд у края ямы, и снаряд разорвался.

Оглушительный грохот потряс тишину. Потом на миг все замерло снова. Но русские знали точно лишь одно — стреляли не они: человек, шедший к ним с белым флагом, внезапно превратился в клубящийся дым. И спустя несколько секунд танки открыли по усадьбе ураганный огонь. Перестроившись, они развернули башни и засы-

пали градом снарядов сначала южное крыло, потом центральную часть здания и северное крыло, где из директорского окна свисал крохотный красный флажок, заготовленный дворником. Флажок упал на землю, в щебень и штукатурку, осыпавшуюся со стен. Под конец русские снова перенесли огонь на южное крыло и били туда особенно долго и яростно. Полагая, что настигли отходящего противника, они изрешетили снарядами кирпичный фасад. И лишь после того, как здание накренилось и рухнуло, они заметили, что с той стороны не раздалось ни единого ответного выстрела.

IV

От всего базара осталось лишь два ярких пятна — зеленое — груда огурцов на прилавке и оранжевое — абрикосы. Да еще посреди площади, как всегда, торчали качели. Краска на полосатых красно-синих столбах потрескалась, облупилась, покрылась слоем грязи. Качели напоминали старый корабль, который стоит на приколе в гавани, терпеливо дожидаясь, пока его отправят на слом. Дощатые лодки неподвижно и прямо висели на толстых канатах. Рядом с качелями — фургон, оборудованный под жилье. Из трубы на его крыше валил густой дым.

Цветные пятна таяли, становились все меньше и меньше. Груда огурцов, напоминавшая мозаику, в которой переплетались самые разнообразные оттенки зеленого цвета — от яркого до водянистого, — уменьшалась довольно быстро. Ober-лейтенант Грэк еще издали видел, как двое грузили огурцы на телегу. У женщины, торговавшей абрикосами, дело шло куда медленней. Ей никто не помогал, она осторожно брала по одному спелые плоды и укладывала их в корзину. Абрикосы — не огурцы, их и подавить недолго.

Грэк замедлил шаг. «В случае чего — отпираться! — билась в мозгу неотвязная мысль. — Это — единственный выход. Единственный! Дело расстрелом пахнет — тут не до благородства». Впрочем, в глубине души Грэк был убежден, что все обойдется. «Но до чего же много еще здесь евреев, — думал он, — просто поразительно».

Грэк шел к базару по тихой улочке, мимо приземистых домиков и чахлах деревьев. Мостовая была вся в выбоинах; он то и дело спотыкался, но не замечал

этого. Вне себя от волнения, он почти бежал. Только бы уйти подальше от этого проклятого места. Только бы не попасться кому-нибудь на глаза. Тогда, пожалуй, все обойдется благополучно и не будет нужды отпираться. Он пошел быстрее, еще быстрее.

Грэк подошел уже к самой базарной площади. Огурцов на прилавке больше не было — груженная телега прогромыхла мимо Грэка. Но аккуратная торговка абрикосами все еще укладывала свой товар в корзины. Гора абрикосов перед ней не уменьшилась и наполовину.

Грэк посмотрел на качели. Ни разу в жизни он еще не катался на таких качелях. В детстве ему ни о чем подобном не приходилось и мечтать: во-первых, потому что он был болезненным ребенком, а во-вторых, его родители считали, что мальчику не подобает так вот, на глазах у всех раскачиваться, словно обезьяна на ветке. До сих пор Грэк еще ни разу не совершал недозволенных поступков, а вот сегодня впервые в жизни преступил запрет, да еще какой. С первого же раза выкинул номер, который мог стоить ему головы. Грэк тщетно попытался сглотнуть противный ком в горле, и быстрым, но неверным шагом прошел через опустевший рынок к качелям. Труба на крыше фургона задымила еще сильнее. «Угля подбросили в печку,— мелькнуло у него в голове,— нет, скорее, дров». Он не знал, решительно не знал, чем они растапливают печь, эти мадьяры. Впрочем, это было ему совершенно безразлично. Он постучал в дверь фургона. На стук вышел белокурый мужчина, голый по пояс. Его широкая физиономия заросла щетиной — если бы не тонкий хрящеватый нос да черные глаза, он мог бы сойти за голландца.

— Чего надо? — спросил он по-немецки.

Грэк почувствовал вдруг, что липкий пот течет у него прямо по губам. Облизнув губы и проведя ладонью по лицу, он выдавил:

— Покататься хочу. На качелях!

Мадьяр недоуменно прищурился, но потом молча кивнул. Он беспрестанно ворочал языком во рту, не размыкая губ. Из-за плеча хозяина показалась потная физиономия его жены. Она была в одной рубашке, широкие бордовые бретельки местами потемнели от пота. В одной руке женщина сжимала деревянный половник, другой поддерживала ухватившегося за ее шею замурзанного малыша. У женщины — жгучей брюнетки — вид был сумрачный, недобрый. Должно быть, он пока-

зался этим людям подозрительным. У Грэка пропало всякое желание кататься на качелях, но в этот момент мадьяр управился наконец со своим неподатливым языком и произнес:

— Извольте. И охота вам, в такую жару? — Он спустился по приставной лесенке и пошел к качелям. Грэк, пропустив его вперед, последовал за ним. От фургона до качелей было рукой подать.

— Сколько с меня? — смущенно спросил обер-лейтенант. «Решили, верно, что я рехнулся», — подумал он. Пот, ливший с него ручьями, и впрямь мог свести с ума. Грэк утер лицо рукавом и по деревянным ступеням взошел на подмости качелей. Мадьяр отпустил тормозной рычаг, и лодка медленно закачалась из стороны в сторону.

— Только не раскачивайтесь слишком высоко, — сказал мадьяр. — Иначе мне отойти нельзя — смотреть надо. Такое правило. — Грэк передернулся — акцент мадьяра резал ему ухо, он выговаривал немецкие слова мягко, в то же время тягуче и пренебрежительно цедя их сквозь зубы. Казалось, что он говорит на каком-то странном языке, карикатурно похожем на немецкий.

— Нет, нет, не беспокойтесь! Ступайте, — сказал Грэк. — Да, сколько я вам должен?

Мадьяр пожал плечами:

— Одного пенгё хватит.

Грэк сунул ему в руку свой последний пенгё и осторожно взобрался на качели. Лодка оказалась шире, чем он предполагал. Грэк сразу почувствовал себя уверенно и без труда начал осваивать нехитрую технику катания, которую столько раз наблюдал со стороны. Он крепко ухватился за канаты, но тут же разжал пальцы и поспешно смахнул с лица набегавший пот. Потом, крепко взявшись за канаты, Грэк согнул колени, подавшись вперед, снова выпрямился, снова согнул колени — и был приятно удивлен, обнаружив, что лодка начала качаться вместе с ним. Все оказалось очень просто: нужно лишь подладиться к заданному ритму — вовремя сгибать колени, не тормозить качели. Лодка пойдет вперед — откидывайся назад, выпрямив колени; качнется назад — падай вперед, не выпуская каната из рук. Вот и все. Это было чудесно.

Грэк заметил, что мадьяр все еще не ушел, и раздраженно крикнул: «Ну что вы там? Ступайте!» Тот покачал головой и не двинулся с места. Грэк больше

не обращал на него внимания: он вдруг понял, что катание на качелях, без которого он до сих пор обходился, — весьма существенный элемент человеческого существования. Нет, это в самом деле восхитительно! Свежий ветерок, летевший навстречу качелям, осушил пот на его лице, охладил тело. Каждый толчок словно вливал в него новые силы. Да и весь мир кругом теперь то и дело менялся у него на глазах. Только что перед ним было лишь дно лодки, плохо пригнанные грязные доски с широкими щелями, но вот качели описали полукруг — и открылось бездонное небо.

— Эй, осторожней, тише! — закричал внизу мадьяр. — Остановитесь. — Он дернул рычаг, и какая-то мягкая, но непреодолимая сила остановила качели.

— Да убирайтесь же вы! — крикнул Грэк. Но мадьяр снова покачал головой. Тогда Грэк опять быстро раскачал свою лодку. До чего же хорошо — вот лодка отходит назад, словно разбегается, и один миг ты вишишь в воздухе, параллельно земле, а перед глазами — грязные доски, граница твоего мира. Но вот рванулась, понеслась вперед лодка, и ты уже топаешь по небу, и небо над тобой синее, безбрежное, будто ты лежишь на лугу и смотришь вверх. Но только тут оно ближе, куда ближе. А по сторонам и смотреть не стоит.

Вот слева торговка все еще укладывает в корзину свои абрикосы, кажется, они у нее никогда не кончатся! А справа торчит этот мадьяр — белокурый толстяк, и следит, чтобы ты качался по правилам. Время от времени в поле зрения врывается несколько домишек, чтобы тут же исчезнуть снова. Фуражка слетела у него с головы.

«Отпираться, — снова вспомнил он, как только разгон качелей стал слабеть, — поверят мне, а не ему. Никому и в голову не придет, что я способен на такие вещи. Ведь я на хорошем счету. Они, правда, считают, что проку от меня мало — хотя бы уж из-за большого желудка. Но по-своему они относятся ко мне неплохо и никогда не поверят, что я мог пойти на это».

Страх, правда, не проходил, но вместе с тем Грэк испытывал и некоторую гордость. Хорошо, что он не постеснялся влезть на эти качели. Надо будет маме об этом написать. Впрочем, нет, лучше не стоит. Мать не сумеет оценить это по достоинству. Что бы ни случилось — держи себя в руках, — таков ее девиз. Ей никогда не понять, как это ее сын, обер-лейтенант, док-

тор Грэк, мог в полуденный зной на грязной базарной площади венгерского городка кататься на качелях, да еще на виду у прохожих. Грэк ясно представил себе, как мать недовольно покачивает головой. Нет у нее чувства юмора, что с ней поделаешь! Да что там качели, знала бы она о том, что он перед этим выкинул. Боже милостивый! Против воли обер-лейтенант вспомнил, как он раздевался в каморке у этого еврея-портного; воздух там был спертый, повсюду валялись лоскуты материи, на стенах висели незаконченные костюмы с бортовкой, пришитой на живую нитку. Тут же на столе огромная до отвращения миска с салатом, в котором барахтались утопающие мухи. Грэка тогда чуть не стошнило, и сейчас снова рот его наполнился омерзительно-липкой слюной. Он почувствовал, что бледнеет. Господи, какая же гадость во рту! До боли ясно Грэк запомнил, как стягивал штаны, надетые поверх другой пары, как прятал деньги, как поспешно вышел из лавки и как глядел ему вслед старик портной, обнажая в ухмылке беззубые десны.

Грэк пошатнулся и чуть не выпал из качелей. Все вдруг поплыло у него перед глазами.

— Стой! — заорал он. — Останови!

Мадьяр рванул тормозной рычаг — Грэк почувствовал сразу несколько резких ритмичных толчков, и качели остановились. Чувствуя, что он выглядит смешно и жалко, обер-лейтенант осторожно сошел с качелей и, зайдя за помост, долго отплевывался. Желудок, правда, успокоился, но отвратительный привкус во рту не исчезал. Вдобавок у него кружилась голова; он присел на ступеньки помоста и закрыл глаза. И тотчас же перед глазами вновь замелькали качели — вверх-вниз, вверх-вниз; тошнота опять подкатила к горлу, Грэк сплюнул. Долго еще все ходило ходуном у него перед глазами. Потом он встал, поднял с земли фуражку. Мадьяр стоял рядом и равнодушно на него поглядывал. Подошла его жена — Грэк поразился, до чего она миниатюрна, — крохотное существо с черными как смоль волосами и иссохшим лицом. В руках она держала кружку с каким-то питьем. Белокурый мадьяр взял кружку и протянул ее Грэку.

— Выпейте, — сказал он равнодушно. Грэк покачал головой. — Выпейте, выпейте, — повторил мадьяр, — вам станет легче!

Грэк поднес кружку к губам. Питье было горькое,

но, выпив, он действительно почувствовал облегчение. Он пил, а хозяин с женой, улыбаясь, глядели на него. Но улыбались они отнюдь не из сочувствия или симпатии к Грэку,— просто привыкли улыбаться в подобных случаях.

— Большое спасибо,— сказал Грэк, отдавая кружку, и полез было в карман, но тут же вспомнил, что мелочь у него вся вышла, и осталась лишь эта злосчастная крупная купюра. Он растерянно пожал плечами и почувствовал, что краснеет.

— Ничего,— сказал мадьяр,— ничего, не беспокойтесь.

— Хайль Гитлер,— Грэк поднял руку. Мадьяр лишь молча кивнул.

Грэк пошел прочь, не оглядываясь. Он снова вспотел — пот, казалось, кипел в его порах, заливая кожу.

На другом конце базарной площади была пивная. Грэк направился туда — ему захотелось умыться.

Воздух в пивной был спертый, затхлый, и в то же время на него неожиданно пахнуло холодом.

Почти все столики пустовали. Грэк сразу заметил, что хозяин, возившийся за стойкой, первым делом бросил взгляд на его ордена. Его холодный взгляд — не враждебный, но холодный,— не потеплел. Грэк огляделся — в углу налево сидела какая-то пара. На столе перед ними, среди грязных тарелок, стояли графин с вином, пивная бутылка. Грэк сел напротив, в правом углу, лицом к окну. Ему стало легче. Он посмотрел на часы — ровно час. Увольнительную в госпитале ему дали до шести. Хозяин выбрался из-за стойки и медленно направился к нему. Пока он шел, Грэк раздумывал, что бы заказать. Вообще говоря, ему ничего не хотелось. Только умыться. К спиртному он был равнодушен, да и переносил его плохо. Мать недаром считала, что пить ему противопоказано, так же как и кататься на качелях. Подошедший тем временем хозяин вновь метнул взгляд на ордена Грэка над левым карманом кителя.

— День добрый! — сказал хозяин.— Что подать?

— Кофе,— ответил Грэк,— у вас есть кофе?

Хозяин кивнул. Кивок был не менее красноречив, чем взгляд, скользнувший над левым карманом кителя, и означал, что и ордена и слово «кофе» в устах Грэка говорят сами за себя.

— И выпить чего-нибудь,— поспешил добавить тот.

— А чего? — отозвался хозяин.

— Абрикосовой.

Хозяин побрел назад к стойке. Он был очень толст. Штаны пузыряем вздулись на его необъятном заду. Шел он, шаркая шлепанцами, надетыми на босу ногу.

«Хлев! — решил Грэк. — Австрийские порядки!»

Он снова посмотрел на влюбленных, сидевших напротив. Мухи густым роем облепили стоявшие на столе фаянсовые салатницы с жухлой зеленью и грязные тарелки с объедками — косточками от отбивных и остатками гарнира. «Гадость какая», — подумал Грэк и отвернулся.

В пивную, робко озираясь, вошел солдат. Увидев Грэка, он взял под козырек, потом направился к стойке. У этого и вовсе не было орденов, но все же хозяин поглядел на него доброжелательно. «Считает, наверное, что мне, как офицеру, положено больше крестов, — раздраженно подумал Грэк, — красивых крестов — золотых, серебряных. Они словно дети, эти мадьяры, им бы побрякушек побольше. Черт их знает, может, они по внешнему виду судят обо мне — высок, белокур, выправка хорошая — значит, изволь носить ордена. Будь оно все проклято. И без того тошно!»

Грэк устался в окно. Женщина у прилавка укладывала в корзину последние абрикосы. И тут его вдруг осенило: фрукты! Вот чего бы он съел. Фрукты всегда шли ему на пользу. Помнится, мама в детстве часто покупала ему фрукты, летом, когда они дешевели. А здесь фрукты дешевые, да и деньги у него есть. Надо бы купить фруктов!

Но, подумав о деньгах, Грэк сразу запнулся — мысли его словно оборвались. И снова пот покатил с него градом. Да ничего не случится, черт возьми, а если и выплывет что, он будет начисто отпираться. Ну, в самом деле, кто поверит этому паршивому еврею, что он, обер-лейтенант Грэк, продал ему свои штаны? Никто не поверит, конечно, а если и обнаружится все же, что штаны действительно его, то он скажет, что стацили, мол, или еще что-нибудь в этом роде. Да и кто станет на все это время терять! Почему попасться должен именно он? Кстати сказать, это дело со штанами открыло ему глаза: все что-нибудь сбывают с рук — и офицеры и солдаты. Понятно, почему не хватает горючего в танковых частях и почему не выдают солдатам зимнее обмундирование. А ведь он, если уж на то пошло, штаны продал не казенные, а свои собственные, сши-

тые им на свой счет у Грунка, у портного Грунка в городе Кёльшде.

Откуда все они берут деньги? У всех офицеров полны карманы мадьярских пенгё. Вот хотя бы его сосед по палате — этот наглый мальчишка-лейтенант; после обеда ест пирожные, под вечер хлещет виски — настоящее, шотландское, а ночами шляется по бабам. На одно жалованье так и дня не проживешь! И сигареты курит не какие-нибудь, а всегда хорошие и только одного сорта, такие теперь недешево стоят.

«Черт возьми, — думал Грэк, — каким же я был дураком. И всегда я в дураках — со своей порядочностью и принципами. А люди живут — не теряются».

Хозяин поставил перед ним кофе и рюмку водки.

— Может, закусить желаете? — спросил он.

— Нет, спасибо.

Кофе издавал какой-то странный, незнакомый аромат. Грэк отхлебнул немного — эрзац, конечно, никакой крепости, но на вкус приятный. Зато водка — жидкий огонь. Онпил ее с наслаждением, медленно, мелкими глотками. Да, да, спиртное для него — все равно что лекарство. Только так он и может пить.

Абрикосовое пятно на базарной площади исчезло. Грэк вскочил из-за стола и ринулся к двери.

— Минутку, — крикнул он на бегу хозяину, — я сейчас.

Тележка с абрикосами тем временем медленно катилась через площадь. Поравнявшись с качелями, торговка взмахнула кнутом, и ее лошаденка затрусилась рысцой. Грэк нагнал ее уже за площадью, на повороте. Он окликнул торговку, и она придержала лошадь. Теперь Грэк разглядел ее вблизи — немолодая крупная женщина, до сих пор еще привлекательная, на загорелом лице ни единой морщинки. Грэк подошел вплотную к телеге.

— Продайте мне абрикосов, — сказал он.

Женщина поглядела на него с какой-то холодноватой улыбкой. Потом, повернувшись к своим корзинам, спросила низким грудным голосом: «Есть куда класть?» Грэк отрицательно покачал головой. Она перелезла через козлы в телегу. Грэк наблюдал за ней: его поразили ее ноги — стройные, по-молодому упругие. При виде отборных спелых абрикосов у него буквально потекли слюнки. Хороши! «Эх, маме бы послать таких. А здесь их с базара непроданными везут. Да и огурцы тоже».

Грэк взял один абрикос из корзины и стал есть — на вкус плод был терпкий и в то же время очень сладкий. Немного перезрели абрикосы и тепловаты, но все равно хороши.

— Чудесно, — сказал он.

Женщина вновь улыбнулась ему. Она взяла несколько листов бумаги, ловко свернула фунтик и стала осторожно, даже бережно укладывать туда абрикосы. При этом она странно поглядывала на Грэка. Потом спросила:

— Хватит?

Он кивнул. Тогда она стянула концы бумаги и, закрутив их, подала ему пакет. Он вытащил из кармана свою злосчастную купюру.

— Пожалуйста, — сказал он. Глаза женщины округлились. «Ого!» — сказала она, закачав головой, но купюру все же взяла и при этом на какой-то миг, без причины, задержала его руку в своей, крепко обхватив запястье там, где обычно проверяют пульс. Потом, зажав в губах банкнот, она извлекла из-под юбки кошелек.

— Спрячьте сначала бумажку, — негромко, но поспешно сказал Грэк, — спрячьте, понимаете? — Он опасно посмотрел по сторонам. Улица была оживленная, вон даже трамвай прогромыхал мимо. Эта большая красная купюра каждому бросилась бы в глаза. — Уберите же ее. Скорей! — прошипел Грэк и резким движением вырвал бумажку у нее изо рта.

Торговка закусила нижнюю губу — то ли от гнева, то ли от сдерживаемого смеха. В сердцах Грэк схватил второй абрикос и, надкусив его, стал ждать. На лбу у него проступили крупные капли пота. Фунтик из бумаги получился ненадежный, и Грэк держал его обеими руками, боясь рассыпать абрикосы. А старуха, как нарочно, копается. Может быть, уйти, не заплатив? Куда там! Крик поднимет, народ сбежится. Они ведь наши союзники — венгры. Неудобно...

Грэк, вздохнув, переступил с ноги на ногу. В дверях пивной показался солдат — не тот, которого Грэк видел у стойки, другой. У этого было целых три ордена да еще какой-то шеврон на рукаве. Пройдя мимо оберлейтенанта, солдат козырнул, и Грэк ответил ему кивком.

По улице вновь прошел трамвай, на сей раз с другой стороны. Прохожих становилось все больше — они валили толпой. Из-за дощатого полуразвалившегося за-

бора за спиной Грэка донеслись монотонные звуки шарманки — мадьяр на площади пустил качели.

Торговка вытягивала из кошелька бумажку за бумажкой, разглаживала их, укладывала стопкой. Потом бумажки кончились, и в ход пошла разменная монета. Несколько блестящих никелевых столбиков появилось на козлах телеги. Кончив считать, она взяла у Грэка из рук красную ассигнацию и передала ему сначала бумажные деньги, потом пододвинула и никелевые столбики.

— Девяносто восемь, — сказала она. Грэк хотел было уйти, но тут женщина неожиданно обхватила кисть его руки. Ладонь у нее была широкая, горячая и совершенно сухая. Приблизив к нему лицо, она прошептала с улыбкой:

— Девочек надо? Хорошие есть девочки.

— Нет, нет, не надо, спасибо, — поспешно пробормотал Грэк.

Торговка проворно вытащила из-под широкой юбки исписанный клочок бумаги.

— Вот возьмите. — Грэк сунул бумажку вместе с деньгами в карман. Женщина тронула с места лошаденку, а Грэк, осторожно придерживая свой ненадежный пакет, пошел назад в пивную.

На столе влюбленной пары все еще стояла грязная посуда. Станный народ: кругом черно от мух, в бокалах, в тарелках, повсюду, а этот юнец, бурно жестикулируя, что-то шепчет своей девице. Хозяин снова подошел к Грэку. Тот положил пакет с абрикосами на свой столик и спросил:

— Где бы здесь умыться? — Хозяин выпучил глаза. — Умыться! — раздраженно повторил Грэк. — Черт, неужели непонятно? — И он со злостью потер ладони друг о друга. Хозяин вдруг закивал, повернулся и знаками пригласил Грэка идти за ним. Грэк прошел за хозяином в глубину пивной, толстяк предупредительно раздвинул зеленую штору, и глядел он теперь на Грэка как-то по-иному, вопрошающе. Пройдя по узкому коридору, они подошли к дверям туалета.

— Пожалуйста, — сказал хозяин, толкнув дверь. Грэк изумился — в уборной все сверкало чистотой. Унитазы были снизу тщательно зацементированы, двери кабин выбелены, а над умывальником висело полотенце. Хозяин тем временем принес кусок зеленого армейского мыла. — Пожалуйста, — повторил он и вы-

шел. Грэк сначала растерялся. Он повертел в руках полотенце, даже понюхал его — как будто чистое. Потом, сбросив мундир, старательно намылил лицо, шею, затылок. Смыв пену, он заколебался — не умыться ли до пояса, но потом вновь натянул мундир и еще раз намылил руки.

Двери скрипнули — в уборную вошел солдат, тот, первый, без орденов. Грэк, посторонившись, пропустил его к унитазу, потом застегнул на все пуговицы мундир, взял мыло и вышел. Подойдя к стойке, он отдал хозяйну мыло, поблагодарил и вновь уселся за столик.

На лице хозяина появилось прежнее жесткое выражение. Грэк обратил внимание на то, что солдат что-то долго не возвращается в зал. Парочки уже не было, но гора грязной посуды все еще громоздилась на столе напротив. Грэк допил остывший кофе, пригубил водку и принялся за абрикосы. Вначале он с жадностью поглощал сочную душистую мякоть. Но, съев подряд шесть штук, он передернулся от внезапного отвращения. Тепловатые они какие-то. Он потянулся к рюмке, но и водка была слишком теплая. Хозяин за стойкой клевал носом, не выпуская изо рта сигареты. Потом в пивную ввалился еще один солдат. Этого хозяин, как видно, знал, они сразу стали о чем-то перешептываться. Солдат взял кружку пива. У него был крест «За военные заслуги». В зал вернулся наконец первый солдат; рассчитавшись у стойки, он пошел к выходу. У дверей он козырнул, и Грэк кивнул в ответ. Солдат, пришедший последним, скрылся за зеленой шторой.

С улицы от качелей доносились звуки шарманки. Буйная и в то же время певучая мелодия навевала тоску.

Грэк вдруг загрустил. Не забыть ему теперь эти качели. Славно было! Жаль только, что затошнило под конец. На улице стало шумно, напротив павильона с мороженым толпился народ, зато табачный магазин рядом опустел.

Из-за зеленой шторы в углу вышла девушка. Хозяин тотчас же кинул быстрый взгляд на Грэка. Девушка тоже посмотрела на него. В зеленоватом душном полумраке обер-лейтенант не мог ее толком разглядеть: красное платье казалось бесцветным. Он ясно видел лишь набеленное лицо девушки с ярко окрашенными губами. Выражение лица он никак не мог уловить — она слегка улыбалась как будто, но Грэк

не был в этом уверен — слишком уж расплывчатыми казались ее черты. В вытянутой руке она сжимала де-нежную купюру, держа ее прямо перед собой, — так ребенок несет цветок или палку. Хозяин передал ей бутылку вина и несколько сигарет, не сводя при этом глаз с Грэка. На девушку он даже не взглянул и не перекинулся с ней ни единым словом. Грэк извлек из кармана скомканные купюры, выудил клочок с адре-сом, который дала ему торговка. Бумажку он положил перед собой на стол, а деньги снова сунул в карман. Чувствуя на себе цепкий взгляд хозяина, он поднял глаза и тут же заметил, что и девушка смотрит на него. Ну конечно же, на него. Она стояла с длинной зеленой бутылкой в руке, небрежно зажав между пальцами другой руки несколько сигарет. Они были ей как-то к лицу — эти чистые белые трубочки. В полу-мраке пивной Грэк различал лишь ярко-белое лицо девушки с темным пятном губ да безжизненную бе-лизну сигарет. Мимолетная улыбка в последний раз скользнула по лицу девушки, и она, отдернув штору, скрылась в темноте. Теперь хозяин словно приклеил к Грэку свой тяжелый взгляд. Его и без того недоб-рое лицо приняло угрожающее выражение. Грэк со-дрогнулся. Каторжник! Такой убьет и глазом не моргнет. Ему захотелось поскорей уйти отсюда. За окном надрывалась шарманка, еще один трамвай проскре-жетал мимо. Непривычная, глубокая грусть вдруг сжала сердце. Абрикосы лежали перед ним на сто-ле — теперь они казались ему омерзительными, эти дрябрые плоды, налитые тепловатым соком. Мухи об-лепили пустую чашку из-под кофе, но Грэк не отгонял их. Он вдруг резко встал и сказал хозяину:

— Подайте счет! — Он сказал это громче, чем сле-довало, почти крикнул — чтобы подбодрить себя. Хо-зяин быстро зашаркал к его столу, и Грэк вынул деньги из кармана.

Мухи медленно поползли со всех сторон на абри-косы. Грэк посмотрел на мерзкие розоватые плоды, облепленные мухами, словно угрями, и его чуть не выр-вало при мысли о том, что он еще недавно ел их. «Три пенге», — сказал хозяин. Грэк расплатился. Хозяин посмотрел на недопитую рюмку водки, потом снова на грудь Грэка и, наконец, на записку, лежавшую на столе. Грэк потянулся было за ней, но опоздал: записка была уже в руках хозяина. На его бледной, отечной физио-

номии появилась поганая ухмылка. Адрес, написанный на клочке бумаги, был его собственный. Хозяин ухмыльнулся еще пакостней. Грэка снова прошиб пот.

— Пожалуй, записка вам больше не нужна? — спросил хозяин.

— Нет! — ответил Грэк, поднимаясь. — До свидания.

На ходу он вдруг вспомнил, что забыл сказать «Хайль Гитлер», и уже в дверях произнес: «Хайль Гитлер!» — уже стоя в дверях. Хозяин не ответил. Обернувшись в последний раз, Грэк увидел, как он со злостью выплеснул прямо на пол недопитую водку из его рюмки. Абрикосы густо розовели на столе, словно рваные раны на смуглом теле...

Выйдя из пивной, Грэк облегченно вздохнул и быстро зашагал по улице. Возвращаться в госпиталь раньше положенного срока ему не хотелось. Засмеет ведь этот наглый мальчишка-лейтенант. Если бы не эта мысль, Грэк немедленно вернулся бы в палату и с наслаждением растянулся бы на постели. Он проголодался и не прочь был бы перекусить поосновательней, но при одной мысли о еде ему сразу же представились омерзительно-розовые абрикосы, и к горлу вновь подкатила тошнота. Грэк вспомнил о женщине, у которой он провел сегодня все утро, — он пошел к ней прямо из госпиталя. Ему вдруг показалось, что на шее его вспыхнули следы ее заученных поцелуев. И тут он сразу понял, почему абрикосы ни с того ни с сего вызвали у него тошноту — на ней была рубашка абрикосового цвета, на этой бабенке. Она слегка вспотела в постели, и тело у нее стало тепловатое, липкое; черт его дернул в такую жару с утра идти к бабе. Но вообще говоря, он лишь следовал давнему совету отца — спать с женщиной не реже одного раза в месяц. А бабенка, кстати сказать, была вовсе не дурна, маленькая, ладная. Ночью бы к ней прийти! Грэк отдал ей свои последние деньги, а она сразу смекнула, зачем он напялил на себя две пары штанов. Посмеявшись, она назвала ему адрес одного еврея-портного, который покупает такие вещи...

Грэк замедлил шаги. Он чувствовал, что ему становится плохо. Надо было вовремя поесть по-человечески. А теперь уже поздно — теперь он до утра ничего в рот взять не сможет. Какая гадость все это — и баба, и грязный еврей, и даже качели. Правда, качели были

еще ничего, но все равно гадость. Все, все мерзко — и абрикосы, и хозяин, и солдаты у стойки.

Только девушка из пивной ему приглянулась. Хорошенькая девчонка. Жаль, нельзя ему два раза в день к женщинам ходить — здоровье не позволяет. На нее посмотреть было приятно, когда она стояла там, у зеленой шторы, и ее лицо ярко белело в полумраке. Но, впрочем, это все издали. А подойдешь поближе — и от этой несет потом. Да и что с них взять, со здешних девок. Чтобы хорошо пахнуть и не потеть в такую жару, нужны деньги, а денег, естественно, у них нет.

Грэк остановился у небольшого ресторана. Столики были расставлены здесь прямо на улице и отгорожены большими кадками с какими-то жесткими, негнуцимися растениями. Грэк сел за столик в углу и заказал лимонаду. «Со льдом!» — крикнул он вслед официанту. Тот кивнул на ходу. Его соседи по столу, — судя по всему, супружеская пара, — заговорили по-румынски.

Грэку исполнилось тридцать три года, а желудком он страдал еще с шестнадцати лет. На счастье, его отец был врачом, положим, не блестящим врачом, но зато единственным в их городишке. В деньгах они не нуждались. Но мама была очень экономна. Летом они обычно ездили на курорты — на воды, в Альпы, а то и к морю, а зимой семья питалась плохо. Хороший обед подавался только для гостей, но гости у них случались редко. Да к тому же в их городишке разного рода торжества праздновались в ресторане, а в ресторан маленького Грэка не брали. Когда приходили гости, на столе у них появлялось даже вино. Но в том возрасте, когда ему позволили пить, он был уже «желудочник» и вина все равно не пил. У них в семье ели главным образом картофельный салат. Грэк не мог припомнить точно, сколько раз в неделю они его ели, — не то три, не то четыре, но подчас ему казалось, что в детстве он вообще ничего не ел, кроме картофельного салата. Позже один врач сказал ему как-то, что, судя по некоторым симптомам, его болезнь вызвана длительным недоеданием и что картофель для него яд!

В городе вскоре узнали, что докторский сын хронически больной, да это и по нему было видно. Девчонки перестали обращать на него внимание: отец был недостаточно богат, чтобы компенсировать его болезнь деньгами. Учился он тоже не блестяще.

После получения аттестата зрелости в 1931 году родители предложили ему на выбор любой из обычных подарков. Грэк выбрал поездку по стране. С поезда он сошел уже в Хагене, снял номер в отеле и весь вечер метался по городу в поисках проституток. Но в Хагене «уличных» не водилось, и на следующий день он уехал во Франкфурт, где прожил восемь дней. Через восемь дней деньги у него кончились и пришлось ехать домой. В поезде ему казалось, что он умрет со стыда. Домашние при его внезапном появлении пришли в ужас: ведь денег ему выдали на трехнедельную поездку. Отец смерил его взглядом, мама заплакала. Потом разыгралась кошмарная сцена: отец заставил его раздеться и подверг унижительному осмотру. Этот день навсегда остался в памяти Грэка. Дело было в субботу, после обеда, опрятный городок погрузился в тишину, и лишь колокольный звон плыл в теплом воздухе над старинными, узкими, как ущелье, улицами. Все здесь дышало покоем. А он стоял нагишом перед отцом, который его долго выстукивал и ощупывал у себя в кабинете. Боже, как он ненавидел отца, его жирные щеки, его дыхание, слегка отдававшее пивом. В тот день Грэк решил покончить с собой. Отец долго еще мял и щупал его. Густая, седоватая отцовская шевелюра щекотала его где-то у живота. Наконец, старик выпрямился.

— Ты совсем рехнулся,— сказал он с усмешкой.— Ходи к бабам раз, ну, много, два раза в месяц — и хватит с тебя.— Он сам чувствовал, что отец прав. Под вечер он сидел с мамой в гостиной и прихлебывал жиденький чай. Мама молчала, а потом вдруг расплакалась. Он отложил газету и ушел к себе.

Спустя две недели он уехал в Марбург — поступать в тамошний университет. С тех пор он неуклонно выполнял отцовское наставление, хотя терпеть не мог старика. Через три года он сдал выпускные экзамены, еще через два года получил должность ассесора в суде, а еще через год защитил докторский диплом.

В 1937 году его в первый раз взяли на военные сборы, в 1938 году он прошел сборы вторично; в 1939 году началась война — и вот ровно через два года после того, как Грэк получил должность в окружном суде своего города, он был призван в армию и юнкером ушел на фронт. Он не любил войну. Война принесла ему кучу новых забот — теперь уже никому и дела не было до

того, что он, Грэк, ассессор, доктор права и первый кандидат на должность советника при окружном суде. Когда он приезжал в отпуск, дома все смотрели на его грудь — точнее на левую сторону, над карманом мундира. Но смотреть-то было особенно не на что. Мама, которая писала ему на фронт, моля беречь себя, в то же время не могла удержаться от обидных намеков, похожих на булавочные уколы:

«...К Беккерам приезжал в отпуск их Гуго. У него Железный крест I степени. Это совсем неплохо для недоучки, который не смог стать и подручным в мясной лавке. Говорят даже, что его скоро произведут в офицеры. Бог знает что. Молодой Везендонк тяжело ранен — ему, видимо, ампутируют ногу...»

Да и ногу потерять — на худой конец что-нибудь да значит.

Грэк заказал еще один бокал лимонаду. Славная штука — лимонад со льдом. До чего же холодный!

Много бы он дал за то, чтобы с ним ничего этого не случилось, — ни дурацкой истории с портным, ни всего прочего. И взбрело же ему в голову на людной улице расплачиваться сотенной бумажкой за десяток абрикосов! Вспомнив об этой сцене, Грэк снова вспотел.

Тут же он почувствовал резкую боль в животе. Не вставая, он посмотрел в глубь зала, ища глазами двери уборной. Как на грех, все сидели, болтая, за своими столиками и никто не вставал. Грэк затравленно озирался до тех пор, пока не обнаружил в дальнем углу, у стойки, все ту же зеленую штору. Тогда он медленно встал и пошел через зал, не теряя штору из виду. Впрочем, по дороге пришлось козырнуть — за одним из столиков сидел какой-то капитан с дамой. Грэк приветствовал его по всей форме и облегченно вздохнул, добравшись, наконец, до заветной шторы.

К четырем он вернулся в госпиталь. Наглый мальчишка-лейтенант сидел на койке, готовый к отъезду. На нем был его черный мундир танкиста; грудь сверкала орденами. Грэк знал наизусть все его ордена — их было пять.

Лейтенант ел бутерброды с тушенкой, запивая их вином.

— Тут ваши вещи прибыли, — сказал он, завидев Грэка.

— Прекрасно, — сказал Грэк и подтянул к окну стоявший у его койки ящик.

— Между прочим,— продолжал лейтенант,— капитана, вашего батальонного, пришлось бросить в Сокархей. Нетранспортабелен. Шмиц с ним остался.

— Жаль, очень жаль,— откликнулся Грэк и принялся открывать ящик.

— Это вы зря,— заметил лейтенант,— сегодня нас всех вывезут отсюда.

— Ну да! И меня тоже?

— И вас,— улыбнулся было лейтенант, но его мальчишеская физиономия тотчас же помрачнела.— А как приедем — всех «дизентериков» в маршевые команды и на фронт.

И снова у Грэка забурлило в животе. Ему стало дурно от одного вида бутербродов с мясом. Глядя на крупинки застывшего на тушенке сала, он почему-то решил, что именно так выглядят мушиные яйца. Быстро подойдя к окну, он рывком распахнул его. По улице как раз проезжала телега, доверху нагруженная абрикосами. Тут уж Грэка вырвало. Он сразу почувствовал огромное облегчение.

— Ваше здоровье! — гаркнул лейтенант.

V

Файнхальс отправился в город купить кнопок, картона и туши, но раздобыть ему удалось только картон, тот самый розоватый картон, который особенно нравился каптенармусу. Таблички в госпитале всегда писали на таком картоне. Возвращаясь, Файнхальс попал под дождь; дождь был теплый, ласковый. Файнхальс попытался упрятать неуклюжий рулон картона под гимнастерку, однако рулон оказался слишком объемистым. Увидев, что края оберточной бумаги основательно намокли и по нежно-розовому картону поползли темные пятна, он ускорил шаги. Но вскоре ему пришлось довольно долго простоять под дождем на перекрестке: мимо шла танковая колонна.

Танки неуклюже поворачивали за угол, медленно поводя хоботами орудий и занося бронированные зады. Они шли на юго-восток. Прохожие равнодушно смотрели им вслед.

Файнхальс двинулся дальше. Дождь шел не частый, но крупный, плескучий. С деревьев капало. Пока он добрался до эвакуопункта, на черном тротуаре уже

заблестели широкие лужи. К дверям был припилен большой лист белого картона, на котором он сам еще недавно вывел жестким красным карандашом надпись: «Эвакопункт Сентдёрдь». Файнхальс подумал о том, что сегодня на дверях бывшей женской гимназии появится новая табличка из розоватого толстого картона, на котором он выведет ту же надпись, но только тщательнее, тушью и чертежным шрифтом. Вывеска будет всем на загляденье. Он позвонил, и ему отперли двери. Швейцар быстро скрылся в своей каморке, Файнхальс поздоровался в пространство и шагнул в коридор. На вешалке висели на ремнях автомат и винтовка. Файнхальс прошел по коридору вдоль ряда дверей. У каждой двери в стене было пробито смотровое оконце, за которым висел термометр. Все кругом сверкало чистой. Стояла полная тишина, и Файнхальс шел чуть ли не на цыпочках. Из-за крайней двери до него донесся голос каптенармуса, говорившего по телефону. По стенам коридора были развешаны фотографии учительниц, здесь же висела большая цветная фотопанорама города Сентдёрдь.

Свернув по коридору направо, Файнхальс открыл одну из дверей и сразу очутился на школьном дворе. Во дворе росли большие деревья, за оградой его высились многоэтажные дома. Файнхальс внимательно посмотрел на одно из выходящих во двор окон четвертого этажа. Окно было открыто. Тогда он поспешно вернулся в здание и стал подниматься по лестнице на четвертый этаж. По всей лестничной клетке на стенах были развешаны фотографии выпускниц. У каждого выпуска была своя витрина — в темно-коричневых и позолоченных рамках за стеклом красовались фотографии абитуриенток, наклеенные на овальные куски плотного картона. На площадке первого этажа висела фотовитрина выпуска 1918 года. По-видимому, это был вообще первый выпуск гимназии. С фотографий печально улыбались худенькие девушки в накрахмаленных блузках.

Файнхальс успел основательно изучить эти портреты. Вот уже целую неделю он разглядывал их ежедневно. В центре группы среди девичьих лиц был вклеен портрет строгой черной дамы в пенсне. Это, по всей видимости, была директриса. Судя по фотографиям и датам, она возглавляла гимназию с 1918 по 1932 год и за все эти годы ничуть не изменилась. Надо полагать,

директриса каждый раз вручала оформителю одну и ту же фотографию. У портретов выпускниц 1928 года Файнхальс задержался. Его внимание привлекла здесь необычная прическа некоей Марии Карток — длинная, почти до бровей, прямая челка: очень независимый вид был у этой хорошенькой девчушки. Файнхальс улыбнулся и, поднявшись еще на несколько ступенек, остановился возле абитуриенток 1932 года. Он и сам кончал школу в 1932 году. Поднимаясь по лестнице, он останавливался здесь каждый раз и внимательно вглядывался в лица девушек. Тогда им было по девятнадцать лет, сейчас тридцать два — как и ему. В этом выпуске тоже была девушка по фамилии Карток. И эта была с челкой, только покороче — до середины лба. Она тоже выглядела весьма независимо, но лицо ее светилось какой-то целомудренной нежностью. Звали ее Илона. Она была очень похожа на старшую сестру — только худенькая, и, видно, не такая гордячка. Накрахмаленная блузка была ей к лицу. Из всех выпускниц этого года она одна не улыбалась на фотографии.

Файнхальс постоял немного, глядя на нее, ласково улыбнулся и стал медленно взбираться на третий этаж. Он хотел было снять кепи и вытереть вспотевший лоб, но, вспомнив, что руки заняты, пошел дальше. На площадке третьего этажа в нише белела гипсовая статуя богоматери. У ног статуи стояли свежие цветы в вазочке. Еще утром здесь были тюльпаны, а теперь их сменил букетик роз — чайных и алых, с тугими, полураспустившимися бутонами. Файнхальс остановился у статуи и оглядел сверху всю лестницу. Увешанные девичьими фотографиями стены выглядели в общем довольно однообразно: все девушки походили друг на друга, словно мотыльки, белые мотыльки с темными головками, пришпиленные к картону. Казалось, фотографии из года в год повторялись и только портрет директрисы менялся иногда — он менялся в 1932, 1940 и 1944 годах. На самом верху слева висели фотографии выпуска 1944 года. Накрахмаленные белые блузки, невеселые улыбки девушек, а в центре витрины фотография последней директрисы — темно-волосой пожилой дамы. И директриса улыбалась невесело.

По пути Файнхальс мельком поглядел и на выпускниц 1942 года. И здесь была одна Карток. Звали ее Сорна. Но ее прическа ничем не отличалась от при-

чесок ее одноклассниц, а личико у нее было по-детски округлое и трогательное.

На лестнице, как и во всем доме, стояла глубокая тишина. Уже на площадке четвертого этажа Файнхальс услышал доносившийся снизу шум моторов. Он распахнул одно из окон в коридоре и, небрежно бросив на подоконник свой рулон, посмотрел вниз. У подъезда стоял каптенармус. Он вышел навстречу автоколонне, только что подкатившей к школе. Автофургоны стояли с включенными моторами. Из машин высыпали солдаты — все легко раненные, с белыми повязками. Особенно много солдат с вещевыми мешками и ранцами вылезло из красного мебельного фургона в хвосте колонны. Прибывшие сразу запрудили тротуар. «Сюда, сюда давай! — кричал каптер, стоя в подъезде. — Всем собраться в раздевалке и ждать!»

Солдаты сгрудились в подъезде. Двери медленно втягивали живую серо-зеленую ленту. В домах по ту сторону улицы распахивались окна, в них появлялись головы людей. На углу собралась толпа прохожих. Женщины плакали.

Файнхальс закрыл окно. В доме все еще было тихо, но всплески далекого шума уже долетали сюда с первого этажа. Файнхальс прошел по коридору и слегка стукнул носком сапога в крайнюю дверь. «Да, да», — прозвучал в ответ женский голос. Чувствуя, что краснеет, он локтем надавил на ручку двери.

Войдя в комнату, заставленную чучелами птиц и животных, Файнхальс сначала никого не увидел. Он привычно осмотрелся — на длинных полках лежали свернутые географические карты и коллекции минералов в аккуратных оцинкованных ящиках с застекленными крышками.

На стенах были развешаны цветные таблицы образцов для вышивок и целая серия пронумерованных картин, изображавших во всех подробностях уход за грудными младенцами.

— Алло! Где вы? — громко сказал Файнхальс.

— Здесь! — откликнулся женский голос.

Файнхальс подошел к окну, откуда в глубину комнаты вел узкий проход между шкапами и стеллажами. В углу за маленьким столиком сидела молодая женщина. Ее сразу можно было узнать по фотографии, висевшей на лестнице. Только лицо, немного пополнив-

шее с тех пор, не казалось теперь таким строгим и стало еще нежней.

Вежливый поклон Файнхальса одновременно и смутил и позабавил ее. Она кивнула в ответ. Он положил на подоконник рулон и пакет, который нес в левой руке, швырнул туда же свое кепи и наконец-то отер со лба пот.

— Помогите мне, Илона,— сказал он.— У вас туши не найдется?

Она захлопнула книгу.

— Тушь? Что это такое?

— Я думал, немецкий вы учили на совесть! — сказал Файнхальс.

Илона рассмеялась.

— Тушь — это нечто вроде чернил,— пояснил он.— Ну, а что такое рейсфедер, вы знаете?

— Рейс-федер,— улыбаясь, медленно повторила она.— Это я, кажется, представляю себе.

— Так есть у вас нечто подобное?

— Наверное. Вон там.

Она указала на один из шкафов за его спиной, и Файнхальс понял в этот миг, что она и сейчас ни за что не выйдет из-за стола.

Три дня тому назад он совершенно случайно обнаружил ее в этой комнате и с тех пор просиживал у нее часами. Но ни разу еще она не подходила к нему близко. Она явно побаивалась его. Илона была набожна, чиста душой и телом и очень умна. Он много говорил с ней в эти дни и чувствовал, что нравится ей. Но ни разу еще она не подходила к нему близко — так, чтобы он мог неожиданно обнять и поцеловать ее. Она ни разу не подходила к нему близко, хотя он часами просиживал в этой комнате и успел поговорить с ней обо всем на свете. Раз-другой они говорили и о религии, она искренне верила и уже не раз советовала ему молиться, он чувствовал, что она права, но молиться не хотелось, хотелось поцеловать и прижать к себе Илону, но она ни разу не подошла к нему близко.

Файнхальс наморщил лоб и, передернув плечами, сказал глухо:

— Одно лишь ваше слово — и я не войду больше в эту комнату.

Лицо ее сразу стало серьезным. Она опустила глаза, плотно сжала губы. Потом снова посмотрела на него.

— Не знаю,— протянула она задумчиво,— хочу ли я, чтобы вы ушли. От этого все равно ничего не изменится, так ведь?

— Так,— отозвался он.

Илона кивнула.

Файнхальс пробрался по узкому проходу назад к двери.

— И как это вы учительствуете в той самой школе, в которой девять лет просидели за партой? — спросил он.

— Ну и что же! Мне всегда нравилось в школе и сейчас нравится.

— Сейчас ведь занятий нет.

— Есть. Нас просто слили с другой школой.

— А вас оставили здесь за школьным добром присматривать? Понятно. Что же, ваша директриса знала, кого оставить, вы ведь и самая хорошенькая,— он заметил, что Илона покраснела,— и положиться на вас можно во всем.— Файнхальс обвел взглядом шкафы и таблицы и спросил: — А карта Европы у вас здесь есть?

— Конечно!

— И кнопки есть?

Илона, удивленно посмотрев на него, кивнула.

— Сделайте мне одолжение — достаньте карту Европы и кнопки.

Он извлек из нагрудного кармана пергаментный пакетик и осторожно высыпал на ладонь его содержимое: маленькие флажки, вырезанные из красного картона. Потом поднял один из них над головой.

— Поиграем в генеральный штаб, Илона. Увлекательная игра, знаете ли! — И, видя, что она все еще не решается подойти к нему, добавил: — Да идите же, не бойтесь. Честное слово, я не прикаснусь к вам!

Она медленно вышла из-за стола и направилась к стеллажу с картами. Файнхальс глядел во двор, пока она не прошла мимо. Она вытащила откуда-то из угла треногу, на которую вешали карты. Вместе они установили ее в проходе, потом Илона достала карту, развернула ее и закрепила на подставке.

Файнхальс стоял рядом с флажками в руке.

— Боже мой,— пробормотал он,— почему все так боятся нас? Неужели мы такие звери?

— Да,— тихо ответила Илона, посмотрев ему в глаза. И по этому взгляду он понял, что она до сих

пор боится его.— Волки вы,— продолжала она,— волки, готовые в любую минуту заняться любовью. Опасный народ, смутный. Только не надо, не надо, я вас очень прошу,— тихо закончила она.

— Что — не надо? — не понял он.

— О любви говорить не надо,— сказала она еще тише.

— Сейчас не буду. Клянусь вам.

Файнхальс уставился на карту и не видел, что Илона с улыбкой смотрит на него.

— Пожалуйста, дайте мне кнопки,— сказал он, не поворачивая головы.

Он нетерпеливо топтался у карты, не отрывая глаз от ее пестрых разводов, потом медленно провел по ней руками сверху вниз.

Примерно так проходила линия фронта, почти под прямым углом от границы Восточной Пруссии с Литвой до самого Гроссвардейна, только в середине, где-то у Львова, она прогибалась дугой. Впрочем, о положении на этом участке толком никто не знал.

Файнхальс нетерпеливо поглядывал на Илону — она рылась в ящике громоздкого орехового шкафа: мелькали полотенца, простыни, пеленки, на миг показалась большая голая кукла. Но вот она быстро подошла к нему и протянула жестяную коробку с кнопками и булавками. Порывшись в ней, он выбрал несколько булавок с красными и синими головками. Илона с интересом смотрела, как он насаживал на булавки флажки и потом накалывал их на карту.

В коридоре тем временем поднялся страшный шум. Хлопали двери, громыхали кованые сапоги, слышались выкрики каптенармуса и голоса солдат. Файнхальс и Илона поглядели друг на друга.

— Что там случилось? — испуганно спросила она.

— Ничего страшного. Раненые прибыли,— ответил Файнхальс.

Первый флажок он воткнул в нижней части карты — возле жирной точки с надписью «Надъварад», потом медленно провел ладонью по Югославии, сокрушенно покачал головой и вколочил второй флажок у Белграда. Пришпилив третий флажок к Риму, Файнхальс снова окинул взглядом карту и удивился, до чего же близко от Парижа до немецкой границы. Он прикрыл Париж левой ладонью, а правая рука его медленно поползла назад, до самого Сталинграда. От Сталин-

града до Гроссвардейна было дальше, чем от Гроссвардейна до Парижа. Файнхальс бессильно пожал плечами и принялся вкалывать флажки между отмеченными вначале точками.

Илона не могла подавить волнения. Она даже тихо вскрикнула. Казалось, лицо ее осунулось за эти минуты. На ее загорелых щеках явственно проступал нежный пушок, доходивший почти до самых глаз — темных, задумчивых. Она и до сих пор носила челку, только еще короче, чем на фотографии внизу. Файнхальс слышал ее учащенное, прерывистое дыхание.

— Хороша игра? — спросил он негромко.

— Да, — ответила она, — просто страшно становится. Все это — как это говорится по-вашему — выпукло? Рельефно?

— Наглядно, — подсказал он.

— Да, да, именно наглядно — смотришь, словно в открытую дверь.

Шум в коридоре постепенно стих, двери больше не хлопали. Но тут Файнхальс вдруг явственно услышал, что его зовут.

— Файнхальс! — надрывался каптенармус. — Где вы там, черт вас возьми?

— Это вас зовут? — спросила Илона.

— Да.

— Идите, — сказала она чуть слышно, — прошу вас! Я не хочу, чтобы вас видели здесь, у меня.

— Когда вы уходите отсюда?

— Около семи.

— Подождите меня — я зайду за вами!

Илона кивнула и вся вспыхнула, опустив глаза. Она молча стояла перед Файнхальсом, пока тот не посторонился и не пропустил ее в угол к столу.

— На подоконнике в пакете торт — это для вас, — сказал он. Потом, приоткрыв дверь, осторожно выглянул в коридор и выскользнул из комнаты.

Файнхальс спустился по лестнице не спеша, хотя каптер звал его теперь откуда-то снизу — видимо, с площадки второго этажа. Проходя мимо выпускниц 1942 года, он улыбнулся юной Сорне Карток, а лица Илоны не смог различить — витрина ее класса висела далеко от окна, где уже сгустились серые сумерки. Внизу на площадке его встретил каптенармус.

— Куда вы запропастились? — сказал он. — Битый час ищу вас по всему дому.

— Вы же сами меня в город послали за картоном.

— Посылал, верно. Только вы ведь вернулись уже с полчаса назад. Пойдемте, вы мне нужны.

Он взял его под руку, и они спустились на первый этаж. Из-за дверей доносился шум голосов, пение. По коридору сновали с подносами санитарки — из русских девушек.

С тех пор как Файнхальс благополучно выбрался из Сокархей, каптенармус многое спускал ему с рук. Он, казалось, вообще подобрел, но на самом деле приказ, возложивший на него организацию эвакуационного пункта, вывел его из душевного равновесия. Ему не давали покоя кое-какие детали, о которых Файнхальс не имел ни малейшего представления.

Странные вещи происходили с недавних пор в германской армии. Файнхальс ничего не знал о них, а если бы и знал, то все равно не понял бы, чем все это грозит. Но каптенармус — старый служака — жил только армейскими порядками, без них был вообще немислим, и эти непонятные вещи очень беспокоили его. В самом деле, в прошлые времена практически было очень трудно согнать его и ему подобных с насиженных теплых местечек, скажем, перевести в другую часть или откомандировать в чье-либо распоряжение и так далее. Пока приказ тащился по инстанциям, его без труда обходили. И первыми выколачивали приказы сами же их творцы, доверительно сообщая своим подчиненным — исполнителям — о многочисленных лазейках и обходных путях. И чем беспощадней становились формулировки законов и приказов, тем легче было их обходить. На самом деле на них никто не обращал внимания, и исполняли их только когда хотели избавиться от неудобных людей. На крайний случай всегда оставалась медицинская комиссия и телефонный звонок «сверху». Но теперь все изменилось — телефонные звонки не действовали больше: люди, с которыми надо было говорить в подобных случаях, либо перестали существовать, либо вышли из пределов досягаемости. А с теми, что остались, не стоило и говорить — они вовсе тебя не знали, да и не стали бы тебе помогать, потому что сами не могли рассчитывать на твою помощь при случае. Все связи перепутались, смешались, и оставалось лишь изо дня в день в великих

трудах спасти собственную шкуру. До сих пор война для каптенармуса шла только по телефону, но теперь она начала глушить телефон.

Вышестоящие инстанции, кодировка и начальство менялись чуть ли не ежедневно, случалось, придадут тебя сегодня какой-нибудь дивизии, а завтра, глядишь, от дивизии остается только генерал, два-три штабных да писаря...

В коридоре первого этажа каптер отпустил локоть Файнхальса и самолично открыл перед ним какую-то дверь. В комнате за столом сидел, покуривая, Оттен. На столе чернел глубокий след, выжженный сигаретой.

— Наконец-то,— сказал Оттен, откладывая газету.

Каптенармус посмотрел на Файнхальса, тот — на Оттена.

— Ничего не поделаешь, ребята,— сказал каптер, пожимая плечами,— мне приказано откомандировать из госпиталя всех выздоравливающих моложе сорока. Рад бы помочь — да не могу. Так что собирайтесь!

— Куда откомандировать? — спросил Файнхальс.

— На фронтовой пересыльный пункт, и немедленно! — сказал Оттен, протягивая ему предписание — одно на двоих.

— Подумаешь — немедленно! Поспешешь — людей насмешишь,— сказал Файнхальс, читая бумажку.— А что,— спросил он,— обязательно надо выписывать одно командировочное на двоих? Нельзя по отдельности?

— То есть как? — сказал каптер и, внимательно посмотрев на Файнхальса, негромко добавил: — Смотрите не делайте глупостей!

— Который теперь час? — спросил Файнхальс.

— Около семи,— ответил Оттен. Он встал, затянул ремень и взял стоявший у стола ранец. Каптер сел за стол, выдвинул ящик и стал рыться в нем, поглядывая на Оттена.

— Мне — один черт,— сказал он наконец.— Вы оба откомандированы, и я умываю руки. Хотите два предписания — берите два. Дело ваше.

— Я схожу за вещами,— сказал Файнхальс.

Взбежав на четвертый этаж, он остановился в коридоре, увидев, что Илона вышла из своей комнаты и запирает двери. Вытащив ключ, она нажала на ручку двери и успокоенно кивнула головой. Илона была

в пальто и держала в руке пакет с тортом. В коричневой шляпке и зеленом пальто она показалась ему еще привлекательней, чем прежде, в темно-красной кофточке. Илона была небольшого роста и, пожалуй, несколько полновата, но, поглядев на ее лицо, на изгиб ее шеи, Файнхальс почувствовал, что он впервые в жизни по-настоящему любит женщину и по-настоящему хочет ее. Она еще раз нажала ручку двери, проверяя, надежно ли она заперта, и потом медленно пошла по коридору. Файнхальс не отрывал от нее глаз и, внезапно выйдя ей навстречу, заметил, что она улыбнулась и в то же время испуганно отпрянула.

— Вы же обещали подождать меня! — сказал он.

— Я совсем забыла про одно неотложное дело. Я хотела оставить вам внизу записку, что приду через час.

— Вы правда пришли бы?

— Да.— Илона посмотрела на него с улыбкой.

— Я провожу вас, обождите минутку.

— Нельзя вам туда идти,— она устало покачала головой.— Нельзя! Не беспокойтесь, я скоро вернусь!

— Куда вы идете?

Илона, ничего не ответив, опасливо огляделась. Но в коридоре не было ни души. Только что разнесли ужин, из-за закрытых дверей доносился глухой, негромкий шум. Она снова посмотрела на него.

— В гетто, с мамой, в гетто.

Во взгляде ее застыло напряженное ожидание, но Файнхальс просто спросил:

— Зачем?

— Сегодня оттуда вывозят всех. У нас там родственники. Надо принести им хоть что-нибудь в последний раз. Вот и торт ваш взяла. Вы не сердитесь? Это ведь ваш подарок?

— Значит, у вас там родственники,— он взял ее под руку.— Я провожу вас.

Так, под руку, они и стали спускаться по лестнице.

— Стало быть, у вас родственники — евреи. А ваша мать?

— И мать, и я сама — вся наша семья.— Илона остановилась.— Погодите, я сейчас.

Она высвободила руку и, вынув букет из вазочки у подножия статуи богоматери, заботливо оборвала несколько увядших цветов.

— Завтра я не приду сюда — у меня уроки в дру-

гом здании... Вы поменяете воду в вазочке? Пообещайте мне! А если не трудно — смените и цветы.

— Не могу обещать, сегодня вечером я уезжаю. Только поэтому...

— А то бы сделали, правда?

Файнхальс кивнул:

— Чего бы я не сделал ради вас!

— Только ради меня? Ведь вы сами католик?

— Верно, верно,— улыбнулся он,— я бы, пожалуй, и так это сделал, да ведь в голову бы не пришло. Погодите здесь еще минутку,— быстро перебил он себя.

Они были уже на третьем этаже. Файнхальс метнулся по коридору, ворвался в свою комнату, наскоро запихнул в вещевой мешок свои нехитрые пожитки, разбросанные по углам, потом затянул ремень и убежал вон. Илона медленно продолжала спускаться по лестнице, и он нагнал ее как раз у витрины фотографий выпуска 1932 года. Она задумчиво смотрела на свою собственную фотографию.

— О чем вы думаете? — спросил он.

— Так,— сказала она тихо.— Хотела расчувствоваться — да не получается. Не трогает меня эта карточка. Будто на ней кто-то чужой. Идемте.

У самых дверей Файнхальс еще раз попросил Илону обождать и побежал в канцелярию за своим командировочным предписанием. Оттен уже ушел, не дождавшись его. Каптенармус удержал его за рукав.

— Смотрите не делайте глупостей,— сказал он.— Желаю удачи.

— Спасибо,— уже на бегу ответил Файнхальс.

Илона ждала его на улице у подъезда. Он снова взял ее под руку. Дождь перестал, но воздух был еще напоен влагой и каким-то приторным ароматом. Они пошли тихими переулками, почти параллельно главной улице, мимо низких домиков с чахлыми палисадниками.

— А как же вы сами не оказались в гетто? — спросил Файнхальс.

— Благодаря отцу. Он служил офицером в прошлую войну, был награжден высшими орденами и лишился обеих ног. Но вчера он отослал все свои ордена коменданту города, а заодно и свои протезы. Огромный коричневый пакет... Дальше я пойду одна,— закончила она неожиданно резко.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вас видели там.

— Я пойду следом.

— Не надо. Все равно кто-нибудь из наших увидит, и меня потом из дому не выпустят.

— Вы вернетесь?

— Да,— твердо сказала она.— Обещаю вам.

— Поцелуйте меня,— сказал он вдруг.

Она покраснела и остановилась. Тихая улица была пустынна, они стояли у каменной ограды, с которой свисали полузасохшие ветви боярышника.

— К чему поцелуи? — еле слышно сказала она, грустно глядя на него. Ему казалось, что она вот-вот заплачет.— Я боюсь любви.

— Почему?

— Нет любви на свете. Любовь приходит лишь на миг.

— Судьба и свела нас на миг, Илона,— тихо ответил он.

Поставив на землю мешок, Файнхальс взял у нее из рук сверток и, прижав ее к себе, поцеловал сначала в шею, потом в волосы, около уха. Почувствовав на щеке ее губы, он прошептал ей на ухо: «Не уходи, уйдешь — не вернешься. Так всегда на войне. Останься!»

Илона покачала головой.

— Нельзя. Мама умрет от страха, если я не приду вовремя.

Она еще раз поцеловала его в щеку и, сама удивившись своей внезапной решимости, отвела его голову, склоненную на ее плечо, и поцеловала его в уголок рта. Ей стало радостно при мысли о том, что она скоро увидит его снова.

Она в последний раз поцеловала его — в уголок рта и посмотрела ему в глаза. Раньше она всегда мечтала о муже и о детях и не могла представить себе мужа без детей. Но сейчас Илона не думала о детях — нет, целуя его и радуясь тому, что скоро увидит его снова, Илона не хотела думать о детях. Это смутило ее, но на душе все равно было хорошо.

— Я пойду,— прошептала она,— мне пора!

Файнхальс поднял голову и посмотрел через ее плечо вдаль. В тихом переулке не было ни души, шум с соседних улиц доносился сюда словно откуда-то издалека. Деревца в палисадниках были аккуратно подстрижены. Илона ласково провела ладонью по его

волосам — он почувствовал на своей шее ее очень маленькую, но сильную руку.

— Останься, — повторил он, — или пойдем вместе, что бы ни случилось. Это добром не кончится, поверь мне. Ты еще не знаешь войны, не знаешь ее хозяев. На войне без особой нужды не расстаются ни на минуту.

— Но пойми — сейчас мне нужно пойти туда, очень нужно.

— Тогда пойдем вместе.

— Нет, ни за что, — твердо сказала она. — Отец не простит мне этого; неужели ты не понимаешь?

— Понимаю, — он снова коснулся губами ее шеи. — Я все понимаю лучше, чем ты думаешь, — решительно все, но я люблю тебя, слышишь, и не хочу расставаться с тобой. Останься!

Но Илона высвободилась из его объятий.

— Не проси меня об этом. Пожалуйста, не проси.

— Ладно, — чуть слышно сказал он, — не буду. Иди. Где мне ждать тебя?

— Пройдем еще немного, тут неподалеку есть маленькая пивная. Там и подожди.

Он старался идти как можно медленнее, но она увлекала его за собой, и он очень удивился, когда они внезапно очутились на людной улице. Она показала ему какой-то невысокий домишко и шепнула:

— Жди меня здесь.

— Но ты придешь?

— Непременно, — улыбнулась Илона, — как только освобожусь. Я тоже люблю тебя.

Неожиданно обхватив его шею, она поцеловала его прямо в губы и быстро пошла в другую сторону, не оглядываясь. Файнхальс не хотел смотреть ей вслед и сразу прошел в пивную. Никогда еще мир не казался ему таким ненужным и пустым. Мысль о том, что он совершил непоправимую ошибку, не покидала его.

Он понимал, что ждать бессмысленно, и в то же время знал, что надо ждать. Надо было дать providению эту последнюю возможность устроить все к лучшему — хотя он и был убежден, что самое худшее уже свершилось. Она не вернется. Что-то задержит ее там. В этом нет сомнения. Не слишком ли многого он захотел — полюбил еврейку и теперь ждет, что эта война пощадит ее, отпустит к нему невредимой? Ведь он не взял даже ее адреса и теперь сидит здесь, ждет

ее и надеется, хотя надеяться не на что. Наверное, надо было побежать за ней, не пускать ее, заставить остаться, но, в сущности говоря, человека ни к чему не принудишь, человека можно лишь уничтожить, смерть — вот единственное насилие, которое можно по-настоящему над ним учинить. Человека не принудишь остаться в живых, не заставишь любить; по-настоящему властна над ним одна только смерть. Файнхальс ждал, хотя и знал, что это безумие. Но в то же время он знал, что не уйдет отсюда ни через час, ни через два, что будет сидеть здесь всю ночь напролет, ибо эта темная пивная — единственная память о ней, единственное, что их связывало. Она сама указала на нее, обещала вернуться сюда и не лгала ему, он знал, что не лгала. Она вернулась бы сюда, как только смогла бы, вернулась бы непременно, если бы это было в ее силах...

Часы над стойкой показывали без двадцати минут восемь. Ему не хотелось ни есть, ни пить, но когда хозяйка подошла к его столику, он заказал бутылку лимонада, а поймав ее разочарованный взгляд, заказал и графинчик вина. За столиком у самого выхода сидел венгерский солдат с девушкой, а посередине зала — какой-то жирный субъект с желтой физиономией и угольно-черной сигарой в зубах. Файнхальс быстро выпил вино и, чтобы не раздражать хозяйку, заказал еще графинчик. Хозяйка — увядшая, худая блондинка — радостно заулыбалась.

Временами ему вдруг казалось, что Илона вот-вот войдет. Тогда он начинал думать о том, куда они пойдут вместе. Они сняли бы где-нибудь комнату, и у дверей он назвал бы ее своей женой. Файнхальс ясно видел всю обстановку этой комнаты — широкую деревянную кровать и картину на библейский сюжет, и пузатый комод, и голубой фарфоровый умывальный таз с теплой водой, и окно, выходящее в густой фруктовый сад. Была такая комната, он знал это наверняка — стоило только пойти в город, и он нашел бы ее, все равно где — в пансионе, в гостинице, на частной квартире. Была где-то в этом городе такая комната, и на какой-то миг судьбе было угодно, чтобы они нашли там пристанище этой ночью. Но они никогда не войдут в эту комнату, никогда. И до боли ясно Файнхальс видел и потертый коврик на полу перед кроватью, и оконце, выходящее в сад, и даже потрескав-

шуюся краску на оконном переплете. Чудесная это была комната — и здесь, на этой широкой деревянной кровати, они могли бы провести ночь. Но им никогда не бывать в этой комнате.

В какие-то мгновения он верил, что не все еще потеряно. Но надежда тут же рассеивалась. Ведь Илона — еврейка. На что же он может рассчитывать, полюбив в такое время еврейку! Но он любил ее вопреки всему, очень любил — и знал, что с этой женщиной он мог бы не только спать, но и говорить, говорить подолгу и часто, а как мало на свете женщин, с которыми можно не только спать, но и говорить обо всем. С Илоной это было бы возможно — Илона была бы для него всем...

Файнхальс заказал еще один графинчик вина — к лимонаду он так и не притронулся. Субъект с черной сигарой ушел, и во всей пивной, кроме него, оставались только увядшая белокурая хозяйка с тощей морщинистой шеей, венгерский солдат и его девица. Он пил вино и все время старался не думать об Илоне. Вспомнил дом, родных, но дома он почти не жил. С тех пор как он окончил школу, он почти не жил дома — дома ему становилось как-то не по себе. Родной городок, словно втиснутый в узкое пространство между Рейном и железной дорогой, был беден зеленью; деревья не росли ни на его улицах, ни на окрестных дорогах — кругом один асфальт, а фруктовые сады давали влажную парковую тень. Летом жара не спадала здесь и по вечерам. Домой он приезжал обычно к осени — ему нравилось работать в саду, на сборе фруктов. Деревья гнулись под тяжестью плодов, по дорогам вдоль Рейна шли вереницей тяжелые грузовики, полные фруктов, — в большие прирейнские города везли яблоки, груши, сливы. Осенью здесь было хорошо. Со своими стариками Файнхальс всегда ладил, и когда сестра его вышла замуж за одного из местных крестьян-садоводов, — он нисколько не огорчился. Нет, что ни говори, осенью здесь было хорошо. Но наступала зима — и жизнь затихала в городке, зажатом в низине между Рейном и железной дорогой. От консервной фабрики волнами накатывал удушливо-приторный аромат дешевого повидла. Нет, долго здесь не выдержишь! Файнхальс с облегчением уезжал и вновь принимался за работу — он строил дома и школы, возводил по заказу крупного концерна заводские

корпуса и жилые кварталы, потом стал строить казармы.

Но сейчас он не мог вспомнить о прошлом, как ни старался. Из головы все не шла мысль о том, что он даже не взял у Илоны адреса, на всякий случай. Впрочем, адрес можно узнать у швейцара в школе или у директрисы. На худой конец он будет разыскивать ее, узнает, где она и, быть может, добьется свидания с ней. Все это относится к тем бесполезным, бессмысленным вещам, которые делаешь для очистки совести, чтобы дать провидению еще одну возможность исправить непоправимое. Но считается, что это необходимо сделать, что это единственная надежда. А поверишь в это, допустишь хоть на миг, что все это действительно поправимо, — и конец. Весь век будешь ждать, искать — жить одной лишь призрачной надеждой. И надежда эта страшней всего!

Файнхальс не знал, что хотят сделать с венгерскими евреями. Он слышал краем уха, что по этому поводу дело дошло даже до разногласий между венгерскими и немецкими властями. Но от соотечественников, от немцев можно было ждать решительно всего. И как это он забыл взять у Илоны адрес? Самое главное на войне — оставить друг другу адрес — и они забыли об этом. А ведь Илоне его адрес еще нужней — как же она будет искать его, если вернется? Но все это бред — никогда она не вернется.

Нет уж, лучше думать о комнате, в которой им не довелось провести ночь...

Он взглянул на часы — было уже около девяти: время, назначенное Илоной, давно миновало.

Стрелки часов ползут страшно медленно, пока смотришь на них, но стоит отвернуться ненадолго и потом посмотреть опять — и покажется, что стрелки то и дело прыгают по циферблату. Да, уже девять. Он сидит здесь почти полтора часа. Ничего, надо еще подождать, или, может быть, сбегать в школу, узнать у швейцара адрес и пойти к ней домой. Он заказал еще вина и увидел, что хозяйка теперь вполне довольна.

В пять минут десятого в пивную вошел офицер в сопровождении обер-ефрейтора. Это был комендантский патруль. Вошедшие остановились в дверях, оглядели пивную и хотели уже уходить. Файнхальс успел хорошо рассмотреть их: незадолго до этого он решил не сводить глаз с двери. Дверь словно магнит притягива-

ла к себе его взгляд — она была единственной, последней надеждой, но вместо Илоны в дверях появился этот офицер, за ним солдат, оба в касках, при оружии. Они оглядели пивную и уже повернулись было. Но в последний момент офицер заметил Файнхальса и медленно направился к нему. Файнхальс сразу понял, что все пропало. Этим людям надо повиноваться, ибо в их руках единственное настоящее средство принуждения. Это — хозяйева смерти; она послушно ждет их приказаний. Но смерть — конец всему, всем делам и надеждам, а у Файнхальса были еще дела на этом свете; он хотел дождаться Илоны, обрести ее, любить ее. Он знал, что все это несбыточная мечта, но все равно не переставал надеяться, ибо в конце концов и здесь был какой-то ничтожный шанс на успех. Эти люди в стальных касках повелевали смертью, она таилась в дулах их пистолетов, смотрела их тяжелым взглядом. Если они сами не захотят тут же спустить ее с цепи, то за их спиной тысячи других таких же хозяев смерти с виселицами, автоматами, которые только того и ждут, чтобы дать ей работу.

Офицер подошел к Файнхальсу и, не говоря ни слова, протянул руку. На лице его лежала печать усталости, и он делал свое дело с безразличием машины. Должно быть, все это не доставляло ему особого удовольствия. Но он исправно нес службу и никому не давал поблажки. Файнхальс вложил в его протянутую руку свою солдатскую книжку и командировочное предписание. Ефрейтор знаками показал, что ему пора бы и встать. Файнхальс пожал плечами и нехотя встал. Он видел, как дрожит в углу хозяйка и испуганно озирается венгерский солдат.

— Следуйте за мной, — негромко сказал офицер.

— Я еще не расплатился.

— У выхода расплатитесь.

Файнхальс надел ремень, подхватил мешок и двинулся к двери. Офицер и ефрейтор шли у него по бокам. У выхода он расплатился, хозяйка взяла деньги, а ефрейтор прошел вперед и распахнул двери. Файнхальс шагнул через порог: он знал, что придраться к нему трудно, он еще ни в чем не провинился. И, хотя в подобных случаях солдату всегда есть чего бояться, Файнхальс не боялся уже ничего. На улице стемнело, витрины и кафе были ярко освещены и все кругом выглядело очень нарядно, по-летнему. У самой пивной

стоял огромный красный автофургон. В таких обычно перевозили мебель. Задняя дверца его была открыта и одна створка опущена под углом на булыжную мостовую, наподобие сходней. На тротуаре боязливо жалась кучка зевак. У машины стоял солдат с автоматом.

— В машину! — скомандовал офицер.

Файнхальс поднялся по импровизированным мосткам в машину — в темном кузове торчали чьи-то головы, стволы винтовок. Все молчали. Лишь приглядевшись, он понял, что машина битком набита солдатами.

VI

Красный мебельный автофургон медленно ехал по городу. Кузов был наглухо заперт, дверцы с мягкой обивкой закрыты снаружи на засов, на боковых стенках чернела надпись: «Братья Гёре. Будапешт. Перевозим любые грузы». Машина больше не останавливалась. Из люка на крыше вынырнула голова человека, он внимательно разглядывал улицы и время от времени наклонялся, переговариваясь с сидевшими в кузове.

Человек видел освещенные кафе, по-летнему одетых людей, в павильонах ели мороженое. Вдруг его внимание привлек зеленый мебельный автофургон, который пытался на широком бульваре обогнать их, но не сумел проскочить. За рулем сидел солдат в серой походной форме, рядом с ним другой — с автоматом на коленях. Люк на крыше зеленого фургона был затянут колючей проволокой. Машина шла следом за тяжело пыхтевшим красным фургоном, водитель нетерпеливо сигналил.

Только на большом перекрестке, когда дорога стала просторней и шире, зеленый фургон ловко обошел красный и быстро промчался мимо него. Человек, глядевший из люка, заметил, что зеленый фургон свернул и пошел, судя по всему, на север, их же машина шла в противоположном направлении, почти прямо на юг.

Человек становился все мрачней. Он был маленький, щуплый, немолодой. Когда проехали немного дальше, он нагнул голову и закричал в темноту кузова:

— Ясное дело, везут за город, домов все меньше и меньше!

Ему ответил глухой, стонущий гул голосов, а машина сразу набрала скорость и пошла быстрее, чем

можно было ожидать от такой тяжелой громадины. Дорога стала пустынной, темнело. В воздухе стоял пряный аромат осени. Сквозь густые ветви деревьев провисал туман. Человек опять наклонил голову и крикнул вниз:

— Домов больше не видно, проселок, идем к югу!

Гул внизу усилился, а машина пошла еще быстрее. Человек был утомлен, он совершил дальнюю поездку по железной дороге, а теперь стоял на плечах двух мужчин разного роста и это утомляло его еще больше. Ему хотелось присесть, но, на свою беду, он оказался самым маленьким и худощавым из всех ехавших в фургоне, и его поставили смотреть, что происходит на дороге. Долго, очень долго на дороге ничего не было видно. Когда стоявшие внизу дернули его за ногу, желая узнать, что случилось, почему он умолк, он ответил, что ничего не видит, кроме темнеющих вдаль полей и деревьев вдоль шоссе.

Вскоре у кювета он заметил двух солдат возле мотоцикла. Солдаты шарили фонариком по карте. Когда фургон поравнялся с ними, они на миг подняли головы. Затем какое-то время человек в люке не видел ничего примечательного, пока они не поравнялись с остановившейся танковой колонной. Один танк был поврежден, какой-то парень лежал под ним на животе, другой светил ему карбидной лампой. Быстро скользили мимо них крестьянские хаты, темные крестьянские хаты, а слева фургон обогнала идущая на большой скорости колонна грузовиков, набитых солдатами. Вслед за грузовиками, опережая их, промчалась юркая серая машина с командным флажком. Возле придорожного сарая сделала привал какая-то пехотная часть, вид у солдат был усталый, некоторые курили, лежа на земле. Автофургон пересек деревню, и вскоре человек, выглядывавший из люка, услышал первые выстрелы: била тяжелая батарея, справа от дороги. Длинные черные стволы орудий уставились в темно-синее небо. Кровавые вспышки пламени вырывались из жерл, и мягкие красноватые отблески падали на стену амбара. Человек испугался — он никогда еще не слышал выстрелов, его сковал страх. У него был больной, очень больной желудок, фамилия его была Финк, в чине унтер-офицера он служил буфетчиком в большом госпитале, стоявшем сейчас в Линце, на Дунае. Ему сразу стало не по себе, когда начальник послал его в Венгрию раздобыть то-

кайское — токайское и ликеры и, если удастся, шампанское. Придумал же, в Венгрию за шампанским! Откуда оно там? Что верно, то верно — он, Финк, единственный человек в госпитале, который отличит настоящее токайское от подделки, и, как ни говори — не перевелось же еще токайское в Токае!

Начальник госпиталя, Гинцлер, любил побаловать себя токайским, но на сей раз он хотел, видно, сделать сюрприз своему собутыльнику и партнеру по скауту полковнику Брессену, — обращаясь к нему, все невольно говорили «фон Брессен», потому что тонкое, породистое лицо полковника и сверкавший у него на шее высший орден — такой не часто встретишь — придавали ему весьма значительный вид. У себя дома Финк держал винный погребок, он знал людей и понимал, что начальник просто хотел пустить пыль в глаза. Пятьдесят бутылок настоящего токайского! Наверно, пари проиграл или что-то в этом роде, скорей всего Брессен и подбил его на эту затею.

Финк поехал в Токай и раздобыл там пятьдесят бутылок вина, к его собственному удивлению, настоящего токайского. Финк вырос в городе виноделов, сам имел виноградники и был хозяином погребка. Он-то уж знал толк в вине и не доверял токайскому, купленному даже в самом Токае. Так или иначе, но бутылками с вином он наполнил чемодан и большую корзину. Чемодан стоял теперь внизу, в фургоне, а корзину пришлось бросить в Сентдёрдь, на вокзале. Он там и оглянуться не успел, как его вместе с другими прямо с поезда загнали в мебельный фургон. Ни протесты, ни ссылки на болезнь — ничто не помогло. Оцепили весь перрон, и волей-неволей пришлось лезть в ожидавшую у вокзала машину. Некоторые взбунтовались, подняли было крик, но конвойные стояли как истуканы.

Финк опасался за свое токайское — его начальник был тонким знатоком вин и человеком очень щепетильным в вопросах чести. Можно не сомневаться, что он дал слово Брессену в воскресенье распить с ним бутылку-другую токайского. Наверно, даже час назначил. Но сегодня четверг, пожалуй, даже пятница, светает уже — они едут к югу, и вряд ли он теперь доберется до Линца в воскресенье к вечеру. Финку было страшно, он боялся своего начальника, да и полковника тоже. Не нравился ему этот полковник. Он знал о нем кое-что...

Но кому об этом скажешь? Кто поверит? Такая мерзость! И сам бы не поверил, если бы не видел своими глазами, очень хорошо видел. Он знал, что ждет его, если полковник заметит, что он это видел. По несколько раз в день он заходил в палату полковника, приносил ему еду, что-нибудь выпить, иногда книги. Брессена в госпитале всячески ублажали. Однажды вечером он вошел к нему, не постучавшись, и тут, в полумраке, он и увидел это, увидел отвратительную гримасу на бледном старческом лице. В тот вечер Финку кусок не лез в горло. У них дома, если поймают мальчишку за таким делом, его тут же окатят холодной водой — и помогает...

Финка опять потянули за ногу, и он крикнул вниз, что видел пушки, батарею, ведущую огонь. В фургоне завопили.

Постепенно тьма поглотила отблески оружейного огня, и гром выстрелов, еще недавно ужасающе близкий, казался теперь далеким, как раньше разрывы снарядов, в полосу которых они теперь въезжали. Машина шла дальше — мимо танков, мимо остановившихся танковых колонн, а потом у колодца он увидел другую батарею, здесь пушки были поменьше. В резких и скупых вспышках выстрелов, будто темная виселица, поднимался над колодцем журавль. И опять на время дорога опустела, потом показалась еще одна батарея. Потом Финк услышал трескотню пулеметов: они ехали как раз в ту сторону, откуда доносились пулеметные очереди.

Вдруг они остановились в какой-то деревушке. Финк спрыгнул вниз и вместе с другими выбрался из фургона. Кругом шла невероятная кутерьма: всюду стояли машины, слышались крики, по улице метались солдаты, все отчетливей доносились пулеметные очереди.

Файнхальс шел позади унтер-офицера, который всю дорогу глядел из люка на крыше фургона. Согнувшись, унтер-офицер тащил свой тяжелый чемодан, а сам он был такой маленький, что приклад его винтовки волочился по земле. Файнхальс пристегнул вещевой мешок к поясу и, широко зашагав, догнал унтер-офицера.

— Давай помогу! — сказал он. — Что там у тебя в чемодане?

— Вино, — задыхаясь, ответил маленький унтер, — вино для нашего начальника.

— Рехнулся ты, что ли? Брось его, не потащишь же ты на передовую чемодан с вином!

Маленький унтер упрямо затряс головой, и Файнхальс понес чемодан вместе с ним. От усталости унтер-офицер еле передвигал ноги, его шатало, он печально покачивал головой и благодарно кивнул, когда Файнхальс ухватился за ручку. Чемодан оказался невероятно тяжелым.

Пулемет справа прекратил огонь. Теперь деревню обстреливали русские танки. Позади затрещали расщепленные балки, забегали огненные блики и мягко осветили грязную, изрытую воронками улицу.

— Да брось ты эту штуку,— сказал Файнхальс,— не сходи с ума!

Унтер-офицер ничего не ответил, он, казалось, еще крепче ухватился за ручку чемодана. Позади них загорелся еще один дом. Лейтенант, шедший впереди, вдруг остановился и крикнул:

— Пойдите здесь, возле этого дома!

Они подошли к дому, на который он указал. Маленький унтер приткнулся у стены и уселся на свой чемодан. Теперь смолк и пулемет слева. Лейтенант вошел в дом и вскоре вернулся с другим офицером — обер-лейтенантом. Файнхальс сразу узнал его. Солдат построили, и Файнхальс был уверен, что даже сейчас, в красноватых сумерках, обер-лейтенант попытается разглядеть их ордена. У самого обер-лейтенанта стало одним отличием больше, теперь у него был настоящий орден, вернее — орденская колодка, красовавшаяся на его груди, пополнилась черно-бело-красной ленточкой. «Слава богу, сподобился наконец!» — подумал Файнхальс. С минуту обер-лейтенант, улыбаясь, смотрел на них и бросил через плечо стоявшему позади него лейтенанту:

— Прекрасно!

Опять улыбнулся и повторил:

— Прекрасно, не правда ли?

Лейтенант промолчал. Только теперь солдаты разглядели его как следует. Он был невысокий, бледный, не первой молодости, на давно не мытом лице застыло сосредоточенное выражение. На груди ни единого ордена.

— Господин Брехт! — сказал, обращаясь к нему, обер-лейтенант. — Вы возьмете для подкрепления двух человек. Прихватите с собой и фаустпатроны. Чело-

век четырех подкинем Ундольфу. Остальных оставляю при себе.

— Слушаюсь! — сказал Брехт. — Взять двоих и прихватить фаустпатроны.

— Совершенно верно! — ответил обер-лейтенант. — Вы ведь знаете, где они лежат?

— Так точно!

— Через полчаса доложите исполнение.

— Слушаюсь!

Лейтенант ткнул в грудь Файнхальса, потом Финка, стоявших первыми в шеренге, сказал им: «За мной!» — повернулся и быстро, не оглядываясь, пошел вперед. Они заторопились, чтобы поспеть за ним. Маленький унтер подхватил свой чемодан. Файнхальс тоже взялся за ручку. Они шли быстро, изо всех сил стараясь не отстать от низенького лейтенанта. За домом они свернули направо и узким проулком, мимо плетней и огородов, вышли за околицу села. Дальше тянулись поля. Впереди было тихо, но за спиной у них то и дело рвались снаряды — танк все еще обстреливал деревню. Грохот доносился и слева — легкая батарея, мимо которой они недавно проезжали, была теперь примерно туда, куда они шли.

— Ложись! — вдруг крикнул Файнхальс и бросился на землю. Чемодан вывалился у них из рук, послышался звон стекла. Лейтенант тоже припал к земле. Впереди рвались мины — русские минометы вели по деревне беглый огонь. Мины ложились густо. Осколки свистели в воздухе, градом ударялись в стены домов. Несколько крупных осколков, жужжа, пронеслось неподалеку от них.

— Перебежка! — заорал лейтенант. — Вперед!

— Минутку! — крикнул Файнхальс.

Он сжался в комок, услышав опять этот характерный, тонкий, даже веселый посвист. Мина угодила в чемодан Финка, раздался чудовищный треск, сорванная крышка с диким свистом пролетела над ними и ударилась о дерево метрах в двадцати. Как стая обезумевших птиц, закружились в воздухе осколки стекла, в затылок Файнхальсу брызнуло вино, он испуганно пригнулся к земле: этого залпа он не услышал, снаряд разорвался впереди, на лугу, раскинувшимся за небольшим холмом. Стог сена, черным силуэтом высившийся на фоне багровых отсветов орудийного

огня, вдруг развалился, задымил, и изнутри его, словно факелы, высоко взметнулись языки пламени.

Лейтенант сполз назад, в ложбинку.

— Дело дрянь,— шепнул он Файнхальсу,— что тут случилось?

— Вино у него в чемодане было,— так же шепотом ответил Файнхальс.— Эй, послушай,— негромко окликнул он Финка. Темная, скрюченная фигура возле чемодана не шелохнулась.

— Черт возьми! — тихонько сказал лейтенант.— Неужели...

Файнхальс прополз два шага, отделявшие его от Финка; ткнувшись головой о его сапог, он подтянулся на локтях еще ближе. Они были в узкой, словно ущелье, ложбинке, свет от горящего стога не проникал сюда, но весь луг уже охватило яркое зарево.

— Послушай,— опять тихонько позвал Файнхальс. В нос ему ударил приторный аромат пролитого вина. Его руки наткнулись на стеклянные осколки, он быстро отдернул их, а потом осторожно ощупал Финка с ног до головы и поразился малому росту унтера — он был щуплый, коротконогий.

— Эй, отзовись, друг,— снова окликнул он Финка, но Финк не отвечал.

— Ну что? — спросил подползший тем временем лейтенант. Файнхальс продолжал ощупывать, его рука окунулась в кровь, он почувствовал, что это уже не вино, а кровь.

Отдернув руку, он тихо сказал:

— Кажется, мертв. Большая рана на спине, кровь хлещет... Фонарик есть у вас?

— Есть. Вы думаете...

— Может, вытащим его на луг?..

— Вино,— сказал лейтенант,— полный чемодан вина... Зачем оно ему понадобилось?

— Для столовой, наверно.

Финк был не тяжелый. Пригнувшись, они перешли через дорогу, потом взобрались по травянистому откосу на луг и уложили его лицом вниз. Спина Финка почернела от крови. Файнхальс осторожно повернул его и впервые увидел лицо Финка — нежное, удивительно тонкое, еще влажное от пота. Густые черные волосы прилипли у него ко лбу.

— Бог ты мой! — воскликнул Файнхальс.

— Что там?

— Его ударило спереди, в грудь. Осколок с кулак величиной.

— В грудь, не в спину?

— В грудь! Он, видно, стоял на коленях возле своего чемодана.

— На коленях? По уставу так не положено,— усмехнулся лейтенант, но собственная шутка пришлась ему не по душе.— Заберите у него солдатскую книжку и опознавательный жетон!

Файнхальс расстегнул окровавленную гимнастерку и стал осторожно ощупывать шею Финка, пока рука его не набрела на кусок окровавленной жести. Солдатскую книжку он нашел сразу, она лежала в левом нагрудном кармане и не намокла.

— Черт возьми! — услышал он за спиной голос лейтенанта.— Чемодан и сейчас еще тяжелый.— Лейтенант поволок чемодан через дорогу, ухватив за ремень и винтовку Финка.

— Взяли вещи? — спросил он у Файнхальса.

— Да.

— Ну, тогда пошли дальше.

Лейтенант, приподняв чемодан за край, тянул его за собой. Когда они выбрались из ложбинки, он шепнул Файнхальсу:

— Держите левой, к каменной ограде! И чемодан подталкивайте! — Он пополз вперед по невысокому откосу, Файнхальс медленно полз за ним следом, подталкивая чемодан. У ограды, которая пересекала им путь, они встали на ноги и огляделись. От горящей копны шел яркий свет, и они могли теперь видеть друг друга. На мгновение взгляды их встретились?

— Как ваша фамилия? — спросил лейтенант.

— Файнхальс.

— Брехт! — отрекомендовался лейтенант и смущенно усмехнулся.— Должен сознаться, что зверски хочу пить.

Он склонился над чемоданом, оттащил его в сторону, туда, где трава была погуще, и осторожно опрокинул. Тихонько звякнуло и задребезжало стекло.

— Вот дела! — воскликнул Брехт и поднял уцелевшую пузатую бутылочку.— Токайское!

Этикетка, влажная от крови и пролитого вина, расползлась под рукой. Файнхальс смотрел, как лейтенант осторожно вынимает из чемодана куски стекла. Буты-

лок пять как будто уцелело. Брехт вытащил из кармана перочинный нож, откупорил одну и стал пить.

— Чудо вино! — сказал он, отняв ото рта бутылку. — Хотите?

— Спасибо! — ответил Файнхальс. Он взял бутылку и сделал глоток — вино показалось ему слишком сладким, он вернул бутылку и еще раз поблагодарил.

Русские минометы снова ожили, но теперь они перенесли огонь в глубину деревни. Вдруг где-то рядом застрекотал пулемет.

— Слава богу, — сказал Брехт, — я уж думал, что им тоже крышка! — Осушив бутылку до дна, он отшвырнул ее, и она покатилась в овраг. — Нам нужно пробираться влево от этой стены.

Сверху копна полыхала ярким пламенем, но нижний слой еще только тлел. Сыпались искры.

— Вы как будто человек разумный, — сказал лейтенант.

Файнхальс молчал.

— И, стало быть, понимаете, — продолжал лейтенант, откупоривая вторую бутылку, — что все это дерьмо. Все! Вся эта война!

Файнхальс молчал.

— Дерьмо, да и только! Конечно, выигрывая войну, так не скажешь. А вот про эту войну — прямо скажу, что она препохабная!

— Да, — подтвердил Файнхальс, — похабная война, что и говорить. — Частые пулеметные очереди где-то совсем близко раздражали его. — Где у вас стоит пулемет? — спросил он приглушенно.

— Вон там, где кончается каменная ограда. За стеной. Тут усадьба. А пулемет я поставил позади дома.

Пулемет дал еще несколько коротких отрывистых очередей и умолк. В ответ застрочил русский пулемет, они услышали винтовочные выстрелы, а потом немецкий и русский пулеметы строчили одновременно, и вдруг наступила тишина.

— Дерьмо все это! — сказал лейтенант.

Копна догорала, пламя опало, слегка потрескивало обуглившееся сено, темнота быстро сгущалась. Лейтенант протянул Файнхальсу бутылку. Файнхальс отрицательно качнул головой.

— Спасибо, не по мне вино, слишком сладкое! — сказал он.

— Давно в пехоте? — спросил лейтенант.

— Да, — ответил Файнхальс, — четыре года.

— Нет, подумать только, — воскликнул лейтенант, — нелепость какая! А я-то ведь в пехотном деле мало смыслю, на практике и вовсе ничего. Я прямо говорю об этом, тут не соврешь. Я летчик-истребитель, два года учился, недавно закончил училище. Подготовка моя влетела государству в копейку, можно было выстроить несколько хорошеньких коттеджей за такие деньги. И все это только для того, чтобы теперь я рыл носом землю в пехоте, отдал богу душу и с полной выкладкой на горбу вознесся прямо в рай? Дерьмо! Верно я говорю? — И Брехт опять приложился к бутылке.

Файнхальс молчал.

— Что тут сделаешь, если противник сильнее, — упрямо продолжал лейтенант. — Еще два дня тому назад мы были в двадцати километрах отсюда, а кругом все трубят, что мы не отступаем. Как это в уставе сказано: немецкий солдат не сдает занятых позиций, он стоит насмерть?! — или что-то в этом роде. Но кто теперь этому верит? Я не слепой и не глухой, — заключил он серьезным тоном, — что дальше делать?

— Придется, наверно, драпать, — отозвался Файнхальс.

— Вот именно, — драпать! Превосходно! — негромко рассмеялся лейтенант. — В нашем добром прусском уставе есть пробел — в боевой подготовке не предусмотрено отступление. Вот и приходится осваивать его на практике. Наверно, наш устав единственный в мире, в котором ничего не говорится об отступлении, а только об активной обороне, но их уже не остановить никакой активной обороной. Пошли!

Брехт сунул две бутылки в карманы.

— Пойдемте, — сказал он, — пойдем опять на эту распрекрасную войну! Господи, и дотащил же он сюда вино, бедняга!

Файнхальс побрел за лейтенантом. Обогнув ограду, они слышали топот бегущих им навстречу людей. Они были уже совсем близко. Лейтенант отскочил назад, за угол, взял на изготовку автомат и шепнул Файнхальсу:

— Имеем шанс заработать бляху на груди!
Но Файнхальс видел, что он дрожит.

— Черт! — опять шепнул лейтенант.— Придется и впрямь воевать!

Топот приближался, слышно было, что люди за стеной уже не бежали, а перешли на шаг.

— Чепуха,— тихо сказал Файнхальс,— это не русские.

Лейтенант молчал.

— Зачем бы русским понадобилось бежать и так шумно топтать...

Лейтенант все молчал.

— Это же ваши солдаты,— сказал Файнхальс.

Шаги слышались уже совсем рядом. Бежавшие обогнули ограду. И хотя по очертаниям касок было ясно, что это немцы, лейтенант негромко крикнул:

— Стой! Пароль!

Люди испугались. Файнхальс видел, как они остановились и сбились в кучу.

— Дерьмо! — сказал один.— Пароль дерьмо!

— Танненберг! — произнес другой голос.

— Черт бы вас побрал! — выругался лейтенант.— Что вас сюда принесло? Скорей за ограду! Выставить наблюдателя на углу!

Файнхальс удивился, что солдат так много. В темноте он насчитал человек шесть-семь. Они расселись на траве.

— Есть вино,— сказал лейтенант, достал бутылку и отдал им,— поделитесь!.. Принц! — позвал он.— Фельдфебель Принц! Что там случилось?

Оказалось, что Принц остался у края ограды. Когда он обернулся, Файнхальс увидел, как в темноте блеснули кресты у него на груди.

— Лейтенант,— сказал Принц,— это черт знает что! Слева и справа нас уже обошли, ведь не станете вы доказывать, что здесь, именно здесь, в этой паршивой усадьбе, где стоит наш пулемет, надо держать фронт? Послушайте, лейтенант, фронт на протяжении нескольких сот километров давно уже катится назад. Сдается мне, что на этих ста пятидесяти метрах, где мы стоим, вам рыцарский крест не заслужить. Сейчас самое время убратся, а то попадемся здесь, как зверь в ловушку, и ни одна собака о нас не вспомнит.

— Надо же где-то фронт держать! Все вы здесь?

— Да,— сказал Принц,— все здесь... С нестроевыми и только что выписавшимися из госпиталя фронт не удержишь. Кстати, маленький Генцке ранен, сквоз-

ная рана. Генцке! — тихо окликнул он. — Где ты там?

Тонкая фигура отделилась от стены.

— Хорошо, — сказал лейтенант, — вы пойдете обратно. Файнхальс, идите с ним, перевязочный пункт разместился там, где стоит ваш автобус. Доложите командиру, что пулемет я перенес метров на тридцать назад, и заодно прихватите фаустпатроны. Принц, дайте ему еще человека.

— Веке, — сказал Принц, — иди с ним. Вы тоже в мебельном фургоне приехали? — спросил он Файнхальса.

— Да.

— Как и мы, значит?

— Ступайте! — сказал лейтенант. — Ступайте! Солдатскую книжку отдайте командиру...

— Убит кто-нибудь? — спросил Принц.

— Да, — нетерпеливо бросил лейтенант, — ну, давай! Файнхальс с обоими солдатами не спеша пошел в деревню. Теперь деревню обстреливало несколько танков — с юга и с востока.

Слева на шоссе, ведущем в деревню, слышны были беспорядочная стрельба и крики. Они остановились на мгновение и осмотрелись вокруг.

— Роскошь! — произнес маленький солдат с рукой на перевязи.

Они быстро пошли вперед, но когда выбрались из оврага, раздался оклик:

— Пароль?

— Танненберг! — отозвались они.

— Группа Брехта?

— Да! — крикнул Файнхальс.

— Отходите! Всем немедленно отходить в деревню, собраться на главной улице.

— Беги обратно, — сказал Веке Файнхальсу, — сбегай к нашим, друг.

Файнхальс быстро соскользнул в овраг, взобрался на его противоположный склон и крикнул:

— Эй, лейтенант Брехт!..

— Что случилось?

— Отходим! Всем — в деревню! Сбор на главной улице...

Все потянулись в деревню.

Красный мебельный фургон снова был уже почти полон. Файнхальс не спеша поднялся в кузов, присло-

нился спиной к борту и попытался заснуть. Дикая пальба на шоссе казалась ему до смешного ненужной. Он понял, что стреляют немецкие танки, прикрывая огнем отступление. Стреляли они без толку, да и вообще в этой войне слишком часто без толку стреляли. Видно, так уж повелось с самого начала. Все уже погрузились в машину, кроме майора, раздававшего ордена, и нескольких человек, которым их вручали. Фельдфебель, унтер-офицер и три солдата стояли на вытяжку, а майор, коренастый человек с непокрытой седой головой, торопливо раздавал им кресты и удостоверения. Время от времени он выкрикивал в темноту:

— Грэк! Доктор Грэк! Обер-лейтенант Грэк! — Потом он крикнул: — Брехт! Где лейтенант Брехт?

— Так точно! — отозвался тот изнутри мебельного фургона. Потом Брехт пробрался к открытым дверцам кузова, взял под козырек и крикнул:

— Лейтенант Брехт явился по вашему приказанию, господин майор!

— Где ваш ротный командир?

Вид у майора был не грозный, но чувствовалось, что он раздражен. Солдаты, которым он вручал ордена, не спеша поднимались на подножку и, обходя Брехта, протискивались внутрь фургона.

Майор остался один на деревенской улице, держа в руке Железный крест I степени. Брехт скорчил глупую мину и сказал:

— Понятия не имею, господин майор. Господин Грэк только что приказал мне отвести роту на сборный пункт, он, по всей вероятности... — Брехт запнулся и помолчал. — Господин обер-лейтенант страдает тяжелым колитом...

— Грэк!.. — опять стал звать майор. — Грэк!.. — Потом, покачав головой, он обернулся к Брехту и сказал: — Ваша рота отлично дралась, но мы вынуждены отступить.

Второй немецкий танк на шоссе впереди них стрелял вправо, и легкая батарея позади, как видно, повернула орудия и открыла огонь по той же невидимой цели. В деревне загорелось уже много домов, горела и церковь, она стояла посреди деревни, возвышаясь над всеми домами, и насквозь светилась красноватым пламенем. Мотор фургона заурчал. Майор потоптался в нерешительности у обочины дороги, потом крикнул водителю мебельного фургона:

— Отъезжай!..

Файнхальс достал из кармана солдатскую книжку убитого и прочитал: «Финк, Густав, унтер-офицер, гражданская профессия — трактирщик, местожительство — Вайдесгайм».

— Вайдесгайм! — Файнхальс вздрогнул. Он отлично знал Вайдесгайм — городишко в трех километрах от его родных мест. Он знал и трактир с коричневой вывеской — «Винный погребок Финка. Основан в 1710 году». Он часто проезжал мимо, но ни разу не заглянул туда. Дверца мебельного фургона захлопнулась перед его носом, и машина тронулась в путь.

Грэк тщетно пытался подняться. Надо было бежать к околице деревни, где его ожидали, но силы покинули его. Стоило ему приподняться, как сверлящая боль сводила живот, и он чувствовал непреодолимый позыв опорожнить желудок. Он сел на корточки у низенькой стенки, ограждавшей навозную яму; кишечник почти не действовал, желудок судорожно сокращался, истерзанный непрерывными позывами, но стул шел микроскопическими дозами. Он устал сидеть на корточках, но, только скрючившись в три погибели, он мог терпеть боль. Так он и сидел, ожидая момента, когда кишечник снова начнет понемногу освобождаться и наступит едва ощутимое облегчение. В такие мгновения у него появлялась надежда, что спазмы пройдут, но они тут же снова нарастали. Мучительные, режущие спазмы обессилили его, он не мог идти, не мог даже медленно ползти; он мог бы еще, пожалуй, броситься плашмя на землю и с невероятным трудом подтягиваться на локтях, но все равно он не успел бы вовремя добраться. До сборного пункта оставалось еще метров триста. Когда стрельба ненадолго стихала, он несколько раз слышал, как майор Кренц выкрикивает его имя, но ему теперь почти все уже было безразлично. Он испытывал страшную боль в желудке, режущую, невероятную боль. Грэк приткнулся к стенке навозной ямы, его обнаженный зад мерз, а мучительная, сверлящая боль в кишечнике накапливалась снова и снова, будто взрывчатка; он надеялся, что очередной взрыв принесет облегчение, но каждый раз позыв оказывался ложным, стула почти не было и все повторялось сначала.

Слезы катились по его лицу. Он больше не думал ни о чем, имеющем отношение к войне, хотя вокруг него рвались снаряды, и он отчетливо слышал, как уходили из деревни машины; потом и танки, не прекращая огня, прошли по шоссе к городу. Он слышал все это очень явственно и зримо представлял себе, как окружают деревню. Но боль в животе была сильнее, ближе, важнее — чудовищная боль, и он думал только о боли, которая не прекращалась и лишала его последних сил. Жуткой вереницей, ухмыляясь, проходили перед ним все врачи, к которым он когда-либо обращался, и во главе их был его постылый отец; они окружили его — вся эта бездарь, эти шарлатаны, ни разу не решившиеся сказать ему, что его болезнь — просто результат постоянного недоедания в детские годы.

Снаряд угодил в навозную яму, Грэка обдало с ног до головы зловонной жижей, он ощутил ее на губах и заплакал еще сильнее. Вскоре он понял, что русские сосредоточили огонь на усадьбе. Снаряды пролетали на волосок от него, вихрем пронеслись над ним; словно железные мячи, они рассекали воздух. Позади него со звоном разлетелись оконные стекла, в доме закричала женщина, над ним пронеслись куски щебня и расщепленных балок. Он бросился на землю и, укрывшись за стенкой навозной ямы, стал осторожно натягивать штаны. Хотя кишечник все еще продолжала терзать чудовищная, распиравшая его конвульсивная боль, Грэк медленно пополз вниз, по крутой каменистой тропинке, пытаясь выбраться со двора. Штаны ему в конце концов удалось застегнуть. Но далеко отползти он не смог — боль приковала его к земле. В какое-то мгновение перед ним промелькнула вся его жизнь — калейдоскоп беспросветных страданий и унижений. Существенными и реальными казались ему теперь только его слезы, они стремительно катились по лицу и стекали в налипшие нечистоты — солому, навозную жижу, грязь и сено, вкус которых он ощущал на губах. Он все еще плакал, когда снаряд пробил стропила, поддерживавшие крышу амбара, и все большое деревянное строение, доверху набитое тюками прессованной соломы, рухнуло и погребло его под собой.

У зеленого мебельного автофургона был отличный мотор. Двое солдат в кабине чередовались за рулем, они почти не разговаривали, а если и говорили, то главным образом о моторе. «Силен, черт!» — то и дело повторяли они, покачивая изумленно головами, и как зачарованные прислушивались к мощному, низкому и очень ровному гулу. В моторе не возникало ни малейшего фальшивого, вызывающего опасения звука. Ночь была теплая, безлунная. Они ехали все дальше на север. Местами шоссе было забито армейскими грузовиками и обозами, приходилось останавливаться и ждать, пока рассосется пробка. Случалось, что они тормозили на полном ходу, один раз чуть не врезались в колонну пехоты — до странности беспорядочную толпу людей, ослепленных ярким светом фар. Дороги здесь были узкие, слишком узкие, чтобы дать огромному автофургону свободно разминуться с танковой колонной или войсковой частью на марше. Но чем дальше продвигались на север, тем пустыней становилась дорога, и они подолгу беспрепятственно вели машину на полной скорости. В лучах фар мелькали дома, деревья, иногда на поворотах сноп света уходил в поле, выхватывая из темноты то высокие стебли кукурузы, то кустики помидоров. Под конец шоссе совсем опустело. Солдаты устало позевывали и вскоре остановились передохнуть в какой-то деревушке в стороне от шоссе. Не выходя из кабины, они извлекли еду из вещевых мешков, глотнули горячего, очень крепкого кофе из походных баклажек, открыли плоские круглые консервные банки с шоколадом и неторопливо принялись готовить себе бутерброды, потом откупорили банки с маслом, понюхали, не прогоркло ли, и толстым слоем намазали его на хлеб, а сверху положили по большому кружку колбасы; колбаса была красная, сочная, густо сдобренная перцем. Оба ели с аппетитом. Их серые утомленные лица оживились, и один из них, тот, что сидел слева и первым покончил с едой, закурил сигарету, вытащил из кармана письмо, развернул его и вынул фотокарточку — очаровательная девчушка играла на лужайке с кроликом. Он протянул карточку напарнику.

— Посмотри-ка, славная у меня дочка. правда? — И добавил, смеясь: — Отпускная!

Напарник взглянул на фото и, не переставая жевать, ответил:

— Да, славная! Отпускная, говоришь? Сколько ей?

— Три года.

— А карточки жены у тебя нет?

— Есть.

Сидевший слева полез было за бумажником, но вдруг остановился и сказал:

— Послушай, они совсем с ума посходили!

Из кузова донесся глухой гул голосов, потом раздался пронзительный женский крик.

— Ну-ка, наведи порядок! — сказал тот, что сидел за рулем.

Сидевший слева открыл дверцу кабины, оглядел деревенскую улицу — теплая, безлунная ночь, в домах ни огонька, густо пахло навозом, коровьим навозом, где-то залаяла собака. Человек выскочил из кабины, проклиная про себя непролазную грязь деревенской улицы, и медленно обошел вокруг машины. Снаружи гул из кузова доносился очень слабо, словно тихий ропот, но в деревне уже залаяла вторая собака, потом третья, и вдруг неподалеку засветилось окно и в нем мелькнул силуэт мужчины. Солдату — фамилия его была Шредер — не хотелось открывать тяжелые задние дверцы фургона, он решил, что не стоит утруждать себя; стальной рукояткой автомата он громко постучал в стенку фургона. Внутри все сразу стихло. Тогда Шредер вспрыгнул на колесо и заглянул наверх, чтобы проверить, хорошо ли держится колючая проволока, которой затянут люк. Проволока держалась прочно.

Шредер влез обратно в кабину. Плорин тем временем тоже покончил с едой, теперь он курил, прихлебывал кофе и разглядывал фотокарточку трехлетней девочки, играющей с кроликом.

— Очень милый ребенок, — сказал он и на мгновение поднял глаза на Шредера. — Ну, что, успокоились они там? Так где же карточка жены?

— Сейчас покажу.

Шредер вытащил бумажник из кармана и достал порядком поистертую фотографию. На ней глуповато улыбалась маленькая, несколько располневшая женщина в меховой шубке, с увядшим, утомленным лицом; казалось, что черные туфли на слишком высоком

каблуке жмут ей. Ее густые, тяжелые белокурые волосы были уложены крупными локонами.

— Красивая! — сказал Плорин. — Поехали?

— Да, — сказал Шредер, — трогай! — Он еще раз выглянул из кабины. По всей деревне, надрываясь, лаяли собаки, во многих окнах зажегся свет, с темной улицы доносились голоса — люди о чем-то переговаривались.

Плорин нажал стартер, и мотор сразу завелся. Подождав, пока мотор прогреется, Плорин дал газ, и зеленый автофургон медленно двинулся по деревенской улице.

— Силен, черт! — сказал Плорин. — Силен!

Гул мотора, наполнявший кабину, стоял у них в ушах, и все же, проехав немного, они опять услышали глухой ропот внутри фургона.

— Спой что-нибудь! — предложил Плорин.

Шредер запел. Голос у него был сильный, пел он, правда, неважно — громко и фальшиво, зато душевно. Самые трогательные места он выводил с особенным чувством, порой казалось, что он вот-вот заплачет, но он не плакал, он только пел со слезой. Несколько раз подряд он спел «Хайдемари», это была, видно, его любимая песня. Он пел почти целый час, пел во все горло, а потом напарники поменялись местами, и в кабине запел Плорин.

— Хорошо, что старик не слышит, как мы поем, — смеясь, сказал Плорин. Шредер тоже засмеялся, а Плорин снова запел. Он пел почти все те же песни, что и Шредер, но его любимой песней была «Серые колонны»; эту песню он спел много раз — то протяжно, то быстро; особенно нравились ему строфы, оплакивающие славный, но тяжкий жребий солдата, их он пел особенно протяжно и задушевно, иногда по нескольку раз подряд. Шредер, сидевший теперь за рулем, дал полный газ и, внимательно всматриваясь в дорогу, тихонько насвистывал, вторя Плорину. К ропоту в фургоне они больше не прислушивались.

Похолодало, они укутали ноги одеялами и, продолжая путь, время от времени отхлебывали кофе из своих баклажек. Они перестали петь, но и в кузове машины теперь было тихо. Кругом стояла тишина, все погрузилось в сон, на шоссе было пустынно, из-под колес машины летели брызги воды, видно, недавно здесь прошел дождь; деревни, через которые они про-

езжали, словно вымерли. Рассекая ночь, фары высвечивали отдельные дома, иногда церковь на деревенской площади, — на мгновение они всплывали из тьмы и, пропустив машину, вновь погружались в тьму.

Под утро, часа в четыре, они сделали вторую остановку. Оба устали, их вытянувшиеся лица посерели и покрылись пылью, они едва перебрасывались словом друг с другом. Час, который еще предстояло быть в пути, казался бесконечным. Стояли недолго, прямо на шоссе; сполоснули водкой лица, нехотя пожевали бутерброды, промочили горло остатками кофе и, доев тонизирующий шоколад из плоских жестянок, сунули в рот по сигарете. Подкрепившись, они почувствовали себя лучше, и когда тронулись дальше, Шредер, опять сидевший за рулем, тихонько насвистывал себе под нос, а Плорин, укутавшись в одеяло, спал. В кузове не слышно было ни звука.

Светало, стал накрапывать дождь. Они свернули с шоссе и по узким улицам какой-то деревеньки выбрались в открытое поле, а потом поехали напрямик через лес. Поднялся туман, и когда машина выползла из леса, открылась поляна, на которой стояли бараки, потом потянулся небольшой лесок, за ним еще одна поляна, и наконец зеленый автофургон, громко просигналив, остановился перед огромными воротами, сколоченными из бревен и обвитыми колючей проволокой. У ворот стояла черно-бело-красная караульная будка и сторожевая башня, на площадке которой у пулемета застыл солдат в каске. Ворота распахнулись, часовой, ухмыляясь, заглянул в кабину, и зеленый фургон медленно въехал за ограду.

Водитель толкнул в бок соседа:

— Вставай, приехали!

Они открыли кабину и вылезли из нее, прихватив свои вещевые мешки.

В лесу щебетали птицы, на востоке показалось солнце и осветило зелень деревьев, горизонт был окутан легкой дымкой — все сулило прекрасный день.

Шредер и Плорин, едва волоча ноги, прошли к бараку, стоявшему позади сторожевой башни. Поднявшись на крыльцо, они увидели на лагерной аллее колонну готовых к выезду машин. В лагере было тихо, никаких признаков жизни, и только из труб крематория валил густой дым.

Обершарфюрер, прикорнув у стола, дремал. При

их появлении он испуганно вздрогнул. Устало улыбаясь, они подошли к нему.

— Вот и мы!

Он встал, потянулся и, зевая, сказал:

— Хорошо! — Еще заспанный, он закурил сигарету, пригладил пятерней волосы, надел фуражку, поправил ремень, мельком взглянул в зеркало, протер гноящиеся глаза и спросил: — Сколько привезли?

— Шестьдесят семь! — ответил Шредер и бросил на стол связку бумаг.

— Последние?

— Да, последние! — сказал Шредер. — А тут что нового?

— Сматываемся — сегодня вечером.

— Точно?

— Да. Атмосфера здесь слишком накаляется.

— И куда?

— Курс — Великая Германия, район — Австрия! — усмехнулся обершарфюрер. — Идите отсыпайтесь, — сказал он, — этой ночью отдыха не будет, выступаем вечером, в семь ноль-ноль.

— А как же лагерь? — спросил Плорин.

Шарфюрер — красивый, стройный парень, с каштановыми волосами, — сняв фуражку, тщательно причесался и правой рукой подправил спадавший на лоб чуб.

— Лагерь? — сказал он со вздохом. — Нет больше лагеря, то есть к вечеру его не будет, никого не осталось.

— Никого? — переспросил Плорин; он сел и рукавом стал медленно обтирать свой отсыревший за ночь автомат.

— Никого! — повторил обершарфюрер и, ухмыльнувшись, пожал плечами. — Говорят вам — никого! Поняли?

— Вывезли людей? — спросил Шредер, уже стоя в дверях.

— Черт бы вас побрал! — рассердился шарфюрер. — Перестанете вы мне морочить голову? Я говорю — «никого не осталось», а не «вывезли», хор только вывезут, — он опять ухмыльнулся. — Старик наш совсем рехнулся со своим хором. Вот увидите — он опять потащит его за собой.

— Да ну? Вот как? — в один голос воскликнули шоферы. Шредер добавил:

— Старик и правда помешался на пении.

И все трое расхохотались.

— Мы пошли,— сказал Плорин,— а зеленую колымагу я оставлю у ворот, сил моих больше нет!

— Можешь оставить,— сказал обершарфюрер,— Вилли ее откатит.

— Ну, мы пошли...

Обершарфюрер кивнул и, подойдя к окну, посмотрел на зеленый автофургон, который стоял на лагерной аллее, рядом с головной машиной готовой к выезду автоколонны. В лагере по-прежнему была полнейшая тишина.

Фургон открыли только час спустя, когда пришел оберштурмфюрер Фильскайт. Оберштурмфюрер был среднего роста брюнет, его бледное интеллигентное лицо дышало целомудрием. Он был строг к себе и другим и не терпел ни малейшей расхлябанности. Он неукоснительно выполнял приказы. Кивнув в ответ на приветствие часового, Фильскайт бросил взгляд на фургон и вошел в караульное помещение. Обершарфюрер четко отрапортовал.

— Сколько их? — спросил Фильскайт.

— Шестьдесят семь, господин оберштурмфюрер.

— Отлично! Через час приведите их на пробу голосов,— сказал Фильскайт. Небрежно кивнув, он вышел из караульного помещения и направился на лагерный плац.

Территория лагеря представляла собою квадрат, образованный шестнадцатью бараками — по четыре с каждой стороны. Бараки стояли впритык друг к другу, но на южной стороне был оставлен неширокий проход к воротам. По углам квадрата высились сторожевые башни. В центре расположились кухни и клозеты; за восточной башней находилась баня, а за баней — крематорий.

В лагере была полнейшая тишина, только один из часовых, тот, что стоял на северо-восточной башне, тихонько напевал, больше никто не нарушал тишину. Из кухонного барака поднимался легкий синий дымок, а из крематория тяжелыми клубами валил черный дым, который, к счастью, ветром относило к югу; уже продолжительное время труба крематория ыталкивала густые облака жирной копоти. Фильскайт окинул взглядом лагерь, удовлетворенно кивнул и направился в свой кабинет, расположенный возле кухни. Он бросил на стол фуражку и самодовольно качнул головой — все

было в порядке. При этой мысли можно бы и улыбнуться, но Фильскайт никогда не улыбался. Он находил, что жизнь слишком серьезна, еще серьезней он относился к службе, но самым серьезным считал искусство.

Оберштурмфюрер Фильскайт любил искусство, прежде всего музыку. Он был среднего роста, брюнет, и некоторые находили его бледное интеллигентное лицо красивым, но квадратный, чересчур большой подбородок огрублял тонкие черты и придавал всему лицу выражение совершенно неожиданной и пугающей жестокости.

Фильскайт когда-то учился в консерватории, но он слишком любил музыку, чтобы смотреть на нее трезво, как на профессию. Он поступил на службу в банк, но остался страстным любителем музыки. Его коньком было хоровое пение. Человек он был усердный, честолюбивый, очень надежный, служа в банке, он скоро обнаружил все эти свойства и был назначен начальником отделения. Но подлинной его страстью оставалась музыка, хоровое пение, и всему он предпочитал мужской хор.

В далеком прошлом он некоторое время руководил мужским хором в певческом фереине «Конкордия». Ему тогда только что исполнилось двадцать восемь лет — это было пятнадцать лет назад — и хотя он был дилетант, его избрали руководителем хора. Да и вряд ли нашелся бы профессиональный музыкант, который более горячо и с большей добросовестностью относился бы к задачам фереина. Надо было видеть его бледное, слегка вздрагивающее лицо и тонкие руки, когда он дирижировал хором. Хористы боялись Фильскайта, уж очень он был дотошный — ни одна фальшивая нота не ускользала от него, он неистовствовал, если кому-нибудь случалось дать петуха. Настал час, когда Фильскайт со своей строгостью и неутомимым усердием опротивел почтенным собратьям по фереину «Конкордия», и они выбрали другого руководителем хора.

В ту пору Фильскайт руководил одновременно и церковным хором в своем приходе, хотя и недолюбливал литургии. Но тогда он не упускал ни малейшей возможности получить хор в свое распоряжение. Приходского священника в народе прозвали «святым», это был кроткий, глуповатый человек, который при случае мог напустить на себя строгий вид. Старенький, седой

как лунь, он ничего не понимал в музыке, но неизменно присутствовал на репетициях хора и иногда улыбался про себя. Фильскайт ненавидел его улыбку, в ней была любовь, всепрощающая, мучительная любовь. Лицо священника иногда становилось строгим, и Фильскайт чувствовал, как отвращение к литургии растет в нем вместе с ненавистью к улыбке старика. Улыбка «святого», казалось, говорила: «К чему все это? Зачем? Но все равно, я и тебя люблю». Фильскайт не хотел, чтобы его любили, и проникался все большей ненавистью к церковному пению и к улыбке священника, когда же «Конкордия» отказалась от его услуг, он покинул и церковный хор. Он часто вспоминал об этой улыбке, об этой призрачной суровости, об этом «еврейском», как он его называл, всепрощении; о взгляде старика священника — трезвом, как ему казалось, и в то же время полном любви к ближнему, — и лютая мука и ненависть жгли ему сердце.

Его преемником в «Конкордии» стал учитель гимназии — он любил хорошие сигары, пиво и пошлые анекдоты. Ко всему этому Фильскайт питал отвращение: он не пил, не курил и не интересовался женщинами.

Расовую теорию Фильскайт воспринял как осуществление своих сокровенных идеалов; вскоре он вступил в «гитлерюгенд» и, быстро сделав там карьеру, возглавил в одном из округов работу по музыкальному воспитанию — создавал хоры, ансамбли хоровой декламации и вскоре открыл свое истинное призвание — смешанный хор. Фильскайт жил в убогой, по-казарменному обставленной комнате на окраине Дюссельдорфа. Изредка наезжая домой, он все свободное время посвящал изучению литературы о хоровом пении и проглатывал все книги по расовым проблемам, попадавшие ему в руки. Результатом этих длительных и усердных изысканий явился его собственный труд, озаглавленный «Хоровое пение в его связи с расовой спецификой». Он послал свой труд в одну из государственных музыкальных школ, и ему вернули его сочинение с ироническими замечаниями на полях. Лишь позднее Фильскайт узнал, что директором этой школы был еврей по фамилии Нойман.

В 1933 году он окончательно расстался с банком, чтобы целиком посвятить себя музыкально-воспитательной работе в самой партии. Его статья получила по-

ложительную оценку в другой музыкальной школе и после некоторых сокращений была напечатана в каком-то музыкальном журнале. Фильскайт и сам стал сочинять музыку. Он был в чине обербанфюрера в «гитлерюгенд», но его мужские хоры, смешанные хоры и ансамбли декламаторов пользовались доброй славой и у штурмовиков и у эсэсовцев. У него был неоспоримый дар руководителя. Когда началась война, он упорно отказывался от «брони», рвался на фронт и добивался зачисления в эсэсовские части «Мертвая голова», но его ходатайство дважды отклонили,— потому что он был черноволос, мал ростом и явно принадлежал к пикническому типу. Никто и не подозревал, что дома Фильскайт часами простаивал перед зеркалом и в полном отчаянии снова и снова убеждался в очевидной истине: он не принадлежал к расе Лоэнгрин, которую боготворил.

И все же после третьего ходатайства Фильскайта приняли в эсэсовскую часть, поскольку нацистская партия дала ему отличные рекомендации.

В первые годы войны его репутация знатока хорошего пения принесла ему много страданий: вместо фронта он попал на военно-музыкальные курсы, потом сам стал руководителем таких курсов, а под конец руководил семинаром для руководителей курсов. Он руководил хорами целых эсэсовских армий, и одним из его шедевров был хор легионеров тринадцати национальностей. Легионеры пели на восемнадцати разных языках, но несмотря на это, исключительно слаженно исполняли хор из «Тангейзера». Позднее Фильскайта наградили крестом «За военные заслуги» I степени, одной из редчайших военных наград. Он по-прежнему рвался на фронт. Но лишь после двадцатого рапорта его командировали на особые курсы, и оттуда он наконец попал в действующую армию. В 1943 году он получил под начало небольшой концлагерь в Германии, а в 1944-м стал комендантом одного из венгерских гетто. Позднее, когда началось новое наступление русских и гетто пришлось эвакуировать, Фильскайта перевели в этот небольшой лагерь на севере Венгрии.

Неукоснительное выполнение любого приказа было для него делом чести. Он сразу оценил необычайную музыкальную одаренность своих заключенных. Это вообще поражало его в евреях. В лагере Фильскайт разработал особую систему отбора: каждый новый заключенный препровождался к нему на пробу голоса.

На учетной карточке Фильскайт отмечал певческие способности новичка баллом от нуля до десяти. Нуль он выставял лишь немногим — они сразу же поступали в лагерный хор, а те, кому доставался балл десять, только день-другой оставались в живых. При отправке заключенных в другие лагеря Фильскайт сам делал отбор, стараясь сохранить группу хороших певцов и певиц, и его хор всегда был полностью укомплектован. Этим хором он руководил с не меньшей строгостью, чем в свое время хором в ферейне «Конкордия». Лагерный хор был его гордостью. Он вышел бы с ним победителем на любом хоровом смотре, но, увы, публикой на концертах хора были только полумертвые узники да лагерная охрана.

Приказы для Фильскайта были более святы, чем музыка. В последнее время многочисленные приказы ослабили его хор. Гетто и лагеря в Венгрии были ликвидированы, больших лагерей, куда он раньше пересылал евреев, уже не существовало, а его маленький лагерь был расположен в стороне от железной дороги. Пришлось уничтожать заключенных на месте. Но и теперь в лагере оставалось еще достаточно служб — кухня, крематорий, бани,— чтобы сохранить по крайней мере лучших певцов.

Фильскайт неохотно уничтожал людей. Сам он еще никого не убил, и его страшно угнетало то, что он не может убивать. Но он понимал, что это необходимо, он преклонялся перед мудростью приказов и пунктуально выполнял их. Личное участие он считал делом не столь уж важным, главное — понять необходимость этих приказов, уважать их и выполнять...

Фильскайт подошел к окну и увидел, что позади зеленого автофургона остановились еще два грузовика. Усталые шоферы вылезли из кабин и медленно поднялись по ступенькам в караульное помещение.

Гауптшарфюрер Блауэрт в сопровождении пяти человек прошел в ворота и открыл большие, тяжелые, с мягкой обивкой дверцы мебельного фургона. Люди внутри закричали. Дневной свет ослепил их, и они кричали — надрывно, долго, а потом стали выпрыгивать из фургона и, шатаясь, пошли туда, куда им указывал Блауэрт.

Первой была молодая женщина — темноволосая, в зеленом перепачканном пальто. Очевидно, платье на ней было разорвано — она опасно придерживала од-

ной рукой пальто, а другой прижимала к себе девочку лет двенадцати. У обеих не было никаких вещей.

Люди вылезали из фургона и строились на лагерном плацу. Фильскайт про себя пересчитывал их. Здесь были мужчины, женщины, дети,— люди разного возраста, по-разному одетые, совершенно непохожие друг на друга. «Шестьдесят один человек»,— отметил Фильскайт. Из фургона больше никто не показывался — стало быть, шесть человек умерло. Зеленый фургон медленно проехал вперед и остановился перед крематорием. Фильскайт удовлетворенно кивнул. Из кузова скинули шесть трупов и поволокли их в барак.

Вещи прибывших свалили в кучу перед караульным помещением. Люди соскакивали на землю и с двух грузовиков, стоявших за мебельным фургоном. Фильскайт считал медленно смыкавшиеся шеренги. Получилось двадцать девять шеренг по пяти человек. Гауптшарфюрер Блауэрт закричал в мегафон:

— Слушайте все! Вы находитесь в пересыльном лагере. Пробудете вы здесь недолго. Сейчас по одному проходите в канцелярию, а оттуда к господину коменданту, он лично опросит каждого, потом все пройдут санпропускник и дезинфекцию и после этого получат горячий кофе. Кто окажет малейшее сопротивление, будет пристрелен на месте.— Блауэрт кивнул в сторону пятерых солдат, стоявших за его спиной с автоматами на изготовку, и на сторожевые башни с пулеметами, направленными теперь на лагерный плац.

Фильскайт нетерпеливо шагал взад и вперед по комнате, то и дело подходя к окну. Он заметил среди прибывших несколько белокурых евреев. В Венгрии вообще часто встречались белокурые евреи. Фильскайт ненавидел их еще больше, чем темноволосых, несмотря на то, что многие из них могли бы украсить любой альбом с портретами представителей нордической расы.

В окно Фильскайт видел, как первой в канцелярию поднялась женщина в зеленом пальто и разорванном платье. Он сел, вытащил из кобуры пистолет и, сняв его с предохранителя, положил перед собой на стол. Через несколько минут она войдет сюда и будет петь.

Последние десять часов Илона непрерывно ждала, когда же придет настоящий страх. Но страха не было. Немало вытерпела и пережила она за эти десять часов: отвращение и гадливость, голод и жажду; когда же ей удавалось забыться — иногда на миг, а иногда

и на четверть часа,— она испытывала какое-то странное, холодное блаженство; она чуть не задохнулась в машине, когда в лицо ей вдруг ударил свет и она поняла, что всему конец. Но страха она ждала тщетно. Страх не приходил. Мир, в котором она жила вот уже десять часов, был призрачный, как действительность, окружавшая ее, призрачный, как все то, что она не раз слышала об этой действительности. Но, оказывается, слушать об этом было страшнее, чем испытать все самой. Из немногих желаний, какие еще жили в ней, самым сильным теперь было — остаться одной и искренне помолиться.

Она совсем иначе представляла себе, как сложится ее жизнь. До сих пор ее жизнь была светлой, красивой, почти такой, как она мечтала, хотя Илона давно уже поняла, что ее мечтам не суждено осуществиться; но того, что случилось теперь, она не ждала, до последнего дня она надеялась, что судьба пощадит ее.

Теперь ей уж недолго мучиться. Если все и дальше пойдет так гладко, то самое большее через полчаса ее уже не будет в живых. Ей повезло, она была первой. Она хорошо знала, о каких банях говорил тот человек с мегафоном, и она подумала о мучительной агонии, которая протянется минут десять. Но это казалось еще таким далеким, что не вызывало в ней страха. В кузове автофургона ей довелось испытать много ужасного, неведомого раньше, но все это внутренне не задело ее. Кто-то пытался ее изнасиловать — какой-то парень, его похоть обожгла ее в темноте, — теперь в толпе она тщетно пыталась узнать его. Другой защитил ее — пожилой человек, судя по голосу; потом он шепотом рассказал ей, что арестовали его из-за пары штанов, из-за одной только пары старых штанов, купленных им у немецкого офицера. Но и этого человека она не могла теперь узнать. Тот молодой парень тискал в темноте ее груди, разорвал на ней платье, целовал в затылок. К счастью, старику удалось оторвать от него Илону. И торт у нее из рук выбили — небольшой пакет, единственное, что она захватила с собой, — торт упал, и когда она в темноте шарила руками по полу, ей попались лишь раскрошенные кусочки, пропитанные грязью и сливочным кремом. Вместе с Марией она ела их. В кармане у Илоны тоже лежал кусок раздавленного торта, и когда несколько часов спустя она вспомнила о нем, он оказался удивительно вкусным; она вытаски-

вала маленькие, липкие кусочки из кармана, давала ребенку и ела сама, и он был изумительно вкусен — этот искрошенный, испачканный торт, остатки которого она выживала из кармана.

Несколько человек вскрыли себе вены, они безмолвно истекали кровью в углу фургона, только едва слышны были странные хрипы и стоны. Вскоре стоявшие рядом заскользили в луже крови и стали кричать, обезумев от ужаса. Но тут караульный застучал в стенку фургона, и они умолкли. Нечеловечески жутко прозвучал этот стук — человек не мог так стучать, — но их уже давно окружали не люди...

Страха не было, но не было и сожаления ни о чем, хотя она и понимала, каким безрассудством, каким полнейшим безрассудством было расстаться с тем солдатом, чье имя она даже толком не успела узнать, — он так нравился ей. В квартире родителей она уже никого не застала, она нашла там только мятущуюся, испуганную дочурку своей сестры, малютку Марию. Девочка пришла из школы в пустую квартиру. Соседи рассказали, что ее родителей и дедушку с бабушкой забрали еще в обед. Они с Марией тотчас побежали в гетто, надеясь там отыскать их. Чистое безумие! Как всегда, они прошли туда через черный ход парикмахерской, задыхаясь, они мчались по пустынным улицам и успели как раз, чтобы их втолкнули в готовый для отправки мебельный фургон; они надеялись, что в фургоне встретят родных. Но ни родителей Марии, ни родителей Илоны там не было. Илону поразило, что никому из соседей не пришла в голову мысль вовремя разыскать ее в школе и предупредить, но ведь и Мария не догадалась этого сделать. Впрочем, если бы кто-нибудь и предупредил ее, это тоже вряд ли помогло бы... В машине кто-то сунул ей в рот зажженную сигарету, потом она узнала, что это и был тот самый портной, которого забрали из-за брюк. Она курила впервые в жизни, курить было приятно, сигарета успокоила ее. Она не знала, как зовут ее защитника, никто не называл себя — ни тот похотливый, сопевший парень, ни ее защитник, а когда вспыхивала спичка, все лица казались одинаковыми — жуткие лица, искаженные страхом и ненавистью.

И все же в фургоне она подолгу молилась. В монастыре Илона выучила наизусть все молитвы, все литании и большие отрывки из праздничных литургий, —

как хорошо, что она их помнит. Молитва наполняла ее спокойной радостью. Илона ничего не просила у бога — ни свободы, ни жизни, ни избавления от мук, ни даже быстрой, безболезненной смерти — она просто молилась и была рада, когда ей удалось прислониться к мягкой обивке дверец фургона; теперь по крайней мере за спиной у нее никого не было. До этого она стояла лицом к дверцам фургона, спиной к другим, и когда, обессилев, она упала прямо на людей, — стоявшего сзади мужчину вдруг охватило слепое, безумное желание. Эта душившая его похоть испугала, но не оскорбила Илону. Скорее напротив, в ней шевельнулось что-то вроде сочувствия к этому незнакомому человеку...

Она была рада, когда ей удалось прислониться к мягкой обивке, некогда предохранявшей дорогую мебель при перевозках — теперь по крайней мере за спиной у нее никого не было. Она крепко прижимала к себе Марию и была рада, что ребенок спит. Она попыталась молиться так же горячо и искренне, как всегда, но не смогла — молитва получалась какая-то холодная, рассудочная. Илона совсем иначе представляла себе, как сложится ее жизнь: в двадцать три года она сдала государственный экзамен, потом ушла в монастырь. Родные были огорчены, но согласились с ее решением. Целый год она пробыла в монастыре — прекрасная пора; и если бы она постриглась в монахини, она, наверно, была бы теперь настоятельницей в каком-нибудь уютном монастыре в Аргентине. Но она не стала монахиней, слишком сильно в ней было желание выйти замуж и иметь детей. Весь год, что Илона пробыла в монастыре, она не могла подавить в себе это желание и возвратилась в мир. Одаренная учительница, она с увлечением вела свои предметы — немецкий язык и музыку. Детей она любила. Особенно нравилось ей детское пение. Оно казалось ей воплощением прекрасного. Школьный хор, выпестованный ею, был очень хорош. Дети пели церковные хоралы, которые она разучивала с ними к праздникам. Не понимая звучных латинских слов, они пели, исполненные глубокой внутренней радости, безмятежно, как птицы небесные.

Жизнь долгое время казалась Илоне прекрасной — почти всегда. Ее омрачала лишь тоска по нежности, по детям; ее огорчало, что не находилась друг по душе. Она многим нравилась, некоторые признавались ей

в любви, двум или трем она даже позволила целовать себя, но сама ждала чего-то другого, неизъяснимого; она не назвала бы это любовью — очень разная бывает любовь; нет, она ждала какого-то неведомого откровения. И когда тот солдат — она так и не узнала его имени, — стоя рядом с ней, накалывал флажки на карту, Илона почувствовала, что настал долгожданный час. Она знала, что он влюблен в нее, — вот уже два дня подряд он приходит и часами болтает с ней; он нравился ей, хотя на немецкий мундир она не могла смотреть без тревоги и страха. Но в те несколько минут, когда она стояла рядом с ним и он, казалось, забыл о ней, его серьезное, горестное лицо и его руки, водившие по карте Европы, поразили ее вдруг в самое сердце. Нахлынула радость, она готова была запеть. И впервые в жизни она сама поцеловала мужчину...

Илона медленно поднималась по ступенькам на крыльцо барака, таща за собой Марию; она удивленно подняла глаза, когда часовой, ткнув ее в бок дулом автомата, рявкнул:

— Быстрее пошевеливайся!

Она пошла быстрее.

Войдя в комнату, она увидела три стола, за каждым сидел писарь, и перед ним громоздилась груда разграфленных карточек размером с крышку сигарной коробки. Ее толкнули к первому столу, Марию ко второму, а к третьему подошел старый человек, оборванный и небритый; он мельком улыбнулся ей, она улыбнулась в ответ; это, видно, и был ее защитник.

Она назвала свое имя, профессию, год и день рождения, вероисповедание и удивилась, когда писарь спросил, сколько ей лет.

— Тридцать три года, — ответила она и подумала, что через полчаса все будет кончено и что до этого, быть может, ей удастся хоть немного побыть одной. Ее поразила будничность этой канцелярии смерти. Эти люди механически занимались своим обычным делом, не скрывая нетерпеливого раздражения; они работали, как исправные чиновники, выполняя только обязанность, наскучившую обязанность, которую все же приходится выполнять.

Илону пока не трогали. Страх, которого она так опасалась, не приходил. Она помнила, как страшно ей было, когда, покинув монастырь, она возвращалась домой. С чемоданом она стояла у трамвайной оста-

новки, судорожно сжимая деньги в потной руке. Чужой и уродливый предстал пред нею мир, в который она так стремилась, по которому тосковала, в котором надеялась обрести мужа и детей — источник радостей, которых не найти в монастыре. Но в тот миг на трамвайной остановке надежды ее вдруг угасли и остался лишь страх, и она стыдилась собственного страха...

Когда Илона шла ко второму бараку, она опять всматривалась в лица ожидающих, но знакомых не нашла; она поднялась по ступенькам и чуть замешкалась на крыльце, часовой нетерпеливо указал на дверь. Илона вошла и потянула за собой Марию, но, видимо, ей надлежало идти одной. Часовой оторвал от нее ребенка, а когда девочка стала упираться, оттащил ее за волосы. Во второй раз Илона почувствовала, что такое жестокость. Когда она со своей карточкой в руках переступила порог, в ушах ее звенел крик Марии. В комнате она увидела человека в офицерском мундире, на груди у него был очень эффектный орден — серебряный крест изящной чеканки. Лицо у офицера было бледное и болезненное, но когда он поднял голову и посмотрел на Илону, ее испугал его тяжелый, отталкивающе-уродливый подбородок. Он молча протянул руку, она подала ему карточку. Ожидая, она все еще не испытывала страха. Офицер прочитал карточку, опять посмотрел на Илону и спокойно произнес:

— Спойте что-нибудь.

Она смотрела на него, не понимая.

— Ну, пойте же, — сказал он нетерпеливо, — что-нибудь, все равно что...

Илона запела. Она пела литанию, ту, что поют в праздник всех святых, лишь недавно она нашла новую обработку этой литании и записала, чтобы разучить ее с детьми. Во время пения она хорошо разглядела этого человека, и когда он встал и посмотрел на нее, Илона поняла наконец, что такое страх.

Она продолжала петь, а лицо стоявшего перед нею офицера конвульсивно дергалось и походило на громадный пульсирующий нарыв. Илона чудесно пела и не знала, что улыбается, а страх все рос в ней, подкатывая к горлу тошнотворным комком...

Как только она запела, кругом воцарилась тишина, даже во дворе все умолкло. Фильскайт пристально смотрел на нее. Илона была красивая женщина. Он никогда не знал женщины, его жизнь прошла в тоскли-

вом целомудрии. Оставаясь один, он часто стоял перед зеркалом, тщетно пытаясь обнаружить в себе красоту, и величие, и расовое совершенство. Все это было в ней, в этой женщине — красота, и величие, и расовое совершенство. Но в голосе ее звучало еще нечто, что потрясло его,— это была вера. Он сам не мог понять, как позволил ей петь даже после антифонов — наверно, он был в бреду. Он видел, как она дрожит, и все же в ее взгляде светилась какая-то любовь. Не издевается ли она над ним?.. *Fili, Redemptor mundi, Deus*¹, — пела она — он еще никогда не слышал, чтобы женщина так пела.— *Spiritus Sancte, Deus*²,— в ее голосе звучала сила, теплота и удивительная просветленность. Конечно, это бред! Сейчас прозвучит *Sancta Trinitas, unus Deus*³,— он еще помнил этот хорал, и она запела его.

Sancta Trinitas... «Еврей-католики? — подумал он.— Я с ума схожу!» Он бросился к окну и рывком распахнул его. За окном все слушали словно замороженные. Фильскайт почувствовал, что дрожит, он хотел закричать, но из его горла вырвался лишь хриплый клекот. С площади в окно вливалась затаившая дыхание тишина, а женщина продолжала петь.

*Sancta Dei Genitrix...*⁴ Дрожащей рукой он поднял пистолет, резко повернулся и, не глядя на женщину, выстрелил в упор. Она упала и закричала. Теперь, когда она не пела, к нему вернулся голос.

— Расстрелять! — заорал он.— К черту! Всех до единого! И хор тоже! К чертям его из барака!

Он выпустил всю обойму в женщину, которая лежала на полу, в муках извергая свой страх...

На плацу началась расправа.

VIII

Вот уже три года тетушка Сузан смотрит на войну. Три года назад впервые появились в поселке немцы — пехота, конница, военные грузовики. В ту пыльную осень они проходили по мосту и шли дальше, к горным перевалам, ведущим в Польшу. Замызган-

¹ Сыне, искупитель мира, Господи (лат.).

² Дух святой, Господи (лат.).

³ Святая троица, един Бог (лат.).

⁴ Пресвятая богородица... (лат.).

ные солдаты, усталые офицеры, на лошадях и на мотоциклах,— все говорило о том, что началась война. До самого вечера войска с определенными интервалами продвигались через деревню. Все это выглядело даже красиво,— по мосту катились грузовики, за ними шли солдаты, впереди и позади колонн трещали мотоциклы. С тех пор тетушка Сузан ни разу не видела так много солдат.

Потом все как будто успокоилось. Только время от времени покажется немецкий военный грузовик и, переехав через мост, исчезнет в лесу по ту сторону речки, а тетушка Сузан еще долго прислушивается в тишине, как он, отдуваясь и фырча, ползет вверх по склону и переваливает через хребет. И всякий раз она думает, что вот сейчас машина пройдет мимо ее родной горной деревушки, где протекло ее детство,— летом на пастбищах, а зимой у прялки. Все лето одинашенька высоко в горах со своим стадом на скудных скалистых пастбищах. Свесившись над гребнем горы, она, бывало, часами глядит вниз, на долину, ожидая, не проедет ли кто по дороге. Но в те годы автомобилей здесь еще не было, лишь изредка проезжала повозка, в большинстве случаев это были цыгане или евреи, пробиравшиеся через горы в Польшу. Много лет спустя, когда она уже давно покинула эти места, проложили железную дорогу. Рельсы проходят через мост у Сарни и сбегают в долину, которую в детстве тетушка Сузан разглядывала сверху, с горных пастбищ.

Давно уже не была она в горах, почти десять лет, и теперь жадно прислушивается к каждой проходящей машине, пока гул мотора не затихнет вдали. Она слышит этот гул и после того, как машина, перевалив через горный хребет, идет по верхнему шоссе; в такие минуты тетушка Сузан думает, что сейчас, наверное, детишки ее племянника свесились над гребнем горы и смотрят вниз, так же как когда-то смотрела она, но видят они не повозку, а немецкие грузовики, тяжело ползущие в гору.

Грузовик проходил регулярно — раз в два месяца, а в промежутках изредка появится машина, иногда с солдатами, остановится у трактира, и солдаты пьют пиво перед тем, как подняться в горы. Вечером та же машина возвращалась с гор, и в ней всегда уже сидели другие солдаты. Эти тоже останавливались у нее и тоже пили пиво перед тем, как выехать на равнину. Но навер-

ху солдат было немного, грузовик успел пройти здесь всего три раза,— полгода спустя после того, как война прошла под окнами тетушки Сузан и поднялась в горы, был взорван мост через реку. Это случилось ночью. Въезд на мост начинался сразу же за ее двором. Никогда не забыть ей тот страшный грохот, и свой собственный отчаянный крик, и крики соседей на улице, и вопли ее дочери Марии — ей исполнилось тогда двадцать восемь лет и у нее появлялось все больше странностей. Из окон вылетели стекла, коровы в хлеву мычали, и собака лаяла всю ночь напролет, а когда рассвело, все увидели, что мост разрушен, остались одни бетонные быки, мостового пролета и перил будто и не было, кое-где из воды торчала металлическая арматура, рухнувшая в реку. В то же утро в поселок приехал немецкий офицер и с ним пять солдат. Они провели обыск по всей Берцабе, в первую очередь в ее доме, обыскали все комнаты, сарай и даже перерыли постель ее дочери — Мария всю ночь с момента взрыва лежала, рыдая, в своей комнате. Сделали обыск и в доме напротив — у Темана. Обшарили каждую комнату, прощупали каждую кипу соломы, каждый тюк сена на сеновале, обыскали даже дом Брахиса, хотя там уже три года никто не жил, дом стоял заколоченный и почти развалился. Брахисы перебрались в Прессбург и там работали, а на их дом и землю до сих пор не нашлось покупателя.

Немцы были в ярости, но так ничего и никого не нашли. Тогда они сняли с причала на берегу лодку и пустились вниз по реке в Ценкошик — маленькую деревушку, ютившуюся у самого подножия хребта, там, где дорога круто поднималась в горы. С чердака дома тетушки Сузан видна была поднимавшаяся над лесом колокольня тамошней церкви. Но немцы никого не нашли в Ценкошике, не нашли и в Тесаржи. А откуда ж им было знать, что с той ночи, как мост взорвали, никто в поселке больше не видел сыновей Сворчика — двух молодых парней?

Тетушка Сузан считала, что взрыв моста — пустая забава. В самом деле, лишь раз в два месяца проходил по этому мосту немецкий грузовик да в промежутках изредка — машина с солдатами, постоянно пользовались мостом только крестьяне, у которых по ту сторону реки были луга и лес. Немцам же, конечно, ничего не стоило раз в два месяца затратить лиш-

ние полчаса, сделать пятикилометровый крюк до Сарни и там переехать через реку по железнодорожному мосту.

Лишь спустя несколько дней она поняла, что значил мост для нее самой. Сперва валом валили любопытные, пили у нее в трактире водку и пиво и требовали, чтобы она рассказывала им все подробности про мост. Но потом в Берцабе стало тихо, совсем тихо. Никто не заглядывал в трактир — ни крестьяне, ни батраки, проходившие прежде по мосту в лес или на пастбища, ни люди, ездившие по воскресеньям в Ценкошик; не навевались парочки, гулявшие вечерами в лесу, не появлялись больше и солдаты. За две недели она только и продала что кружку пива Теману — этому скряге, который сам варил для себя самогон, а пиво пил раз в две недели. Тетушка Сузан с грустью думала, что из всех завсегдатаев трактира остался один только Теман, известный на всю округу своей скупостью.

Но это затишье длилось всего три недели. Как-то днем в юрком сером автомобильчике в деревню прикатили три немецких офицера. Осмотрев взорванный мост, они с полчаса бродили по берегу с биноклями в руках, потом полезли на крышу — сперва у Темана, потом у нее, сверху разглядывали местность в бинокль и уехали, не выпив у нее и рюмки водки.

А два дня спустя на дороге из Тесаржи закрубилося облако пыли, и вскоре во двор к тетушке Сузан ввалились семеро усталых солдат под командой фельдфебеля. Немцы не без труда втолковали ей, что явились на постой, будут жить в ее доме и харчиться в трактире. Она было испугалась, но потом поняла, что это выгодно, и бегом пустилась наверх, к Марии, — та с утра еще не поднималась с постели.

Солдатам, как видно, спешить было некуда, это были пожилые, степенные люди, они не торопили ее, набили трубки, выпили пива и, сняв с себя вещевые мешки, распрямили спины. Они спокойно подождали, пока она приготовила наверху три небольшие комнаты — бывшую комнату батрака, которая уже три года пустовала, потому что нечем было платить батраку; комнатку, которую ее муж отвел в свое время для постояльцев и гостей, — но не пришлось в ней жить ни постояльцам, ни гостям, — и свою супружескую спальню. Сама она перебралась в комнату Марии.

Позднее, когда тетушка Сузан спустилась вниз, фельдфебель принялся ей объяснять, что постой будет оплачивать муниципалитет, что она получит кучу крон, а за еду они будут платить сами.

Солдаты оказались лучшими из клиентов, каких она до сих пор знавала. Эта восьмерка в месяц съедала больше, чем все прежние посетители трактира, ходившие через мост за реку. Денег у солдат, как видно, было много, да и времени у них хватало. Занимались они, на ее взгляд, совершенно пустяковым делом. Двое неразлучно ходили взад и вперед по берегу, всегда одним и тем же путем: вдоль берега до лодок у причала, потом переправлялись на лодке через реку, возвращались и шли обратно, опять вдоль берега. Через каждые два часа их сменяла другая пара. Один солдат всегда сидел на чердаке и в бинокль осматривал местность — этого сменяли каждые три часа. На чердаке они расположились с удобствами: расширили слуховое окно, выломав несколько кирпичей — по ночам окно заслоняли листом жести, — втащили сюда старое кресло, водрузили его на стол, и весь день часовой сидел на этом обложенном подушками троне у слухового окна и смотрел вверх на горы, на лес, на берег, а иногда оборачивался и смотрел в другое слуховое окно на Тесаржи. Остальные, свободные от службы, слонялись вокруг и скучали. Тетушка Сузан поразилась, узнав, сколько денег солдаты получают за такую, с позволения сказать, работу, а дома деньги получали еще их семьи. Один был учителем, он подсчитал, сколько получает его жена, выходило так много, что тетушка Сузан даже не поверила. За что платили жене учителя? За то, что ее муж шатался тут без дела, ел гуляш с картофелем и овощи, колбасу и хлеб, пил кофе; табак и то им каждый день выдавали. Когда этот учитель не ел, то все равно торчал у нее в трактире, читал, медленно потягивая пиво. Читал он постоянно, его ранец был набит книгами, а когда он не ел и не читал, то без толку сидел на чердаке с биноклем в руках и все смотрел на лес и на горы или разглядывал крестьян, работавших в поле. Этот солдат, по фамилии Беккер, очень дружелюбно относился к тетушке Сузан, но она его недолюбливала за то, что он только и делал, что читал, пил пиво, опять читал и слонялся без толку.

Но с той поры уже много воды утекло. Первые солдаты жили у нее недолго, месяца четыре, потом прислали других — эти оставались полгода, следующая

смена прожила почти год, а потом солдат стали сменять регулярно каждые полгода, и с новым отрядом возвращались некоторые из тех, кто уже побывал здесь. Но занимались они все тем же, вот уже три года подряд — бездельничали, пили пиво, играли в карты и торчали на крыше или бесцельно расхаживали с винтовками по берегу и по лесу по ту сторону реки. За построй, еду и уборку комнат солдаты платили щедро, но другие гости забыли к ней дорогу. Трактир превратился в караулку.

Фельдфебеля, который жил у нее вот уже четыре месяца, звали Петер, фамилии его она не знала. Он был кряжистый, с тяжелой крестьянской походкой и вислыми усами. Часто, глядя на него, она думала о своем муже Венцеле Сузан, который не вернулся с прошлой войны. Тогда тоже через мост вдруг потянулись пропыленные солдаты; они шли, ехали на лошадях, на забрызганных грязью обозных повозках — прошли и не вернулись. Впрочем, через несколько лет солдаты проходили обратно, но она не знала, те же это или другие.

Когда Венцель Сузан взял ее в жены, ей было двадцать два года, красивой молодкой увел он ее из гор в долину. Большое счастье выпало ей — она стала женой трактирщика, который держал батрака для полевых работ и имел лошадь; она гордилась своим богатством и любила Венцеля Сузана — его усы, его тяжелую походку. Венцелю было двадцать шесть лет, он отслужил действительную в Прессбурге, капралом в егерском полку. Вскоре после того как чужие, покрытые пылью солдаты прошли в горы, мимо ее родной деревни, капрал егерского полка Венцель Сузан опять поехал в Прессбург, и его отправили в страну, которая называется Румынией, в горы. Оттуда он прислал ей три открытки, писал, что ему хорошо живется, а в последней открытке сообщил, что произведен в сержанты. Потом целый месяц не было никаких вестей, и вдруг из Вены пришло извещение, что он погиб.

Вскоре у нее родилась дочь — Мария. Теперь Мария беременна от этого фельдфебеля — Петера, который так похож на Венцеля Сузана. Но Венцель в памяти тетушки Сузан навсегда остался молодым человеком двадцати шести лет, а Петеру уже сорок пять — на семь лет меньше, чем ей самой, — и он казался ей очень старым.

Не одну ночь она без сна лежала в постели, ожидая

Марию, но та приходила только под утро, когда петухи запоют. Босая, неслышно проскользнет в комнату и шмыг в постель. В такие ночи тетушка Сузан горячо молилась, а наутро ставила перед образом божьей матери большой букет цветов, гораздо больше, чем обычно. Но Мария все же забеременела, а фельдфебель — неуклюжий крестьянин — пришел к тетушке Сузан и, краснея, заверял, что женится на ее дочке, как только кончится война.

Что уж тут поделаешь? И она опять ставила большие букеты цветов в зале перед образом божьей матери и ждала. Тихо стало в Берцабе, и тетушка Сузан особенно остро ощущала эту тишину, хотя ничего как будто не изменилось. Солдаты по-прежнему торчали в трактире, писали письма, играли в карты, пили водку и пиво, а некоторые из них начали приторговывать вещами, которых здесь давно уже не видели. Они сбывали перочинные ножи, бритвы, ножницы — замечательные ножницы — и носки. Они продавали все это или выменивали на масло и яйца, — да и немудрено, ведь времени для пьянства у них было больше, чем денег на водку.

И опять среди них попался один, который день-деньской читал. Ему даже привезли целый ящик книг на попутной машине из Тесаржи, со станции. Этого величали профессором, но и он полдня торчал на чердаке и смотрел в бинокль на горы и лес, на берег, а иногда оборачивался к Тесаржи или разглядывал крестьян, работавших в поле. Профессор тоже рассказал ей, что жена много получает за него, уйму денег, несколько тысяч крон в месяц. Тетушка Сузан не поверила ему — слишком уж много, с ума сойти! Врет, наверно! Да за что ей и платить, жене-то его? За то, что он живет здесь лежебокой, читает книги, пишет целыми днями, а то и ночью, да часок-другой посидит на крыше с биноклем?

Один из солдат был художник, в хорошую погоду он сидел у реки, рисовал горы, которые отсюда были видны как на ладони, рисовал реку, обломки моста и несколько раз нарисовал самое тетушку Сузан. Ей нравились его картины, и одну из них она повесила в трактире.

Вот уже три года как солдаты квартируют у нее и ничего не делают — уедут одни, приедут другие, всегда в доме восемь человек. Они шатаются у реки, пе-

реезжают на лодке на ту сторону, бродят по лесу вдоль берега до самого Ценкошика, возвращаются назад,— опять переправляются через реку, пройдут по берегу вниз, к Тесаржи, а тут, глядишь, и смена. Едят они вдоволь, подолгу спят, и денег у них — куры не клюют.

Тетушка Сузан часто думает о том, что, пожалуй, и Венцеля Сузана, ее мужа, в прошлую войну отправили в другую страну, чтобы он там бездельничал. Венцель был ей так нужен здесь, в доме,— он умел и любил работать, а его отправили в страну, которая зовется Румынией, и он там слонялся без дела и в безделье дождался, что его пристрелили. Но в солдат, что жили у нее, никто не стрелял. Сами они за все время стреляли всего несколько раз, и то каждый раз выяснилось, что палили без толку, по ошибке, что встревожил их какой-нибудь зверь, бегавший по лесу и не пожелавший остановиться на их предостерегающий оклик. Но и это случалось не часто, четыре-пять раз за минувшие три года, а однажды ночью они стреляли в женщину из Ценкошика, она бежала через лес в Тесаржи позвать доктора к своему ребенку, вот и пальнули в нее, но, к счастью, не попали. Потом они сами посадили ее в лодку и перевезли на тот берег, а профессор — он, как всегда, полуночничал в трактире, читал и писал,— профессор даже проводил ее до Тесаржи. Но за все три года они не нашли ни одного партизана — каждый ребенок знал, что их здесь больше и нет. С тех пор как ушли сыновья Сворчика, партизаны ни разу не показывались даже в Сарни, где был большой мост и железная дорога...

Тетушка Сузан неплохо зарабатывала на войне, но все же ей горько было думать, что Венцель Сузан, ее муж, ничего, наверно, и не делал в этой Румынии, да и делать там было нечего. Наверно, в том и состоит война, что мужчины бьют баклуши, а чтобы родные не видели их безделья, они и едут в другие страны. Глаза бы ее не глядели на этих здоровых мужиков, которые вот уже третий год зря переводят здесь время да еще большие деньги гребут за то, что несколько раз по ошибке стреляли в лесного зверя и в бедную женщину, бежавшую позвать доктора к своему больному ребенку. Это же курам на смех! Здоровые мужики слоняются без дела, а она за работой света белого не видит — готовит еду, ходит за коровой, свиньями,

птицей. Вдобавок многим из солдат она стирает белье, штопает носки, чистит сапоги, правда, за деньги. Да бог с ними, с деньгами! Она совсем с ног сбилась, и пришлось опять нанять батрака — парня из Тесаржи; Мария, с тех пор как забеременела, и вовсе ничего не делала. Она жила с этим фельдфебелем, как с мужем: спала в его комнате, готовила ему завтрак, чистила его одежду, а иногда ссорилась с ним.

И вот однажды — солдаты уже четвертый год жили у нее в доме — в деревню приехал какой-то очень важный начальник с красными лампасами на брюках и с золотым шитьем на воротнике, — потом ей сказали, что это был генерал, — этот важный начальник примчался на автомобиле из Тесаржи в сопровождении нескольких офицеров. Лицо у него было желтое, угрюмое, перед домом тетушки Сузан он наорал на фельдфебеля Петера за то, что тот вышел рапортовать без ремня и пистолета. Петер метнулся в дом, а разъяренный генерал остался ждать у крыльца. Потом она видела, как генерал топнул ногой, его лицо, казалось, еще больше сморщилось и пожелтело, и он принялся распекать офицера, который стоял перед ним навтыжку и не отрывал дрожащую руку от козырька. Офицер был седой, усталый человек лет за шестьдесят. Тетушка Сузан хорошо знала его — иногда он приезжал на велосипеде из Тесаржи и приветливо, по-дружески разговаривал в трактире с фельдфебелем и солдатами, а потом, в сопровождении профессора, медленно возвращался по шоссе назад, в Тесаржи, ведя за руль свой велосипед. Наконец появился Петер в ремне и с пистолетом и пошел с офицерами к реке. Они переправились в лодке на тот берег, прошли по лесу, вернулись назад и долго стояли у моста, потом поднялись на чердак; наконец офицеры уехали, а Петер и два солдата все стояли перед домом навтыжку, подняв правую руку, до тех пор пока автомобиль не скрылся в Тесаржи. Злобно сплюнув, Петер вошел в дом, швырнул на стол кепи, отрывисто кинул Марии:

— Мост восстанавливать будут, понятно?

А через два дня из Тесаржи опять пришла машина, на этот раз грузовая, на полном ходу она подъехала к трактиру и резко затормозила у крыльца. На землю прыгнул молодой офицер, за ним семеро солдат — и всё молодые парни; офицер быстро прошел в дом и полчаса пробыл в комнате фельдфебеля. Мария пыта-

лась принять участие в разговоре — она вошла было в комнату, но молодой офицер выпроводил ее, она вошла еще раз, но он опять, без церемоний, выставил ее за дверь. Плача, стояла она на лестнице и смотрела, как старые солдаты собирали пожитки, а новые занимали их комнаты. Так, плача, прождала она полчаса, профессор похлопал ее по плечу, хотел ободрить, но только обозлил. Тут Петер наконец вышел с вещами из комнаты, и она с воплем бросилась к нему на шею. Он не знал, куда и деваться, утешал ее, уговаривал, но она повисла на нем и не оставляла до тех пор, пока он не влез в кузов. Плача, стояла она на крыльце и смотрела вслед машине, быстро мчавшейся в Тесаржи. Она знала, что Петер никогда не вернется, хотя и клялся, что женится на ней после войны...

Файнхальс прибыл в Берцабу за два дня до того, как начали восстанавливать мост. Вслед за другими он спрыгнул с машины, огляделся. Весь хуторок состоял из трактира и двух домов, один из них, совсем ветхий, был заколочен. Все кругом заволокло едким дымом — на полях жгли картофельную ботву. Было тихо и спокойно; казалось, нигде нет войны...

Недавно в госпитале его оперировали — извлекли из ноги осколок стекла, крохотный осколок от бутылки из-под токайского. Рану он обнаружил после боя, когда опять оказался в переполненном красном мебельном автофургоне, уходившем в тыл вместе с отступающей армией. После операции Файнхальса несколько раз допрашивали, его рана вызвала нелепые, но опасные для него подозрения. Ему полагался серебряный нагрудный значок за ранение, а начальник госпиталя ни за что не хотел выдавать ему серебряный значок за бутылочный осколок — он подозревал его в умышленном членовредительстве. Это длилось до тех пор, пока не прислал показания лейтенант Брехт, которого Файнхальс назвал как свидетеля. Рана быстро зажила, несмотря на то, что он пил не переставая, а через месяц его выписали, направили на пересыльный пункт, а оттуда в Берцабу.

Он сидел в трактире и ждал, пока наверху освободится комната, которую Гресс облюбовал на двоих. Ему принесли вина, он пил и все думал об Илоне. В доме стояла предотъездная суматоха. Старые солдаты по всем углам искали свои пожитки, хозяй-

ка — пожилая, но еще красивая женщина, — стояла за стойкой и угрюмо смотрела на всю эту суету, а в сенях навзрыд плакала другая женщина.

Потом женщина в сенях зарыдала еще громче, запричитала, и тут же послышался шум мотора — это уехал назад грузовик, доставивший их сюда. Пришел Гресс и позвал его наверх, в комнату. Черные балки потолка нависали над головой, штукатурка кое-где осыпалась, воздух был затхлый. Окно выходило в сад — старые яблони на небольшой лужайке, за деревьями клумбы цветов. За клумбами виднелись сараи, а позади них, у самого берега, стояла на приколе лодка — краска на ней потрескалась и облупилась. Ничто не нарушало тишины. Слева, за изгородью, можно было разглядеть взорванный мост, из воды торчали ржавая арматура и бетонные быки, поросшие мхом. Из окна казалось, что ширина речушки метров сорок — пятьдесят, не больше.

Итак, придется им теперь жить в одной комнате. С Грессом он познакомился вчера на пересыльном пункте и тут же решил говорить с ним как можно меньше. На груди у Гресса красовались четыре ордена, и он без конца рассказывал о женщинах — польках, румынках, француженках, русских, — разлука с ним навеки разбила им сердце. У Файнхальса не было ни малейшего желания слушать, он тяготился этой болтовней, она нагоняла на него тоску, невероятную тоску. Но Гресс не умолкал, он, видимо, был из породы людей, которые полагают, что внимание слушателей зависит от количества орденов на груди рассказчика.

У Файнхальса только один орден, один-единственный, и он словно создан быть слушателем, он почти ничего не говорил, не перебивал и не задавал никаких уточняющих вопросов. Он обрадовался, когда узнал, что в очередь с Грессом будет нести службу на наблюдательном посту, по крайней мере хоть днем Гресс не будет ему надоедать.

Как только Гресс объявил о своем решении разбить сердце какой-нибудь словачки, Файнхальс тотчас же улегся в постель.

Он очень устал и каждый вечер, устраиваясь, где придется, на ночлег, мечтал, засыпая, что ему приснится Илона, но она не приходила в его сны. Он вспоминал каждое слово, сказанное ими друг другу, думал

о ней непрерывно, но она еще ни разу не приснилась ему. Часто, когда он засыпал, ему казалось, что стоит только повернуться, и он почувствует ее дыхание, но он лежал один, Илоны не было с ним, она оставалась где-то в безмерной дали. Он очень долго не засыпал, истово думал о ней, представлял себе комнату, которая могла бы стать для них приютом, потом забывался в тревожном сне и утром не мог припомнить, что ему снилось. Но Илона не снилась ему, это он твердо знал.

Вечерами он подолгу молился и вспоминал о разговорах с ней, о днях перед разлукой — Илона все краснела, казалось, ей неловко было сидеть с ним в той классной комнате, среди звериных чучел, коллекций минералов, географических карт и гигиенических таблиц. Но, быть может, она лишь стеснялась говорить о религии, лицо ее заливалось горячим румянцем, словно ей было трудно говорить о своей вере, но она говорила, говорила о вере, надежде, любви и возмутилась, когда он сказал ей, что физиономии большинства священников столь же невыносимы, как и проповеди, и это отбило у него охоту ходить в церковь. Илона очень возмутилась и настойчиво убеждала его почаще молиться. «Молиться надо Господу в утешение», — сказала она тогда...

Он никак не думал, что она позволит себя поцеловать, и все же поцеловал ее, и она ответила на его поцелуй. Он знал, она пошла бы с ним в ту воображаемую комнату, которую он так ясно представлял себе, — грязноватая, с голубым тазом для умывания, наполненным несвежей водой, с широкой деревянной кроватью и окном, выходящим в запущенный сад, где под деревьями гниют опавшие фрукты. Он снова и снова представлял себе, как лежит с нею в постели, как разговаривает с ней, но ни разу не видел ее во сне.

Наутро началась служба. На душном чердаке он уселся в кресло, стоявшее на колченогом столе, и принялся через слуховое окно смотреть в бинокль на горы и лес, окидывая взглядом берег, а иногда поворачивался и к противоположному слуховому окну и рассматривал селение, откуда их привезли на грузовике. Ему не удалось обнаружить партизан. Но возможно, что работающие на полях крестьяне и есть партизаны, в бинокль этого не установишь. Стояла тишина, глухая до боли тишина, и у него было такое ощущение, будто

он уже долгие годы торчит здесь. Он поднял бинокль, приспособил его к глазам и устремил взгляд на желтоватый шпиль церковной колокольни за лесом, у подножия гор. Воздух был прозрачен, и он увидел вдаль, на горной вершине, стадо коз. Животные разбрелись и, казалось, что это маленькие белые облачка с резко очерченными краями, ярко-белые на серовато-зеленом фоне скал, и Файнхальс чувствовал, как сквозь стекла бинокля проникает в него безмолвие и одиночество. Время от времени животные передвигались, очень медленно, словно их водили на короткой веревке. В бинокль он видел их так, как невооруженным глазом видел бы на расстоянии трех-четырех километров. Но ему казалось, что козы — пастуха он не мог разглядеть — где-то очень далеко от него в бесконечной дали, что они бродят там неслышные, одинокие. Отняв от глаз бинокль, он испугался — козы мгновенно исчезли, он не нашел и следа их, как зорко ни рассматривал весь склон — от церковного шпиля у подножия горы до самой ее вершины. Белые облачка будто растаяли. Видно, уж очень до них далеко. Он опять поднял к глазам бинокль, отыскал белых коз и подумал, как они одиноки. Долетевшие вдруг из сада слова команды заставили его вздрогнуть. Он опустил бинокль и некоторое время смотрел в сад, где лейтенант Мюк сам проводил строевые занятия, потом подрегулировал винт и стал разглядывать Мюка в бинокль. Он знал его всего два дня, но уже заметил, что Мюк все принимает всерьез. На худощавой, сумрачной физиономии Мюка застыло выражение убийственной серьезности, руки он неподвижно скрестил за спиной, мускулы его тощей шеи вздрагивали. Мюк скверно выглядел — лицо у него было землисто-серого цвета, бескровные губы едва шевелились, когда произносили «налево», «направо», «кругом». Теперь Файнхальсу был виден только профиль Мюка — убийственно серьезная, словно застывшая половина его лица, еле шевелившиеся губы, печальный левый глаз, который, казалось, глядел не на марширующих солдат, а был устремлен куда-то вдаль, в далекую даль, быть может, в прошлое. Потом он стал разглядывать Гресса. У Гресса был важный вид, но какое-то недоумевающее выражение не сходило с его одутловатого лица.

Файнхальс опустил бинокль и продолжал смотреть в сад, где солдаты топтали густую сочную траву, маршируя «налево», «направо», «кругом». Только те-

перь он заметил женщину — она развешивала белье на веревке, натянутой между сараями,— и подумал: «Наверно, хозяйкина дочь, что вчера плакала и причитала в сених». На ее миловидном лице — тонком, смуглом, с плотно сжатым ртом — была скорбь, такая жгучая скорбь, что оно показалось Файнхальсу прекрасным. На лейтенанта и четверых солдат женщина и не взглянула.

На следующее утро около восьми часов Файнхальс опять поднялся на чердак с таким ощущением, будто он живет здесь уже месяцы, даже годы. С тишиной и одиночеством он уже совсем свыкся. В хлеву покорно мычала корова, в воздухе повис запах горелой картофельной ботвы, кое-где в поле еще тлели ночные костры. Файнхальс подрегулировал бинокль и направил его прямо поверх шпиля желтоватой церковной колокольни — в глаза ему глядело одиночество. Безлюдные серовато-зеленые склоны вдали да черные зубцы скал... Мюк с четырьмя солдатами отправился на прибрежный луг отрабатывать ружейные приемы. Отрывистые, унылые слова команды еле доносились сюда, они не нарушали тишину, от них тишина казалась еще более глубокой. А внизу на кухне молодая женщина пела протяжную словацкую песню. Старуха пошла с батраком в поле копать картофель. В доме напротив тоже было тихо. Файнхальс долго рассматривал горы и ничего не обнаружил — всюду безмолвие, пустынные склоны, крутые скалы, только справа, со стороны железной дороги над лесом клубился паровозный дым. В бинокль Файнхальс видел, как дым рассеивается и, словно пыльное облако, оседает на кронах деревьев. Он снова прислушался — тишина. Только с берега реки доносились отрывистые команды Мюка да внизу, в доме, пела свою печальную песню молодая женщина.

Потом он услышал песню солдат, они возвращались с берега и пели «Серые колонны». Грустно было слушать этот жалкий, нестройный, жидкий квартет. А Мюк все командовал: «Раз-два, левой! Раз-два, левой!» — казалось, что он отчаянно, но тщетно борется с одиночеством. Тишина не подчинялась его командам, она глушила песню солдат.

Задумавшись, Файнхальс не расслышал шум мотора и спохватился, когда Мюк с солдатами были уже во дворе. Машина шла по шоссе со стороны поселка,

откуда позавчера привезли и его. Он испуганно поднял бинокль и в быстро приближающемся облаке пыли различил кабину водителя, над которой торчала какая-то тяжелая махина.

— Что там? — крикнули снизу.

— Грузовик, — ответил он, цепко держа в поле зрения приближающуюся машину, и тут же услышал, как из дома на крыльцо вышла молодая женщина. Она заговорила с солдатами и что-то крикнула ему. Он не расслышал, но крикнул в ответ:

— Водитель штатский, рядом с ним кто-то в коричневой форме, а в кузове бетономешалка.

— Бетономешалка? — переспросили снизу.

— Да! — ответил он.

Теперь уже и те, что стояли внизу, увидели без бинокля кабину, человека в коричневой форме и бетономешалку, потом на шоссе поднялось новое облако пыли, поменьше — вторая машина, потом еще и еще — целая автоколонна шла от станции к разрушенному мосту. Когда первый грузовик подъехал вплотную к берегу, второй был уже на таком расстоянии, что и на нем можно было разглядеть кабину и груз — доски перегородки для разборных барачков. Солдаты бросились к первой машине, и Мария за ними, только лейтенант остался на месте. Из кабины выскочил человек без фуражки, в коричневой форме. У него было приятное, открытое лицо, тронутое загаром.

— Хайль Гитлер, ребята! — обратился он к солдатам. — Это и есть Берцаба?

— Она самая!

Солдаты на всякий случай вынули из карманов руки — на коричневой гимнастерке приезжего блестели майорские погоны, — но называть его майором они все же не решались.

Человек в коричневом крикнул шоферу:

— Приехали! Выключай мотор.

Потом, через головы солдат, он взглянул на лейтенанта, выждал мгновение и сделал несколько шагов к нему. Лейтенант тоже прошел несколько шагов ему навстречу. Тогда человек в коричневом остановился, и лейтенант Мюк уже гораздо быстрее прошел последние несколько метров, отделявшие его от человека в коричневой форме, остановился перед ним, козырнул, потом вскинул руку, крикнул: «Хайль!» — и отрекомендовался:

— Лейтенант Мюк!

Человек в коричневом тоже вскинул вверх руку, потом протянул ее лейтенанту и сказал:

— Дойссен, бауфюрер, будем мост восстанавливать.

Лейтенант посмотрел на солдат, солдаты на Марию, Мария побежала в дом, а Дойссен весело кинулся к подошедшим грузовикам. Началась разгрузка.

Дойссен распоряжался решительно, энергично, но вежливо. Он попросил тетушку Сузан показать ему кухню, улыбнулся, поджал губы и, ничего не сказав, прошел в заброшенный дом Брахиса, обстоятельно осмотрел его, а выйдя оттуда, опять улыбнулся, и тотчас же две машины, с которых выгрузили перегородки для барачков, выехали назад, в Тесаржи. Сам Дойссен расположился у Темана и вскоре, облокотившись на подоконник и покуривая, наблюдал за разгрузкой. Возле машин хлопотал еще один молодой человек в коричневом — у этого были фельдфебельские погоны. Дойссен время от времени кричал ему что-то в окно.

Между тем прибыла вся автоколонна — десять грузовиков. Рабочие облепили их, как муравьи, — разгружали железные фермы, деревянные брусья, мешки с цементом, а часом позже из Сарни по реке пришел небольшой катерок. На берег высадился третий человек в коричневом, с лейтенантскими погонами, и с ним две хорошенькие загорелые словачки. Рабочие радостно приветствовали их.

Файнхальсу все было видно как на ладони. Первым делом в заброшенный дом внесли кухонную плиту, потом с других машин сгрузили поручни мостовых перил, заклепки, болты, просмоленные деревянные балки, приборы для промера глубины, продовольствие. В одиннадцать часов обе словачки уже чистили картофель, а в двенадцать вся разгрузка кончилась и даже поставили сарай для цемента, а из поселка подошли еще три самосвала, которые ссыпали гравий на площадке перед мостом.

К обеду Гресс сменил его на посту, и Файнхальс, спустившись вниз, увидел, что над трактиром уже прибита вывеска с надписью: «Столовая».

И в последующие дни Файнхальс с живым интересом наблюдал за строительством, его поражала предельная четкость в работе, рабочим не приходилось делать ни одного лишнего движения, все материалы были тут же, под рукой.

В своей жизни Файнхальсу довелось повидать немало строительных площадок, он и сам не раз руководил строительством, но такой умелой и быстрой работы он еще не видел. Уже через три дня быки моста были тщательно забетонированы; пока бетонировали последний, на первом уже начали монтировать громадную металлическую конструкцию пролета. На четвертый день через реку уже перекинули дощатый настил, а через неделю на противоположном берегу к стройке подошли грузовики с деталями для мостовых пролетов. Дойссен использовал эти тяжелые машины как площадку для монтажа последних конструкций.

Как только через реку был перекинут настил, работа закипела вовсю, и Файнхальс, находясь на посту, лишь изредка смотрел теперь на горы или на лес. Он неустанно наблюдал, как восстанавливается мост, и даже во время строевых учений ухитрялся смотреть только на стройку. Он сам был строителем и любил свое дело.

С наступлением сумерек, когда Мюк снимал наблюдательный пост на крыше, Файнхальс обычно сидел в саду, слушая, как один из рабочих, молодой русский парень, играет на балалайке. А в трактире в это время пели, пили и, хотя танцы были запрещены, все-таки танцевали, но Дойссен смотрел на это сквозь пальцы. Настроение у него было прекрасное. На восстановление моста ему дали четырнадцать дней, но если дело будет и дальше так спориться — он рассчитывает сдать его дней через двенадцать. Вдобавок он сэкономил уйму бензина — все, что нужно для кухни, закупал у Темана или у тетушки Сузан, вместо того чтобы гонять за продуктами машины по окрестным деревням.

Рабочие у него ели досыта, получали курево и вообще чувствовали себя вольготно. Дойссен по опыту знал, что, применяя власть, можно нагнать страх на людей, но вряд ли заставишь их лучше работать.

За войну он навел уже немало мостов. Правда, почти все они были потом взорваны, но все же свою службу они сослужили. А в поставленные сроки Дойссен всегда укладывался.

Тетушка Сузан радовалась: мост скоро будет готов, и, когда кончится война, он останется целехонек. А будет мост, оставят и солдат — охрану, и опять начнут наведываться к ней в трактир люди из окрестных деревень. Рабочие тоже были как будто довольны.

Каждые три дня по шоссе из Тесаржи приезжал маленький, юркий светло-коричневый автомобиль и, скрипя тормозами, останавливался у трактира. Из машины вылезал старый, усталый человек в коричневом, с погонами капитана. Рабочие бросали работу, собирались вокруг него, и он выдавал им их заработок; они получали много денег, столько, что могли даже купить у солдат носки и рубашки, а вечером выпить в трактире и потанцевать с хорошенькими словачками, работавшими на кухне.

На десятый день Файнхальс обнаружил, что мост готов, — укреплены перила, смонтирована проезжая часть. Грузовики увозили остатки материалов — цемент, железные балки и разборный барак, в который ссыпали цемент. Увезли и половину рабочих, и одну из кухарок, в Берцабе стало чуть тише. Здесь остались только пятнадцать рабочих. Дойссен, молодой человек в коричневом с фельдфебельскими погонами и единственная женщина на кухне, на которую Файнхальс частенько поглядывал со своего наблюдательного поста. Все утро она сидела у окна и, что-то напевая, чистила картофель, овощи, отбивала мясо, она была очень хорошенькая, и ее улыбка болью отзывалась в нем. В бинокль Файнхальс отчетливо видел ее за окном, на противоположной стороне улицы, видел ее красивый рот, ее темные брови и белые зубы, она всегда тихонько напевала. В тот же вечер в трактире он пригласил ее танцевать. Он танцевал с ней много раз подряд и глядел в ее черные глаза, сжимал ее упругие белые руки. В трактире стояли чад и духота, и он был немного разочарован тем, что от красивой словачки пахло кухней. Она была здесь единственная женщина, если не считать Марии, но та сидела у стойки и ни с кем не танцевала. Ночью Файнхальсу приснилась эта словачка, имени которой он не знал, он видел ее как наяву, хотя в тот вечер долго не засыпал, напряженно думая об Илоне.

На следующий день он не наводил бинокль на окно противоположного дома, хотя слышал тихо журчавшую песню словачки. Он смотрел на горы и оживился, когда снова заметил стадо коз, на этот раз вправо от шпилья колокольни — белые пятна еле заметными скачками перемещались на серовато-зеленом фоне скал.

Вдруг Файнхальс опустил бинокль — он услышал выстрел и эхо отдаленного взрыва в горах. Тут же

эхо повторилось — далекое, глуховатое, но отчетливое.

Рабочие на мосту приостановили работу, словачка оборвала песню, а взбудораженный Мюк бросился на чердак, вырвал у Файнхальса из рук бинокль и долго смотрел в горы. Взрывы не повторялись. Мюк сунул ему обратно бинокль и буркнул:

— Теперь смотреть в оба! Смотреть в оба! — а сам побежал назад, во двор, где наблюдал за чисткой оружия.

После обеда все как будто притихло, хотя слышался обычный шум дня: рабочие на берегу нарезали просмоленные брусья, подгоняли их друг к другу и скрепляли; с кухни доносился голос тетушки Сузан, она долго и настойчиво убеждала в чем-то дочь, а та отмалчивалась; у открытого окна вполголоса напевала словачка, она готовила ужин для рабочих — большие желтые картофелины жарились на сковородке, и в сумерках поблескивала на столе глиняная миска с помидорами. Файнхальс смотрел вверх, на горы, на лес, обшарил биноклем берег реки — все было тихо, будто замерло. Оба дозорных только что скрылись в лесу. Файнхальс посмотрел на стройку — проезжая часть моста была уже наполовину готова, с обоих концов укладывали толстые черные балки, и пространство между ними все уменьшалось. Повернув бинокль, Файнхальс увидел, как грузят на машину все, что здесь уже не нужно, — оставшиеся брусья, инструмент, кровати, стулья, кухонную плиту; в кузов сверху сели восемь рабочих, и вскоре машина выехала в направлении Тесаржи. Словачка, свесившись из окна, махала им вслед платком. Становилось все тише, под вечер ушел вверх по реке и катерок. В проезжей части моста оставался лишь узкий просвет, на него хватило бы трех-четырёх брусьев, но рабочие уже кончили работу. Файнхальс заметил, что инструмент они оставили на мосту. Из Тесаржи вернулся грузовик и остановился возле кухни, шофер сгрузил небольшую корзину с фруктами и дюжину бутылок. Незадолго до того, как Файнхальс должен был смениться, сверху донеслось гулкое эхо нового взрыва. Раскатами театрального грома оно прогрохотало в горах. Каменные громады перебросили его три-четыре раза, потом, неестественно ширясь, ломаясь, слабей, эхо умолкло. И снова тишина. Мюк опять прибежал на чердак и смотрел в би-

нокль, лицо у него дергалось. Поворачиваясь слева направо, он обшарил скалистые гребни гор, потом, покачив головой, опустил бинокль, написал на листке донесение, и вскоре Гресс на велосипеде Дойссена поехал по шоссе в Тесаржи.

Не успел Гресс отъехать, как Файнхальс отчетливо услышал пулеметную дуэль в горах — глухой жесткий стук русского пулемета и визгливый, нервный лай немецкого, напоминавший скрип трамвайных тормозов. Пули проносились быстро, точно скользили одна за другой. Бой был коротким — несколько пулеметных очередей, потом разорвались три-четыре гранаты. Гул взрывов дробился, ударяясь о скалы, и, постепенно затихая, эхом прокатился по долине. «Всюду, где ступит война, поднимается бессмысленный шум», — подумал Файнхальс, и эта мысль показалась ему даже забавной. На этот раз Мюк не побежал наверх, он стоял на мосту и пристально смотрел на горы. Сверху донесся одинокий выстрел, судя по звуку — винтовочный, эхо от него было слабое, словно шорох падающего камня. Потом все затихло, и тишина стояла до самого вечера. Файнхальс заслонил листом жести слуховое окно на крыше и неторопливо спустился вниз.

Гресс еще не вернулся, а в трактире Мюк раздраженно инструктировал солдат, он потребовал, чтобы ночью все были в полной боевой готовности. Лицо у него было, как всегда, убийственно серьезное, он нервно теребил два ордена, блестящие на груди, на шее у него висел автомат, на поясном ремне болталась каска.

Еще до возвращения Гресса из Тесаржи прикатила серая машина, из нее вышел толстый капитан с багровой физиономией и поджарый, свирепого вида оберлейтенант. Вместе с Мюком они прошли на мост. Файнхальс стоял возле дома и глядел им вслед. На первый взгляд казалось, что все трое уходят из деревни, но они вскоре вернулись, и машина повернула обратно, в Тесаржи. Из окна напротив смотрел Дойссен, а в нижнем этаже, за некрашеным столом в полумраке ужинали рабочие. На тарелках у них был картофель с помидорами. В глубине комнаты стояла словачка — одна рука на бедре, в другой — зажженная сигарета. Жест, каким она поднесла сигарету ко рту, показался Файнхальсу слишком бойким. Застучал мотор серой машины, женщина подошла к окну, облокотилась на подоконник и сквозь дым сигареты улыбну-

лась Файнхальсу. Он загляделся на нее и забыл отдать честь отъезжавшим офицерам — под загорелым лицом, в низком вырезе темного корсажа сердечком выделялась ее белая грудь. Мюк прошел в дом и бросил на ходу:

— Перетащите-ка пулемет!

Только теперь Файнхальс заметил, что там, где стояла офицерская машина, на шоссе поблескивал длинный вороненый ствол пулемета. Рядом стояли коробки с пулеметными лентами. Он медленно перешел дорогу и перетащил пулемет, потом пошел еще раз и забрал ленты. Словачка все еще стояла, облокотясь на подоконник. Стряхнув пепел с сигареты, она загашила ее, а окурок положила в карман фартука. Она все еще смотрела на Файнхальса, но уже без улыбки. Лицо у нее погрузтело, рот казался неестественно ярким. Вдруг она скривила губы, отошла от окна и стала убирать со стола. Рабочие один за другим вышли из дома и потянулись к мосту.

Когда через полчаса Файнхальс с пулеметом перешел через мост, они все еще работали, последние брусья укладывали уже в темноте. Дойссен сам завинчивал последнюю гайку, ему подсвечивали карбидной лампой. Когда он повертывал ключ, Файнхальсу казалось, что он вертит ручку шарманки или бесшумно сверлит какой-то большой ящик. Файнхальс поставил пулемет, бросил Грессу: «Минутку!» — и повернул обратно. Он услышал, что в машине, которая стояла возле рабочего барака, завели мотор, сошел с моста и увидел, что грузят остатки оборудования. Оставалось уже немного: поставить на машину печку, несколько стульев, корзину с картофелем, посуду и сундучки рабочих. Рабочие вернулись с моста и расселись в кузове, у каждого в руках было по бутылке водки — они пили прямо из горлышка. Последней поднялась на машину словачка. Голову она повязала красным платочком, багаж у нее был не весьма богатый, весь он уместился в маленьком голубом узелке. Файнхальс постоял немного, посмотрел, как она садится в машину, потом быстро повернул назад. Дойссен последним покинул мост и медленно шел к дому Темана, он все еще держал в руке гаечный ключ.

С новехоньким пулеметом они полночи проторчали за невысоким парапетом, ограждавшим въезд на мост, вслушивались в темноту. Стояла тишина. Время от

времени из леса появлялись дозорные, Файнхальс и Гресс устало перебрасывались с ними несколькими словами и, сгорбившись за пулеметом, продолжали молча вглядываться в узкий проселок, ведущий к лесу. Но ничего так и не случилось. И наверху, в горах, стояла тишина. В полночь их сменили, они вернулись в дом и сразу заснули. Под утро их разбудил какой-то шум. Гресс сразу стал натягивать сапоги, а Файнхальс подошел босиком к окну и посмотрел на другой берег реки: там собралась толпа, люди разговаривали с лейтенантом, который, очевидно, не пропускал их через мост. Судя по всему, они спустились с гор из той деревни, где стояла церковка, шпиль которой высился над лесом. Из леса выезжали повозки, шли люди с узлами, казалось, им не будет конца. В громких, резких голосах беженцев звучал страх. Потом Файнхальс увидел тетушку Сузан в накинутом на плечи пальто и домашних туфлях. Она прошла через мост, остановилась возле лейтенанта и долго говорила с людьми, потом повернулась к лейтенанту и заговорила с ним. Появился и Дойссен, он шел медленно, с сигаретой во рту. Он что-то сказал лейтенанту, потом тетушке Сузан и тоже стал уговаривать людей — наконец обоз на другом берегу пришел в движение и потянулся вверх по течению Сарни. Длинный, тяжелый обоз. Скрипели повозки, высоко нагруженные вещами, детьми, сундуками, корзинами с домашней птицей. Дойссен и тетушка Сузан повернули к дому. Покачивая энергично головой, Дойссен пытался что-то втолковать тетушке Сузан.

Файнхальс не спеша оделся и опять улегся на кровать. Он пытался заснуть, но мешал Гресс: густо намывлив щеки, он обстоятельно брился, тихонько насвистывая. Через несколько минут они услышали, как к дому приближаются две машины. Сперва казалось, что они идут рядом, шум моторов сливался, потом одна как будто обогнала другую. Первая затормозила у крыльца, когда другая была еще далеко. Файнхальс встал и спустился вниз. Напротив, у дома Темана, стояла коричневая легковая машина, на которой обычно казначей привозил деньги для рабочих. Дойссен и приехавший человек в коричневом, тоже с майорскими погонами, уже приближались к мосту. Тем временем подошла и вторая машина. Серая, вся забрызганная грязью, она шла, как-то приваливаясь набок, и

остановилась перед домом тетушки Сузан. Из машины выскочил маленький ловкий лейтенант и крикнул Файнхальсу:

— Собирайте вещички! Дело дрянь! Где ваш командир?

Взглянув на погоны маленького лейтенанта, Файнхальс подумал: «Сапер, подрывник, наверно». Он указал на мост и ответил:

— Там он, на мосту.

— Благодарю,— кивнул лейтенант и крикнул солдату в машине.

— Подготовь все пока! — и пустился бегом к мосту. Файнхальс пошел следом. Приехавший майор в коричневом мундире внимательно осматривал мост, Дойссен давал разъяснения, а он понимающе кивал и даже одобрительно покачивал головой. А потом вместе с Дойссеном они не спеша вернулись. Но Дойссен скоро вышел из дома Темана, в руках у него был чемодан и все тот же гаечный ключ.

Мюк вернулся с двумя пулеметчиками, саперным лейтенантом и артиллерийским унтер-офицером, который был без оружия, весь в грязи и едва держался на ногах. По лицу его градом катился пот, он был без фуражки и без вещей и никак не мог успокоиться, все показывал на лес и на высившиеся над лесом горы. Со стороны шоссе ясно слышался гул моторов. Маленький лейтенант кинулся к своей машине и крикнул:

— Скорей! Скорей!

Сидевший в машине солдат быстро вытащил несколько серых жестянок, какие-то картонные коробки, связку проводов. Лейтенант посмотрел на часы.

— Семь,— сказал он,— у нас еще десять минут в запасе,— он переглянулся с Мюком,— ровно через десять минут мост взлетит на воздух. Сорвалась контратака!

Файнхальс медленно поднялся по лестнице, собрал вещи, взял винтовку, потом спустился, сложил все на крыльце и пошел обратно в дом. Обе женщины, все еще полуодетые, переругиваясь, метались из комнаты в комнату и тащили оттуда все, что попадет под руку. Файнхальс посмотрел на мадонну; у ее ног увядали цветы. Он осторожно вытащил увядшие стебли, остальные, еще свежие цветы, собрал в букет и взглянул на часы. Было десять минут восьмого, из-за реки ясно доносился шум приближающихся машин, они,

наверно, уже миновали деревню и вошли в лес. Все собрались на дворе в полном снаряжении. Лейтенант Мюк записывал в свой блокнот сведения о личности артиллерийского унтер-офицера, который сидел перед ним на скамье, все такой же измученный и растерянный.

— Шнивинд,— назвался унтер-офицер,— Артур Шнивинд... Девятьсот двенадцатый артполк.

Мюк кивнул и сунул блокнот в планшетку. В этот миг маленький саперный лейтенант и солдат ворвались во двор с криком:

— Ложись! Все — ложись!

Все кинулись на землю, стараясь поскорей отползти к дому, стоявшему наискосок от моста. Саперный лейтенант успел еще раз взглянуть на часы — и мост взлетел на воздух. Грохот оказался не слишком сильным, обошлось и без свиста осколков, сначала слышался треск, потом раздался взрыв, не сильнее, чем от связки гранат. Проезжая часть моста тяжело рухнула в воду. Подождав еще с минуту, маленький лейтенант сказал:

— Порядок!

Все поднялись и посмотрели на то, что осталось от моста,— бетонные быки еще стояли, но проезжая часть моста и пешеходная дорожка были взорваны начисто, лишь на другом берегу повисла над водой часть перил.

Шум моторов слышался уже совсем близко, потом вдруг все стихло — должно быть, танки остановились в лесу.

Маленький саперный лейтенант влез в машину, повозился у руля и крикнул Мюку:

— А вы чего ждете? Вам ждать здесь не приказано!

Он козырнул, и серый, зашлепанный грязью автомобильчик тронулся с места.

— Становись! — крикнул лейтенант Мюк. Они построились на шоссе. Мюк постоял немного, выжидающе поглядывая то на дом тетушки Сузан, то на дом Темана, но двери обоих домов были закрыты, не выглянула ни одна живая душа. Слышался только женский плач, на этот раз плакала тетушка Сузан.

— Шагом марш! — скомандовал Мюк.— Шагом марш! Идти вольно!

Мюк шел впереди солдат, на лице его застыло убийственно серьезное выражение. Он смотрел, казалось, куда-то вдаль, в далекую даль, быть может, в прошлое.

IX

Файнхальс удивился, увидев, какое обширное хозяйство у Финка. На улицу выходил только узкий фасад старинного дома с вывеской — «Финк. Винный погреб и гостиница. Основаны в 1710 году». Ветхая лестница вела в трактир, слева от двери было одно окно, справа два, и возле крайнего окна справа — въезд во двор, — шаткие, окрашенные зеленой краской ворота, неширокие, как у всех здешних виноделов, — в такие ворота телега въезжает с трудом.

Но, приоткрыв калитку, он увидел большой, аккуратно вымощенный двор, замкнутый ровным квадратом крепких строений, второй этаж был обнесен открытой галереей с деревянными резными перилами. В просвете между домами были другие ворота, и за ними виден был второй двор, там стояли сараи, а по правую руку — длинное одноэтажное строение, видимо, зал. Файнхальс внимательно осмотрелся, прислушался и вдруг замер — внутренние ворота охраняли двое американских часовых.

Солдаты безостановочно ходили вдоль ворот, встречаясь всякий раз в одной и той же точке; они метались как звери в клетке, нашедшие в беге определенный ритм. Один был в очках, его челюсти непрестанно шевелились, жуя резинку, другой дымил сигаретой, стальные каски они сдвинули на затылок, вид у них был до крайности усталый.

Файнхальс толкнулся в дверь налево, на которой была наклеена записка: «Частная квартира», потом дернул правую дверь с вывеской: «Гостиница». Обе двери были заперты. Он стоял в нерешительности, не сводя глаз с часовых, неумоимо шагающих взад и вперед. Тишину лишь изредка прорезал оружейный выстрел, казалось, что противники перебрасываются снарядами, как мячами, и не следует принимать их всерьез, это лишь напоминание, что война еще не кончилась. Залпы орудий и далекий грохот разрывов, словно сигналы тревоги, вспугнувшие тишину, предостерегали: «Идет война! Берегись — война!» Сюда доносилось

лишь слабое эхо. Но, прислушавшись несколько минут к его безобидному рокоту, Файнхальс понял, что ошибка: стреляли только американцы, с немецкой стороны не раздалось ни единого выстрела. Американцы стреляли, как на ученье — на ответный огонь и намека не было. Снаряды рвались через равные промежутки времени, и каждый раз в горах, на другом берегу мелкой речушки, долго перекатывалось негромкое, но злое эхо. Файнхальс медленно прошел несколько шагов и увидел в темном углу коридора слева ход в погреб, а справа низенькую дверь с картонной табличкой: «Кухня». Постучав, он услышал тихий ответ: «Да, войдите!» — и нажал на ручку двери. На него внимательно смотрели четверо. Файнхальс невольно вздрогнул — лица двоих поразили его необычайным сходством с тем безжизненным, изнуренным лицом, которое он видел всего несколько мгновений в красноватых отблесках пламени на лугу, возле далекой венгерской деревушки. Очень похож на погибшего Финка был старик у окна, с трубкой во рту, лицо у него было худощавое, морщинистое, и усталая мудрость светилась в его глазах. Поразило Файнхальса своим сходством с погибшим Финком и лицо играющего мальчугана лет шести, он ручонкой водил по полу деревянный грузовик. Ребенок тоже был худощав, личико у него было старческое, усталое и мудрое; он посмотрел своими темными глазами на Файнхальса, потом равнодушно перевел взгляд на автомобиль и медленно, словно нехотя, продолжал катать его по полу.

Обе женщины сидели у стола и чистили картофель. Одна была старая, но ее широкое, загорелое лицо говорило о крепком здоровье, в молодости она, видно, была хороша собой. Другая, сидевшая подле нее, выглядела пожилой и увядшей, хотя заметно было, что она гораздо моложе, чем кажется с первого взгляда. Она была какая-то усталая, подавленная, движения ее рук были неуверенны. Белокурые волосы непокорными прядями падали ей на лоб и на бледное лицо, а старуха была гладко причесана.

— Доброе утро! — сказал Файнхальс.

— Доброе утро! — ответили они.

Файнхальс прикрыл за собою дверь, нерешительно потоптался у порога, откашлялся и почувствовал вдруг, что весь покрывается потом, мелким потом, что рубашка под мышками и на спине прилипла к телу.

Белокурая женщина взглянула на него, и он обратил внимание на то, что у нее такие же тонкие, белые руки, как у мальчика, который в этот миг осторожно вел свой грузовик по краю широкой выбоины в каменных плитках пола. Небольшая комнатуха вся пропахла многолетним чадом готовившихся здесь бесчисленных трапез. Стены были увешаны сковородками и кастрюлями.

Женщины посмотрели вопросительно на старика, который сидел у окна, тот указал Файнхальсу рукою на стул и сказал:

— Присядьте, прошу вас!

Файнхальс сел возле пожилой женщины и сказал:

— Моя фамилия Файнхальс, я из Вайдесгайма, домой пробираюсь.

Женщины подняли глаза, старик, казалось, оживился:

— Файнхальс из Вайдесгайма! Не Якоба ли Файнхальса сын?

— Он самый! Как дела в Вайдесгайме?

Старик пожал плечами и, выпустив клуб дыма, сказал:

— Неплохо вроде бы. Сидят и ждут, пока американцы оккупируют их городок, но те что-то не торопятся. Вот уже три недели они здесь — как стали в двух километрах от Вайдесгайма, так и стоят. И наши оттуда ушли, вот и получилась ничейная земля, никому до нее дела нет. Вайдесгайм лежит в стороне, что в нем проку?..

— Говорят, наши иногда обстреливают городок, — сказала молодая женщина.

— Да, слухи ходят, — сказал старик и, внимательно посмотрев на Файнхальса, спросил:

— А как вы добрались сюда?

— С того берега — я там три недели дожидался американцев.

— Прямо напротив нас?

— Нет, дальше к югу, в Гринцгайме.

— Вот как? В Гринцгайме? Там вы и переправились?

— Да, этой ночью.

— И здесь в гражданское переоделись?

Файнхальс покачал головой:

— Нет, я еще там переоделся, сейчас много солдат отпускают.

Старик тихонько рассмеялся и взглянул на молодую женщину.

— Слышишь, Труда? Сейчас отпускают много солдат. Смех, да и только!

Женщины кончили чистить картофель, молодая взяла кастрюлю, подошла к водопроводному крану в углу кухни, высыпала картофель в решето, пустила воду и усталыми движениями принялась перемывать его. Старая женщина тронула Файнхальса за руку. Он обернулся.

— Многих отпускают? — переспросила она.

— Многих, — подтвердил Файнхальс, — в некоторых частях всех отпустили — с обязательством пробираться в Рур. А чего я не видал в Руре?..

Женщина у крана заплакала. Она плакала почти беззвучно, но ее худенькие плечи вздрагивали.

— И смех и слезы... — сказал старик у окна, посмотрев на Файнхальса. — Мужа ее убили... сына моего... — Он трубкой показал на женщину, которая, стоя у крана, неторопливо и тщательно перемывала картофель и плакала. — В Венгрии, — продолжал старик, — прошлой осенью...

— Летом его должны были отпустить, — сказала старая женщина, сидевшая подле Файнхальса, — несколько раз обещали отпустить, он ведь был больной, очень больной человек, но так и не отпустили. Буфетчиком он был в госпитале.

Она покачала головой и посмотрела на молодую женщину у крана. Та осторожно высыпала перемытый картофель в чистый котелок и налила в него воду. Она все еще плакала, очень тихо, почти беззвучно. Поставив котелок на плиту, она отошла в угол и взяла носовой платок из кармана висевшей там кофточки.

Файнхальс почувствовал, что лицо у него цепенеет. Он не часто вспоминал о Финке, да и то мимолетно, но сейчас он все время думал о нем и видел его гораздо отчетливей, чем тогда, на поле, когда Финк погиб у него на глазах, — он видел невероятно тяжелый чемодан, в который вдруг ударил снаряд, отлетевшая крышка со свистом пронеслась над головой, он почувствовал, как в темноте вино брызнуло ему на затылок и пролилось на землю, услышал звон разбитого стекла, и опять он удивился, до чего худ и мал этот унтер-офицер, и ощупывал его, пока рука не попала в большую кровавую рану, и он отдернул руку...

Файнхальс посмотрел на ребенка. Тонкими, белыми пальцами мальчик все так же неторопливо водил по краю выбоины в полу свой грузовик. В выбоине лежали крохотные поленья дров, и он то грузил их в кузов, то опять сгружал, то грузил, то опять сгружал. Он был тоненький и хрупкий, и движения у него были такие же усталые, как у матери, которая опять сидела возле стола, уткнув лицо в носовой платок. Файнхальс переводил взгляд с одного на другого и, терзаясь, думал: «У меня язык не повернется рассказать им такое». Он опустил голову и решил: «Потом когда-нибудь расскажу. Лучше всего старику». Теперь он не хотел об этом говорить. Хорошо, что они хоть не задумывались над тем, как Финк из тылового госпиталя угодил в Венгрию. Старуха опять дотронулась до руки Файнхальса.

— Что с вами? — тихо спросила она. — Вам плохо? Вы голодны?

— Нет, — сказал Файнхальс, — ничего, спасибо!

Но она не сводила с него участливого взгляда, и он повторил:

— Ничего, ничего, поверьте. Пожалуйста, не беспокойтесь.

— Может, выпьете стакан вина или водки? — спросил старик.

— Да, — сказал Файнхальс, — от водки не откажусь.

— Труда, — сказал старик, — поднеси гостю рюмочку!

Молодая женщина поднялась и прошла в соседнюю комнату.

— В тесноте живем, — сказала старуха, обращаясь к Файнхальсу, — только эта кухня и трактир, но, видать, скоро американцы пойдут дальше, у них здесь много танков. Тогда пленных тоже вывезут.

— А что, в доме есть пленные?

— Есть, — сказал старик, — в зале их держат, всё офицеры в больших чинах, их здесь и допрашивают. Допросят и отправляют. Даже генерал один есть. Вот, посмотрите сами!

Файнхальс подошел к окну, и старик пальцем показал ему на часовых, шагавших у ворот внутреннего двора, и на окна зала, затянутые колючей проволокой.

— Вот опять ведут кого-то на допрос.

Файнхальс сразу узнал генерала. Он выглядел лучше, в нем не было прежней скованности, крест на шее, которого так недоставало ему, теперь поблескивал под воротником мундира, генерал даже как будто улыбался про себя, спокойно и послушно шел он впереди конвоиров, наставивших на него дула автоматов. Генерал явно посвежел, с лица у него почти совсем сошла желтизна, в нем чувствовалось спокойное достоинство, это было лицо культурного, приятного человека, и мягкая улыбка красила его. Генерал вышел из внутренних ворот, ровным шагом пересек двор и поднялся по лестнице, за ним по пятам шли конвоиры.

— Генерала повели, — сказал Финк, — есть у них здесь и полковник, и майор — около тридцати человек одних только старших офицеров.

Молодая женщина вернулась с графином и рюмками. Одну рюмку она поставила на подоконник перед старым Финком, а вторую — на стол для Файнхальса. Но Файнхальс не отходил от окна. Отсюда просматривался весь второй двор, видна была и улица, пролежавшая позади дома. Там, у третьих ворот, тоже стояли двое часовых с автоматами, а напротив, на той стороне улицы, Файнхальс узнал витрину гробовщика и понял, что это улица, где была когда-то гимназия. В витрине все еще стоял черный полированный гроб с серебряным глазетом, покрытый черным сукном с тяжелыми серебряными кистями. Это, наверно, был тот же гроб, что стоял там и тринадцать лет назад, когда он еще ходил в гимназию.

— Будем здоровы! — сказал старик и поднял рюмку.

Файнхальс быстро подошел к столу, взял свою рюмку, поблагодарил молодую женщину, старику сказал: «За ваше здоровье!» — и отпил глоток. Водка была хороша.

— Как вы думаете, каким путем мне лучше домой пробраться?

— Сами понимаете, идти надо там, где нет американцев, — лучше всего через камыши, вы знаете наши камыши?

— Знаю, — сказал Файнхальс, — там, говорите, их нет?

— Да, там их нет. К нам часто ходят с той стороны женщины — за хлебом. Все больше ночью и всегда через камыши.

— Днем американцы иногда постреливают в камыши,— добавила молодая женщина.

— Да,— подтвердил старик,— днем, бывает, постреливают.

— Спасибо! — сказал Файнхальс.— Большое спасибо! — Он выпил рюмку до дна.

Старик встал.

— Я сейчас поеду к себе на виноградник. Лучше всего вам бы со мной поехать. Там сверху осмотритесь, оттуда виден и дом вашего отца.

— Хорошо, я поеду с вами,— сказал Файнхальс.

Он посмотрел на женщин, они осторожно обрывали капустные листья с двух кочанов, лежавших на столе, внимательно осматривали каждый лист, шинковали и бросали в решето.

Ребенок вскинул глаза, остановил вдруг свой автомобиль и спросил:

— А мне можно с вами?

— Что же,— сказал Финк,— поедем.— Он положил трубку на подоконник и вдруг крикнул: — Вот следующего ведут! Смотрите!

Файнхальс подбежал к окну. По двору, еле волоча ноги, шел полковник, его долгоносое лицо осунулось, как у больного, воротник, под которым торчал его редкостный крест, стал ему явно широк, у него не сгибались колени, он шел шаркающей походкой, руки повисли как плети.

— Позор! — пробормотал Финк.— Какой позор! Он снял с вешалки свою шляпу и надел ее.

— До свиданья! — сказал Файнхальс.

— До свиданья! — ответили женщины.

— К обеду вернемся,— сказал старый Финк.

Рядовой Берхем не любил войну. Он был кельнером и сбивал коктейли в ночном баре. До конца 1944 года ему удавалось ускользнуть от мобилизации, и за время войны он очень многому научился в этом баре. Правда, он и раньше знал кое-что, но тысяча пятьсот военных ночей, которые он провел в баре, окончательно подтвердили безошибочность его прежних наблюдений. Он всегда знал: большинство мужчин в состоянии выпить гораздо меньше спиртного, чем они предполагают, большинство мужчин всю жизнь внушает себе, что таких лихих кутил, как они, свет не видывал, все

они пытаются убедить в этом и женщин, которых приводят с собой в ночные бары. На самом же деле мужчин, по-настоящему умеющих пить, очень мало. Не часто встретишь людей, которые пьют так, что, глядя на них, залюбуешься. Даже во время войны такие мужчины редкость.

К тому же многие люди заблуждаются, считая, что блестящая побрякушка на груди или под воротником может изменить человека. Они, по-видимому, думают, что слюнтяй станет богатырем, а дурак сразу поумнеет, стоит только приколоть ему к мундиру орден, быть может, даже заслуженный. А Берхем давно понял, что это не так, что если ордена на груди и могут изменить человека, то скорее к худшему. Но он видел людей обычно только в течение одной ночи, и раньше совсем их не знал. С уверенностью он мог сказать лишь одно: пить они не умеют, хотя и утверждают, что мастаки выпить, и каждый любит побахвалиться, какую уйму вина он выпил тогда-то и тогда-то, на такой-то и такой-то пирушке. Но когда они напьются, глядеть на них противно. Ночной бар, где кельнер Берхем провел тысячу пятьсот военных ночей, снабжался с черного рынка. На это смотрели сквозь пальцы. Надо же героям на отдыхе выпить, поесть и покурить. Хозяин бара, двадцативосьмилетний здоровяк, не попал в армию даже в декабре 1944 года. Воздушные налеты, постепенно разрушившие весь город, были ему не страшны — за городом, в лесу, у него была вилла, и в ней бомбоубежище.

Иногда ему доставляло удовольствие пригласить к себе двух-трех особенно понравившихся ему героев, он увозил их на собственной машине и радушно потчевал на своей вилле.

Тысячу пятьсот военных ночей напролет Берхем внимательно наблюдал все, что происходило у него на глазах, зачастую ему приходилось принимать на себя роль слушателя, но рассказы о бесчисленных атаках и окружениях нагоняли на него тоску. Одно время он подумывал записать их в назидание потомству, но слишком уж много было рукопашных схваток, слишком много окружений и слишком много непризнанных героев, которые не получили заслуженных наград только потому, что... Берхем уж достаточно наслушался таких рассказов, да и вообще ему война надоела. Но иные под хмельком рассказывали и правду; он

узнавал правду и от некоторых героев, и от женщин из бара, которых война занесла сюда из Франции и Польши, из Венгрии и Румынии. С ними у Берхема были всегда хорошие отношения. Вот эти умели пить, а он всегда питал слабость к женщинам, с которыми по-настоящему можно выпить.

Но теперь Берхем лежал на крыше сарая в городке Ауэльберг, у него был бинокль, школьная тетрадка, несколько карандашей и часы на руке, он должен был вести наблюдения за городком Вайдесгайм, расположенным в ста пятидесяти метрах от него, на противоположном берегу небольшой речки, и заносить в школьную тетрадку все, что заметит. В Вайдесгайме особенно не на что было смотреть. Чуть ли не половину этого городка занимало кирпичное здание консервной фабрики, а фабрика не работала. Изредка по улице проходили люди, они шли на запад, в направлении Гайдесгайма, и сразу же исчезали в тесных переулках. Люди поднимались в горы — в свои сады и виноградники, и Берхем видел, как они работают там, наверху, за Гайдесгаймом. Но все, что происходило вне Вайдесгайма, заносить в школьную тетрадку не требовалось. Огневой взвод, в котором Берхему досталась роль наблюдателя, получал только семь снарядов на день — для одного орудия; снаряды эти надо было как-то израсходовать, иначе их и вовсе перестали бы выдавать, но, имея семь снарядов, нечего было и думать о дуэли с американцами, засевшими в Гайдесгайме. Стрелять в них было даже запрещено, потому что на каждый выстрел американцы отвечали ураганным огнем, они были очень раздражительны. И Берхем заносил в свою школьную тетрадь совершенно бесполезные записи, вроде следующей: «В 10 часов 30 минут американский легковой автомобиль подъехал со стороны Гайдесгайма к дому, что рядом с воротами консервной фабрики. Машина стояла возле консервной фабрики. Выехала в обратный путь в 11 часов 15 минут». Машина приходила каждый день и около часа простаивала на расстоянии ста пятидесяти метров от него, но заносить это в тетрадь было не к чему. По этой машине все равно не стреляли. Из машины всякий раз выходил американский солдат, обычно он почти целый час оставался в доме и потом уезжал обратно.

Огневым взводом, в котором числился Берхем, сперва командовал лейтенант по фамилии Грахт; говорили,

что раньше он был пастором. Берхему до сих пор не приходилось иметь дела с пасторами, но этот его вполне устраивал. Получив свои семь снарядов, Грахт неизменно посылал их в устье речушки, которая протекала слева от Вайдесгайма, — в обмелевшую, заболоченную дельту, заросшую камышом. Там его снаряды наверняка никому не причиняли вреда. Так и повелось, что Берхем по несколько раз в день записывал в свою тетрадь: «Подозрительное движение в устье реки», — а лейтенант, не тратя слов, продолжал регулярно посылать семь снарядов в болото.

Но вот уже второй день, как взвод принял некий Шнивинд, вахмистр, который относился с полной серьезностью к получаемым семи снарядам; правда, по американской машине, что всегда останавливалась у консервной фабрики, он тоже не стрелял. Зато его бесили белые флаги — население Вайдесгайма все еще, как видно, рассчитывало, что американцы в любой день могут войти в их городок, но американцы все не шли. Очень уж неблагоприятно был расположен Вайдесгайм — он раскинулся в излучине реки и просматривался вдоль и поперек. Гайдесгайм же почти совсем не просматривался, а продвигаться на этом участке американцы, очевидно, и вовсе не собирались. На других участках они прошли уже километров двести в глубь страны, дошли чуть ли не до сердца Германии, а здесь, в Гайдесгайме, они стояли уже три недели и на каждый выстрел по городу отвечали сотнями снарядов. Но теперь по Гайдесгайму никто не стрелял. Семь снарядов предназначались для Вайдесгайма и его окрестностей, и вахмистр Шнивинд решил наказать вайдесгаймцев за недостаток патриотизма. Белые флаги? Это уж слишком.

И все же Берхем и в этот день записал в своей школьной тетрадке: «9 часов. Подозрительное движение в устье реки». То же самое он записал в 10 часов 15 минут, а в 11 часов 45 минут отметил: «Американская легковая машина из Г. в В. Консервная фабрика». В двенадцать часов он хотел на несколько минут оставить пост и пойти за едой. Но только он стал спускаться по лестнице, как Шнивинд снизу крикнул:

— Задержитесь на минутку!

Берхем полез обратно к слуховому окну и взялся за бинокль. Шнивинд поднялся наверх, взял у него из рук бинокль, лег на живот и уставился на Вайдесгайм.

Берхем смотрел на него со стороны и думал, что Шнивинд принадлежит именно к тому типу людей, которые пить не умеют, но убеждают и себя и других, что могут выпить целую бочку и не будут пьяны, ни в одном глазу. Не совсем естественным выглядело его служебное рвение. Лежа на животе, он таращился в бинокль на унылый, вымерший Вайдесгайм, а Берхем видел, что звездочки на погонах Шнивинда еще совсем новенькие, как и серебряные подковки галуна. Шнивинд вернул Берхему бинокль и буркнул:

— Свины! Проклятые свины! Белые флаги повесили... Дайте-ка тетрадь!

Берхем подал тетрадь. Шнивинд перелистал ее.

— Ерунда! — сказал он. — Не пойму, что вы обнаружили в заболоченном устье реки? Там одни лягушки! Дайте-ка бинокль!

Он опять вырвал из рук Берхема бинокль и навел его на устье реки. Берхем видел, что из углов рта у Шнивинда течет слюна и тонкой ниточкой свисает на подбородок.

— Ничего, — пробормотал Шнивинд, — ровным счетом ничего там нет, в устье реки ничего не шевелится. Чепуха какая-то!

Он вырвал листок из школьной тетрадки, вытащил из кармана огрызок карандаша и, глядя в окно, написал записку.

— Свины! — бормотал он. — Свины этакие!

Потом, даже не козырнув, он пошел к лестнице и спустился вниз. Минутой позднее спустился с котелком и Берхем.

Сверху, из виноградника, местность хорошо просматривалась, и Файнхальс сразу понял, почему ни немцы, ни американцы не занимали Вайдесгайм, — игра не стоила свеч. Городок состоял из пятнадцати домов и консервной фабрики, которая не работала. В Гайдесгайме в распоряжении американцев была железнодорожная станция. На другом берегу реки — в Ауэльберге железнодорожную станцию удерживали немцы. Вайдесгайм лежал в тупике. В котловине между Вайдесгаймом и горами раскинулся Гайдесгайм, и Файнхальс видел сверху, что городишко забит танками. Повсюду — на гимназическом дворе, на рынке и на большой стоянке автомашин у гостиницы «Звезда» —

танки и грузовики стояли впритык, борт к борту, их даже не замаскировали. В долине уже зацвели деревья, их кроны — белые, розоватые и голубовато-белые — расцвели склоны гор, воздух был прозрачен. Была весна. Сверху участок Финка вырисовывался, как на чертеже: Файнхальс разглядел квадраты обоих дворов среди узких улиц, разглядел даже четырех часовых; во дворе магазина похоронных принадлежностей человек мастерила длинный желтоватый, чуть скошенный ящик, очевидно гроб, на свежем тесе играли оранжевые блики, а жена мастера сидела на скамеечке, неподалеку от мужа, и чистила на солнце зелень.

Улицы были оживлены — женщины с покупками, американские солдаты, из школьного здания на окраине города только что высыпала группа ребят. А в соседнем Вайдесгайме все словно вымерло. Даже дома, казалось, притаились под развесистыми кронами деревьев, но Файнхальс знал там каждый дом и с первого взгляда определил, что дома Берга и Гоппенрата пострадали от обстрела, а дом его отца, большой и приземистый, невредим. Внушительный желтый фасад выходил на главную улицу, из родительской спальни на втором этаже свисал белый флаг, он был огромный, гораздо больше, чем белые флаги на остальных домах города. Зеленели липы.

На улицах ни души. Белые флаги неподвижно застыли в безветренном воздухе. Был пуст и большой двор консервной фабрики, усеянный ржавыми банками, на складских сараях висели замки.

Вдруг он увидел, что в Гайдесгайме от вокзала отошла американская легковая машина и напрямиком, через луга и сады, покатила к Вайдесгайму. Иногда машина исчезала под белыми кронами деревьев, опять появлялась у ворот на главную улицу Вайдесгайма, остановилась у ворот консервной фабрики.

— Что за черт! — тихо сказал Файнхальс, показывая Финку на автомобиль. — Что ему там надо?

Они сидели на скамье у сарая с садовым инвентарем. Старик успокаивающе покачал головой.

— Ничего, — сказал он, — ничего особенного, это любовник фройляйн Мерцбах, он каждый день наведывается.

— Американец?

— Разумеется, — сказал Финк, — она-то боится к

нему ездить, наши иногда постреливают в город, вот и приходится ему самому к ней ездить.

Файнхальс улыбнулся. Он хорошо помнил фройляйн Мерцбах — она была на несколько лет моложе его, — когда он покинул отцовский дом, ей было четырнадцать лет. Худенькая, застенчивая девочка-подросток, она беспрестанно и очень скверно играла на рояле. Ее отец, директор фабрики, снимал у них весь первый этаж. Не раз по воскресеньям Файнхальс, сидя с книгой в саду, слышал, как девочка играла в гостиной. Потом музыка внезапно обрывалась, и в окне показывалось ее худенькое, тонкое личико, она смотрела в сад грустным, недовольным взглядом. Спустя несколько минут она возвращалась к роялю и продолжала играть. Теперь ей было лет двадцать семь, и Файнхальс почему-то обрадовался, узнав, что у нее есть любовник.

Он подумал о том, что скоро будет дома, увидит и Мерцбахов, а завтра, возможно, и этого американца. С ним, наверно, можно будет поговорить и, может быть, удастся с его помощью получить документы, ведь он, конечно, офицер. Не могла же фройляйн Мерцбах взять в любовники простого солдата.

Вспомнил он и о своей небольшой квартирке в соседнем городе, теперь она уже не существовала. Соседи писали ему, что от дома камня на камне не осталось; он пытался представить себе это, но никак не мог, хотя достаточно насмотрелся на дома, от которых камня на камне не осталось. Но что его собственной квартиры больше не существует — он никак не мог себе представить. Ему дали тогда отпуск для устройства своих дел. Но он не поехал домой. Не стоило и ехать, чтобы только посмотреть на пепелище. В последний раз он был там в 1943 году, дом еще стоял, только все стекла повывлетели. Он забил окна картоном и пошел в ночной бар — в двух шагах от дома. Там он просидел три часа, ожидая поезда на Вайдесгайм и коротая время в беседе с кельнером. Кельнер был славный малый — спокойный и рассудительный, хотя и молодой еще. Он посчитал ему за сигареты сорок пфеннигов, а за бутылку французского коньяка всего шестьдесят пять марок, это было очень дешево. Кельнер даже назвал свою фамилию — теперь Файнхальс уже позабыл ее — и порекомендовал ему женщину. Грета выглядела совершенно добропорядочной немкой, но в

этом и таилось ее очарование. Все здесь называли ее «Мать», и кельнер сказал еще, что выпить с ней и поболтать — одно удовольствие. Часа три Файнхальс болтал с Гретой, она и впрямь держалась, как добропорядочная женщина, она рассказывала ему о своем родном доме в Шлезвиг-Гольштинии и, узнав, что он возвращается на фронт, пыталась утешить, говоря, что не всех ведь убивают на войне. Вообще в этом баре было очень уютно, несмотря на то что после полуночи несколько захмелевших офицеров и солдат вздумали пройтись между столиками церемониальным маршем.

Он был рад, что теперь возвращается домой и никуда оттуда не двинется. Он останется там надолго и, пока не прояснится, что к чему, палец о палец не ударит. Работы после войны хватит, конечно, на всех, но сам он много работать не собирается. Ему хочется пошататься без дела, разве что на уборке урожая чуть поможет, как приезжающие в деревню отпускники, которые для развлечения берутся за вилы. Позже он, пожалуй, выстроит несколько домов по соседству, если найдутся заказчики. Быстрым оценивающим взглядом Файнхальс окинул Гайдесгайм. Тут и там виднелись разрушенные дома, особенно пострадали привокзальные улицы, да и сам вокзал тоже. На путях стоял товарный состав, тут же на рельсах лежал взорванный паровоз; из уцелевшего вагона сгружали лес на американскую машину; свежий тес был виден так же отчетливо, как гроб в саду у столяра; изжелта-белый гроб, более светлый и сияющий, чем цвет на деревьях, ярко светился вдали...

Файнхальс задумался, соображая, какой дорогой ему лучше идти. Финк рассказал ему, что передовые позиции американцев выходят к железной дороге, что вдоль полотна выставлены посты, но местные жители проходят напрямик через пути на полевые работы, и американцы им не препятствуют. А безопасней всего пройти метров триста по коллектору, в который заключена обмелевшая река. Пригнувшись, по нему можно пробраться, и многие, если им зачем-нибудь нужно в Вайдесгайм, идут этим путем. Сразу за ним начинаются необозримые заросли камыша, они тянутся вплоть до вайдесгаймских садов. Стоит ему только войти в сады, и они скроют его, там он каждую тропинку знает. Надо прихватить с собой мотыгу или лопату. Финк уверял, что многие из Вайдесгайма ежеднев-

но так и пробираются сюда и работают на своих виноградниках и в садах.

Он хотел только покоя: прийти домой, лечь и, никем не тревожимый, думать об Илоне, быть может, она придет в его сны. Потом он, пожалуй, начнет работать, но только не сейчас, сначала надо отоспаться, и мать пусть побалуует его, как бывало,— то-то обрадуется старушка, когда узнает, что сын приехал надолго. Наверно, и курево дома найдется, и наконец впервые за эти годы можно будет вдоволь начитаться. Фройляйн Мерцбах теперь, конечно, научилась лучше играть на рояле. Он вдруг подумал, что был очень счастлив в ту пору, когда мог сидеть в саду, читать и слушать плохую игру фройляйн Мерцбах. Да, он был тогда счастлив, хотя и не понимал этого. Зато теперь понимает. Было время, он мечтал строить дома, каких никто еще не строил, но потом он строил дома не лучше и не хуже других. Он стал посредственным архитектором и знал это, и все же расчудесное это дело быть архитектором и строить простые, добротные дома, которые кое-кому потом даже нравятся. Только не принимать самого себя слишком всерьез, не слишком много думать о себе — вот и вся премудрость.

Путь к дому казался ему невероятно далеким, хотя пройти оставалось не более получаса; он страшно устал, весь как-то раскис и мечтательно подумал: «Хорошо бы на машине быстро домчаться домой, завалиться в кровать и заснуть». Дорога ему в самом деле предстояла нелегкая, как-никак надо было перейти американский фронт. Всякое может случиться, а он не хотел больше никаких случайностей, он устал, и все ему опротивело.

Прозвонили к обедне, он снял фуражку и сложил руки для молитвы. Финк и мальчик сделали то же самое; и столяр, мастеровивший гроб внизу, во дворе, отложил инструмент, и женщина отодвинула в сторону корзину с овощами и встала на молитву. Никто больше не стеснялся молиться на людях, и вдруг он почувствовал стыд за себя и за людей. Ему случалось и прежде молиться, и Илона молилась, она была красивая женщина, благочестивая и очень умная, такая умная, что даже священники не смогли угасить ее веру. Он все же начал молиться, но поймал себя на том, что почти механически твердит слова молитвы, хотя уже ничего не ждет от бога. Илона мертва, о чем же ему

молиться? Но он продолжал молиться о ее возвращении неведомо откуда и о своем благополучном возвращении, хотя он был уже почти дома. Не верил он этим людям — все они вымаливали себе что-то, а Илона ему говорила: «Молиться надо Господу в утешение», — она где-то прочитала эти слова и была в восторге от них. Стоя здесь с молитвенно сложенными руками, он вдруг понял, что вот сейчас он молится от души, потому что вымаливать у бога ему нечего. Теперь он уже и в церковь сможет пойти, хотя лица большинства священников и их проповеди ему невыносимы. Но надо же утешить Бога, который вынужден смотреть на лица своих служителей и слушать их проповеди. Файнхальс улыбнулся, разжал руки и надел кепи...

— Взгляните-ка туда, — сказал Финк, — увозят их.

Он кивнул вниз, в сторону Гайдесгайма, и Файнхальс увидел, что перед домом гробовщика стоит грузовая машина, в которую медленно влезают офицеры из финковского зала, можно было даже различить их ордена. Потом грузовик рванул с места и покотился по дороге, обсаженной деревьями, на запад, туда, где уже не было войны...

— Говорят, американцы скоро наступать будут, — сказал Финк, — видели, сколько у них здесь танков?

— Надо полагать, Вайдесгайм долго не продержится, — усмехнулся Файнхальс. Финк кивнул.

— Да, теперь уж недолго осталось. Заходите к нам!

— Обязательно. Я у вас частым гостем буду.

— Очень приятно. Закурим?

Файнхальс поблагодарил, набил свою трубку, Финк дал ему огонька, и некоторое время они молча смотрели вниз, на цветущую долину; старик положил руку на голову внучонка.

— Пойду, — вдруг произнес Файнхальс, — пора! Домой хочу...

— Ступайте, ступайте спокойно, теперь уже не опасно.

Файнхальс протянул ему руку.

— Благодарю вас, — сказал он, посмотрев на старика. — До свидания, надеюсь — до скорого.

Он протянул руку и мальчику, ребенок задумчиво и чуточку недоверчиво посмотрел на него своими темными, продолговатыми глазами.

— Возьмите мою мотыгу, — сказал Финк, — так натуральной будет.

— Спасибо,— сказал Файнхальс, взял из рук Финка мотыгу и двинулся вниз по склону.

Сперва ему казалось, что он идет прямо к гробу, стоящему во дворе, спускается к нему по прямой. Все отчетливей и крупней, словно в фокусе бинокля, Файнхальс видел свежееобструганные доски, отливающие сочной желтизной, он резко свернул направо, прошел по окраине городка и смешался с толпой ребят, выбежавших из школы; с ними он прошел до городских ворот, потом один спокойно направился к трубе. Но ползти по трубе он раздумал, слишком уж утомительно, да и через топкие камыши продираться не хотелось; к тому же сразу бросится в глаза, если он войдет в деревню сначала с правой стороны, а потом покажется на левой. Файнхальс пошел напрямик через луга и огороды, а увидев метрах в ста от себя человека с мотыгой на плече, окончательно успокоился.

Возле трубы стоял американский пост — двое солдат. Оба сняли каски, курили и со скучающим видом смотрели на цветущие сады между Гайдесгаймом и Вайдесгаймом; они не обратили на Файнхальса никакого внимания, они стояли здесь уже три недели, и за последние две недели немцы не произвели по Гайдесгайму ни единого выстрела. Файнхальс спокойно прошел мимо, поздоровался, солдаты равнодушно кивнули в ответ.

Ему оставалось идти еще минут десять, прямо через сады, потом налево, между домами Хойзера и Гоппенрата, потом немного пройти по главной улице — и он уже дома. Он думал, что по пути встретит кого-нибудь из старых знакомых, но на улице не было ни души, кругом стояла полнейшая тишина, лишь издали доносился гул моторов, где-то проходила автоколонна. Стрелять как будто никто не собирался.

Еще утром он слышал предостерегающий голос войны — далекие разрывы снарядов, которые посылала через равные промежутки времени какая-то американская батарея.

С несказанной горечью думал он об Илоне: она ушла из жизни, бросила его в беде, она умерла, что ж, умереть — это проще простого. Ее место было рядом с ним, и на миг ему показалось, что она могла остаться в живых, если бы захотела. Но она поняла, что лучше не заживаться на свете, что не стоит жить ради кратких мгновений земной любви, когда есть иная, вечная

любовь. Да, она многое поняла, куда больше, чем он, и он чувствовал себя покинутым, обманутым, зная, что вернется домой, будет жить без нее, будет читать, работать понемногу и молиться Господу в утешение, нет, он не станет вымаливать у Бога того, что бог не может дать, не может потому, что любит людей. Не станет он пресить ни денег, ни удачи, ни прочих благ, которые помогают людям кое-как влачить существование — большинство людей кое-как проходит сквозь жизнь, кое-как проживет и он сам, будет строить дома, какие строит любой архитектор средней руки, не дано ему строить дома, каких другому не построить...

Подойдя к саду Гоппенрата, Файнхальс улыбнулся — у Гоппенратов до сих пор не опрыскивают стволы деревьев особым белым составом, а, по мнению отца, это крайне необходимо. У отца из-за этого были постоянные стычки со старым Гоппенратом, а тот, видно, и теперь не желает применять белый химикат. До дому было уже рукой подать — осталось лишь пройти узким проулком между домами Хойзера и Гоппенрата, потом свернуть налево, на главную улицу. А Хойзеры опрыскивают деревья в своем саду белым составом. Файнхальс снова улыбнулся.

Он услышал на том берегу оружейный выстрел и сразу бросился на землю; лежа, он еще улыбался, но тут же ему стало страшно — снаряд угодил в сад Гоппенрата и разорвался в листе старой яблони. Частый мягкий дождь белых цветов упал на лужайку. Второй снаряд разорвался где-то впереди, должно быть, у дома Баумера, почти напротив отцовского дома, третий и четвертый легли примерно там же, но чуть левее, снаряды были, по-видимому, среднего калибра. Грохнул пятый выстрел, и орудие умолкло. Файнхальс медленно поднялся с земли, вслушиваясь в наступившую тишину, огонь прекратился, и он быстро зашагал к дому. По всей деревне заливались лаем собаки, дико хлопали крыльями куры и утки в сарае у Хойзера, в хлевах глухо мычали коровы. «Безумие, какое безумие!» — думал он. Потом мелькнула мысль, что стреляли, видно, по американской машине, она еще стоит там, наверно, иначе слышен был бы шум мотора, но когда он свернул на главную улицу, то увидел, что машины там нет, что улица совсем пустынна, и только неумолчный лай собак да глухое мычание коров сопровождали его последние шаги к дому.

Огромный белый флаг на отцовском доме был единственный на всю улицу, и Файнхальс догадался, что это одна из тех необъятных скатертей, которые мать по праздникам извлекала из шкафа. Он опять улыбнулся, но в ту же секунду бросился на землю и, уже падая, понял, что слишком поздно. «Безумие! — опять промелькнула мысль. — Какое безумие!» Шестой снаряд ударил по фронтому родительского дома — вниз полетели кирпичи, штукатурка посыпалась на тротуар, и он услышал, как вскрикнула в подвале мать. Он быстро пополз к крыльцу, услышал приближающийся свист седьмого снаряда и закричал в смертной тоске. Он кричал несколько секунд, ощутил вдруг, что умирать вовсе не так уж просто, громко кричал, пока снаряд не настиг его и, мертвым, бросил на порог родного дома. Древко флага переломилось, белое полотнище упало на Файнхальса и укрыло его.

И НЕ СКАЗАЛ НИ ЕДИНОГО СЛОВА

Перевод Д. Мельникова и Л. Черной

роман

UND SAGTE KEIN EINZIGES WORT

После работы я пошел в кассу получить жалованье. У окошечка стояло очень много народу, и я прождал полчаса, прежде чем подал платежку и увидел, как кассир протянул ее девушке в желтой блузке. Девушка подошла к кипе учетных карточек, вытащила мою и, сказав: «Все в порядке», вернула платежку кассиру, который отсчитал мне своими чисто вымытыми руками деньги на мраморной доске. Пересчитав их, я протиснулся сквозь толпу и подошел к маленькому столику у двери, чтобы вложить деньги в конверт и написать записку жене. На столике лежали розовые бланки приходных ордеров, я взял один из них и написал на оборотной стороне карандашом: «Мне надо встретиться с тобой завтра. Позвоню тебе до двух часов». Вложив записку в конверт, я засунул туда же деньги и лизнул языком края конверта, но, поколебавшись секунду, снова вынул деньги, разыскал в пачке десятимарковую бумажку и положил ее в карман пальто. Записку я тоже вытащил из конверта и приписал к ней еще несколько слов: «Десять марок взял себе. Завтра верну. Целую детей. Фред». Но теперь конверт не заклеивался, и я подошел к окошку с надписью «Вклады», где никого не было. Девушка в окошке привстала и подняла кверху стекло. Она была смуглая и худая, в розовом джемпере, заколотом у ворота искусственной розой.

— Дайте мне, пожалуйста, полоску скотча, — сказал я девушке.

Помедлив немного, она оторвала кусочек скотча от коричневого рулона, ни слова не говоря, отдала его мне и опять опустила стекло. Я сказал «спасибо», глядя на нее сквозь стекло, вернулся к столу, заклеил конверт и, надев берет, вышел из кассы.

Шел дождь, и желтые листья по одному плавно опускались на асфальт. Я остановился у дверей кассы, подождал, пока двенадцатый номер завернул за угол, потом вскочил в трамвай и доехал до Тукхофплатц. В вагоне было полно народу, и пахло сыростью от намокшей одежды. Когда я, так и не взяв билета, соскочил с трамвая на Тукхофплатц, дождь полил еще сильнее. Я быстро укрылся под парусиновой крышей со-сисочной, пробрался к стойке, заказал жареную колбасу, чашку бульона и попросил десять штук сигарет, разменяв десятимарковую бумажку. Откусывая кусок колбасы, я взглянул в зеркало, занимавшее всю заднюю стену комнаты. Сперва я не узнал себя: из зеркала на меня смотрело худое, серое лицо в потрепанном берете,— но потом я вдруг понял, что выгляжу так же, как разносчики, которые когда-то постоянно осаждали мать и которым она никогда не отказывала. Бывало, я — в то время еще совсем маленький мальчик — открывал им дверь, и в сумрачном свете нашей передней видел, что на их лицах написана смертельная безысходность. Как только появлялась мать, которую я в испуге звал, в то же время краем глаза наблюдая за одеждой на вешалке, как только мать выходила из кухни, вытирая руки о фартук, странный и беспокойный блеск появлялся на безутешных лицах этих людей, продававших стиральный порошок или мастику для натирания полов, бритвенные лезвия или шнурки для ботинок. Но даже выражение счастья, которое проступало на этих серых физиономиях при появлении матери, казалось почему-то ужасным.

Моя мать была добрая женщина. Она никогда никого не могла прогнать: если в доме был хлеб, она давала кусок хлеба нищему, если в доме были деньги, она давала беднякам деньги. Или же в самом крайнем случае поила их кофе, а если у нас у самих ничего не было, она предлагала им воду в тщательно вымытом стакане, утешая взглядом. Вокруг звонка над дверью нашей квартиры множились зазубрины и отметины, сделанные нищими и бродягами, и каждый, кто приходил к нам с каким-нибудь самым пустяковым товаром, мог рассчитывать на успех, если только у матери оставалась какая-нибудь мелкая монетка, хотя бы на шнурки для ботинок. Она была неосторожной и с различного рода агентами, не могла устоять перед своими затравленными соплеменниками: при виде их лиц она готова

была подписать любой контракт, любой страховой полис, согласиться на любой заказ. Я был тогда еще совсем маленький, но припоминаю, как по вечерам, лежа в постели, слышал спор, разгоравшийся между матерью и отцом, стоило только ему вернуться домой и войти в столовую; спор был какой-то странный, призрачный, потому что мать почти всегда молчала. Она была тихая женщина. Один из тех людей, приходивших к нам домой, носил потрепанный берет, такой же, какой ношу теперь я; его звали Диш, и, как я потом узнал, он был священник-расстрига, и торговал стиральным порошком.

И вот теперь, сидя перед плоским зеркалом и поедая колбасу — от горячего нестерпимо болели мои воспаленные десны, — я увидел, что начинаю походить на этого Диша: тот же берет, то же худое, серое лицо и взгляд, выражающий безнадежность. А рядом со своим лицом я различал в зеркале лица соседей, их рты, широко раскрытые для того, чтобы отхватить кусок колбасы, а позади за желтыми зубами темную зияющую глотку, в которой исчезали розовые кусочки мяса; я видел шляпы — плохие и хорошие — и мокрые волосы тех моих соплеменников, у которых вовсе не было шляп; и среди всех этих лиц мелькало розовое лицо девушки, продававшей колбасу. Весело улыбаясь, она выуживала деревянной вилкой горячие колбаски, плававшие в растопленном жире, капала горчицей на картонные тарелочки, сновала взад и вперед среди этих жующих ртов, собирала грязные, измазанные горчицей тарелки, подавала сигареты и стаканы с лимонадом, получала деньги — деньги, которые она брала своими розовыми, чуть-чуть короткими пальцами. А дождь все барабанил по брезентовой крыше.

Наблюдая в зеркале за тем, как я открываю рот, чтобы откусить колбасу, и обнажая при этом темный провал глотки за пожелтевшими зубами, я заметил на своем лице то же выражение смиренной жадности, которое так пугало меня на лицах соседей. Наши головы, окутанные горячим чадом, подымавшимся со сковородок, напоминали головы марионеток в кукольном театре. Мне стало страшно, я пробрался к выходу и, не обращая внимания на дождь, побежал по Мוצартштрассе. У лавок под натянутыми брезентовыми навесами толпились люди, переживавшие дождь, и когда я добрался до мастерской Вагнера, то еле протиснул-

ся к двери и с трудом открыл ее; я почувствовал облегчение только после того, как начал спускаться по ступенькам и до меня донесся запах кожи. Пахло застарелым потом, старыми ботинками, новой кожей и варом, и было слышно, как стрекотала старая машина, строчившая заготовки.

Пройдя мимо двух женщин, которые ждали на скамейке, я открыл стеклянную дверь и, заметив, что Вагнер улыбнулся при моем появлении, обрадовался. С Вагнером мы знакомы вот уже 35 лет. Мы жили где-то там, наверху, над лавкой Вагнера, где сейчас пустота, но раньше в этом пустом пространстве над бетонной крышей его мастерской находилось наше жилье. Я носил Вагнеру в починку шлепанцы матери, когда был еще пятилетним мальчонкой. Над его табуретом на стене все так же висит распятие, а рядом с ним изображение святого Криспина, кроткого старичка с седой бородой, который держит в своих слишком холеных для сапожника руках железный треножник.

Я подал Вагнеру руку, и он молча, так как во рту у него были гвозди, показал мне на второй табурет. Я сел, вынул из кармана конверт, а Вагнер пододвинул ко мне через стол кисет с табаком и папиросную бумагу. Но я еще недокурил сигарету и, поблагодарив, протянул ему конверт, сказав при этом:

— Может быть...

Он вынул изо рта гвозди, провел пальцем по своим шершавым губам, желая убедиться, что к ним не пристал какой-нибудь гвоздик, и сказал:

— Опять поручение к жене... Ну и ну...

Покачав головой, он взял у меня конверт.

— Будет сделано... Как только внук придет с исповеди, я пошлю его. Так примерно...— он посмотрел на часы,— так примерно через полчаса.

— Она должна получить письмо сегодня же, здесь деньги,— сказал я.

— Знаю,— ответил он.

Подав ему руку, я вышел. Подымаясь по ступенькам, я подумал, что у Вагнера можно было бы попросить денег. Секунду я колебался, а потом шагнул на последнюю ступеньку и, протиснувшись сквозь толпу у входа, снова вышел на улицу.

Пять минут спустя я вылез из автобуса на Бенекамштрассе, дождь все еще лил; я побежал мимо фронтонов высоких готических зданий, которые укрепи-

ли подпорками, чтобы сохранить их как архитектурные памятники. Сквозь выжженные проемы окон было видно темно-серое небо. Только один из этих домов еще обитаем; я вскочил под навес, позвонил и стал дожидаться.

В кротких карих глазах служанки я прочел то же чувство сострадания, что я иногда выказывал тем несчастным, на которых стал теперь, видимо, походить. Взяв у меня из рук пальто и берет, служанка встряхнула их перед дверью и сказала:

— Боже мой, вы, наверное, промокли до нитки.

Я кивнул ей, подошел к зеркалу и обеими руками пригладил волосы.

— Фрау Бейзем дома? — спросил я.

— Нет.

— Интересно, помнит ли она, что завтра первое число?

— Нет,— сказала девушка.

Она пропустила меня в комнату, придвинула стол ближе к печке и принесла стул, но я продолжал стоять, прислонившись к печке спиной, и смотрел на большие часы, которые вот уже сто пятьдесят лет показывают время роду Бейземов. Вся комната загромождена старинной мебелью, а форма окон выдержана в готическом стиле.

Держа в руках чашку кофе для меня, служанка одновременно тащила за подтяжки Альфонса Бейземамладшего, которому я обязан был растолковывать правила действий с дробями. Бейзем — здоровый, краснощекий мальчишка, он любит играть с каштанами в большом саду; он усердно собирает каштаны и даже приносит их из соседних садов, все еще бесхозных; последние несколько недель, когда окно было открыто, я часто видел в саду длинные связки каштанов, протянутые между деревьями.

Обхватив чашку обеими руками, я прихлебывал горячую жидкость и, глядя в упитанное лицо мальчика, медленно втолковывал ему действия с дробями, хотя точно знал, что это бесполезно. Бейзем — мальчик вежливый, но глупый, такой же глупый, как его родители, братья и сестры; во всем доме у них только один-единственный разумный человек — служанка.

Господин Бейзем торгует кожами и железным ломом; он весьма любезен, иногда, когда мы встречаемся с ним и он перекидывается со мной несколькими сло-

вами, у меня возникает нелепое чувство — будто он завидует моей профессии. По-моему, Бейзем всю жизнь страдает из-за того, что от него ждут чего-то такого, к чему он неспособен, например, руководства крупной фирмой, но для этого необходимы качества, которыми он как раз не обладает, — ум и твердость. И когда мы встречаемся с Бейземом, он с таким жаром расспрашивает о всех подробностях моей работы, что я прихожу к мысли, что Бейзем с большим удовольствием проторчал бы всю жизнь на маленькой телефонной станции. Ему интересно, как я обслуживаю клапанный коммутатор и как соединяю абонентов, он спрашивает меня о профессиональных словечках телефонистов, и мысль о том, что я могу прослушать любой разговор, приводит его в детский восторг.

— Интересно! — восклицает он всякий раз. — Как интересно!

Время шло медленно. Я заставил мальчика повторить правила, продиктовал примеры и, закурив сигарету, ждал, пока он их решит. На улице было совсем тихо. Здесь, в центре города, такая тишина, как в крошечной степной деревушке, когда скот выгоняют на пастбища и во всей деревне не остается никого, кроме нескольких больных старух.

— Чтобы разделить дробь на дробь, надо числитель первой дроби умножить на знаменатель второй, а знаменатель первой — на числитель второй.

Внезапно взгляд мальчика задержался на моем лице и он сказал:

— А Клеменс получил по латыни четверку.

Не знаю, заметил ли мальчик, как я испугался. При его словах в моей памяти внезапно возник образ сына, и лицо сына — бледное лицо тринадцатилетнего мальчугана — словно обрушилось на меня; я вспомнил, что он сидит за одной партой с Альфонсом.

— Это хорошо, — с трудом произнес я, — а ты что получил?

— Двойку, — ответил он, и его взгляд неуверенно скользнул по моему лицу, словно он что-то искал; я почувствовал, как краснею, и в то же время мне стало все безразлично, потому что в этот миг ко мне устремилось множество лиц: лицо моей жены и лица моих детей, они были таких гигантских размеров, словно их проектировали на меня, как на экран; мне пришлось прикрыть глаза, и я пробормотал:

— Продолжай. Как умножают дробь на дробь?

Он тихо сказал правило и при этом взглянул на меня, но я не расслышал его слов: я думал о своих детях, обреченных всю жизнь вертеться в заколдованном кругу — с того дня, когда они впервые уложили свой школьный ранец, до того времени, когда они потянут служебную лямку. Моя мать видела, как я уходил по утрам с ранцем за спиной в школу, и Кэте, моя жена, видит, как уходят по утрам с ранцем за спиной наши дети.

Глядя на Альфонса, я вдалбливал ему правила действий с дробями, и некоторые из них он снова повторял; урок подвигался, хотя и медленно, и я заработал две с половиной марки. Я продиктовал мальчику домашнее задание к следующему разу, выпил последний глоток кофе и вышел в переднюю. Служанка высушила на кухне мое пальто и берет; помогая мне надеть пальто, она улыбнулась. И когда я очутился на улице, то вспомнил грубоватое, доброе лицо этой девушки и подумал, что у нее можно было попросить денег; секунду поколебавшись, я поднял воротник пальто, потому что все еще лил дождь, и побежал на автобусную остановку у церкви Скорбящей богоматери.

Через десять минут я уже оказался в южной части города, в кухне, где пахло уксусом, и бледная девочка, с большими, совсем желтыми глазами, читала наизусть латинские слова. А потом дверь из соседней комнаты отворилась и в двери показалось худое женское лицо с большими, совсем желтыми глазами. Женщина сказала:

— Старайся, детка, ты же знаешь, как мне трудно дать тебе образование, а уроки стоят денег.

Девочка старалась, я тоже старался, и весь урок мы шептали друг другу латинские слова, фразы и синтаксические правила, хотя я знал, что все это бесполезно. Ровно в десять минут четвертого худая женщина вышла из соседней комнаты, распространяя вокруг себя резкий запах уксуса, погладила девочку по голове, посмотрела на меня и спросила:

— Как вы думаете, она справится? За последнюю работу она получила тройку. Завтра у них будет еще одна контрольная.

Я застегнул пальто, вытащил из кармана мокрый берет и тихо сказал:

— Конечно, она справится.

И положил руку на тусклые светлые волосы девочки, а женщина подтвердила:

— Она должна справиться, ведь кроме нее, у меня никого нет. Мой муж погиб в Виннице.

На мгновение я представил себе грязный, забитый ржавыми тракторами вокзал в Виннице и взглянул на женщину. Тут она вдруг собралась с духом и сказала то, что собиралась сказать уже давно:

— У меня к вам большая просьба. Не могли бы вы подождать с деньгами до...—и прежде чем она успела договорить до конца, я сказал:

— Да.

Девочка улыбнулась мне.

Когда я вышел на улицу, дождь перестал, светило солнце и большие желтые листья, медленно кружась, падали с деревьев на мокрый асфальт. Больше всего мне хотелось пойти домой, к Блокам, у которых я живу вот уже месяц, но что-то все время заставляет меня действовать, совершать поступки, бессмысленность которых я сам сознаю: я мог бы попросить денег у Вагнера, у служанки Бейземов или у женщины, от которой пахло уксусом; они наверняка дали бы мне хоть сколько-нибудь, но вместо этого я пошел к трамвайной остановке, сел на одиннадцатый номер и трясся до самой Накенхайм, зажатый в толпе промокших насквозь людей, чувствуя, что горячая колбаса, которую я проглотил на обед, вызывает во мне тошноту. Приехав в Накенхайм, я прошел через парк, мимо запущенных кустов, к вилле Бюклера, позвонил, и подруга Бюклера провела меня в комнату. Когда я вошел, Бюклер оторвал краешек газеты для закладки, захлопнул книгу, которую читал, и, принужденно улыбаясь, повернулся ко мне. Бюклер тоже постарел, с Дорой он живет уже много лет, и их связь стала еще скучнее, чем обычный брак. Неумолимость, с которой они стерегут друг друга, придала жестокость их лицам, они называют друг друга «мое сокровище» и «мышка», спорят из-за денег и словно скованы одной цепью.

Войдя со мной в комнату, Дора тоже оторвала полоску от края газеты, заложила ее в свою книгу и налила мне чаю. На столе стоял чайник, лежали коробка шоколадных конфет и пачка сигарет.

— Очень мило,— сказал Бюклер,— что ты наконец-то появился. Хочешь сигарету?

— Да, спасибо,— ответил я.

Мы молча курили. Дора сидела ко мне вполоборота, и каждый раз, когда я поворачивался к ней, мой взгляд скользил по ее окаменевшему лицу, на котором, однако, появлялась улыбка, как только мы встречались с ней глазами. Они оба молчали, и я тоже не произнес ни слова. Но, потушив сигарету, я вдруг нарушил тишину.

— Мне нужны деньги,— сказал я,— может быть..

Бюклер со смехом прервал меня:

— Значит, тебе нужно то же самое, что нам самим уже давно нужно, я всегда с удовольствием помогу тебе, ты же знаешь... но насчет денег...

Я посмотрел на Дору, и в тот же миг ее каменное лицо расплылось в улыбке. В уголках ее рта лежали резкие складки, и мне показалось, что, куря, она затягивается сильнее, чем прежде.

— Вы уж извините, но ты ведь знаешь...

— Да, знаю,— сказал он,— тебе незачем извиняться, каждый может попасть в затруднительное положение.

— Тогда не буду вам мешать,— сказал я, вставая.

— Ты нам совсем не мешаешь,— ответил он; его голос внезапно оживился, и я понял, что он говорит правду. Дора тоже встала и, обняв меня за плечи, опять усадила на стул; в ее глазах я прочел страх: она боялась, что я могу уйти. Внезапно я осознал, что они действительно были рады моему приходу. Дора протянула мне свой портсигар, налила еще чаю, и я сел, бросив на стул берет. Но мы по-прежнему молчали, только время от времени перебрасываясь словами, и всякий раз, когда я смотрел на Дору, ее каменное лицо расплывалось в улыбке, по-видимому искренней, потому что когда я окончательно поднялся и взял со стула берет, то понял, что они и впрямь боялись остаться с глазу на глаз, боялись книг, сигарет и чая, боялись вечера, который им предстояло провести вдвоем, и той бесконечной скуки, которую они взвалили на себя, потому что в свое время убоились скуки супружеской жизни.

Через полчаса я уже очутился на другом конце города и, стоя перед квартирой своего старого школьного товарища, нажимал на кнопку звонка. Я не был у него больше года, и когда занавеска на крохотном глазке в дверях отодвинулась, я заметил, что белое жирное лицо моего товарища выразило смятение. Но пока он открывал мне дверь, его лицо успело принять

совсем иное выражение. Войдя в переднюю, я обратил внимание на клубы пара, которые пробивались из ванны, услышал детский писк и резкий голос его жены:

— Кто пришел?

С полчаса я просидел в его комнате, обставленной мебелью с зеленоватой обивкой, где пахло камфарой; мы говорили о разных разностях и курили; и когда он начал вспоминать школу, его лицо чуточку посветлело, зато мне стало скучно. Выпустив струю табачного дыма прямо ему в лицо, я в упор спросил:

— Не одолжишь ли ты мне денег?

Мой вопрос отнюдь не поразил его; он стал рассказывать о предстоящих платежах за радиоприемник, за кухонный буфет и тахту, купленные в рассрочку, и о новом зимнем пальто для жены, а потом, исчерпав тему, снова начал вспоминать школу. Я слушал его, и меня охватило странное призрачное чувство — мне казалось, будто он рассказывает о том, что происходило две тысячи лет назад; мысленно я представил себе всех нас в эти сумрачные доисторические времена: как мы ругались со швейцаром, бросали губками в доску, вспомнил, как мы курили в уборной, и мне казалось, будто это происходило в глубокой древности. Все было таким далеким и чужим, что я сам испугался, встал и сказал:

— Ну, тогда извини...— и попрощался с ним. Когда мы опять шли по коридору, его лицо снова стало угрюмым, а из ванной, как и раньше, раздался резкий голос жены, что-то прокричавшей ему,— что именно, я не разобрал; в ответ он прорычал несколько слов, которые звучали приблизительно так:

— Оставь, пожалуйста.

Дверь закрылась, и, выйдя на грязную лестницу, я обернулся и заметил, что он раздвинул занавеску и смотрит мне вслед через крошечный глазок.

Я медленно отправился пешком в город. Опять пошел мелкий дождик, пахло гнилью и сыростью, и газовые фонари на улицах уже зажгли. По дороге я выпил в пивной рюмку водки, наблюдая за каким-то человеком, стоявшим у музыкального автомата и бросавшим в него монетку за монеткой, чтобы послушать шлягеры. Затянувшись, я выпустил струю дыма через стойку, посмотрел в серьезное лицо хозяйки, над которой, как мне показалось, висело проклятье, и расплатившись, пошел дальше.

Из развалин разрушенных домов на тротуары устремлялись мутные потоки дождевой воды желтоватого или коричневатого цвета, а когда я проходил под строительными лесами, на мое пальто закапало что-то вроде извести.

Я вошел в доминиканскую церковь и попытался молиться. В церкви было темно, и около исповедален стояли небольшие группки людей — мужчины, женщины и дети. На алтаре горели две свечи, горели также красная неугасимая лампада и крохотные лампочки в исповедальнях. И хотя я продрог, но пробыл в церкви почти целый час. Из исповедален доносилось смиренное бормотанье; когда кто-нибудь выходил оттуда и шел в центральный неф, закрывая лицо руками, люди двигались ближе. Я увидел накаленные докрасна проволочки рефлектора, когда один из священников, открыв на секунду дверь исповедальни, посмотрел, сколько еще людей ожидает исповеди. Его лицо выразило разочарование, так как народу было много — человек десять, он пошел обратно в исповедальню, и я услышал, что он выключил рефлектор; смиренное бормотанье возобновилось.

Перед моим взором опять прошли лица всех тех людей, которых я видел сегодня после полудня: вначале лицо девушки из сберегательной кассы, оторвавшей мне полоску скотча; потом розовое лицо кельнерши из сосисочной; мое собственное лицо с раскрытым ртом, в котором исчезали куски колбасы, и мой потрепанный берет; я увидел лицо Вагнера, потом мягкое и в то же время грубое лицо служанки Бейземов и лицо Альфонса Бейзема-младшего, которому я вдавливал правила действий с дробями; увидел девочку на кухне, где пахло уксусом, и после этого — грязный вокзал в Виннице, битком набитый ржавыми тракторами, — вокзал, на котором погиб ее отец; увидел мать девочки — ее худое лицо и большие, совсем желтые глаза; увидел Бюклера и другого школьного товарища и красное лицо человека, который стоял в пивной у автомата. Я встал, потому что совсем продрог, опустил пальцы в чашу со святой водой у дверей, перекрестился и вышел на Бёненштрассе. Завернув в пивную Бетцнера, я уселся за маленький столик рядом с музыкальным автоматом и понял, что все время, начиная с момента, когда я вынул из конверта бумажку в десять марок, мои помыслы были устремлены к этой маленькой

пивной Бетцнера. Бросив свой берет на вешалку, я повернулся к стойке и крикнул: «Стаканчик водки, да побольше!» — затем расстегнул пальто и вытащил из карманов пиджака несколько мелких монеток. Одну монетку я бросил в отверстие автомата, нажал кнопку и увидел, как запрыгали серебряные шарики в канале автомата; в правую руку я взял стакан водки, которую принес мне Бетцнер, а сам продолжал следить за автоматом; один из шариков проскочил на игровое поле, и я услышал мелодию, зазвучавшую от прикосновения шарика к контактам. Сунув руку поглубже в карман, я обнаружил монету в пять марок, о которой уже почти успел забыть; ее одолжил мне мой сменщик.

Низко склонившись над автоматом, я следил за игрой серебряных шариков и прислушивался к их мелодии; и тут я услышал, как Бетцнер тихо сказал какому-то человеку у стойки:

— Вот так и будет стоять, пока у него не останется ни гроша в кармане.

II

Я без конца пересчитываю деньги, которые прислал мне Фред: темно-зеленые, светло-зеленые и синие бумажки с изображениями крестьянок, несущих снопы, полногрудых женщин, символизирующих торговлю или виноделие, исторического героя, облаченного в мантию, который держит в руках колесо и молот и, по-видимому, должен символизировать ремесло. Рядом с ним — скучная девица, прижимающая к своей груди миниатюрное изображение банка; у ее ног лежит свиток бумаги и циркуль архитектора. Посередине зеленой бумажки изображен отвратительного вида доходяга, он держит в правой руке весы и смотрит своими мертвыми глазами куда-то вдаль, мимо меня. Уродливый орнамент обрамляет эти бесценные бумажки, на каждом углу напечатаны цифры — соответственно их стоимости; на монетах вытиснены дубовые листья, колосья, виноградные лозы и скрещенные молоты, а на их оборотной стороне выгравировано устрашающее изображение орла, который распростер свои крылья, готовясь вот-вот полететь и кого-то завоевать.

Пока я перебираю каждую бумажку в отдельности, сортирую их и раскладываю по кучкам монеты, дети

наблюдают за мной. Эти деньги — жалованье моего мужа, работающего телефонистом в одном церковном учреждении, — всего здесь триста двадцать марок и семьдесят три пфеннига. Я откладываю одну бумажку для уплаты за квартиру, а потом еще одну — за газ и свет и еще — для больничной кассы; потом отсчитываю деньги, которые задолжала булочнику, и окончательно убеждаюсь, что мне осталось всего двести сорок марок. Фред приложил записку, где говорится, что он взял себе десять марок и вернет их завтра. Но он пропьет их.

Дети наблюдают за мной. Лица у них серьезные и смиренные; но я приготовила для них сюрприз: сегодня я разрешу им играть в парадном. Франке уехали до следующей недели на съезд католического союза женщин, Зельбштайны, которые живут под нами, будут еще две недели в отпуске, а Хопфов — они снимают соседнюю комнату, отделенную от нас только легкой стеной, — Хопфов нечего спрашивать. Итак, дети могут играть в парадном, и для них это такая радость, что просто трудно себе представить.

— Деньги прислал отец?

— Да, — ответила я.

— Он все еще болен?

— Да!.. Сегодня вы можете поиграть в парадном, но только смотрите не разбейте ничего и будьте поосторожней с обоями.

И я счастлива вдвойне — и тем, что доставила детям удовольствие, и тем, что освободилась от них на время субботней уборки.

В парадном все еще пахнет уксусом, хотя у фрау Франке уже заготовлено, по-моему, триста банок с маринадами. От запаха горячего уксуса, не говоря уже о запахе разваренных фруктов и овощей, желчь Фреда начинает бунтовать. Все двери заперты, и на вешалке ничего нет, кроме старой шляпы, которую господин Франке надевает, когда идет в погреб. Новые обои доходят до дверей нашей комнаты, а новая покраска — до середины дверного проема, который ведет в нашу квартиру — одну-единственную комнату, от которой мы отделили фанерной перегородкой небольшую каморку, где спит малыш и куда мы сваливаем всякий хлам. Зато у Франке целых четыре комнаты: кухня-столовая, гостиная, спальня и еще кабинет, в котором фрау Франке принимает своих многочисленных посетителей и

посетительниц. Не знаю, в скольких комитетах она состоит и в скольких комиссиях участвует, а ее фереины меня и вовсе не интересуют. Знаю только, что церковные власти подтвердили, что ей настоятельно необходимо это помещение, то самое помещение, которое хоть и не осчастливило бы нас, но по крайней мере дало бы возможность сохранить супружеские отношения.

Фрау Франке, несмотря на свои шестьдесят лет, красивая женщина; однако необыкновенный блеск ее глаз, который очаровывает всех, вселяет в меня ужас; меня пугают ее темные, жесткие глаза, тщательно уложенные, очень искусно покрашенные волосы, низкий, чуть вибрирующий голос, который, когда она обращается ко мне, вдруг становится визгливым; покрой ее костюмов и тот факт, что она каждое утро причащается и каждый месяц целует кольцо епископа, когда он принимает самых видных дам во всей епархии, — все эти обстоятельства делают ее в моих глазах существом, с которым бесполезно бороться; мы познали это на собственном опыте, потому что боролись с ней целых шесть лет и вынуждены были отступить.

Дети играют в парадном; они настолько привыкли вести себя тихо, что уже просто не в состоянии шуметь, даже если им это разрешено. Их почти не слышно; они связали вместе большие картонные коробки, так что получился поезд, который они осторожно возят по парадному. Они строят железнодорожные станции; грузят вагоны жестяными банками и деревянными палочками, и я могу быть спокойна — этого занятия им хватит до самого ужина. Малыш еще спит.

Я еще раз пересчитываю деньги — эти драгоценные грязные бумажки, их сладковатый запах пугает меня своим смирением; и я мысленно добавляю к ним те десять марок, которые мне должен Фред. Но он проплет их. Два месяца назад он покинул нас, ночует у знакомых или в ночлежках, потому что не в силах выносить тесноту, присутствие фрау Франке и ужасное соседство Хопфов. Он уехал после того, как жилищная комиссия, которая строит поселок на окраине города, отказала нам в площади на том основании, что Фред пьяница, а обо мне дал неблагоприятный отзыв священник. Священник сердит на меня за то, что я не участвую в мероприятиях церковных обществ. Председательница жилищной комиссии — фрау Франке, и решение насчет нас еще больше укрепило

ее репутацию безупречной и бескорыстной женщины. Ведь если бы она присудила нам квартиру, наша комната освободилась бы, и в ней она устроила бы столовую, которой ей как раз не хватает. Но она решила не в нашу пользу, а главное — во вред себе.

Но меня с того времени охватил страх, неопиcуемый страх. То обстоятельство, что я являюсь объектом такой ненависти, пугает меня не на шутку. Я боюсь вкушать тело Господне, ибо от потребления его фрау Франке становится день ото дня грозней, а блеск в ее глазах делается все более жестким; я боюсь слушать божественную мессу, хотя кроткое звучание литургии — одна из немногих радостей, которые мне еще остались; я боюсь смотреть на священника у алтаря, потому что это тот самый человек, чей голос часто доносится из кабинета фрау Франке: голос неудавшегося бонвивана, который курит хорошие сигары и рассказывает глупые анекдоты дамочкам из его церковных комиссий и обществ. Часто из соседней комнаты раздается их громкий смех, а я в это время вынуждена следить за тем, чтобы дети не шумели, потому что они могут помешать совещанию. Впрочем, я давно перестала беспокоиться из-за этого, я разрешаю детям играть, и с ужасом замечаю, что они уже не в состоянии шуметь. А иногда по утрам, когда малыш еще спит, а большие уже в школе, я, отправившись за покупками, проскальзываю на несколько секунд в церковь, если там в это время нет службы, и ощущаю беспредельное умиротворение от присутствия Бога.

Иногда, впрочем, фрау Франке проявляет и добрые чувства, но это пугает меня еще больше, чем ее ненависть. На Рождество она явилась, чтобы пригласить нас на маленькое празднество к себе в гостиную. И я вспоминаю, как мы шли через парадное, словно входя в глубь зеркала: Клеменс и Карла впереди, за ними Фред, а я с малышом на руках замыкаю шествие... Мы словно входили в глубь зеркала, и я увидела всех нас: мы выглядели бедняками.

В их гостиной, где ничего не меняют вот уже тридцать лет, я чувствовала себя чужой, словно попала сюда с другой планеты, заняла не свое место: эта мебель не для нас, и картины тоже; нам не подобает сидеть за столами, накрытыми камчатными скатертями. А когда я увидела елочные украшения, которые фрау Франке сохранила еще с довоенных времен,— все

эти сверкающие голубые и золотые шары, золотую канитель и стеклянных ангелочков с кукольными личиками, когда я увидела младенца Иисуса из мыла в яслях из розового дерева, и сладко улыбающихся, ярко раскрашенных глиняных Марию и Иосифа под гипсовой лентой с надписью «Мир людям», у меня от страха замерло сердце. Меня испугала убийственная чистота в ее квартире — вся эта мебель, политая потом поденщицы из «ферейна матерей», которая каждую неделю тратит на уборку восемь часов, получая пятьдесят пфеннигов за час. Господин Франке сидел в углу и курил трубку. Его костлявая фигура уже начала обрастать мясом; я часто слышу, как он громко топает, подымаясь по лестнице, как он тяжело ступает и, задыхаясь, проходит мимо моей комнаты дальше, в глубь парадного.

Дети не привыкли к такой мебели, она их пугает; в смущении они садятся на обитые кожей стулья и ведут себя так тихо и робко, что мне впору заплакать.

Для детей положили приборы и приготовили подарки: чулки и неизбежные в таких случаях глиняные копилки в виде поросенка; копилки, которые вот уже тридцать пять лет являются непременной принадлежностью всех рождественских праздников в семье Франке.

У Фреда было мрачное лицо: я видела, как он раскаивается, что принял их приглашение; он стоял, прислонившись спиной к подоконнику, потом вынул из кармана сигарету, медленно разгладил ее и закурил.

Фрау Франке налила полные бокалы вина и пододвинула к детям пестрые фарфоровые кружки с лимонадом. Кружки были расписаны по мотивам сказки «Волк и семеро козлят».

Мы выпили. Фред залпом осушил свой стакан и поддержал его в руке, словно смакуя вино. В такие моменты я всегда удивляюсь ему — на его лице можно совершенно отчетливо прочесть то, о чем нет смысла говорить вслух. «Меня не обманешь, — написано на его лице, — две глиняные копилки, стакан вина и пять минут сентиментальничанья не заставят меня забыть, в какой тесноте мы живем».

Этот ужасный визит завершился холодным прощаньем; в глазах фрау Франке я прочла все, что она будет потом рассказывать; ко всем проклятьям, которые обрушиваются на нас, прибавится новое: нас будут

обвинять в черной неблагодарности и невежливости, а ореол мученицы, украшающий голову фрау Франке, станет еще лучезарнее.

Господин Франке — неразговорчивый человек, но иногда, когда он знает, что жены нет дома, он просовывает голову в нашу комнату и молча кладет на стол у двери плитку шоколада; а иногда я нахожу деньги, завернутые в оберточную бумагу, или слышу, как он заговаривает с детьми в парадном. Он останавливает их, бормочет несколько слов, и дети рассказывают мне, что он гладит их по голове, приговаривая: «Милые мои».

У фрау Франке совсем другой характер — она словоохотливая и бойкая женщина, не способная быть ласковой. Она происходит из старинного купеческого рода нашего города. Из поколения в поколение товары, которыми торговал этот род, менялись, становились все более ценными: они начали с растительных масел, соли и муки, с рыбы и сукон, потом перешли к вину, а от вина — к политике, после этого дела семьи пошли под гору и они занялись маклерством — куплей и продажей земельных участков; а сейчас мне иногда кажется, что они торгуют самым ценным товаром — Богом.

Фрау Франке смягчается в очень редких случаях, и прежде всего, когда речь заходит о деньгах. Слово «деньги» она выговаривает с такой кротостью, что я пугаюсь; так некоторые люди произносят слова «жизнь» или «любовь», «смерть» или «бог»: в их голосе слышится мягкость, и легкий трепет, и огромная нежность. Когда фрау Франке говорит о золоте или о своих маринадах, — на эти сокровища она никому не позволит посягнуть, — блеск в ее глазах смягчается, лицо молодеет. А иногда я и вовсе пугаюсь: спустившись в погреб, чтобы взять немного угля или картошки, я слышу, как она пересчитывает где-то поблизости свои банки, кротко бормочет про себя и певучим голосом произносит цифры, словно это музыкальные фразы какой-то тайной литургии; ее голос напоминает мне тогда голос молящейся монахини. И часто, бросив свое ведро, я бегу наверх и прижимаю к груди детей с таким чувством, будто я должна защитить их от кого-то. И дети смотрят на меня: я вижу глаза своего сына, который становится взрослым, и мягкие темные глаза дочери; дети смотрят на меня понимающим и в то же

время непонимающим взглядом и после долгого колебания присоединяются к молитве, которую я начинаю читать: опьяняющую своей монотонностью литанию или «Отче наш», слова которых мы произносим особенно строго.

Уже три часа, и меня вдруг охватывает страх перед наступающим воскресеньем; во двор врывается шум, я слышу голоса, возвещающие о том, что начался веселый субботний вечер,— и сердце холодеет у меня в груди. Я еще раз пересчитываю деньги, разглядываю убийственно скучные изображения на них и решаюсь наконец приступить к работе. Из парадного доносится смех детей, малыш проснулся. Мне надо собраться с силами и начать уборку, но когда я пробуждаюсь от задумчивости и подымаю глаза от стола, на который я облокотилась, мой взгляд упирается в стены нашей комнаты, увешанные дешевыми репродукциями с картин Ренуара, с изображениями слащавых женских лиц. Они кажутся мне нелепыми, настолько нелепыми, что я просто не могу понять, как терпела их всего полчаса назад. Я снимаю репродукции и спокойно рву их на части, а клочки бросаю в помойное ведро, которое мне как раз пора выносить. Мой взгляд скользит по стенам нашей комнаты, он ничего не щадит, кроме распятия над дверью и рисунка не известного мне художника; до сих пор неясные контуры этого рисунка и его скупые краски не трогали меня, а сейчас внезапно, сама не знаю почему, начинают волновать.

III

Когда я выходил из вокзала, почти рассвело, на улицах еще не было ни души. Улицы шли наискосок, обегая квартал, в котором все дома покрыты уродливыми заплатами штукатурки. Было холодно; на привокзальной площади стояло несколько озябших шоферов такси — четверо или пятеро, они засунули руки глубоко в карманы и, двигаясь в такт, как марионетки, которых дергают за веревочку, на секунду повернули ко мне свои бледные лица в синих фуражках. Но всего на секунду, потом головы дернулись назад, в исходное положение, и взгляды шоферов снова обратились к выходу из вокзала.

Даже проституток не было на улицах так рано, и когда я медленно обернулся, то увидел, что большая стрелка на вокзальных часах неторопливо скользнула к девяти; было без четверти шесть. Я пошел по улице, огибающей справа громадное здание вокзала, внимательно заглядывая во все витрины,— не открылось ли уже какое-нибудь кафе, или пивная, или, на худой конец, одна из тех закусочных, которые хоть и вызывают во мне отвращение, но все же лучше привокзальных буфетов, где в эти часы подают тепловатый кофе или жидкий подогретый бульон, пахнущий казармой. Подняв воротник пальто и аккуратно закрыв его концами горло, я начал счищать с пальто и с брюк темную прилипшую грязь.

Вчера вечером я выпил больше, чем обычно, и около часу ночи пошел на вокзал к Макс, который время от времени дает мне ночлег. Макс работает в камере хранения; мы познакомились с ним на войне. Посередине зала камеры хранения находится большая батарея, обшитая досками с приделанными к ним сиденьями. На этих скамейках отдыхают все те, кто работает внизу: носильщики, рабочие камеры хранения и лифтеры. Обшивка не прилегает вплотную к батарее, так что можно залезть внутрь: там довольно просторно, темно и тепло, и когда я лежу у батареи, то ощущаю покой и умиротворение, алкоголь бродит по моим кровеносным сосудам; сверху доносится глухое гromыхание подъезжающих и отъезжающих поездов, стук багажных тележек, гудение лифтов — все эти звуки кажутся в темноте неясными и быстро усыпляют меня. А иногда случается, что, вспомнив о Кэте и о детях, я плачу, хотя знаю, что слезы пьяницы не идут в счет, ничего не значат, и чувство, которое я испытываю, можно назвать скорее болью, нежели угрызениями совести. Я начал пить еще до войны, но, кажется, теперь об этом успели забыть, и к моему падению окружающие относятся с известной снисходительностью, потому что про меня можно сказать: «Он воевал».

Остановившись у зеркальной витрины какого-то кафе, я почистился со всей тщательностью, на какую только способен, и зеркало бесчисленное множество раз отбросило мою хрупкую, маленькую фигурку, словно шарик в воображаемом кегельбане, где тут же рядом кувыркались торты со взбитыми сливками

и миндальные пирожные в шоколаде: я увидел в зеркале крошечного человечка, который, судорожно приглаживая волосы и теребя себя за штаны, беспомощно откатился назад в окружении пирожных.

Потом я медленно побрел дальше мимо табачных и цветочных лавок, мимо магазинов тканей, из витрин которых на меня с поддельным оптимизмом глазели манекены. Направо я вдруг увидел улицу, почти сплошь состоящую из деревянных лавчонок. На углу висел большой белый плакат с надписью: «Добро пожаловать, аптекари!»

Лавчонки были встроены прямо в развалины; они будто присели на корточки возле выжженных и обрушившихся фасадов; но и здесь попадались только табачные ларьки, лавки тканей и газетные киоски, а когда я в конце концов дошел до закуской, то она оказалась запертой. Я подергал за дверную ручку, обернулся и наконец-то заметил свет. Перейдя через улицу, я отправился в ту сторону и увидел, что свет шел из церкви. Высокое готическое окно церкви кое-как заделали необтесанными камнями, а посередине этой уродливой каменной кладки было вставлено небольшое, окрашенное в желтый цвет окошко, взятое, по всей вероятности, из какой-нибудь ванной комнаты. Через четыре маленькие створки на улицу проникал слабый желтоватый свет. Остановившись на секунду, я задумался: «Хоть это и маловероятно, но вдруг в церкви тепло?» И я поднялся по выщербленным ступенькам. Дверь, обитая кожей, по видимому, уцелела еще с прежних времен. В церкви оказалось холодно. Сняв берет, я медленно пробрался между скамейками вперед и наконец-то разглядел горящие свечи в боковом нефе, стены которого были кое-как залатаны. Я пошел дальше, хотя убедился, что в церкви еще холодней, чем на улице: здесь дуло. Дуло изо всех углов. Стены в некоторых местах были заделаны даже не камнями, а плитками из какого-то строительного материала: их поставили друг на друга и склеили; клейкая масса вытекла наружу, плитки расслаивались и разваливались, сквозь грязные наплывы просачивалась влага. Я в нерешительности остановился у одной из колонн.

В простенке между двумя окнами за каменным аналоем, по обеим сторонам которого горели свечи, стоял священник в белом облачении. Воздев руки, он молился, и хотя мне была видна лишь спина священника, я по-

нял, что он мерзнет. На миг мне показалось, что во всей церкви никого нет, кроме этого священника с замерзшей спиной, поднявшего бледные руки над открытым молитвенником. Но в полумраке, при тусклом свете мерцающих свечей, я заметил русую голову девушки; погруженная в молитву, она склонилась так низко, что ее распущенные по спине волосы разделились на две ровные половины.

Рядом с ней стоял на коленях мальчик, который не переставая вертелся во все стороны; я увидел его в профиль, несмотря на полумрак, различил опухшие веки и открытый рот и понял, что мальчик дурачок. У него были красноватые воспаленные веки, толстые щеки, неестественно выпяченные губы; а в те редкие мгновения, когда он закрывал глаза, на его детском лице появлялось выражение презрения, которое поражало меня и вызывало во мне раздражение.

Теперь священник повернулся к нам: он был угловатый и бледный, с лицом крестьянина; прежде чем сложить вместе поднятые кверху руки, снова развести их и что-то пробормотать, он посмотрел на колонну, у которой стоял я. Потом он повернулся и склонился над каменным аналоем, внезапно снова повернулся к нам лицом и с несколько комичной торжественностью благословил девушку и слабоумного мальчика. Как ни странно, но, находясь здесь же в церкви, я не почувствовал, что это относится также и ко мне. Священник снова повернулся к алтарю, покрыл голову, взял чашу и задул свечу, которая стояла справа от него. Он медленно спустился к главному алтарю, преклонил колена и исчез в глубокой тьме церкви. Больше я его не видел и услышал только, как заскрипели дверные петли. На какое-то мгновение я различил девушку: она встала, опустилась на колени, а потом взошла по ступенькам, чтобы потушить левую свечу; я разглядел ее нежный профиль и выражение душевной ясности на лице. Пока она стояла, освещенная мягким желтым светом, я понял, что она действительно красива: тонкая, высокого роста, со светлым лицом. Это лицо не показалось мне глупым даже тогда, когда девушка, вытянув губы, начала дуть на свечу. А потом и ее и мальчика окутал мрак, и я увидел их снова только после того, как они вошли в полосу серого света, проникавшего из маленького окошка в каменной стене. И меня снова поразила посадка ее головы и движения шеи, когда она, проходя

мимо, бросила на меня короткий, испытующий, но очень спокойный взгляд и вышла. Она была красива, и я пошел за ней. У выхода она еще раз опустилась на колени, а потом, толкнув дверь, потянула за собой дурачка.

Я пошел вслед за ней. Девушка повернула назад, в сторону вокзала, и пошла по пустынной улице, где были только деревянные лавочки и развалины, и я заметил, что она несколько раз оглянулась. Стройная, пожалуй, даже слишком худощавая, она была, наверное, не старше восемнадцати или девятнадцати лет; терпеливо и настойчиво тащила она за собой дурачка.

Домов стало больше, а деревянные лавочки попадались все реже; на мостовой было проложено несколько трамвайных путей — и я понял, что нахожусь в той части города, куда очень редко попадал. Где-то поблизости был трамвайный парк: из-за красноватой, плохо отремонтированной стены доносился пронзительный визг трамвайных колес, серую утреннюю мглу прорезали яркие вспышки сварочных аппаратов и слышалось шипение баллонов с кислородом.

Я так долго и пристально рассматривал стену, что не заметил, как девушка остановилась. Подойдя к ней почти вплотную, я увидел, что она стоит перед одной из маленьких лавчонок и перебирает связку ключей. Дурачок смотрел на однообразно-серое небо. Девушка снова оглянулась, а я, проходя мимо нее, задержался на секунду и заметил, что лавчонка, которую она открывала, была закусочной.

Она уже отперла дверь, и, заглянув внутрь, я различил в серой мгле комнаты стулья, стойку и матовое серебро большого электрического кофейника; до меня донесся затхлый запах холодных картофельных оладий, и, несмотря на полумрак, я разглядел за измазанным стеклом стойки две тарелки с горой фрикаделек, холодные отбивные и большую зеленоватую банку, в которой плавали маринованные огурцы.

Когда я остановился, девушка посмотрела на меня. Она снимала железные ставни с окон. И я тоже посмотрел ей в лицо.

— Прошу прощения,— сказал я,— вы уже открываете?

— Да,— ответила она, проходя мимо меня, чтобы отнести последний ставень в дом, и я услышал, как она ставила его на место. Все ставни были теперь сняты, но она все же вернулась и посмотрела на меня. Я спросил:

— Можно войти?

— Конечно,— ответила она,— но еще холодно.

— Это неважно,— сказал я, входя.

В закуской стоял отвратительный запах. Я вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. Она включила электричество, и когда я разглядел комнату при свете, то удивился, как чисто кругом.

— Странная погода для сентября,— сказала она. — Днем опять будет жарко, а сейчас холод.

— Да,— подтвердил я,— как это ни странно, но по утрам холодно.

— Я сейчас затоплю,— сказала она.

Голос у нее был чистый, звонкий и немного сухой, и я заметил, что она смущена.

Кивнув в ответ, я встал у стены рядом со стойкой и осмотрелся; голые дощатые стены комнаты были обклеены пестрыми рекламами сигарет: элегантные мужчины с проседью, поощрительно улыбаясь, протягивали свои портсигары декольтированным дамам, в другой руке они сжимали горлышки бутылок с шампанским; скачущие ковбои с выражением чертовской лихости на лице, держа в одной руке лассо, а в другой сигарету, влачили за собой немисливо синее облако табачного дыма невероятных размеров, которое, словно шелковистый флаг, простиралось до самого горизонта прерий.

Дурачок сидел у печки, дрожа от холода. В рот он засунул ярко раскрашенный леденец на палочке и с раздражающей настойчивостью обсасывал красную карамель; а из уголков рта у него медленно стекали еле заметные струйки растаявшего сахара.

— Бернгард,— мягко сказала девушка, наклоняясь к дурачку и заботливо вытирая ему рот своим носовым платком. Она открыла дверцу печки, скомкала несколько газет и бросила их в топку, положила щепки и брикеты и поднесла к закопченной пасти печки зажженную спичку.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она мне.

— Спасибо,— ответил я, но так и не сел.

Мне было холодно и хотелось стоять поближе к печке; несмотря на легкое отвращение, которое вызывал во мне вид дурачка и запах остывших дешевых блюд, я заранее радовался кофе и хлебу с маслом. Я смотрел на белоснежный затылок девушки, на ее плохо заштопанные чулки, наблюдал за мягкими движениями ее голо-

вы, когда, низко нагнувшись, она проверяла, хорошо ли разгорается огонь.

Сперва печь только слегка дымила, а потом наконец стало слышно, как затрещали щепки, пламя тихо зашумело, и дыма стало меньше. Все это время девушка сидела у моих ног, на корточках, вороша грязными пальцами в пасти печки, и время от времени нагибалась, чтобы раздуть огонь; и когда она нагибалась особенно низко, я видел не только ее затылок, но и белую детскую шею.

Вдруг она встала, улыбнулась мне и пошла за стойку. Отвернув кран, она вымыла руки и включила кофейник. Я подошел к печке, открыл дверцу кочергой и увидел, что дрова разгорелись и огонь уже подобрался к брикетам. Стало действительно тепло. В кофейнике забулькала вода, и я почувствовал, что мой аппетит разыгрался. Каждый раз, когда я выпью, мне очень хочется кофе и поесть чего-нибудь, но я все же с легким отвращением смотрел на холодные сосиски, на их сморщенную кожицу и на миски с картофельным салатом. Девушка взяла жестяной ящик, плотно уставленный пустыми бутылками, и вышла из комнаты. Оставшись наедине со слабоумным, я почувствовал странное раздражение. Ребенок не обращал на меня никакого внимания, но я испытывал ярость, глядя на то, с каким самодовольным видом он сидит и сосет свою отвратительную палочку с леденцом.

Я бросил сигарету; дверь открылась, и я испугался, потому что вместо девушки в комнату вошел священник, который перед этим служил мессу. На нем была теперь черная, очень чистая шляпа, из-под которой виднелось его круглое бледное крестьянское лицо.

— Доброе утро,— сказал священник. Когда он заметил, что за стойкой никого нет, на его лице, словно тень, промелькнуло разочарование.

— Доброе утро,— сказал я и про себя подумал: «Вот бедняга!» Только сейчас я сообразил, что был в церкви Скорбящей богоматери; я знал решительно все, что касалось этого священника: отзывы о нем были весьма посредственные, его проповеди не нравились — в них было чересчур мало пафоса, а голос у него был слишком хриплый. Во время войны он не совершил никаких героических поступков: не стал ни военным героем, ни борцом Сопротивления; его грудь не украшали ордена, и он также не мог претендовать на ореол муче-

ничества; его бумаги портило самое обыкновенное дисциплинарное взыскание за неявку на вечернюю поверку. Но это еще полбеды — хуже было то, что священник считался замешанным в странной любовной истории, и хотя, как потом выяснилось, любовь была платонической, все равно — степень духовной близости между ним и той женщиной вызвала недовольство. О духовных пастырях, подобных этому священнику из церкви Скорбящей богородицы, господин прелат говорит, что им не поставишь больше трех с минусом, а то и двух с плюсом.

Смушение и разочарование священника было столь явным, что мне стало не по себе. Я закурил вторую сигарету, снова сказал «доброе утро» и постарался не глядеть на его такое заурядное лицо. Каждый раз, когда я вижу священников, одетых в черные сутаны, вижу выражение безмятежной уверенности на их неуверенно безмятежных лицах, я ощущаю странное чувство — смесь ярости и сострадания, — то же чувство, какое вызывают во мне мои дети.

Священник нервно постукивал двухмарковой монетой по стеклу, покрывавшему стойку. А когда дверь отворилась и вошла девушка, краска начала заливать его шею, а потом лицо.

— Я пришел только за сигаретами, — сказал он торопливо.

Я внимательно наблюдал, как его короткие белые пальцы, пробираясь между отбивными, осторожно приблизились к сигаретам, как он выудил красную пачку, бросил на стойку монету и поспешно покинул закусочную, невнятно пробормотав «доброе утро».

Поглядев ему вслед, девушка опустила корзину, которую держала в руках, и я почувствовал, как у меня потекли слюнки при виде свежих белых булочек. С усилием проглотив тепловатую слюну, наполнявшую мой рот, я потушил сигарету и осмотрелся вокруг: где бы сесть. От железной печки теперь так и несло жаром с легкой примесью угольного дыма, и я вдруг почувствовал, как что-то кислое поднимается в моем желудке, вызывая тошноту.

С улицы доносился пронзительный скрежет трамваев, заворачивавших при выходе из парка; вереницы грязновато-белых вагонов словно змеи проползали мимо окон, останавливались и отправлялись дальше; и их

слепающий скрежет, возникавший в определенных точках, расходился в разные стороны, разматываясь вдали, как клубок ниток.

Вода в кофейнике тихо бурлила, дурачок обсасывал свою деревянную палочку, на которой осталась теперь только тоненькая, совсем прозрачная розоватая пластинка леденца.

— Вам кофе? — спросила меня девушка, стоявшая за стойкой. — Хотите кофе?

— Да, пожалуйста, — быстро сказал я, и она, поставив под кран кофейника большую чашку с блюдцем, кивнула мне и повернула ко мне свое спокойное красивое лицо и улыбнулась; казалось, ее тронуло выражение, с каким я произнес эти слова. Потом она осторожно открыла жестяную банку с молотым кофе, взяла ложку, и до меня донесся чудесный запах; поколебавшись секунду, она спросила:

— Сколько? Сколько вам налить чашек?

Я поспешно вынул из кармана деньги, расправил смятые бумажки, быстро сложил в одну кучку мелочь, еще раз пошарил по карманам, а потом, пересчитав все вместе, сказал:

— Три. Три чашки.

— Три? — сказала она, снова улыбнулась и прибавила: — Тогда я дам вам маленький кофейник. Это дешевле.

Я наблюдал за тем, как она насыпала четыре полные чайные ложки кофе в никелированное ситечко, вставила его в электрический кофейник, отодвинула чашку и пододвинула под кран маленький кофейник. Пока она спокойно управлялась с различными кранами, кофейник шумел, бурлил, и пар с шипением подымался к лицу девушки, а потом я увидел, что темно-коричневая жидкость закапала в маленький кофейник. И у меня тихо забилось сердце.

Иногда я думаю о смерти, о мгновении, когда человек переходит из одной жизни в другую; я стараюсь представить себе, о чем вспомню в ту последнюю секунду: я вспомню бледное лицо моей жены, светлое ухо священника в исповедальне, несколько тихих месс в сумрачных церквах, умиротворяющие звуки литургии и розовую теплую кожу моих детей; вспомню алкоголь, бродящий в моих жилах, и завтраки после выпивки, несколько таких завтраков, и теперь, глядя на девушку, на то, как она управлялась с кранами, я понял, что и ее

я вспомню в тот миг. Я расстегнул пальто и бросил берет на пустой стул.

— Булочки вы тоже дадите? — спросил я. — Они свежие?

— Конечно, — сказала она. — Сколько вам? Они совсем свежие.

— Четыре, — сказал я, — и еще масла.

— Сколько?

— Пятьдесят граммов.

Она вынула булочки из корзинки, положила их на тарелку и начала делить ножом двухсотпятидесятиграммовую пачку масла.

— У меня нет весов, вы не возражаете, если будет немного больше. Четвертушка от этой пачки. Тогда я могу ее просто отрезать ножом.

— Да, — сказал я, — разумеется. — И я ясно увидел, что кусок масла, который она положила мне вместе с булочками, был больше четверти пачки, он был больше всех других кусков.

Осторожно освободив масло от бумаги, она подошла ко мне с подносом.

Поднос она держала совсем близко у моего лица, потому что одновременно свободной рукой пыталась расстелить салфетку, и я помог ей, развернул салфетку и на какой-то миг ощутил запах ее рук — от ее рук приятно пахло.

— Вот, пожалуйста, — сказала она.

— Большое спасибо, — ответил я.

Я налил себе кофе, положил сахар в чашку, размешал и начал пить. Кофе был горячий и очень вкусный. Только моя жена умеет готовить такой кофе, но дома я редко пью кофе, — я пытался сообразить, сколько времени уже не пил такого вкусного кофе. Сделав несколько глотков подряд, я почувствовал себя лучше.

— Чудесно, — воскликнул я, — кофе превосходный!

Она улыбнулась и кивнула мне, и я вдруг понял, как приятно смотреть на нее. Ее присутствие вызывает во мне чувство удовольствия и покоя.

— Мне еще никто не говорил, что у меня кофе такой вкусный.

— И все же это так, — сказал я.

Было слышно, как за дверью задребезжали пустые бутылки в жестяном ящике, в закусную вошел молочник и внес запечатанные бутылки, а девушка спокойно пересчитала их, дотронувшись своими белыми

пальцами до каждой бутылки в отдельности; в бутылках было молоко, какао, кефир и сливки. В комнате стало тепло. Дурачок все еще сидел на прежнем месте, держа во рту обсосанную палочку и произнося время от времени отрывистые звуки, обрывки слов, начинавшиеся на «ц»; он выговаривал их, по-моему, в каком-то определенном ритме: «цу цу-ца ца-цо цо»; дикая, таинственная мелодия звучала в его невнятном бормотании, а когда девушка поворачивалась к нему, дурачок начинал ухмыляться.

В закусочную вошли механики из трамвайного парка, сняли защитные очки, сели и начали тянуть через соломинку молоко из бутылок. Я увидел, что на их комбинезонах нашит городской герб. На улицах стало оживленнее, из парка уже не выезжали длинные трамвайные составы, зато через равные промежутки времени мимо нас со скрежетом пробегали грязновато-белые вагончики.

Я думал о Кэте, моей жене, о том, что вечером буду с ней. Но до этого мне еще предстоит добыть денег и найти комнату. Добывать деньги всегда трудно; и я мечтал о таком человеке, который сразу бы согласился одолжить мне нужную сумму. Но в городе, подобном нашему, в городе с населением в 300 тысяч трудно найти человека, который сразу, как только попросишь, даст тебе взаймы. Я знал несколько человек, обратиться к которым мне легче, нежели к другим, и решил пойти к ним, а по дороге мне, может быть, удастся узнать в гостиницах насчет комнаты.

Когда я допил кофе, было, наверное, уже около семи. Закусочная наполнилась клубами табачного дыма; усталый и небритый инвалид, который улыбаясь проковылял по комнате и сел у печки, пил кофе и кормил слабоумного мальчика бутербродами с сыром, доставая их из газетной бумаги.

А девушка спокойно стояла у стойки с тряпкой в руке, принимала деньги, давала сдачу, улыбалась, здоровалась, управлялась с большим кофейником, вынимала бутылки из горячей воды и вытирала их салфеткой. Казалось, она делала все это без всякого труда, не напрягаясь, хотя время от времени у стойки собиралась целая толпа нетерпеливых людей. Она наливала горячее молоко, холодное какао и теплое какао; и пар от большого кофейника, шипя, подымался к ее лицу; деревянной вилкой она вылавливала огурцы из мутноватой бан-

ки... и вдруг закусочная опустела. Один только толстый молодой парень с желтым лицом еще стоял у стойки, держа в одной руке огурец, а в другой — холодную отбивную. Он быстро съел и то и другое, сунул в рот сигарету и начал медленно искать деньги, которые, очевидно, держал просто в карманах; поглядев на его с иголочки новый костюм, почти совсем не измятый, и на его галстук, я внезапно сообразил, что сегодня праздник, что в городе уже началось воскресное утро, и подумал о том, как трудно добыть деньги в воскресенье.

Молодой парень тоже ушел, и остался только небритый инвалид; он настойчиво и терпеливо совал в рот дурачку кусочки хлеба с сыром, тихо подражая при этом звукам, которые тот произносил: «цу цу-ца ца-цо цо». Но в его бормотании я не мог уловить того дикого, захватывающего ритма, какой слышался в бормотании слабоумного. Я задумчиво смотрел на дурачка, медленно жевавшего кусочки хлеба. Прислонившись к стене, девушка тоже наблюдала за ним. Она пила горячее молоко из кружки и неторопливо жевала черствую булочку, отщипывая от нее кусочки. В закусочной стало тихо и спокойно, и я ощутил, что во мне поднимается острое чувство раздражения.

— Получите! — громко крикнул я, вставая.

И когда инвалид бросил на меня холодный, испытующий взгляд, я почувствовал что-то вроде стыда. Дурачок тоже повернулся ко мне, но блуждающий взгляд его голубых глаз скользнул мимо меня; в полной тишине девушка тихо сказала:

— Оставь его, папа, по-моему, Бернгард съел достаточно.

Она взяла у меня из рук деньги, бросила их в ящик из-под сигар, стоявший под стойкой, и медленно отсчитала сдачу на стекле, а когда я подвинул к ней несколько монет на чай, взяла их, тихо сказала: «Спасибо», — и опять поднесла ко рту кружку, чтобы допить молоко.

И при ярком дневном свете она тоже была очень красивой. Прежде чем выйти, я секунду колебался. Мне бы хотелось остаться здесь, часами сидеть и ждать чего-то; но я повернулся к ним спиной, постоял минутку на пороге, усилием воли заставил себя сдвинуться с места, тихо бросив на прощание: «Всего хорошего», — и поспешно вышел на улицу.

Два молодых парня в белых рубашках разворачивали у дверей транспарант, собираясь укрепить его на двух

деревянных палках. По улице были разбросаны цветы; я подождал немного, пока парни развернули транспарант, и прочел написанную красным по белому надпись: «Слава нашим духовным пастырям!»

Я зажег сигарету и медленно пошел в город, чтобы добыть денег и снять комнату на сегодняшний вечер.

IV

Когда я подхожу к раковине, чтобы налить ведро воды, то невольно вижу в зеркале себя: вижу худую женщину, познавшую всю горечь жизни. Волосы у меня еще густые, а несколько седых волосков на висках, придающих серебристый блеск светлым прядям,— это самый маленький след из всех, какие оставила во мне скорбь по тем двум моим детям, к которым я, по словам духовного отца, должна обращать свои молитвы. Им было тогда столько же, сколько сейчас Францу, они только начали подниматься в кровати, только пытались заговорить со мной. Они никогда не играли на полянах, где растут цветы, однако время от времени я вижу их на полянах, покрытых цветами; и тогда к скорби, которую я испытываю, примешивается чувство известного удовлетворения — удовлетворения тем, что хотя бы двух моих детей не коснутся жизненные невзгоды. И все же мысленно я вижу, как эти два существа, которых в действительности уже нет, год от году растут, меняясь почти что из месяца в месяц. Они выглядят так, как могли бы выглядеть сейчас. В глазах этих детей, стоящих в зеркале позади меня и кивающих мне, я вижу мудрость, которую хотя и понимаю, но не приемлю. Ибо скорбно улыбающиеся глаза детей в серебристой мгле, где-то в глубине зеркала, выражают терпение, бесконечное терпение, а я, я не обладаю терпением, я не прекращаю борьбы, которую они не советуют мне начинать.

Ведро наполняется очень медленно, и в тот момент, когда бульканье воды становится глуше, едва слышным, грозя вовсе прекратиться, в тот момент, когда я чувствую, что жестяная посуда, с помощью которой я веду свою повседневную борьбу, уже полна до краев, мой взгляд возвращается из глубины зеркала назад и еще на мгновенье задерживается на моем собственном лице: скулы на нем слишком выдаются, потому что я начинаю худеть, бледная кожа приобрела желтоватый оттенок, и

я раздумываю, не попробовать ли мне сегодня вечером другую помаду, более светлую.

Не знаю, сколько тысяч раз я уже проделывала эти движения — движения, которые я сейчас снова повторю. Не глядя, просто по звуку я узнаю, что ведро наполнилось, закручиваю кран, и мои руки внезапно берутся за ручку; чувствуя, как напрягаются мускулы, я одним махом ставлю тяжелое ведро на пол.

Я останавливаюсь у дверей соседней каморки, похожей скорей на кабину — мы сами отгородили ее фанерной перегородкой, — и прислушиваюсь: хочу удостовериться, что Франц спит.

Потом я начинаю свою борьбу, борьбу против грязи. Сама не знаю, почему я надеюсь, что когда-нибудь добьюсь победы. Прежде чем начать, я медлю еще секунду; не глядя в зеркало, причесываюсь, убираю со стола грязную посуду, оставшуюся после завтрака, и закуриваю полсигареты, которая лежит в шкафу между моим молитвенником и баночкой с кофе.

За стеной уже проснулись. Через тонкую перегородку слышно шипение газовой горелки, обычное утреннее хихиканье, ненавистные голоса, которые переговариваются между собой. Очевидно, он еще лежит в кровати: из его бормотания нельзя понять ни звука, а ее слова я различаю только тогда, когда она не отворачивает голову.

— ...прошлое воскресенье восемь настоящих... надо купить новую резину... когда же будут деньги...

Теперь он, по-моему, читает ей, что сегодня идет в кино, потому что внезапно я слышу, как она говорит:

— Вот туда мы и пойдем.

Значит, вечером они уйдут, отправятся в кино, а потом куда-нибудь в пивнушку. И я начинаю раскаиваться, что условилась на сегодня с Фредом, потому что вечером у нас будет тихо или по крайней мере в соседней комнате будет тихо. Но Фред уже, наверное, бегаёт, пытаясь раздобыть комнату и денег, и наше свидание нельзя отменить. Вот я и докурила сигарету.

Стоит мне отодвинуть шкаф, как навстречу сыплотся куски штукатурки, которые успели отвалиться от стены; они с шумом выкатываются из-под ножек шкафа и быстро рассыпаются по полу; легкие, хрупкие, сухие комки известки, отлетев на несколько шагов, сразу же начинают превращаться в пыль. Время от времени со стены сползают большие пласты штукатурки, трещины

увеличиваются, а когда я отодвигаю шкаф, то в комнате раздается шум, напоминающий отдаленные раскаты грома, а облако известки как бы оповещает, что наступил час особенно трудной битвы. На все вещи ложится мельчайший известковый порошок, и мне приходится снова вытирать тряпкой пыль. Под ногами у меня хрустит, и сквозь тонкую перегородку слышно, как в каморке кашляет малыш, которому попала в горло эта отвратительная пыль. Отчаяние, охватившее меня, походит скорее на физическую боль, от страха в горле застывает комок, и я, давясь, пытаюсь проглотить его. В мой желудок попадает пыль, смешанная со слезами и отчаянием, и теперь я действительно принимаю бой. Открыв окно, я сметаю в одну кучу куски штукатурки и чувствую, что лицо мое подергивается; потом беру тряпку, тщательно вытираю пыль и наконец окунаю тряпку в воду. Но стоит мне только вымыть квадратный метр пола, как уже приходится выполаскивать тряпку; и в чистой воде сразу же расплывается молочно-белое облако. После третьего метра вода густеет, а когда я выливаю ведро, на дне остается противный известковый осадок, который надо выскребывать руками и выполаскивать. И опять мне приходится наливать воду в ведро.

Я смотрю в зеркало и, не видя своего лица, вижу их, моих малышей — Регину и Роберта, близнецов, которых я родила, чтобы они потом умерли у меня на глазах. Фред своими руками перевязывал им пуповину и кипятил инструменты. Когда я кричала во время схваток, его руки лежали на моем лбу. Он топил печку и крутил сигареты себе и мне; он тогда дезертировал, и иногда мне кажется, что я полюбила его по-настоящему только после того, как поняла, насколько он презирает законы. Он брал меня на руки и относил в бомбоубежище, и в его присутствии я первый раз дала им грудь, там, внизу, в промозглom, холодном подвале, при свете тихо мерцавшей свечи; Клеменс сидел рядом на своем маленьком стульчике, рассматривая книгу с картинками, а снаряды рвались где-то над нашим домом.

Но бульканье воды становится все более угрожающим, призывая меня к борьбе против грязи. Привычным жестом поставив ведро на пол у раковины, я оглядываюсь и вижу, что в тех местах, где я только что мыла, пол подсох и на нем уже появился убийственный беле-ый налет известки: отвратительные пятна, которые — это я знаю точно — ничем не истребишь. Этот почти

невидимый враг парализует меня, а помощь, которую я ощущаю при виде ведра с чистой водой, весьма ненадежна.

Каждый раз, пока пустое жестяное ведро медленно наполняется под краном, мои глаза прикованы к молочно-белой расплывающейся дали зеркала, — и я вижу своих детей со следами клопных укусов, вижу их тельца, изъеденные вшами, и чувствую, как меня охватывает отвращение при мысли о чудовищной армии паразитов, которую мобилизовала война. Лишь только начинается война, в движение приходят миллиарды вшей и клопов, комаров и блох; они повинуются безмолвному приказу, гласящему, что отныне им предстоит работа.

О да, я все знаю и никогда не забуду! Я знаю, что мои дети умерли от вшей, что нам продавали совершенно бесполезное снадобье, которое выпускала фабрика, принадлежавшая двоюродному брату министра здравоохранения, в то время как настоящие средства против паразитов они хранили для себя. О да, я все знаю и никогда не забуду, ибо в глубине зеркала я вижу их, моих малышей, искусанных и уродливых, мечущихся в жару; вижу их маленькие тельца, раздувшиеся от бесполезных инъекций; и, не убирая ведра, я закручиваю кран, потому что сегодня воскресенье и я хочу передохнуть минутку от моей борьбы против грязи, которую война двинула на нас.

Я вижу лицо Фреда, неумолимо стареющее, опустошенное жизнью, которая была бы совсем бессмысленной, не внуши она мне любовь к нему. Я вижу лицо мужчины, которым слишком рано овладело равнодушие ко всему, что другие мужчины решили принимать всерьез. Я часто вижу его в своих мыслях, очень часто, а теперь, когда он ушел от нас, еще чаще, чем прежде.

В зеркале отражается мое улыбающееся лицо; удивленная, я гляжу на улыбку, о которой даже не подозревала, и прислушиваюсь к шуму струи, бульканье которой постепенно затихает. Я не в силах оторвать взгляд от своей улыбки и посмотреть на мое действительное отражение в зеркале, ибо знаю, что не улыбаюсь вовсе.

Там, в глубине зеркала, я вижу женщин: желтолицых женщин, стирающих белье в лениво плещущихся реках, слышу их пение; вижу чернокожих женщин, вскапывающих иссохшую землю; слышу бессмысленный, но чарующий бой барабанов, в которые бьют где-то

вдали их бездельники-мужья; вижу смуглолицых женщин, толкущих зерно в каменных ступах, с младенцами за спиной, в то время как их мужья, тупо глядя перед собой, сидят у огня с трубками в зубах; вижу, наконец, своих белых сестер в доходных домах Лондона, Нью-Йорка и Берлина, в темных ущельях парижских улиц — вижу их горестные лица, вижу, как они испуганно прислушиваются к зову какого-нибудь пьяницы. И, не глядя в зеркало, я вижу, как наступет отвратительная армия паразитов, как приходит в движение никому не известная, никем не воспетая армия, которая несет моим детям гибель.

Но ведро уже давно наполнилось, и, хотя сегодня воскресенье, я должна убирать, должна бороться против грязи.

Много лет я воюю с грязью в нашей единственной комнате, я наполняю ведро водой, полощу тряпку, выливаю грязную воду; я даже подсчитала, что моя борьба закончится только тогда, когда я выскребу и выплесну всю известку, которой веселые парни-каменщики обмазали эти стены шестьдесят лет назад.

Я часто гляжу в зеркало, каждый раз, когда надо наполнить ведро чистой водой, и, возвращаясь из глубины зеркала, мой взгляд встречает мое собственное лицо — безжизненное и безучастное, следящее за невидимой игрой; иногда на нем появляется улыбка — улыбка, которая перешла с лица малышей, да так и осталась на нем. А иногда я замечаю на своем лице выражение дикой решимости, ненависти и неумолимости, и это не пугает меня, а, наоборот, наполняет гордостью, ибо моя решимость — это решимость человека, который никогда ничего не забудет.

Сегодня воскресенье, и я встречу с Фредом. Малыш спит, Клеменс с Карлой участвуют в процессии, а со двора до меня доносятся обрывки трех церковных служб, двух концертов легкой музыки, какого-то доклада и хрипкое пение негра, которое проникает повсюду, и только это пение доходит до моего сердца.

...and he never said a mumbaling word...

...и не сказал ни единого слова...

Быть может, Фред достанет денег и мы пойдем потанцуем. Я куплю новую губную помаду, возьму в долг у нашей хозяйки, которая живет внизу. Хорошо, если бы Фред пошел со мной потанцевать. До меня по-прежнему долетает мягкое и в то же время хрипкое завыв-

вание негра, оно прорывается сквозь две бесцветные проповеди, и я чувствую, что во мне растет ненависть, ненависть к голосам проповедников, чья болтовня подбирается ко мне, словно плесень.

...they nailed him to the cross, nailed him to the cross.

...они распяли его на кресте, распяли его на кресте.

Да, сегодня воскресенье, и в нашей комнате пахнет жарким, и одного этого достаточно, чтобы довести меня до слез; я готова плакать, видя, как радуются дети, ведь они так редко едят мясо!

...and he never said a mumbaling word,— поет негр.

..и не сказал ни единого слова...

V

Я пошел обратно к вокзалу, разменял деньги в со-сисочной и по случаю воскресенья решил облегчить себе жизнь. Я слишком устал и слишком отчаялся, чтобы идти ко всем тем людям, у кого можно попросить денег; я решил звонить им по телефону, если у них таковой был. Иногда, когда я говорю по телефону, мне удается придать голосу оттенок небрежности и тем самым укрепить свой кредит, ибо не секрет, что действительная нужда, которую можно сразу понять по тону или заметить по лицу человека, закрывает кошелки.

Одна из телефонных будок на вокзале оказалась свободной, и я вошел в нее, списал на бумажку номера телефонов нескольких гостиниц и вытащил из кармана записную книжку, чтобы найти телефоны тех знакомых, у кого можно попросить денег. В кармане у меня было много десятипфенниговых монет, но, прежде чем позвонить, я колебался несколько секунд, разглядывая висевшие на стенах совершенно измазанные телефонные тарифы столетней давности и заляпаные правила пользования автоматом, а потом нерешительно опустил в отверстие две монетки. Каких бы усилий это мне ни стоило, как бы меня ни угнетала необходимость постоянно занимать деньги — долги постепенно превратились в кошмар всей моей жизни, — я не раскаиваюсь, если при случае напьюсь. Я набрал номер, решив позвонить человеку, который скорее всего мог дать мне немного денег, но зато, если уж он откажет, обращаться к другим будет значительно тяже-

лей, потому что просить у них намного неприятней. Оставив обе монетки внутри автомата, я снова нажал рычаг и замер. На лбу у меня выступил пот, рубашка прилипла к шее, и я почувствовал, как много значит для меня, получу я эти деньги или нет.

Снаружи, за дверью будки показалась тень какого-то мужчины, который, видимо, дожидался очереди; я хотел было нажать на кнопку, чтобы деньги выскочили обратно, но тут освободилась соседняя будка и тень исчезла. Но я все еще медлил. Над моей головой раздавался неясный гул подъезжающих и отъезжающих поездов, откуда-то издали слышался голос диктора. Я вытер пот и подумал, что никогда мне не удастся достать за такое короткое время столько денег, сколько нужно, чтобы побыть с Кэте.

Мне было стыдно молиться о том, чтобы тот, кому я звоню, сразу же дал денег. Внезапно я заставил себя снова набрать номер и снял левую руку с рычага, чтобы опять не нажать на него. Когда я набрал последнюю цифру, на секунду все стихло, а потом раздались гудки и я мысленно перенесся в библиотеку Сержа, в которой сейчас зазвонил телефон. Я увидел множество книг, со вкусом подобранные гравюры на стенах и разноцветные стеклышки в окнах с изображением святого Кассиуса. Я вспомнил надпись на транспаранте, который только что видел: «Слава нашим духовным пастырям!» — и подумал, что сегодня церковная процессия и, наверное, Сержа нет дома. Я вспотел еще сильнее и, по всей вероятности, вначале даже не услышал голоса Сержа, потому что он очень нетерпеливо сказал:

— Алло, кто говорит?

Интонация, с которой он произнес эти слова, окончательно лишила меня мужества, и очень много разных мыслей пронеслось в эту секунду в моей голове; я подумал о том, сумеет ли он, если я попрошу у него денег, провести грань между мной — его подчиненным — и человеком, который одалживает деньги, и я громко, как только мог, сказал: «Богнер» — и отер левой рукой холодный пот со лба, внимательно прислушиваясь к голосу Сержа. И никогда не забуду, с каким облегчением я услышал, что его голос стал теперь приветливой.

— Ах, это вы? — сказал он. — Почему же вы не отвечаете сразу?

— Я боялся,— сказал я.

Он молчал, и я услышал грохот поездов и голос диктора над моей головой, а за дверью увидел тень какой-то женщины. Я посмотрел на свой носовой платок: он был грязный и мокрый. И когда Серж спросил: «Так сколько же вам нужно?» — мне почудилось, будто его слова хлестнули меня.

Я услышал по телефону, как зазвонили колокола на церкви Трех святых; их низкий, прекрасный звон вызвал в трубке дикий шум, и я тихо произнес:

— Пятьдесят.

— Сколько?

— Пятьдесят,— сказал я, еще раз вздрогнув от удара, который он совсем не хотел мне нанести. Но так уж водится: когда я говорю или вижу с людьми, они сразу знают, что я хочу получить от них денег.

— Который теперь час? — спросил он.

Я открыл дверь будки, увидел сперва недовольную физиономию пожилой женщины, которая, качая головой, стояла у двери, а потом, глядя поверх плаката Аптекарского союза, посмотрел на вокзальные часы и сказал в трубку:

— Половина восьмого.

Серж снова помолчал, и я услышал в трубке низкий, манящий гул церковных колоколов, а со стороны вокзала до меня донесся звон соборных колоколов. Серж сказал:

— Приходите в десять.

Я боялся, что он сразу повесит трубку, и торопливо сказал:

— Алло, алло, господин...

— Да, ну что там?

— Я могу рассчитывать?

— Можете,— сказал он.— До свидания.

И я услышал, как он кладет трубку, положил трубку сам и открыл дверь будки.

Решив сэкономить на телефонных звонках, я медленно пошел пешком в город, чтобы найти комнату, но получить ее оказалось очень трудно. Из-за церковного праздника в городе было много приезжих, кроме того, туристский сезон еще не закончился, а разные съезды привлекали в последнее время в наш город множество людей всевозможных специальностей. У хирургов, филателистов и членов благотворительного общества «Каритас» вошло в привычку ежегодно соби-

раться под сенью собора. Эти люди заполняли все отели, взвинчивали цены, тратя в городе деньги, которые им давали на расходы. Сейчас к нам приехали аптекари, а аптекарей, как видно, очень много на свете.

Повсюду я встречал людей с розовыми флажками в петлицах — значком их союза. Холода, наступившие в этом году очень рано, видимо, отнюдь не влияли на их хорошее самочувствие, они весело болтали о своих делах в автобусах и в трамваях, мчались на заседания комитетов и выборы правлений и, казалось, решили занять, по крайней мере на неделю, все гостиницы с умеренными ценами. В городе действительно скопилось очень много аптекарей. И к некоторым из них на воскресенье приехали еще жены, поэтому достать номер на двоих было особенно трудно. Аптекарский союз устроил также выставку гигиенических изделий, и специальные плакаты приглашали поглядеть на это внушительное зрелище. Время от времени в центре города мне попадались группки верующих, спешивших на сборные пункты для участия в церковной процессии: священник в окружении людей с вычурными позолоченными светильниками и мальчиков-певчих в красных одеяниях, празднично разодетые мужчины и женщины.

Фирма, выпускающая зубную пасту, наняла дирижабль, который разбрасывал над городом крошечные белые парашютики; они медленно опускались на землю вместе с прикрепленными к ним пакетиками с зубной пастой; а на набережной стояла большая пушка, стрелявшая воздушными шарами, на которых написано название конкурирующей фирмы. Публике были обещаны еще и другие сюрпризы, и люди поговаривали, будто церковь объявила бойкот шутливой рекламе одной фирмы резиновых изделий.

Часов в десять, когда я отправился к Сержу, мне все еще не удалось найти комнату, и в голове у меня шумело от отказов бледных хозяек и от недовольной воркотни невыспавшихся швейцаров. Дирижабль внезапно исчез, пушка внизу на набережной перестала ухать, и когда я услышал церковные песнопения, донесшиеся из южной части города, то понял, что церковная процессия уже тронулась в путь.

Экономка Сержа повела меня в библиотеку, и не успел я сесть, как он появился в дверях своей спальни; я сразу заметил, что в руках у него деньги. Я раз-

глядел зеленую бумажку, синюю и кучу монет в приоткрытом кулаке другой руки. Я смотрел себе под ноги и ждал, пока его тень упадет на меня, а потом поднял голову; увидев мое лицо, он сказал:

— О боже, ничего страшного ведь не случилось. Я не возражал.

— Идите сюда,— сказал он. Я протянул руки ладонями кверху, и он вложил в мою правую руку обе бумажки, а на них насыпал кучку мелочи, сказав:

— Тридцать пять, больше я действительно не в силах...

— Большое спасибо,— сказал я.

Посмотрев на него, я попытался улыбнуться, но что-то похожее на икоту перехватило мне горло. Вероятно, все это было мучительно для него. Я же, глядя на тщательно вычищенную сутану Сержа, на его холеные руки, на его чисто выбритые щеки, ясно ощутил, в какой жалкой конуре мы живем, ощутил нашу бедность, которую мы вот уже десять лет вдыхаем в себя, словно бесцветную пыль, без вкуса и запаха — невидимую, неразличимую и тем не менее реально существующую пыль — пыль бедности, засевшую в моих легких, в моем сердце и в моем мозгу, управляющую моими кровеносными сосудами, пыль бедности, которая душила меня в этот момент. Я закашлялся и с трудом перевел дыхание.

— Ну, стало быть,— выдавил я,— до свидания, еще раз благодарю вас.

— Передайте привет жене.

— Спасибо,— сказал я.

Мы подали друг другу руки, и я пошел к двери. Обернувшись, я заметил, что он сделал жест, чтобы благословить меня, и пока я не закрыл за собой дверь, он стоял, багрово-красный, беспомощно опустив руки. На улице было прохладно, и я поднял воротник пальто. Я медленно шел в город, слыша, как издалека доносится церковное пение, протяжное гудение труб и голоса поющих женщин, которые внезапно заглушил мощный мужской хор. Порывы ветра доносили до меня эту музыкальную разноголосицу и вихри пыли, поднятой ветром из развалин. Каждый раз, когда пыль обсыпала мне лицо, до моего слуха доносилось торжественное пение. Но внезапно пение оборвалось и, пройдя еще шагов двадцать, я очутился на улице, куда как раз в этот момент вступила также и процессия. На

тротуарах стояло не так уж много народу, я остановился, решив переждать.

Впереди в полном одиночестве шествовал епископ в красном облачении — символе мученичества, а за ним несли святые дары и пел хор ферейна певчих. У разгоряченных певчих был беспомощный, пожалуй, даже глупый вид, казалось, они все еще прислушиваются к кроткому мычанию, которое только что сами прекратили.

Епископ был очень высокого роста, стройный, и его густые белые волосы выбивались из-под маленькой красной шапочки. Он держался прямо, молитвенно сложив руки, но мне было видно, что он не молился, хотя руки у него были сложены для молитвы, и он смотрел прямо перед собой. Золотой крест на его груди тихонько раскачивался в такт шагам. У епископа была королевская поступь, он выбрасывал ноги далеко вперед, при каждом шаге ноги, обутые в сафьяновые сапожки, подымались немного кверху, и все его движения походили на несколько облегченный вариант гусяного шага. Епископ был раньше офицером. Его аскетическое лицо — фотогенично. Оно вполне подходит для обложки какого-нибудь религиозного еженедельника.

На некотором расстоянии от епископа шли каноники. Из них только двоим посчастливилось: они тоже обладали аскетической внешностью, — остальные священники были толстые, с чересчур бледными или слишком красными лицами, выразившими — неизвестно по какой причине — возмущение.

Четверо мужчин в смокингах несли причудливый, богато расшитый балдахин, а под балдахином шел викарий с дароносицей. Облатка была большая, но несмотря на это, я плохо ее видел. Я встал на колени, перекрестился, и на мгновение мне показалось, что я лицемерю, но потом я подумал, что бог ни в чем не виноват и что встать перед ним на колени еще не значит быть лицемером. Почти все люди на тротуаре преклонили колена, только один, очень молодой человек в зеленой вельветовой куртке и в берете, остался стоять, не снимая шапки и не вынимая рук из карманов. Я был рад, что он по крайней мере хоть не курил. Какой-то седой человек подошел к нему сзади и что-то шепнул, — молодой человек, пожав плечами, снял берет и опустил его перед собой к животу, но так и не встал на колени.

Я опять загрустил, глядя вслед группе со святыми дарами, которая свернула на широкую улицу: на той улице все повторялось снова — коленопреклонение, вставание, хлопанье по брюкам, чтобы очиститься от пыли, — издали это походило на волнообразное движение, которое распространяется все дальше. Позади группы со святыми дарами шло человек двадцать в смокингах. Костюмы у них были чистые и хорошо сидели. Только у двоих они сидели хуже, и я сразу понял, что это рабочие. Наверное, они чувствовали себя ужасно среди людей, на которых костюмы сидели хорошо, потому что это были их собственные костюмы. Рабочим же, очевидно, дали смокинги напрокат. Известно, что наш епископ обладает ярко выраженным социальным чутьем, и совершенно ясно, что именно он настоял на том, чтобы среди людей, несших балдахин, были и рабочие.

Мимо нас прошла группа монахов. Они производили хорошее впечатление. Их черные пелерины поверх желтовато-белых одежд, аккуратно выбритые тонзуры на склоненных головах — все это выглядело очень красиво. И монахам не надо было молитвенно складывать руки, они могли просто прятать их в широких рукавах. Монахи прошли дальше, глубокомысленно склонив головы; они двигались бесшумно — не слишком быстро и не слишком медленно, в размеренном темпе, приличествующем их отрешенности от всего мирского. Широкие воротники, длинные одежды и красивое сочетание черного с белым придавало их облику что-то юношеское и вместе с тем одухотворенное; вид монахов, возможно, пробудил бы во мне желание стать членом их ордена, если бы я не был знаком с некоторыми из них лично и не знал бы, что в одежде священников они выглядели бы не лучше тех же священников.

Духовную академию представляло человек сто, у многих из них вид был весьма глубокомысленный. На некоторых лицах лежала даже печать несколько болезненной одухотворенности. Большинство было в смокингах, но кое-кто надел простой темно-серый костюм.

Потом прошли священники городских церквей в сопровождении мирян, которые несли большие нарядные светильники; и я увидел, как трудно сохранить достойный вид в неуклюжем облачении священника. Большинству священников не повезло: они не походили на аскетов, среди них были очень толстые и цветущие.

А люди, стоявшие на тротуарах, выглядели по большей части плохо, казались измученными и, видимо, были неприятно удивлены.

Все студенты-корпоранты были в очень пестрых шапочках и в таких же пестрых шарфах, а те, кто шел посередине, несли соответственно очень пестрый флаг, тяжелый шелк которого свисал вниз. Их было семь или восемь рядов по три человека. Подобной пестроты я никогда в жизни не видел. Лица у студентов были очень серьезные; все они смотрели прямо перед собой, не моргая, словно видели вдали какую-то очень заманчивую цель, и никто из них, казалось, не замечал, как все это смешно. С одного из студентов — в сине-красно-зеленой шапочке — пот лил в три ручья, хотя было не так уж жарко. Но студент не пошевелил рукой, чтобы обтереть пот; он был совсем не смешной, а очень несчастный. Я подумал, что над ним, вероятно, состоится нечто вроде суда чести и что за недозволенное потение во время процессии его изгонят из корпорации и, быть может, его карьера на этом кончится. И он действительно производил впечатление человека, который потерял веру в хорошее будущее, а у остальных — не потевших — студентов вид был такой, словно они действительно помешают его будущему.

Мимо нас прошла большая группа школьников; они пели чересчур быстро, немного отрывисто, и казалось, что они упражняются в антифонном пении, потому что каждый раз в конце колонны ровно на три секунды позже очень громко и отчетливо звучала строфа, которую голова колонны уже пропела. Несколько молодых учителей в новых с иголки смокингах и два юных клирика в кружевных пелеринах бегали взад и вперед и пытались придать пению стройность; движениями рук они отбивали такт, стараясь, чтобы задние ряды не запаздывали. Но все это было совершенно бесполезно.

Внезапно у меня закружилась голова; я уже не различал ни участников процессии, ни зрителей. Теперь мои глаза ясно видели только ограниченный, узкий участок пространства, со всех сторон окруженный каким-то серым мерцанием; я видел только их одних — моих детей — Клеменса и Карлу: мальчик был очень бледен, в петлице его синего костюма, из которого он уже вырос, торчала зеленая ветка конфирманта; в руках он держал свечу; его детское лицо, такое серьезное и милое, было бледным и сосредоточенным; а девочка, у которой

волосы такие же темные, как у меня, лицо такое же круглое и фигурка такая же хрупкая, чуть заметно улыбалась. Мне казалось, что я нахожусь от них очень далеко, и в то же время я видел их очень отчетливо — они были частью моей жизни, но я смотрел на них так, словно то была чья-то чужая жизнь, которую взвалили мне на плечи. И, глядя на своих детей, медленно и торжественно проходивших со свечами в руках по крохотному клочку пространства, доступному моему обзору, я понял то, что, казалось, уже давно понимал, но в действительности осознал только сейчас: мы — бедняки.

Теперь я попал в самый водоворот — толпа хлынула к собору, чтобы успеть на заключительное богослужение. Какое-то время я тщетно старался пробиться вправо или влево. Я слишком устал, чтобы проложить себе дорогу. Увлекаемый толпой, я медленно выбирался из нее. Люди были отвратительны, я возненавидел их. Всю жизнь меня возмущали физические расправы с людьми. Если человека били в моем присутствии, мне было больно, и каждый раз, когда я становился свидетелем телесного наказания, я старался ему помешать. То же было и с пленными. Я имел массу неприятностей, терпел насмешки и даже подвергался опасности из-за того, что не мог спокойно смотреть, как избивают пленных. Но все равно я не в силах был преодолеть отвращение к наказаниям, даже если бы захотел. Я не мог спокойно видеть, как били человека или издевались над ним, и я вступался не из сострадания к людям и уж конечно не из любви к ближнему, а просто потому, что не выношу всего этого.

Но в последние несколько месяцев я часто испытываю желание ударить кого-нибудь в лицо, и случалось, что я бил своих детей, потому что меня раздражал шум, когда я, усталый, приходил с работы. Я бил их сильно, очень сильно, сознавая, что совершаю несправедливость по отношению к ним; и сам пугался, чувствуя, как теряю власть над собой.

Часто во мне возникает дикая потребность ударить кого-нибудь в лицо, вот сейчас хотя бы эту худую женщину, которая движется рядом со мной в толпе, так близко от меня, что я ощущаю ее запах — кисловатый и затхлый; ее лицо искажено гримасой ненависти, и она кричит своему мужу, спокойному худому человеку в зеленой фетровой шляпе, который идет впереди

нас: «Скорее, вперед, поторапливайся, мы пропустим мессу!»

Мне удалось пробиться вправо, и, выбравшись из толпы, я остановился у витрины обувного магазина, пропуская мимо себя людской поток. Нащупав деньги, я, не вынимая их из кармана, пересчитал бумажки и мелочь и установил, что все в сохранности.

Мне захотелось выпить чашку кофе, но деньги надо было беречь.

Совершенно внезапно улица опустела, остался только мусор: растоптанные цветы, тонкая известковая пыль и косо повисшие транспаранты, укрепленные между старыми трамвайными столбами. На них черным по белому были написаны начальные строчки церковных песнопений:

В радости славьте Бога.

Чти завет Матери Господа своего.

На некоторых транспарантах были изображены символические рисунки — агнцы и чаши, пальмовые ветви, сердца и якоря.

Я зажег сигарету и медленно побрел по направлению к северной части города. Издали до меня еще доносилось пение участников процессии, но через несколько минут все стихло, и я понял, что верующие подошли к собору. В каком-то кино кончился утренний сеанс, и я очутился среди молодежи, по-видимому студенческой, которая уже начала обсуждать картину. Юноши были в плащах и в беретах, и все они толпились вокруг очень красивой девушки в очень ярком зеленом джемпере и в американских парусиновых шортах.

— ...Великолепная банальность...

— ...Но средства изображения...

— ...Кафка...

Я не мог забыть детей. Мне казалось, что я с закрытыми глазами вижу их — моих детей: мальчика тринадцати лет и девочку одиннадцати; я видел эти бледные существа, обреченные на каторжную жизнь. Они оба любят петь, но когда я бывал дома, то запрещал им петь; их веселье и шумливость раздражали меня, и я бил их, бил, хотя раньше не выносил вида физических наказаний. Я бил их по лицу, бил куда попало, оттого что, приходя вечером с работы, хотел покоя.

Было слышно, что в соборе пели: порывы ветра проносили над моей головой звуки церковной музыки. Я пошел налево мимо вокзала. Мне повстречалась

группа парней в белом, которые снимали с флажштоков транспаранты с церковными символами и развешивали новые, совсем другого содержания: «Союз немецких аптекарей», «Посетите нашу специализированную выставку!», «Многочисленные образцы бесплатно», «Что ты будешь делать без аптекаря?».

Совершенно машинально я брел к церкви Скорбящей богоматери; миновав главный вход и не взглянув на него, я отправился дальше, сам не зная куда, пока не очутился у закусочной, где завтракал утром. Казалось, будто утром я сосчитал шаги до закусочной и, побуждаемый каким-то тайным ритмом, который овладел мускулами моих ног, остановился на том же месте; посмотрев вправо, я увидел в щелку между занавесками тарелку с отбивными и большие пестрые рекламы сигарет; я подошел к двери, открыл ее и вошел в закусочную; здесь было тихо, и я сразу же почувствовал, что девушки нет. Дурачка тоже не было. В углу сидел какой-то трамвайный служащий, хлебавший суп, а за соседним столиком — супружеская пара, которая вынимала из пакета свои бутерброды и пила кофе; из-за стойки поднялся инвалид, посмотрел на меня и как будто узнал; в уголках его рта что-то слегка дрогнуло. Трамвайщик и супружеская пара тоже посмотрели на меня.

— Что вам угодно? — спросил инвалид.

— Сигарет. Пять штук, — сказал я тихо, — из красной пачки.

Устало пошарив в кармане и положив на стекло стойки монетку, я спрятал сигареты, которые мне поддал инвалид, сказал «спасибо» и остановился в ожидании.

Я медленно оглянулся. Все они продолжали глазеть на меня: трамвайщик задержал ложку на полпути от тарелки ко рту; и я увидел, что с ложки капал желтый суп, а супружеская пара перестала жевать и застыла — муж с открытым, а жена с закрытым ртом. Потом я посмотрел на инвалида — он улыбался, и под его темной, грубой, небритой кожей я, казалось, разглядел ее лицо.

Было очень тихо, и в тишине раздался его голос:

— Вы кого-нибудь ищете?

Я покачал головой, повернулся к двери и, прежде чем выйти, на мгновение остановился, чувствуя, что взгляды присутствующих устремлены мне в спину. Когда я вышел, на улице по-прежнему не было ни души.

Из темного туннеля, который проходит под вокзалом, шатаясь, вышел пьяный. Неуклюже петляя, он двигался

прямо на меня, и когда он подошел ко мне вплотную, я заметил у него в петлице флажок аптекарского ферейна. Он остановился, схватил меня за пуговицу пальто и дыхнул мне в лицо кислым запахом пива.

— Что ты будешь делать без аптекаря? — пробормотал он.

— Ничего,— сказал я тихо.— Без аптекаря мне смерть.

— Вот видишь,— сказал он презрительно, отпустил меня и, шатаясь, побрел дальше.

Я медленно вошел в темный туннель.

За вокзалом было совсем тихо. Вся эта часть города пахнет чем-то сладковато-горьким, пахнет молотым какао и карамелью. Здания и подъездные пути большой шоколадной фабрики занимают в этом квартале три улицы, что придает ему мрачный колорит, который отнюдь не соответствует вкусной продукции фабрики. В этом районе живут бедняки; здесь есть несколько дешевых гостиниц — туристические бюро избегают посылать сюда приезжих из боязни оттолкнуть их, ибо нищета здесь слишком велика. Узкие улочки полны кухонного чада, запаха тушеной капусты и буйного запаха праздничного жаркого. На каждом шагу попадаются дети, сосущие леденцы на палочках; через открытые окна видны мужчины в рубашках с короткими рукавами, играющие в карты. На полусожженной стене разрушенного здания я заметил большую грязную вывеску, на которой была намалевана черная рука, а под этой черной рукой значилось: «Гостиница «Голландский двор». Комнаты для приезжих. Домашняя кухня. По воскресеньям танцы».

Я пошел в том направлении, куда указывала черная рука, и обнаружил на углу улицы другую черную руку с надписью «Гостиница «Гол» напротив»,— и когда я посмотрел напротив и увидел на другой стороне улицы дом из красноватого кирпича в черных стружьях от густого дыма шоколадной фабрики, то понял, что аптекари не дошли до этих мест.

VI

Каждый раз меня удивляет, с каким волнением я прислушиваюсь к голосу Фреда по телефону: голос у него хриплый, чуть усталый, и в нем звучат безразлично-официальные нотки, что делает его чужим и еще усили-

вает мое волнение. Так он разговаривал со мной из Одессы и из Севастополя, а потом, после того как он начал пить,— из разных гостиниц, и всегда, когда я снимала трубку и слышала, что он нажимает кнопку автомата и монетки падают вниз, давая соединение, у меня замирало сердце. Меня волнует эта звенящая, официальная тишина в трубке перед тем, как он начинает говорить, его кашель и та нежность, которую он умеет придать своему голосу, разговаривая по телефону. Сойдя вниз, я застала хозяйку дома в углу на кушетке, среди старой потертой мебели, у письменного стола, заваленного картонками из-под мыла, коробками с противозачаточными средствами и маленькими деревянными шкатулками, где она хранит особенно дорогую косметику. Вся комната пахла палеными женскими волосами; этот дикий, ужасный запах волос, которые успели спалить за целый субботний день, проникал в задние комнаты из парикмахерской. Но сама фрау Балун была неряшливой и всегда не причесана; перед ней лежал раскрытый библиотечный роман, который она не читала, потому что наблюдала, как я подносила к уху трубку. Потом она, не глядя, сунула руку в угол за кушетку, вытащила бутылку и, не сводя с меня своих усталых глаз, налила себе полную рюмку коньяку.

— Аллю, Фред,— сказала я.

— Кэте,— сказал он,— я нашел комнату, и у меня есть деньги.

— Вот хорошо!

— Когда ты придешь?

— В пять. Я хочу еще испечь детям пирог. А мы пойдем танцевать?

— С удовольствием, если хочешь. Здесь в гостинице танцуют.

— А ты где?

— В гостинице «Голландский двор».

— Где это?

— К северу от вокзала, пойдешь по Вокзальной улице и увидишь на углу вывеску с черной рукой. Иди в направлении вытянутого указательного пальца. Как дети?

— Хорошо.

— Я купил им шоколад, и мы подарим им воздушные шарики. А еще я хочу, чтобы они съели по порции мороженого. Я дам тебе денег на это; скажи им: мне жаль, что я бил их... Я был не прав.

— Я не могу им этого сказать, Фред,— ответила я.

— Почему?

— Они будут плакать.

— Пусть плачут, но они должны знать, что мне жаль. Это очень важно. Скажи им, пожалуйста...

Я не знала, что ему ответить. В это время хозяйка привычным жестом налила себе опять полную рюмку, поднесла ее к губам и медленно, прополоскав рот коньяком, выпила; я заметила, что, когда алкоголь попал ей в горло, на ее лице появилась гримаса легкого отвращения.

— Кэте,— произнес Фред.

— Да?

— Скажи детям все; пожалуйста, не забудь и расскажи им о шоколаде, о воздушных шариках и о мороженом. Обещай мне.

— Я не могу,— сказала я.— У них сегодня такая радость, им разрешили участвовать в процессии. Я не хочу напоминать им о побоях. Я скажу им потом как-нибудь, когда мы будем говорить о тебе.

— А вы говорите обо мне?

— Да, они спрашивают меня, где ты, и я говорю им, что ты болен.

— А я правда болен?

— Да, ты болен.

Он помолчал, и я услышала в трубке его дыхание. Хозяйка подмигнула мне, усердно кивая головой.

— Может, ты права, может, я действительно болен. Значит, в пять. Запомни, вывеска с черной рукой на углу Вокзальной улицы. Денег у меня достаточно, и мы пойдем потанцуем. До свидания, родная.

— До свидания.— Я медленно положила трубку и увидела, что хозяйка поставила на стол еще рюмку.

— Идите сюда, милая,— сказала она тихо.— Выпейте рюмочку.

Раньше я иногда спускалась к ней и упрямо жаловалась на то, в каком плохом состоянии находится наша комната. Но каждый раз, угостив коньяком, она обезоруживала меня убийственной безучастностью ко всему, меня завораживали ее усталые глаза, та мудрость, которая светилась в них. Кроме того, она сумела убедить меня, что ремонт нашей комнаты будет стоить больше, нежели квартирная плата за три года. У нее я научилась пить. Сперва коньяк обжигал меня, и я просила у нее ликера.

— Ликер? — говорила она.— Кто же пьет ликер?

Я уже давно успела убедиться, что она права: коньяк действительно хорош.

— Ну идите же, милая, выпейте рюмочку.

Я села напротив нее, и она пристально посмотрела на меня — так смотрят пьяницы; а мой взгляд упал на груды картонных коробок с пестрыми полосками; на коробках было написано: «Резиновые изделия фирмы Грисс. Высший сорт. Покупайте только наши товары с фабричной маркой «Аист».

— Ваше здоровье,— сказала она, подняв рюмку. Я тоже сказала: «Ваше здоровье» — и выпила приятно-жгучий коньяк. В это мгновение я поняла мужчин, которые стали пьяницами, поняла Фреда и всех тех, кто когда-либо напивался.

— Ах, детка,— сказала она и с такой быстротой налила мне снова, что я поразилась.— Никогда не жалуйтесь. Против бедности нет лекарства. Пришлите вечером детей, пусть они здесь поиграют. Ведь вы собираетесь куда-то уходить?

— Да,— сказала я,— собираюсь, но я уже договорила с одним молодым человеком, он останется с детьми.

— На всю ночь?

— Да, на всю ночь.

Слабая усмешка на секунду преобразила ее лицо — его словно надули чем-то изнутри, и оно стало походить на желтую губку, но потом лицо снова опало.

— Ах, так, ну тогда отнесите им пустые коробки.

— Большое спасибо,— сказала я.

Ее муж был маклером и оставил ей в наследство три дома, парикмахерскую и целую коллекцию коробок.

— Выпьем еще по одной?

— О нет, спасибо,— сказала я.

Стоит ей дотронуться до бутылки, ее руки перестают дрожать и движения приобретают такую нежность, что мне становится страшно. Она налила мою рюмку тоже доверху.

— Спасибо,— сказала я,— мне больше не надо.

— Тогда я выпью ее сама,— сказала она и внезапно, зорко взглянув на меня прищуренными глазами, спросила:

— Вы беременны, детка?

Я испугалась. Иногда мне кажется, что это так, но я еще сомневаюсь. Я покачала головой.

— Бедное дитя,— сказала она.— Вам будет трудно. Ко всему прочему еще младенец.

— Не знаю,— сказала я неуверенно.

— Вам нужно переменить помаду, детка.

Она опять зорко взглянула на меня, подняла свое грузное тело в пестром халате и, переваливаясь, протиснулась между стулом, кушеткой и письменным столом.

— Идите сюда.

Я пошла за ней в парикмахерскую; запах паленых волос и разлитого одеколona, словно облако, окутывал все помещение. От завешенных окон было сумрачно, но я увидела аппараты для шестимесячной завивки и сушилки, заметила, как тускло блестел никель в убийственном свете воскресного дня.

— Идите же сюда.

Она рылась в каком-то ящике, где валялись папильотки, раскрытые тюбики губной помады и пестрые коробки с пудрой. Вынув один тюбик, она дала его мне и сказала:

— Попробуйте вот этот.

Отвинтив латунную крышечку, я увидела, как выполняет темно-красный карандаш, похожий на застывшего червяка.

— Такая темная? — спросила я.

— Да, такая темная. Попробуйте, покрасьте губы.

Эти зеркала здесь, внизу, совсем не похожи на обычные. Они не дают взгляду проникнуть в глубину. Они придвигают лицо совсем близко к тебе, так что оно кажется плоским и гораздо красивее, чем в действительности. Я приоткрыла рот, нагнулась вперед и осторожно намазала губы темно-красной помадой. Но мои глаза не привыкли к таким зеркалам — мне кажется, что глаза расширяются, ибо взгляд, который убегает от моего лица, все время выскальзывает из зеркала, возвращаясь обратно к лицу. У меня закружилась голова, и когда хозяйка положила руку на мое плечо и я увидела в зеркале позади себя ее пьяное лицо и спутанные волосы, то содрогнулась.

— Прихорашивайся, голубка,— сказала она тихо,— прихорашивайся для любви, но не разрешай, чтобы тебе все время делали детей. Эта помада как раз то, что тебе нужно, детка, верно?

Я отошла на шаг от зеркала, ввинтила карандаш обратно и сказала:

— Да, это то, что мне нужно, но у меня нет денег.

— Ах, оставьте. Деньги терпят... потом.

— Хорошо, потом,— сказала я. Я все еще смотрела в зеркало, раскачиваясь на его поверхности, словно на льду, а потом, прикрыв рукой глаза, отошла совсем.

Она положила на мои вытянутые руки целую гору пустых коробок из-под мыла, сунула в карман моего фартука помаду и открыла дверь.

— Большое спасибо,— сказала я.— До свидания.

— До свидания,— ответила она.

Не могу понять, как Фред может приходить в такую ярость из-за того, что дети шумят. Ведь они очень тихие. Их совсем не слышно. Когда я стою у плиты или у стола, в комнате иногда бывает так тихо, что я со страхом оборачиваюсь: хочу удостовериться, здесь ли они. Они строят из коробок домики, шепчутся между собой, и когда я оборачиваюсь, вскакивают и, заметив в моих глазах испуг, спрашивают:

— Что случилось, мама? Что случилось?

— Ничего,— говорю я,— ничего.— И я отворачиваюсь, чтобы раскатать тесто. Я боюсь оставлять их одних. Раньше я проводила с Фредом только вечера. На всю ночь я ушла всего один раз.

Малыш спит, надо попытаться уйти, прежде чем он проснется.

Ужасающие стоны в соседней комнате умолкли; смолкли воркованье и страшное сопение, которыми они сопровождают свои объятия. Теперь они спят, а потом пойдут в кино. Я начинаю понимать, что нам действительно нужно купить радиоприемник, чтобы заглушать их стоны, ибо нарочито громкие разговоры, которые я завожу, когда начинается самое ужасное, внушающее мне не презрение, а только ужас,— эти нарочитые разговоры иссякают так быстро, что я спрашиваю себя, не догадываются ли дети. Во всяком случае, они слышат стоны и напоминают мне дрожащих зверьков, почувывших смерть. Если есть возможность, я пытаюсь отослать их на улицу, но эти предвечерние часы в воскресенье насыщены такой тоской, что даже детям становится страшно. Лишь только в соседней комнате наступает странная, парализующая меня тишина, я вся заливаюсь краской; я пытаюсь запеть, когда слышу первые шорохи, возвещающие о том, что сражение

началось — глухой, неритмичный скрип кровати и восклицания, похожие на восклицания циркачей, парящих под самым куполом цирка, когда они меняются в воздухе трапециями.

Мой голос прерывается и дрожит, и я тщетно стараюсь петь: мотивы звучат у меня в ушах, но я не могу их воспроизвести. Бесконечно тянутся эти минуты, заполненные убийственной тоской уходящего воскресного дня, и я слышу, как они дышат в изнеможении, слышу, как зажигают сигареты, и тишина, которая наступает потом, полна ненависти. Я бросаю тесто на стол, раскатываю его, стараясь производить как можно больше шума, колочу по тесту и думаю о миллионах поколений бедняков, которые жили на земле, не имея места для любви, и, раскатав тесто, загибаю края кверху и кладу в пирог фрукты.

VII

Комната была темная и находилась в самом конце длинного коридора. Посмотрев в окно, я увидел мрачную кирпичную стену; когда-то она была, вероятно, красной и ее украшал желтый узор, побуревший от времени; этот узор состоял из правильно чередующихся зигзагообразных полосок; стена наискось перерезала поле моего зрения, и, минуя ее, мой взгляд упал на обе вокзальные платформы, пустынные в это время дня. Какая-то женщина сидела там на скамейке с ребенком, а девушка, торговавшая лимонадом, стояла у двери своего ларька и беспокойно закручивала и раскручивала подол белого фартука, а за вокзалом виднелся собор, украшенный флагами; у меня стало тяжело на душе, когда за пустым вокзалом я различил людей, сгрудившихся вокруг алтаря. Тяжелая тишина нависла над толпой у собора. И тут я заметил епископа в красном облачении, который стоял перед алтарем; в ту же минуту, как я увидел епископа, я услышал его голос в репродукторе: он громко и четко разносился над пустым вокзалом.

Я часто слышал епископа и всегда скучал во время его проповедей, а ничего худшего, чем скука, я не знаю; но теперь, когда голос епископа раздался в репродукторе, мне внезапно пришло в голову прилагательное, которое я долгое время старался вспомнить. Я знал, что это простое прилагательное, оно вертелось у меня

на кончике языка, но потом как-то всегда ускользало. Епископу нравится придавать своей речи тот оттенок простонародности, который делает оратора популярным. Но епископ все равно непопулярен. Свой словарный запас для проповедей он черпает, по-видимому, из богословских книг, где собраны разного рода изречения, которые за последние сорок лет незаметно, но неуклонно потеряли свою убедительность. Эти изречения стали сейчас пустыми фразами, избитыми истинами. Истина не может быть скучной, но у епископа, очевидно, особый дар наводить скуку.

— ...В нашей будничной жизни мы должны помнить о Господе Боге, выстроить ему башню в своем сердце.

Несколько минут я вслушивался в его голос, разносившийся над пустынным вокзалом, и в то же время видел человека в красном одеянии, который стоял там, вдали, у репродуктора, и пытался подражать простонародному говору, но чуть-чуть перебарщивал. И внезапно я нашел слово, которое искал вот уже долгие годы и все не мог найти, потому что оно было чересчур простым: епископ — глуп. Мой взгляд, вернувшийся издалека, скользнул по платформе, где девушка все еще закручивала и раскручивала свой белый фартук, беспокойно двигая руками; женщина на скамейке давала сейчас своему ребенку бутылочку. Я поглядел на коричнево-бурый извилистый орнамент кирпичной стены, на грязный подоконник в моей комнате, закрыл окно, лег на кровать и закурил.

Теперь ничего не было слышно и в доме стало тихо. Стены моей комнаты были оклеены красноватыми обоями, зеленый рисунок в форме сердца стерся, и казалось, что кто-то нацарапал на бумаге карандашом бледный без конца повторяющийся контур. Абажур — стеклянный колпачок яйцеобразной формы с голубоватыми прожилками — был уродлив, как, впрочем, все абажуры; лампочка в нем, по всей вероятности, была пятнадцатисвечевая. Глядя на узкий платяной шкаф, темно-коричневый от морилки, я сразу понял, что им никогда не пользовались и что его вообще поставили сюда не для пользования. Постояльцы, которые бывают в этой комнате, не принадлежат к числу людей, распаковывающих свой багаж, если у них таковой вообще имеется. У них нет пиджаков, которые надо вешать на плечики, нет рубашек, которые надо складывать стопкой; и плечики, которые я заметил в открытом

шкафу, были такие ненадежные, что могли бы сломаться под тяжестью моего пиджака. В этой комнате пиджаки вешают прямо на спинку стула, брюки бросают на пиджак, не обращая внимания на складку, если их вообще снимают, и при этом разглядывают бледное или — так тоже случается — краснощекое существо женского пола, чья одежда висит на втором стуле. Платяной шкаф здесь лишний; он существует только для видимости, так же как и плечики, которыми еще никто не пользовался. Вместо умывальника стоит обыкновенный кухонный столик с умывальным тазом, который можно убрать внутрь. Но таз не убрали. Он эмалированный, чуточку побитый, а фаянсовая мыльница представляет собой рекламное изделие фабрики губок. стакан для чистки зубов, по-видимому, разбили, да так и не заменили другим. Во всяком случае, стакана не было. Очевидно, здесь считали своей обязанностью заботиться и об украшении стен, а что могло подойти к этой комнате лучше репродукции Моны Лизы, которая, как видно, была приложением к какому-то популярному журналу по искусству? Кровати, низкие и темные, были новые и распространяли кислотоватый запах свежеструганных досок. Постельное белье меня не интересовало. Пока что я лежал, не раздеваясь, и ждал, когда придет моя жена, которая, наверное, захватит из дому постельное белье. Одеяла были шерстяные, зеленоватого цвета, и их тканый узор немного выцвел, так что медведи, играющие в мяч, стали походить на людей, играющих в мяч; морды медведей нельзя было различить, и они напоминали карикатуру атлетов с бычьими шеями, которые перебрасываются мыльными пузырями. Колокола пробили двенадцать.

Я встал, чтобы взять мыльницу, стоявшую на умывальном столике, и закурил. Ужасно, что я ни с кем не могу об этом говорить, никому не могу рассказать правду, но деньги мне нужны и комната нужна только для того, чтобы спать со своей женой. Вот уже два месяца, как мы, хоть и находимся в одном городе, живем супружеской жизнью только в гостиницах. Когда было по-настоящему тепло, мы иногда встречались в парках или в парадных разрушенных домов, в самом центре города, чтобы быть уверенными, что нас никто не застигнет врасплох. У нас слишком маленькая комната — вот и все. Кроме того, стена, отделяющая нас от соседей, слишком тонкая. А на большую квартиру

нужны деньги, нужно то, что они называют энергией, но у нас нет ни денег, ни энергии. У моей жены тоже нет энергии.

В последний раз мы были вместе в парке, на окраине города. Вечерело, и с полей тянуло запахом убранного порея, а на горизонте, там, где дымили трубы, по красноватому небу стлался черный дым. Быстро наступила темнота, небо из красного стало фиолетовым, а потом черным, и на нем уже нельзя было различить темные широкие полосы дыма. Сильнее запахло стеблями лука, и к этому запаху примешивался горький запах луковиц. Где-то очень далеко за песчаным карьером горели огни, по дороге мимо нас проехал велосипедист: над ухабистой дорогой плыл огонек, вырезая в небе маленький темный треугольный кусок, одна сторона которого была открытой. Плохо закрепленные болты дребезжали, и стук велосипедных крыльев замирал вдали медленно, почти торжественно. Когда я присматривался внимательно, то различал на дороге стену, еще более темную, чем ночь, а за стеной слышались гогот гусей и ласковая воркотня какой-то женщины, которая сзывала живность, чтобы покормить ее.

На темной земле я различал только белое лицо Кэте, и когда она открывала глаза, видел какой-то странный, синеватый блеск. Ее голые руки тоже были белые; она очень сильно плакала, и, целуя ее, я ощущал вкус слез. У меня слегка кружилась голова, и купол неба над нами тихо покачивался из стороны в сторону, а Кэте плакала все сильнее.

Мы стряхнули с себя грязь и медленно пошли на конечную остановку девятого номера. Издалека было слышно, что трамвай заворачивал на круг, и мы видели, как сверху, с проводов, сыпались искры.

— Становится прохладно, — сказала Кэте.

— Да, — ответил я.

— Где ты будешь сегодня ночевать?

— У Блоков.

Мы спускались к трамвайной линии по аллее, деревья которой были сожжены снарядами.

В пивной, как раз у конечной остановки девятого номера, я заказал по рюмке коньяку для нас обоих, бросил десятипфенниговую монетку в автомат, и никелевые шарики, прыгнув в деревянный канал, поодиночке подскочили кверху; они нажали на стальные пружины и ударили по никелевым контактам; раздался тихий

звон, а наверху, на стеклянной шкале, появились красные, зеленые и синие цифры. Хозяйка и Кэте наблюдали за мной, и я, продолжая играть, положил руку на затылок Кэте. Хозяйка скрестила руки, и улыбка оживила ее большое лицо. Я продолжал играть, и Кэте следила за игрой. В пивную вошел какой-то человек, влез на высокий табурет у стойки, положил сумку позади себя на стол и заказал водки. У него было грязное лицо, загорелые руки, а светло-голубые глаза казались еще светлее, чем на самом деле. Он поглядел на мою руку, которая все еще лежала у Кэте на затылке, посмотрел на меня и заказал еще рюмку водки. Вскоре после этого он подошел ко мне и начал играть на втором, совсем неказистом, похожем на кассу автомата — рукоятка, узкая щель и большая красноватая шкала, на которой подряд одна за другой изображены три большие черные цифры. Человек бросил монетку, покрутил ручку; цифры на шкале завертелись, исчезли, а потом, через небольшие интервалы, что-то трижды щелкнуло и наверху появились цифры 1—4—6.

— Ничего,— сказал мужчина и бросил еще одну монету. Диск с цифрами неистово завертелся, потом что-то стукнуло, опять стукнуло и еще раз стукнуло, секунду было тихо и внезапно из стальной пасти автомата посыпались десятипфенниковые монетки.

— Четыре,— сказал человек, улыбнулся мне и прибавил: — Это уже лучше.

Кэте сняла мою руку, лежавшую на ее затылке, и сказала:

— Мне пора идти.

На улице трамвай со скрежетом описывал круг. Я заплатил за обе рюмки коньяку и проводил Кэте до остановки. Когда она уже входила в трамвай, я поцеловал ее, и она дотронулась до моей щеки и потом все время, пока было видно, махала мне рукой.

Вернувшись в пивную, я увидел, что человек с черным от грязи лицом все еще стоял у автомата. Я заказал рюмку коньяку, зажег сигарету и поглядел на него. Мне казалось, что я угадываю ритм вращения диска, и если стук раздавался раньше, чем я ожидал, мне становилось страшно; я слышал, как человек бормотал:

— Ничего... ничего... два... ничего... ничего... ничего.

Когда посетитель с проклятьями ушел из пивной, а я начал менять деньги, чтобы пустить в ход автомат, на бледном лице хозяйки уже не было улыбки.

Никогда не забуду, как я в первый раз опустил рукоятку книзу и как диск начал бешено вращаться, — мне казалось теперь, что он вращается с невероятной быстротой, — и как три раза, через разные промежутки времени, что-то щелкнуло. Я прислушался — не раздастся ли звон падающих монеток. Но ничего не упало.

Я пробыл там около получаса, пил водку и крутил ручку, прислушиваясь к дикому вращению дисков и сухому щелканью внутри автомата, и когда я выходил из пивной, у меня не было ни гроша в кармане; мне пришлось идти пешком; я шел почти три четверти часа до Эшерштрассе, где живут Блоки.

С тех пор я бываю только в тех пивных, где есть такие автоматы; я прислушиваюсь к гипнотизирующему меня вращению диска, ожидаю, пока внутри что-то щелкнет, и каждый раз пугаюсь, когда шкала останавливается, а монетки не выскакивают.

Наши свидания подчинены определенному ритму, который мы еще не можем уловить. Потребность встретиться возникает всегда внезапно, и случается, что по вечерам, прежде чем приютиться где-нибудь на ночь, я подхожу к нашему дому и вызываю Кэте вниз условным звонком, о котором мы договорились с ней, чтобы дети не узнали, что я поблизости. Ибо самое удивительное заключается в том, что они, кажется, любят меня, хотят меня видеть, говорят обо мне, — хотя я бил их в последние недели нашего совместного житья. Я бил их так сильно, что, увидев себя как-то со всклоченными волосами в зеркале, сам испугался выражения своего лица. Я был бледен и тем не менее покрыт потом, и я заткнул уши, чтобы не слышать криков мальчика, которого я побил за то, что он пел. Как-то в субботу, под вечер, когда я ждал Кэте внизу у парадного, Клеменс и Карла все же заметили меня. Я испугался, увидев, что их лица озарились радостью. Они кинулись ко мне, обняли меня, начали расспрашивать, здоров ли я; и я поднялся с ними по лестнице. Но стоило мне войти в нашу комнату, как на меня напал страх перед ужасающим дыханием бедности; даже улыбка нашего малыша, который, кажется, узнал меня, и радость жены — ничто не могло подавить той злобной раздражительности, которая сразу же поднялась во мне, лишь только дети начали прыгать и петь. Я снова ушел от них, не дожидаясь, пока мое раздражение вырвется наружу.

Но часто, когда я торчу в пивнушках, их лица внезапно появляются передо мной среди пивных кружек и бутылок, и я не забуду того ужаса, который испытал, увидев своих детей сегодня утром, когда они шли вместе с процессией.

В соборе запели последний хорал, я вскочил с кровати, открыл окно и увидел, как красная фигура епископа движется сквозь толпу.

А внизу, под моим окном, я различил черные волосы какой-то женщины, платье которой было обсыпано перхотью. Женщина, по-видимому, лежала на подоконнике. Внезапно она повернулась ко мне, и я увидел узкое лоснящееся лицо хозяйки.

— Если хотите есть,— крикнула она,— уже пора.

— Да,— сказал я,— иду.

Когда я спускался по лестнице, фирма, выпускавшая зубную пасту, снова начала стрельбу на пристани.

VIII

Пирог удался на славу. Я вынула его из духовки, и теплый сладкий запах сдобы разнесся по всей комнате. Дети сияли. Я послала Клеменса за взбитыми сливками, наполнила ими шприц для крема и нарисовала на синем сливовом фоне пирога разные завитушки.

Я наблюдала, как они вылизывали остатки сливок из миски, и обрадовалась, заметив, с какой точностью Клеменс разделил их поровну. Напоследок набралась еще целая ложка, и Клеменс отдал ее маленькому, который сидел на своем стульчике и улыбался мне, пока я мыла руки и красила губы новой помадой.

— Ты надолго уходишь?

— Да, до завтрашнего утра.

— Отец скоро вернется?

— Да.

Блузка с юбкой висели у кухонного шкафа. Переодеваясь в каморке, я услышала, как пришел молодой человек, который должен был присмотреть за детьми: он берет всего марку в час, но от четырех часов дня до семи утра — пятнадцать часов, итого получается пятнадцать марок; к тому же его надо покормить, а вечером, когда он, собственно говоря, приступает к своим обязанностям, около радиоприемника должны лежать сигареты. Радиоприемник мне одолжили Хопфы.

Кажется, Беллерман хорошо относится к детям, во всяком случае, они любят его; каждый раз после моих отлучек дети говорят мне, во что они играли и что он им рассказывал. Беллермана рекомендовал наш капеллан, и, по-видимому, он посвящен в то, по каким причинам я оставляю детей одних; глядя на мои накрашенные губы, он всегда слегка морщит лоб.

Я надела блузку, привела в порядок волосы и вошла в комнату. Беллерман явился с молоденькой девушкой, тихой блондинкой, которая уже держала маленького на руках и вертела вокруг указательного пальца его погремушку, что, видимо, доставляло малышу удовольствие. Беллерман представил мне девушку, но я не слышала ее имени. В улыбке девушки и в ее необыкновенно нежном обращении с малышом было что-то профессиональное, а по ее взгляду я поняла, что меня она считает негодной матерью.

У Беллермана черные, очень курчавые волосы, жирная кожа и почти всегда наморщенный нос.

— Можно погулять с детьми? — спросила меня девушка, и я согласилась, заметив умоляющий взгляд Клеменса и то, как Карла закивала головой. Я пошарила в ящичке, чтобы дать деньги на шоколадку, но девушка отказалась взять их.

— Пожалуйста, — сказала она, — не сердитесь на меня, но если можно, я бы предпочла сама купить им шоколадку.

— Можно, — сказала я, сунула деньги обратно и почувствовала себя совсем жалкой в присутствии этого цветущего, молодого существа.

— Пусть Гулли делает как знает, — сказал Беллерман, — она просто помешана на детях.

Я оглядела по очереди своих детей: Клеменса, Карлу и малыша — и почувствовала, что на глаза у меня навертываются слезы. Клеменс кивнул мне и сказал:

— Иди, мама, все будет хорошо. Мы не станем подходить близко к воде.

— Пожалуйста, — сказала я девушке, — не пускайте их близко к воде.

— Нет, нет, — сказал Беллерман, и оба они засмеялись.

Беллерман подал мне пальто, я взяла сумку, поцеловала детей и благословила их. Я чувствовала себя лишней.

Выйдя, я секунду постояла у двери, услышала, что они смеются, и медленно спустилась по лестнице.

Всего половина четвертого, и на улицах еще совсем не было народу. Несколько ребятишек играли в классы. Когда я подошла ближе, они взглянули на меня. Ни единого звука не раздавалось на этой улице, где жили сотни людей,— только мои шаги, да скучное брэнчанье рояля, доносившееся откуда-то из самой глубины улицы; за слегка шевелившейся занавеской я увидела старуху с желтым лицом, которая держала на руках жирную дворняжку. Несмотря на то что мы живем здесь уже восемь лет, у меня каждый раз кружится голова, когда я вижу серые стены с грязными заплатами, стены, которые, кажется, клонятся книзу; а слабое брэнчанье рояля то подымается кверху, то опускается, пробегая по узкой серой полоске неба. Звуки кажутся мне скованными, а мелодия, которую ищет и не может найти бледный пальчик девушки, оборванной. Я ускорила шаг и быстро прошла мимо детей, во взгляде которых мне почудилась угроза.

Фред не должен был оставлять меня одну. Я радуюсь встрече с ним, но меня пугает, что ради этих встреч я должна уходить от детей. Каждый раз, когда я спрашиваю, где он живет, он уклоняется от ответа, а этих Блоков, у которых он будто бы ночует уже месяц, я не знаю, и адреса он мне тоже не дает. Иногда мы встречаемся с ним по вечерам и на полчаса заходим в какое-нибудь кафе, а с детьми остается хозяйка дома; потом мы наскоро обнимаемся на трамвайной остановке, и когда я сажусь в вагон, Фред машет мне рукой. Иногда по ночам я лежу на нашей тахте и плачу, а кругом тишина. Я слышу дыхание детей, слышу, как ворочается маленький, в последнее время он стал беспокойным — у него режутся зубы,— и, плача, молюсь, прислушиваясь к тому, как ночь с сухим шумом перемальвает время. Мне было двадцать три года, когда мы поженились, с тех пор прошло пятнадцать лет, годы умчались куда-то, а я и не заметила; но стоит мне только взглянуть на лица детей, и я начинаю понимать: каждый год, прибавляющийся к их жизни, убавляет мою.

На Тукхофплатц я села в автобус и стала смотреть на почти безлюдные улицы, где появлялось разве что несколько человек у ларьков с сигаретами. На Бенекамштрассе я вышла и направилась к церкви Скорбящей богородицы посмотреть, когда будет вечерняя месса.

У входа было темно, я пошарила в сумочке, чтобы

найти спички, но мне попадались то рассыпанные сигареты, то помада, то носовой платок, то мыльница; наконец я нашла коробок, зажгла спичку и испугалась: направо от меня в темной нише кто-то стоял, стоял совершенно неподвижно; я попыталась произнести нечто вроде «алло», но от страха совсем потеряла голос, и еще мне мешало сильное сердцебиение. Человек в темной нише не шевельнулся, в руках он держал что-то похожее на палку. Я бросила обгоревшую спичку, зажгла новую, и даже после того, как поняла, что это статуя, сердцебиение не прекратилось. Я подошла еще на шаг ближе и при слабом свете различила каменного ангела с ниспадающими кудрями, который держал в руке лилию. Я так низко нагнулась, что мой подбородок чуть не коснулся груди статуи, и долго всматривалась в лик ангела. Его лицо и волосы были покрыты густым слоем пыли, даже из слепых глазниц свешивались темные хлопья. Я осторожно сдула их, очистила от пыли нежный овал лица и внезапно до меня дошло, что улыбка ангела была из гипса и что вместе с грязью исчезает все ее очарование; но я продолжала дуть, очистила роскошные кудри ангела, грудь, ниспадающие одежды и осторожно, потихоньку дую, очистила лилию; чем резче проступали яркие краски, чем виднее становился этот ужасный глянец индустрии набожности, тем больше угасала моя радость; я медленно отвернулась и пошла дальше, в глубь портала, чтобы разыскать объявление. Потом снова зажгла спичку и увидела в глубине церкви красное мерцание неугасимой лампы; остановилась у черной доски и испугалась: на сей раз кто-то действительно подходил ко мне сзади. Я повернулась и вздохнула с облегчением, разглядев бледное круглое крестьянское лицо священника. Он остановился рядом со мной. Глаза у него были печальные. Моя спичка погасла, и в темноте он спросил меня:

— Вы что-нибудь ищете?

— Не знаете ли вы,— спросила я,— где будет вечерняя месса?

— Божественная месса,— сказал он,— будет в соборе в пять часов.

Я различила только его светлые, почти бесцветные волосы и тускло блестящие глаза; было слышно, как на улице заворачивали трамваи, гудели автомобили; и внезапно, глядя в темноту, я сказала:

— Я хочу исповедаться,— я очень испугалась и в то

же время почувствовала облегчение, а священник произнес, словно он ждал этого:

— Идите за мной.

— Нет, если можно, то лучше здесь,— сказала я.

— Здесь нельзя,— ответил он кротко.— Через четверть часа начинается служба, могут прийти люди. Исповедальня там, дальше.

Но мне очень хотелось излить душу священнику именно здесь, стоя в этом темном, продуваемом со всех сторон портале, рядом с гипсовым ангелом; мне хотелось шептать в темноте, глядя на мерцающую вдали неугасимую лампаду, и услышать, как он, тоже шепотом, даст мне отпущение грехов.

И все же я послушно последовала за ним во двор. Но пока мы, выйдя из здания церкви, шли мимо разбросанных камней и обломков песчаника, отвалившихся от церковных стен, к маленькому серому домику около самой стены трамвайного депо, неистовый восторг, охвативший меня на миг, исчез; покой воскресных предвечерних часов нарушался ударами молотков по железу. Дверь домика отворилась, и я увидела грубое удивленное лицо экономки, недоверчиво оглядевшей меня.

В передней было темно, и священник сказал:

— Подождите, пожалуйста, минутку.

Откуда-то, по-видимому из темного угла передней, слышался стук посуды, и внезапно я поняла, что отвратительный сладковатый запах в коридоре, как видно крепко засевавший в мокром войлоке стен, шел от теплой вареной ботвы, поняла, что он распространялся из угла, где, вероятно, находилась кухня. Наконец из какой-то двери в коридор проник свет и в белесой полосе показался силуэт священника.

— Идите сюда,— позвал он.

Я нерешительно приблизилась. Комната была отвратительной: за красноватой занавеской в углу стояла, видимо, постель, и мне показалось даже, что я различаю ее запах. К стене были придвинуты книжные полки различной величины; некоторые из них покосились. Вокруг громадного стола беспорядочно стояло несколько старинных дорогих стульев с черными бархатными спинками. На столе лежали книги, пачка табаку, бумага для сигарет, пакетик с морковью и разные газеты. Священник, стоя за столом, жестом пригласил меня войти и придвинул стул боком поближе к столу;

к спинке стула была прикреплена решетка. Лицо священника, когда я рассмотрела его при свете, понравилось мне.

— Вы уж извините,— сказал он, бросив взгляд на дверь и слегка наклонив голову.— Мы из деревни, и я никак не могу уговорить ее не возиться с ботвой. Да и обходится это гораздо дороже, чем покупное, если считать к тому же топливо, грязь, запах и труд. Но я не могу ее уговорить. Идите сюда.

Он еще ближе подвинул стул с решеткой к столу, сел и кивнул мне. Обойдя вокруг стола, я села рядом с ним.

Священник торопливо надел епитрахиль, оперся локтями о стол, и в жесте, которым он, подняв руку, закрыл лицо, было что-то профессиональное, заученное. В решетке не хватало нескольких квадратиков, и когда я начала шептать: «Во имя отца, сына и святого духа...» — то он посмотрел на свои часы на руке и, проследив за ним взглядом, я заметила, что было три минуты пятого. Я начала шептать ему на ухо, шепотом поверяла ему все страхи, все мои печали, всю мою жизнь: я рассказала о моем страхе перед плотскими утехами, о страхе перед святым причастием, о всех тревогах нашего брака. Рассказала, что муж оставил меня и что мы только время от времени встречаемся, чтобы побыть вместе. И когда я на секунду умолкала, он быстро смотрел на часы, и каждый раз я смотрела вслед за ним и видела, что стрелка очень медленно двигалась вперед. Потом он подымал веки, я видела его глаза и желтизну от никотина на его пальцах; он снова опускал глаза и говорил мне: «Продолжайте». Он проносил это слово мягко, но мне все же было больно, так больно, как бывает, когда умелая рука выдавливает из раны гной.

И я продолжала шептать ему на ухо: рассказала ему все о том времени, два года назад, когда мы оба пили — Фред и я, о моих умерших детях и о детях, которые остались живы, о том, что нам приходится слышать за стенкой в комнате Хопфов, и о том, что Хопфы слышали у нас. И я опять запнулась. Он снова посмотрел на часы, и я снова поглядела вслед за ним и увидела, что было только шесть минут пятого. Он опять поднял веки и мягко сказал:

— Продолжайте.

И я зашептала быстрее — рассказала ему о своей

ненависти к священникам, которые живут в больших домах и у которых лица как на рекламе питательного крема, о фрау Франке, о нашем бессилии, о грязи, в которой мы живем, а в конце я сказала ему, что, наверное, забеременела.

И когда я снова запнулась, он уже не стал смотреть на часы. Просидев полсекунды с открытыми глазами, он спросил меня:

— Это все?

И я сказала: «Да» — и посмотрела на его часы, которые были у меня прямо перед глазами, потому что он отнял руки от лица и положил их на край стола; было одиннадцать минут пятого. И я невольно заглянула в свободно болтавшиеся рукава его рясы, увидела там волосатую мускулистую крестьянскую руку и закатанные рукава рубашки и подумала: «Почему он не опустит рукава?»

Он вздохнул, опять закрыл лицо руками и тихо спросил:

— А вы молитесь?

И я сказала:

— Да,— и рассказала ему, что лежу ночи напролет на своей продавленной тахте и повторяю все молитвы, которые только могу вспомнить, и что часто я зажигаю свечу, чтобы не разбудить детей, и читаю молитвы, которых не знаю наизусть, по молитвеннику.

Он больше не спрашивал меня ни о чем, и я тоже молчала; когда я посмотрела на часы, было четырнадцать минут пятого; из трамвайного депо доносился стук молотков, в кухне напевала экономка, слышался глухой шум поезда на вокзале.

Наконец он отнял руки от лица, сложил их на коленях и, не глядя на меня, сказал:

— «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». Можете вы это понять? — И, не дожидаясь моего ответа, он продолжал: — «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут им; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».

Он опять замолчал, снова закрыл лицо руками и пробормотал сквозь сомкнутые пальцы:

— Узкая, самая узкая дорога из всех, что мы знаем, это дорога по острию ножа, и, мне кажется, вы идете по ней...

Внезапно он убрал руки от лица и посмотрел на меня сквозь отверстие в решетке — это продолжалось меньше секунды, но меня испугало строгое выражение его глаз, которые казались мне раньше такими добрыми.

— Я приказываю вам,— сказал он,— приказываю вам прослушать святую мессу у вашего священника, которого вы так ненавидите, и получить из его рук святое причастие, если вы,— он снова посмотрел на меня,— если вы получите отпущение грехов.

Он опять помолчал, казалось, он раздумывал; и пока я мысленно повторяла все молитвы и все мольбы, которые знаю, из трамвайного депо доносилось шипение сварочных аппаратов, а потом внезапно раздался звон церковных колоколов. Было четверть пятого.

— Не знаю, могу ли я дать вам отпущение, надо подождать. Боже мой,— сказал он с жаром, и взгляд его уже не был строгим,— как вы можете так ненавидеть? — И, беспомощно махнув рукой, он повернулся ко мне.— Я благословлю вас, но, простите, я еще должен подумать, может быть, посоветоваться с кем-нибудь из коллег! Если бы вы сегодня вечером... Ах да, вы встречаетесь с мужем. Вы должны сделать все, чтобы муж вернулся.

Мне стало очень грустно из-за того, что он не хотел дать мне отпущение грехов, и я сказала:

— Пожалуйста, дайте мне отпущение грехов.

Он улыбнулся, приподнял немного руку и сказал:

— Я бы сам хотел, если бы мог, ведь вы так сильно желаете этого, но я действительно сомневаюсь. А теперь вы уже не чувствуете ненависти?

— Нет, нет,— сказала я поспешно,— теперь мне только грустно.

Он, видимо, колебался, и я не знала что делать. Если бы я продолжала его уговаривать, он, быть может, согласился, но мне не хотелось получить отпущение грехов только потому, что я сумела уговорить священника. Я хотела получить его по-настоящему.

— Условно,— сказал он и снова улыбнулся,— я могу дать отпущение условно... Я не очень уверен, но если это в моей власти, тогда я мог бы...— Он нетерпеливо размахивал руками у меня перед глазами.— Вы судите ненавидя, а мы ведь не можем ни судить, ни ненавидеть... Нет!

Он решительно покачал головой, а потом, обхватив голову руками, опустил ее на край стола, помолился,

внезапно поднялся и дал мне отпущение грехов. Я перекрестилась и встала.

Он стоял у стола и смотрел на меня, и вдруг, еще прежде чем он заговорил, мне стало его жаль.

— Я только могу вам... — он словно стер свои слова взмахом руки. — Вы думаете, я сам не чувствую иногда эту ненависть? Я, священник? Она у меня здесь, — он ударил себя по черной сутане, куда-то пониже сердца, — ненависть к вышестоящим. В моей церкви, — сказал он, показывая в окно, — совершают мессы священники, которые бывают в городе проездом; эти холеные господа, направляющиеся на съезды или возвращающиеся со съездов, приходят из близлежащих гостиниц и ругаются, потому что у нас грязно и не хватает служек; в нашей церкви совершают десяти-, тринадцатидвадцатиминутные мессы и обычные мессы по двадцать пять минут. Их читают пять, десять, а часто даже пятнадцать раз на день. Вы не можете себе представить, сколько священников разъезжает: то они едут с курорта, то на курорт, да и съездов бывает предостаточно. По пятнадцать месс в день, на которые в общей сложности не соберешь даже пяти верующих. Здесь, — сказал он, — ставят истинные рекорды, на тотализаторе значится пятнадцать к пяти. Почему бы и мне не испытывать ненависть к ним, к этим бедным священникам, от которых в моей полуразрушенной ризнице остается благоухание ванн из роскошных отелей?

Он снова обернулся ко мне и протянул блокнот и карандаш, лежавшие на столе; я записала свой адрес и поправила сползшую набок шляпу.

Раздался сильный стук в дверь несколько раз подряд.

— Да, да, знаю! — закричал он. — Служба, я иду.

На прощание он подал мне руку; вздыхая, посмотрел на меня и проводил до двери.

Я медленно прошла мимо главного входа церкви, к туннелю. Две женщины и мужчина шли к церковной службе. Напротив висел большой белый транспарант с красной надписью: «Что ты будешь делать без аптекаря?»

Темное облако, проползавшее по небу, задело краем солнце, а потом уплыло, и солнце светило теперь прямо на букву «е» в слове «аптекаря», заливая ее желтым светом. Я пошла дальше, меня обогнал маленький мальчик с молитвенником под мышкой, а потом улица опять опу-

стела. По обеим сторонам ее были лавчонки и развалины, а из-за выжженных стен доносился шум трамвайного депо.

Почувствовав теплый запах свежей сдобы, я остановилась, посмотрела направо и заглянула в открытую дверь деревянной лавчонки, из которой вырывались клубы белесого чада; на пороге в лучах солнца сидел ребенок и, моргая, смотрел на небо. По выражению его кроткого лица я поняла, что он дурачок — его красноватые веки казались на солнце прозрачными, — и я ощутила щемящую нежность; ребенок держал в руке свежий пончик, рот его был в сахаре, и когда он откусил кусочек пончика, начинка — коричневое повидло — вылезла наружу и закапала на его свитер. В лавчонке я увидела молоденькую девушку, склонившуюся над котлом, — у нее было красивое лицо, кожа казалась очень нежной и белой. И хотя голова девушки была покрыта платком, я поняла, что волосы у нее светлые. Она вылавливала из кипящего жира свежие пончики и клала их на решетку, а когда девушка внезапно подняла глаза, наши взгляды встретились и она улыбнулась. Ее улыбка словно околдовала меня, я улыбнулась ей в ответ, и так мы постояли несколько секунд не шевелясь. И глядя в упор на нее, я в то же время видела где-то очень далеко себя самое, видела нас обеих, улыбающихся друг другу, словно мы были родные сестры; но я опустила глаза, когда вспомнила, что у меня нет при себе денег, чтобы купить у нее один из этих пончиков, запах которых возбуждал мой аппетит. Глядя на белесый вихор дурачка, я пожалела, что не взяла денег. Я никогда не беру с собой деньги, если должна встретиться с Фредом, потому что при виде денег он не может устоять и большей частью ему удается соблазнить меня на выпивку. Я смотрела на жирную шейку дурачка, на крошки сахара, размазанные по его лицу, и когда я поглядела на его кроткие полуоткрытые губы, во мне проснулось что-то вроде зависти.

Подняв глаза, я увидела, что девушка уже отодвинула котел; как раз в тот момент она развязала и сняла платок и на ее волосы упало солнце. И снова, глядя на нее в упор, я видела не только ее, но и себя самое, видела, как я спускаюсь с какой-то вершины и иду по грязной улице, окаймленной развалинами, видела вход в церковь, транспарант и себя перед этой забегаловкой, худую и грустную, но с улыбкой на лице.

Осторожно пробравшись мимо дурачка, я вошла в закусокную. В углу за столиком сидело двое детей, а у очага — старый небритый мужчина, читавший газету; он опустил ее и посмотрел на меня.

Девушка стояла около большого кофейника и, поправляя волосы, смотрелась в зеркало. Я оглядела ее белые, очень маленькие детские ручки и заметила в зеркале рядом с ее свежим улыбающимся лицом свое лицо — исхудавшее, чуть желтоватое, со вспыхивающими, словно язычки пламени, темно-красными накрашенными губами, и несмотря на то что улыбка появилась у меня на лице сама собой, почти против моей воли, она показалась мне фальшивой; но тут наши головы словно вдруг поменялись местами: моя голова стала ее головой, а ее — моей, и я почувствовала себя молоденькой девушкой, стоящей перед зеркалом и поправляющей свои волосы, увидела, как эта девчурка отдается ночью любимому человеку, который принесет ей и жизнь и смерть, оставив на ее лице следы того, что он называет любовью, лицо это станет наконец похожим на мое — худым, покрытым легкой желтизной от горечи этой жизни.

Но теперь она повернулась, заслонив в зеркале мое изображение, и я отступила вправо, покорившись ее очарованию.

— Добрый день,— сказала я.

— Добрый день,— ответила она.— Не хотите ли съесть пончик?

— Нет, спасибо,— сказала я.

— Почему? Разве вам не нравится, как они пахнут?

— Нет, мне нравится, как они пахнут,— сказала я, с дрожью думая о том неизвестном, которому она будет принадлежать,— они действительно хороши, но у меня нет при себе денег.

При слове «деньги» старик у печки встал, зашел за стойку, остановился рядом с девушкой, и сказал: «Деньги... но вы можете заплатить и позже. Вам же хочется попробовать. Правда?»

— Да,— ответила я.

— Садитесь, пожалуйста,— пригласила девушка. Я отошла немного назад и села к столику рядом с детьми.

— Кофе тоже подать? — крикнула девушка.

— Да, пожалуйста,— сказала я.

Старик положил на тарелку три пончика и подал их. Он остановился рядом со мной.

— Большое спасибо,— сказала я,— но вы ведь не знаете меня.

Он улыбнулся, вынул руки из-за спины и, неловко держа их на животе, пробормотал:

— Не беспокойтесь.

Я кивнула в сторону дурачка, который все еще сидел на пороге.

— Это ваш сын?

— Сын,— сказал он тихо,— а она — моя дочь.

Он бросил взгляд на девушку за стойкой, которая взялась за ручку кофейника.

— Он не может говорить, как люди, мой сын,— сказал старик,— и как звери тоже, он не произносит ни единого слова, только «дзу-дза-дзе», а мы,— старик приподнял к небу язык, чтобы произнести эти звуки, и снова опустил его,— а мы, неумело подражая ему, выговариваем эти звуки слишком твердо: «зу-за-зе». Мы не способны к этому,— сказал он тихо; и внезапно, чуть повысив голос, крикнул: — Бернгард! — Дурачок неуклюже повернул голову и тут же снова опустил ее. Старик еще раз крикнул: — Бернгард! — Мальчик снова обернулся, и его голова бессильно повисла, как гиря от часов; старик встал, осторожно взял ребенка за руку и подвел его к столику. Он сел на стул рядом со мной, посадил мальчика на колени и тихо спросил меня:

— Может, вам противно? Вы скажите.

— Нет,— сказала я,— мне не противно.

Его дочь принесла мне кофе, поставила передо мной чашку, а сама встала рядом с отцом.

— Скажите, если вам противно. Мы не обидимся. Большинству людей это противно.

Ребенок был жирный и измазанный, он тупо глядел прямо перед собой и все лепетал: «дзу-дза-дзе»; внимательно посмотрев на него, я опять подняла голову и сказала:

— Нет, мне не противно, он как младенец.

Я поднесла чашку ко рту, отпила глоток, откусила кусочек пончика и сказала:

— Какой у вас вкусный кофе!

— Правда? — воскликнула девушка.— Правда? Сегодня утром мне сказал это один посетитель, а до этого никто не говорил.

— Он действительно вкусный,— сказала я, отпила

еще глоток и откусила еще кусочек пончика. Девушка оперлась на спинку стула, на котором сидел ее отец, посмотрела сперва на меня, а потом куда-то вдаль.

— Иногда,— сказала она,— я пытаюсь представить себе, что он чувствует, чем живет; большей частью он выглядит таким спокойным, таким счастливым... Возможно, воздух кажется ему таким, как нам вода,— зеленая вода, ведь он с трудом пробирается сквозь него, зеленая вода, которая иногда отсвечивает коричневым, а по ней проходят темные полосы, словно на старой киноплёнке... Иногда он плачет, и это ужасно; он плачет, когда слышит некоторые звуки — скрежет трамвая, резкий свист из репродуктора. Когда он их слышит, он плачет.

— Да? — спросила я. — Он плачет?

— О да,— сказала она и, словно возвращаясь откуда-то издалека, посмотрела на меня, так и не улыбнувшись.— Он часто плачет, и обязательно, когда раздаются эти резкие звуки. Он тогда ужасно плачет, и слезы катятся по размазанному сахару вокруг его рта. Он ест только сладкое, и еще молоко и хлеб, а от всего остального, если это не сладкое, не молоко и не хлеб,— от всего остального его тошнит. О, простите,— сказала она, теперь вам стало противно?

— Нет,— сказала я,— расскажите еще о нем.

Она снова посмотрела куда-то мимо меня и положила руку на голову дурачка.

— Ему трудно двигать головой и вообще передвигаться наперерез потоку воздуха; и также страшно ему, наверное, когда он слышит эти звуки. Может быть, в ушах у него всегда раздается мягкий гул органа — коричневая мелодия, доступная только его слуху; может быть, он слышит рев бури, от которой шелестит листва невидимых деревьев. Звон струн, толстых, словно руки, зовет его куда-то — и вдруг их гудение прерывается.

Старик слушал ее, как зачарованный, обнимая дурачка и не обращая внимания на то, что повидло и растаявший сахар сползали на рукава его пиджака. Я выпила еще глоток кофе, откусила кусочек от второго пончика и тихо спросила девушку:

— Откуда вы все это знаете?

Она посмотрела на меня, улыбнулась и сказала:

— Ах, я ничего не знаю, но ведь что-то он должен чувствовать, чего мы не ведаем; я только пытаюсь представить себе это. Иногда он неожиданно вскрикивает,

совсем неожиданно, прибегает ко мне и обливает слезами мой фартук — это бывает совершенно неожиданно, когда он сидит у двери; и мне кажется, что он вдруг увидел все таким, каким видим мы, — внезапно и всего на полсекунды; и он испугался оттого, что увидел людей такими, какими видим их мы, и автомобили, и трамваи тоже, и оттого, что он услышал весь этот шум вокруг. Тогда он долго плачет.

Дети, сидевшие в углу, встали, отодвинули тарелки, и когда они проходили мимо нас, бойкая маленькая девочка в зеленой шапочке крикнула:

— Запишите, пожалуйста, мама велела!

— Хорошо, — сказал старик, улыбаясь им вслед.

— Ваша жена, — тихо спросила я, — его мать, умерла?

— Да, — сказал небритый, — она умерла. Ее разорвала бомба прямо на улице, а малыша, которого она держала на руках, отбросило на кучу соломы... Он кричал, когда его обнаружили.

— У него это с рождения? — спросила я, запинаясь.

— Да, с рождения, — сказала девушка. — Он всегда был такой; все проходит, проходит мимо него, только наши голоса и орган в церкви достигают его слуха, и резкий скрежет трамваев, и пение монахов, когда они хором молятся. Но вы ешьте. Ах, вам все-таки противно.

Я взяла последний пончик, покачала головой и спросила:

— Вы сказали, он слышит пение монахов?

— Да, — сказала она, кротко глядя мне прямо в лицо, — их он слышит. Когда я хожу к монахам на Билдонерплатц, — знаете? — и когда они поют хором, его лицо меняется, вытягивается и становится почти строгим; и каждый раз я пугаюсь, а он прислушивается. Я знаю, что он их слышит; он прислушивается и становится совсем другой, он улавливает мелодию молитв и плачет, когда монахи перестают петь. Вы удивлены, — сказала она улыбаясь. — Ешьте.

Я опять взяла в руку пончик, откусила кусочек и почувствовала, что теплое повидло тает у меня во рту.

— Вы должны часто ходить с ним на Билдонерплатц, — сказала я.

— О да, — сказала она, — я часто хожу туда, несмотря на то что это меня пугает. Хотите еще кофе?

— Нет, спасибо, — сказала я. — Мне надо идти. —

Я нерешительно посмотрела на девушку и на дурачка и тихо сказала: — Мне бы хотелось когда-нибудь увидеть его там.

— В церкви? — спросила она.— У монахов?

— Да,— сказала я.

— Тогда пойдемте... жаль, что вы уходите. Но вы еще придете? Правда?

— Приду,— сказала я,— мне ведь надо заплатить.

— Не в этом дело. Приходите еще, пожалуйста.— Услышав ее слова, старик кивнул головой. Я допила кофе, встала и стряхнула с пальто крошки.

— Я приду еще,— сказала я,— у вас так хорошо.

— Сегодня? — спросила девушка.

— Нет, не сегодня,— сказала я,— но скоро. Может быть, завтра утром; и буду часто приходить теперь, и к монахам мы пойдем вместе.

— Хорошо,— сказала девушка.

Она протянула мне руку, и на секунду я крепко сжала эту очень легкую белую руку; посмотрев на ее цветущее лицо, я улыбнулась и кивнула старику.

— Бернгард,— тихо сказала я дурачку, который крошил пальцами пончик, но он не слышал меня и, кажется, даже не видел; он почти совсем опустил веки, свои красноватые, воспаленные веки.

Я повернулась и пошла к темному туннелю, который вел на Вокзальную улицу.

IX

Когда я спустился вниз, со столов убирали груды тарелок; пахло холодным гуляшом, салатом и пудингом на сахарине. Я сел в углу и начал наблюдать, как двое парней играли на автоматах. Меня волновали пронзительные звонки, когда никелевые шарики касались контактов, бешеное вращение дисков и стук при их остановке. Кельнер смахивал со столиков салфеткой, а худая хозяйка прикрепляла над стойкой большой желтый картонный плакат с надписью: «Сегодня вечером танцы. Вход бесплатный».

За одним столиком со мной сидел старик в грубошерстном пальто и в охотничьей шляпе; в пепельнице дымилась его трубка. Старик ковырял вилкой в красноватом гуляше; свою зеленую шляпу он так и не снял.

— Что вам угодно? — спросил кельнер.

Я взглянул на него, и его лицо показалось мне знакомым.

— А что у вас есть?

— Гуляш,— сказал он,— свиные отбивные, картофель, салат. Еще третье. А если хотите, можно подать и суп.

— Дайте мне гуляш,— попросил я,— но сначала суп и рюмку водки.

— Будет сделано,— ответил кельнер.

Еда оказалась сытной и горячей, и я понял, что голоден; попросив хлеба, я стал макать его в сильно наперченный соус.

Потом мне принесли еще рюмку водки. Парни прежнему играли. У одного из них волосы на макушке стояли дыбом.

Я заплатил и подождал несколько минут, но автоматы не освободились. Я еще раз внимательно посмотрел кельнеру в лицо: это бледное лицо и тусклые волосы я где-то уже видел.

Подойдя к стойке, я попросил сигарет; хозяйка посмотрела на меня и сказала:

— Вы останетесь на всю ночь?

— Да,— ответил я.

— Не заплатите ли вы вперед? Это будет вернее,— она ухмыльнулась.— От нас до вокзала рукой подать. А вещей у вас нет.

— Конечно,— согласился я, вынимая деньги из кармана.

— Восемь марок, пожалуйста,— сказала она и посплюнявила карандаш, чтобы выписать мне квитанцию.— Вы ждете кого-нибудь? — спросила она, подавая мне бумажку.

— Да, жену.

— Хорошо,— сказала она и протянула мне сигареты; я положил марку и поднялся наверх.

Долго лежал я на кровати, курил и размышлял, сам не зная о чем, пока мне не пришло в голову, что я стараюсь вспомнить лицо кельнера. Я никогда не забываю лиц — все они следуют за мной, и, увидев снова, я их узнаю. Они болтаются где-то в моем мозгу, подсознательно я помню о них, в особенности о тех, которые видел только раз, и то мельком; они проплывают, как серые, неясно различимые рыбы среди водорослей в мутном омуте. Иногда их головы проталкиваются почти к самой поверхности, но по-на-

стоящему они всплывают, только если я действительно увижу их снова. Я беспокоюсь шарил среди рыбешек, которыми кишел этот пруд, а потом вскинул удочку — и вот он, кельнер: солдат, однажды всего минутку лежавший со мной рядом на санитарном пункте; из повязки на его голове тогда выползли вши, они копошились в запекшейся и свежей крови, они спокойно ползали по его затылку и залезали в белесые жидкие волосы, нахальные насекомые ползали по лицу этого потерявшего сознание человека, забирались на его уши, снова сваливались на плечи и исчезали за грязным воротничком рубашки; худое страдальческое лицо человека, который равнодушно подавал мне теперь гуляш, я видел за три тысячи километров отсюда.

Я обрадовался, вспомнив, где видел кельнера, перевернулся на бок, вытащил из кармана деньги и пересчитал их на подушке — у меня осталось шестнадцать марок восемьдесят пфеннигов.

Потом я опять спустился в бар, но оба молодых парня все еще стояли у автоматов. У одного из них карман пиджака был, видимо, набит мелочью — он тяжело свисал книзу; и парень правой рукой рылся в деньгах. Кроме них здесь все еще сидел человек в охотничьей шляпе; он пил пиво и читал газету. Я выпил рюмку водки и посмотрел в лицо хозяйки, совершенно гладкое, без пор; хозяйка, сидя на табуретке, перелистывала иллюстрированный журнал.

Я снова поднялся наверх, лег на кровать, курил и думал о Кэте и о детях, о войне и о наших малютках, которые, как уверяет священник, теперь на небесах. Я каждый день думаю об этих детях, но сегодня думал о них особенно долго; и никто из тех, кто знает меня, даже Кэте, не поверил бы, как часто я думаю о них. Все считают меня человеком беспокойным, который каждые три года, с тех пор как ушли деньги, полученные в наследство от отца, меняет профессию, человеком, который даже с возрастом не обрел постоянства, равнодушным к семье, напивающимся всякий раз, как у него заведутся деньги.

Однако в действительности я пью редко, реже чем раз в месяц, а уж по-настоящему пьян от силы раз в три месяца. Иногда я спрашиваю себя, что, собственно, по их мнению, я делаю в те дни, когда не пью, а таких ведь двадцать девять из тридцати. Я много гуляю, пытаюсь между делом кое-что заработать, вы-

кладывая свои старые школьные познания и продавая их замученным гимназистам-пятиклассникам. Я шагаю по городу, большей частью забираюсь далеко на окраины, хожу на кладбища, если они открыты. Прогуливаясь среди ухоженных кустов и чистеньких цветников, я читаю дощечки с именами, вбираю в себя запахи кладбища и чувствую, как бьется сердце при мысли, что и я там буду лежать. Раньше, когда у нас еще были деньги, мы много путешествовали, но и в чужих городах я делал то же, что и здесь, где собираюсь остаться навсегда: и там я валялся на кровати в гостиницах, курил или бесцельно бродил; время от времени заходил в церковь или забирался на окраины, где расположены кладбища. И там я пил в жалких пивнушках, а ночью брался с незнакомыми людьми, зная, что никогда больше не увижу их.

Уже в детстве я охотно ходил на кладбища, упивался этой страстью, хотя она считается неподходящей для молодых людей. Но имена покойников, и цветники, каждая буква, самый запах кладбища — все говорит мне, что и я умру; и это единственная истина, в которой я никогда не усомнился. Медленно прохаживаясь между нескончаемыми рядами могил, я, бывает, нахожу имена людей, которых знал когда-то.

Еще ребенком, совсем рано, я познал, что такое смерть. Моя мать умерла, когда мне было семь лет, и я внимательно наблюдал за всем, что делали с матерью: пришел священник, совершил литию и осенил ее крестом, — она лежала не шевелясь. Принесли цветы и гроб; пришли родственники, они плакали и молились у ее кровати, — она лежала не шевелясь. Я с любопытством следил за всем. Наказание не удержало меня — я подглядел, как служащие похоронного бюро обмыли мать, надели на нее белую рубашку, уложили цветы вокруг ее тела, прибили крышку, погрузили гроб на машину — и квартира опустела, матери в ней больше не стало. Тайком, не спросившись у отца, я поехал на кладбище: сел в двенадцатый номер и — я никогда этого не забуду, — пересев на Тукхофплатц в десятый, доехал до конечной остановки.

В тот день я в первый раз попал на кладбище; у входа я спросил человека в зеленой шляпе о своей матери. У человека было красное, одутловатое лицо, и от него пахло спиртным; взяв меня за руку, он пошел со мной в здание, где помещалась администрация

кладбища. Он был очень приветлив: спросил, как меня зовут, провел в какую-то комнату и велел подождать. Я стал ждать. Прохаживаясь между стульями, вокруг светло-коричневого стола, я рассматривал картины на стенах и ждал; одна картина изображала смуглую худую женщину, которая сидела на острове и чего-то дожидалась; я встал на цыпочки, чтобы прочесть подпись под картиной, и разобрал: «Нана» — так там было написано; другая картина изображала бородатого мужчину, который, ухмыляясь, держал у самого лица пивную кружку с богато украшенной крышкой. Я не смог разобрать, что там было написано, и пошел к двери, но дверь оказалась запертой. Тогда я заплакал; я тихо сидел на одном из светло-коричневых стульев и плакал до тех пор, пока не услышал шаги в коридоре: это шел мой отец; я узнал его шаги, потому что часто слышал, как он проходил по длинному коридору нашей квартиры. Отец был ласков со мной, и вместе с толстым мужчиной в зеленой шляпе, от которого пахло спиртным, мы вошли в мертвецкую, там я увидел ее; увидел пронумерованные гробы с именами; и человек в зеленой шляпе подвел меня к одному из гробов, а мой отец дотронулся пальцем до дощечки и прочел вслух: «Элизабет Богнер, 18.4., 16 час. 00 мин., участок VII/L» — и спросил у меня, какое сегодня число, но я не знал, и он произнес:

— Сегодня шестнадцатое. Маму будут хоронить только послезавтра.

Им пришлось обещать, что в мое отсутствие с гробом ничего не произойдет, в чем отец, плача, поклялся мне; тогда я согласился пойти с ним в нашу мрачную квартиру, там я помог ему прибрать большую старомодную кладовую; мы вытащили на свет божий все, что мать накупила у своих разносчиков за долгие годы: целые залежи заржавевших бритвенных лезвий, мыло, порошок против насекомых, полуистлевшую резиновую тесьму и множество коробок с английскими булавками. Отец плакал.

Через два дня я действительно увидел гроб снова: он остался таким же, как был; гроб погрузили на тележку, положили на него венки и цветы, и мы пошли за гробом позади священника и служек до большой глинистой ямы на участке VII, и я видел, как гроб осеяли крестом, опускали, кропили святой водой и засыпали землей. Я прислушивался к молитве священ-

ника, который говорил о прахе, о прахе и о воскресении из мертвых.

Мы с отцом еще долго оставались на кладбище, потому что я обязательно хотел видеть все до конца: как могильщики засыпали яму землей, утрамбовали ее и нагребли лопатами маленький холмик, а потом положили на него венки; под конец один из них воткнул в землю маленький белый крест, на котором черными буквами было написано: «Элизабет Богнер».

И вот уже в детстве я считал, что знаю о смерти все: умереть — значило уйти, быть закопанным в землю и ждать воскресения из мертвых. Я понимал это и принимал как должное: все люди должны умереть, и они умирали, умирали многие из тех, кого я знал, и никто не мог меня удержать от присутствия на их похоронах.

Быть может, я даже слишком много думаю о смерти, и люди, считающие меня пьяницей, не правы. Все, за что я ни возьмусь, становится мне безразличным, скучным и неважным; и с тех пор как я ушел от Кэте и детей, я опять стал часто ходить на кладбища; я стараюсь прийти пораньше, чтобы присутствовать на похоронах, я иду за гробом незнакомых людей, слушаю надгробные речи, вторю словам молитвы, которую священник бормочет над открытой могилой, бросаю горсть земли в могилу, молюсь у гроба, и если у меня есть деньги, то заранее покупаю цветы и разбрасываю их на рыхлом холмике над гробом. Я прохожу мимо плачущих родственников, и случается, что меня приглашают помянуть покойника. Я сижу за столом с чужими людьми, пью пиво и ем картофельный салат с колбасой, а плачущие женщины накладывают мне на тарелку гигантские бутерброды; я курю сигареты, пью шнапс и слушаю рассказы о жизненном пути незнакомых людей, которых я не видел даже в гробу. Они показывают мне их фотографии. А неделю назад я шел за гробом молодой девушки и потом сидел в угловой комнате старомодного ресторана вместе с ее отцом, который принял меня за тайного возлюбленного дочери. Он показывал мне ее снимки — настоящая красавица; она сидела на мотороллере у входа в какую-то аллею, и ветер развеивал ее волосы.

— Она была еще совсем ребенок, — сказал мне отец. — Она еще не знала любви.

Я разбрасывал цветы на могиле этой девушки, а

потом видел, как плачет ее отец; положив на секунду свою сигарету в пепельницу из серой керамики, он вытер глаза.

Я был равнодушен ко всем профессиям, какие только перепробовал. Мне недоставало серьезности, для того чтобы по-настоящему овладеть какой-либо профессией. До войны я долго работал в магазине по продаже медикаментов, пока меня не одолела скука и я перешел в фотоателье, которое мне тоже скоро опротивело. Потом я решил стать библиотекарем, хотя не испытывал особой склонности к чтению; в библиотеке я познакомился с Кэте, которая любит книги. Я оставался там из-за Кэте, но мы скоро поженились, и когда она в первый раз забеременела, ей пришлось уволиться. Потом началась война, и наш первый ребенок — Клеменс — родился как раз тогда, когда меня призвали.

Но я не люблю думать о войне, поэтому я встал с кровати и еще раз спустился в бар; было уже около четырех. Я выпил рюмку водки и подошел к автоматам, которые теперь освободились; стоило мне бросить монетку и нажать на рукоятку, как я почувствовал, что очень устал.

Вернувшись в свой номер, я снова лег на кровать, закурил и начал думать о Кэте; я думал о ней до тех пор, пока на церкви Скорбящей богородицы не зазвонили колокола...

Х

Я сразу же разыскала вывеску с намалеванной черной рукой и пошла в том направлении, куда указывал вытянутый указательный палец. Улица была серая и пустынная, но не успела я сделать несколько шагов, как внезапно из какого-то узкого дома высыпало множество людей; оказалось, что в кино кончился сеанс. На углу висела еще одна вывеска с черной рукой; указательный палец был согнут — передо мной была гостиница «Голландский двор». Я испугалась, увидев, что дом очень уж грязный, медленно пересекла улицу и остановилась перед входом, окрашенным в красноватый цвет; потом я решительно толкнула дверь и вошла в ресторан. У стойки стояло трое мужчин. Когда я вошла, они взглянули на меня, замолчали и посмот-

рели на хозяйку, а хозяйка, подняв глаза от иллюстрированного журнала, посмотрела на меня. Ее взгляд скользнул по моему лицу и шляпе, задержался на сумочке в моей руке; потом она слегка наклонилась вперед, чтобы увидеть мои туфли и ноги, и снова посмотрела мне в лицо, долго разглядывая мои губы, словно определяя марку моей новой помады. Она снова наклонилась и, с сомнением поглядев на мои ноги, медленно спросила:

— Что угодно?

Сняв руки с бедер, она сперва положила их на никелированную стойку, а потом сложила на животе; ее белое худое лицо выразило растерянность.

— Я бы хотела видеть своего мужа,— сказала я. Мужчины отвернулись и опять заговорили между собой. Не успела я назвать свою фамилию, как хозяйка произнесла:

— Одиннадцатый номер, второй этаж.

Она показала на дверь у стойки. Один из мужчин подскочил к двери и отворил ее. Он был бледен и, очевидно, пьян: губы у него дрожали, глаза были красные. Когда я посмотрела на него, он опустил глаза. Я сказала «спасибо» и прошла в открытую дверь. Подымаясь по лестнице, я услышала, как чей-то голос, донесшийся до меня из-за медленно закрывающейся двери, произнес:

— А она здешняя.

Лестничная клетка была покрашена зеленой клеевой краской, сквозь матовое стекло окна виднелась черная стена, а на втором этаже в маленькой передней горела лампочка без абажура.

Я постучала в дверь комнаты № 11, но ответа не последовало, и, отворив дверь, я вошла. Фред лежал на кровати и спал. Когда он лежит в кровати, то кажется очень слабым, совсем ребенок. Ему можно дать лет восемнадцать, если бы не его строгое лицо. Во сне он слегка приоткрыл рот, темные волосы спадают на лоб, и лицо у него, как у человека, потерявшего сознание; он спит очень крепко. Поднимаясь по лестнице, я еще сердилась из-за того, что оказалась в таком положении, когда мужчины могли глазеть на меня, как на проститутку, но теперь я очень осторожно подошла к кровати, пододвинула стул, открыла сумочку и вынула сигареты.

Я сидела у его кровати, курила и, заметив, что он

начинает беспокойно шевелиться, отворачивалась и рассматривала зеленые сердечки на обоях, поднимала взгляд к безобразному абажуру и выпускала дым сигареты сквозь щель в приоткрытом окне. Вспомнив прежнее, я поняла, что с тех пор, как мы поженились, почти ничего не изменилось: наш брак начинался в мебелированной комнате, которая была почти так же безобразна, как номер в этой гостинице. Настоящая квартира появилась у нас перед самой войной, но она кажется мне сейчас чем-то никогда не существовавшим на самом деле: четыре комнаты, ванная — и чистота кругом; в комнате Клеменса были обои с Максом и Морицем, хотя он был тогда еще слишком мал, для того чтобы разглядывать картинки. Когда он настолько подрос, что стал разбираться в картинках, — дома, в котором была комната, оклеенная обоями с Максом и Морицем, уже не существовало. Я как сейчас вижу Фреда, вот он стоит, заложив руки в карманы своих форменных брюк, и смотрит на груды развалин, от которой подымается легкий серый дымок. Казалось, Фред ничего не понимает и не чувствует, казалось, он еще не осознал, что у нас уже нет ни белья, ни мебели — ровным счетом ничего; и взгляд, который он бросил на меня, был взглядом человека, никогда ничего не имевшего по-настоящему. Он вынул изо рта зажженную сигарету, сунул ее мне в рот, я затаилась, и при первой затяжке вместе с дымом у меня вырвался громкий смех.

Распахнув окно настежь, я бросила окурочек во двор; среди мусорных ведер виднелась большая, пожелтевшая от брикетов бурого угля лужа, сигарета погасла в ней с легким шипением. На вокзал прибыл поезд. Я услышала голос диктора, но не разобрала слов.

Когда на соборе зазвонили колокола, Фред проснулся: от колокольного звона задребезжали стекла в окнах, они начали тихо вибрировать, их дрожь передалась металлической палке для занавесок, стоявшей на подоконнике, и она с шумом заскребла по стеклу.

Не пошевелившись, не произнеся ни слова, Фред посмотрел на меня и вздохнул, и я поняла, что он медленно пробуждается ото сна.

— Фред, — окликнула я его.

— Да, — сказал он, притянул меня к себе и поцеловал. Он притянул меня ближе, мы обнялись, посмотрели друг на друга, и когда он взял мою голову, от-

странил ее от себя и испытующе взглянул на меня, я невольно улыбнулась.

— Надо пойти к мессе,— сказала я,— или ты уже был?

— Нет,— сказал он,— я заглянул в церковь на минуту и поспел только к благословению.

— Тогда пойдем.

Фред лежал на кровати в ботинках, очевидно, заснул, не укрывшись одеялом; я заметила, что он замерз. Налив воды в таз, он провел мокрыми руками по лицу, вытерся и взял со стула свое пальто.

Рука об руку мы спустились по лестнице. Те трое мужчин все еще стояли у стойки и продолжали разговаривать, даже не взглянув на нас. Фред подал хозяйке ключ от номера, она повесила его на доску и спросила:

— Вы надолго?

— На час,— сказал Фред.

Когда мы вошли в собор, служба как раз кончилась; мы увидели, как каноники медленно удалялись в ризницу, словно большие белесые карпы, медленно проплывающие в светло-серой воде. У алтаря, в боковом приделе читал мессу усталый викарий, он читал ее быстро и торопливо и, подойдя к Евангелию, лежавшему на алтаре слева, сделал нетерпеливое движение плечом, потому что там не оказалось служителя с книгой для богослужения. От главного алтаря подымались облака кадильного дыма; группу, слушающую мессу, все время обходили какие-то люди, главным образом мужчины с красными флажками в петлицах. Во время пресуществления, когда раздался звонок, некоторые из них в испуге остановились, но остальные пошли дальше; они рассматривали цветные витражи, а окна были недалеко от алтарей. Я заметила время на часах, висевших наверху рядом с органом: каждые пятнадцать минут они тихо и нежно вызывают время. Когда мы после благословения шли к выходу, я увидела, что месса продолжалась ровно девятнадцать минут. Фред ждал меня у дверей, а я, подойдя к алтарю богородицы, прочла молитву деве Марии. Я молилась о том, чтобы меня миновала беременность, хотя мне и было страшно просить об этом. Перед изображением богородицы горело много свечей, и слева, около больших железных подсвечников, лежала целая связка желтых свечей. Рядом с ней было прикреп-

лено объявление на картоне: «Основано рабочее содружество католических аптекарей, входящее в Германское объединение аптекарей».

Я вернулась к Фреду, и мы вышли. На улице светило солнце. Было двадцать минут шестого, и мне захотелось есть. Когда мы спускались по лестнице из собора, я взяла Фреда под руку и услышала, что в кармане у него позвякивают монеты.

— Хочешь поесть в ресторане? — спросил он меня.

— Нет, — сказала я, — лучше где-нибудь в закусочной, я очень люблю ходить в закусочные.

— Ну что ж, — сказал он, и мы свернули на Блюхерштрассе.

Груды развалин превратились за эти годы в гладкие круглые холмы, осевшие книзу, они густо поросли сорняками и зеленовато-серым кустарником, мягко отсвечивающим розовым, словно завядший шиповник. Довольно долго на этом месте в канаве лежал памятник Блюхеру — огромный энергичный мужчина из бронзы, свирепо уставившийся в небо, — но потом его украли.

За кованой железной решеткой виднелись кучи мусора. Через развалины вела лишь узкая расчищенная дорожка, и когда мы вышли на Момзенштрассе, где уцелело несколько домов, я услышала, что вдалеке за руинами играла праздничная музыка. Я остановила Фреда. Мы встали, и музыка донеслась яснее. Я различила дикие звуки оркестриона.

— Фред, — спросила я, — в городе гулянье?

— Да, — ответил он, — кажется, в честь аптекарей. Хочешь посмотреть? Пойдем?

— О да! — сказала я. Мы пошли быстрее, пробрались через Веледаштрассе и, завернув еще раз за угол, внезапно оказались посреди шумной толпы, ощутили запахи гулянья. Меня взволновали звуки шарманки, запах сильно наперченного гуляша, смешанный со сладковатым жирным запахом жаренных на сале пирожков, и тонкий свист карусели. Я почувствовала, что сердце у меня забилося сильнее — все эти запахи, все эти звуки, мешаясь и путаясь, обладают особым таинственным ритмом.

— Фред, — попросила я, — дай мне деньги.

Он вынул деньги, которые в беспорядке лежали у него в кармане, отобрал отдельно бумажки, сложил их вместе и сунул в свою потрепанную записную книжку.

Всю мелочь он высыпал мне — там попадались крупные серебряные монетки, и Фред, улыбаясь, наблюдал, как я осторожно пересчитала деньги.

— Шесть марок восемьдесят,— сказала я,— это слишком много, Фред.

— Возьми,— сказал он,— пожалуйста.— Я посмотрела на его худое, серое и усталое лицо, посмотрела на белую как снег сигарету, зажатую в бледных губах, и поняла, что люблю его. Я часто спрашиваю себя, почему я люблю Фреда; точно я этого не знаю, есть много причин, но одну я знаю наверняка: мне нравится ходить с ним на гулянья.

— Приглашаю тебя пообедать со мной,— сказала я.

— Как хочешь,— ответил он.

Я взяла его под руку и потянула за собой к одному из ларьков на передней стенке которого были изображены танцующие венгры — крестьянские парни в круглых шляпах, уперши руки в бока, прыгали вокруг девушек. Мы положили локти на прилавок, и женщина, сидевшая на складном стуле возле дымящегося котла с гуляшом, встала и, улыбаясь, подвинулась ближе.

Это была толстая темноволосая женщина, и на ее красивых больших руках было множество дутых браслетов. Загорелую шею обвивала бархатная ленточка, а на этой черной ленточке болтался медальон.

— Две порции гуляша,— сказала я и подвинула к ней две марки. Мы с Фредом улыбнулись друг другу, а женщина отошла в глубь ларька и сняла с котла крышку.

— Я уже ел гуляш,— сказал Фред.

— Извини,— сказала я.

— Ничего, я люблю гуляш.— Он положил свою ладонь на мою руку.

Женщина запускала половник глубоко в котел и поднимала его, полный доверху, и от пара, шедшего из котла, запотело зеркало на задней стенке ларька. Она дала нам по булочке, потом вытерла тряпкой зеркало и, обращаясь ко мне, сказала:

— Это чтобы вы видели, какая вы красивая.

Посмотрев в плоское зеркало, я поняла, что действительно красива; вдали позади своего лица я рассмотрела в зеркале расплывчатые очертания тира, за тиром — карусель. Когда мой взгляд встретил в зеркале лицо Фреда, я испугалась: он не может есть горячее —

у него болят десны, поэтому он держит пищу во рту до тех пор, пока она не остынет; выражение легкой досады и нетерпения придает его лицу что-то старчески беспомощное; и каждый раз я все больше пугаюсь. Но зеркало опять запотело; женщина медленно помешивала половником в котле, и мне показалось, что всем остальным людям, стоявшим рядом с нами, она накладывает меньшие порции, чем нам.

Мы отодвинули пустые тарелки, поблагодарили и ушли. Я снова взяла Фреда под руку, и мы медленно побрели по проулкам среди ярмарочных балаганов. Я бросала пустые жестянки в тупо улыбающихся кукол и была счастлива, если попадала им в голову и они падали назад, ударяясь о стенку из коричневой мешковины, а потом снова выпрямлялись под действием скрытого в них механизма. Я охотно дала себя соблазнить зазывале с вкрадчивым голосом, купила у него лотерейный билет и, глядя, как крутится «колесо счастья», бросала время от времени взгляд на большого желтого мишку, которого надеялась выиграть; я с детства надеюсь выиграть такого мишку. Но стрелка на «колесе счастья», прицелкивая и медленно пробираясь сквозь ряды длинных гвоздиков, остановилась, не дойдя до моего номера, я так и не выиграла мишку, да и вообще ничего не выиграла.

Я с размаху бросилась на узенькое сиденье карусели, сунула монетку в чью-то грязную руку и, подымаясь все выше и выше, начала кружиться вокруг оркестриона, скрытого в деревянном чреве карусели; дикие звуки, выпускаемые им, летели мне прямо в лицо. Мимо меня над грудой развалин пронеслась башня собора, вдали я увидела густую блеклую зелень сорной травы и лужицы дождевой воды на брезентовых крышах палаток; втянутая в бешеный водоворот карусели, которая кружила меня за мои двадцать пфеннигов, я бросалась в самое солнце, и когда его сияние касалось меня, я ощущала что-то вроде удара. Я слышала, как скрипели цепи, слышала женский визг, видела дым, вихри пыли над площадью и неслась все дальше и дальше сквозь жирные и сладковатые запахи; и когда через некоторое время я, покачиваясь, опять сошла по деревянным ступенькам карусели, то упала в объятия Фреда, не в силах промолвить ничего, кроме: «О Фред!» Потом нам удалось потанцевать за десять пфеннигов на деревянной площадке.

Очутившись в толпе подростков, вовсю раскачивавших бедрами, мы с Фредом прижались друг к другу, и пока мы кружились в ритме танца, мой взгляд каждый раз падал на жирное, похотливое лицо трубача, засаленный воротничок которого был лишь наполовину скрыт его инструментом; и каждый раз трубач подымал голову и подмигивал мне, а его труба издавала пронзительный звук, предназначенный, казалось, специально для меня.

Я смотрела, как Фред играет в рулетку, ставя по десять пфеннигов, и когда крупье вращал диск и шарик начинал крутиться, я чувствовала безмолвное волнение мужчин, столпившихся вокруг стола. Быстрота, с какой игроки делали ставки, и меткость, с какой Фред кидал монетку в нужное место, свидетельствовали о том, что движения всех этих людей согласованы в результате длительной тренировки, о которой я никогда не подозревала. Когда шарик кружился, крупье поднимал голову и взгляд его холодных глаз с презрением устремлялся на ярмарочную площадь. А когда жужжание шарика затихало, его сухая красивая маленькая головка опускалась: он собирал ставки, клал их в карман, бросая выигравшим игрокам их монеты, рылся в деньгах у себя в кармане, предлагал делать новые ставки, следил за пальцами стоявших вокруг стола людей; а потом, презрительно толкнув диск, снова поднимал голову, поджимал губы и со скучающим видом оглядывался вокруг.

Два раза перед Фредом вырастала кучка монет, и он, взяв деньги со стола, протиснулся ко мне.

Пристроившись на грязных ступеньках балагана, завешенного чем-то синим, мы смотрели на суматоху вокруг, глотали пыль и прислушивались к попури из многих мелодий, которые одновременно исполняли разные оркестрионы, и к хриплым голосам зазывал, собиравших деньги. Я смотрела на землю, покрытую сором: бумагой, окурками, растоптанными цветами, разорванными билетами, а когда я медленно подняла глаза, то увидела детей. Беллерман держал за руку Клеменса, а девушка — Карлу. Малыша Беллерман и девушка несли вместе на специальном сиденье. Дети сосали большие желтые леденцы на палочках. Они смеялись, с любопытством осматриваясь вокруг, а потом остановились у тира. Беллерман подошел ближе, а Клеменс взялся вместо него за ручки сиденья. Беллерман вскинул винтовку. Клеменс посмотрел через его плечо на мушку.

Видно было, что дети счастливы, и когда Беллерман прикрепил к волосам девушки красный бумажный цветок, они весело засмеялись. Теперь они свернули вправо, я увидела, что Беллерман отсчитал Клеменсу в ладонь мелочь, видела, как двигались губы сына, повторявшие счет за Беллерманом, видела, как он, тихо улыбаясь, поднял лицо и поблагодарил Беллермана.

— Пошли,— сказала я тихо Фреду, встала и, взяв его за воротник пальто, заставила подняться,— вон дети.

— Где? — спросил он. Мы посмотрели друг другу в глаза — и на тех тридцати сантиметрах, что разделяли нас сейчас, уместились тысячи ночей, которые мы провели в объятиях друг друга. Фред вынул изо рта сигарету и тихо спросил:

— Что же делать?

— Не знаю,— сказала я.

Он потянул меня за собой, свернул в какой-то проулок между балаганом и бездействующей каруселью, шатровая крыша которой была покрыта зеленым брезентом. Мы молча посмотрели на колышки, к которым был прикреплен брезент.

— Зайдем сюда,— сказал Фред. Он раздвинул два свисающих куска зеленого брезента, протиснулся через эту щель и помог мне войти внутрь. Мы присели в темноте — Фред на большого деревянного лебедя, я рядом с ним, на деревянную лошадку. Бледное лицо Фреда было рассечено белесой полосой света, проникавшего через щель в шатер.

— Может быть,— сказал Фред,— мне не следовало жениться.

— Чепуха,— сказала я,— избавь меня от этого. Так говорят все мужчины.— Я посмотрела на него и прибавила: — Хотя это не так уж лестно для меня, но кому из женщин удалось сделать свой брак хотя бы терпимым?

— То, что удалось тебе, не удастся большинству,— сказал он, поднимая лицо от головы лебедя и кладя свою ладонь на мою руку.— Мы уже пятнадцать лет женаты и...

— Отличный брак! — сказала я.

— Прекрасный! — сказал он.— Действительно прекрасный.

Он положил обе руки на голову лебедя, опустил на них лицо и устало посмотрел на меня снизу вверх.

— Я уверен, что без меня вы счастливей.

— Это неправда,— сказала я.— Если бы ты знал...

— Если бы я знал что?

— Фред,— сказала я,— каждый день дети по крайней мере раз десять спрашивают о тебе, а я каждую ночь, почти каждую ночь лежу и плачу.

— Ты плачешь? — спросил он, опять поднял лицо, посмотрел на меня; и я пожалела, что сказала ему об этом.

— Я говорю это тебе не для того, чтобы сказать, что плачу, а чтобы ты знал, как ты ошибаешься.

Внезапно сквозь щель в палатку проникли лучи солнца; пройдя как бы через зеленый фильтр, они пронизали все это большое круглое помещение, и в их ярко-золотистом свете появились отдельные фигуры: лошади, скалящие зубы, зеленые драконы, лебеди, пони, а позади нас я увидела запряженную парой белых лошадок свадебную карету, обитую внутри красным бархатом.

— Пойдем туда,— сказала я Фреду,— там нам будет удобнее сидеть.

Он слез со своего деревянного лебедя, помог мне сойти с лошадки, и мы уселись вместе на мягком бархате кареты. Солнце уже исчезло, и нас окружили серые тени зверей.

— Ты плачешь? — спросил Фред, посмотрел на меня и поднял руку, чтобы обнять меня, но потом опустил ее опять.— Плачешь, потому что я ушел?

— И поэтому тоже,— сказала я тихо,— но не только поэтому. Сам знаешь, мне было бы лучше, если бы ты был с нами. Но я понимаю также, что ты этого не выдержишь, и иногда мне кажется, это хорошо, что ты не с нами. Я боялась тебя, боялась твоего лица, когда ты бил детей, боялась твоего голоса, и я не хочу, чтобы ты просто так вернулся и все пошло бы по-старому, как раньше, до того как ты ушел. Лучше уж лежать в кровати и плакать, чем знать, что ты бьешь детей только потому, что у нас нет денег. Ведь причина в этом, правда? Ты бьешь детей, потому что мы бедны?

— Да,— подтвердил он,— бедность делает меня большим.

— Да,— сказала я.— Вот и лучше, если ты не вернешься, пока все не изменится. Пускай я плачу. Уже через год я, может быть, тоже дойду до того, что буду

бить детей и стану такой же, как эти нищие женщины, которых я пугалась в детстве, такой же, как эти хриплые женщины, объятые диким ужасом перед жизнью; они либо бьют своих детей, либо пичкают их сладостями в грязных закоулках вонючих домов, а по вечерам заключают в объятия какого-нибудь несчастного забулдыгу, который приносит с собой в дом запах забегаловок, а в кармане пиджака — две смятые сигареты. Сигареты они выкуривают вместе в темноте, после того как их объятия разомкнулись. Когда-то я презирала этих женщин — да простит меня бог. Дай мне еще сигарету, Фред.

Он торопливо вытащил пачку из кармана, протянул ее мне, сам взял сигарету, и когда спичка зажглась, я увидела в зеленоватых сумерках его лицо.

— Продолжай, — попросил он, — пожалуйста, говори.

— А может, я плачу потому, что беременна.

— Ты беременна?

— Возможно, — сказала я, — ты же знаешь, какая я бываю во время беременности. Но пока я еще не верю, что это так. Иначе мне стало бы плохо на карусели. Я каждый день молюсь: не хочу быть беременной. А может, ты желаешь еще ребенка?

— Нет, нет, — проговорил он поспешно.

— Но если это случилось, то ведь ты его зачал, Фред, — сказала я. — Мне больно, когда ты так говоришь. — Произнеся эти слова, я тут же пожалела. Он ничего не ответил, посмотрел на меня и продолжал курить, откинувшись в карете.

— Говори, пожалуйста. Скажи теперь все.

— А еще я плачу потому, — сказала я, — что наши дети такие смиренные. Они такие тихие, Фред. Мне страшно, когда я вижу, как покорно они идут в школу, как серьезно относятся к ней, меня пугает добросовестность, с какой они делают школьные уроки. Пугает вся эта смертельно скучная школьная болтовня о контрольных, их словечки, почти те же, какие и я когда-то произносила, когда была в их возрасте. Это так ужасно, Фред, видеть радость на их лицах, когда они чуют запах маленького кусочка мяса, который тушится в кастрюле, спокойствие, с которым они укладывают свои ранцы, надевают их за спины, суют в карманы бутерброды. И вот они идут в школу. Часто я незаметно пробираюсь в коридор, стою у окна и смотрю им вслед,

и я вижу их худенькие спины, слегка согнутые под тяжестью книг. Они идут вместе до угла, где Клеменс сворачивает, а Карлу я еще вижу, вижу, как она медленно бредет по серой Моцартштрассе твоей походкой, Фред, держа руки в карманах пальто, думая не то о новом узоре для вязки, не то о дате смерти Карла Великого. Я плачу, потому что их прилежание напоминает мне прилежание детей, которых я ненавидела, когда училась в школе,— эти дети казались мне играющими христосиками на картинах, где изображено святое семейство у верстака святого Иосифа. Нежные кудрявые создания лет десяти — одиннадцати, с постной миной, перебирающие руками длинные стружки-завитушки. А стружки выглядят совсем так же, как их локончики.

— Наши дети,— спросил он тихо,— похожи на маленьких христосиков с картин, где изображено святое семейство?

Я посмотрела на него.

— Нет,— сказала я,— но когда они вот так медленно шагают по улице, я замечаю в них что-то безнадежно и бессмысленно покорное, и от возмущения и страха у меня слезы подступают к глазам.

— Боже мой,— сказал он,— но ведь это чепуха, мне кажется, ты просто завидуешь им, потому что они молоды.

— Нет, нет, Фред,— твердила я,— я боюсь, потому что не могу уберечь их: ни от бессердечия людей, ни от фрау Франке, которая, хотя и вкушает каждое утро тело господне, но всякий раз, когда дети пользуются уборной, выбегает из своего кабинета, чтобы проверить, чисто ли там, и если на ее обои попала хоть капля воды, она начинает ругаться. Я боюсь этих брызг, меня пот прошибает, когда я слышу, что дети спускают воду в уборной,— и все же я не могу сказать тебе точно — может быть, ты это лучше знаешь? — почему мне так грустно.

— Тебе грустно оттого, что мы бедны. Это очень просто. Я не могу тебя утешить, у нас нет выхода. Я не могу обещать тебе, что когда-нибудь мы будем иметь больше денег или что-нибудь в этом роде. Если бы ты знала, как хорошо жить в чистом доме, не заботиться о деньгах... ты бы удивилась.

— Я еще помню,— сказала я,— что и у нас тоже всегда было чисто и мы всегда вовремя платили за

квартиру, а что касается денег, то и мы, Фред, ты же знаешь...

— Знаю,— ответил он поспешно,— но прошлое меня мало волнует. У меня дырявая память: она состоит из одних только дыр, из больших дыр, которые соединены хрупким, очень хрупким и тонким плетеньем. Конечно, я помню, что и у нас когда-то была квартира, и даже ванная, и деньги, чтобы за все это платить. Кем я тогда был?

— Фред,— удивилась я,— ты даже не помнишь, кем ты тогда был?

— В самом деле,— сказал он,— не могу вспомнить. Он обнял меня одной рукой.

— Ты служил на обойной фабрике.

— Ну, конечно,— сказал он,— моя одежда пахла клеем, и я приносил Клеменсу бракованные каталоги, которые он рвал в своей кровати. Теперь я вспомнил... Но это, должно быть, продолжалось недолго.

— Два года,— сказала я,— пока не началась война.

— Ну, да, конечно,— проговорил он,— потом началась война. Наверное, было бы лучше, если бы ты вышла замуж за дельного человека, за какого-нибудь и впрямь прилежного парня, который стремился бы стать образованным.

— Замолчи,— сказала я.

— По вечерам вы бы вместе читали хорошие книги, ты ведь это любишь; дети спали бы в стильных кроватках, на полочке стоял бы бюст царицы Нефертити и изображение Изенгеймского алтаря на деревянной подставке, а над кроватью висела бы репродукция «Подсолнухов» Ван Гога, первоклассная, разумеется, и рядом с ней мадонна художника Бойронской школы и флейта в красном, сделанном нарочито грубо, но с большим вкусом футляре. Не так ли? Но все это дерьмо — оно всегда нагоняло на меня скуку; все эти обставленные со вкусом квартиры наводят на меня скуку, сам не знаю почему. А чего ты, собственно говоря, хочешь от меня? — спросил он вдруг.

Я посмотрела на Фреда, и мне показалось, что впервые, с тех пор как я его знаю, он рассердился.

— Сама не понимаю, чего хочу,— сказала я, швырнула сигарету на деревянный пол, у самой кареты, и затоптала ее ногой.— Сама не знаю, чего хочу, но я ни слова не говорила о царице Нефертити или об Изенгеймском алтаре, хотя ничего против них не имею, и

я ни слова не сказала о дельных людях, потому что ненавижу дельных людей, не могу представить себе ничего более скучного, чем дельные люди, от них просто-таки воняет дельностью. Но мне бы хотелось знать, что ты вообще принимаешь всерьез. То, что другие люди принимают всерьез, к этому ты относишься несерьезно, зато есть некоторые вещи, к которым ты относишься серьезней, чем все остальные. У тебя нет профессии — ты торговал медикаментами, был фотографом, потом служил в библиотеке — на тебя было жалко смотреть, потому что ты толком не умеешь держать книгу в руках, потом ты служил на фабрике обоев, был экспедитором, правда? Ну, а телефонистом ты стал во время войны.

— Пожалуйста, только не о войне,— сказал он,— мне это скучно.

— Хорошо,— сказала я,— вся твоя жизнь, вся наша жизнь, с тех пор как мы вместе, проходила в сосисочных, закусочных, в паршивых пивнушках, в третьеразрядных гостиницах, на ярмарках и в этом грязном домишке, в котором мы живем вот уже восемь лет.

— И в церквах,— сказал он.

— Хорошо, и в церквах,— согласилась я.

— Не забудь еще кладбища.

— Кладбища я не забуду, но никогда, даже в то время, когда мы путешествовали, ты не интересовался культурой.

— Культурой,— сказал он.— А ты можешь мне сказать, что такое культура? Нет, она меня не интересует. Меня интересует Бог и кладбища, меня интересуешь ты, сосисочные, ярмарки и третьеразрядные гостиницы.

— Не забудь спиртное,— напомнила я.

— Нет, спиртное я не забуду, к этому еще надо прибавить кино, чтобы, так сказать, доставить тебе удовольствие, и еще музыкальные автоматы.

— И детей,— сказала я.

— Да, детей. Я их очень люблю, наверное, гораздо сильнее, чем ты думаешь; правда, я их очень люблю. Но мне уже скоро сорок четыре года, и не могу тебе передать, как я устал, ты только подумай...— произнес он и, внезапно посмотрев на меня, спросил: — Тебе не холодно? Может, нам пойти?

— Нет, нет, говори, пожалуйста, говори.

— Ах, оставь,— сказал он,— прекратим лучше. За-

чем все это? Давай не будем ссориться, ты же знаешь меня, не можешь не знать, и понимаешь, что я неудачник, а в моем возрасте люди уже не меняются. Никто никогда не меняется. Единственное оправдание — это моя любовь к тебе.

— Да,— сказала я,— плохо твое дело.

— Может, мы теперь пойдем? — спросил он.

— Нет,— сказала я,— останемся еще немного. Тебе холодно?

— Нет,— ответил он,— но я хочу пойти с тобой в гостиницу.

— Сейчас,— сказала я.— Ты еще должен мне кое-что рассказать. А может, ты не хочешь?

— Спрашивай, пожалуйста,— проговорил он.

Я положила голову ему на грудь, помолчала, и мы оба прислушались к звукам оркестриона, к визгам любителей карусели и хриплым отрывистым выкрикам зывавал из балаганов.

— Фред,— сказала я,— а как ты, собственно говоря, питаешься? Открой-ка рот.— Я повернула голову, и он открыл рот; я увидела его красные, воспаленные десны, дотронулась до его зубов и заметила, что они шатаются.— Парадентит,— определила я.— Не позже чем через год тебе придется заказывать себе вставную челюсть.

— Ты так думаешь? — спросил он испуганно и, погладив меня по волосам, добавил: — Мы забыли о детях.

Мы опять помолчали, прислушиваясь к шуму, который доносился снаружи, и я сказала:

— Оставь их, за них я не беспокоюсь, хотя только что беспокоилась, пусть они спокойно гуляют с этими молодыми людьми. С детьми ничего не случится, Фред,— сказала я тише и поудобней положила голову к нему на грудь.— А где ты, собственно говоря, живешь?

— У Блоков,—сказал он, на Эшерштрассе.

— У Блоков,—повторила я.— Я их не знаю.

— Ты не знаешь Блоков?—спросил он.— Блоки жили в доме отца, внизу, они имели писчебумажный магазин.

— Ах, эти!—сказала я.— У него еще были такие смешные светлые кудри, и он не курил. Ты живешь у них?

— Да, вот уже месяц. Мы встретились в пивнушке,

и когда я напился, он взял меня с собой. С тех пор я живу у них.

— И всем хватает места?

Он молчал. Рядом с нами теперь открылся балаган; кто-то несколько раз подряд ударил в гонг, и хриплый голос прокричал через раструб усилителя: «Внимание, внимание, только для мужчин!»

— Фред,—сказала я,—ты не слышишь меня?

— Я все слышу. У Блоков места достаточно. У них тринадцать комнат.

— Тринадцать комнат?

— Да,—сказал он,—старик Блок служит сторожем в этом доме, который вот уже три месяца пустует; дом принадлежит какому-то англичанину, кажется, его фамилия Стриппер, он не то генерал, не то гангстер или то и другое вместе, а может быть, еще кто-нибудь — точно не знаю. Уже три месяца, как он уехал, и Блоки сторожат дом. Они следят за газонами, трава даже зимой должна быть красивой и ухоженной; каждый день старик Блок обходит весь их громадный сад со специальными катками для дорожек или машинками для стрижки травы, и каждые три дня к ним завозят целую гору искусственных удобрений; должен тебе сказать, что это великолепный дом с множеством ванных комнат, их, кажется, четыре, и иногда мне разрешают принять ванну. Там есть даже библиотека, и в ней, представь себе, стоят книги, до черта книг; и хоть я не разбираюсь в культуре, но в книгах я разбираюсь, это хорошие книги, чудесные книги, и их очень много; там есть дамский салон, или как это еще называется, потом курительная комната, столовая, комната для собаки, наверху две спальни, одна гангстера, или как его там, другая — его жены, три комнаты для гостей. Конечно, в доме есть и кухня, одна, две и...

— Перестань, Фред,—сказала я,—прошу тебя, перестань.

— Нет,—сказал он,—не перестану. Я никогда не рассказывал об этом доме, дорогая, потому что не хотел тебя мучить, не хотел, но лучше, если ты сейчас выслушаешь меня до конца. Я должен рассказать об этом доме, он мне снится, я напиваюсь, чтобы забыть о нем, но даже пьяный я не могу его забыть; сколько комнат я насчитал — восемь или девять,—не помню. Всего их тринадцать — ты бы только видела у них комнату для собаки. Она немного больше нашей, совсем

немного, не хочу быть несправедливым, примерно на два метра, всего на два, надо быть справедливым, на свете нет ничего выше справедливости. На нашем скромном знамени мы напишем слово «справедливость». Хорошо, детка?

— О Фред,—сказала я,—и все-таки ты мучаешь меня.

— Я тебя мучаю? Ах, ты не хочешь меня понять. Я и не думаю мучить тебя, но мне надо рассказать об этом доме, действительно надо. Собачья будка похожа на пагоду, и она таких размеров, как буфеты в этих высокоцивилизованных домах. Кроме четырех ванн комнат, в доме еще несколько душевых кабинок, о которых я тебе еще не сказал, надо быть справедливым, я хочу упиться своей справедливостью. Нет, я никогда не буду считать душевую кабинку за полноценную комнату, это было бы нечестно, а слово «честность» мы напишем на нашем скромном знамени рядом со словом «справедливость». Но это еще не самое худшее, дорогая,—дом-то пустой! О, как красиво выглядят большие газоны позади этих просторных вилл, если на них резвится хотя бы один ребенок или хотя бы собака. Мы устроим для наших собак огромные газоны, дорогая. Но в этом доме пустота, газонами никто не пользуется, если мне будет дозволено употребить в данном случае это низменное слово. Спальни — пустые. Комнаты для гостей — пустые, все комнаты внизу — пустые. Под самой крышей есть еще три комнаты, одна — для экономки, другая — для кухарки и третья — для слуги; добрейшая хозяйка дома уже жаловалась, что нет комнаты для горничной, так что горничной приходится спать в комнате для гостей. Нам, дорогая, это надо учесть, когда мы построим себе дом, над которым будет развеяться знамя честности и справедливости.

— Фред,—сказала я,—больше я не выдержу.

— Выдержишь, ты родила пятерых детей, и ты выдержишь. Я должен договорить до конца. Остановиться я не в силах; если хочешь, уходи, хотя я охотно провел бы с тобой эту ночь, но если не желаешь меня слушать,—можешь идти... Вот уже месяц, как я живу в этом доме, и когда-нибудь я должен рассказать тебе о нем, именно тебе, хотя я хотел бы избавить тебя от этого разговора. Я хотел пощадить тебя, дорогая, но ты сама спросила, и теперь тебе придется выслушать

все до конца. Добрейшая хозяйка дома в самом деле чуть не покончила жизнь самоубийством, потому что не хватает комнаты для горничной. Можешь себе представить, какая у нее чувствительная натура и какие заботы ее одолевают! Но теперь они в отъезде, уже три месяца, как они в отъезде, и вообще, они примерно девять месяцев в году в отъезде; старый гангстер — или кто он там есть, — видишь ли, специалист по Данте, один из немногих настоящих специалистов по Данте, еще сохранившихся до наших времен. Один из немногих, кого еще принимают всерьез, точно так же, как и нашего епископа, что тебе, как доброй христианке, надеюсь, известно. Девять месяцев в году дом пустует, и все это время старый Блок сторожит газоны и ухаживает за ними, это, наверное, в порядке вещей; ведь на свете нет ничего более красивого, чем ухоженные газоны. В комнате для собаки нельзя натирать полы, в дом не разрешается входить детям.

— Внимание, внимание! — кричал хриплый голос рядом с нами. — Только для мужчин! Мануэла — самое дивное создание в подлунном мире!

— Фред, — сказала я тихо, — почему детям не разрешается входить в дом?

— Детей не пускают, потому что хозяйка их терпеть не может. Она не выносит запаха детей. Сразу же чует этот запах, и если дети были в доме, она по запаху узнает это даже, если пройдет девять месяцев. До Блока у них служил один инвалид; он как-то разрешил поиграть двум своим внукам — не на газонах, конечно, а, как положено, в подвале. Он разрешил им поиграть в подвале, а хозяйка, вернувшись, сейчас же обнаружила это, и его выгнали. Вот почему Блок так осторожен. Я как-то спросил его, не разрешит ли он прийти ко мне детям, он побледнел как полотно. Я имею право жить там, потому что считается, будто я помогаю ему ухаживать за газонами и слежу за отоплением. Мне отвели каморку внизу, возле передней, собственно говоря, это — гардероб; утром, когда я просыпаюсь, то всякий раз смотрю на старинное полотно одного из голландцев: там нарисован какой-то трактир, и краски, как были в старину, — спокойные. Однажды я даже задумал стащить одну из этих картин; в библиотеке их много, но они сразу заметят, это было бы нечестно по отношению к Блоку.

— Мануэла поет о любви! — надрывался голос рядом с нами.

— Блок даже считает, что хозяйка не в своем уме.

— Ах, Фред, может, ты перестанешь? Не пойти ли нам в гостиницу?

— Еще минутку,—сказал он,—одну минутку ты должна выслушать меня, я скоро кончу, и ты будешь знать, где я живу и как живу. Иногда по вечерам приходит епископ. Это единственный человек, который имеет право входить в дом во всякое время; вся литература о Данте в его распоряжении. Блоку поручено следить, чтобы ему было уютно и тепло, чтобы шторы были задернуты; уже несколько раз я видел его там, нашего епископа; на его лице светилась тихая радость, в руке он держал какую-то книгу, рядом стоял чайник и лежали блокнот и карандаш. Его шофер в это время сидит с нами внизу, в подвале, курит трубку и время от времени выходит посмотреть, не случилось ли чего с машиной. Когда епископ собирается домой, он звонит и шофер выскакивает на улицу, и Блок тоже выходит вместе с ними; епископ обращается к нему со словами «добрый человек», а потом Блок получает чаевые. Вот и все,—сказал Фред,—теперь, если хочешь, мы можем идти. Хочешь?

Я покачала головой, мне трудно было говорить из-за подступивших к горлу слез. Я так устала, а на улице по-прежнему светило солнце, и все, что говорил Фред, показалось мне таким фальшивым, потому что в его голосе слышалась ненависть. А рядом с нами кто-то громко кричал в мегафон: «Еще не поздно, господа, вы можете увидеть Мануэлу и услышать ее, дивную Мануэлу, которая разобьет ваше сердце!»

Мы услышали, что с противоположной стороны кто-то зашел под брезент. Фред посмотрел на меня; было слышно, как открылась дверь, ведущая внутрь карусели, а потом опять захлопнулась; кто-то включил свет, и вдруг раздались звуки оркестриона, скрытого во внутренностях карусели. Стало светло, потому что кто-то невидимый начал поднимать края брезента, закрывавшего карусель, а рядом с входом, в центре карусели, открылось окошечко; бледный человек с очень длинным лицом посмотрел на нас и сказал: «Не желают ли господа прокатиться? Первый круг, разумеется, бесплатно». Он снял шапку, и на лоб ему упала светлая прядь волос; почесав затылок, он вновь надел шапку и

не торопясь оглядел меня. Несмотря на улыбку, лицо у него было грустное. Потом он посмотрел на Фреда и сказал:

— Нет, пожалуй, вашей жене не стоит.

— Вы думаете?—сказал Фред.

— Да, ей не стоит,—он попытался улыбнуться мне, но это явно не удалось, и он пожал плечами.

Фред посмотрел на меня. Человек закрыл окошко и направился к нам; обойдя оркестрион, он остановился совсем близко от нас; он был высокий, и рукава куртки были ему слишком коротки, его худые мускулистые руки казались совсем белыми... Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал:

— Да, я уверен, что вашей жене не стоит. Но если хотите еще немного отдохнуть, я могу подождать.

— О нет,—сказала я,—нам пора уходить.

Весь брезент был уже свернут; несколько ребят взобрались на деревянные лошадки и на лебедей. Мы встали и сошли вниз. Мужчина снял шапку, помахал нам еще раз рукой и закричал:

— Всего хорошего, всего хорошего!

— Спасибо!—прокричала я в ответ.

Фред не произнес ни слова. Мы медленно пошли через площадь с балаганами, ни разу не оглянувшись. Крепче прижав к себе мою руку, Фред довел меня до Момзенштрассе; мы медленно прошли по разрушенным кварталам, миновали собор и направились к гостинице. На улицах, прилегавших к вокзалу, было еще тихо; и солнце светило по-прежнему, в солнечных лучах была заметна пыль, подымавшаяся над развалинами, поросшими сорной травой.

Внезапно я ощутила в себе ритм карусели и почувствовала, что мне дурно.

— Фред,—прошептала я,—я должна прилечь или присесть.

Фред испугался. Он обхватил меня руками и повел в какой-то закуток среди развалин; вокруг нас были обгоревшие стены, высокие стены, на одной из которых еще сохранилась надпись: «Рентгеновский кабинет — налево». Фред провел меня через дыру, где когда-то была дверь, и заставил сесть на обломок стены; я безучастно смотрела, как он снимает пальто. Потом он заставил меня лечь и подложил мне под голову свернутое пальто. Разрушенная стена, на которой я лежала, была гладкой и холодной; я нащупала рукой край

стены, дотронулась до каменных плиток пола и прошептала:

— Мне не следовало кататься на карусели, но я так люблю! Мне очень нравится кататься на карусели.

— Принести тебе чего-нибудь? — тихо спросил Фред.— Может, кофе, ведь мы недалеко от вокзала.

— Нет,— сказала я,— лучше останься со мной. Скоро я уже наверняка смогу пойти в гостиницу. Только не уходи, Фред.

— Да,— сказал он, положив руку мне на лоб.

Я посмотрела на зеленоватую стену, различила на ней коричневатое пятно от разбитой в этом месте глиняной статуи и назидательную надпись, которую уже не могла разобрать, ибо в это время я начала кружиться: сперва медленно, потом все быстрее, причем мои ноги образовали как бы центр круга, который описывало мое тело. Это походило на цирковой номер: мощный силач схватил за ноги стройную красавицу и вращает ее вокруг себя.

Сначала я еще различала зеленоватую стену, коричневатое пятно от разбитой статуи и свет, проникавший из пролета окна напротив, то зеленый, то белый — он все время менялся; но вскоре все слилось, краски смешались, и перед моими глазами кружилось что-то светлое, зелено-белое; а может, я сама вращалась перед чем-то светлым, зелено-белым, этого уже нельзя было понять. А потом из-за бешеной скорости все краски слились воедино и я начала вращаться параллельно полу, окруженная почти бесцветным сиянием. И лишь после того, как движение замедлилось, я увидела, что лежу на том же месте и только голова, моя голова, продолжала кружиться; иногда казалось, что она лежит в стороне от туловища, отдельно от него, а иногда — что она где-то в ногах, и лишь на мгновение голова оказывалась там, где ей надлежало быть,—наверху, на шее.

Мне почудилось, что моя голова кружится вокруг тела, но ведь этого не могло быть, и я потрогала твердую выпуклость подбородка, ощутила ее рукой. Но даже в те мгновения, когда казалось, что моя голова лежит где-то в ногах, рука продолжала касаться подбородка. Быть может, вращались только глаза; этого я не знаю, реальным было лишь чувство дурноты: казалось, будто едкая кислота подступала мне к горлу, то поднимаясь, словно столбик ртути в барометре, то вновь

падая, чтобы опять медленно подняться. Я закрывала глаза, но и это не помогало: с закрытыми глазами я чувствовала, что вращается не только моя голова, в сумасшедшее вращательное движение включались грудь и ноги, причем они кружились отдельно друг от друга, а все вместе создавало впечатление какого-то дикого балета, что еще усиливало тошноту.

А когда глаза были открыты, я видела, что стена, на которую я смотрю, не меняется: я видела кусок стены, окрашенный зеленоватой краской, с бордюром шоколадного цвета, а на светло-зеленом фоне изречение, намалеванное темно-коричневыми буквами,— изречение, которое я не могла разобрать. Буквы то сжимались до микроскопических размеров, становясь похожими на обозначения печатных знаков в таблицах, которыми пользуются глазные врачи, то распухали, превращаясь в отвратительные темно-коричневые колбасы, выраставшие так быстро, что их уже нельзя было охватить взором; невозможно было понять, каких они размеров и что обозначают; потом буквы лопались, расплывались по стене коричневым пятном, и их нельзя было разобрать, а в следующее мгновение они снова съеживались, становились мелкими, как мушиные точки,—и все же буквы оставались.

Тошнота вращала меня, как мотор, она была центром всей этой карусели, и я испугалась, внезапно поняв, что лежу совсем неподвижно на том же месте, что и раньше, не сдвинувшись ни на сантиметр. Я поняла это, когда чувство тошноты на мгновение прошло: все успокоилось, все вновь приняло естественное положение — я увидела свою грудь и грязновато-коричневую кожу туфель, и взор мой приковала к себе надпись на стене, которую я наконец смогла прочесть: «Тебе поможет врач, если врачу поможет *БОГ*».

Я закрыла глаза; слово «*Бог*» продолжало стоять передо мной: сначала это было только изображение слова, три большие темно-коричневые буквы, которые я видела, хотя мои веки были сомкнуты, потом изображение исчезло и осталось только само слово; оно проникало в меня и падало все ниже, но не достигло дна, и внезапно всплыло наверх, и встало передо мной — не изображение слова, а само понятие — «*Бог*».

Бог — это единственное, что мне сейчас осталось... Тошнота затопила мое сердце, заполнила мои кровеносные сосуды, пульсировала во мне, как пульси-

рует кровь... Я чувствовала, что обливаюсь холодным потом, и меня охватил смертельный страх... мгновения я думала о Фреде, о детях, видела лицо матери, видела малышей — такими, какими иногда вижу их в зеркале, — но все это смыла волна тошноты; все они стали мне безразличны, ничего не осталось во мне, кроме слова «Бог».

Я заплакала и больше ничего не различала вокруг, не думала ни о чем, кроме как об этом единственном слове; оно слилось с горячими и быстрыми слезами, капавшими из моих глаз. Но я не почувствовала слез на подбородке и на шее и поняла поэтому, что положение моего тела изменилось — я лежала на боку; но тут вдруг я опять начала кружиться в бешеном темпе, еще быстрее, чем прежде, потом внезапно ощутила, что лежу совсем спокойно; я наклонилась над краем обрушившейся стены, и меня стошнило прямо в пыльную зеленую траву.

Фред поддерживал рукой мой лоб, как часто делал это раньше.

— Тебе лучше? — спросил он тихо.

— Да, лучше, — ответила я. Он осторожно вытер мне губы своим платком. — Но я так устала.

— Ты сможешь теперь поспать, — сказал Фред. — До гостиницы всего несколько шагов.

— Да, спать, — сказала я.

XI

Желтоватый цвет лица Кэте теперь несколько потемнел, кажется даже, что она загорела, белки глаз тоже изменили оттенок. Я налил ей сельтерской, она выпила целый стакан, взяла мою руку и положила себе на лоб.

— Может, позвать врача? — спросил я.

— Нет, — сказала она. — Теперь мне хорошо. Это — ребенок. Он воспротивился проклятьям, которыми мы его встречаем, и бедности, которая его ожидает.

— Воспротивился, — ответил я тихо, — чтобы стать впоследствии постоянным клиентом аптекаря и возлюбленным братом в христианской епархии. Но я буду его любить.

— Может быть, — сказала она, — он станет еписко-

пом, а не просто возлюбленным братом, а может быть, специалистом по Данте.

— Ах, Кэте, не шути.

— Я не шучу. Разве узнаешь, кем станут твои дети? Может быть, у них будет жестокое сердце и они построят пагоды для своих собак и не будут выносить запаха детей. Может быть, эта женщина, которая не выносит запаха детей, была когда-то пятнадцатым ребенком в семье и все они жили в комнате, меньшей, чем та, где сейчас живет ее собака. Может быть...

Кэте остановилась на полуслове. С улицы донесся сильный шум: что-то гремело и грохотало, как во время взрыва. Я подбежал к окну и рванул его. В грохоте и треске, доносившихся с улицы, словно слились все шумы войны: рев самолетов, отрывистый лай взрывов; небо, ставшее уже темно-серым, покрылось теперь белыми как снег парашютиками, на них спускались большие развевающиеся красные флаги. На флагах было написано: «Резинки Грисс предохранят тебя от последствий». Флаги пролетали мимо куполов собора, мимо крыши вокзала и плавно опускались на улицы, и где-то уже раздавались ликующие возгласы детей, поймавших либо флаг, либо парашютик.

— Что случилось? — спросила Кэте, лежавшая на кровати.

— Ничего, — сказал я. — Просто рекламная шутка.

Но тут в небе появилась целая эскадрилья самолетов; убийственно изящные, они пронеслись, как вихрь: самолеты пролетали над самыми крышами, покачивая своими серыми крыльями, и шум их моторов был, казалось, нацелен прямо в наши сердца, и эту цель они точно поразили. Я увидел, что Кэте начала дрожать, подбежал к кровати и взял ее за руку.

— Боже, что это еще?

Мы слышали, как самолеты кружили над городом; потом они улетели, и их гудение растворилось вдали, где-то у невидимого горизонта, а все небо над городом покрылось большими красными птицами, очень медленно спускавшимися на землю; эти большие резиновые птицы покрыли небо, словно ключья вечерней зари, и только после того, как они опустились до уровня крыш, мы поняли, что это аисты с выгнутыми шеями. Они парили в небе, болтая ногами, и их вялые свисающие головы наводили ужас: казалось, что это рота повешенных спускается с небес. Красные облачка из

резины, отвратительные и беззвучные, плыли по серому вечернему небу, а с улицы доносились восторженные крики детей.

Кэте молча сжимала мою руку. Я склонился над ней и поцеловал ее.

— Фред,— сказала она тихо,— я наделала долгов.

— Это неважно,— ответил я,— я тоже делаю долги.

— Много?

— Да, много. Теперь мне уже никто не дает займы. Нет ничего более трудного, чем достать пятьдесят марок в городе с населением в триста тысяч человек. Меня пот прошибает, когда я об этом думаю.

— Но ведь ты даешь уроки.

— Да,— сказал я,— но я много курю.

— И опять пьешь?

— Да, хотя не так часто, дорогая. С тех пор как я ушел от вас, я всего только два раза напился понастоящему. Разве это много?

— Это немного,— сказала она,— я хорошо понимаю, почему ты пьешь. Но может быть, ты все же попытаешься перестать? Это так бессмысленно! Во время войны ты почти не пил.

— Во время войны все было иначе,— сказал я,— во время войны я пьянел от скуки. Ты даже не представляешь себе, но можно опьянеть и от скуки: лежишь в кровати, и все кружится у тебя перед глазами. Попробуй выпей три ведра теплой воды — и ты опьянееешь от воды так же, как от скуки. Нельзя себе представить, какая скука — война! Иногда я думал о вас, если можно было, звонил тебе, лишь бы услышать твой голос. Было очень горько слышать твой голос, но уж лучше эта горечь, чем быть пьяным от скуки.

— Ты мне почти ничего не рассказывал о войне.

— Не стоит, дорогая. Представь себе, весь день сидишь у телефона и почти все время слышишь голоса высших чинов. Ты себе не можешь представить, как глупы офицеры, говорящие по телефону. Их словарный запас ничтожен, я думаю, они употребляют не больше ста двадцати — ста сорока слов. Маловато для шести лет войны! Каждый день тебе бубнят в телефон по восемь часов подряд: «Донесение — введение в бой — введение в бой — донесение — введение в бой — до последней капли крови — приказ — сводка — рапорт — введение в бой — до последней капли крови — стоять до конца — фюрер — голов не вешать». А по-

том — несколько сплетен о бабах. Что уж тут говорить о казарме — почти три года я служил телефонистом в казарме, — эту скуку надо исторгать годами. Иногда мне хотелось напиться где-нибудь, но везде было полно мундиров. А ты знаешь, я всегда не выносил мундиры.

— Знаю, — проговорила она.

— Один лейтенант читал по телефону своей девушке стихи Рильке. Я чуть не умер, когда услышал, но это внесло хоть какое-то разнообразие. Некоторые офицеры даже пели, они разучивали песни по телефону, но большинство из них насылало по телефону смерть — она ползла по проводам, своими тонкими голосами они вгоняли ее через наушники в уши какого-то другого офицера, который должен был следить за тем, чтобы умерло достаточное число людей. Если погибало мало людей, высшие военные чины большей частью считали, что операция была проведена плохо. Недаром величие битвы измеряется числом убитых. Только мертвые не были скучными, дорогая, и кладбища тоже.

Я лег рядом с ней в постель и натянул на себя одеяло. Внизу музыканты настраивали свои инструменты, из бара послышалось пение; голос у певца был низкий, красивый, и в его пение врывались хриплые, дикие женские выкрики, слов мы не могли разобрать, но в их разноголосом дуэте был поразительный ритм. Поезда подкатывали к вокзалу, и голос диктора доносился до нас сквозь все более сгущавшуюся вечернюю мглу, словно тихое дружеское бормотанье.

— Ты уже не хочешь танцевать?

— Нет, нет, — сказала она, — хорошо иногда полежать спокойно. Тебе бы надо позвонить фрау Редер и спросить, все ли в порядке. И я хотела бы поесть, Фред. Но прежде расскажи мне еще что-нибудь. Может, объяснишь, почему ты на мне женился?

— Из-за завтраков, — сказал я, — я искал кого-то, с кем мог бы всю жизнь вместе завтракать, и мой выбор, — кажется, так говорят в этих случаях, — пал на тебя. Ты была прекрасной партнершей для завтрака. И я никогда не скучал с тобой. Надеюсь, ты тоже не скучала.

— Нет, — сказала она, — скучно мне с тобой никогда не было.

— Но теперь, лежа одна, ты плачешь по ночам. Не лучше ли мне вернуться, даже таким?

Она посмотрела на меня и промолчала. Я поцеловал ее руки, шею, но она отвернулась и молча усталилась на обои. Пение в баре прекратилось, зато заиграла музыка для танцев, и мы слышали, что внизу танцуют. Я закурил сигарету. Кэте все еще смотрела на стену и молчала.

— Ты должна понять,— сказал я тихо,— не могу же я оставить тебя одну, если ты и впрямь беременна. Но не знаю, хватит ли у меня сил стать таким терпеливым и нежным, каким бы следовало быть. Но я тебя люблю, надеюсь, ты в этом не сомневаешься?

— В этом я не сомневаюсь,— сказала она не обращиваясь,— правда, не сомневаюсь.

Я хотел обнять ее, погладить ее плечи и повернуть к себе, но вдруг понял, что этого не следует делать.

— Если с тобой опять что-нибудь случится, вроде сегодняшнего,— сказал я,— ты не должна быть одна.

— Страшно даже подумать, сколько проклятий посыплется на мою голову, когда в доме узнают, что я беременна! Ты не представляешь себе, как это ужасно — быть беременной. Перед тем как родить маленького, Фред, помнишь...

— Помню,— сказал я,— ужас: было лето, и у меня не оказалось ни пфеннига, чтобы купить тебе хотя бы сельтерской.

— Я была ко всему безразлична,— сказала она,— мне прямо-таки доставляло удовольствие быть отчаянной неряхой. Я плевала на всех.

— Однажды ты так и сделала.

— Верно,— сказала она,— я плюнула фрау Франке под ноги, когда она спросила меня, на каком я месяце. Ужасно приятно, когда тебя спрашивают, на каком ты месяце.

— Из-за этого мы не получили квартиры.

— Нет, мы не получили квартиры, потому что ты пьешь.

— Ты правда так думаешь?

— Конечно, Фред. Беременной женщине многое прощают. Ах, я была злой грязнухой, и мне доставляло удовольствие быть злой грязнухой.

— Хорошо, если бы ты опять повернулась ко мне, я так редко тебя вижу.

— Оставь меня,— сказала она,— мне так удобней лежать. И я все еще обдумываю, что тебе ответить.

— Можешь не спешить,— сказал я.— Я принесу

что-нибудь поесть и позвоню. Хочешь чего-нибудь выпить?

— Да, принеси, пожалуйста, пиво, Фред. И дай мне сигарету.

Она протянула мне руку через плечо, я дал ей сигарету и встал. Когда я вышел, она все еще лежала лицом к стене и курила.

В коридоре было очень шумно, и я слышал, как внизу, в зале, взвизгивали танцующие. Я поймал себя на том, что, спускаясь по лестнице, пытаюсь включиться в ритм танца. В коридоре горела только одна лампочка без абажура. На улице было почти темно. За столиками в баре сидело всего несколько человек, а за стойкой была уже какая-то другая женщина. Она выглядела старше хозяйки; когда я подошел ближе, она сняла очки и положила газету в лужицу пива. Впитав в себя пролитое пиво, газета потемнела. Женщина посмотрела на меня, моргнув глазами.

— Не можете ли вы, — спросил я, — принести нам поесть? Мы в одиннадцатой комнате.

— Подать в номер? — переспросила она.

Я кивнул.

— У нас это не водится, — сказала она. — Мы не подаем в номера. Какая распущенность — есть в номере!

— Разве? — спросил я. — До сих пор я этого не знал. Но моя жена больна.

— Больна? — удивилась она. — Этого только не хватало! Надеюсь, ничего страшного? Это не заразно?

— Нет, — сказал я, — жене просто дурно.

Она взяла залитую пивом газету, встряхнула ее и как ни в чем не бывало положила на батарею. Потом, пожав плечами, повернулась ко мне.

— Так что же вам подать? Горячие блюда будут только через час.

Она взяла тарелку из подъемника, который соединял бар с кухней, и подошла к застекленной стойке с холодными закусками. Я последовал за ней, выбрал пару отбивных, две фрикадельки и попросил хлеба.

— Хлеба? — сказала она. — Зачем вам хлеб, возьмите лучше салат, картофельный салат.

— Мы предпочли бы хлеб, — сказал я, — думаю, что это лучше для моей жены.

— Когда женщинам дурно, с ними не ходят по гостиницам, — сказала она, но все же подошла к подъем-

нику и крикнула вниз: — Хлеба, несколько ломтиков хлеба!

И снизу донеслось глухо и грозно: «Хлеба».

Женщина обернулась.

— Придется обождать минуточку.

— Я бы хотел позвонить,— попросил я.

— Врачу?

— Нет,— сказал я.

Она придвинула ко мне телефон через стойку. Прежде чем набрать номер, я сказал:

— Еще две кружки пива и рюмку водки.

Я набрал номер фрау Редер, услышал гудки и стал ждать. Женщина пододвинула ко мне стопку водки и подошла с пустой кружкой к крану, чтобы нацедить пиво.

— Алло,— раздался голос фрау Редер в трубке,— алло, кто говорит?

— Богнер,— сказал я.

— Ах, это вы.

— Будьте добры,— сказал я,— не посмотрите ли вы...

— Все в порядке. Я только что ходила наверх. Дети веселые, они были с молодыми людьми на празднике. И те даже купили им воздушные шарики. Они только недавно вернулись. Какая прелесть эти красные аисты, они из резины, резиновые и величиной с настоящего аиста.

— Франке уже приехали?

— Нет, они приедут позже, возможно, даже завтра утром.

— Значит, правда все в порядке?

— Правда,— сказала она,— вы можете быть совершенно спокойны. Передайте привет жене. Вам нравится ее новая губная помада?

— Замечательная,— сказал я,— большое спасибо.

— Не стоит,— сказала она,— до свидания.

Я ответил «до свидания», положил трубку и выпил водку, глядя, как медленно наполняется вторая кружка. Подъемник начал подниматься, издавая что-то вроде урчания, потом появилась тарелка с четырьмя ломтиками белого хлеба.

Сперва я пошел наверх с двумя кружками пива и поставил их на стул рядом с Кэте. Она все еще лежала в кровати и пристально смотрела на обои. Я сказал:

— Дома все в порядке, наши дети играют с теми самыми аистами.

Кэте кивнула головой и ничего не ответила. Когда я принес тарелки с едой, она продолжала лежать, уставившись в стену, но одна из кружек была наполовину выпита.

— Я так хочу пить! — сказала она.

— Пей, пожалуйста. — Я сел рядом с ней на кровать. Она вынула две чистые салфетки из своей сумки, накрыла ими стул, и мы ели мясо и хлеб, разложенные на чистых салфетках, и запивали все это пивом.

— Я хочу еще, Фред. — Она посмотрела на меня и улыбнулась. — Теперь я сама не знаю, почему ем так много: потому ли, что узнала о своей беременности, или потому, что на самом деле голодна.

— Ешь, пожалуйста, — сказал я, — принести тебе еще что-нибудь?

— Еще фрикадельку, — сказала она, — огурец и кружку пива. Эту кружку можешь взять с собой.

Она допила пиво и дала мне кружку, я снова спустился вниз и, пока женщина за стойкой наполняла кружку, выпил еще стопку водки. Женщина посмотрела на меня более приветливо, чем раньше, положила фрикадельку и огурец на тарелку и пододвинула ее ко мне через мокрую стойку. На улице стало совсем темно. В баре почти никого не было, но из танцевального зала доносился шум. После того как я заплатил, у меня еще остались две марки.

— Вы завтра рано уйдете? — спросила женщина.

— Да, — сказал я.

— Тогда лучше заплатите за комнату сейчас.

— Я уже заплатил.

— Ах так, — сказала она, — тогда, прошу вас, принесите кружки и тарелки. У нас в этом отношении печальный опыт. Вы принесете, правда?

— Конечно, — сказал я.

Кэте лежала на спине и курила.

— Здесь чудесно, — сказала она, когда я сел рядом с ней. — Замечательная идея — пойти в гостиницу. Мы уже давно не были в гостинице. Это дорого стоит?

— Восемь марок.

— У тебя разве осталось еще столько денег?

— Я уже заплатил. Теперь у меня только две марки.

Она взяла свою сумочку и высыпала на одеяло все содержимое: зубную щетку, мыльницу, губную помаду и остаток от тех денег, которые я дал ей, когда мы гуляли. Мы выудили все деньги — там было еще четыре марки.

— Вот и хорошо,— сказал я,— мы еще сможем пойти позавтракать.

— Я знаю одну приятную закусную, где можно позавтракать,— сказала она.— Сразу позади туннеля. Если идти отсюда, то по левой стороне.

Я посмотрел на нее.

— Там хорошо. Прелестная девушка и старик. И вкусный кофе. Им-то я и задолжала.

— Дурачка ты тоже видела? — спросил я.

Вынув сигарету изо рта, она посмотрела на меня.

— Ты туда часто ходишь?

— Нет, сегодня утром я был там в первый раз. Хочешь пойти туда завтра?

— Да,— сказала она и снова повернулась на другой бок к окну, спиной ко мне. Я хотел подать ей тарелку и кружку пива, но она сказала: — Не надо, я поем потом.

Я сидел, прихлебывая пиво, с ней рядом, хотя она отвернулась от меня. На вокзале было тихо. В окне за вокзалом над многоэтажным домом виднелись неоновые очертания коньячной бутылки; она постоянно висит там на небе, и в ее толстом брюхе светится силуэт пьющего человека. А по фронту многоэтажного дома пробегают беспрерывно меняющиеся строчки рекламы: огненные буквы внезапно как бы выскальзывают из пустоты. Я медленно читал: БУДЬ УМНЕЙ — строчка исчезла — НЕ ПЕРЕПЕЙ — вылетело из темноты. Потом несколько секунд ничего не было видно, и меня охватило странное чувство ожидания. ДОЛОРИН — буквы вновь появились и пропали в пустоте, и опять несколько секунд ничего не было видно, но потом сразу зажглась целая фраза: С ПОХМЕЛЬЯ ПЕЙ,— и три, четыре раза подряд в пустоте вспыхивала красная надпись: ПЕЙ ДОЛОРИН. Потом появились ядовито-желтые буквы: ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ АПТЕКАРЮ!

— Фред,— сказала вдруг Кэте,— мне кажется, если мы будем говорить о том, о чем ты спрашивал, у нас ничего не получится. Поэтому я не хочу об этом говорить. Ты сам должен решить, что делать,

но даже если я беременна, я не хочу, чтобы ты, вернувшись домой, опять брюзжал и бил детей, зная, что они ни в чем не виноваты. Я не хочу. А потом мы начнем кричать друг на друга. Этого я тоже не хочу. Но и приходить к тебе я больше не могу.

Она все еще лежала, повернувшись ко мне спиной, и оба мы уставились на светящуюся надпись на фронтоне многоэтажного дома, которая менялась теперь все чаще и все неожиданней; буквы были всех цветов радуги, и они все время выписывали в ночи одну и ту же фразу: **ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ АПТЕКАРЮ!**

— Ты слышишь?

— Да,— сказал я,— слышу. Почему ты не можешь больше приходить ко мне?

— Потому что я не проститутка. Я ничего не имею против проституток, Фред, но я не проститутка. Мне тяжело встречаться с тобой и быть с тобой то в парадном разрушенного дома, то в поле, а потом возвращаться домой. У меня всегда бывает такое чувство, будто ты забыл сунуть мне в руку пять или десять марок, перед тем как я сяду в трамвай. Не знаю уж, сколько получают эти женщины за то, что отдаются.

— Думаю, что они получают гораздо меньше.— Я допил пиво и, повернувшись к стене, посмотрел на зеленоватые обои, на узор в форме сердца.— Значит, мы расходимся.

— Да,— сказала она,— по-моему, так будет лучше. Я не собираюсь принуждать тебя, Фред, ты же знаешь меня, но думаю, будет лучше, если мы разойдемся. Дети ничего больше не понимают — правда, они верят, когда я говорю им, что ты болен, но под словом «болен» они подразумевают что-то совсем другое. Кроме того, на них действует вся эта болтовня в доме. Дети уже становятся взрослыми, Фред. Мало ли какие недоразумения могут возникнуть. Некоторые думают, что ты завел себе другую. Но ведь у тебя никого нет, Фред?

Мы все еще лежали, повернувшись спиной друг к другу, и разговор звучал так, словно она обращалась к кому-то третьему.

— Нет,— сказал я,— у меня никого нет, ты же знаешь.

— Такие вещи никогда нельзя знать наверняка,— сказала она,— иногда я сомневалась, потому что не знала, где ты живешь.

— У меня никого нет,— ответил я,— я тебя еще никогда не обманывал, ты же знаешь.

Она задумалась.

— Да,— сказала она,— по-моему, ты меня еще никогда не обманывал. Во всяком случае, я этого не помню.

— Вот видишь.— Я отпил глоток пива из ее кружки, которая стояла на стуле рядом со мной.

— Собственно говоря, тебе совсем неплохо,— сказала она,— ты пьешь, разгуливаешь, когда хочешь, по кладбищам, и стоит тебе позвонить, как я прихожу, когда тебе этого захочется, а вечером ты отправляешься спать к этому специалисту по Данте.

— Я не так уж часто ночую у Блока. Большею частью я нахожу себе убежище где-нибудь еще — этот дом я не выношу. Он слишком большой, пустой и красивый и обставлен чересчур изысканно. Терпеть не могу дома, обставленные изысканно.— Я повернулся на другой бок и посмотрел поверх ее спины на светящуюся надпись наверху, на фронтоне многоэтажного дома, но там все еще была фраза: **ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ АПТЕКАРЮ!**

Эта надпись горела всю ночь напролет, сверкая всеми цветами радуги. Мы долго лежали и молча курили. Потом я встал и задернул занавески, но надпись все равно просвечивала сквозь тонкую ткань.

Слова Кэте меня очень удивили. Она еще никогда не говорила со мной так. Я положил руку на ее плечо, но не произнес ни слова. Лежа ко мне спиной, она открыла сумочку, и я услышал, как щелкнула зажигалка, а потом увидел, что в том месте, где она лежит, к потолку подымается дымок.

— Потушить свет?— спросил я.

— Да, так будет лучше.

Я встал, выключил электричество и снова лег рядом с ней. Она повернулась на спину, и я испугался, когда внезапно дотронулся рукой, искавшей ее плечо, до лица Кэте,— лицо было мокрым от слез. Я не мог произнести ни слова, убрал свою руку и, сунув под одеяло, нашел маленькую сильную ладонь и крепко сжал ее. Я был рад, что она не отняла руки.

— Черт возьми,— сказала она в темноте,— каждый мужчина, когда он женится, должен знать, что делает.

— Я сделаю все,— сказал я,— действительно все, чтобы мы получили квартиру.

— Перестань, пожалуйста,— сказала она, и ее слова прозвучали так, словно она смеялась,— дело вовсе не в квартире. Неужели ты действительно думаешь, что дело в этом?

Я приподнялся, пытаюсь заглянуть ей в лицо. Мне пришлось отпустить ее руку, и я увидел бледное лицо, увидел узкую белую полоску пробора, которая так часто давала мне забвение; и когда на фронте многоэтажного дома вспыхнула надпись, ясно различил ее лицо, залитое зеленым светом: она действительно улыбалась. Я снова лег на бок, и теперь она сама нашла мою руку и крепко сжала ее.

— Ты правда считаешь, что не в этом дело?

— Нет,— сказала она очень решительно,— нет, нет. Будь искренен, Фред. Если я вдруг приду к тебе и скажу, что у меня есть квартира, ты испугаешься или обрадуешься?

— Обрадуюсь,— ответил я сразу.

— Ты обрадуешься за нас.

— Нет, обрадуюсь потому, что смогу вернуться к вам. И как ты только можешь думать...

Стало совсем темно. Мы опять лежали спиной друг к другу, и я время от времени поворачивался, чтобы взглянуть, не легла ли Кэте ко мне лицом, но она почти полчаса лежала, уставившись в окно, и не произносила ни слова, и когда я поворачивался, то видел, как вспыхивала надпись на фронте многоэтажного дома: **ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ АПТЕКАРЮ!**

С вокзала к нам доносилось приветливое бормотанье диктора, из бара — шум танцующих, Кэте молчала. Мне было трудно заговорить снова, но вдруг я произнес:

— Может, ты съешь еще?

— Да,— сказала она,— дай мне, пожалуйста, тарелку и включи свет.

Я встал, включил свет и снова лег спиной к ней; я слышал, как она ела огурец и фрикадельку. Я подал ей кружку пива, она сказала «спасибо», и я услышал, как она пила. Я повернулся на спину и положил руку на ее плечо.

— Это действительно невыносимо, Фред,— сказала она тихо; и я был рад, что она опять заговорила.— Я тебя хорошо понимаю, может быть, даже слишком хорошо. Мне знакомы чувства, которые ты испытываешь, и я знаю, как иногда приятно вывалиться

в грязи. Мне это чувство знакомо, и, может, лучше, если бы у тебя была жена, которая ни за что не поймет этого. Но ты забываешь о детях,— ведь у нас есть дети, и они растут, и наша жизнь стала невыносима для меня из-за детей. Ты знаешь, как все было, когда мы оба начали пить. Ты ведь сам просил меня перестать.

— Да, это было действительно ужасно, когда мы возвращались домой и дети узнавали обо всем по запаху. В том, что ты начала пить, виноват я.

— Меня не интересуется сейчас, кто в чем виноват.— Она поставила обратно тарелку и отпила глоток пива.— Я не знаю и никогда не буду знать, Фред, в чем ты виноват и в чем не виноват. Не хочу обижать тебя, Фред, но я тебе завидую.

— Ты мне завидуешь?

— Да, я тебе завидую, потому что не ты — беременный. В любую минуту ты можешь удрать, и я тебя, честное слово, понимаю. Ты гуляешь, часами ходишь по кладбищам и упиваешься допьяна своей тоской, если у тебя нет денег, чтобы напиться по-настоящему. Ты упиваешься своей скорбью, оттого что ты не с нами. Я знаю, ты любишь детей и меня тоже, ты очень любишь нас. Но ты никогда не задумываешься над тем, что наша жизнь, такая для тебя невыносимая жизнь, от которой ты бежишь из дому, медленно убивает нас, потому что ты не с нами. И никогда ты не подумал о том, что молитва — это единственное, что еще может помочь. Ты ведь никогда не молишься, правда?

— Очень редко,— сказал я,— я не могу молиться.

— Оно и видно, Фред. Ты постарел, ты выглядишь совсем старым, несчастным старым холостяком. Это еще не значит быть женатым, если ты время от времени спишь со своей женой. Во время войны ты как-то сказал, что согласился бы лучше жить со мной в грязном подвале, чем быть солдатом. Когда ты это писал, ты уже не был юношей, тебе было тридцать шесть лет. Иногда я все же думаю, что война тебя сломила. Раньше ты был другим.

Я очень устал, и меня огорчало все, что она говорила, ибо я знал: она права. Я хотел спросить, любит ли она меня еще, но побоялся, что это прозвучит глупо. Раньше я никогда не боялся, что какое-то слово может прозвучать глупо, я говорил ей все, что

приходило в голову. Но теперь я так и не спросил, любит ли она меня еще.

— Может быть,— сказал я устало,— я и растерял кое-что во время войны. Я думаю почти все время о смерти, Кэте, и эта мысль сводит меня с ума. Во время войны было много мертвецов, которых я никогда не видел, о которых я только слышал. Равнодушные голоса называли по телефону цифры, но это были не цифры, а мертвецы. Я пытался их себе представить, и мне это удавалось: ведь триста мертвецов — это целая гора! Однажды я три недели провел на так называемом фронте. Я увидел мертвых. Иногда мне приходилось выходить по ночам, чтобы чинить провода, и в темноте я натыкался на мертвецов. Было так темно, что я ничего не мог разглядеть, ничего. Все было черным-черно, и я полз вдоль кабеля, держась за него рукой, пока не находил место обрыва. В крошечной тьме я чинил провода, включал контрольный прибор и бросался на землю, когда поднималась ракета или стреляло орудие, в темноте я разговаривал с кем-то, кто сидел в укрытии на расстоянии тридцати — сорока метров от меня, но должен тебе сказать — это было так далеко, так далеко — дальше, чем от Бога до нас.

— Бог не так уж далеко,— возразила она тихо.

— Да, но этот человек был далеко,— сказал я,— за миллионы километров от меня звучал его голос, и я разговаривал с ним, чтобы установить, исправна ли связь. Потом я медленно полз обратно, держась рукой за кабель, и опять натыкался в темноте на мертвецов; а иногда даже останавливался на некоторое время около них. Один раз я пролежал целую ночь рядом с мертвецом. Думали, что я погиб, искали меня, потом перестали искать, а я всю ночь пролежал рядом с трупами, которых не видел, а только чувствовал, я лежал рядом с ними, сам не знаю зачем, и не замечал, как идет время. Люди, которые нашли меня, были убеждены, что я был пьян. А когда я вернулся к живым, то вновь заскучал,— ты не можешь себе представить, как скучно с большинством людей, зато мертвые — великолепны.

— Ты говоришь ужасные вещи, Фред,— сказала она, но руку мою не отпустила.— Дай мне сигарету.

Я вынул из кармана пачку, дал ей сигарету, зажег спичку и наклонился, чтобы посмотреть в лицо Кэте.

Мне показалось, что она выглядит сейчас моложе и бодрей и что лицо у нее не такое желтое, как раньше.

— Тебя больше не тошнит? — спросил я.

— Нет, — сказала она, — совсем нет. Мне теперь хорошо. Но я стала тебя бояться, честное слово.

— Можешь не бояться. И не война меня сломила. Все было бы так же — мне просто скучно. Знала бы ты только, что мне приходится слышать в течение дня, какую пустую болтовню!

— Тебе надо молиться, — произнесла она, — обязательно молиться. Это единственное, что не может наскучить.

— Молись за меня, — сказал я, — раньше я мог молиться, теперь у меня не получается.

— Надо пытаться. Ты должен быть упорным и не отступать. А пить нехорошо.

— Когда я пьян, мне иногда легко молиться.

— Нехорошо, Фред. Молиться надо трезвым. Вначале у тебя будет такое чувство, как будто ты стоишь перед движущимся подъемником и боишься прыгнуть; тебе придется собраться с духом, но потом ты очутишься в подъемнике, который поднимет тебя наверх. Я это явственно ощущаю, Фред, когда лежу ночью без сна и плачу в наступившей тишине; я часто чувствую тогда, что приближаюсь к цели. Все становится мне безразличным — квартира, и грязь, и нищета; меня не трогает даже то, что тебя нет. Долго так не может продолжаться, Фред, еще какие-нибудь тридцать, сорок лет; это время мы должны прожить, и, я думаю, мы должны прожить его вместе. Фред, ты обманываешь себя, ты гредишь, а гредить опасно. Я могла бы понять, если бы ты ушел от нас из-за какой-нибудь женщины. Это было бы ужасно для меня, гораздо ужасней, чем теперь, но я могла бы понять. Я могла бы понять, если бы ты покинул нас ради той девушки из закуской, Фред.

— Пожалуйста, — сказал я, — не говори об этом.

— Но ты ушел гредить, и это нехорошо. Тебе ведь приятно смотреть на эту девушку из закуской, правда?

— Да, мне приятно на нее смотреть. Мне очень приятно на нее смотреть. Я буду часто ходить к ней, но мне никогда не придет в голову расстаться из-за нее с тобой. Она очень набожна.

— Набожна? Откуда ты знаешь?

— Потому что видел ее в церкви. Я видел, как она стояла на коленях и как ее благословили, я был в церкви всего три минуты, и она стояла на коленях, а рядом с ней стоял дурачок, и священник благословил их обоих. Но я понял, что она набожна, понял это по ее движениям. Я пошел вслед за ней, потому что она тронула мое сердце.

— Что она сделала?

— Она тронула мое сердце,— сказал я.

— А я тоже тронула твое сердце?

— Ты не тронула мое сердце, ты его перевернула. Я тогда по-настоящему заболел. Я был уже не так молод,— сказал я,— мне было около тридцати, но ты перевернула мое сердце. Кажется, это так называется. Я тебя очень люблю.

— А были еще женщины, которые тронули твое сердце?

— Да,— сказал я,— их было немало. Были женщины, которые тронули мое сердце. Кстати, мне не нравится это выражение, но лучшего я не знаю. Нежно тронули,— вот как надо было бы сказать. Однажды в Берлине я увидел женщину, которая тронула мое сердце. Я стоял в поезде у окна, и вдруг к другой стороне платформы подошел еще один поезд; окно одного вагона оказалось напротив моего окна, стекло совсем запотело и его опустили — и тут я увидел женщину, которая сразу же тронула мое сердце. Она была очень смуглая и высокая, и я улыбнулся ей. Но вот мой поезд пошел, я высунулся из окна и начал махать рукой, я махал до тех пор, пока ее было видно. Я никогда больше не встречал этой женщины, да и не хотел бы встретить.

— Но она тронула твое сердце. Расскажи мне обо всех женщинах, которые тронули тебя, Фред. И она тебе тоже махала рукой, эта дама, тронувшая твое сердце?

— Да,— сказал я,— она мне тоже махала рукой. Надо подумать, тогда я наверняка вспомню и других. У меня хорошая память на лица.

— Ну, что ж,— сказала она,— припомни, Фред.

— Меня часто трогают дети и, кстати говоря, старики и старухи тоже.

— А я только перевернула твое сердце?

— И тронула тоже,— сказал я.— О дорогая, не заставляй меня все время произносить эти слова.

Думая о тебе, я часто вижу мысленно, как ты спускаешься по лестнице и бредешь совсем одна по городу, как ты ходишь за покупками и кормишь малыша. Тогда меня охватывает то чувство, о котором я говорил.

— Но эта девушка из закуской совсем близко.

— Может быть, когда я встречу с ней опять, все уже будет по-иному.

— Может быть,— сказала она.— Хочешь еще пива?

— Да,— ответил я. Она подала мне кружку, и я выпил ее. Потом я встал, включил свет, собрал пустые кружки и тарелки и отнес их вниз. У стойки стояло двое молодых людей; когда я ставил пустые кружки и тарелки на стойку, они ухмыльнулись. Теперь за стойкой опять сидела хозяйка, у нее было белое, гладкое, без угрей, лицо. Она кивнула мне, и я сразу же поднялся опять наверх. Когда я вошел в комнату, Кэте посмотрела на меня и улыбнулась.

Я потушил свет, разделся в темноте и лег в кровать.

— Всего только десять часов,— сказал я.

— Замечательно,— произнесла она.— Мы можем спать целых девять часов.

— А когда уйдет этот юноша, который сидит с детьми?

— Около восьми.

— Мы ведь хотели еще вместе позавтракать,— сказал я.

— Нас разбудят?

— Нет, я сам проснусь.

— Я устала, Фред,— сказала она,— но расскажи мне еще что-нибудь. Ты не помнишь еще каких-нибудь историй, когда твое сердце было тронут?

— Может быть, я еще что-нибудь вспомню,— сказал я.

— Хорошо,— ответила она,— в сущности, ты славный, но иногда мне хочется тебя побить. Я тебя люблю.

— Я рад, что ты мне это сказала. Я побоялся спросить у тебя.

— Раньше мы каждые три минуты спрашивали друг друга об этом.

— Да, так было долгие годы.

— Долгие годы,— повторила она.

— Ну, рассказывай,— сказала она, опять взяла мою руку и крепко сжала.

— Про женщин? — спросил я.

— Нет, лучше про мужчин, или про детей, или про старух. Мне все-таки страшновато, когда говорят о молодых женщинах.

— Тебе нечего опасаться,— сказал я, нагнулся к ней и поцеловал ее в губы, и когда я снова лег, мой взгляд упал на улицу и там я увидел светящуюся надпись: **ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ АПТЕКАРЮ!**

— Ну, рассказывай.

— В Италии,— начал я,— многие люди тронули мое сердце. Мужчины, женщины — молодые и старые — и еще дети. Даже богатые женщины. И даже богатые мужчины.

— А ты говорил недавно, что люди скучные.

— Я чувствую себя совсем по-иному, гораздо лучше с тех пор, как знаю, что ты меня еще любишь. Ты наговорила мне ужасных вещей.

— От своих слов я не отказываюсь. Мы сейчас немножко играем, Фред. Не забудь, что мы играем. А к серьезному мы еще вернемся. И я ничего не беру обратно, и то, что я тебя люблю, не имеет значения. Ты тоже любишь детей, а заботишься о них, как о прошлогоднем снеге.

— Да, знаю,— сказал я,— ты мне это уже достаточно ясно высказала. Ну, а теперь, пожалуйста, выбери, кого хочешь: мужчину, женщину или ребенка — и страну тоже можешь выбрать.

— Голландия,— назвала она,— мужчина из Голландии.

— Ну и вредная же ты,— сказал я.— Очень трудно вспомнить голландца, который тронул бы твое сердце. И хоть ты и вредная, но во время войны я действительно видел одного голландца, и при этом даже богатого, который тронул мое сердце. Тогда, правда, он уже не был богат. Я проезжал Роттердам — это первый разрушенный город, который я видел; страшно, но это теперь я дошел до того, что неразрушенный город действует на меня угнетающе,— а в то время я совсем растерялся, я смотрел на людей, смотрел на развалины...

Почувствовав, что ее рука, державшая мою руку, слегка разжалась, я наклонился над ней и увидел, что она спит; во сне ее лицо становится надменным и замкнутым, рот немножко приоткрывается и принимает скорбное выражение. Я снова лег, выкурил еще

сигарету и долго лежал в темноте, думая обо всем. Я попытался молиться, но не смог. Потом подумал, не сойти ли мне еще раз вниз потанцевать с какой-нибудь работницей с шоколадной фабрики, выпить еще рюмку водки и поиграть на автомате, теперь уже, наверное, свободном. Но я остался. Каждый раз, когда на фронте многоэтажного дома вспыхивала надпись, она освещала зеленоватые обои с узором в форме сердца, на стене появлялась тень от лампы, и можно было различить рисунок на шерстяных одеялах: играющие в мяч медведи; похожие на людей, они напоминали атлетов с бычьими шеями, перебрасывающихся большими мыльными пузырями. И последнее, что я увидел перед тем, как заснул, была надпись там, наверху: *ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ АПТЕКАРЮ!*

ХИ

Когда я проснулась, было еще темно. Я спала крепко и теперь чувствовала себя прекрасно. Фред спал, повернувшись к стене, и я видела только его худую шею. Я встала, раздвинула занавески и посмотрела на бледно-серый рассвет над вокзалом. Освещенные поезда подходили к перрону, мягкий голос диктора доносился до гостиницы через развалины, слышался глухой шум поездов. В доме было тихо. Я почувствовала голод. Оставив окно открытым, я снова легла в постель и стала ждать. Но мне уже было беспокойно: я думала о детях, скучала по ним и не знала, который час. Раз Фред спал, значит, еще не было половины седьмого; он всегда просыпается в половине седьмого. У меня еще было время. Я снова встала, накинула пальто, надела туфли и тихо обошла вокруг кровати. Осторожно открыв дверь, я пошла искать уборную в полутемном грязном коридоре и наконец обнаружила ее в неосвещенном, плохо пахнущем углу. Когда я вернулась, Фред еще спал. Мне были видны вокзальные часы со светящимся циферблатом, их стекло желтовато поблескивало, но различить, который час, я не могла. На фронте многоэтажного дома вспыхнула надпись, резко проступившая в сероватой мгле: *ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ АПТЕКАРЮ!*

Стараясь не шуметь, я осторожно умылась, оделась и, обернувшись, увидела, что Фред смотрит на меня;

он лежал прищурившись, потом зажег сигарету и сказал:

— Доброе утро.

— Доброе утро,— ответила я.

— Тебя уже не тошнит?

— Ни капельки,— сказала я,— я чувствую себя хорошо.

— Прекрасно,— сказал он,— можешь не торопиться.

— Мне надо идти, Фред,— сказала я,— я очень беспокоюсь.

— Разве мы не позавтракаем вместе?

— Нет,— сказала я.

Сирена на шоколадной фабрике громко завывала, ее резкий гудок трижды прорезал утреннюю тишину. Сидя на краю кровати и застегивая туфли, я почувствовала, что Фред прикоснулся рукой к моим волосам. Нежно перебирая мои волосы, он сказал:

— Если все, что ты вчера говорила, верно, то, значит, я не увижу тебя долго; может быть, мы хотя бы выпьем кофе вместе?

Я молча застегнула молнию на юбке, затем пуговицы на кофточке, подошла к зеркалу и стала причесываться. Но я не различала себя в зеркале; причесываясь, я чувствовала только, как бьется мое сердце. Лишь теперь до меня дошел смысл слов, сказанных мною вчера; но взять их обратно я не хотела. Раньше я твердо верила, что он вернется, но теперь я сомневалась во всем. Я слышала, как он встал, видела в зеркале, что он стоит у кровати, и мне бросилось в глаза, до чего он опустил. Он спал в рубашке, которую носил днем, волосы у него были растрепаны, и когда он надевал брюки, его лицо приняло угрюмое выражение. Машинально я продолжала водить расческой по волосам. При мысли о том, что он нас действительно покинет — я никогда всерьез не думала об этой возможности и только сейчас представила ее,— мое сердце замерло. Потом снова сильно забилося и снова замерло. Я внимательно наблюдала за ним: как он, держа сигарету в зубах, со скучающим видом застегивал свои мятые брюки, как затянул ремень, надел носки и ботинки, потом, вздыхая, остановился, провел рукой по лбу и по бровям; и, глядя на него, я не могла понять, как я прожила с ним пятнадцать лет: он был мне чужой — этот скучающий, равнодушный человек,

который сел теперь на кровать, опустив голову на руки. Погрузившись взглядом в зеркало, я подумала об обещанной нам иной жизни, в которой не будет брака: эта жизнь без брака, без заспанных мужей, которые, едва проснувшись, хватаются за сигарету, должна быть прекрасной. Я оторвала взгляд от зеркала, заколола волосы и подошла к окну. Стало светлее, небо над вокзалом было уже светло-серым. И хотя я смотрела на него, ничто не доходило до моего сознания, ибо я все еще мечтала об обещанной нам жизни без брака и, ощутив ритм литургии, мысленно видела себя рядом с мужчинами — не мужьями, с мужчинами, о которых знала, что они не хотят обладать мной.

— Можно, я возьму твою зубную щетку? — спросил Фред, стоявший у умывальника. Я посмотрела на него, неуверенно сказала: «Да» — и тут вдруг очнулась.

— Боже мой, — сказала я резко, — сними хотя бы рубашку, когда умываешься.

— Ах, зачем! — ответил он, загнул внутрь воротничок рубашки и провел влажным полотенцем по лицу, по затылку и по шее; безразличие, с каким он все это делал, раздражало меня.

— Я буду доверять своему аптекарю, — сказал он, — и куплю себе надежную зубную щетку. Вообще мы должны всецело довериться аптекарям.

— Фред, — сказала я резко, — и ты еще можешь остричь? Я не предполагала, что по утрам у тебя такое хорошее настроение.

— У меня совсем не такое уж хорошее настроение, — сказал он, — но и не особенно плохое, хотя мне жаль, что мы еще не позавтракали и не выпили кофе.

— О, я знаю тебя, — сказала я, — тебе надо одно — чтобы кто-нибудь тронул твое сердце.

Он причесывался моей расческой, но при этих словах остановился, повернул голову и посмотрел на меня.

— Я пригласил тебя позавтракать, дорогая, — произнес он мягко, — а ты мне еще ничего не ответила.

Он вновь отвернулся к зеркалу и, продолжая причесываться, проговорил:

— Те десять марок я смогу вернуть тебе только на будущей неделе.

— Оставь, пожалуйста, — сказала я, — ты вовсе не должен отдавать мне все деньги.

— Но я так хочу,— ответил он,— и прошу тебя, прими их.

— Спасибо, Фред,— сказала я,— я тебе действительно благодарна. Но если мы хотим завтракать, нам пора.

— Значит, ты идешь со мной?

— Да.

— Вот и прекрасно.

Он засунул галстук под воротничок, завязал его и подошел к кровати, чтобы взять пиджак.

— Я вернусь,— сказал он вдруг резко,— наверняка вернусь, вернусь к вам, но я не хочу, чтобы меня принуждали к тому, что я сам сделаю с радостью.

— Фред,— ответила я,— мне кажется, что на эту тему больше не к чему говорить.

— Да,— произнес он,— ты права. Хорошо было бы вновь встретить тебя в иной жизни, где я мог бы любить тебя, любить так же, как теперь, не женившись на тебе.

— Я только что об этом думала,— сказала я тихо и не могла сдержать слез.

Он быстро обошел вокруг кровати, приблизился ко мне, обнял меня и, опустив подбородок на мою голову, проговорил:

— Как хорошо было бы встретить тебя там. Надеюсь, ты не испугаешься, если я и там появлюсь?

— Ах, Фред,— сказала я,— подумай о детях.

— Я думаю о них,— сказал он,— каждый день я о них думаю. Ты бы хоть поцеловала меня.

Я подняла голову и поцеловала его.

Он разжал объятия, помог мне надеть пальто; и, пока он одевался, я положила все наши вещи в свою сумку.

— Счастливы те,— сказал он,— кто не любил друг друга, когда женился. Это ужасно, любить друг друга и жениться.

— Возможно, ты и прав,— сказала я.

В коридоре все еще было темно, и от угла, где находилась уборная, плохо пахло. Ресторан еще не открывали, внизу никого не было, все двери оказались запертыми, и Фред повесил ключ от комнаты на длинный гвоздь, торчавший около входа в ресторан.

На улице было полно девушек, спешивших на шоколадную фабрику; меня поразило веселое выражение их лиц; большинство из них шли под руку и смеялись.

Когда мы входили в закусочную, часы на соборе пробили без четверти семь. Девушка стояла к нам спиной и возилась с кофейником. Только один столик был свободен. Дурачок сидел у печки и сосал свой леденец. Было тепло и дымно. Обернувшись, девушка улыбнулась мне и сказала «ах», потом посмотрела на Фреда, опять на меня, улыбнулась и подбежала к свободному столику, чтобы стереть с него. Фред заказал кофе, булочки и масло.

Мы сели, и мне было приятно видеть, что она на самом деле рада. И когда она ставила нам тарелки, у нее даже немного порозовели от усердия уши. Но я была беспокойна, думала все время о детях, и приятного завтрака у нас не получилось. И Фред тоже был неспокоен. Он лишь изредка поглядывал на девушку; и когда я отводила от него взгляд, он смотрел на меня, но когда я подымала глаза, он каждый раз отворачивался. В закусочную входило много людей; девушка подавала булочки, колбасу и молоко, считала деньги, принимала деньги; иногда она поглядывала на меня и улыбалась мне, словно подтверждая существование безмолвного соглашения между нами — соглашения, известного только нам двоим. Когда в закусочной становилось немного тише, она подходила к мальчику, вытирала ему рот и шепотом называла по имени. И я вспоминала все, что она мне о нем рассказывала. Но тут я очень испугалась, потому что вдруг вошел священник, которому я вчера исповедывалась. Он улыбнулся девушке, протянул ей деньги, и она подала ему через стойку красную пачку сигарет. Фред также с интересом смотрел на него. Потом священник открыл пачку; его взгляд равнодушно скользил по закусочной; он увидел меня, и я поняла, что он испугался. Он больше не улыбался, сунул вынутую из пачки сигарету в карман своего черного пальто, хотел было подойти ко мне, но, покраснев, отошел. Я встала и приблизилась к нему.

— Доброе утро, господин священник,— сказала я.

— Доброе утро,— ответил он, смущенно огляделся и прошептал: — Мне надо с вами поговорить, я уже был сегодня утром у вас дома.

— Боже мой,— сказала я.

Он достал сигарету из кармана пальто, сунул ее в рот и шепнул, зажигая спичку:

— Вам дано отпущение, оно считается действительным, я вел себя очень глупо, простите.

— Большое спасибо,— сказал я.— А что творится у нас дома?

— Я говорил с какой-то пожилой дамой. Это ваша мать?

— Моя мать? — спросила я, ужаснувшись.

— Приходите как-нибудь ко мне,— сказал он и поспешно вышел.

Я вернулась к столу. Фред молчал. Вид у него был очень измученный. Я дотронулась до его руки.

— Мне пора, Фред,— сказала я тихо.

— Не уходи, я еще должен с тобой поговорить.

— Здесь неудобно, потом. Боже мой, у тебя ведь была на это целая ночь.

— Я вернусь,— шепнул он,— скоро. Вот деньги для детей, я же обещал. Купи им что-нибудь, может быть, мороженое, если они любят.

Он положил на стол марку. Я взяла ее и сунула в карман пальто.

— Позже ты получишь все, что я тебе задолжал,— шепнул он.

— Ах, Фред,— произнесла я,— оставь.

— Нет,— сказал он,— мне тяжело, когда я думаю о том, что я тебя, может быть...

— Позвони мне,— шепнула я в ответ.

— Если я позвоню, ты придешь? — спросил он.

— Не забудь: я должна еще за кофе и за три пончика.

— Я помню. Ты действительно хочешь идти?

— Да, пора.

Он встал, я осталась сидеть и смотрела, как он стоит у стойки и ждет. Пока Фред расплачивался, девушка улыбалась мне, я встала и вместе с Фредом пошла к двери.

— Вы еще придете? — закричала мне вслед девушка.

— Да,— крикнула я в ответ и взглянула на дурачка, который сидел, держа во рту обсосанную палочку от леденца.

Фред проводил меня до автобуса. Мы больше не проронили ни слова, только быстро поцеловались, когда автобус подошел: и я увидела Фреда стоящим на остановке, увидела то, что уже видела много раз,— плохо одетого и печального человека. И еще я увидела, как он медленно, ни разу не оглянувшись, направился к вокзалу.

Когда я подымалась к нам в квартиру, у меня было такое чувство, будто я отсутствовала целую вечность, и я подумала, что никогда еще не оставляла детей одних так надолго. В доме было шумно, чайники свистели, репродукторы извергали казенное веселье, и на втором этаже Мезевитц ругался с женой. За нашей дверью стояла тишина; я три раза нажала кнопку звонка, подождала и наконец, когда Беллерман уже отворял дверь, услышала голоса детей. Я услышала их всех троих сразу, быстро кивнула Беллерману и пробежала мимо него в комнату, чтобы увидеть детей; они сидели вокруг стола так чинно, как никогда не сидят у меня; при моем появлении их разговор и смех оборвались... Тишина продолжалась всего мгновенье, но меня охватила глубокая тоска; я испытывала страх только одно мгновенье,— но я его никогда не забуду.

Потом старшие дети встали и обняли меня; я взяла на руки малыша и поцеловала его, чувствуя, что слезы текут у меня по лицу. Беллерман был уже в пальто, шляпу он держал в руках.

— Они хорошо себя вели? — спросила я.

— Да,— ответил он,— очень.— Дети посмотрели на него и улыбнулись.

— Подождите минутку,— сказала я. Посадив малыша на его стульчик, я вынула из ящика кошелек и вышла вместе с Беллерманом в коридор. На вешалке я увидела шляпу фрау Франке и шапку господина Франке; и я поздоровалась с фрау Хопф, которая вышла из уборной. В волосах у нее были папильотки, под мышкой она держала иллюстрированный журнал. Я подождала, пока она войдет в свою комнату, посмотрела на Беллермана и спросила:

— Четырнадцать, правильно?

— Пятнадцать,— сказал он, улыбаясь.

Я дала ему пятнадцать марок.

— Большое вам спасибо.

— О, не за что,— ответил он, потом еще раз просунул голову в нашу дверь и крикнул: — До свидания, дети! — И дети ответили ему:

— До свидания!

Когда мы остались одни, я еще раз обняла всех троих, испытующе посмотрела на детей, но не смогла обнаружить на их лицах ничего такого, что оправдало бы мою тревогу. Вздыхая, я начала готовить им бутерброды в школу; Клеменс и Карла что-то перебирали в

своих ящиках. Карла спит на американской складной кровати, которую мы днем подвешиваем к потолку, Клеменс — на старом плюшевом диванчике, который уже давно слишком короток для него. Беллерман успел даже убрать кровати.

— Дети,— проговорила я,— отец шлет вам привет. Он мне дал деньги для вас.

Они ничего не сказали.

Карла подошла ко мне и взяла свой пакетик с бутербродами. Я посмотрела на нее: у нее темные волосы, такие же, как у Фреда, и его глаза — глаза, в которых внезапно появляется отсутствующее выражение.

Малыш играл на своем стульчике, и время от времени поглядывал на меня, словно хотел убедиться, что я здесь, а потом продолжал играть.

— Вы уже молились?

— Да,— ответила Карла.

— Отец скоро вернется,— сказала я, почувствовав большую нежность к детям; мне пришлось сдержаться, чтобы снова не заплакать.

Дети опять промолчали. Я посмотрела на Карлу, которая сидела рядом со мной на стуле, перелистывала учебник и неохотно пила молоко. И вдруг, взглянув на меня, она спокойно сказала:

— Он вовсе не болен, он ведь дает уроки.

Обернувшись, я поглядела на Клеменса, он сидел на своем диванчике с атласом в руках. Он спокойно посмотрел на меня:

— Это мне сказал Бейзем, он сидит со мной на одной парте.

Об этом я ничего не знала.

— Есть болезни,— сказала я,— при которых не обязательно лежать в кровати.

Дети ничего не ответили. Они ушли, надев свои ранцы, а я пошла в коридор и смотрела им вслед, пока они медленно брели по серой улице, немного опустив плечи под тяжестью книг; мне стало грустно, потому что я видела себя самое, идущую по улице со школьным ранцем на спине, немного опустив плечи под тяжестью книг; больше я уже не глядела на детей; высунившись из окна, я видела только себя: маленькую девочку с белокурыми косами, размышляющую над узором для вязки или вспоминающую дату смерти Карла Великого.

Когда я вернулась, фрау Франке стояла у зеркала перед вешалкой и поправляла лиловую вуаль на шляпе. Зазвонили к восьмичасовой мессе. Она поздоровалась, подошла ко мне, постояла, улыбаясь, передо мной в темном коридоре, и прежде чем я успела вернуться в комнату, остановила меня.

— Говорят,— сказала она приветливо,— что муж вас окончательно оставил. Это правда?

— Да, это правда,— сказала я тихо,— он меня оставил.— И я удивилась, что не чувствую к ней больше ненависти.

— И он пьет, это правда? — Она заколола вуаль на своей красивой шее.

— Да, пьет,— беззвучно повторила я.

Стало почти совсем тихо, только из комнаты доносилось нежное бормотанье малыша, разговаривавшего со своими кубиками, а потом раздался голос диктора, который раз пять, шесть или семь подряд — было так тихо, что я хорошо расслышала,— произнес: «Семь часов тридцать девять минут — быть может, вы уже должны покинуть вашу очаровательную супругу или вы еще успеете прослушать веселый утренний марш Бульвера...» Их утренняя музыка, их казенное веселье терзали меня, как удары бича.

Фрау Франке стояла передо мной, не шевелясь и не говоря ни слова, но я видела убийственный блеск в ее глазах; и я тосковала по хриплому голосу негра, который я слышала только раз, один-единственный раз, и который я с тех пор тщетно надеюсь услышать вновь; этот хриплый голос пел:

...И не сказал ни единого слова...

Я сказала фрау Франке: «Доброе утро»,— отодвинула ее в сторону и ушла в свою комнату. Она ничего не ответила. Я взяла малыша на руки, прижала его к себе и услышала, что фрау Франке отправилась к мессе.

XIII

Автобус всегда останавливается в одном и том же месте. Углубление улицы, где он останавливается, небольшое, и каждый раз при остановке автобус резко тормозит, и я просыпаюсь от толчка. Я встаю, вылезая из автобуса и перехожу улицу как раз напротив витрины магазина скобяных изделий, на вывеске которого

написано: «Стремянки всех размеров. Цена по числу ступенек. Каждая ступенька — 3 марки 20 пфеннигов». Нет смысла смотреть на часы на фасаде здания — сейчас ровно без четырех минут восемь, и если часы покажут восемь или восемь с минутами, значит, они плохо ходят: автобус точнее этих часов.

Каждое утро я стою несколько секунд перед вывеской «Стремянки всех размеров. Цена по числу ступенек. Каждая ступенька — 3 марки 20 пфеннигов». В витрине выставлена стремянка с тремя ступеньками, а возле стремянки с начала лета стоит шезлонг, в котором покоится высокая белокурая женщина из папье-маше или из воска — не знаю точно, из какого материала делаются эти манекены, — женщина всегда в темных очках, и она читает роман под названием «Отдых от самого себя». Фамилию автора мне не удастся прочесть, потому что она прикрыта бородой гнома, который лежит поперек аквариума. Высокая белокурая кукла нежится среди кофейных мельниц, приспособлений для отжиманья белья и стремянок и вот уже три месяца читает роман «Отдых от самого себя».

Но сегодня, выйдя из автобуса, я не обнаружил вывески «Стремянки всех размеров. Цена по числу ступенек. Каждая ступенька — 3 марки 20 пфеннигов», а женщина, которая все лето лежала в шезлонге и читала роман «Отдых от самого себя», стояла сейчас на лыжах в синем спортивном костюме с развевающимся шарфом, а рядом с ней была другая вывеска: «Подумайте заблаговременно о зимнем спорте!»

Я не стал думать о зимнем спорте; пошел на Мельхиорштрассе, купил пять сигарет в киоске слева от канцелярии и прошел в вестибюль мимо швейцара. Швейцар поздоровался со мной — это один из моих друзей здесь в доме, иногда он заходит ко мне наверх, курит свою трубку и сообщает последние сплетни.

Я кивнул швейцару и поздоровался с несколькими клириками, которые быстро поднимались по лестнице с портфелями под мышкой. Наверху я открыл дверь в комнату телефонного узла, повесил на вешалку пальто и берет, бросил на стол сигареты, положил рядом с ними деньги, включил контакты и сел.

Как только я сажусь на свое рабочее место, я успокаиваюсь, в ушах тихонько гудит, а я отвечаю: «Коммутатор» — и даю соединение, если кто-нибудь в доме набирает две цифры и загорается красная лампочка.

Пересчитав деньги, лежавшие на столе — у меня осталось марка и 20 пфеннигов,— я позвонил швейцару и, когда он отозвался, произнес:

— Говорит Богнер, доброе утро. Газета уже пришла?

— Нет еще,— ответил он,— я вам принесу, когда она придет.

— Что-нибудь произошло?

— Ничего особенного.

— Тогда до скорого.

— До скорого.

В половине девятого по телефону передали сводку, которую начальник канцелярии Брезген каждый день составляет для прелата Циммера. Они все дрожат перед Циммером, дрожат даже священники, которых перевели из приходов в управленческий аппарат. Он никогда не говорит «пожалуйста» или «спасибо»; когда он набирает номер и я отвечаю, мне становится как-то жутко. И каждое утро ровно в половине девятого он произносит:

— Прелат Циммер.

Я слышал, что сообщил Брезген: «Отсутствуют по болезни Вельдрих, Зикк, священник Хухель; без уважительной причины — священник Зоден».

— Что с Зоденом?

— Понятия не имею, господин прелат.

Я услышал, как Циммер вздохнул, он часто вздыхает, когда произносит фамилию Зодена; и на этом первый разговор закончился.

По-настоящему они начинают атаковать телефон около девяти. К нам звонят тогда из города, а от нас в город, и я заказываю междугородные разговоры; время от времени я подключаюсь и слушаю, что они говорят, и тогда я убеждаюсь, что словарный запас у этих людей тоже не превышает ста пятидесяти слов. Наиболее употребительные слова здесь «будьте осторожны». Их произносят беспрерывно; они фигурируют во всех разговорах.

— Левая печать нападает на речь е. п. Будьте осторожны.

— Правая печать совершенно замолчала речь е. п. Будьте осторожны.

— Христианская печать хвалит речь е. п. Будьте осторожны.

— Зоден отсутствует без уважительной причины. Будьте осторожны.

— В одиннадцать часов Больц дает аудиенцию. Будьте осторожны.

Е. п. — сокращенное обозначение его преосвященства, епископа.

Судьи по бракоразводным делам иногда говорят по-латыни, если речь идет о профессиональных делах; я всегда слушаю их разговоры, хотя не понимаю ни слова; голоса у них серьезные, и когда они смеются над латинскими остротами, это производит странное впечатление. Удивительно то, что оба они — и священник Пютц и прелат Серж — единственные люди в этом доме, которые мне симпатизируют. В одиннадцать часов Циммер позвонил секретарю епископа по особым делам:

— Придется возбудить протест против безвкусицы аптекарей — только будьте осторожны. Профанация шествия в честь св. Иеронима — настоящее издевательство. Будьте осторожны.

Через пять минут раздался ответный звонок секретаря епископа по особым делам.

— Его преосвященство направит протест частным порядком. Кузен преосвященства — председатель Союза аптекарей. Стало быть — будьте осторожны.

— Каковы результаты аудиенции с Больцем?

— Ничего определенного, но и впредь будьте осторожны.

Вскоре после этого прелат Циммер вызвал по телефону прелата Вейнера:

— Шесть переводов из соседней епархии.

— Что за люди?

— Двое — не выше чем на двойку, трое — на три с минусом, а один, кажется, хороший. Хукман. Из аристократической семьи.

— Знаю. Превосходная семья. Что было вчера?

— Безобразия, борьба продолжается.

— Что?

— Борьба продолжается — салат опять подавали с уксусом.

— Но вы же...

— Я категорически настаиваю на лимонах вот уже несколько месяцев. Уксус я не переношу. Это — открытое объявление войны.

— Кого вы подозреваете?

— В., — сказал Циммер, — это наверняка В. Я себя отвратительно чувствую.

— Безобразная история, мы еще об этом по-толкуем.

— Да, потом.

Итак, меня чуть было не вовлекли в борьбу, кото-рая, видимо, ведется с помощью уксуса.

Около четверти двенадцатого меня вызвал Серж.

— Богнер,— сказал он,— не хотите ли пойти в город?

— Мне нельзя отлучиться, господин прелат.

— Я распоряджусь, чтобы вас сменили на полчаса. Только дойти до банка. Если хотите, конечно. Надо же иногда проветриться.

— Кто меня сменит?

— Фройляйн Ханке. Моего секретаря нет, а Ханке не может идти из-за больного бедра. Пойдете?

— Да,— сказал я.

— Ну, вот видите. Приходите сразу, как только Ханке будет у вас.

Ханке пришла тотчас же. Каждый раз, когда она входит в комнату и я вижу странные движения ее тела,— я пугаюсь. Она всегда заменяет меня, если мне нужно отлучиться: пойти к зубному врачу или выпол-нить какое-нибудь поручение Сержа, которые он мне дает, чтобы я хоть на время переменил обстановку.

Ханке — высокая, худая и смуглая женщина, она заболела всего три года назад, когда ей было двадцать лет, и мне доставляет удовольствие смотреть на ее нежное, кроткое лицо. Она принесла цветы — лиловые астры, поставила их в кувшин на окне и только после этого подала мне руку.

— Идите,— сказала она,— как поживают ваши дети?

— Хорошо,— ответил я,— они чувствуют себя хо-рошо.

Я надел пальто.

— Богнер,— проговорила она улыбаясь,— вас виде-ли пьяным. Знаете, это на случай, если Циммер заго-ворит с вами.

— Благодарю вас,— сказал я.

— Вам бы не следовало пить.

— Знаю.

— А ваша жена,— спросила она осторожно,— как поживает ваша жена?

Я застегнул пальто и посмотрел на нее:

— Скажите все. Что говорят о моей жене?

Говорят, что у нее опять будет ребенок.
— Проклятье,— пробормотал я,— моя жена узнала об этом только вчера.

— А тайная осведомительная служба знала это уже раньше.

— Фройляйн Ханке,— сказал я,— что случилось?

Она ответила на телефонный вызов, соединила и улыбаясь посмотрела на меня:

— Ничего особенного, правда, ничего особенного; говорят, что вы пьете, что ваша жена беременна, и еще говорят, что вы довольно долгое время живете с женой врозь.

— Все верно.

— Ну, вот видите. Я могу вам только напомнить — остерегайтесь Циммера, Брезгена и фройляйн Хехт, но у вас в этом доме есть и друзья, друзей больше, чем врагов.

— Не думаю.

— Поверьте,— сказала она,— особенно среди клириков; почти все клирики хорошо к вам относятся,— она снова улыбнулась,— у вас с ними много общего — вы ведь не единственный, кто пьет.

Я засмеялся:

— Теперь скажите мне еще одну вещь: кто это медленно убивает Циммера уксусом?

— Вы не знаете? — она удивленно рассмеялась.

— Конечно, не знаю.

— Боже мой, пол-епархии смеется над этой историей, а как раз вы о ней не знаете, хотя находитесь в самом центре сплетен. Слушайте: у Вуппа, у декана Вуппа есть сестра, под ее началом вся кухня монастыря «Синий плащ Марии». Надеюсь, вам теперь понятно?

— Продолжайте,— сказал я.— Я ровным счетом ничего не понял.

— Циммер помешал производству Вуппа в прелаты. Ответный ход: за пятьдесят пфеннигов покупается бутылочка самого дешевого уксуса, и всякий раз, когда появляется Циммер, ее извлекают из укромного уголка на кухне монастыря «Синий плащ Марии». Ну, а теперь идите, Серж вас ждет.

Я кивнул ей. Каждый раз после разговора с Ханке у меня появляется странное чувство легкости; у нее особый дар облегчать всякие трудные вещи; самые

ядовитые сплетни превращаются в ее устах в эту милую игру, в которой вы тоже можете участвовать.

В окрашенном белой клеевой краской коридоре, который ведет к комнате Сержа, в стены вделаны причудливые статуи. Серж сидел за своим письменным столом, подперев голову руками. Он еще молод, на несколько лет моложе меня, но считается крупным специалистом в области семейного права.

— Доброе утро, господин Богнер,— сказал он.

— Доброе утро,— ответил я, подходя к нему.

Серж подал мне руку. Он обладает удивительной способностью: когда я встречаюсь с ним на следующий день после того, как занял у него деньги, ему всегда удается создать впечатление, будто он забыл о них. А может, он и впрямь забывает об этих деньгах. Его кабинет — одна из немногих неразрушенных комнат; главная ее достопримечательность — вычурный фаянсовый камин в углу; в кратком каталоге художественных памятников обращено особое внимание на то, что камин никогда не топили, поскольку курфюрст зимой жил в другом замке, поменьше. Серж передал мне несколько чеков и конверт с деньгами.

— Здесь шестьдесят две марки и восемьдесят пфенигов,— сказал он.— Прошу вас внести чеки и деньги на наш текущий счет. Вы помните номер?

— Помню.

— Хотелось бы избавиться от всего этого,— сказал он,— к счастью, послезавтра возвращается Вич, и я опять передам ему всю эту чепуху.

Он посмотрел на меня своими очень спокойными, большими глазами, и я понял — он ожидал, что я заговорю с ним о своих семейных делах. Действительно, он мог бы, вероятно, дать мне полезный совет; с другой стороны, для него моя жизнь — это просто любопытный прецедент, закулисная сторона которого ему интересна. На его лице отражались доброта и ум, я охотно поговорил бы с ним, но не могу себя заставить. Иногда мне кажется, что я предпочел бы поговорить с каким-нибудь грязным священником и даже исповедаться ему; я понимаю, конечно, что нельзя винить человека за то, что он любит чистоту, и особенно нельзя упрекать в этом Сержа, доброта которого мне известна, и все же безукоризненная белизна его воротничка и безупречный лиловый отворот, выгляды-

вающий из-под его сутаны,— все это удерживает меня от разговора с Сержем.

Сунув деньги и чеки во внутренний карман пальто, я поднял глаза и снова посмотрел в спокойные большие глаза Сержа, которые, казалось, не отрывались от моего лица. Я чувствовал, что он хочет мне помочь, что он все знает, но я знал также, что Серж никогда не заговорит первый. Я выдержал его взгляд, и он тихо улыбнулся; и внезапно я спросил его о том, о чем много лет хотел спросить кого-нибудь из священников:

— Господин прелат, вы верите в воскрешение из мертвых?

Я внимательно, не спуская глаз, наблюдал за его красивым чистым лицом, но ничего в нем не изменилось, и он спокойно сказал:

— Да.

— А вы верите...— продолжал я, но он прервал меня, поднял руку и спокойно ответил:

— Я верю во все. Во все, о чем вы хотите спросить меня. Иначе я бы тотчас снял с себя это одеяние и стал бы адвокатом по бракоразводным делам, расстался бы со всем этим ворохом бумаг,— он показал на большую связку папок, лежавшую на его письменном столе,— сжег эти бумаги, ибо тогда они были бы мне не нужны, не нужны и тем, кто мучается, потому что верит так же, как я.

— Простите,— проговорил я.

— За что? — сказал он.— По-моему, у вас больше прав задавать мне вопросы, чем у меня — вам.

— Не спрашивайте меня,— попросил я.

— Хорошо,— ответил он.— Но в один прекрасный день вы все же заговорите, правда?

— Да,— сказал я,— в один прекрасный день я заговорю.

Я взял у швейцара газету, еще раз пересчитал деньги на улице, у выхода, и медленно побрел в город. Я думал сразу о многом: о детях, о Кэте, о том, что сказал мне Серж, и о том, что говорила фройляйн Ханке. Все они были правы, один я был не прав, но никто из них, даже Кэте, не знал, как я сильно, действительно сильно скучал по детям и по Кэте тоже; и были мгновения, когда я верил, что один я прав, а все остальные — не правы, потому что все они умели красиво говорить, а я никогда не находил нужных слов.

Я подумал, не выпить ли мне чашку кофе и не

почитать ли газету; уличные шумы доносились до меня как бы издалека, хотя там, где я проходил, было особенно шумно. Какой-то торговец расхваливал свои бананы.

Остановившись перед витриной магазина Боннеберга, я посмотрел на демисезонные пальто и на лица манекенов, которые всегда внушают мне страх. Я пересчитал чеки в кармане пальто и удостоверился, что конверт с деньгами на месте, и вдруг мой взгляд скользнул по пассажиру, между витринами в магазине Боннеберга: я увидел женщину, тронувшую мое сердце и в то же время взволновавшую меня. Женщина была уже не очень молода, но красива; я видел ее ноги, зеленую юбку, видел жалкий коричневый жакет и зеленую шляпку; но прежде всего я заметил ее нежный и печальный профиль и на мгновение — не знаю, сколько это продолжалось, — у меня остановилось сердце; она была отделена от меня двумя стеклянными стенками; я увидел, как, думая о чем-то своем, она взглянула на платье в витрине, и я почувствовал, что сердце у меня вновь забилося; не отрывая глаз от профиля этой женщины, я вдруг понял, что это была Кэте. Потом мне опять показалось, что это кто-то чужой, на секунду меня охватило сомнение, мне стало жарко, я подумал, что схожу с ума, но вот она пошла дальше, я медленно пошел за ней, и когда увидел ее, уже не отделенную от меня стеклянными стенками, то убедился, что это действительно была Кэте.

Это была она, но она была иной, совсем иной, чем та женщина, образ которой я хранил в памяти. Все это время, пока я шел за ней по улице, она казалась мне одновременно то чужой, то очень знакомой, — моя жена, с которой я провел эту ночь, на которой был женат пятнадцать лет!

«Может быть, я в самом деле схожу с ума?» — подумал я.

Увидев, что Кэте вошла в магазин, я испугался, остановился возле тележки зеленщика и стал наблюдать за входом в магазин; и мне показалось, что голос зеленщика, который стоял вплотную ко мне, доносится откуда-то издалека, из подземного царства:

— Цветная капуста. Цветная капуста, два кочана — марка!

Я боялся — хоть это и было глупо, — что Кэте никогда больше не выйдет из магазина; я наблюдал за

входом, смотрел на ухмыляющегося желтолицего яванца из папье-маше, который держал чашку кофе у своего белозубого рта, и прислушивался к голосу зеленщика, доносившемуся ко мне словно из глубокого подземелья:

— Цветная капуста, цветная капуста, два кочана — марка!

И я думал об очень многом, не знаю точно о чем, а когда Кэте вдруг вышла из магазина, — я испугался. Она пошла по Грюнештрассе, очень быстро, и я вздрагивал, теряя ее на секунду из виду; но потом она остановилась перед витриной магазина детских игрушек, и я увидел ее печальный профиль, охватил взглядом всю ее, эту женщину, которая много лет лежала по ночам рядом со мной, с которой я расстался всего четыре часа назад, а сейчас чуть было не узнал.

Она обернулась, и я быстро спрятался за лоток уличного торговца; теперь я наблюдал, не боясь, что она меня заметит. Она заглянула в хозяйственную сумку, вынула оттуда записку и перечитала ее. Рядом со мной громко кричал уличный торговец:

— Если подумать, господа, что вы бреетесь в течение пятидесяти лет — целых пятидесяти лет — и что ваша кожа...

Но тут Кэте отправилась дальше, и я, не дослушав торговца, пошел за своей женой и, держась на расстоянии сорока шагов от нее, перешел через трамвайные линии, которые сходятся на Бильдонерплатц. Кэте остановилась перед цветочницей, и я увидел ее руки, ясно разглядел всю ее — ту, с которой связан больше, чем с любым другим человеком на земле: ведь мы не только вместе спали, вместе ели и разговаривали десять лет подряд, без перерыва — было время, когда мы вместе молились, а это связывает людей крепче, чем постель.

Она купила большие желтые и белые ромашки, потом медленно пошла дальше, очень медленно, хотя еще недавно так торопилась, и я знал, о чем она теперь думает. Она всегда говорит: «Я покупаю полевые цветы, потому что они растут на лугах, где так и не играли наши умершие дети».

Так мы шли друг за другом, и оба думали о детях, и у меня не хватало духу догнать ее и заговорить с ней. Я почти не различал шума вокруг — только откуда-то издали глухо доносился голос диктора, который барабанил мне в самое ухо: «Внимание, внимание, к выстав-

ке аптекарских товаров идет специальный трамвай по маршруту «Г». Внимание, внимание, к выставке аптекарских товаров...»

Мне казалось, что я плыву за Кэте по серой воде, и мое сердце так часто билось, что я не мог сосчитать его удары; и я опять испугался, когда Кэте вошла в монастырскую церковь и за ней захлопнулась черная, обитая кожей дверь.

Только сейчас я заметил, что сигарета, которую я закурил, проходя мимо швейцара в канцелярии, еще дымилась, я бросил ее, осторожно открыл дверь в церковь и услышал звуки органа; потом опять перешел через площадь, сел на лавочку и стал ждать.

Я ждал долго, пытаюсь представить себе, как было сегодня утром, когда Кэте садилась в автобус, но ничего не мог себе представить: я чувствовал себя потерянным, мне казалось, что я безвольно плыву, уносимый вдаль бесконечным потоком, и я ничего не замечал вокруг себя, кроме двери в церковь, из которой должна была выйти Кэте.

Но когда она действительно вышла, я не сразу понял, что это она; Кэте пошла быстрее, цветы с длинными стеблями она положила сверху в сумку; мне пришлось ускорить шаги, чтобы не отстать от нее, она быстро повернула обратно на Бильдонерплатц и опять пошла по Грюнештрассе; цветы качались в такт ее шагам; я почувствовал, что у меня вспотели руки, я шел, пошатываясь, а мое сердце лихорадочно колотилось.

Она замедлила шаги у витрины магазина Боннеберга, и мне удалось быстро проскользнуть в стеклянную галерею; я видел, что она стоит там, где только что стоял я, видел ее нежный и грустный профиль, наблюдал за тем, как она разглядывала мужские демисезонные пальто; и когда большая входная дверь магазина открылась, я услышал голос диктора:

— Пальто? — Покупайте у Боннеберга. Шляпы? — У Боннеберга. Костюмы? — У Боннеберга. Пальто, костюмы и шляпы — у Боннеберга самого лучшего качества!

Кэте отвернулась, перешла улицу и остановилась у киоска с фруктовой водой, и пока она клала деньги на стойку, брала сдачу и засовывала ее в кошелек, я опять смотрел на ее маленькие руки, наблюдал за еле уловимыми движениями этих рук, движениями, так хорошо знакомыми мне и причинявшими теперь такую резкую боль моему сердцу. Она налила фруктовую воду

в стакан, выпила ее, а из магазина раздался голос диктора.

— Пальто? — Покупайте у Боннеберга. — Шляпы? — У Боннеберга. Костюмы? — У Боннеберга. Пальто, костюмы и шляпы — у Боннеберга самого лучшего качества!

Она медленно отодвинула от себя бутылку и стакан, взяла в правую руку цветы, и я снова увидел, что она уходит; моя жена уходила, уходила та, которую я несчетное число раз обнимал, но так и не постиг. Она шла быстро и казалась обеспокоенной, все время она оборачивалась назад, а я в это время нагибался, стараясь спрятаться, но мне было больно, если ее шляпка на секунду терялась в толпе, и когда она подошла к остановке двенадцатого номера на Герстенштрассе, я быстро заскочил в маленькую пивную напротив.

— Рюмку водки, — сказал я, глядя прямо в красное лицо хозяина.

— Большую?

— Да, — сказал я и увидел, что по улице прошел двенадцатый номер, в который села Кэте.

— На здоровье, — сказал хозяин.

— Спасибо, — ответил я, залпом осушив большую рюмку.

— Повторить? — хозяин испытующе посмотрел на меня.

— Нет, спасибо, — сказал я, — сколько я должен?

— Восемьдесят.

Я положил марку; он медленно, продолжая испытующе смотреть на меня, отсчитал мне в руку двадцать пфеннигов сдачи, и я вышел.

Перейдя через Мольткеплатц, я не спеша пошел по Герстенштрассе обратно в канцелярию, сам не сознавая куда иду; я прошел мимо швейцара в коридор, выкрашенный белой краской, прошел мимо причудливых статуй, постучал в комнату Сержа и, хотя никто не отозвался, вошел.

Я очень долго сидел за письменным столом Сержа, смотрел на его папки, слышал, как звонил телефон, но не брал трубку. Я слышал, что в коридоре смеялись, потом телефон опять настойчиво зазвонил, но очнулся я только в тот момент, когда голос Сержа произнес за моей спиной:

— Ну, Богнер, уже пришли, так быстро?

— Быстро? — спросил я не оборачиваясь.

— Да,— сказал он смеясь,— не прошло еще и двадцати минут.

Но потом он встал передо мной, посмотрел на меня, и только по выражению его лица я увидел, что со мной творится что-то неладное; я увидел это и совсем очнулся, и я понял по его лицу, что он прежде всего подумал о деньгах. Он подумал, что с деньгами что-то случилось. Это я понял по его лицу.

— Богнер,— сказал он тихо,— вы заболели или вы пьяны?

Я вытащил из кармана чеки и конверт с деньгами и отдал все это Сержу, он взял их и, не глядя, положил на свой письменный стол.

— Богнер,— сказал он,— скажите мне, что случилось?

— Ничего,— сказал я,— ничего не случилось.

— Вам плохо?

— Нет, я думаю... просто мне пришла в голову одна мысль.

И, глядя на чистое лицо Сержа, я пережил все снова: я увидел Кэте, мою жену, услышал, как чей-то голос выкрикивает: «Пальто?» — снова увидел Кэте и всю Грюнештрассе, увидел, каким жалким был ее коричневый жакет, услышал, как кто-то выкрикивает объявление о специальном трамвае по маршруту «Г» к выставке аптекарей, увидел черную дверь церкви, увидел желтые ромашки на длинных стеблях, которые она купила на могилу моих умерших детей; кто-то прокричал: «Цветная капуста!» Я увидел и услышал все снова, увидел грустный и нежный профиль Кэте — как бы различил его сквозь лицо Сержа.

А когда он вышел, то я увидел на белой стене, над фаянсовым камином, который никогда не топили, желтолицего яванца из папье-маше, державшего чашку кофе у своего белозубого рта.

— Машину,— сказал Серж в телефонную трубку.— Немедленно машину.

Потом я снова увидел лицо Сержа, почувствовал прикосновение металла к своей ладони и, опустив глаза, разглядел блестящую монету в пять марок, и Серж сказал:

— Вам надо домой.

— Да,— сказал я,— домой.

РАССКАЗЫ, ЭССЕ



ERZÄHLUNGEN. ESSEYS

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Где-то там впереди начинался фронт. Всякий раз, как колонна грузовиков застревала в деревне, где по колесо в грязи суетились фельдфебель и солдаты с равнодушно-жестокими лицами, он решал, что они прибыли. Но колонна неизменно приходила в движение вновь, и от этого делалось страшно, ведь давно уже звуки боя слышались совсем рядом. Они миновали позиции тяжелой артиллерии, и теперь залпы орудий громыкали сзади, там, откуда тянулась колонна. А они упорно продвигались вперед. Было холодно, шинель не грела, как бы он ни старался укутаться получше и поднять куцый воротник. В тонких перчатках коченели руки, даже курить не хотелось, так было холодно, к тому же он чудовищно устал, глаза слипались, а задремать никак не удавалось, настолько ему было плохо. Его подташнивало от бензиновой вони, тревога неопределенности росла, никто из сидевших в кузове не пытался теперь нарушить молчание, а ведь обычно они не закрывали рта. Еще совсем недавно, в эшелоне, они гоготали дни напролет, хвастались своими женщинами и героическими подвигами, роскошными квартирами, оставшимися дома, и потрясающими профессиями. У всех без исключения оказались в прошлом роскошные квартиры и прекрасные специальности, зато сейчас они здорово присмирели, и по прерывистому дыханию слышно было, как все дрожат от холода. Машину подбрасывало на ухабах. Полуметровый слой грязи весь разворотили танковые гусеницы, лишь время от времени попадался след копыт. Бедные лошади, подумал он. Ему и в голову не пришло пожалеть солдат, месивших эту грязь ногами. Им повезло, что они на грузовике, но может, лучше было бы

тащиться пешком, хоть немного согрелись бы дорогой и не так быстро продвигались вперед...

Впрочем, теперь ему даже хотелось, чтобы все быстрее кончилось. Хотелось умереть. С каждым вздохом накачивал новый приступ тошноты. Причиной была не только находившаяся прямо под носом выхлопная труба, но и отвратительные испарения, исходившие от сидевших в кузове людей, все они — как и он сам — две недели уже не мылись как следует, только лицо и руки. Гнусное облако кисловатого, застарелого пота накачивало сзади. Кое-кто курил, ему же было так мерзко, что он был бы просто рад, если б кто-нибудь из сострадания приставил ему к виску пистолет и нажал курок...

Они все еще не добрались до передовой. Теперь уже пулеметы стрекотали совсем рядом, ему даже показалось, что сейчас они напрямик угодят в бой, да и деревня, через которую они как раз проезжали, выглядела по-настоящему прифронтовой. Солдаты в облепленных грязью сапогах и с отрешенными лицами фронтовых героев, увешанные орденами и озлобленные, а у фельдфебелей вид далеко не такой фельдфебельский, даже несколько лейтенантов попало ему на глаза, и еще полевая кухня, притулившаяся возле какой-то грязной хибары на раскуроченном дворе, сплошь залитом навозной жижей вперемешку с грязью, но и эту дыру они быстро миновали и все еще не добрались до передовой. Бог мой, подумал он, да где же, наконец, позиции пехоты?

Они остановились у небольшого, поросшего лесом холма. Где-то впереди прозвучала команда: «Всем с грузовиков!» — и он тотчас спрыгнул на землю, потоптался на месте, пытаясь согреться. Остальные сгружали материальную часть, ему пришлось принять пулемет, потом ящики с боеприпасами, вывалившиеся у него из рук прямо в жидкую грязь. Бледный, дрожащий от холода унтер-офицер тут же заорал на него. Он с удивлением взглянул на орущего. Неужели всем не наплевать? Пусть прикончат на месте, если им так хочется, ему и так тошно до смерти.

Он подхватил автомат, походное снаряжение, два ящика боеприпасов и бросился в кусты, потому что от головы колонны пришел приказ: всем с дороги. В кустах было сыро, кое-кто закурил, он тоже полез в карман за сигаретой. Он видел и слышал все, что происходило вокруг, и в то же время не видел и не слышал ничего.

Небо было сплошь серое, без единого просвета или темного пятнышка, должно быть, сейчас около пяти вечера, солдаты сидели на ящиках, кое-кто пытался размяться, но затею пришлось оставить: почва вокруг была сырая, болотистая. Сырая настолько, что во все стороны из-под ног летели брызги. Говорили мало. Неподалеку возле лейтенанта собрались унтер-офицеры, на тропинке, ведущей в лесок, появился капитан со списком в руках. Капитан был еще очень молод и почему-то сразу набросился на лейтенанта, лейтенант слушал его, стоя навзрыд. Совсем неподалеку, буквально метрах в десяти, снова застрекотал пулемет, ему отозвался другой, и он понял: хрипловатые, низкие, чуть замедленные очереди — это пулемет русских. На секунду он ощутил нечто вроде волнения, потом вновь пришло страшное равнодушие.

Капитан в заляпанных грязью сапогах и с невыносимо юным лицом в чем-то настойчиво убеждал лейтенанта и унтер-офицеров.

Он швырнул окурок в сторону и повернулся к ближайшему соседу. Было холодно, и он долго разглядывал неясную фигуру, пока до него не дошло, что это Карл. Карл, тихий незаметный человек, не проронивший за дорогу почти ни слова, уже немолодой и с обручальным кольцом, он казался ему всегда чудовищно ограниченным и туповатым.

— Карл, — тихо произнес он.

— Чего тебе? — спокойно спросил Карл.

— У тебя не найдется попить?

Карл кивнул и завозился с фляжкой, висевшей сбоку от вещевого мешка. Он нащупал крышку, отвинтил ее и приставил горлышко ко рту: с первым же глотком он понял, как до ужаса ему все это время хотелось пить. Он даже застонал от удовольствия, делая большие жадные глотки.

Вдруг унтер-офицер закричал: «Строиться!» — и Карл боязливо вырвал флягу у него из рук и снова прицепил к вещмешку. Унтер-офицеры построили подразделения на лесной тропе, следуя друг за другом, все направились за капитаном в лес.

Он вспомнил вкус воды.

Жажда была невыносимой, он с трудом подавил искушение броситься на землю и вдоволь напиться из лужи. Дорога показалась ему знакомой. Невысокие, больше похожие на кустарник деревца, покачивающиеся

на ветру тонкие буковые стволы, сырая коричневая земля, бесконечное серое небо и хлюпающая, размытая тропа. Впереди капитан, в чем-то убеждавший лейтенанта, и унтер-офицеры рядом со своими подразделениями, — точь-в-точь как на учебном плацу, когда они направлялись на занятия по стрельбе... Все это нелепость, и вовсе они не в России, нет позади тысяч километров, и не привез их сюда эшелон для того только, чтобы их здесь убили или сгноили холодом. Все просто дурной сон.

Стрельба впереди звучала теперь ровно и даже красиво, пулеметные очереди, отдельные выстрелы, иногда — орудийные залпы.

Внезапно они остановились, он поднял голову: они стояли у барака, спрятавшегося под деревьями возле дороги. За ним находились еще строения, дальше в лесу он увидел землянки, вход в них закрывал брезент, от них тянулись телефонные провода, и даже кухня стояла неподалеку, возле какого-то полуразвалившегося сарая. Им снова пришлось сойти с тропинки, укрыться под хилыми, жалкими деревцами. Из землянок вышло несколько солдат, среди них унтеры и один лейтенант. Лица у них были равнодушные, и он снова подумал: нет, это не Россия. Все здесь было до ужаса само собой разумеющимся. У солдата, направившегося к ним, висел на плече автомат, он курил трубку. Ему всегда казалось, что когда они окажутся на передовой, на самой настоящей передовой, все будут смотреть на них с презрением, потому что они ни разу не участвовали в боях. Но никто с презрением на них не смотрел, скорее равнодушно и немного с жалостью.

Как здорово они разыгрывают здесь войну, подумал он. Все удивительно взаправду, хорошо бы и стрельба была взаправду, тогда меня скоро убьют. Тошнота так и не отпустила, раскалывалась голова, кисловатая, омерзительная дрянь поднималась откуда-то из нутра, подступала к горлу, казалось, она заполняла все сосуды, все клетки тела. Он старался глубже дышать, на какие-то доли секунды свежий воздух дарил облегчение. Удивительно взаправду они играют, подумал он, потому что солдат, подошедший к ним, направился теперь к унтер-офицеру и бросил:

— На третью.

— Слушаюсь, — ответил унтер-офицер, и солдат взглянул на него с изумлением.

— Тогда двигай,— сказал он и напрямиком направился в лес, а за ним унтер-офицер и все они строем. Со своим ящиком боеприпасов он оказался предпоследним.

Пошатываясь, брел он за идущим впереди сквозь редкий буковый кустарник, и ему было чудовищно холодно и вообще невыносимо плохо...

Вдруг солдат, за которым они шли, бросился на землю, крикнул:

— Ложись!

В тот же миг впереди ударил миномет. Это было совсем рядом: он услышал жутковатый тихий свист, ощутил легкий порыв ветра, потом раздался взрыв и хилое буковое деревце надломилось, стало медленно падать. Он хорошо разглядел белую с зеленоватым оттенком мякоть расщепленного ствола. Взметнувшиеся вверх комья земли шлепнулись в жидкую грязь совсем рядом. Лежать было наслаждением. И хотя он точно знал, что все это взаправду, что они в России, в самом деле в России и уже почти что на передовой, он всем телом ощущал одно лишь наслаждение — лежать как следует вытянувшись. И пусть сырость и холод пробирают до костей, ему было теперь плевать.

Господи, взмолился он, сделай так, чтобы следующее попадание было в меня... Но солдат впереди уже поднялся и крикнул:

— Двигай!

Они потащились дальше и скоро достигли опушки. Солдат подождал, пока подтянулись замыкающие, и принялся что-то объяснять. Он слушал, не вникая, ему было наплевать, никогда прежде ему не было так на все наплевать. Теперь от холода он буквально стучал зубами. Перед ними расстилалось огромное, сплошь перепаханное взрывами поле, на нем выделялся обгоревший танк с красной звездой. А слева и справа от танка находились позиции. Все выглядело, как на учебном плацу. Обычные траншеи и окопы, и еще он увидел тот самый строчивший пулемет, только теперь его очереди словно звучали тише, чем когда они подъехали на грузовике. Пулемет стрелял по развалинам дома, стоявшего в конце поля, он увидел, как пули крошат глинобитную стену, как сыплется известка, и тут откуда-то совсем с другой стороны забил низкими, хриплыми, замедленными очередями другой пулемет, он бил прямо по опушке, где стояли они все. Приведший их

солдат вновь растянулся на земле, теперь они не стали дожидаться, пока он крикнет: «Ложись!» — пуля уже зацепила одного из них, он лежал на земле и кричал, кричал ужасно, а пулемет все бил и бил в их сторону.

Он хотел броситься к товарищу, по голосу он узнал, что это Вилли, но двое уже лежали, согнувшись, рядом с ним и перевязывали раненую ногу. Он отчетливо услышал, как одна из очередей полоснула по мягкому стволу молодого деревца. Несколько отскочивших рикошетом пуль с жужжанием унеслись в неизвестность.

Увидев, что остальные осторожно отползают назад, он тоже пополз, хотя от усталости и тошноты все плыло перед глазами. Назад ползти было трудно, пулемет бил теперь по головам, и жутко было слышать, как пули позади вонзаются в мягкую лесную почву, в молодые буковые стволы, нанося свежие зеленовато-белые раны. А потом вновь ударил миномет, еще и еще, теперь разрывы слышались кругом, пополз жутковатый смрад, кто-то закричал, потом еще один. Он не разобрал, кто кричит, ему хотелось одного — уснуть, он закрыл глаза и тоже закричал, он кричал и кричал, не ведая, что бог уже услышал его молитву...

1946

ВЕСТЬ

Знакомы ли вам такие глухие углы, где, непонятно почему, возникла железнодорожная станция, где над несколькими грязными домишками и полуразрушенной фабрикой словно застыла великая бесконечность, а поля вокруг как бы обречены на вечное бесплодие, где вдруг ощущаешь какую-то безысходность, так как кругом не видно ни единого деревца, ни одной церковной колокольни? Человек в красной шапке, наконец-то, наконец подавший знак к отправлению поезда, скрывается под большой вывеской, на которой выведено чрезвычайно звучное название, и можно подумать, что ему только за то и платят деньги, что он, укрывшись скукой, как одеялом, спит по двенадцать часов в день. Пустынные поля, никем не возделываемые, опоясывает подернутый серой завесой горизонт.

И все-таки я был не единственный, кто сошел здесь; из соседнего купе вылезла старуха с большой коричневой картонкой, но, когда я покинул маленький, душный

вокзальчик, она словно сквозь землю провалилась, и на мгновение я растерялся: я не знал, у кого спросить дорогу. При взгляде на немногочисленные кирпичные домики с грязно-желтыми гардинами на слепых окнах казалось, что они не могут быть обитаемы. К тому же это подобие улицы пересекала черная, готовая, того гляди, рухнуть стена. Не решаясь постучать ни в один из мертвых кирпичных домишек, я направился к угрюмой стене, свернул за угол и рядом с помятой вывеской, на которой еле можно было прочесть: «Трактир», увидел ясное и четкое название улицы, выведенное белыми буквами на голубой табличке: «Главный проспект». Отсюда опять шел кривой ряд облупленных фасадов, а напротив — та же длинная угрюмая фабричная стена без окон, точно ограда вокруг царства безнадежности. Доверяясь лишь своему чутью, я свернул налево, но здесь городок как-то сразу обрывался; метров на десять еще тянулась фабричная стена, а там уже начинались ровные серовато-черные поля, подернутые зеленой дымкой; далеко-далеко они сливались с серым горизонтом, и меня вдруг охватило страшное чувство, мне представилось, будто я на краю света, передо мной бездонная пропасть и эта молчаливо манящая пучина полной безнадежности неумолимо притягивает меня.

Слева стоял маленький, будто приплюснутый домик, какие строят для себя рабочие после трудового дня; шатаюсь, чуть не падая, я поплелся к нему. Открыв простую и трогательную калитку, обвитую облетевшим шиповником, я увидел номер на доме и понял, что я у цели.

Зеленоватые, давно выцветшие ставни были накрепко закрыты, точно приклеены; низкая крыша, до края которой я мог дотянуться рукой, была заплатана ржавыми листами жести. Стояла невыносимая тишина, был тот час, когда серые сумерки на мгновение задерживаются, чтобы затем перелиться через края dalej. С минуту я помедлил перед дверью, жалея, почему я не умер... тогда... вместо того чтобы стоять здесь и думать, что должен войти в этот дом. Я уже поднял руку и собрался постучать, как вдруг услышал из комнат воркующий женский смех, тот самый загадочный смех, от которого, смотря по настроению, у нас либо светлеет на душе, либо теснит грудь. Во всяком случае, так смеется женщина только когда она не одна, и я опять помедлил и почувствовал, как растет у меня в груди

жгучее желание броситься в серую бесконечность вечерних сумерек, повисшую над простором полей и влекущую, неодолимо влекущую меня к себе... и я из последних сил застучал кулаком в дверь.

Вначале все стихло, потом послышался шепот, затем шаги, бесшумные шаги в ночных туфлях... Дверь открылась, и я увидел светло-русую розовую женщину — я невольно подумал о тех непередаваемых источниках света, которые до последнего уголка изнутри освещают темные полотна Рембрандта. Пламенея золотисто-рыжими красками, она возникла передо мной, как луч света среди серо-черной беспредельности; слегка вскрикнув, женщина попятилась и дрожащей рукой схватилась за дверь, но, когда я снял свою солдатскую фуражку и хриплым голосом произнес: «Добрый вечер», судорога испуга, перекосившая это на редкость бесформенное лицо, исчезла, женщина подавленно улыбнулась и сказала: «Да». В глубине небольших сеней появилась мускулистая мужская фигура, сливавшаяся с сумерками.

— Я хотел бы видеть госпожу Бринк,— тихо сказал я.

— Да,— беззвучным голосом повторила женщина и нервно толкнула дверь. Мужская фигура скрылась в темноте. Я вошел в тесную комнатку, заставленную убогой мебелью и насквозь пропахшую дешевыми кушаньями и очень дорогими сигаретами. Белая рука женщины метнулась к выключателю, и когда свет упал на ее лицо, оно показалось мне бледным и одутловатым, почти мертвенным; только светлые рыжеватые волосы сохраняли жизнь и тепло. Все еще трясущимися руками она судорожно стягивала на тяжелой груди темно-красное платье, хотя оно было наглухо застегнуто... как будто боялась, что я могу вонзить в нее кинжал. Взгляд ее водянистых голубых глаз выражал испуг, ужас, точно она стояла перед судом, уверенная в неумолимом приговоре. Даже дешевые олеографии на стенах были точно вывешенные напоказ улики обвинения.

— Не пугайтесь,— сказал я сдавленным голосом и в ту же секунду понял, что ничего хуже этих слов нельзя было придумать, но она, не дав мне договорить, неестественно спокойным голосом произнесла:

— Я все знаю, его нет в живых... он умер.

Я мог только кивнуть. Потом сунул руку в карман,

чтобы достать все то, что сохранилось от вещей покойного, но в эту минуту грубый мужской голос позвал в сенях: «Гитта!» Она с отчаяньем посмотрела на меня, рванула дверь и визгливо закричала:

— Неужели нельзя подождать пять минут... окаянный!.. — и с шумом хлопнула дверью. Я представил себе, как этот сильный мужчина трусливо уполз за печь. Она взглянула на меня воинственно, почти торжествующе.

Я медленно положил на зеленую бархатную скатерть обручальное кольцо, часы и солдатскую книжку с затасканными фотографиями между листками. Женщина вдруг всхлипнула иступленно и страшно, как животное. Лицо ее расплылось, сплющилось и одрябло, и сквозь короткие мясистые пальцы брызнули мелкие светлые слезинки. Она рухнула на диван, оперлась правой рукой о стол, машинально перебирая левой жалкие вещички. Воспоминания, видимо, тысячами мечей пронзали ее. И я понял, что война никогда не кончится, никогда, пока где-нибудь на земле еще кровоточит нанесенная ею рана.

Как смехотворную ношу, я сбросил с себя все — брезгливость, страх и безнадежность, я положил руку на содрогавшееся пышное плечо, и когда женщина удивленно подняла на меня глаза, я впервые уловил в ее лице сходство с той красивой, милой девушкой, чью фотографию, вероятно, сотни раз разглядывал... там...

— Где это случилось... садитесь же... на востоке? — Я видел, что она вот-вот опять разразится слезами.

— Нет... на западе, в плену... нас было свыше ста тысяч...

— А когда? — Ее глаза вдруг странно ожили, взгляд стал напряженным, настороженным, и все лицо разгладилось и помолодело, как будто жизнь ее зависела от моего ответа.

— В июле сорок пятого, — тихо сказал я.

Некоторое время она словно что-то соображала и вдруг улыбнулась, и улыбка эта была чистой и невинной, и я догадался, почему она улыбнулась.

Внезапно, бог весть отчего, мне показалось, что дом сейчас рухнет и погребет меня под своими обломками. Я встал. Ни слова не говоря, она открыла дверь, жестом приглашая меня выйти первым, но я упрямо

ждал, пока она не прошла вперед. Протягивая мне маленькую пухлую руку, женщина сказала, судорожно всхлипнув:

— Я это знала, знала уже тогда, три года назад, когда провожала его на вокзал! — И, понизив голос, тихо добавила: — Не презирайте меня.

Я был потрясен: боже мой, неужели я похож на судью? И прежде чем она могла помешать этому, я поцеловал ее маленькую, мягкую руку — в первый раз в жизни поцеловал руку женщине.

Уже стемнело, и я, точно скованный страхом, с минуту еще постоял перед запертой дверью. Я слышал, как женщина плачет, громко и исступленно, она прильнула к двери, и только толщина дверной доски отделяла ее от меня, и в этот миг я действительно пожелал, чтобы дом рухнул и похоронил ее под собой.

Потом я медленно, ощупью, с надсадной осторожностью, добирался до вокзала, каждое мгновение боясь провалиться в пропасть. В мертвых домах светились тусклые огоньки, и казалось, что поселок теперь намного, намного больше. Даже за черной стеной горели слабые лампочки, как будто освещающая бесконечно большие дворы. Тяжелая тьма сгустилась, сырая, туманная и непроницаемая.

Кроме меня, в зале ожидания, где гуляли сквозняки, сидела, зябко забившись в угол, пожилая супружеская чета. Я долго ждал, засунув руки в карманы и нахлобучив фуражку на уши: от рельсов тянуло холодом, и ночь спускалась все ниже и ниже, как гигантская гиря.

— Чуть побольше бы хлеба да табаку,— пробормотал у меня за спиной старик. А я то и дело нагибался и снизу глядел на рельсы, на две параллельные полосы, бегущие под неяркими огнями вдаль, все сужаясь и сужаясь.

Но вот рывком распахнулась дверь, и человек в красной фуражке, воплощенное служебное рвение, прокричал, как в зале ожидания большого вокзала:

— Пассажирский поезд на Кёльн. Опоздание — один час тридцать пять минут!

Мне показалось вдруг, что я на всю жизнь попал в плен.

С ТЕХ ПОР МЫ ВМЕСТЕ

Странно: ровно за пять минут до начала облавы я вдруг почему-то заволновался. Я боязливо огляделся вокруг, медленно двинулся по набережной к вокзалу и совсем не был удивлен, когда увидел, что сюда мчится целая туча грузовиков, битком набитых полицейскими в красных фуражках. Полицейские оцепили квартал, блокировали все входы и выходы и начали проверку документов. Все это произошло в мгновение ока. Я стоял как раз за оцеплением и спокойно закурил, в то время как многие там, в кольце, побросали недокуренные сигареты. «Жаль», — подумал я и невольно прикинул в уме, сколько сейчас валяется на земле зря потраченных денег. Грузовики быстро наполнялись задержанными. Франц тоже оказался среди них. Он безнадежно махнул мне рукой, словно говоря: что поделаешь, судьба! Один из полицейских обернулся, чтобы поглядеть, кому это он сигналил. Тогда я побрел прочь. Я шел медленно, очень медленно. Господи, хоть бы и меня забрали! Топать в свою конуру мне не хотелось, и я поплелся к вокзалу. Костылем я сшибал камушки, которые попадались мне на пути. Солнце припекало, а с Рейна дул легкий ветер и тянуло прохладой.

В зале ожидания я передал официанту Фрицу двести сигарет и сунул полученные деньги в задний карман брюк. Теперь при мне товара больше не было, осталась только одна пачка — для себя. Я долго терся в толпе и в конце концов нашел свободный стул и заказал себе чашку бульона и сто граммов хлеба. Тут я снова увидел Фрица, он кивал мне издали, но мне не хотелось вставать с места. Тогда он сам протиснулся ко мне. Из-за его спины выглядывал коротышка Маусбах, носильщик. Оба они были явно возбуждены.

— Ну и нервы у тебя, парень, — пробормотал Фриц и, покачав головой, ушел, оставив возле меня коротышку Маусбаха. Тот никак не мог отдышаться.

— Ты... — начал он, запинаясь. — Ты должен смыться, понял?.. Они обыскали твою конуру и нашли кокаин. Понял?

Со страха он захлебывался слюной. Я потрепал его по плечу, чтобы успокоить, и дал двадцать марок.

— Ладно, — сказал он и засеменил прочь.

Но тут мне в голову пришла одна мысль, я встал и окликнул его:

— Послушай, Хайни, не мог бы ты припрятать где-нибудь мои книжки и пальто? Недельки через две я вернусь. А все остальное барахло, которое там есть, возьми себе...

Он кивнул. На него можно положиться. Я это знал.

«Жаль — восемь тысяч марок загремели ко всем чертям. До чего же все зыбко,— подумал я.— До чего зыбко...»

Когда я вновь уселся, небрежно сняв сумку со стула, я почувствовал на себе несколько любопытных взглядов, но тут же словно утонул в гудящей толпе. Нигде я не был бы в таком абсолютном одиночестве, один на один со своими мыслями, как здесь, среди этой немислимой толчеи и суматохи зала ожидания,— это я знал твердо.

Вдруг я почувствовал, что мой равнодушный невидящий взгляд, бесцельно блуждающий по залу, почему-то все время застревает на одном и том же месте, словно его там что-то приковывает. Застревает помимо моей воли, потом стремительно скользит дальше, нигде не задерживаясь, и снова на том же месте застревает.

Я очнулся, словно от глубокого сна, и посмотрел туда уже видящими глазами. Через два столика от меня сидела девушка в светло-бежевом пальто и желтовато-коричневой шапочке, из-под которой выбивалась прядь черных волос. Девушка читала газету. Я видел ее склоненную фигуру, кончик носа и тонкие, спокойные руки. Ноги ее я тоже видел — красивые, стройные и... чистые. Да, представьте себе, чистые ноги. Не знаю, как долго я смотрел на нее. Время от времени она переворачивала газетный лист, и тогда я видел часть ее лица. Вдруг она откинула голову и на миг подняла на меня серые глаза, серые и отчужденные. Затем она вновь уткнулась в газету.

Этот недолгий взгляд прямо вонзился в меня.

Я упорно не сводил с нее глаз, и сердце у меня почему-то забилося. Наконец она прочла газету, облокотилась о крышку стола и каким-то невероятно отчаянным жестом взяла стакан с пивом и отхлебнула глоток. И тут я увидел ее лицо. До чего же оно было бледно! Тонкий маленький рот, прямой, благородной формы нос и глаза, эти огромные, серьезные серые глаза! Как траурный креп, падали на плечи волнистые пряди черных волос.

Не знаю, сколько времени я глядел на нее: двадцать минут, час или больше. Она все чаще и со все большим беспокойством останавливала на мне свой печальный взгляд. На ее лице не было и тени того возмущения, которое бывает в таких случаях у молодых девушек. Только тревога и страх.

Мне совсем не хотелось ни тревожить ее, ни пугать, но я не мог отвести от нее глаз.

В конце концов она порывисто встала, перекинула через плечо старый хлебный мешок и торопливо вышла из зала.

Я пошел за ней следом. Не оборачиваясь, она поднималась по лестнице к контролю. Я не выпускал ее из виду ни на мгновение. Пока я торопливо, на ходу покупал перронный билет, она успела пройти далеко вперед. Зажав костыль под мышкой, я попробовал бежать. Я едва не потерял ее в мрачном тоннеле, который вел к перрону. Догнал я ее уже наверху. Она стояла, опершись о полуразрушенную стенку бывшего перронного павильона. словно в оцепенении глядела она на рельсы и даже не обернулась, когда я подошел.

Холодный ветер с Рейна врывается под свод крытого перрона. Смеркалось. На платформе столпилось много народу со свертками, рюкзаками, ящиками, чемоданами. На лицах у всех было какое-то затравленное выражение, люди неприязненно косились в ту сторону, откуда дул ветер, и зябко ежились. Впереди, охваченное полукругом свода, спокойно синело небо, расчерченное на квадраты решеткой перекрытия.

Я медленно ковылял по платформе, время от времени поглядывая, не ушла ли девушка. Но всякий раз оказывалось, что она все еще стоит в той же позе, чуть согнув колени и прислонившись к разрушенной стенке перронного павильона. Она не сводила глаз с рельсов, блестящих на дне неглубокой черной выемки.

Наконец поезд, пятясь, медленно вполз под перронный свод. Я загляделся на паровоз, а девушка тут же вскочила в один из вагонов и скрылась в купе. Я потерял ее из виду и какое-то время не мог найти. Но вдруг в окне последнего вагона мелькнула ее желтая шапочка. Я быстро вошел в купе и сел как раз против нее. Мы сидели так близко, что почти касались коленями друг друга. Она посмотрела на меня спокойно и серьезно, только чуть сдвинув брови, но по выраже-

нию ее больших серых глаз я понял: она все это время знала, что я следую за ней по пятам. И пока мчавшийся поезд погружался во мглу сгущающихся сумерек, мой взгляд беспомощно цеплялся за ее лицо. Я был не в силах вымолвить слово. Поля за окном потонули во тьме, и силуэты деревень тоже поглотила ночь. Стало холодно.

«Где я буду нынче спать? — думал я. — Где найти хоть немного покоя?.. Если бы я мог уткнуться лицом в эти черные волосы... Больше мне ничего не надо, ничего...»

Я закурил. Она каким-то удивительно зорким взглядом скользнула по пачке сигарет. Я протянул ей пачку и сказал хрипло:

— Пожалуйста!

Мне вдруг показалось, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из грудной клетки. С минуту она колебалась, и, несмотря на полумрак, я заметил, что она покраснела. Потом решила и взяла сигарету. Она курила жадно, глубокими затяжками.

— Вы очень щедры, — сказала она как-то глухо и загадочно. А когда из соседнего купе до нас донесся голос проводника, мы, словно по команде, откинулись назад и притворились спящими. Но все же я увидел сквозь неплотно сжатые веки, что она засмеялась. Проводник вошел в наше купе, я исподтишка следил за тем, как он освещает фонариком билеты и что-то на них отмечает. Потом яркий свет ударил мне прямо в лицо. Луч дрожал, и я понял, что проводник, видно, колеблется, будить меня или нет. Потом свет перескочил на нее. До чего же она была бледна, как печально белел ее лоб!

Сидевшая рядом со мной толстуха вдруг схватила проводника за рукав и зашептала ему что-то на ухо. Я расслышал только:

— Американские сигареты... едут зайцем...

Проводник грубо тряхнул меня за плечо.

Когда я тихо спросил ее, куда ей ехать, в купе воцарилась мертвая тишина. Она назвала станцию, и я купил туда два билета, да еще уплатил штраф. Проводник ушел, но наши попутчики продолжали хранить ледяное, презрительное молчание, и в этой затянувшейся паузе удивительно тепло и вместе с тем чуть насмешливо прозучал ее голос:

— И вам туда же?

— Могу и туда... У меня там друзья. А постоянного места жительства у меня нет.

— Вот как,— только и сказала она в ответ и снова откинулась на спинку сиденья.

Купе потонуло в темноте, и я видел ее лицо лишь изредка, когда на какое-то мгновение его освещал пролетающий мимо фонарь.

Когда мы сошли с поезда, было уже совсем темно. Темно и тепло. Мы очутились на вокзальной площади и увидели, что городок уже крепко спит. Домики под сенью нежной зелени дышали покоем и безмятежностью.

— Я вас провожу,— сказал я тихо.— Такая темнень...

Тогда она вдруг остановилась. Это было как раз у фонаря. Она посмотрела на меня в упор и сказала, с трудом разжимая губы:

— Если бы я только знала, куда...

Лицо ее встрепенулось, как платок от дуновения ветра. Нет, мы не стали целоваться. Мы медленно вышли из города и в конце концов залезли в стог сена. У меня, конечно, не было никаких друзей в этом тихом городке, который был для меня таким же чужим, как любой другой. Под утро, когда стало холодно, я подполз к ней вплотную, и она накрыла меня полкой своего тоненького пальто. Так мы грели друг друга своим дыханием и своей кровью.

С тех пор мы вместе — это в наше-то время!

1947

УБИЙСТВО

— Старик, похоже, рехнулся,— сказал я, понизив голос.

— Скорее просто напился. Он всегда напивается перед наступлением. Вот так-то, дружище.

Я не ответил, и Хайни, устало ворочая языком, продолжил:

— Накачается под завязку, так что ничего уже не видит и не слышит, и давай орать: «Вперед! На врага! Плевать я хотел на эту их отвагу...» Да ты никак спишь? — рука его скользнула в мою сторону, он дернул за ремень.

— Отстань,— раздраженно буркнул я,— не сплю. Размышляю, как бы отсидеться. Совсем почему-то не хочется пасть смертью храбрых. Помнишь, в прошлый раз пятнадцать ребят остались лежать на поле. Драпанули мы тогда со всех ног, а старик чуть не лопнул от злости, глотку так драл, что даже охрип...

— Ничего не поделаешь, дружище, впереди русские, позади пруссаки, а посерединке мы, на крошечной полоске земли, и нужно суметь выжить...

Где-то впереди взмыла в воздух ракета, осветив на мгновение жалкую развороченную землю мертвенно-бледным сиянием...

— Ты только посмотри! — воскликнул вдруг Хайни.— Эти идиоты оставили свет! Берегись, сейчас грохнет!

Позади, там, где у подножия холма разместился командный пункт, слетело, должно быть, затемнение у входа в блиндаж, в световом проеме обозначился человеческий силуэт, затем снова стало темно; ракета тоже погасла, растворилась в бескрайней тьме...

— Стариковская берлога это была, угодили бы они поблизости, а еще лучше прямым, и сорвалось бы завтрашнее наступление...

Мы быстро пригнулись, услышав впереди легкий хлопок, через пару секунд раздался взрыв, и позади у подножия холма вырвался из-под земли черно-красный огненный столб, потом все стихло; мы напряженно прислушивались, пытаясь уловить шум, крики, стоны, но было тихо...

— Пронесло, должно быть,— зло пробормотал Хайни.— А было бы в самом деле здорово — одно прямое попадание, и завтра на двадцать покойников меньше...

Мы отвернулись наконец от холма, погрузив лица в черную как смола ночь...

— Сидит сейчас там и высиживает, сволочь, коньяк хлещет и высиживает свой гениальный план...

— Дрыхнет уже, наверное,— устало возразил я.

— Но свет-то у него горел.

— А у него вечно свет горит, даже когда дрыхнет; пару раз меня посылали к нему с донесением. На столе две свечки горят, а он дрыхнет. Храпит себе во всю пасть, здорово, должно быть, надравшись...

— Так,— только и произнес Хайни, но что-то в этом «так» заставило меня мгновенно сбросить дре-

моту. Я взглянул во тьму, где он находился, прислушался к его дыханию.

— Так,— повторил он, и я дорого бы дал, чтоб увидеть сейчас его лицо, но удалось разглядеть лишь смутные очертания силуэта, выделявшегося темным пятном на фоне темной ночи, и тут я услышал, как он карабкается вверх из окопа; комочки земли скапались с бруствера на дно, слышно было, как он, кряхтя, пытается выбраться наверх...

— Что случилось? — с тревогой спросил я, страшно было оставаться одному в этой дыре.

— Мне тут нужно отлучиться по серьезному делу, срочно нужно, брюхо схватило, а это надолго может быть.

Он был уже наверху, слышались удаляющиеся вправо шаги, потом вязкая тьма поглотила все звуки...

Оставшись в одиночестве, я потянулся к бутылки с самогоном, на ощупь нашел ее сразу, под прохладным металлом пулеметного ствола. Выдернув пробку, протер ладонью горлышко и сделал мощный глоток. Первое ощущение мерзкое, зато потом по телу медленно разлилось приятное тепло; я сделал еще глоток и еще, через мгновение глотнул опять, потом, скорчившись на дне окопа и укрывшись под накидкой, закурил трубку. Теперь я уже не боялся. Опершись на локоть и прикрыв лицо руками, так что оставалось лишь крошечное пространство для трубки, я чуток задремал...

Меня разбудил неровный жутковатый гул ночного бомбардировщика, кажущаяся ветхость которого таила коварство и точнейший расчет. У нас были основания их бояться. И где только носит Хайни, подумал я, озираясь. И тут увидел невероятное: позади, у подножия холма, там, где находился командный пункт, в ночи выделялось огромное светлое пятно — вход в блиндаж без светомаскировки, да еще ярко горевшая свеча в центре. Донеслись взволнованные голоса людей, заметавшихся вокруг, маскировку спешно восстановили, но было уже поздно, в тот же миг гул бомбардировщика смолк на секунду и на месте светлого пятна полыхнул огненный смерч, скоро растворившийся во тьме. Стало очень тихо, я представил, как все вокруг, сжавшись в комок и дрожа, пытаются вжаться в землю. Но бомбардировщик продолжил свой неторопливый полет. Только теперь с холма слышались громкие

крики, шум земляных работ. Там разрывали и долбили каменистую почву, извлекали обрушившиеся балки...

Наконец-то справа явился Хайни; он устало скатился в окоп, проклиная весь белый свет.

— Ну и пронесло меня, черт возьми, целый час, наверное, маялся там. Дай-ка флягу, дружище...

Голос его звучал ровно, но когда я протянул ему бутылку, дожидаясь, пока его рука на ощупь найдет мою, я почувствовал, как его бьет дрожь. Он пил частыми жадным глотками, с трудом переводя дыхание, и мне показалось, что вокруг стало еще темнее и еще тише.

— А знаешь, — сказал Хайни чуть позже, — старика-то убило. Прямо в его блиндаж. Прямым. Думаю, он ничего не почувствовал, пьян ведь был...

1948

ЧЕЛОВЕК С НОЖАМИ

Юпп небрежно играл ножом, держа его перед собой за кончик лезвия. Это был длинный, источенный нож для резки хлеба, как видно очень старый. Внезапно он рывком подбросил его вверх. Жужжа и вращаясь, словно пропеллер, нож взвился в воздух — лезвие рыбкой сверкнуло в лучах заходящего солнца. Ударившись о потолок, он перестал вращаться и понесся вниз, прямо на голову Юппа. Тот мгновенно прикрыл голову толстым деревянным брусом. Нож вошел в дерево с сухим треском и, немного покачавшись, застрял там. Юпп снял с головы брусок, вырвал из него нож и злобно с силой бросил его в дверь. Лезвие вибрировало и дрожало в дверной филенке до тех пор, пока нож не вывалился и не упал на пол...

— Будь оно проклято! — сказал Юпп тихо. — Я рассчитывал наверняка: заплатив за билет, люди больше всего любят смотреть номера, в которых исполнитель ставит на кон свою жизнь, совсем как в цирках Древнего Рима! Они, по меньшей мере, должны знать, что тут *может* пролиться кровь, понимаешь?

Он поднял нож и швырнул его в верхнюю перекладину оконной рамы, почти не размахиваясь, но с такой силой, что задребезжало стекло, — казалось, сухая, раскрошившаяся замазка не удержит его и

оно вот-вот выпадет из рамы. Этот бросок, точный и властный, воскресил в моей памяти мрачные картины недавнего прошлого: в блиндаже перочинный нож Юппа словно оживал и, отскакивая от его руки, вприпрыжку взбирался и вновь спускался по бревну, подпиравшему свод.

— Я готов на все, чтобы угодить почтенной публике,— продолжал он.— Я, пожалуй, и уши бы себе отрезал, только навряд ли кто-нибудь возьмется пришить их обратно. А разгуливать без ушей — слуга покорный. Для этого не стоило из плена возвращаться. Пойдем-ка со мной!

Он распахнул дверь, пропустил меня вперед, и мы вышли на лестничную клетку. Обои со стен давно уже пошли на растопку, клочья их сохранились лишь в тех местах, где они были особенно плотно приклеены. Пройдя мимо ванной комнаты, заваленной разным хламом, мы вышли на небольшую веранду, бетонный пол которой растрескался и порос мхом. Юпп поднял руку.

— Чем выше бросаешь нож, тем больше эффекта, разумеется. Но обязательно нужно какое-нибудь препятствие наверху, чтобы нож ударился в него и перестал вращаться. Тогда он быстро упадет прямо на мою никому не нужную голову. Вон, посмотри...— Он указал наверх, где торчали железные балки обвалившегося балкона.— Здесь я тренировался целый год. Гляди...

Он подбросил нож вверх, и снова, как и в прошлый раз, нож полетел удивительно плавно и равномерно, с легкостью птицы, взмывающей в воздух. Потом он ударился о балку, понесся вниз с захватывающей дух быстротой и с силой врезался в подставленный брусок. Вынести такой удар было нелегко, не говоря уж об опасности. Но Юпп и глазом не моргнул. Лезвие вошло в дерево на несколько сантиметров.

Великолепно, старина! — воскликнул я.— Великолепно! Уж тут-то успех обеспечен! Это же настоящий номер.

Юпп хладнокровно вытащил нож из бруска и, сжав рукоятку, рассек им воздух.

— Он и идет, мне платят по двенадцать марок за выход. Между двумя большими номерами меня выпускают на сцену побаловаться с ножом. Но все тут слишком просто. Я, нож, деревяшка — и больше ни-

чего. Понимаешь? Вот если была бы еще полуголая бабенка и ножи свистели бы мимо ее носа, тогда публика пришла бы в восторг. Но попробуй найди такую бабенку.

Тем же путем мы вернулись в комнату. Юпп осторожно положил нож на стол, поставил рядом деревянный брусок и зябко потер руки. Потом мы уселись на ящике у печки. Помолчали. Вынув из кармана кусок хлеба, я спросил:

— Ты поужинаешь со мной?

— С удовольствием, только погоди, я заварю кофе. А потом пойдем вместе, посмотришь мой выход, ладно?

Он подбросил дров в печку и пристроил над огнем котелок.

— Просто хоть плачь,— сказал он.— Может быть, у меня слишком серьезный вид? Смахиваю все еще на фельдфебеля, что ли?

— Вздор! Ты никогда и не был фельдфебелем. Слушай, ты улыбаешься, когда они тебе аплодируют?

— А как же! И кланяюсь при этом.

— У меня бы это не вышло. Не могу я улыбаться на похоронах.

— Это ты зря. Как раз на таких похоронах и надо улыбаться.

— Не понимаю тебя.

— Да ведь они же не мертвецы. Перед тобой живые люди, как ты не понимаешь этого!

— Понять-то я понял, только не верится что-то...

— Обер-лейтенант в тебе все еще жив, вот что! Ну да ничего, пройдет со временем. Да пойми же ты, господи боже мой, мне просто приятно позабавить этих людей! Души у них застыли, а я щекочу их немного, за это мне и платят. Быть может, хоть один из них вспомнит обо мне, придя домой. «А ведь этот парень с ножом, черт возьми, ничего не боится,— скажет он себе,— а я всего боюсь». Они и впрямь всего боятся. Они волокут за собой страх, как собственную тень. Вот я и радуюсь, если они, забыв о страхе, посмеются немного. Разве не стоит ради этого улыбнуться?

Я молча ждал, пока закипит вода. Юпп заварил кофе в коричневом котелке, и мы пили по очереди из того же котелка и закусывали моим хлебом. За окном понемногу смеркалось. В комнату вливался мягкий, молочно-серый туман.

— Чем ты, собственно, занимаешься? — спросил Юпп.

— Ничем... Стараюсь продержаться.

— Профессия не из легких!

— Да, за кусок хлеба мне приходится разбивать в щебенку по меньшей мере сотню камней в день.

— Так... Хочешь, покажу еще один трюк?

Я кивнул. Он встал, зажег свет и, подойдя к стене, откинул висевший на ней коврик. На красноватом фоне стены ясно выделялся человеческий силуэт, грубо намалеванный куском угля. Голова силуэта была увенчана странным вздутием, изображавшим, очевидно, шляпу. Присмотревшись внимательней, я обнаружил, что фигура была нарисована на двери, искусно закрашенной под цвет стены. Я с интересом следил за тем, как Юпп достал из-под убогой кровати изящный коричневый чемоданчик и поставил его на стол. Потом он подошел ко мне и выложил передо мной четыре окурка.

— Сверни по одной, только потоньше, — сказал он.

Не переставая наблюдать за ним, я пересел поближе к печке, к ее ласковому теплу. Пока я осторожно высыпал табак из окурков на бумагу, в которую был завернут хлеб, Юпп открыл чемодан и извлек оттуда какой-то необычного вида чехол. В таких матерчатых сумках с многочисленными кармашками внутри наши матери хранили обычно столовое серебро из своего приданого. Юпп быстро развязал шнурок, который стягивал скатанный в трубку чехол, и расстелил его на столе. Я увидел роговые ручки дюжины ножей. В те далекие времена, когда наши матери еще кружились в вальсе, такие ножи называли «охотничьим набором».

Я разделил поровну табак из окурков и свернул две сигареты.

— Вот, — протянул я Юппу одну из них.

— Вот, — повторил он. — Спасибо.

Потом он пододвинул ко мне ножи.

— Это все, что сохранилось от имущества моих родителей. Остальное сторело, погребено под развалинами, а то, что уцелело, растащили. Когда я, оборванный и нищий, вернулся из плена, у меня ни черта не было, буквально ничего, пока одна почтенная пожилая дама, приятельница моей матери, не разыскала меня и не передала мне вот этот славенький чемо-

данчик. Оказывается, мать оставила его у нее за несколько дней до рокового воздушного налета. Так он избежал общей участи. Странно, не правда ли? Впрочем, ты сам знаешь, что люди, охваченные страхом смерти, почему-то бросаются спасать самые ненужные вещи, а нужные оставляют. Так вот я стал владельцем чемодана со всем его содержимым: коричневым котелком, дюжиной вилок, дюжиной ножей и ложек и большим ножом для резки хлеба. Вилки и ложки я продал, выручки мне хватило надолго, на целый год, а ножи — тринадцать ножей — я оставил себе и начал тренироваться. Гляди...

Я зажег в печке клочок бумаги, прикурил от него сам и протянул Юппу. Приклеив к нижней губе дымящуюся сигарету, он скатал чехол, прикрепил его за шнурок к верхней пуговице своей куртки, у плеча, и развернул вдоль руки. Теперь казалось, что руку покрывает странно изукрашенная кольчуга. С невероятной быстротой стал он выхватывать ножи из карманчиков, и прежде чем я понял, что он делает, ножи молниеносно полетели, один за другим, в черный силуэт на стене. Силуэт этот походил на те, что примелькались нам в конце войны. Они зловеще глядели на нас с плакатов, словно предвестники близкой катастрофы... Два ножа торчали в шляпе, по два — над плечами и по три — вдоль линии опущенных рук...

— Здорово! — воскликнул я. — Здорово, черт возьми! Но такой номер нужно еще подать.

— Не хватает партнера, а еще лучше — партнерши. Эх, да что говорить!.. — Он вытащил ножи из двери и аккуратно уложил их в мешочек. — Разве их сыщешь! Женщины боятся, мужчины запрашивают слишком дорого. Впрочем, я их понимаю: номер действительно опасный.

Он вновь так же молниеносно забросал ножами фигуру на стене. Но на этот раз черный силуэт с изумительной точностью оказался рассеченным на две половины. Тринадцатый, большой нож, словно смертоносная стрела, торчал посреди рисунка, там, где у людей бьется сердце.

Затянувшись в последний раз из тонкой самокрутки, Юпп бросил за печку жалкий окурок.

— Пойдем, — сказал он, — нам пора. — Он высунул голову в окно, пробормотал что-то насчет проклятого

дождя и добавил: — Сейчас около восьми, а в половине девятого мой выход.

Пока он укладывал ножи в кожаный чемоданчик, я в свою очередь выглянул в окно. Дождь шелестел в полуразрушенных виллах, казалось, они тихо плачут. Из-за стены тополей, зыбко колыхавшихся в сумерках, до меня донесся скрежет трамвая. Но часов нигде не было видно.

— Откуда ты знаешь, который теперь час?

— Чувствую. Это тоже результат тренировки.

Я посмотрел на него с недоумением. Он помог мне надеть пальто, потом сам надел свою спортивную куртку. Плечо у меня полупарализовано, и подвижность руки ограничена — размаха хватает как раз настолько, чтобы разбивать камни. Мы нахлобучили шапки и вышли в темный коридор. Из других комнат доносился смех, и я обрадовался, что слышу голоса живых людей.

— Видишь ли,— говорил Юпп, спускаясь по лестнице,— я стараюсь постичь еще неведомые законы космоса. Вот, смотри...

Он поставил чемодан на ступеньку и распротер руки. Так на некоторых античных фресках изображали Икара, стремящегося взлететь. На его бесстрастном лице появилось странное выражение какой-то вдохновенной отрешенности. Ужас охватил меня.

— И вот,— продолжал он тихо,— я врываюсь, да, врываюсь в пустоту, чувствую, как мои руки становятся все длинней и длинней, как они охватывают эту пустоту, в которой властвуют иные законы. Я разрываю завесу, отделяющую меня от них. Необыкновенные токи, полные колдовской силы, пронизывают пространство там, наверху. Я вбираю их, овладеваю ими и уношу с собой.— Он судорожно стиснул кулаки и почти вплотную прижал их к телу.— Пойдем,— сказал он, и лицо его приняло прежнее, безразличное выражение. Потрясенный, я побрел за ним...

Моросил холодный, затяжной дождь. Поеживаясь, мы подняли воротники. Шли молча, погруженные в свои мысли. Вечерний туман, в котором уже проглядывала синева наступающей ночи, растекался по улицам. Кое-где в подвалах разрушенных домов, под нависшей черной громадой развалин, поблескивали тусклые огоньки. Улица незаметно перешла в размытый проселок. Мрачные дощатые бараки, окруженные

чахлами садиками, плыли по обе стороны дороги в сгустившихся сумерках, словно разбойничьи джонки по медководью. Потом мы пересекли трамвайные пути и углубились в узкие ущелья городской окраины, где среди развалин и мусора уцелело несколько закопченных домов. Неожиданно мы вышли на широкую, оживленную улицу. Поток прохожих донес нас до угла, и мы свернули в темный переулок. Лишь яркая реклама варьете «У семи мельниц» отражалась в мокром асфальте.

У подъезда было безлюдно. Представление давно уже началось. Из-за потертых красных портьер доносился гул голосов. Юпп с улыбкой указал мне на одну из фотографий в витрине, на которой он в костюме ковбоя обнимал двух нежно улыбавшихся танцовщиц в трико, затканых золотой мишурой.

«Человек с ножами»,— гласила подпись под фотографией.

— Пойдем,— повторил Юпп, и не успел я опомниться, как он втащил меня за собой в узкую дверь, которую с первого взгляда трудно было заметить.

Мы стали подниматься по крутой, плохо освещенной винтовой лестнице. Судя по смешанному запаху пота и грима, сцена была где-то рядом. Юпп шел впереди. Неожиданно он остановился на повороте лестницы, поставил чемодан на ступени и, схватив меня за плечи, тихо спросил:

— Хватит ли у тебя мужества?

Я так долго ждал этого вопроса, что теперь, внезапно услышав его, испугался. Должно быть, я выглядел не очень храбро, когда ответил:

— Мужества отчаяния...

— Это именно то, что нужно!— воскликнул он со сдавленным смешком.— Ну, так как же?

Я молчал. Нас вдруг оглушил громовой хохот. С силой взрывной волны он выплеснулся откуда-то сверху на узкую лестницу, и я невольно вздрогнул, словно от холода.

— Я боюсь,— сказал я тихо.

— Я тоже. Ты не веришь в меня?

— Нет, отчего же... Ну да ладно... Пойдем,— хрипло выдавил я и, подтолкнув его вперед, добавил:— Мне все равно.

Мы вышли в тесный коридор, по обе стороны которого размещалось множество кабинок с фанерными

перегородками. Мимо нас прошмыгнули какие-то пестрые фигуры. Сквозь щель в убогих кулисах я увидел на сцене клоуна, беззвучно шевелившего огромным намалеванным ртом. Снова донесся до нас дикий хохот толпы, но тут Юпп втокнул меня в одну из кабинок, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Я огляделся. Клетушка была почти пуста. Зеркало на голой стене, костюм ковбоя, висевший на единственном гвозде, да пухлая колода карт на колченогом стуле, больше ничего не было. Юпп нервно засуетился; он снял с меня намокшее пальто, сорвал со стены ковбойский костюм, швырнул его на стул, повесил мое пальто и сверху свою куртку. Потолка в кабинке не было. Глянув поверх фанерной стены, я увидел электрические часы на выкрашенной в красный цвет дорической колонне. Было двадцать пять минут девятого.

— Пять минут! — пробормотал Юпп, надевая костюм ковбоя. — Может быть, прорепетируем?

В этот момент кто-то постучал в дверь и крикнул:

— Приготовиться!

Юпп застегнул куртку и надел широкополую шляпу. Натянуто рассмеявшись, я сказал:

— Ты что же, хочешь приговоренного к смерти сперва казнить для пробы?

Он схватил чемоданчик и потащил меня за собой. У выхода на сцену какой-то лысый мужчина наблюдал за ужимками клоуна, заканчивавшего свой номер. Юпп зашептал что-то ему в ухо, слов я не разобрал. Мужчина испуганно посмотрел на меня, потом на Юппа и решительно замотал головой. И Юпп снова стал что-то шептать ему.

Мне было уже все равно. Пусть хоть на вертел меня насаживают. Рука у меня висела как плеть, я ничего не курил с утра, кроме тонкой сигареты, а завтра мне предстояло за полбуханки хлеба разбить в щепень семьдесят пять камней. Завтра?..

Шквал аплодисментов, казалось, снесет кулисы. Клоун с усталым, искаженным лицом вывалился из-за кулис к нам в коридор, постоял немного все с тем же угрюмо-тоскливым видом и вновь пошел на сцену, где раскланялся, любезно улыбаясь. Оркестр сыграл туш. Юпп все еще шептал что-то на ухо лысому. Клоун трижды возвращался за кулисы и трижды вновь выходил на сцену, улыбался и раскланивался. Но вот

оркестр заиграл марш, и Юпп с чемоданчиком в руке бодро зашагал на сцену. Его приветствовали жидкими хлопками. Усталым взглядом я следил за тем, как он наколот несколько игральных карт на гвозди, вбитые, видимо, специально для этой цели, и стал один за другим метать в них ножи, неизменно попадая в центр карты. В публике захлопали сильнее, но все же довольно вяло. Потом под тихую дробь барабанов он проделал номер с большим ножом и бруском. Несмотря на охватившее меня безразличие, я почувствовал, что получается и впрямь жидковато. Напротив, по другую сторону подмостков, за Юппом наблюдали несколько полураздетых девиц.. И тут лысый мужчина вдруг схватил меня, вытащил на сцену и, поприветствовав Юппа торжественным взмахом руки, произнес деланно важным голосом полицейского:

— Добрый вечер, господин Боргалевски!

— Добрый вечер, господин Эрдменгер,— ответил Юпп тем же напыщенным тоном.

— Я вам тут конокрада привел, господин Боргалевски. Редкий мерзавец! Пощекочите-ка его вашими ножичками, повесить всегда успеется! Нет, каков негодяй!..

Его кривлянье показалось мне нелепым, вымученным и жалким, как бумажные цветы и скверные рюмяна. Бросив взгляд в зрительный зал, я понял, что очутился лицом к лицу с многоголовым похотливым чудовищем, которое, казалось, напряглось в мерцавшем полумраке и приготовилось к прыжку. С этого момента мне стало на все наплевать.

Яркий свет прожекторов ослепил меня. В своем потрепанном костюме и нищенских ботинках я, наверное, и впрямь смахивал на конокрада.

— Оставьте его мне, господин Эрдменгер, уж я этого парня обработаю на совесть.

— Да, всыпьте ему как следует — и не жалейте ножей!

Юпп схватил меня за воротник, а господин Эрдменгер, ухмыляясь и широко расставляя ноги, удалился за кулисы. Откуда-то на сцену выбросили веревку, и Юпп привязал меня к подножию дорической колонны, к которой была приставлена раскрашенная бутафорская дверь. Безразличие словно опьянило меня. Справа из зрительного зала доносился непрерывный жуткий шорох. Я почувствовал, что Юпп был прав, когда го-

ворил о кровожадности толпы. Дрожь нетерпения, казалось, заполняла затхлый, сладковатый воздух. Тревожная дробь барабанов в оркестре перемежалась приглушенной сентиментально-блудливой мелодией, и этот дешевый эффект лишь усиливал впечатление отвратительной трагикомедии, в которой должна была пролиться настоящая кровь, оплаченная кровь актера... Уставившись в одну точку прямо перед собой, я расслабил мускулы, стал оседать вниз: Юпп и в самом деле крепко привязал меня. Под затихающую музыку Юпп деловито вытаскивал ножи из пробитых карт и укладывал их в сумку, время от времени бросая на меня мелодраматические взгляды. Спрятав последний нож, он повернулся лицом к публике и голосом, неестественным до омерзения, произнес:

— Господа, сейчас на ваших глазах я очерчу ножами силуэт этого человека. Прошу убедиться, у меня нет тупых ножей!

Он вытащил из кармана шпагат и с ужасающим спокойствием, доставая один за другим ножи из сумки, разрезал его на двенадцать равных частей; каждый нож он снова клал в сумку.

Я смотрел в это время куда-то вдаль, мимо Юппа, поверх кулис и полуголых девиц по ту сторону сцены; мне казалось, что я вглядываюсь в какой-то иной мир...

Напряжение в зрительном зале наэлектризовало воздух. Юпп подошел ко мне, сделал вид, будто затягивает потуже веревку, и ласково прошептал мне на ухо:

— Только совсем-совсем не шевелись и не бойся, дорогой мой!

Напряжение уже достигло предела, и эта последняя заминка могла привести к преждевременной развязке. Но тут Юпп вдруг отпрянул в сторону. Его распростертые руки рассекли воздух, словно взметнувшиеся птицы, и на лице появилось выражение колдовской сосредоточенности, так поразившее меня тогда на лестнице. Казалось, эти жесты заморозили и зрителей. Мне послышался какой-то странный сдавленный стон, и я понял, что это Юпп дал мне знак приготовиться.

Я перевел свой взгляд, устремленный в бесконечную даль, на Юппа, который стоял теперь прямо напротив меня. Глаза наши встретились. Тут он поднял руку, потом медленно потянулся к сумке с ножами,

и снова я понял, что он предупреждает меня. Я замер и закрыл глаза...

Меня охватило чувство блаженства. Быть может, прошло всего две секунды, быть может, двадцать, не знаю. Я слышал тихий свист ножей, чувствовал, как колыхался воздух, когда они вонзались в фанерную дверь позади меня, и мне казалось, что я иду по бревну над бездонной пропастью... Иду уверенно, хотя всем телом ощущаю смертельную опасность... Боюсь и в то же время наверняка знаю, что не упаду... Я не считал ножей и все же открыл глаза в ту самую секунду, когда последний, пролетев мимо моей правой руки, вонзился в дверь.

Гром аплодисментов окончательно вывел меня из оцепенения. Я широко открыл глаза и увидел побелевшее лицо Юппа, который бросился ко мне и дрожащими пальцами распутывал веревку. Потом он потянул меня на середину сцены, прямо к рампе. Он раскланялся, я тоже раскланялся. Под нарастающий грохот аплодисментов он указал на меня, я — на него. Он улыбнулся мне, я улыбнулся в ответ, и, улыбаясь, мы вновь раскланялись.

Вернувшись в кабинку, мы не произнесли ни слова. Юпп швырнул на стул продырявленную колоду карт, снял с гвоздя мое пальто и помог мне одеться. Потом он повесил на место ковбойский костюм и шляпу и надел куртку. Мы взяли шапки. Когда я открыл дверь, в комнату ввалился давешний лысый толстяк.

— Сорок марок за выход! — крикнул он и протянул Юппу несколько бумажек.

Я понял, что служу теперь под началом Юппа, и, посмотрев на него, улыбнулся, а он улыбнулся мне в ответ.

Юпп взял меня под руку, и мы спустились рядом по узкой, плохо освещенной лестнице, пропитанной застарелым запахом грима. У подъезда он сказал с усмешкой:

— Теперь пойдем за сигаретами и хлебом.

И только час спустя я понял, что приобрел настоящую, хотя и нетрудную, профессию. Мне достаточно было постоять неподвижно и помечтать, закрыв глаза. Недолго, секунд двенадцать, быть может, двадцать. Я стал человеком, в которого бросают ножами...

Ко мне пришел туз, я радостно поставил на банк, потом пришла девятка, и я сказал:

— Хватит.

Фипс открыл свою карту, у него была десятка; он ухмыльнулся, ведь в банке, как ни крути, находилось сто двадцать венгерских пенгё. Медленно взял он следующую карту, это оказалась дама, потом он вытянул короля и вновь ухмыльнулся. Увидев, что он тянется за четвертой картой, ухмыльнулся уже я... Он, однако, не успел взглянуть на нее, оба мы в мгновение бросились на землю, ибо в воздухе раздался странный, нежный, почти неуловимый свист. Наши лица побелели, как полотно. Справа в лесу раздался взрыв, а вслед за ним ужасный, нечеловеческий вопль, внезапно оборвавшийся. И снова тишина. Все еще сжимая в руке четвертую карту, Фипс взглянул на меня и тихо произнес:

— Это Альфред. Поди проверь, что с ним.

Кругом по-прежнему было тихо, и тут мы снова вздрогнули — в соседнем блиндаже зазвонил телефон. Фипс стремительно кинулся туда, расшвыряв оставшиеся в колоде карты и едва не сорвав светомаскировку. Я слышал, как он отрапортовал в трубку, выпалив свое звание и фамилию, потом ответил «так точно», еще раз «так точно», и после небольшой паузы «так точно» в третий раз.

Он вышел, все еще сжимая в руке карту. Лицо его выражало полную растерянность. Чисто механически сунул он карту под унтер-офицерский погон на левом плече.

— Что случилось? — спросил я без особой тревоги.

— Какого черта! — заорал он в ответ. — Почему ты до сих пор здесь? Почему не отправился проверить Альфреда?

В глазах у него застыл ужас, и я простил ему этот крик, я даже не решился спросить, кто звонил.

Он проводил меня до опушки и показал провод, которого следовало держаться, чтобы выйти на Альфреда.

С полчаса назад Альфред отправился устранять повреждение на линии. Я еще раз обернулся: Фипс стоял в укрытии, и на лице у него застыло новое и

такое непривычное выражение страха, прислонившись к стенке окопа, он глядел на расстилавшуюся перед ним полосу искореженной земли. Я взял провод в руки и направился в полную неизвестности чащу. Сапоги Альфреда оставили след в зарослях папоротника, и я шел прямо по следу; через некоторое время я с тревогой заметил, что тропинка остается справа и почти теряется из виду, так что провод и в самом деле тянулся в неизвестность. В лесу было тихо, так тихо, что меня испугал звук собственных шагов, легкий, чуть слышный шорох приминаемой сапогами травы, царапающий звук цепляющихся за одежду вьюнов, тяжелое упругое покачивание оставшейся на кустах ежевики...

Внезапно я ощутил, что провод в моих руках натянулся, я дернул его несколько раз — безуспешно. Впереди его держал, должно быть, камень, упавший на землю сук или еще что-то тяжелое. Я дернул сильнее и тут обнаружил впереди, всего в нескольких шагах, место, где чем-то придавило провод. Охваченный тревогой, я подбежал ближе и только тогда увидел Альфреда, лежавшего навзничь в серой своей солдатской форме. В тот же миг я рухнул на землю, обнаружив вдруг, что стою у края открытой поляны, подобно гигантской воронке спускающейся вниз с обрыва, я медленно подполз ближе, вглядываясь поверх неподвижного тела в незнакомую открывшуюся равнину, наполненную гнетущей тишиной. Среди лугов внизу тек ручей, дальше вздымался обрывистый склон без единого дерева.

Только теперь я взглянул на Альфреда. Его застывший взгляд устремлен был в небо, невольно я проследил направление, увидел густую зеленую крону и облака, и сразу понял, почему Альфред перед смертью улыбался и почему поза его так спокойна. Правой рукой он сжимал трубку контрольного аппарата, склонив голову вправо, он словно прислушивался к чему-то перед смертью. Я осторожно прикрыл ему глаза и выдрал из окоченелых рук провод, потом обхватил туловище руками и медленно, ползком, потащил в лес... Стояла тишина, какая бывает только на войне. От неслышного шелеста летнего леса звенело в ушах, и хотя откуда-то издалека доносилась задумчивая мелодия орудий, тишина была сильнее. Извлекаемая солдатскую книжку Альфреда из нагрудного кар-

мана, я случайно оперся ему на грудь и услышал вдруг странный хлюпающий звук, словно кто-то выжал мокрую губку. Испуганно я приподнял тело и обнаружил на спине огромную, размером почти с кулак рваную рану, вокруг которой лохмотьями висела пропитанная кровью одежда. Я опустил тело на землю, снял ненужную уже стальную каску и застыл, разглядывая мальчишеский лоб без морщин и мальчишеский рот, улыбавшийся всего полчаса назад, когда Альфред весело ставил ва-банк. И тут я закричал от ужаса, закричал во весь голос, плохо понимая, что делаю:

— Альфред! Альфред!!

Мне показалось, будто он слегка шевельнулся, но тут меня вновь вернул к реальности тот угрожающе тихий, шелестящий звук, словно где-то поблизости вспыхнул тюк ваты... Я бросился на землю рядом с Альфредом и сразу же услышал взрыв слева, там, где оставался Фипс. И снова тишина. Я сдернул аппарат с Альфредова плеча, подключил его к линии, набрал номер.

— Киршкерн, коммутатор,— ответил равнодушный голос.

— Прошу Киршкерн три! — крикнул я и зачем-то повторил,— Киршкерн три.

Я услышал, как он воткнул штекер в гнездо и принялся крутить диск, воцарилась особая казенная тишина, слышно было лишь негромкое потрескивание в трубке, снова и снова набирал телефонист номер, потом произнес:

— Киршкерн три не отвечает.

— Повреждение на линии? — спросил я с надеждой.

— Нет, связь нормальная, просто там, должно быть, никого нет.

Я быстро спрятал солдатскую книжку Альфреда, отключил аппарат и бросился назад по собственному следу; спрыгнув в окоп, я какое-то время прислушивался, но кругом было тихо, и я, пригнувшись, двинулся вперед, пока не наткнулся на тело Фипса...

Его было почти невозможно узнать, грудная клетка разворочена, лицо в крови, кости раздроблены, только плечи остались невредимы, и под левым унтер-офицерским погоном торчала забытая карта; я извлек ее: это был король...

— Двадцать одно,— сказал я тихо,— ты выиграл.

Потом я вернулся в укрытие, где лежал наш банк, взял все денежные купюры и разорвал в мелкие клочки, а клочки развеял над ним, словно белые цветы.

В этот миг зазвонил телефон, перепрыгнув через труп Фипса, я бросился в блиндаж, схватил трубку и выпалил свое звание и фамилию; ответом мне была казенная тишина и, повинувшись какому-то смутному чувству, я произнес: «Так точно», только теперь я понял ужас, застывший в Фипсовых глазах; трубка по-прежнему молчала, и я сказал еще раз громко, с издевкой: «Так точно», а потом, подчиняясь закону троицы, произнес то же самое снова, на сей раз скромно и с достоинством: «Так точно»; потом я положил трубку, вышел наружу, прислонился, как Фипс, к стенке окопа и стал дожидаться ее, проклятую...

1949

ПРИЧИНА СМЕРТИ: НОС КРЮЧКОМ

Когда лейтенант Хегемюллер вернулся на отведенную ему квартиру, узкое бледное лицо его нервно подергивалось, взгляд потух и весь его обрамленный светлыми волосами лик больше походил на дрожащую от ветра мишень. Весь день просидел он в своей радиорубке, принимая и передавая какие-то сообщения, и все это под жуткий, невысказанный аккомпанемент пулеметных очередей, выплескивающих далеко на окраине города в тусклый, невыразительный день; вновь и вновь раздражались пулеметы безумным, истеричным смехом, и он не мог, никак не мог отрешиться от мысли, что каждая отдельная жемчужина из этого смертоносного ожерелья означает уничтоженную или раненую жизнь, человеческое тело, катящееся вниз по пыльному склону! А еще каждые полчаса с дьявольской периодичностью гроыхал на окраине глухой взрыв, и он не мог отрешиться от сознания, что эти взрывы, похожие на отдаленные раскаты уходящей грозы, заменяют работу могильщиков, гигиеническую, так сказать, работу, он знал, что в результате взрыва еще одна часть склона каменоломни обрушится и погребет под собой урожай последнего получаса, погребет всех, мертвых и еще живых...

В тысячный раз лейтенант вытер бледное, потное лицо, толкнул с проклятьем дверь своего убежища,

ввалился в комнату и рухнул со стоном на стул. Дальше, дальше, все дальше мчалась ополоумевшая, разъяренная машина смерти, и ее стрекочущий, изматывающий нервы звук казался ему визгом чудовищной пилы, надвое распиливающей небо, и лишь когда искоренные небеса рухнут на землю, дневная ее работа будет завершена. Его то и дело тянуло взглянуть, не видны ли уже на небе следы разрушения, и тогда на мгновение подергивающееся лицо его показывалось в окне, он хотел убедиться, на самом деле хотел убедиться, не покосился ли уже серый небесный свод, подобно палубе корабля, медленно погружающегося в морскую пучину: он словно наяву слышал уже мрачное клокотание темных вод, подстерегающих потерпевший крушение всемирный корабль и готовых с деловитым спокойствием разнести его в щепы.

Его бил озноб, дрожащими руками он закурил сигарету, понимая, что должен как-то бороться с подступающим безумием. Ибо он знал, что тоже виновен. Он чувствовал, как его вместе со всеми втокнули в каменное чрево всеобщей вины, в этот кошмар, где перемалываются и перемалываются человеческие жизни. Ни боль, от которой он страдал, ни безмерный ужас, ни смертельный страх не могли избавить его от ощущения, что это он расстреливает там людей и что его расстреливают тоже. Никогда еще прежде так отчетливо не ощущал он принадлежности своей к всечеловеческой вселенской родине, к миру божьему.

Вновь и вновь принималась за страшный свой труд неистовствующая, скрежещущая пила смерти. Потом наступало несколько минут чудовищной тишины, когда даже птицы трепетали в своих гнездах, и наконец взрыв; заряд с взрывчаткой, заложенный в основание склона, заменял работу несметного числа могильщиков; и снова пулеметные очереди одна за другой, бесконечная цепь очередей, и каждый отдельный выстрел — прямо в сердце лейтенанту Хегемюллеру.

Но вдруг он услышал другой звук, очень тихий, похожий на женский плач. Он насторожился, потом вскочил с места, вышел в сени и секунду-другую прислушивался, потом распахнул дверь в кухню и замер смущенно на пороге: русская хозяйка дома стояла на коленях, стиснув кулаками виски, и рыдала, рыдала так, что слезы каплями стекали с ее блузки на пол.

На мгновение лейтенанта охватило странное, отрешенное любопытство: слезы, подумал он, надо же какие слезы, в жизни бы не поверил, что у человека их может быть столько. Страдание крупными прозрачными каплями лилось из глаз пожилой женщины, и слезы собирались в настоящую лужу у ее колен.

Еще прежде чем он успел что-то спросить, женщина вскочила и закричала:

— Они забрали его, и его тоже, моего Петра Степановича... О господи! Господи!

— Но ведь он... — начал было лейтенант.

— Нет, господин офицер, он не еврей, нет! О господи!

Слезы текли у нее по рукам, которыми она пыталась прикрыть лицо, словно огромную кровоточащую рану...

И будто повинувшись неодолимой внутренней силе, лейтенант повернулся, крикнул что-то женщине на ходу и выскочил на улицу.

Городок словно вымер. Странное напряжение ощущалось в воздухе; не только страх забившихся в свои убежища людей, не только занесенный надо всеми бич смерти. В тишине, серой тоскливой пылью опустившейся на улицы городка, было еще нечто издевательское, бесовское, словно один демон весело подмигивал другому.

Лейтенант бежал по пустынным улицам, и пот тек у него по спине, страшный холодный пот, не приносящий облегчения, пот мертвеца. Пот тоже отравлен был бесовской атмосферой, насыщенной безумным сладострастием убийц. Странная душная прохлада исходила от мертвых фасадов домов. И все же он испытывал нечто, похожее на радость, да-да, это была настоящая радость, было чудесно вот так бежать во имя спасения человеческой жизни. За те десять минут, что он, почти не сознавая себя, мчался по пустынным улицам, лейтенант многое понял, из прежнего густого тумана, называемого им мировоззрением, взошли, подобно звездам, тысячи новых мыслей, они озарили душу новым светом, и хотя быстро погасли, словно кометы, сияние их осталось и превратилось само в источник слабого света.

С трудом переводя дыхание, весь покрытый серой пылью, он добежал наконец до окраины, где обреченные смерти согнаны были в степи, словно стадо.

Каре окружали грузовики с пулеметами, охрана, покуривая, маялась от безделья позади поблескивающих узких стволов.

Поначалу Хегемюллер не обратил внимания на остановившего его часового; он позволил тому ухватить себя за рукав и несколько секунд вглядывался в оказавшееся перед ним лицо. Он удивился лишь, что увидел его так близко и так отчетливо. У него возникло ощущение, будто лица всех ограждающих толпу солдат скроены на один лад, с одинаково тупым и животным выражением, они словно оттеняли лица обреченных, выделяли из массы, поднимали до высот индивидуального. Темное, тяжелое молчание висело над толпой, странно взволнованное, колеблющееся, словно развеваемое по ветру знамя, слегка даже торжественное и — Хегемюллер ощутил это с замиранием сердца — какое-то благотворное, немислимим образом просветляющее; он почувствовал, как просветление это снизошло и на него, и в этот миг позавидовал идущим на смерть, и с ужасом осознал, что на нем та же форма, что и на убийцах. С горящим от стыда лицом он обратился наконец к часовому и, запинаясь, произнес:

— Здесь хозяин моей квартиры. Он не еврей... — и поскольку часовой тупо молчал, добавил: — Гримченко, Петр...

От группы охранников отделился офицер, с изумлением оглядел взмокшего от пота лейтенанта в седом от пыли мундире, без ремня и без фуражки, и тут только до Хегемюллера дошло, что все эти заплечных дел мастера пьяны. Перенасыщенная шнапсом кровь придавала красноватый животный блеск их глазам, дыхание было зловонно. Хегемюллер еще раз, запинаясь, назвал фамилию своего квартирного хозяина, и палач-лейтенант, с ужасающим добродушием почесав в затылке, спросил смущенно:

— Выходит, невиновен?

— Тоже невиновен, — кратко бросил Хегемюллер.

Лейтенант застыл на мгновенье, когда это короткое слово упало в трясиину его сердца. Но слово исчезло без следа, круги от него не пошли, и молодцевато выступив перед толпой обреченных, лейтенант громко скомандовал:

— Гримченко, Петр, два шага вперед!

И поскольку толпа не шелохнулась, лишь темное

молчание продолжало колыхаться над нею, лейтенант еще раз выкрикнул имя и фамилию, добавив:

— Может быть свободен!

И поскольку вновь не последовало ответа, он отступил назад и смущенно сказал:

— Нет его здесь, наверное, уже прикончили, а может, еще там, пройдите!

Хегемюллер взглянул в направлении вытянутой руки, туда, где вершилась расправа. Он увидел склон огромной каменоломни, собравшихся над обрывом людей, их окружала густая цепь солдат с пулеметами. От блокированного грузовиками каре живая очередь обреченных тянулась к самому высокому, полого спускающемуся краю карьера, оттуда треск пулеметов безостановочно бил в слепополуденную тишину.

И вновь, следуя за подвыпившим лейтенантом-палачом, Хегемюллер осознал, что масса, обреченная на смерть масса растворилась в возвышенно-индивидуальном, убийцы же, много меньше числом, казались скромными по единой мерке манекенами. Лица, в которые он вглядывался, тревожно пытаясь отыскать Гримченко, поражали спокойствием и непостижимой человеческой значимостью. Женщины с младенцами на руках, дети и старики, мужчины, вымазанные в грязи девушки, которых разыскивали даже в отхожих местах, чтоб убить здесь; богатые и бедные, элегантные и в лохмотьях, — на всех без исключения лежал отблеск величия, лишивший Хегемюллера дара речи. Лейтенант, пытаясь поддержать разговор, бросал какие-то странные, извинительные обрывки фраз — не в оправдание вершившегося убийства, но чтоб закамуфлировать нарушающее устав подпитие:

— Тяжелая это служба, дружище. Без шнапса никак не продержишься. Сам войди в наше положение...

Но Хегемюллера, под воздействием пережитого кошмара ощутившего вдруг странную, мертвенную трезвость мысли, мучил только один вопрос: как они могут проделывать это с младенцами, этими крошечными человечками, не умеющими еще ни стоять, ни ходить; как это возможно технически? Все это время взгляд его не отрывался от лика назначенных смерти, он не смотрел вверх на край пропасти, туда, где заходящиеся от ярости пулеметы расстреливали тусклый умирающий день. Но когда подъем кончился и он оказался у края обрыва, глаза поднять все-таки пришлось — и он уви-

дел ответ на сверливший его сознание вопрос. Он увидел черный сапог, сталкивающий в пропасть залитого кровью младенца, и поскольку ужас заставил его тут же отвести глаза, в самом конце скорбной цепи он увидел вдруг Гримченко, скорчившегося в этот момент от выстрела, и закричал диким, страшным голосом:

— Остановитесь! Остановитесь!

Он кричал так громко, что палачи испуганно прекратили стрельбу; схватив лейтенанта за руку, он потащил его туда, где залитое кровью тело Гримченко повисло над краем обрыва. Он не рухнул вниз, в пропасть, он упал навзничь, хотя стоял к убийцам спиной. Хегемюллер подхватил его, приподнял, и в тот же миг где-то рядом раздалась команда:

— Всем назад! Взрыв!

Хегемюллер не видел, как убийцы в страхе кинулись назад и отбежали шагов на пятьдесят, не видел он и ошарашенного, сбитого с толку пьяного лейтенанта-палача. Он обхватил тело Гримченко, с трудом взвалил его на плечи, чувствуя, как по пальцам потекла липкая, уже слегка загустевшая кровь. Позади него взметнулось в небо облако глухого взрыва, всего в нескольких шагах от него отделился, пополз вниз и рухнул обрывистый край, и каменистая земля погребла под собой мертвых и еще живых, младенцев, стариков, девяносто четыре года влачивших по земле бремя жизни...

Хегемюллер даже не удивился, что цепь убийц с тупыми взглядами и дымящимися пулеметными стволами, поджидавшая следующую партию обреченных, безропотно расступилась перед ним. Он почувствовал вдруг, что способен взглядом одним, единственным словом повергнуть на колени этих мясников в новенькой с иглочки форме, ибо сквозь застилавший сознание красный туман, сквозь неразбериху, страх, шум, смрад и отчаяние пробилось нечто, ошарашившее его, слабое дыхание Гримченко, то было словно ласковое прикосновение другого мира, слабое, прерывистое дыхание тяжелораненого, чья кровь застыла на его руках.

Никем не задерживаемый, он прошел сквозь строй убийц и услышал позади новую серию пулеметных очередей. Обнаружив поджидавший кого-то автомобиль, он крикнул дремавшему водителю: «В госпиталь! Быстрее!» — а сам уже распахнул дверцу и уложил Гримченко на заднее сиденье.

Ему вдруг показалось, что он видит сон: вот он

бежит и бежит, бежит с товарищами наперегонки, бежит изматывающим, стремительным, неистовым бегом к озеру, в воде которого так хочется охладиться. Жара распростерлась над ними, в них самих и вокруг. Весь мир наполнен безжалостным жаром, а они все бегут и бегут, и пот хлещет ручьями, словно кровь закалываемой свиньи. Нечеловеческая мука — этот бег по пыльной улице к озеру, которое должно быть сразу за поворотом, и в то же время наслаждение, этот жар, погружение в нечеловеческое, но странным образом дарующее отраду страдание, а пот все тек, тек изо всех пор. И наконец вот он, поворот, за которым озеро, с диким криком стремительно врезался он в кривую, увидел отливающую серебром водную гладь, с ликующим возгласом ринулся к ней и, склонившись над водой, с наслаждением погрузил в нее лицо, и от удивления, насколько она оказалась прохладной в такой чудовищный зной, он проснулся и открыл глаза.

Он увидел равнодушное лицо санитаря, пустую чашку в его руке, в тот же миг понял, что потерял сознание, а теперь холодной водой его привели в чувство. Он ощутил запах какого-то дезинфицирующего средства, услышал, как стучит пишущая машинка.

— Гриш... Гримченко? — прошептал он вопросительно, но солдат ничего не ответил и отвернулся.

— Итак, фамилия русского Гримченко, теперь вы можете заполнить историю болезни, сестра.

Солдат отошел в сторону, а Хегемюллер почувствовал у себя на лбу прохладную, как и положено, руку врача, услышал, как грубоватый голос произнес:

— Немного переутомился, так ведь?

Потом рука врача скользнула к запястью, и пока Хегемюллер слушал, как неровно бьется собственный пульс в ласковых докторских пальцах, грубоватый голос произнес:

— Ну что, сестра, записали? Пишите дальше. Причина смерти — м-м-м, нос крючком.

И грубоватый голос разразился смехом, в то время как принадлежавшие этому голосу руки все еще бережно слушали пульс Хегемюллера. Хегемюллер поднялся, обвел светлое помещение странным отчужденным взглядом, а потом расхохотался тоже, и смех его был страшен, как и взгляд; глаза у него закатились, но он смеялся все громче; взгляд помутился, он словно обратился теперь внутрь, как прикрытый блендами свет про-

жектора, и весь окружающий мир тоже переселился внутрь, а глаза лишились всякого выражения; а Хегемюллер все хохотал и хохотал, и единственные слова, которые он с тех пор повторял, были: «Причина смерти — нос крючком».

1950

VIVE LA FRANCE!

Часовой ощупью пробрался по темной комнате к двери, открыл ее, ступил в дворцовые сени и на мгновение замер, очень нелегко из теплой комнаты сразу выйти в холодную ночь. Медленно прикрыв за собою дверь, он скользнул в темноту. Он ничего не видел, только чувствовал, что входная дверь открыта, и где-то в глубине подсознания удивился, что холод, пробравший его в сенях, ничто в сравнении с тем, что ждет его на улице: ледяной сыростью, жестокостью повеяло на него из открытой двери. Потом, уже стоя на пороге, окутанный этой промозглой сыростью, он стал различать, впрочем больше по памяти, очертания деревьев в парке, изгиб аллеи, а справа силуэт разрушенной фабрики, зловеще-черная стена которой казалась перегородкой между двумя преисподними...

Усталый, почти уже отчаявшийся голос крикнул:
— Это ты?

— Да,— ответил он, удивившись, что нашел в себе силы произнести даже один этот слог. Смертельная усталость свинцом налила его тело, она словно бы гнула его к земле, глаза слипались, и он, прислонясь к дверям, заснул, быть может, только на секунду, сладострастное, тяжелое опьянение... спать, ах, только бы спать...

Сменившийся часовой нечаянно толкнул его, и он очнулся с болью и мукой.

— Ну, счастливо тебе! — пожелал сменившийся, и в его голосе, казалось, звучало сочувствие.

У него не было сил попросить сигарету, просто открыть рот, он был парализован безнадежной усталостью, она душила его, эта смертельная усталость. Глаза болели, глазницы как огнем жгло, из пустого желудка к горлу медленно подступала тошнота, во рту было кисло, руки и ноги налиты свинцом и как будто

отмерли. Сам того не сознавая, он издал какой-то глухой, почти звериный вопль, и осел на каменные плиты. Но спать он не мог, и не холод мешал ему — ему доводилось спать и в гораздо худших условиях и в большем холоде — он был перевозбужден от усталости. Так он сидел, окутанный холодом и ночью тьмой, на верхней ступени каменной лестницы, сгусток горя, а впереди еще два часа — неодолимая гора, мучительная бесконечность.

Вдруг он услышал, что праздник на верхнем этаже дворца еще продолжается: смех, приглушенные голоса доносились из дверей и окон, пробивались сквозь плотные шторы. И тут в нем что-то пробудилось, сперва робко, потом сильнее, крошечный внутренний холод, хрустальный холод души, он вдруг забил в нем, как источник, который, сразу замерзая, все-таки бил и бил вверх, эдакий растущий ледяной столб, за который он упорно цеплялся: н е н а в и с т ь. В задумчивости он выпрямился и закурил, прислонясь к стене. Усталость не проходила, не проходил и кислый вкус во рту и омерзительная тошнота, но ненависть в нем стояла как столб, и этот столб держал его.

Прямо над ним вдруг открылась дверь на маленький каменный балкон, поток света хлынул в сад, который вдруг приобрел призрачные очертания; он узнал чванливый голос капитана, и тут кто-то стал мочиться с балкона. Он испуганно отпрянул.

А потом свет из сада опять словно высосали или проглотили, тени двух дверных створок сузились, и перед тем как исчез последний проблеск света, он услышал чванливый голос:

— Пора кончать, господа! Уже два часа...

Запах лужи на лестнице прогнал его в сад. Еле передвигая ноги, заложив руки за спину, добрал он до угла дворца. И тут в сенях раздался громкий и резкий голос пьяного лейтенанта:

— *Vive la France!* — и лейтенант звонко рассмеялся собственной шутке.

В мертвенном свете ночи часовой увидел, как по каменной лестнице, шатаясь, спускался лейтенант. Он не шелохнулся, пока этот призрак с судорожной уверенностью пьяного брел по саду вдоль дворца, но затем он слишком резко повернул и наткнулся на угол.

— Эй, вы! — вибрирующим голосом воскликнул лейтенант, — что вы тут делаете?

Молчание часового затаенной угрозой висело в воздухе; спокойно прислонясь к стене, он точно охотник подкарауливал этого едва державшегося на ногах пьяного лейтенанта с лицом порочного ребенка, его тяжелое дыхание было уже совсем близко.

— Вы что, оглохли? Могли бы, по крайней мере, отозваться.

— Так точно! — отвечал часовой.

— А я вам говорю, стрелять в каждого, кто не знает пароля, в каждого, никакой пощады!

Его словно заклинило на этой фразе, он упрямо твердил:

— Стрелять в каждого, стрелять!

Не дождавшись ответа часового, он, шатаясь, направился по аллее к воротам, и перед тем как пойти налево по тихой деревенской улице, еще раз громко выкрикнул:

— Vive la France!

Его безумный смех, докатившись до стен дворца, гулко разнесся по парку.

Часовой быстрым коротким шагом дошел до ворот и выглянул на деревенскую улицу; темно и немо стояли дома, а над крышами ночная тьма уже смягчилась до цвета водянистых чернил. Он слышал шаги лейтенанта, то и дело спотыкавшегося о булыжники, он мысленно следил за ним, когда тот свернул вправо, к Кирхплатц, и даже сумел расслышать глухой стук в какую-то дверь. Часовой кивнул, как бы в подтверждение собственным мыслям, когда хриплый мальчишеский голос лейтенанта укоризненно прокричал:

— Иветта! Иветта!

От Кирхплатц отходил переулок, параллельный главной улице и заканчивающийся тупиком, так что, пройдя последние тридцать шагов, лейтенант вновь приблизился к часовому и стоял почти что рядом. Его голос долетал до часового через крыши низких темных домишек. Было что-то призрачное в том, как голос словно бы парил над одноэтажными домами, повторяя одни и те же слова, сначала укоризненно: «Иветта! Иветта!» — а потом уже нетерпеливее, жалостнее, совсем по-детски: «Открой!» — и вновь с укором: «Иветта, черт тебя побери!» Затем настала странная тишина, и часовой, затаив дыхание, напряженно вслушивался в нее, отчетливо представляя себе, как там беззвучно открылась дверь и белые руки втянули лейтенанта в дом. Но вдруг в

мучительной тишине раздался громкий и пронзительный крик лейтенанта:

— Иветта, ты сволочь!

Затем дверь, видимо, и в самом деле отворили, раздался легкий смешок, и часовой, который стоял в холодной ночи с болезненно искаженным лицом и закрытыми глазами, словно бы воочию увидал умиротворяющую улыбку на белом девичьем лице.

И хотя он не любил ни Иветту, ни лейтенанта, его, дрожащего от холода у ворот, охватила жгучая ревность, жуткое чувство полной потерянности, оно заглушило даже ненависть

От чуткого, напряженного вслушивания усталость почти улетучилась, и он пошел направо, вниз по деревенской улице. Так как видимость была всего несколько шагов, то казалось, что ночь отступает перед ним; с каждым шагом он словно подходил все ближе к той темной, черной стене, в которую упирался его взгляд; он воспринимал это как некую жестокую игру, ведь расстояние все никак не сокращалось. И благодаря этой игре деревня, это бедное убогое селение с двадцатью тремя домами, фабрикой и двумя грязными дворцами, стала безграничной, часовому она теперь представлялась бесконечно длинной, но наконец он уперся в железную решетку, огораживавшую школьный двор. Из кухни доносился запах пресного перестоялого супа. Перегнувшись через низкую решетку на каменном цоколе, он позвал, тихо, но отчетливо:

— Эй, Вилли!

Со стороны кухни раздалась шаги и за оградой появились неясные очертания мужской фигуры.

— Здесь! — крикнул часовой, — я здесь!

Вилли с заспанным лицом приблизился к ограде, прошел вдоль нее и через ворота вышел на улицу.

— Который час?

Вилли медленно, обстоятельно задрал рубашку, нащупал пальцами часы, вытащил их из кармашка и поднес к глазам:

— Десять минут третьего.

— Не может этого быть, посмотри, идут ли они, нет, нет, не может быть.

Голос часового опасно дрожал, затаив дыхание, он напряженно следил, как Вилли поднес часы к уху, встряхнул их и опять взглянул на циферблат.

— Идут, я же знаю, мои часы всегда в порядке.— Голос его звучал равнодушно. Часовой стоял молча. У него было застывшее, замкнутое лицо, суровое и страдальческое.

— Да помолчи ты,— сказал Вилли, хотя часовой не проронил ни слова,— ты прямо как маленький, два часа есть два часа, и ничего тут не попишешь.

Часовой стоял как соляной столб. Десять минут! — думал он вновь и вновь, и эта единственная мысль молоточком стучала в его мозгу. Десять минут, двенадцать раз по десять минут, сто двадцать раз по минуте!

— Знаешь,— продолжал Вилли довольным голосом,— я вот всегда думаю о доме, и время быстрее проходит, а когда-нибудь война кончится, мы вернемся по домам, снимем форму, поцелуем наших жен, пойдем на работу, мы исполнили свой долг, понимаешь, и мы...

— Заткнись!

Они враждебно смотрели друг на друга, не видя в сущности ничего, кроме светлого расплывчатого пятна под черной тенью каски, и все-таки они отчетливо видели лица друг друга, они воссоздали их по звуку голоса, по тому напряжению, что разлито в воздухе. Вилли видел узкое, темное, горькое лицо с потухшими глазами, затененное печалью — лицо часового; а тот видел добродушное лицо, отчасти притворно-приветливое, отчасти обиженное и все-таки настороженное — лицо Вилли.

— Дай мне сигарету,— хрипло попросил часовой.

— О, за тобой, значит, уже будет три сигареты! Знаешь, можно повернуть дельце с часами, господи, разбитые часы, куда ты с ними сунешься! А я дам тебе за них двадцать пять сигарет, десять сейчас, итого тринадцать, а двенадцать послезавтра, когда полевая лавка приедет, ты же знаешь, что...

— Замолчи, давай сюда!

Вилли мгновение помедлил, но потом сунул руку в карман и вытащил пачку сигарет...

— Вот... но где...

Часовой вырвал у него пачку, вскрыл ее и тут же чиркнул спичкой, ярко и беспощадно осветив оба лица, сейчас они были до ужаса схожи: бледные, бесконечно усталые, с дряблыми дрожащими губами.

— Старик, да ты спятил, я же могу влипнуть! — воскликнул Вилли,— и тогда...

— Замолчи! — голос часового звучал уже миролюбивее, — а то они меня...

Он отвернулся, но тут же спросил, оглянувшись:

— А теперь сколько времени?

Вилли опять аккуратно задрал рубашку, выудил часы из маленького кармашка на поясе, поднес к глазам:

— Восемнадцать минут... так ты подумай насчет часов!

Часовой поплелся вниз по улице к следующему дому и привалился к дверям кафе мадам Севри. Он курил с наслаждением, глубоко втягивая дым, и настоящее счастье снизошло на него, от ядовитого дыма легко и приятно кружилась голова. Он закрыл глаза. Десять сигарет, думал он. Да, ему казалось, он физически чувствует, как время протекает между пальцами; тяжелая, черная, призрачная безжалостная громада словно бы распалась, растеклась, как будто открылся шлюз и его уносило потоком...

Улица что влево, что вправо вела в пропасть тьмы; тишина теперь как бы растворилась и тоже потекла. Восемнадцать вечных минут были словно препятствие на пути времени. Тишина текла теперь параллельно времени, так близко, почти вплотную, что они казались единым потоком.

Поскольку он знал, что дворец находится справа, а школа слева, то ему чудилось, что он видит их. Но аллею, ведущую от улицы ко дворцу, он и в самом деле видел. Она была как высокая ажурная стена, более темная, чем ночь, и окропленная тусклой светлотою неба.

Аккуратно пряча окурки в карман, он был уверен, что прошло самое большее минут семь. Значит, уже двадцать пять минут третьего. Он решил пройти через фабрику, это еще двенадцать минут, и тогда выкурить вторую сигарету. Когда потом он снова вернется к дверям мадам Севри, выкурит сигарету и пойдет к школе, будет, наверное, уже три часа.

Оттолкнувшись от дверей кафе, он двинулся вниз по чуть пологой улице к воротам парка, затем, сбавив шаг, пошел дальше, дошел почти до угла Кирхплатц, шестьдесят семь шагов, и свернул влево, к покинутой сторожке. От ворот он глянул на разоренную сторожку, все деревянные части были украдены. Он прибавил шагу, и вдруг ему стало страшно. Да, как это ни глупо, но ему стало страшно. Хотя кто станет рыскать здесь,

на этой разграбленной фабрике в половине третьего ночи? Но ему было страшно. Его шаги по бетонному полу гулко отдавались в пустом цеху, а сквозь дырявую крышу видны были клочки сине-черного неба. Ему чудилось, что черный голый цех сквозь эти дыры в кровле всасывает в себя грозную немоту ночи. Фабрику эту так выпотрошили, что теперь нельзя было даже понять, что на ней прежде делали. Высокий голый цех, где стояли лишь бетонные цоколи для станков, застывшие неуклюжими колодами, по-видимому утратившая всякий смысл железная арматура, грязь, обрывки бумаги; чудовищный холод и безутешность! Часовой, замирая от страха, медленно прошел до конца огромного помещения, туда, где были открытые настежь ворота. Их проем в мрачной черноте торцовой стены напоминал прямоугольный сизо-синий платок; он шел прямо на этот платок, стараясь ступать неслышно, ибо его пугал даже звук собственных шагов. Вдруг он споткнулся о рельсовый путь, ведущий на фабричный двор, пошатнулся и схватился за стену и с громко бьющимся сердцем постоял в воротах. Хотя и здесь он видел не слишком далеко, всего на каких-нибудь двадцать шагов, ему все же верилось, что перед ним широкое поле, ведь он знал, что там должно быть поле, и чуял его, чуял теплую нежность весенних ночей над полями и лугами.

Внезапно страх внутри него подпрыгнул и угодил в самое сердце. Он повернулся, весь дрожа, и пошел, шаг за шагом приближаясь к немой угрозе, и чем дальше он шел, тем яснее понимал, что страх его пустой и гулкий, и на сердце у него стало почти радостно. Да, он даже улыбался, когда вошел в парк через калитку в черной стене.

Все было как во сне! Долгим, долгим как целая человеческая жизнь, показался ему этот обход, когда он вновь всходил по ступеням каменной дворцовой лестницы. Он перешагнул через лужу, которую напустил капитан, и встал в дверях. Очень странное у него было чувство: призрачно быстро и вместе с тем безумно медленно проходило время, оно было иллюзорно, непостижимо, противоречиво, и находиться в его власти ужасно. Все было как во сне!

Реальными были только лужа, холод и сырость. Он решил не идти в обход дворца, и сразу закурил. Все его подсчеты спутались, он с трудом уже представлял себе свой путь: одна сигарета здесь, одна у дверей

мадам Севри, потом у Вилли... Должно быть, уже три. Значит, час уже прошел; он знал, что сам себя обманывает, и все же, сознавая это, верил в обман.

И как я теперь скажу Вилли, что часов у меня уже нет! — подумал он с отчаянием, ведь я позавчера пропил их у мадам Севри! Надо мне как-нибудь протянуть до послезавтра, тогда я куплю эти сигареты в полевой лавке и верну ему. Двенадцать штук отдам Францу, а тринадцать Вилли, значит, мне останется еще семь сигарет и табак.

Да, а деньги, которые он взял займы?! Долги для бедняка опаснее всего, с горечью подумал он. Когда приходят посылочки и денежные переводы от Марианны, он все проматывает, деньги у него так и летят, и дальше он уже ходит по заманчивому, но хлипкому мостику кредита, шатаясь от бездны отчаяния к бездне пьяного дурмана.

А война остановилась! Это чудовище топчется на месте! Ужас без конца и без края! День и ночь — военная форма и бессмыслица дежурств, высокомерно-визгливая раздражительность офицеров и грубые окрики унтер-офицеров! Их всех согнали на войну, как в стадо, безнадежное серое громадное стадо отчаявшихся людей! Иногда ему вспоминался фронт, где чудовище было действительно кровавым и кровожадным, но ему казалось, что всё лучше, чем бесконечное ожидание в этой стране, где всюду наталкиваешься то на злое молчание, то на любезно-изящную насмешку. Вновь и вновь монотонная карусель так называемого плана боевых действий будет бросать их на укрепленный оборонительный рубеж и снова возвращать сюда, в эту грязную дыру, где им знаком каждый ребенок, каждый стул в каждой пивной. А вино становится все хуже и хуже, шнапс все сомнительнее, сигареты и довольствие все скуднее; это была страшная игра. Он уже и второй окурочек спрятал в кармашек у пояса, предназначавшийся для часов, и, равнодушно ступив в капитанскую лужу, быстро зашагал по аллее к улице, и дальше, к школе.

Вилли храбро стоял у входа в школу и, казалось, дремал.

— Который час? — отрывисто, почти повелительно спросил часовой. Нетерпеливо, с раздражением ждал он, куда Вилли с присущей ему добродушной обстоятельностью проделает все положенные манипуляции с гимнастеркой и часами.

— Без четверти,— сказал наконец Вилли,— ты принес?

— Что принес?

— Часы. Ты мог бы их сейчас принести, понимаешь, я хочу как раз завтра утром отправить посылку домой, и видишь ли... там...

— Я их отдал в починку в Бешенкуре, разве я тебе не сказал, они будут готовы в понедельник.

— О, тебе следовало бы меня предупредить, теперь мне придется платить за ремонт, да?

Часовой засмеялся:

— Ясное дело, но зато получишь отличные часы за двадцать пять сигарет и всего каких-нибудь несколько франков, правда ведь, дешево?

— Но мы же договорились, и... думаешь, в понедельник они будут готовы или?..

— Нет, в понедельник наверняка.

Часовой думал только о том, что сейчас без четверти три. Даже часа не прошло, осталось еще больше половины! Глубокая горечь переполняла его, ненависть, ярость, темный страх и одновременно отчаяние, от них перехватывало дыхание, в горле было горько, горячо и до ужаса сухо, как от с трудом проглоченных слез.

— Ну, пока,— сказал он сдавленным голосом и отвернулся, он хотел еще раз спросить, который час, но какой смысл спрашивать, и так ясно, что без десяти три, самое большее.

Улица, по которой он так часто ходил при свете дня, в полдень — за обедом, ближе к вечеру — за пайком, этот небольшой отрезок улицы, при дневном свете казавшийся ему смехотворно коротким, сейчас, ночью, обрел таинственную длину и ширину. И грязные жалкие домишки напротив дворцового парка в темноте выглядели чуть ли не величественно. Но он ощущал только острую горечь отчаяния, она почти душила его. Даже мысль о сигаретах в кармане не могла его утешить, так же как и то, что малоприятная история с часами хоть на два дня, но все же отодвинулась. Он продрог до костей, его мучил голод, откровенный вульгарный голод. Он сунул руки в карманы, но руки так безнадежно окончены, что и в карманах не согревались. И каска вдруг стала давить на голову, как свинцовая глыба, и тут же ему показалось, что он понял — всё, всё, ненависть и муки и отчаяние, всё сосредоточилось в этой каске, жуткой тяжестью давившей ему на лоб. Он сорвал ее с

головы и вошел в ворота месье Дюбюка, что были как раз напротив ворот парка.

Когда он избавился от гнета каски, у него голова закружилась от легкости, он улыбался, сам того не сознавая, легкой, почти счастливой улыбкой, и тут же подумал: сейчас наверняка три часа. А когда уж перевалит за половину, время пойдет быстрее; это как вершина горы, на которую надо взобраться, а потом уж путь пойдет под гору. Он представил себе лицо Марианны и закрыл глаза; она была совсем близко, стояла перед ним как наяву, так близко, что он даже ощущал запах ее волос. Хоть бы опять получить от нее письмо, увидеть ее почерк...

Время текло, текло, он чувствовал это, стремительно приближалось к четырем, спать, спать, забыться до шести. Мысль о дежурстве заставила его на мгновение остановиться, как лошадь перед барьером, но потом, потом он внезапно, впервые за эту ночь, услышал бой деревенских часов. Четыре удара? Нет, три, неумолимо! Три часа! Только три часа!

Он пригнулся в испуге, как побитый пес, скрючился, как от настоящего чудовищного удара, издал звериный потерянный стон, и, робко пытаясь обмануть самого себя, решил, что ослышался. Тут же он почувствовал, как замерзла и разболелась непокрытая голова. Он напялил каску и закурил, дрожа от спешки, глубоко втягивая дым, одну сигарету, вторую, губы его дрожали от ненависти, ярости и отчаяния.

Он даже забыл спрятать эти два окурка и скупым властным жестом выбросил их на дорогу...

Когда после этого он в первый раз дошел до Вилли, было восемь минут четвертого, а во второй — ему показалось, что в гнусных душевных терзаниях прошла целая вечность — было только одиннадцать минут четвертого. Три минуты были вечностью! Да, он обречен, никаких сомнений, все было бессмысленно. Никогда уже не пробьет четыре часа, в четыре его не будет в живых, его просто раздавят чудовищные жернова времени. Все, что тешило душу, вселяло надежду, все кануло, и никогда даже не всплывет в воспоминаниях. Не осталось ничего, кроме откровенной пытки временем и перспективы завтра утром, невыспавшимся и голодным, дежурить вместе со смурным от похмелья лейтенантом. Строевая подготовка, повороты в движе-

нии, строевая подготовка, повороты, занятия на местности, строевая подготовка, упражнения в прицеливании, и песни, песни, песни! Четыре часа, бесконечная цепь убийственных секунд. Четыре часа! Тут и два-то никак не пройдут! Время лгало, да, да! Оно обмануло его, оно уничтожило все надежды. Два часа! Четыре часа! Дежурство и караул, он безнадежно зажат в эти тиски! Песни! Песни! Песни для похмельного лейтенанта, для ублажения его сентиментальной души.

Из спутанного клубка ярости, отчаяния и ненависти вдруг потянулась только одна нить, отдельная, чистая — ненависть. Он взял на руки эту ненависть и стал ее лелеять, стал закармливать злобными сентенциями о лейтенанте, о писающем где попало капитане и унтер-офицерах. Со страшноватой улыбкой он раскурил пятую сигарету... Он опять уже стоял у дверей мадам Севри и смотрел на улицу.

Он мог теперь отпустить свою ненависть, ему больше не было нужды холить и лелеять ее; она была уже достаточно сильна, чтобы зажить в нем самостоятельной жизнью.

С моря дул слабый, сырой и холодный ветер, вызывавший в памяти странные звуки: стоны только что одевшихся листвою деревьев, скрип обветшалых кровель, хлопанье старых разболтанных дверей.

И вдруг, как-то сразу, он ощутил, что теперь время и впрямь потекло быстрее, и ничуть не удивился, когда пробило без четверти четыре.

Он бегом побежал назад по аллее и вошел в дом, чтобы разбудить сменяющего. Будить тоже надо уметь, думал он, сон солдата — святое дело, и потому он, которого все кому не лень топчут ногами, он, вероятно единственный, умеет правильно пробудить солдата ото сна, которому вроде бы грош цена и который так бесценен.

Он осторожно, ошупью прошел по комнате и заботливо принялся будить часового, не слишком робко, но и не грубо, а так, чтобы тот мгновенно проснулся, но все-таки не сразу вырвался из глубины и красоты сна. Он несколько раз ласково и вместе с тем энергично встряхнул спящего, и вот уже печальный, но спокойный голос произнес:

— Да, сейчас иду.

Сочувствие захлестнуло его, все, все они в тисках

этой бессмысленной чудовищной системы! Он ждал у выхода на аллею, не ощущая уже ни холода, ни голода, да и усталости он почти не чувствовал, ведь его ждала постель.

1950

ТОГДА В ОДЕССЕ

Тогда в Одессе стояла стужа. Каждое утро в больших грузовиках мы тряслись по булыжникам на аэродром, дожидались, поживаясь, пока вырулят на старт серые птицы, однако в первые два дня, в тот момент, когда мы уже должны были загружаться, следовал приказ об отмене вылета из-за плохой погоды — то над Черным морем сгущался туман, то небо заволакивало тучами, и мы опять залезали в большие грузовики и тряслись по булыжникам обратно в казармы.

Казармы, просторные и грязные, кишели вшами, мы примащивались где-нибудь на полу или усаживались за замызганные столы и играли в очко, что-нибудь пели, подкарауливая момент, чтобы слинять за ограду. Солдат маршевых формирований в казарме собралось много, и в город никому из них не полагалось. В первые два дня мы пытались смыться, но не тут-то было, нас ловили и в наказание заставляли таскать большие котлы с горячим кофе и разгружать хлеб; интендант-счетовод в полушубке, якобы предназначенном для передовой, стоял и считал буханки, не давая нам ничего заначить, а мы крыли и счет, и порожденного им счетовода. Небо над Одессой все еще было и туманным, и темным, а постовые ходили, как маятник, туда-сюда вдоль черной, грязной казарменной ограды.

На третий день мы дождались, пока совсем стемнело, и тогда пошли прямо к главным воротам, а когда постовой нас задержал, мы брякнули ему: «Группа Зельчини» и прошли мимо. Было нас трое, Курт, Эрих и я, и шли мы не торопясь. Было всего еще четыре часа, но уже царила полная тьма. У нас не было иных желаний, как только вырваться за эту длинную, черную, грязную ограду, и вот, вырвавшись, мы чуть ли не захотели обратно; мы ведь лишь два месяца были в армии и всего боялись, но, с другой стороны, мы понимали, что если снова окажемся там, за оградой, то будем опять рваться на волю, а уже тогда это нам

вряд ли удастся; кроме того, было еще только четыре часа, спать нам все равно не дали бы — либо вши, либо пение, а то и собственный страх перед тем, что завтра будет хорошая погода и нас наконец перебросят в Крым, на верную смерть. Умирать нам не хотелось, и в Крым нам не хотелось, но не было и охоты торчать целый день в этой грязной, черной казарме, где стоял запах суррогатного кофе и где по целым дням сгружали хлеб, предназначенный для фронта, и где дежурили интенданты-счетоводы в полушубках, предназначенных для фронта, поглядывая, чтобы никто не заначил буханку.

Не знаю, чего нам хотелось. Мы просто медленно пошли по этой темной и ухабистой окраинной улочке, меж низеньких, неосвященных домов; огороженная ветхим реденьким штaketником, застыла ночь, а за нею, казалось, раскинулась пустыня, пустошь, такая же, как дома, когда люди, затеяв строить дорогу, роют траншею, а потом передумывают, заваливают ров отходами, золой, мусором, и он снова зарастает травой, жесткой и дикой, буйными сорняками, а табличку «Сбрасывать мусор запрещается» уже и не видно, так как ее погребли под мусором...

Шли мы не торопясь, потому что было еще очень рано. В темноте нам попадались солдаты, возвращавшиеся в казарму, а те, что шли оттуда, перегоняли нас; мы боялись патрулей и всего больше хотели повернуть назад, но мы знали и то, что в казарме нас охватит отчаяние и что лучше уж испытывать страх, чем отчаяние в этих черных, грязных казарменных стенах, где таскают котлы с кофе, снова и снова таскают котлы с кофе, и где сгружают хлеб для фронта, снова и снова хлеб для фронта, под присмотром интендантов, которые толкуются в роскошных полушубках, в то время как мы все дьявольски мерзнем.

Иногда в домах то слева, то справа в окнах брезжил изжелта-сизый свет и слышались голоса — ясные и пронзительные, боязливые, чужие. А потом из тьмы вдруг выплыло совершенно яркое окно, за ним было шумно, и мы услышали, как солдаты поют: «Ах, какое солнце над Мексикой...»

Мы толкнули дверь и вошли: на нас пахнуло теплом и дымом, тут и впрямь были солдаты, человек восемь или десять, некоторые сидели с женщинами, и все они пили и пели, а один расхохотался, когда нас увидел. Мы ведь были зеленые еще, к тому же все, как на под-

бор, коротыши, самые маленькие в роте; форма на нас была совершенно новенькая, грубое бумажное волокно на рукавах и штанинах кололось, да и подштанники и рубашки щекотали голую кожу, и свитера были совершенно новые, и тоже колючие.

Курт, самый маленький из нас, прошел вперед и отыскал столик; он был учеником на кожевенной фабрике и не раз рассказывал нам, откуда доставляют кожу, хотя это и было производственным секретом, он даже рассказывал нам, сколько они на этом зарабатывали, хотя уж это было секретом из секретов. Мы сели рядом с ним.

Из-за стойки вышла женщина, чернявая толстушка с добродушным лицом, и спросила, что мы желаем пить; мы же сначала спросили, сколько стоит вино, потому что мы слышали, что в Одессе все очень дорого.

Она сказала: «Пять марок графин», и мы заказали три графина вина. Мы просадили в очко много денег; что осталось, поделили по-братски, на каждого вышло по десяти марок. Кое-кто из солдат не только пил, но и ел; ели они жареное мясо, еще дымящееся, положенное на белый хлеб, и колбаски, пахнувшие чесноком; тут только до нас дошло, что мы хотим есть, и когда женщина принесла вино, мы спросили, сколько стоит еда. Она сказала, что колбаски стоят пять марок, а мясо с хлебом — восемь; она еще сказала, что это парная свинина, но мы заказали три порции колбасок. Солдаты целовались с женщинами, а то и лапали их, не стесняясь, мы не знали, куда нам деться.

Колбаски были горячие, жирные, а вино было очень кислым. Мы расправились с колбасками и не знали, что делать дальше. Рассказывать друг другу нам было уже нечего, мы две недели вместе проболтались в поезде, и все уже порассказали. Курт был с кожевенной фабрики, Эрих с крестьянского хутора, а я прямо со школьной скамьи; нам все еще было страшно, но мы согрелись...

Солдаты, целовавшиеся с женщинами, сняли портупей и вышли с женщинами во двор; то были три девчонки с круглыми, смазливymi личиками, они что-то щебетали и хихикали, но отправились, теперь с шестью солдатами, по-моему, их было шестеро, во всяком случае не меньше пяти. Остались одни только пьяные, которые горланили: «Ах, какое солнце над Ме-ксийкой...» Один из них, стоявший у стойки, высокий светло-

волосый обер-ефрейтор, в этот момент обернулся и снова заржал, глядя на нас; вид у нас, надо полагать, и впрямь был как на учебных занятиях: мы сидели тихо и смиренно, сложив руки на коленях. Потом обер-ефрейтор что-то сказал хозяйке, и она принесла нам прозрачного шнапса в довольно больших стаканах.

— Надо бы выпить за его здоровье, — сказал Эрих, толкая нас коленкой, а я стал кричать: «Господин обер-ефрейтор!» — и кричал до тех пор, пока он не сообразил, что я обращаюсь к нему, тогда Эрих снова толкнул нас коленкой, мы вскочили и хором крикнули:

— Ваше здоровье, господин обер-ефрейтор!

Солдаты захохотали, но обер-ефрейтор приподнял свой стакан и крикнул нам:

— Ваше здоровье, господа гренадеры...

Шнапс был очень резкий и горький, но он согрел нас, и мы были бы не прочь выпить еще.

Светловолосый обер-ефрейтор подозвал жестом Курта. Курт подошел к нему и, обменявшись с обер-ефрейтором несколькими словами, подозвал нас. Тот сказал, что у нас не все дома, раз мы сидим без денег, надо что-нибудь толкнуть, вот и вся недолга, потом он спросил, откуда мы и куда держим путь, а мы сказали ему, что сидим в казарме, ждем, когда можно будет лететь в Крым. Он как-то сразу посерьезнел, но ничего не сказал. Потом я спросил, что именно мы могли бы толкнуть, и он сказал: все.

Толкнуть здесь можно все — шинель и шапку, или подштанники, часы, авторучку.

Шинель нам толкать не хотелось, страшновато — это ведь было запрещено, да и очень мы мерзли, тогда в Одессе. Мы вывернули свои карманы: у Курта нашлась авторучка, у меня — часы, а у Эриха новенький кожаный бумажник, который он выиграл в лотерею в казарме. Обер-ефрейтор взял все три вещи и спросил хозяйку, сколько она может за них дать, а она, внимательно все рассмотрев, сказала, что вещи плохие и что она может дать за все двести пятьдесят марок, из них сто восемьдесят за одни часы.

Обер-ефрейтор сказал, что это мало, двести пятьдесят, но он сказал также, что больше она все равно не даст, а раз уж мы завтра летим в Крым, то нам должно быть все едино и надо соглашаться.

Двое из солдат, певших «Ах, какое солнце над Мекси-кой...» встали теперь из-за стола, подошли к обер-

ефрейтору и похлопали его по плечу; он кивнул нам и вышел с ними.

Хозяйка отдала мне деньги, и я заказал каждому по две порции свинины с хлебом и по большому шнапсу, а потом мы съели еще по две порции свинины и выпили по шнапсу. Мясо было свежее и жирное, горячее и почти сладкое, а хлеб весь пропитался жиром, и мы запили все это еще одним шнапсом. Потом хозяйка сказала, что мяса у нее не осталось, одни только колбаски, и мы съели по колбаске, заказав к ней пиво, густое, темное пиво, а потом выпили еще по шнапсу и попросили пирожные, плоские, сухие пирожные из молотых орехов; потом мы снова пили шнапс и никак не могли почувствовать опьянения; зато нам было тепло и приятно, и мы забыли о колючих бумажных подштанниках и свитерах и вместе с вновь пришедшими солдатами пели хором: «Ах, какое солнце над Мексикой...»

К шести часам денежки наши кончились, а мы все еще не были пьяны; и мы отправились обратно в казарму, потому что нам было нечего больше толкнуть. На темной, ухабистой улице теперь не светило ни одно окно, а когда мы добрались до проходной, постовой сказал, что мы должны зайти в караульную. В караульной было жарко и сухо, грязно, пахло табаком, и фельдфебель стал орать на нас и пригрозил, что последствия мы еще увидим. Однако ночью мы спали очень хорошо, а на следующее утро мы снова тряслись в больших грузовиках по булыжникам к аэродрому, и было в Одессе холодно и замечательно ясно, на сей раз погрузились наконец в самолеты; а когда они поднялись в воздух, мы вдруг поняли, что никогда сюда не вернемся, никогда...

1950

ДЕТИ — ТОЖЕ ГРАЖДАНСКИЕ ЛИЦА

- Нельзя, — мрачно сказал постовой.
- Почему? — спросил я.
- Потому. Запрещено, и все.
- Но почему запрещено?
- Потому, глупая твоя башка, что больным вообще запрещено выходить за ограду.
- Я же не больной, а раненый, — приосанился я.

Постовой смерил меня презрительным взглядом:
— Видать, тебя в первый раз зацепило, а то б ты знал, что раненые — тоже больные. Ну, давай, давай, вали отсюда.

Но до меня по-прежнему не доходило.

— Послушай,— сказал я,— я только хочу купить пирожных вон у той девчонки, только и всего.

И я указал пальцем на улицу, где под снежной порошей стояла маленькая и славненькая русская девочка, торговавшая пирожными.

— А ну давай назад!

Снег тихо падал в огромные лужи на черном школьном дворе. Девочка терпеливо стояла там, то и дело тихонько выкрикивая: «Кухены... Кухены...»

— Слышь,— сказал я постовому,— у меня уже текут слюнки, ну ты хоть ее-то впусти.

— Гражданским лицам вход запрещен.

— Ну ты даешь,— сказал я,— ведь она всего-навсего ребенок.

Он опять обдал меня презрением:

— А дети, по-твоему, не гражданские лица?

Прямо хоть плачь. Пустую, темную улицу запорошило снегом, и посреди одиноко стояла девочка и все выкрикивала: «Кухены... Кухены...» — хотя вокруг не было ни души.

Я попробовал было все-таки пройти мимо постового, но тот ухватил меня за рукав и заорал:

— Сказано, проваливай, а то позову фельдфебеля.

— Ну и скотина же ты, — сказал я в сердцах.

— Да у вас каждый скотина, кто еще выполняет свой долг,— с удовлетворением произнес постовой.

Я еще с полминуты постоял под снежной метелью, наблюдая, как белые хлопья становятся грязью; весь школьный двор был в лужах, между которыми, как присыпанные сахарной пудрой, возвышались отдельные островки. Вдруг я заметил, как симпатичная девчушка подмигнула мне и с деланным равнодушием пошла вниз по улице. Я отправился за ней вдоль забора с его внутренней стороны.

«Черт знает что такое,— вертелось у меня в голове,— разве я больной». И тут я обнаружил в заборе, около уборной, дырку, а около нее уже стояла девочка с пирожными. Постовой не мог нас здесь видеть. «Пусть фюрер благословит тебя за твое рвение»,— подумал я.

Пирожные были одно загляденье: миндальные, с кремом, плюшки и трубочки с орехами, все это блесело от масла.

— Почему они?— спросил я у девочки.

Она улыбнулась, протянула мне всю корзину и сказала тоненьким голоском:

— Три марка с половина за штуку.

— За любую?

Она кивнула.

Снег сеял на ее изящную головку, посыпая серебряной сахарной пылью русые волосы; ее улыбка просто очаровывала. Мрачная улица позади нее была совершенно пустынна, весь мир будто вымер...

Я взял на пробу какую-то плюшку и сунул ее в рот. Она оказалась с марципаном, вкус у нее был замечательный.

«А, вот почему они стоят, как и все прочие»,— подумал я.

Девочка улыбалась.

— Гут?— спрашивала она.— Гут?

Я только кивал, жуя. Холода я не чувствовал, на голове у меня была толстенная повязка, и выглядел я, как Теодор Кёрнер. Я попробовал еще пирожное с кремом, оно тоже растаяло во рту. И тут же у меня снова потекли слюнки...

— Знаешь,— тихо сказал я,— возьму-ка я все, сколько их у тебя?

Она стала прилежно считать, пересчитывать их своим тонким и нежным, не совсем чистым, указательным пальчиком, а я тем временем заглотнул еще трубочку — с орехами. Было очень тихо, и мне почти казалось, будто снежные хлопья ткут в воздухе прозрачную пряжу. Считала девочка медленно, несколько раз сбивалась, так что я в терпеливом ожидании успел неторопливо съесть еще две штуки. Наконец она резко вскинула на меня свои глаза, высоко задрала головку; белки ее глаз отливали нежной голубизной, как снятое молоко. Она прошептала мне что-то по-русски, но я только улыбнулся, пожав плечами, и тогда она нагнулась и своим довольно грязным пальчиком написала на снегу цифру «45»; я добавил уже съеденные мной пять и сказал:

— Ты уж отдай их мне вместе с корзинкой, ладно?

Она кивнула и осторожно протянула мне в дырку корзину, а я ей — две сотенные купюры. Денег у нас

хватало, за шинель русские давали семьсот марок, а мы торчали тут уже три месяца, ничего не видя, кроме грязи и крови, нескольких шлюх и денег...

— Приходи завтра опять, ладно? — тихо попросил я, но она уже не слышала меня, уже упорхнула, и когда я просунул в дыру свою понурую голову, ее и след простыл; я увидел только тихую русскую улицу, мрачную и пустынную, с домами, которые вращались в сугробы своими плоскими крышами. Долго стоял я так, высунув голову, печально глядя окрест, словно животное в клетке, и лишь когда я почувствовал, что у меня занемела шея, я втащил свою голову обратно в узилище.

И только теперь в нос мне ударил отвратительный запах из уборной, и я вдруг увидел, что красивые маленькие пирожные покрылись пушистыми снежными шапками. Я взял корзину и устало поплелся к дому; мне не было холодно, я же выглядел, как Теодор Кёрнер, и мог бы еще битый час простоять на снегу. Я шел потому, что ведь нужно было куда-то идти. Всегда ведь надо куда-то идти — надо, и все. Нельзя ведь все время стоять — засыплет снегом. Так что куда-нибудь да надо идти, даже если ты ранен в чужой, мрачной, очень глухой стране...

1950

ПУТНИК, ПРИДЕШЬ КОГДА В СПА...

Машина остановилась, но мотор еще несколько минут урчал; где-то распахнулись ворота. Сквозь разбитое окошечко в машину проник свет, и я увидел, что лампочка в потолке тоже разбита вдребезги; только цоколь ее торчал в патроне — несколько поблескивающих проволочек с остатками стекла. Потом мотор затих, и на улице кто-то крикнул:

— Мертвых сюда, есть тут у вас мертвецы?

— Ч-черт! Вы что, уже не затемняетесь? — откликнулся водитель.

— Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел, — крикнул тот же голос. — Есть мертвецы, я спрашиваю?

— Не знаю.

— Мертвецов сюда, слышишь? Остальных наверх по лестнице, в рисовальный зал, понял?

— Да, да.

Но я еще не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, наверх по лестнице. Сначала несли по длинному, слабо освещенному коридору с зелеными, выкрашенными масляной краской стенами и гнутыми, наглухо вделанными в них старомодными черными вешалками; на дверях белели маленькие эмалевые таблички: «VIa» и «VIб»; между дверями, в черной раме, мягко поблескивая под стеклом и глядя вдаль, висела «Медея» Фейербаха. Потом пошли двери с табличками «Va» и «Vб», а между ними — снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу», превосходная, отсвечивающая красным фотография в коричневой раме.

Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку, за ней чудесно выполненный макет — длинный и узкий, подлинно античный фриз Парфенона из желтоватого гипса — и все остальное, давно привычное: вооруженный до зубов греческий воин, воинственный и страшный, похожий на взъерошенного петуха. В самой лестничной клетке, на стене, выкрашенной в желтый цвет, красовались все от великого курфюрста до Гитлера...

А на маленькой узкой площадке, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать на моих носилках прямо, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха — в небесно-голубом мундире, с сияющими глазами и большой блестящей золотой звездой на груди.

И снова я лежал, скатившись на сторону, и меня несли мимо породистых арийских физиономий: нордического капитана с орлиным взором и глупым ртом, уроженки Западного Мозеля, пожалуй чересчур худой и костлявой, остзейского зубоскала с носом луковицей, длинным профилем и выступающим кадыком киношного горца; а потом добрались еще до одной площадки, и опять в течение нескольких секунд я лежал прямо на своих носилках, и еще до того как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть — украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным Железным крестом наверху.

Все это быстро мелькало одно за другим: я не тяжелый, а санитары торопились. Конечно, все могло мне только почудиться; у меня сильный жар и решительно все

болит: голова, ноги, руки, а сердце колотится как сумасшедшее — что только не привидится в таком жару.

Но после породистых физиономий промелькнуло и все остальное: все три бюста Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, рядышком, изумительные копии; совсем желтые, античные и важные стояли они у стен; когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса, а в самом конце коридора — этот коридор был выкрашен в темно-розовый цвет, — в самом-самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса; но до нее было еще далеко. Справа в окне алело зарево пожара, все небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные черные тучи дыма...

И опять я невольно перевел взгляд налево и увидел над дверьми таблички «Ха» и «Хб», а между этими коричневыми, словно пропахшими затхлостью дверьми виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше, вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Легкая хирургия»...

Если сейчас будет... мелькнуло у меня в голове. Если сейчас будет... Но вот и она, я вижу ее: картина, изображающая Того, — пестрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой, — на самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов; слева гроздь, справа гроздь, и на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано, я это видел; я сам, кажется, и нацарапал...

Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я проплыл под маской Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел больше видеть. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:

— Суньте мне сигарету в рот. В верхнем левом кармане.

Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажженная сигарета. Я затанулся.

— Спасибо, — сказал я.

Все это, думал я, еще ничего не доказывает. В конце концов, в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелеными и желтыми стенами, в которых тор-

чат гнутые старомодные вешалки для платья; в конце концов, это еще не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между «IVa» и «IVб» висит «Медея», а между «Ха» и «Хб» — усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть. Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии: «Медея» — между «IVa» и «IVб», там же «Мальчик, вытаскивающий занозу», в следующем коридоре — Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон, а Ницше на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография — Того. «Мальчик, вытаскивающий занозу» и фриз Парфенона — это, в конце концов, не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение, и наверняка я не единственный, кому взбрело в голову написать на банане: «Да здравствует Того!» И выходки школьников, в конце концов, всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред.

Боли я теперь не чувствовал. В машине я еще очень страдал; когда ее швыряло на мелких выбоинах, я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки: машина поднимается и опускается, как корабль на волнах. Теперь, видно, подействовал укол; где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я почувствовал, как игла проткнула кожу и ноге стало горячо...

Да это просто невозможно, думал я, машина наверняка не прошла такое большое расстояние — почти тридцать километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь, ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую покинул всего три месяца назад. Восемь лет — не пустяк, неужели после восьми лет ты все это узнаешь только глазами?

Я закрыл глаза и опять увидел все как в фильме: нижний коридор, выкрашенный зеленой краской, лестничная клетка с желтыми стенами, памятник воину, площадка, следующий этаж: Цезарь, Марк Аврелий... Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса...

Я выплюнул сигарету и закричал; когда кричишь, становится легче, надо только кричать погромче; кричать — это так хорошо, я кричал как полоумный. Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз, я почувствовал чужое дыхание, теплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил:

— Чего ты кричишь?

— Пить,— сказал я.— И еще сигарету. В верхнем кармане.

Опять чужая рука шарила в моем кармане, опять чиркнула спичка и кто-то сунул мне в рот зажженную сигарету.

— Где мы? — спросил я.

— В Бендорфе.

— Спасибо,— сказал я и затынулся.

Все-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит, дома, и если бы не такой сильный жар, я мог бы с уверенностью сказать, что я в классической гимназии; что это школа, во всяком случае, бесспорно. Разве не крикнул внизу чей-то голос: «Остальных в рисовальный зал!»? Я был одним из остальных, я жил, остальные и были, очевидно, живыми. Это — рисовальный зал, и если слух меня не обманул, то почему бы глазам меня подвести? Значит, нет сомнения в том, что я узнал Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, а они могли быть только в классической гимназии; не думаю, чтобы в других школах стены коридоров украшали скульптурами этих молодых.

Наконец-то он принес воду; опять меня обдало смешанным запахом лука и табака, и я поневоле открыл глаза, надо мной склонилось усталое, дряблое, небритое лицо человека в форме пожарника и старческий голос тихо сказал:

— Выпей, дружок.

Я начал пить; вода, вода — какое наслаждение; я чувствовал на губах металлический привкус котелка, я ощущал упругую полноводность глотка, но пожарник отнял котелок от моих губ и ушел; я закричал, он даже не обернулся, только устало передернул плечами и пошел дальше, а тот, кто лежал рядом со мной, спокойно сказал:

— Зря орешь, у них нет воды; весь город в огне, сам видишь.

Я это видел, несмотря на затемнение,— за черными шторами полыхала и бушевала огненная стихия, черно-красная, как в печи, куда только что засыпали уголь. Да, я видел: город горел.

— Какой это город? — спросил я у раненого, лежавшего рядом.

— Бендорф,— сказал он.

— Спасибо.

Я смотрел прямо перед собой на ряды окон, а иногда

на потолок. Он был еще безупречно белый и гладкий, с узким классическим лепным карнизом; но такие потолки с классическими лепными карнизами есть во всех рисовальных залах всех школ, по крайней мере, всех добрых старых классических гимназий. Это ведь бесспорно.

Я не мог более сомневаться: я в рисовальном зале одной из классических гимназий в Бендорфе. В Бендорфе всего три классических гимназии: гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и... может быть, лучше вовсе не упоминать о ней... гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве на лестничной площадке в гимназии Фридриха Великого не висел портрет Старого Фрица, необыкновенно яркий, необыкновенно красивый, необыкновенно большой? Я учился в этой школе восемь лет подряд, но разве точно такой же портрет не мог висеть в другой школе, на том же самом месте, и настолько же яркий, настолько же бросающийся в глаза, что взгляд каждого, кто поднимался на второй этаж, невольно на нем останавливался?

Вдали постреливала тяжелая артиллерия. А вообще было почти спокойно, лишь время от времени прожорливое пламя вырывалось на волю и где-то во тьме рушилась крыша. Артиллерийские орудия стреляли равномерно, с одинаковыми промежутками, и я думал: славная артиллерия. Я знаю, это подло, но я так думал. О боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был ее густой и низкий рокот, мягкий, нежный, как рокот органа, в нем есть даже что-то благородное; по-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет. Все это так солидно, совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками... Потом я подумал о том, сколько имен будет высечено на новом памятнике воину, если новый памятник поставят, и о том, что на него водрузят еще более грандиозный позолоченный Железный крест и еще более грандиозный каменный лавровый венок; и вдруг меня пронзила мысль: если я в самом деле нахожусь в своей старой школе, то мое имя тоже будет красоваться на памятнике, высеченное на цоколе, а в школьном календаре против моей фамилии будет сказано: «Ушел на фронт из школы и пал за...»

Но я еще не знал, за что... И я еще не был уверен, нахожусь ли я в своей старой школе. Теперь я непременно хотел это установить. В памятнике воину тоже нет ничего особенного, ничего исключительного, он такой, как всюду, стандартный памятник массового изготовления, все

памятники такого образа поставляются каким-то одним управлением...

Я оглядывал рисовальный зал, но картины были сняты, а о чем можно судить по нескольким партам, сваленным в углу, да по узким и высоким окнам, частым-частым, как полагается в рисовальном зале, где должно быть много света? Сердце мне ничего не подсказывало. Но разве оно молчало бы, если б я оказался там, где восемь лет, из года в год, рисовал вазы, прелестные, стройные вазы, изумительные копии с римских подлинников,— учитель рисования обычно ставил их перед классом на подставку; там, где я выводил шрифты — рондо, латинский прямой, римский, итальянский? Ничто в школе мне не было так ненавистно, как эти уроки, часами глотал я скуку и никогда не мог нарисовать вазу или воспроизвести какой-нибудь шрифт. Но где же мои проклятия, где моя ненависть к этим тоскливым тусклым стенам? Ничто во мне не заговорило, и я молча покачал головой.

Снова и снова я рисовал, стирал нарисованное, оттачивал карандаш... и ничего, ничего...

Я не помнил, как меня ранило, чувствовал лишь, что не могу пошевелить руками и правой ногой, только левой, и то еле-еле; это оттого, думал я, что всего меня очень туго спеленали.

Я выплюнул сигарету в пространство между набитыми соломой мешками и попытался шевельнуть рукой, но от страшной боли опять закричал; я кричал не переставая, кричал с наслаждением; помимо боли, меня доводило до бешенства то, что я не могу пошевелить руками.

Потом я увидел перед собой врача; он снял очки и, часто моргая, смотрел на меня; он ничего не говорил; за ним стоял пожарник, тот, что дал мне воды. Пожарник что-то шепнул врачу на ухо, и врач надел очки, за их толстыми стеклами я отчетливо увидел большие серые глаза с чуть подрагивающими зрачками. Врач долго смотрел на меня, так долго, что я невольно отвел глаза. Он сказал:

— Одну минуту, ваша очередь сейчас подойдет...

Затем они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли за классную доску; я смотрел им вслед; доска была сдвинута и поставлена наискосок, между нею и стенкой висела простыня, за простыней горел яркий свет...

Ни звука не было слышно, пока простыню не откинули и не вынесли того, кто лежал только что рядом со

мной; санитары с усталыми, безучастными лицами тащили носилки к дверям.

Я опять закрыл глаза и подумал: ты непременно должен узнать, что у тебя за ранение и действительно ли ты находишься в своей старой школе.

Все здесь казалось мне таким холодным и чужим, как если бы меня пронесли по музею мертвого города; этот мирок был мне совершенно безразличен и далек, и хотя я его узнавал, но только глазами. А если так, то могли я поверить, что всего три месяца назад я сидел здесь, рисовал вазы и писал шрифты, на переменах сбегал по лестнице, держа в руках принесенные из дому бутерброды с повидлом, проходил мимо Ницше, Гермеса, Того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия, потом шел по нижнему коридору с его «Медеей» и заходил к швейцару Биргелеру выпить молока, выпить молока в этой полутемной каморке, где можно было рискнуть выкурить сигарету, хоть это и строго воспрещалось? Наверняка они понесли того, кто лежал раньше рядом со мной, вниз, куда сносили мертвецов; быть может, мертвецов клали в мглистую каморку, где пахло теплым молоком, пылью и дешевым табаком Биргелера...

Наконец-то санитары вернулись в зал, и теперь они подняли меня и понесли за классную доску. Я опять поплыл мимо дверей и, проплывая, обнаружил еще одно совпадение: в те времена, когда эта школа называлась школой св. Фомы, над этой самой дверью висел крест, его потом сняли, но на стене так и осталось неисчезающее темно-желтое пятно — отпечаток креста, четкий и ясный, более четкий, пожалуй, чем сам этот ветхий, хрупкий, маленький крест, который сняли; ясный и красивый отпечаток креста так и остался на выцветшей стене. Тогда новые хозяева со злости перекрасили всю стену, но это не помогло, маляр не сумел найти правильного колера, крест остался на своем месте, светло-коричневый и четкий на розовой стене. Они злились, но тщетно, крест оставался, коричневый, четкий на розовом фоне стены, и думаю, что они исчерпали все свои ресурсы на краски, но сделать ничего не смогли. Крест все еще был там, и если присмотреться, то можно разглядеть даже кривой след на правой перекладине, где много лет подряд висела самшитовая ветвь, которую швейцар Биргелер прикреплял туда в те времена, когда еще разрешалось вешать в школах кресты...

Все это промелькнуло в голове в ту короткую секунду,

когда меня несли мимо двери за классную доску, где горел яркий свет.

Я лежал на операционном столе и в блестящем стекле электрической лампы видел себя самого, свое собственное отражение, очень маленькое, укороченное — совсем крохотный, белый, узенький марлевый сверток, словно куколка в коконе; это и был я.

Врач повернулся ко мне спиной; он стоял у стола и рылся в инструментах; старик пожарник, широкий в плечах, загоразивал собой классную доску и улыбался мне; он улыбался устало и печально, и его бородатое лицо казалось лицом спящего; взглянув поверх его плеча, я увидел на исписанной стороне доски нечто, заставившее вострепнуться мое сердце впервые за все время, что я находился в этом мертвом доме. Где-то в тайниках души я отчаянно, страшно испугался, сердце учащенно забилося: на доске я увидел свой почерк — вверху, на самом верху. Узнать свой почерк — это хуже, чем увидеть себя в зеркале, это куда более неопровержимо, и у меня не осталось никакой возможности усомниться в подлинности моей руки. Все остальное еще не служило доказательством — ни «Медея», ни Ницше, ни профиль киношного горца, ни банан из Того, ни даже сохранившийся над дверью след креста,— все это существовало во всех школах, но я не думаю, чтобы в других школах кто-нибудь писал на доске моим почерком. Она еще красовалась здесь, эта строка, которую всего три месяца назад, в той проклятой жизни, учитель задал нам каллиграфически написать на доске: «Путник, придешь когда в Спа...»

О, я помню, доска оказалась для меня короткой, и учитель сердился, что я плохо рассчитал, выбрал чрезмерно крупный шрифт, а сам он тем же шрифтом, покачивая головой, вывел ниже: «Путник, придешь когда в Спа...»

Семь раз была повторена эта строка — моим почерком, латинским прямым, готическим шрифтом, курсивом, римским, староитальянским и рондо; семь раз, четко и беспощадно: «Путник, придешь когда в Спа...»

Врач тихо окликнул пожарника, и он отошел в сторону, теперь я видел все строчки, не очень красиво написанные, потому что я выбрал слишком крупный шрифт, вывел слишком большие буквы.

Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не смог; я оглядел себя сверху до низу — и все увидел. Они распеленали меня, и у меня не

было больше рук, не было правой ноги, и я внезапно упал навзничь: мне нечем было держаться; я закричал; пожарник и врач с ужасом смотрели на меня; передернув плечами, врач все нажимал на поршень шприца, медленно и ровно погружавшегося все глубже; я хотел опять взглянуть на доску, но пожарник загоразживал ее; он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запах гари, грязный запах его перепачканного мундира, видел усталое, печальное лицо — и вдруг узнал его: это был Биргелер.

— Молока,— сказал я тихо...

1950

ПО МОСТУ

В истории, которую я хочу вам рассказать, собственно говоря, нет никакого сюжета. Пожалуй, это даже и не история, но все равно я должен вам ее рассказать. Десять лет тому назад случилось то, что можно назвать ее началом, а на днях она завершилась.

Дело в том, что на днях мы проехали по тому мосту, который был когда-то широким и железным, как грудь Бисмарка у сотен памятников, и незабываемым, как боевой приказ. Большой четырехколейный мост через Рейн, покоившийся на каменных быках. В то время я трижды в неделю, по понедельникам, средам и субботам, проезжал по этому мосту всегда одним и тем же поездом. Служил я тогда во Всегерманском обществе охотничьего собаководства, где занимал весьма скромное место, был чем-то вроде курьера. В собаках я, конечно, ничего не понимал — я ведь человек не шибко образованный. Итак, три раза в неделю я ездил из Кенигсштадта, где находилось наше окружное управление, в Грюндерхайм, где был наш филиал, и привозил оттуда срочную почту, деньги и «Спорные дела». Эти «Спорные дела» лежали в объемистой желтой папке. Так я никогда и не узнал, что это, собственно, за «Спорные дела»: я был всего-навсего курьер...

В день поездки я утром шел из дома прямо на вокзал, восьмичасовым поездом отправлялся в Грюндерхайм и прибывал туда сорок пять минут спустя. Уже в то время я боялся ехать по мосту, несмотря на все объяснения о его запасе прочности и грузоподъемности, которые да-

вали мне сведущие в инженерии знакомые. Просто-напросто я трусил. Само сочетание поезд — мост рождало во мне страх, я честно в этом признаюсь. Рейн в наших местах очень широк. С трепетом в сердце ощущал я всякий раз еле заметное покачивание моста, чувствовал, как зловеще дрожат все шестьсот метров железных ферм, и успокаивался, лишь когда снова слышал глухой перестук колес по рельсам, проложенным на внушающем доверие грунте. За окнами мелькали узкие клочки огородов, и наконец уже перед самой станцией Каленкаттен возник дом, в который я тотчас впивался глазами. Дом этот стоял на твердой земле — еще издавлека я с нетерпением его выглядывал; аккуратно оштукатуренные стены были выкрашены в красноватый цвет, а оконные переплеты и цоколь — в темно-коричневый. Дом был двухэтажный, наверху три окна, внизу два, и дверь посредине. К двери вела лесенка в три ступеньки, и всегда, если не лил дождь, на ней сидела девочка лет девяти-десяти, тоненькая, как былиночка, с большой, очень чистой куклой в руках. Девочка сердито косилась на проходящий поезд. Я всегда сперва замечал девочку, а затем в поле моего зрения попадало окно, в котором виднелась устало склоненная женская фигура. Время от времени женщина окунала тряпку в стоящее рядом ведро, отжимала ее и снова принималась что-то усердно тереть. Она всегда мыла и скребла, даже в непогоду, когда хлестал ливень и девочка не сидела на ступеньках.

Всякий раз я видел одно и то же: длинную худую шею женщины и мелькающую в ее руках тряпку. Ну, конечно же, она мать девочки, тоже тощенькой и тонкошейей! Много раз давал я себе зарок разглядеть через окно их мебель и занавески, но мой взгляд всегда застревал на этой худощавой согбенной фигуре, а когда я спохватывался, оказывалось, что состав уже проскочил мимо. Это повторялось по понедельникам, средам и субботам в восемь часов десять минут утра — ведь поезда тогда ходили очень точно. Мой вагон пролетал мимо домика, и какое-то мгновение я еще видел его заднюю стену с наглухо закрытыми окнами.

Я строил всевозможные догадки насчет этой женщины и этого дома. Все остальное на моем пути интереса для меня не представляло — ни Каленкаттен, ни Бредеркоттен, ни Суленхайм, ни Грюндерхайм. Мои мысли постоянно вертелись вокруг того дома: «Почему эта женщи-

на трижды в неделю делает генеральную уборку?» — задавал я себе один и тот же вопрос. Судя по всему, дом этот был не из тех, где много грязнят, и не из тех, где бывает много гостей. Пожалуй, он выглядел даже неприветливо, хотя и был чистенький. Это был опрятный, но какой-то негостеприимный дом.

Когда же я одиннадцатичасовым ехал из Грюндерхайма назад и без чего-то двенадцать снова оказывался у красного домика, женщина как раз протирала стекла в правом окне задней стены. По понедельникам и субботам она в это время всегда протирала правое окно, а по средам — среднее. Она держала в руке суконку, и терла, и терла. Волосы ее были повязаны платком какого-то неопределенного бурого цвета. Девочку я на обратном пути никогда не видел. И вот всегда без чего-то двенадцать — ведь поезда в то время ходили немыслимо точно — окна фасада были наглухо закрыты.

И хотя я стремлюсь описать в этом рассказе только то, что видел собственными глазами, да будет мне все же позволено заметить, что после двух-трех месяцев поездок в Грюндерхайм я сделал один скромный вывод, а именно: по вторникам, четвергам и пятницам женщина, очевидно, протирает остальные окна. Это предположение при всей своей непритязательности постепенно превратилось в навязчивую мысль, которая меня уже не покидала. Иногда я всю дорогу от Каленкаттена до Грюндерхайма ломал себе голову: когда же, до обеда или после, протирает она остальные окна? Однажды я сел и составил график уборки дома. Исходя из моих наблюдений по понедельникам, средам и субботам, я попытался восстановить весь недельный цикл. Я старался представить себе, чем она занимается в эти дни после обеда и что моет в остальные дни. У меня возникла прямо-таки маниакальная идея, что эта женщина всю свою жизнь проводит в уборке дома. Я ведь никогда не видел ее в восемь часов десять минут утра иначе, чем склоненной над ведром, так устало, так усердно склоненной, что мне казалось даже, будто я слышу ее тяжелое дыхание, а за несколько минут до полудня так старательно протирающей суконкой стекла, что мне чуть ли не виделся между ее губами высунутый от рвения кончик языка...

История этого дома не давала мне покоя. Я стал задумчив, небрежен в работе. Да, в самом деле небрежен. Я слишком много размышлял. Однажды я даже забыл

взять папку «Спорные дела», чем навлек на себя гнев начальника окружного управления. Он вызвал меня к себе, он дрожал от возмущения.

— Грабовски,— сказал он мне,— я слышал, вы забыли папку «Спорные дела». Служба превыше всего, Грабовски!

Так как я упорно молчал, начальник продолжал еще более строгим голосом:

— Курьер Грабовски, я вас предупреждаю: растяпам не место во Всегерманском обществе охотничьего собаководства. Мы можем обеспечить себя квалифицированными служащими...

Он грозно посмотрел на меня, но вдруг его взгляд смягчился.

— Может быть, у вас какие-нибудь личные неприятности?

Я тихо сказал:

— Да.

— Что случилось? — спросил он уже другим тоном.

В ответ я только покачал головой.

— Могу ли я вам помочь? Скажите — чем?

— Дайте мне один свободный день, господин начальник. Больше мне ничего не надо.

Он великодушно кивнул.

— И не принимайте этот разнос близко к сердцу. В конце концов, забыть папку может каждый. А в остальном мы вами довольны...

Я ликовал. Сцена эта произошла в среду, и на завтра, в четверг, я был свободен.

Я решил проделать все очень толково и выехал восьмичасовым. Я дрожал скорее от нетерпения, нежели от страха, когда колеса вагона застучали по мосту. Женщина мыла ступеньки крыльца. Я вернулся из Каленкаттена с первым же поездом и около девяти проехал мимо красного домика; она трудилась на втором этаже, протирая среднее окно.

В этот день я четырежды ездил туда и обратно. Я досконально изучил всю ее программу на четверг: ступеньки крыльца, среднее окно фасада, среднее окно второго этажа задней стены, пол передней комнаты на втором этаже. Когда в шесть часов вечера я в последний раз проезжал мимо, я увидел, что в саду возится невысокий коренастый мужчина. Движения его были размеренны. Девочка с чистой куклой в руках наблюдала за ним. Женщины видно не было...

Все это происходило десять лет тому назад. И вот на днях мне пришлось снова проехать по тому мосту.

Господи, с какой же легкой душой сел я в поезд в Кенигсштадте! Той истории я, конечно, уже не помнил. Мы ехали товарным, и когда показался Рейн, произошло нечто странное: грохочущий поезд вдруг затих. Один за другим заглохли вагоны, просто удивительно, словно весь состав из двадцати — двадцати пяти теплушек был цепью электрических лампочек, которые поочередно гасли. И в наступившей тишине послышался отвратительный, гулкий, как по пустому горшку, перестук... Мы замолкли, выглянули наружу и ничего не увидели. Ничего... Ничего... Справа и слева от нас зияла ужасающая пустота... Далеко вдоль берегов Рейна зеленели лужайки... А под нами — вода... пароходы... Глядеть было страшно — и глаза хитрили, смотрели в сторону. За стенками вагона ничего не было. Сидевшая напротив крестьянка побледнела как полотно; по ее молчаливой сосредоточенности я понял, что она молится. Дрожащими руками мужчины чиркали спички, чтобы закурить. Даже картежники в углу приумолкли...

Потом мы услышали, что передние вагоны опять загрохотали по твердой насыпи. И все подумали одно и то же: для тех, кто там, это уже позади. Если с нами что-нибудь случится, они, может быть, сумеют выпрыгнуть. Но мы ехали в самом хвосте, и в том, что мы сверзимся, не было никакого сомнения. Эта уверенность читалась в напряженности взглядов и бледности лиц. Мост был шириной в колею, собственно говоря, колея и была мостом, а боковые стенки вагонов нависали над пустотой. Мост зловеще раскачивался, словно хотел нас скинуть, обратить в ничто...

Но вот и наши колеса загрохотали. Привычный грохот стремительно примчался к нашему вагону и оказался у нас под ногами. Мы с облегчением вздохнули и, осмелев, покосились на дверной проем: там мелькали огороды, господи благослови эти огороды! И тут у меня екнуло сердце: я узнал это место. И пока мы приближались к Каленкаттену, меня мучила только одна мысль: стоит ли еще тот дом? И наконец я увидел его издали, сквозь нежно-зеленую дымку редкой весенней листвы деревьев, окаймлявших огород, — красноватый, по-прежнему аккуратный фасад летел мне навстречу.

Жуткое волнение охватило меня. Все, что было тогда, десять лет назад, и все, что произошло потом, всколыхну-

лось во мне и разрывало на части сердце. Дом надвигался с немыслимой быстротой. И вот я увидел ее, ту женщину. Она мыла крыльцо. Нет, то была не она, из-под юбки белели полные молодые ноги, но движения, угловатые, резкие движения были те же. Сердце у меня перестало биться, оно замерло. Женщина только на миг повернулась лицом к поезду, и я тут же узнал в ней девочку с куклой, ее неприятное паучье лицо с прокисшим, словно вчерашний салат, брюзгливым выражением.

Когда я снова стал ощущать биение своего сердца, я вспомнил, что нынче и в самом деле четверг.

1950

БАЛАГАН!

Женщина-змея оказалась прелестнейшей из женщин. На ней была великолепная соломенная шляпа, наподобие сомбреро, ибо, как любезная хозяйка, она села на солнечной стороне маленькой террасы, пристроенной к ее фургончику.

Трое ее детей играли под этой террасой в своеобразную игру, она называлась «Неандертальцы».

Младшие — мальчик и девочка — были неандертальцами, старший же, восьмилетний светловолосый сорванец (на арене он выступал как сын «толстухи Сузи»), воображал себя современным ученым, обнаружившим неандертальцев. Он изо всех сил старался своротить малышам скулы, чтобы потом выставить их челюсти в своем музее.

Женщина-змея несколько раз постучала деревянными подошвами об пол террасы, так как громкий крик не позволял нам начать разговор.

Над низким барьерчиком террасы, украшенным алыми цветами герани, показалась голова старшего.

— Ну? — спросил он ворчливо.

— Перестань их мучить, — сказала мать, погасив в своих мягких серых глазах улыбку, — стройте лучше блиндажи или играйте в бомбежку.

Мальчишка досадливо буркнул что-то вроде: «Чепуха», нырнул вниз и уже оттуда закричал: «Горим, весь дом горит!» Увы, мне не удалось проследить дальнейший ход игры в бомбежку, ибо женщина-змея занялась теперь мной. Под широкополой шляпой, сквозь которую проникал теплый розовый луч солнца, она ка-

залась слишком молодой для матери троих детей, для женщины, вынужденной пять раз на день развлекать публику сложным цирковым номером.

— Вы...— начала она.

— Ничто,— ответил я,— полное ничто, один из тех, кого превратили в ничто.

— Вы, наверное, торговали на черном рынке? — спокойно продолжала она.

— Да,— подтвердил я.

Она пожала плечами.

— Это не бог весть что. Во всяком случае, куда бы мы вас ни пристроили, вам придется работать, понимаете? Работать.

— Сударыня,— возразил я,— мне кажется, что жизнь торговца с черного рынка представляется вам в чересчур розовом свете. Я... я был, так сказать, на «переднем крае».

— Что это значит?

Внизу опять послышались возня и крики, и ей снова пришлось постучать деревянным каблуком по полу. И опять из-за барьера показалась голова мальчугана.

— Ну? — спросил он коротко.

— Теперь поиграйте в беженцев,— спокойно сказала мать.— Будете удирать из горящего города. Понятно?

Голова мальчика исчезла, и женщина обратилась ко мне:

— Что это значит?

О нет, она не теряла нити разговора.

— Я был впереди,— сказал я,— совсем впереди. Думаете, это легкий хлеб?

— Где? На углу?

— Ну, допустим, на вокзале. Представляете себе?

— Так. А теперь?

— Я хотел бы найти работу. Я не лентяй, отнюдь не лентяй, сударыня.

— Извините,— сказала она, повернувшись так, что передо мной оказался ее тонкий профиль, и крикнула кому-то в фургоне: — Карлино, вода еще не закипела?

— Сейчас,— раздался невозмутимый голос,— я уже завариваю.

— Ты будешь пить с нами?

— Нет.

— Тогда принеси, пожалуйста, две чашки. Выпьем со мной чашечку?

Я кивнул.

— Разрешите предложить вам сигарету?

Шум под террасой стал таким оглушительным, что невозможно было разобрать ни слова.

Женщина-змея перегнулась через ящик с геранью.

— Теперь удирайте,— закричала она,— быстро, быстро, русские уже на краю деревни.

— Мужа сейчас нет,— продолжала она, обернувшись ко мне,— но нанимать на работу я могу...

Нас прервал Карлино, стройный, молчаливый юноша; он принес кофейник и чашки. Темные волосы его были стянуты сеткой.

На меня он посмотрел недружелюбно и сразу же направился к выходу.

— Почему ты не выпьешь кофе? — спросила его женщина.

— Что-то не хочется,— пробурчал он и исчез в дверях фургона.

— Нанимать на работу я могу и сама. Что-нибудь вы все же должны уметь. Из ничего ничего не выйдет.

— Сударыня,— сказал я робко,— может быть, я смогу смазывать колеса, ставить шатер или ездить на тягаче. Или пусть ваш силач пробует на мне свои кулаки...

— Ездить на тракторе — это уже нечто, а смазывать колеса — это хоть и небольшое, но все же искусство.

— Или, может быть, тормозить,— спросил я,— тормозить качели?

Она высокомерно вздернула брови и впервые посмотрела на меня с некоторым презрением.

— Тормозить качели,— сказала она холодно,— это наука. Представляю, сколько людей свернуло бы из-за вас шею. Торможением ведаёт Карлино.

— Или...— робко продолжал я, но тут по узенькой лесенке, вдруг напомнившей мне трап, поспешно поднялась маленькая темноволосая девочка со шрамом на лбу. Она уткнулась в материнский подол, обиженно всхлипывая: «Я должна умереть...»

— Что? — ужаснулась женщина-змея.

— Я беженка и должна замерзнуть, а Фреди хочет стянуть мои башмаки и все остальное...

— Да, но вы ведь играете в беженцев,— возразила мать.

— Я всегда умираю,— сказала девочка.— Но поче-

му всегда я? Когда мы играем в бомбежку, в войну или в канатоходцев, меня всегда заставляют умирать!

— Скажи Фреди, пусть умирает он, я так велела. Теперь его очередь.

Девочка убежала.

— Или...— обратилась ко мне женщина-змея.

О, она не так легко теряла нить разговора!

— Или забивать гвозди, чистить картофель, разливать похлебку. Откуда я знаю? — закричал я в отчаянье.— Ну, испытайте меня хотя бы.

Она погасила сигарету, снова наполнила наши чашки, посмотрела на меня долгим смеющимся взглядом, потом сказала:

— Я испытаю вас. Вы умеете считать, не правда ли? Этого, так сказать, требовала ваша прежняя профессия, и я,— она немного помедлила,— я поручу вам кассу.

...Я не мог вымолвить ни слова, я онемел, я только встал и поцеловал ее маленькую руку. Мы молчали, было тихо-тихо, ничто не нарушало тишины, только из фургона доносилось пение Карлино — то тихое мурлыканье, по которому можно было понять, что он бредет.

1950

ПРОЩАНИЕ

Мы были в том отвратительном настроении, которое всегда наступает, когда уже давным-давно простился, но продолжаешь стоять на перроне, потому что поезд еще не ушел. Перрон как перрон, толчея, грязь, запах отработанного пара и шум, оглушающий шум — гул голосов и лязг составов.

Шарлотта стояла у окна в длинном коридоре вагона, ее непрерывно толкали, отпихивали в сторону, и все ее ругали, но не могли же мы в последние минуты, в эти бесценные последние минуты нашей совместной жизни объясниться жестами через стекло закрытого окна ее переполненного купе...

— Как мило с твоей стороны! — сказал я уже в третий раз.— В самом деле, как мило, что ты зашла за мной...

— Прошу тебя, не надо... Мы уже так давно знакомы... Пятнадцать лет...

— Да... да... нам уже по тридцать... И все же это еще не причина...

— Прошу тебя, перестань... Да, нам уже по тридцать... Столько, сколько русской революции...

— Столько, сколько голоду и всему дерьму у нас в Европе...

— Столько, сколько войне...

— Нет, чуть поменьше...

— Ты права, мы еще очень молоды...— Она засмеялась.— Ты что-то сказал? — нервно спросила она, потому что в эту минуту кто-то тяжелым чемоданом оттеснил ее от окна.

— Нет, это нога.

— Ты должен с ней что-нибудь сделать.

— Да, обязательно что-нибудь сделаю, она и в самом деле слишком расшумелась.

— Тебе не трудно стоять?

— Нет...

Собственно, я хотел сказать, что люблю ее, но уже пятнадцать лет я никак не могу собраться с духом это сказать...

— Что ты?

— Ничего... Швеция... Так ты, значит, едешь в Швецию?

— Да... и мне как-то немного стыдно. Ведь все это — разбомбленные дома, лохмотья, голод, все это дерьмо неотъемлемо от нашей жизни. Поэтому мне и стыдно. Я кажусь себе дрянью...

— Глупости... Ты создана для другой жизни, радуйся, что едешь в Швецию.

— Иногда я и радуюсь... Знаешь, есть досыта — это, наверное, очень здорово... И вокруг ни одного разбитого здания... Он пишет восторженные письма...

Вдруг загремел голос, объявивший по радио об отправлении поезда. Я испугался, но оказалось, что это еще не наш поезд. Голос сообщил, что отходит международный экспресс «Роттердам — Базель». И пока я неотрывно смотрел на маленькое нежное лицо Шарлотты, мне почему-то вдруг вспомнился запах хорошего мыла и кофе, и я почувствовал себя очень несчастным.

На мгновение мне показалось, что я способен с мужеством отчаяния выхватить из окна вагона это маленькое существо, не дать ей уехать. Она ведь принадлежит мне, я ведь ее люблю.

— Что ты?

— Ничего... Радуйся, что едешь в Швецию...

— Конечно... Он дьявольски энергичен, ты не находишь?.. Три года плена в России, побег, миллион приключений, и теперь он уже там занимается Рубенсом.

— Черт-те что, в самом деле... Черт-те что...

— Ты тоже должен чем-нибудь заняться. Хотя бы кончить университет.

— Заткнись!

— Что? — в ужасе переспросила она, смертельно побледнев. — Что?

— Прости, — прошептал я. — Это я сказал ноге, я с ней иногда разговариваю.

Она совершенно не походила на женщин Рубенса, скорее уж на пикассовских, и я всегда недоумевал, почему он так хочет на ней жениться. Она ведь даже некрасивая, и я ее люблю.

На перроне стало тише, толпа рассеялась, осталось только несколько провожающих. С минуты на минуту голос по радио объявит, что поезд отходит. Каждое мгновение могло оказаться последним...

— Ты должен чем-нибудь заняться, хоть чем-нибудь, так нельзя...

— Да, — согласился я.

Она была полной противоположностью женщин Рубенса — стройная, длинноногая, нервная, и ей было столько лет, сколько русской революции, сколько голоду и всему этому дерьму в Европе, сколько войне.

— Не верится... Швеция... Это как сон...

— Все это и есть сон.

— Ты думаешь?

— Конечно. Пятнадцать лет... Тридцать лет. Еще тридцать. Зачем добиваться диплома? Стоит ли? Заткнись, проклятая!

— Это ты опять ноге?

— Да.

— А что она говорит?

— Послушай.

Мы молчали, смотрели друг на друга, и улыбались, и сказали друг другу все, что хотели, не произнеся ни слова.

Потом она мне снова улыбнулась.

— Теперь ты понял... Хорошо, да?

— Да, да...

— В самом деле?

— Да... да...

— Видишь ли,— продолжала она тихо,— дело ведь не в том, чтобы быть вместе, и все. Дело ведь не в этом, правда?

Голос, который объявлял по радио об отправлении поездов, раздался теперь прямо надо мной, он звучал официально и сухо, и я вздрогнул, словно на меня замахнулся охранник здоровой двухвостой плеткой.

— До свидания!

— До свидания!

Поезд плавно двинулся, медленно пошел вдоль перрона и, вырвавшись из-под застекленного свода вокзала, утонул в темноте.

1950

В ТЕМНОТЕ

— Зажги свечу,— раздался в темноте чей-то голос.

Глухую тишину нарушали лишь те слабые невнятные шорохи, что всегда слышишь, когда лежащий рядом человек никак не может уснуть.

— Свечку, говорю, зажги,— настойчиво повторил тот же голос.

По звукам стало ясно, что кто-то повернулся, откинул одеяло, встал — зашуршала солома, дыханье звучало теперь где-то сверху.

— Ну, в чем дело? — нетерпеливо спросил все тот же голос.

— Лейтенант приказал не зажигать свечу без крайней надобности,— робко ответил более молодой голос.

— Зажги, тебе говорят, сопляк паршивый! — прохрипел тот, что постарше.

Теперь уже оба стояли во весь рост, их головы были почти рядом, а струйки выдыхов не пересекались. Тот, что постарше, раздраженно сопел, пока молодой рылся в своем вещевом мешке, и успокоился только тогда, когда услышал скрип выдвигаемого спичечного коробка. Чиркнула спичка, и вспыхнуло пламя — скудный желтый огонек.

Они поглядели друг на друга. Всегда, когда вновь становилось светло, они прежде всего глядели друг на друга. Они хорошо знали друг друга, даже чересчур хорошо. Они готовы были возненавидеть друг друга оттого, что так хорошо друг друга знали, знали вплоть

до запаха чуть ли не каждой поры, и все же, когда становилось светло, они глядели друг на друга — тот, что постарше, и молодой. Молодой был худ, тонок, с неприметным бледным лицом, тот, что постарше, тоже был худ, да и лицо у него было такое же неприметное, только что небритое.

— Ну,— сказал старший уже спокойнее,— как тебе втемяшить в башку, что не все приказы лейтенанта надо выполнять?

— Он разорется...— начал было молодой.

— Ни черта не разорется,— резко оборвал его старший и прикурил от свечки.— Он и слова не скажет. А если что, ты скажешь, что это я, мол, зажег. Пусть меня дожидается. Ясно?..

— Так точно, ясно.

— Да брось ты это дерьмовое «так точно». Отвечай мне просто «да». И всегда снимай ремень перед сном.

Молодой со страхом поглядел на него, потом снял ремень и кинул рядом с собой на солому.

— Скатай шинель и положи под голову... Вот так... А теперь спи. Когда надо будет помирать, я тебя разбужу...

Молодой повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и зажмурил глаза, из-под одеяла выглядывали копна взъерошенных каштановых волос, очень тонкая шея и плечи с солдатскими погонами. Слабое пламя свечи билось в окопе, словно желтая бабочка, не знающая, куда ей сесть.

Тот, что постарше, все еще сидел и остервенело курил; клубы дыма тут же поглощались сырой земляной стеной укрытия. Стена была темно-коричневая, кое-где прочеркнутая белыми, рассеченными лопатой корнями, с бордюром из каких-то луковичных корневищ поверху. Несколько досок с наброшенной на них плащ-палаткой служили потолком укрытия; в щелях между неплотно уложенными досками плащ-палатка провисала — на нее была насыпана тяжелая мокрая земля. Лил дождь, и от стен их окопа шел пар. Тот, что постарше, сидел, по-прежнему упершись взглядом в земляную стену, и вдруг заметил поблескивающую тоненькую струйку воды, которая сочилась сверху из-под перекрытия. Сперва ее задерживали неровности стены, но струйка все набухала и обтекла наконец эти комки земли; следующим препятствием для струйки были упершиися в стену солдатские сапоги; вода окружила их с трех сто-

рон, так что они выглядели прямо-таки полуостровом. Солдат постарше сплюнул окурочок в лужицу и прикурил о свечку другую сигарету, а свечу поставил подле себя на ящик с пулеметными лентами. Теперь та часть укрытия, где лежал молодой, снова погрузилась во тьму; неровное вздрагивающее пламя освещало ее лишь на какие-то миги яркими, но все более редкими вспышками.

— Да засни же ты, наконец, черт бы тебя побрал! — сказал тот, что постарше. — Слышишь, ты должен поспать!

— Так точно, должен, — ответил тот слабым голосом, но все же было ясно, что он еще более далек ото сна, чем прежде, когда не горела свеча.

— погоди минутку, — сказал тот, что постарше, смягчившись. — Еще одну сигарету выкурю и погашу свечу. Пусть нас затопит в крошечной тьме.

Он курил и поглядывал в темную часть укрытия, где лежал его товарищ. Лужа все увеличивалась; он сплюнул в нее второй окурочок и прикурил новую сигарету; по дыханию рядом он понял, что парнишке заснуть никак не удастся.

Тогда он взял лопату и соорудил у входа в укрытие земляной вал, а чуть ближе к середине — еще один. Лужу, в которой мокли его сапоги, он тоже засыпал, кинув туда лопату земли. Никаких звуков, кроме приглушенного шума дождя, не доносилось в блиндаж. Земля, которую навалили на плащ-палатку, постепенно насыщалась влагой, и сверху капало все больше.

— Черт-те что, — пробурчал тот, что старше. — Уснул ты наконец?

— Нет.

Тот, что старше, кинул третий окурочок за земляную насыпь и задул свечку. Затем натянул на себя одеяло, поудобнее разместил ноги и, тяжело вздохнув, улегся. Было совсем тихо, совсем темно, и тишину снова нарушали только те невнятные шорохи, что всегда раздаются, когда лежащий рядом человек никак не может уснуть.

— Вилли ранен, — сказал вдруг после нескольких минут молчания тот, что моложе. Голос его был ничуть не сонный, даже бодрый.

— Ну да! — удивился тот, что постарше.

— Точно, ранен, — чуть ли не с торжеством подтвердил молодой. Он был явно рад, что может сооб-

щить важную новость, которая еще не дошла до товарища.— Его ранило, когда он оправлялся.

— Скажи-ка! — снова удивился тот, что постарше, и снова выдохнул.— Ну и везет же некоторым, чертовски везет! Вчера вернулся с побывки, а сегодня уже ранен, да еще когда оправлялся! Красота! Здорово его стукнуло?

— Нет,— со смехом ответил молодой.— Но и не легко — перебита кость руки.

— Перебита кость руки! Только вчера вернулся из отпуска, пошел оправиться, и хлоп, перелом руки. Ох, и везет же некоторым! Ну, а как дело-то было?

— Пошли они, значит, вечером к роднику,— с увлечением принялся рассказывать парнишка.— Набрали воды в канистры, и только стали спускаться вниз по склону, как Вилли обратился к фельдфебелю Шуберту: «Разрешите оправиться, господин фельдфебель».— «Придется потерпеть»,— отвечает фельдфебель. Но Вилли было уже невтерпеж, он отбежал на несколько шагов, спустил портки, а тут как бабахнет! Граната. Ребятам пришлось натягивать ему штаны. Левая рука у него была перебита осколком, правой он поддерживал левую; так с полуспущенными штанами и доковылял до санитаря. Тут они принялись хохотать, все хохотали, даже сам фельдфебель Шуберт.

Последние слова он добавил смущенно, словно хотел извиниться за собственный смех, который был не в силах сдержать.

Но тот, что постарше, не смеялся.

— Света! — вдруг гаркнул он.— Давай сюда коробок. Хочу света!

Он чиркнул спичкой и продолжал раздраженно:

— Раз уж меня никак не ранит, то пусть будет хоть светло! Хоть светло! Они обязаны обеспечить нас свечами, если хотят воевать. Хочу света! Света хочу! — заорал он снова и снова закурил.

Молодой приподнялся, достал банку тушенки, зажал ее между коленями и принялся ковырять в ней ложкой.

Освещенные желтым пламенем свечи, они молча сидели рядом.

Тот, что постарше, жадно курил, а молодой ел тушенку. Его детское лицо так и лоснилось от жира, а в растрепанных волосах застряли крошки. Куском хлеба

он выскребал со стенок консервной банки налипший жир.

Вдруг стало совсем тихо: дождь прекратился. Они замерли и поглядели друг на друга — один с сигаретой в зубах, другой с куском хлеба в дрожащей руке... Тишина была невыносимая, и только несколько мгновений спустя, едва переведя дух, они услышали, что с плащ-палатки еще кое-где падали редкие капли.

— Черт возьми, интересно, стоит ли еще часовой на посту? — спросил тот, что постарше. — Что-то ничего не слышно.

Молодой сунул в рот хлеб, отшвырнул пустую банку в угол, на солому, и сказал:

— Не знаю. Они ведь должны предупредить, когда нам заступать.

Тот, что постарше, разом вскочил на ноги, задул свечу, надел каску и отодвинул плащ-палатку. В образовавшуюся щель в укрытие хлынул не свет, а холодная сырая темень. Тот, что постарше, загасил сигарету и высунул голову.

— Проклятье! Ни черта не видно! Эй! — громким шепотом позвал он. — Э-э-эй!

Потом его черная голова снова нырнула в укрытие, и он спросил:

— А где соседний блиндаж?

И тот, что моложе, поднялся на ноги и стоял теперь рядом с товарищем, тоже высунув голову в щель.

— Тсс! — вдруг резко и тихо приказал старший. — Кто-то ползет...

Они оба уставились в темноту, туда, где был передний край. В глухой тишине и в самом деле слышно было, что кто-то ползет. И вдруг раздался такой странный звук, что оба вздрогнули: казалось, кто-то с размаху шмякнул об стенку живую кошку — это был хруст костей.

— Черт подери, — сказал старший. — Что-то здесь неладно... Где стоит часовой?

— Вон там, — ответил тот, что моложе, нащупал в темноте руку товарища и указал ею направо. — Там. Там и соседний блиндаж.

— Погоди, — сказал тот, что постарше. — И дай-ка на всякий случай мой автомат.

Снова до них донесся ужасный хруст костей, и в воцарившейся затем тишине они услышали, что кто-то ползет.

Старший двинулся по грязи, время от времени замирая и прислушиваясь, пока наконец, отойдя от укрытия на несколько метров, не услышал еле уловимый звук голоса и не увидел слабое мерцанье света откуда-то из-под земли; он ощупью нашел вход в блиндаж и позвал:

— Эй, малый!

Голос умолк, огонь тотчас погас, а потом чья-то рука отодвинула край плащ-палатки и над землей показалась голова.

— Что случилось?

— Где часовой?

— Как где? Вон там.

— Где, я спрашиваю?

— Эй, новичок! Эй!

Но ответа не было. Не было и слышно, чтобы кто-то полз. Вообще ничего не было слышно. Кругом — только темнота, густая немая темнота.

— Черт-те что... Странно,— сказал человек, вынырнувший из земли.— Эй, ты... Алло! Он же только что стоял вот тут, в двух шагах от нашего укрытия.

Солдат вылез на поверхность земли и стоял теперь рядом с пришедшим.

— Там кто-то полз,— сказал пришедший.— Это точно. Сейчас этот гад притаился.

— Надо поглядеть,— ответил тот, что вылез из окопа.— Пойдем поглядим.

— Гм... Во всяком случае, тут должен стоять часовой.

— Вы и заступайте — ваш черед.

— Да, но...

— Тише!..

Было слышно, что шагах в двадцати от них кто-то ползет по земле.

— Что за дьявольщина!.. Правда, ползет,— сказал тот, что вылез из окопа.

— Быть может, это иван... один из вчерашних... Очнулся теперь и пытается уползти.

— А может быть, их разведчик.

— Где же наш часовой, черт его дерит?

— Ну что, пошли посмотрим, что к чему?

— Пошли.

Словно по команде, они распластались на земле и поползли. Снизу все выглядело по-другому: всякий ничтожный бугорок казался горой, заслоняющей горизонт,

и лишь иногда где-то впереди мелькала чуть более светлая тьма — небо. С пистолетами в руках продвигались они метр за метром по грязи.

— Фу ты, дьяволыщина! — зашептал тот, что вылез из земли.— Тут валяются эти... вчерашние...

Пришедший тоже тронул рукой мертвеца — холодный, словно налитый свинцом мешок. Вдруг они замерли не дыша — совсем близко снова раздался этот чудовищный хруст — будто кто-то со всего маху дал кому-то по морде, потом они услышали чье-то сопенье.

— Эй, кто там? — крикнул тот, что вылез из окопа.

В ответ на этот крик все звуки смолкли, чувствовалось, что кто-то совсем рядом сдерживает дыхание, и наконец раздался робкий голос:

— Это я.

— Фу ты, дьяволыщина! Чего ты здесь делаешь, воючая задница? Только людей пугаешь! — заорал тот, что вылез из окопа.

— Я ищу тут кое-что...

Те, что ползли, встали и двинулись на голос.

— ...ищу себе башмаки,— продолжал объяснять тот, но они уже стояли над ним; их глаза привыкли к темноте, и они различали вокруг валяющиеся на земле трупы — штук десять — двенадцать, похожие на черные корявые пни, и над одним из этих пней стоял на коленях часовой и возился со шнурками.

— Какого черта ты не на своем посту? — сказал тот, что вылез из окопа.

Вдруг пришедший кинулся на землю и склонился над мертвецом. Тогда часовой уткнул лицо в ладонь и принялся тихо и трусливо выть, словно зверь.

— Ой! — охнул пришедший и тихо добавил:— Зубы тебе нужны? Золотые коронки? Да?

— Что, что? — не поняв, переспросил тот, что вылез из земли. А часовой завыл еще громче.

— Ой! — снова вырвалось у пришедшего. Казалось, вся тяжесть земли придавила ему грудь.

— Зубы? — переспросил тот, что вылез из земли. Он тоже стремительно опустился на колени и вырвал из рук часового матерчатый мешочек.

— Ой! — только и произнес он и выразил в этом звуке всю меру человеческого отвращения.

Пришедший отвернулся, приставил дуло своего пистолета к голове часового и нажал курок.

— Зубы! — пробурчал он, когда отгремел выстрел.—
Золотые зубы.

Они медленно поплелись назад и ступали очень осторожно, пока не отошли от того места, где валялись мертвецы.

— Теперь вам стоять,— сказал тот, что вылез из земли, прежде чем снова исчезнуть под землей.— Ваш черед.

— Да,— ответил пришедший, медленно побрел по грязи к своему блиндажу и тоже скрылся под землей.

Он сразу понял, что молодой все еще не спит, в тишине по-прежнему раздавались те слабые невнятные шорохи, которые всегда раздаются, когда лежащий рядом не может уснуть.

— Зажги свечу,— тихо сказал пришедший.

Желтое пламя, вздрогнув, слабо осветило их яму.

— Что случилось? — с ужасом спросил тот, что мо-
ложе, увидев лицо товарища.

— Нет часового,— сказал он.— Заступай!

— Хорошо,— послушно сказал парнишка.— Только дай мне, пожалуйста, часы, чтобы я вовремя разбудил подменного.

— На, держи.

Тот, что постарше, присел на солому и закурил. Он задумчиво глядел на мальчишку, который надел ремень, шинель, повесил к поясу гранату и устало склонился над автоматом.

— Ну, все,— сказал он,— будь здоров!

— Будь здоров.

Тот, что постарше, задул свечу и остался в полной темноте, совсем один, в земле...

1950

«МЕТЛЫ БЫ ТЕБЕ ВЯЗАТЬ!»

Добродушие нашего учителя математики не уступало его необузданной стремительности; обычно он врывался в класс, держа руки в карманах, выплевывал окурки в плевательницу, стоявшую слева от корзинки для бумаг, взбегал на кафедру, выкликал мою фамилию и задавал вопрос, на который я никогда не мог ответить, в чем бы он ни заключался...

Когда я, беспомощно пробормотав что-то, умолкал, он под хихиканье всего класса медленно-медленно под-

ходил ко мне, огревал щелчком мое многострадальное темя и говорил с грубоватым добродушием: «Эх ты! Метлы бы тебе вязать! Вот что!»

Это превратилось в известного рода обряд, перед которым я трепетал все свои школьные годы, тем более что мои познания в науках не только не возрастали вместе с возрастающими требованиями, а, наоборот, как будто даже убывали. Наградив изрядным количеством щелчков, учитель оставлял меня в покое, больше не мешая мне предаваться беспредметным грезам, поскольку всякая попытка обучить меня математическим премудростям была напрасной, совершенно напрасной. И все свои школьные годы я из класса в класс влачил за собой единицу, как каторжник тяжелое ядро на ноге.

Особенно сильное впечатление производило на нас то, что у математика никогда не было при себе ни книжки, ни тетрадки, ни даже записочки; он словно откуда-то из рукава вытряхивал все свои таинственные чудеса и с уверенностью канатоходца молниеносно вычерчивал на доске самые невероятные геометрические фигуры. Вот только описать окружность ему никогда не удавалось. Он был для этого слишком нетерпелив. Обмотав кусок мела веревочкой, он намечал воображаемый центр и с такой стремительностью обводил вокруг него кривую, что мел обламывался и, жалобно поскрипывая, пускался вскачь по доске: черточка — точка, точка — черточка, — и никогда начало кривой не совпадало с ее концом; получалось что-то уродливо зияющее — поистине некий символ трагически несовершенного мироздания. И визг, скрип, часто даже треск мела был добавочной мукой для моего истерзанного мозга; я обычно пробуждался от своих грез, поднимал глаза, а он, заметив это, бросался ко мне, брал за уши и приказывал нарисовать окружность. Этим искусством я владел почти безукоризненно — то был загадочный дар, отпущенный мне природой. Каким наслаждением были полсекунды игры с мелом! Это походило на легкое опьянение: окружающий мир исчезал, и меня наполняла глубокая радость, вознаграждавшая за все муки. Но сладостное забытие длилось недолго: учитель с грубоватой признательностью больно хватал меня за губ, и я, под смех всего класса, как побитая собака возвращался на место; но теперь я уже не мог уйти в царство грез и мучительно ждал звонка...

Мы давно выросли, давно уже в мои грезы вплета-лось страдание, учитель давно уже говорил нам «вы»: «Эх вы! Метлы бы вам вязать! Вот что!» — и проходили долгие, мучительно долгие месяцы, на протяжении ко-торых я не чертил ни одной окружности; меня лишь тщетно заставляли преодолевать ломкие конструкции алгебраических формул, и неизменно я тащил за собой единицу, и неизменно совершался надо мной один и тот же привычный обряд.

Но вот нам пришлось добровольцами пойти в ар-мию, чтобы получить звание офицера; и тогда нам до-срочно устроили испытания, облегченные испытания, но все же испытания, и, вероятно, моя полная расте-рянность перед официальной строгостью экзаменаторов чрезвычайно тронула сердце учителя математики — он так много и ловко мне подсказывал, что я выдержал экзамен. Позднее, когда учителя жали нам на прощанье руки, он все же посоветовал мне не обольщаться насчет моих математических познаний и ни в коем случае не проситься в технические войска.

— В пехоту, в пехоту идите,— шепнул он мне,— это самый подходящий род войск для всех... вязальщиков метел.— И он в последний раз многозначительно, со скрытой нежностью, легонько щелкнул меня в натрени-рованное темя...

Месяца через два, а может, и того меньше, я сидел на своем ранце в глубокой грязи одесского аэродрома и не отрывал глаз от человека, вязавшего метлы, первого живого вязальщика метел, которого я видел в жизни...

Зима в тот год наступила рано, и над близким горо-дом от горизонта до горизонта нависло серое и безна-дежное небо. За палисадниками и черными заборами виднелись высокие мрачные здания. Там, где находи-лось невидимое отсюда Черное море, небо было еще бо-лее темное, почти иссиня-черное, и думалось, что су-мерки и ночь надвигаются с востока. Где-то в глубине аэродрома, у мрачных ангаров, баки крылатых чудовищ до краев наполнялись бензином, затем чудовища отка-тывались назад и со злорадным радушием разверзали чрево, которое до отказа заполнялось людьми — серы-ми, усталыми и отчаявшимися солдатами; в глазах у них нельзя было прочесть ничего, кроме страха: Крым давно уже был отрезан...

Наш взвод оставался на аэродроме, вероятно, одним из последних, все молчали и зябко поеживались, несмотря на длинные шинели. Кое-кто искал выхода своему отчаянию в еде, другие, наперекор запрету, курили, прикрывая трубку ладонью, и осторожно, тоненькой струйкой, выпускали дым...

У меня было достаточно времени, чтобы наблюдать за сидевшим у забора соседнего сада человеком, который вязал метлы. В диковинной русской фуражке, обросший бородой, он курил темно-коричневую трубку-коротышку, такую же толстую, как его нос. Его руки, работавшие спокойно, просто и размеренно, брали пучок веток, похожих на дрок, обрезали их, перевязывали проволокой и, воткнув в пучок палку, закрепляли.

Повернувшись к нему, я почти лежал на своем ранце. Мне был виден лишь огромный силуэт этого бедного тихого человека, без суетливости, прилежно и с любовью вязавшего метлы. Никогда в жизни я никому не завидовал так, как этому метловязальщику, — ни нашему первому ученику, ни математическому светиле Шимскому, ни лучшему футболисту нашей школьной команды, ни Хегенбаху, у которого брат был кавалером Рыцарского креста; никому из них я так не завидовал, как этому метловязальщику, который сидел здесь, на одесской окраине, и, ни от кого не прячась, курил свою трубку.

У меня было тайное желание встретиться взглядом с этим человеком, мне казалось, что я почерпну в этом лице душевный покой; но вдруг кто-то, схватив меня за шинель, рывком поставил на ноги, обругал и втолкнул в ревущую машину, и когда мы оторвались от земли и понеслись над сумятицей садов, улиц и церковей, не было уже никакой возможности отыскать взглядом того простого человека, вязавшего метлы.

Сначала я сидел на своем ранце, потом меня отшвырнуло к стенке, и я, оглушенный гнетущим молчанием моих товарищей по несчастью, прислушивался к грозному шуму летящего корабля, и голова моя, прижатая к металлической стенке, дрожала от постоянных сотрясений. Только там, где сидел пилот, густая темень битком набитой машины была не такой непроглядной, призрачный отблеск падал на молчаливые и угрюмые фигуры солдат, сидевших на своих ранцах справа, слева, всюду.

Внезапно странный шум прокатился по небу, такой знакомый, что я испугался: мне показалось, будто исполинская рука великана учителя, широко взмахнув куском меловой скалы, пронеслась по беспредельной грифельной доске ночного неба, и звук был точь-в-точь такой же, какой я так часто слышал всего два месяца назад. Это был тот же сердитый треск скачущего мела.

Дугу за дугой прочерчивала по небу рука великана, но не белым по грифельно-серому, а красным по синему и фиолетовым по черному, и вздрагивающие линии гасли, не завершая окружности, щелкали и, взыв, затухали.

Меня терзали не стоны моих обезумевших от испуга товарищей по несчастью, не крик лейтенанта, тщетно приказывавшего успокоиться и замолчать, и не страдальчески перекошенное лицо пилота. Меня терзали только эти прочерчивающие все небо, беснующиеся, вечно незавершенные окружности; полные исступленной ненависти, они никогда, никогда не возвращались к своей исходной точке, ни одно из этих бездарно вычерченных полукружий так ни разу и не завершилось, не обрело законченной красоты круга.

Мои мучения удесят�ерялись щелкающей, скрежещущей, скачущей яростью гигантской руки; я дрожал от страха — как бы она не схватила меня за вихор и не защелкала до смерти.

И вдруг ужас сжал сердце: эта исступленная ярость впервые по-настоящему открылась мне в звуке, — я слышал близко над головой странное шипение, и вслед за тем словно чья-то гневная длань ударила меня по темени; я ощутил жгучую влажную боль, с криком вскочил и схватился за небо, в котором опять бешено дрогнул ядовито-желтый огненный зигзаг. Я крепко держал эту яростно вырывающуюся желтую змею, правой рукой гнал ее по окружности, заставляя описывать гневный круг, чувствуя, что мне удастся завершить его, ибо только это я и умел делать, только этим меня и одарила природа... и я держал змею, размашисто водил ею по небу, яростно извивающуюся, беснующуюся, вздрагивающую, грохочущую змею, держал ее крепко, и из моего страдальчески подергивающегося рта вырывалось горячее дыхание; а тем временем влажная боль в темени все росла, и пока я, вычерчивая пунктиром, завершал чудесную окружность и с гордостью разглядывал ее, пространство между пунктирными линиями заполни-

лось, и короткая вспышка зловещим треском залила округность светом и огнем, все небо запылало, и стремительная сила падающего самолета расколола мир надвое. Я ничего больше не видел, кроме света, огня и изуродованного хвоста машины, расщепленного, как черный огрызок метлы, на котором на шабаш скачет ведьма...

1950

МОЯ ДОРОГАЯ НОГА

Вот меня и благодетельствовали. Мне прислали открытку с приглашением явиться в Бюро, и я пошел. В Бюро все были со мной очень любезны. Чиновник извлек из картотеки мою карточку и сказал «Гм». Я тоже сказал «Гм».

— Какая нога? — спросил чиновник.

— Правая.

— Целиком?

— Целиком.

— Гм,— протянул он опять и просмотрел несколько разных бумажек. Мне разрешили сесть.

Наконец чиновник остановился на бумажке, которая, по-видимому, показалась ему самой подходящей.

— Думаю,— сказал он,— что это как раз для вас. Замечательная штука. Работа сидячая. Чистильщиком сапог в общественной уборной на площади Республики. Ну как?

— Я не умею чистить сапоги; у меня всегда были неприятности из-за плохо начищенных сапог.

— Можно выучиться,— сказал чиновник. — Все можно выучиться. Немец все может. При желании можете пройти бесплатный курс обучения.

— Гм,— промычал я.

— Ну что ж, идет?

— Нет,— сказал я. — Не желаю. Такие доходы меня не устраивают.

— Вы с ума сошли,— сказал он мягко и благодушно.

— Я не сошел с ума, никто в мире не может вернуть мне отрезанную ногу. Мне даже сигареты не разрешают продавать, уже сейчас ставят палки в колеса.

Чиновник откинулся на спинку стула и набрал полную грудь воздуха.

— Милый друг,— начал он,— ваша нога — чертовски дорогая нога. Вам, как указано в карточке, двадцать девять лет, у вас здоровое сердце и вообще железное здоровье, если не считать ампутированной ноги. Вы можете прожить семьдесят лет. Высчитайте, пожалуйста, сколько это составит: по семьдесят марок в месяц двенадцать раз, и все это помноженное на сорок один — годы, которые вы еще проживете; следовательно, семьдесят на двенадцать, а потом еще на сорок один. Подсчитайте-ка все это да прибавьте проценты и примите далее во внимание, что ваша нога не единственная. И вы тоже не единственный, кто, по всей вероятности, будет долго жить. А вам подавай доходы пожирней! Простите меня, но вы сошли с ума.

— Сударь,— сказал я и тоже откинулся на спинку стула и набрал полную грудь воздуха,— судя по всему, вы сильно недооцениваете мою ногу. Она стоит гораздо дороже, это чрезвычайно дорогая нога. Дело в том, что у меня не только сердце здоровое, но и голова отнюдь не больная. Слушайте внимательно.

— У меня времени в обрез.

— Слушайте! — сказал я. — Дело в том, что моя нога спасла жизнь множеству людей, получающих в настоящее время недурственные пенсии.

Это было так: я лежал один-одинешенек на переднем крае и должен был следить за противником, чтобы наши могли своевременно удрать. Штабы в тылу спешно свертывались, однако не хотели удирать ни слишком рано, ни слишком поздно, а так, чтобы в самый раз. Сначала нас было двое, но второго очень скоро убили, на него вам больше тратиться не придется. Он был, правда, женат, но жена его здорова и может работать. Так что беспокоиться вам нечего. Он казне обошелся очень дешево. Служил всего только месяц, и все затраты на него свелись к одной почтовой карточке да найку солдатских сухарей. Это был правильный солдат, по крайней мере он правильно дал себя убить. В общем, я остался один, натерпелся страху, промерз до костей и хотел уж было тоже дать тягу, и только-только, понимаете, я решил, как...

— Времени у меня в обрез,— повторил чиновник и начал искать карандаш.

— Нет, вы все-таки послушайте,— сказал я. — Теперь лишь и начинается самое интересное. Ну вот. Только я совсем было решил дать тягу, как вдруг эта

самая история с ногой. И так как встать я не мог, я подумал: сейчас я им просигналю; и я им просигналил, и все наши удрали, по очереди, аккуратненько, сначала дивизия, потом полк, потом батальон, и так далее, и все по очереди, как положено. А меня — глупо это вышло, — меня-то и забыли прихватить, понимаете? Уж очень спешили. Поистине глупая история получилась: не потеряй я ноги, все они были бы убиты — и генерал, и полковник, и майор, все по очереди, как положено, и вам не пришлось бы выплачивать им пенсий. Теперь подсчитайте, сколько же стоит моя нога. Генералу пятьдесят два года, полковнику сорок восемь, майору пятьдесят, все как один — здоровяки, и сердца здоровые, и головы в полном порядке, и при армейском образе жизни они протянут по меньшей мере до восьмидесяти, как Гинденбург. Вот и подсчитайте, пожалуйста: сто шестьдесят умножить на двенадцать и еще на тридцать, в среднем можно ведь спокойно взять тридцать лет, верно? Моя нога — отчаянно дорогая нога, одна из самых дорогих ног на свете, верно?

— Вы все-таки сумасшедший, — сказал чиновник.

— Нет, — ответил я, — ничуть не сумасшедший. К сожалению, голова у меня такая же крепкая, как и сердце, и очень жалко, что меня не убили за две минуты до того, как случилось это дело с ногой. Мы бы кучу денег сэкономили.

— Так берете вы эту работу? — спросил чиновник.

— Нет, — сказал я и ушел.

1950

СМЕРТЬ ЛОЭНГРИНА

Вверх по лестнице носилки несли несколько медленнее. Санитары злились: прошел уже час, как они заступили на дежурство, а им еще и по сигаретке на чай не перепало; и потом, один из них был водителем машины, а водителю не положено таскать носилки. Но в больнице, видно, некого было послать на подмогу санитару — что же было делать с мальчишкой? Не оставлять же его в машине; кроме того, было еще два срочных вызова: воспаление легких и самоубийство (самоубийцу в последнюю минуту успели вынуть из петли). Санитары злились и вдруг опять понесли носилки быстрее. Кори-

дор был слабо освещен, и пахло, естественно, больницей.

— И зачем только его вынули из петли? — пробормотал санитар, который шел сзади; в виду он имел, конечно, самоубийцу.

— Правда, зачем они это сделали? — прогудел в ответ санитар, шедший впереди. — Непонятно!

При этом он обернулся назад и сильно ударился о дверь. Тот, кто лежал на носилках, очнулся и стал испускать пронзительные, страшные крики; это были крики ребенка.

— Тише, тише,— сказал врач, молодой блондин с нервным лицом. Он посмотрел на часы: уже восемь, по сути дела, его должны были давно сменить. Он уже больше часа ждал доктора Ломайера, но возможно, что Ломайера арестовали, нынче каждого в любую минуту могут схватить.

Молодой врач, машинально теребя свой стетоскоп, все время пристально смотрел на мальчика, лежавшего на носилках; лишь теперь взгляд его упал на санитаров, которые стояли в дверях и нетерпеливо ждали чего-то. Врач раздраженно спросил:

— Что такое, чего вы еще ждете?

— Носилок,— сказал водитель машины,— может, мальчика переложить? Нам нельзя задерживаться.

— Ах да, конечно! — Врач показал на кожаную кушетку.

Вошла ночная сестра. У нее было равнодушное, но серьезное лицо. Она взяла мальчика за плечи, один из санитаров — не водитель — взял его просто за ноги. Ребенок опять отчаянно закричал, и врач принялся его торопливо уговаривать:

— Замолчи, ну тише, тише же, не так-то уж больно...

Санитары все не уходили. В ответ на раздраженный взгляд врача тот же санитар спокойно сказал:

— Одеяла ждем.

Оно вовсе не принадлежало ему, одеяло дала какая-то женщина, свидетельница несчастного случая, нельзя же было везти мальчика в больницу в таком страшном виде, с раздробленными ногами. Но санитар полагал, что больница оставит одеяло у себя, а в больнице и так сколько угодно одеял, той женщине его все равно не вернут, и мальчугану оно тоже не принадлежит, значит, он отберет его только у больницы, где одеял предоста-

точно. Жена приведет одеяло в порядок, а за него по нынешним временам можно выручить кучу денег.

Ребенок непрерывно кричал. Врач вместе с сестрой снял с его ног одеяло и быстро отдал водителю. Врач и сестра переглянулись. Вид мальчика был ужасен: вся нижняя половина тела плавала в крови, короткие холщовые штанишки были изодраны в клочья, и клочья эти перемешались с кровью в одну страшную массу. Мальчик был бос. Он кричал непрерывно, с невыносимым упорством, все время на одной ноте.

— Живо, сестра, готовьте шприц, живо, живо! — тихо сказал врач. Сестра работала очень ловко и расторопно, но врач все повторял шепотом: «Скорей, скорей!» — губы на его нервном лице непрерывно двигались. Ребенок ни на мгновение не умолкал, но сестра просто не могла приготовить шприц быстрее.

Врач пощупал пульс мальчугана, и бледное, усталое лицо его передернулось.

— Тише, тише, — шептал врач как одержимый. — Замолчи же, — умолял он ребенка, но тот кричал так, будто родился на свет только затем, чтобы кричать. Наконец сестра подала шприц, и врач быстро и искусно сделал укол.

Когда он со вздохом вытащил иглу из огрубевшей, точно дубленой, кожи мальчика, дверь открылась и в комнату быстрой и взволнованной походкой вошла сестра милосердия — монашка. Она хотела что-то сказать, но, увидев изувеченного мальчика и врача, сжала губы и медленно, неслышно приблизилась, ласково кивнула врачу и сестре и положила руку на лоб мальчугана. Тот с удивлением высоко закатил глаза и увидел у себя в изголовье черную фигуру. Казалось, что его успокаивает прохладная рука, лежащая на лбу, но это уже подействовал укол. Держа шприц в руке, врач опять глубоко вздохнул; стало тихо, так тихо, что каждый слышал собственное дыхание. Никто не произнес ни слова.

Ребенок, очевидно, не чувствовал теперь никакой боли, он спокойно и с любопытством смотрел по сторонам.

— Сколько? — тихо спросил врач у ночной сестры.

— Десять, — ответила она так же тихо.

Врач пожал плечами.

— Многовато, но посмотрим. Вы поможете нам немного, сестра?

— Конечно,— с готовностью сказала монашка, словно очнувшись от глубокого раздумья. Было очень тихо. Сестра-монашка держала голову и плечи мальчугана, ночная сестра — ноги, и они принялись снимать пропитанные кровью лоскутья. Теперь все увидели, что кровь смешалась с чем-то черным, все было черное, ступни мальчика покрывала черная угольная пыль, и руки тоже, всюду были лишь кровь, клочья одежды и угольная пыль, густая маслянистая угольная пыль.

— Ясно,— проговорил врач,— крал уголь и на ходу сорвался с поезда, так, что ли?

— Да, так,— дрожащим голосом сказал мальчуган. — Ясно.

Он совсем пришел в себя, и в глазах его светилось необычайное счастье. Укол, по-видимому, оказал чудесное действие. Сестра закатала на мальчике рубашку под самый подбородок. Туловище ребенка поражало своей худобой, оно было сверхъестественно тощим, как у старой гусыни. В ямках у ключиц пряталась странная темная тень, они были так велики, что в них легко уместилась бы широкая белая рука монашки. Теперь все увидели ноги мальчугана, очень тонкие и стройные, вернее, то, что осталось от них. Врач кивнул женщинам и сказал:

— Возможен сложный перелом обеих ног, нужен рентген.

Мягкой салфеткой, смоченной в спирте, ночная сестра обмыла ноги мальчика, и теперь казалось, что все не так страшно. Мальчуган был невыносимо худ. Накладывая повязку, врач все время качал головой. Мысли о Ломайере опять не давали ему покоя; может, он все-таки попался, и если даже не проболтается, все же чертовски неприятно, что Ломайер сядет из-за строфантина, а он тут будет спокойно расхаживать на свободе, тогда как, не случись этого, они разделили бы выручку. Черт возьми, теперь не меньше половины девятого, и кругом такая зловещая тишина, с улицы не доносится ни звука. Он кончил перевязку, монашка спустила на мальчугане рубашонку и натянула ее на бедра. Потом подошла к шкафу, вынула белое одеяло и укрыла малыша.

Снова положив ладонь ему на голову, она сказала врачу, который мыл руки:

— Я зашла к вам по поводу маленькой Шранц, доктор. Я только не хотела вас беспокоить, пока вы возились с мальчуганом.

Врач застыл с полотенцем в руках, лицо его вытянулось, и сигарета, прилипшая к нижней губе, слегка задрожала.

— Что с ней,— спросил он,— что с маленькой Шранц?

Бледность на его лице приняла желтоватый оттенок.

— Сердечко девочки отказывается работать, попросту отказывается, дело, видно, идет к концу.

Врач вынул сигарету изо рта и повесил полотенце на гвоздь рядом с умывальником.

— О черт! — беспомощно воскликнул он. — Чем я могу тут помочь, я же ничего не могу сделать!

Рука монашки все еще лежала на лбу мальчика. Ночная сестра опускала окровавленные тряпки в ведро, и его никелевая крышка отбрасывала на стену дрожащие блики.

Врач задумчиво уставился в пол. Вдруг он поднял голову, посмотрел на мальчика и бросился к двери.

— Взгляну, что с ней.

— Я вам не нужна? — сказала ночная сестра ему вдогонку.

Он оглянулся.

— Нет, оставайтесь здесь, подготовьте мальчугана к рентгену и, если удастся, заведите на него историю болезни.

Мальчик лежал все еще тихо, и ночная сестра тоже подошла к кушетке.

— Мама знает, куда ты пошел? — спросила монашка.

— Она умерла.

Об отце сестра не решилась спросить.

— Кого надо известить?

— Старшего брата, но его нет дома. А малышам надо бы сказать, они там совсем одни теперь.

— Какие малыши?

— Ганс и Адольф, они ждут меня, ждут, когда я приду и сварю им обед.

— А где же работает твой старший брат?

Мальчик молчал, и монашка не повторила вопроса.

— Будете записывать?

Ночная сестра кивнула и подошла к белому столику, заставленному медикаментами и пробирками. Она пододвинула к себе чернильницу и левой рукой разглядила белый лист бумаги.

— Как твоя фамилия? — спросила монашка.

— Беккер.

— Вероисповедание?

— Никакого. Я не крещен.

Монашка вздрогнула, лицо ночной сестры осталось безучастным.

— Ты когда родился?

— В тридцать третьем... десятого сентября.

— Учишься в школе?

— Да.

— Спросите имя,— подсказала ночная сестра.

— А как тебя звать?

— Грини.

— Как? — Женщины, улыбаясь, переглянулись.

— Грини,— медленно повторил мальчик с чувством досады, какое испытывают обладатели необычных имен, когда приходится называть себя.

— «И» на конце? — спросила сестра.

— Да. — И он повторил: — Грини.

Его звали, собственно, Лоэнгрин, он родился в 1933 году, в дни, когда даже на вагнеровских торжествах в Байрейте во всех выпусках кинохроники уже показывали портреты Гитлера. Но мать всегда называла сынишку Грини.

Вдруг в комнату вбежал врач, от страшного переутомления глаза у него были как у пьяного; тонкие светлые волосы свисали на молодое, но уже морщинистое лицо.

— Идемте скорее, скорее, обе. Хочу попробовать еще раз сделать переливание крови.

Сестра-монашка указала взглядом на мальчика.

— Да, да,— крикнул врач,— на несколько минут его смело можно оставить одного.

Ночная сестра уже стояла на пороге.

— Ты лежишь спокойно, Грини? — спросила монашка.

— Да,— сказал мальчуган.

Но, как только все вышли, у него брызнули слезы из глаз. До этой минуты их как будто сдерживала рука монашки, лежавшая на его лбу. Он плакал не от боли, он плакал от счастья. Но все-таки и от боли тоже, и от страха. От боли он плакал, только когда думал о малышах, и он старался не думать о них, потому что хотел плакать от счастья. Никогда в жизни он еще себя не чувствовал так хорошо, как сейчас, после укола. По жи-

лам его словно текло чудесное теплое молоко, от него немножко кружилась голова, и в то же время голова была очень ясная и во рту невозможно приятный вкус, такой приятный, какого Грини никогда в жизни не знал; но он не мог не думать о малышах. Хуберт раньше завтрашнего утра не придет, отец вернется только через три недели, а мама... малыши теперь совсем одни, и он знал наверняка, что они прислушиваются ко всем шагам, к малейшим звукам на лестнице, а на лестнице такое невыносимое множество разных звуков — и такое невыносимое множество разочарований для малышей. Мало надежды, что госпожа Гроссман позаботится о них: ей это никогда не приходило в голову, почему же вдруг сегодня придет? Она никогда не вспоминала о них, не могла же она знать, что он... что с ним случилось несчастье. Ганс, наверное, будет успокаивать Адольфа, но Ганс сам такой слабенький и плачет по каждому пустяку. Может, Адольф будет уговаривать Ганса, но ведь Адольфу только пять лет, а Гансу восемь, все-таки, наверное, Ганс будет уговаривать Адольфа. Но Ганс ужасно слабенький, а Адольф покрепче. Скорее всего, они оба будут плакать, потому что, когда время близится к семи, им уж никакая игра не в игру, они хотят есть и знают, что он придет в половине восьмого и накормит их. И они не решатся сами взять себе хлеба; они на это никогда теперь не отважатся, он им строго-настрого запретил это однажды, когда они съели сразу весь недельный паек; они могли бы взять картофель, но они этого не сделают. Почему только он им не сказал, что они сами могут взять картошку? Ганс уже очень хорошо умеет ее варить, но они не решатся это сделать, он их чересчур строго наказал, ему даже пришлось побить их, но ведь нельзя, чтобы они съедали сразу весь хлеб; конечно, нельзя, но теперь он был бы рад, если бы никогда их не наказывал, они бы сами взяли себе хлеба и по крайней мере не были бы голодны. А так они сидят там и ждут и при каждом шорохе на лестнице обрадованно вскакивают и прижимаются своими бледными мордочками к щели в дверях...

Сколько раз, наверное тысячу раз, он заставлял их так. И он всегда первым делом видел их лица, и такие радостные! Даже после того, как он наказал своих малышей, они все равно радовались, когда он приходил; они все понимали... А сейчас каждый шорох приносит

им разочарование, и, наверное, им очень страшно. Гансу достаточно издали увидеть полицейского, и он уже начинает дрожать; может, они будут плакать так громко, что госпожа Гроссман заругается, она любит, чтобы вечером было тихо, а они, может, все-таки будут плакать еще сильнее, и госпожа Гроссман заглянет к ним, чтобы узнать, почему они плачут, и пожалеет их; она совсем не такая уж плохая, эта Гроссманша. Но сам Ганс никогда не пойдет к госпоже Гроссман, он ее ужасно боится, Ганс всех боится...

Хоть бы они взяли картошку!

С той минуты, как он вспомнил о малышах, он плакал только от боли. Он попробовал заслонить глаза рукой, чтобы не видеть малышей, но почувствовал, что рука стала мокрой, и заплакал еще сильнее. Он попытался представить себе, который час. Уже, наверное, девять, а то и десять, и это ужасно. Он никогда не приходил домой позднее половины восьмого, но в поезде сегодня была усиленная охрана, и пришлось зорко следить, чтобы не попасться: люксембуржцы большие охотники пострелять. Им, верно, на войне не удалось как следует пострелять, а они так любят стрелять, но его не поймать, никогда, они ни разу его не поймали, он всегда удирал у них прямо из-под носа. Боже мой, как раз антрацит, антрацит он никак не мог пропустить. Антрацит! За антрацит, ни слова не говоря, платят от семидесяти до восьмидесяти марок, мог ли он упустить такой случай! Но люксембуржцы его ни разу не поймали, он от русских убежал, и от янки, и от томми, и от бельгийцев, так неужели же его схватят люксембуржцы, эти потешные люксембуржцы? Он прошмыгнул мимо них, вскочил на ящик, наполнил мешок и сбросил его, а за ним еще пошвырял на землю сколько мог. Но вдруг: тш-ш-ш... и поезд разом остановился, и он помнит только, что было невыносимо больно, а дальше он уже ничего не помнит, очнулся он у какой-то белой двери и увидел белую комнату, где он теперь лежит. А потом ему сделали укол. Теперь он заплакал от счастья. Малышей он уже не видел, счастье было чем-то непередаваемо чудесным, он еще никогда не испытывал его; слезы как будто и были этим самым счастьем, они лились и лились, и все-таки в груди не становилось меньше счастья, это был мерцающий, сладостный вертящийся комок, необыкновенный комок; он изливался слезами и не становился меньше...

Вдруг он услышал стрельбу из автоматов, это стреляли люксембуржцы, и выстрелы так страшно грохотали в свежем воздухе весеннего вечера; пахло полем, паровозным дымом, углем и немножко настоящей весной. Два орудия палили в небо, точно лаяли, а небо было теперь совсем густо-серое, и эхо тысячекратно повторяло выстрелы, и грудь покалывало, точно иголкой; этим проклятым люксембуржцам не поймать его, им не застрелить его, нет! Уголь, на котором он теперь плашмя лежит, твердый и колючий,— это ведь антрацит, а за центнер антрацита дают восемьдесят, а то и восемьдесят пять марок. А не купить ли малышам хоть разок шоколаду? Нет, на шоколад не хватит, шоколад стоит сорок — сорок пять марок; так много истратить он не может; боже мой, целый центнер угля отдать за две плитки шоколада; а люксембуржцы, бешеные псы, опять стреляют, и ноги у него застыли и болят от колючего антрацита, у него ноги совсем черные и грязные, он это чувствует. Выстрелы пробивают небо и оставляют в нем огромные дыры, но небо-то люксембуржцы не в силах застрелить? Неужели они могут и небо застрелить на смерть?..

А может, надо было сказать сестре, где отец и куда Хуберт ходит по ночам? Но сестры не спросили, а если не спрашивают, говорить не надо. В школе ему всегда это внушали... ах, черт, люксембуржцы... и малыши... пусть эти люксембуржцы перестанут стрелять, ему нужно бежать к малышам... они, наверное, спятили, эти люксембуржцы, форменным образом спятили... Черт возьми, он ни за что не скажет этого сестре, нет, он не скажет, где его отец и куда ходит по ночам брат, а может, малыши все же возьмут себе хлеба... или картошки, а может, госпожа Гроссман заметит, что не все ладно, ведь и правда неладно; удивительное дело, почему-то всегда что-нибудь неладно. И господин директор будет ругаться. От укола так хорошо стало, сперва он почувствовал, как что-то кольнуло, но потом вдруг пришло счастье. Та бледная сестра набрала полный шприц счастья, и он отлично слышал, что она набрала туда чересчур много счастья, чересчур много, он вовсе не так глуп. Грини пишется с двумя «и»... нет, она умерла... нет-нет, без вести пропала. Счастье — чудесная штука, он когда-нибудь купит малышам полный шприц счастья, купить ведь все можно... Хлеб... целые горы хлеба...

Ах, черт, конечно, с двумя «и», да разве они тут не знают самые лучшие немецкие имена?

— Нет,— крикнул он вдруг,— я не крещен!

А может, мама вовсе жива. Нет-нет, люксембуржцы застрелили ее, нет, русские... нет, кто знает, может, нацисты ее расстреляли, она так ужасно ругала их... нет, американцы... ах, малыши спокойно могут съесть хлеб... он купит им гору хлеба... целый товарный вагон хлеба... или антрацита... и непременно счастья в шприце...

— С двумя «и», черт бы вас побрал!

Сестра милосердия подбежала к нему, тотчас схватила руку, нащупала пульс и с тревогой огляделась. Боже мой, не позвать ли врача? Но нельзя же оставить мальчугана в бреду одного. Маленькая Шранц умерла, маленькая девочка с русским лицом уже в лучшем мире, слава богу. Где же врач, куда он запропастился... Она бегала вокруг кушетки.

— Нет,— кричал мальчик,— я не крещен...

Пульс его, казалось, вот-вот оборвется. У монашки выступил пот на лбу.

— Доктор,— крикнула она,— доктор!— Но она знала, что ни один звук не проникает сквозь обитую войлоком дверь...

Мальчик душераздирающе плакал:

— Хлеб... целую гору хлеба для малышей... Шоколада... Антрацит... люксембуржцы свиньи, пусть они не стреляют... Ах, черт, картошка, можете спокойно взять картошку... возьмите же картошку! Госпожа Гроссман... мама... папа... Хуберт... через дверную щелку, через дверную щелку...

Монашка плакала от страха, она не решалась отойти, мальчик начал метаться, и она крепко держала его за плечи. Проклятая кушетка, такая скользкая. Маленькая Шранц умерла, ее душа сейчас на небе. Боже, прости ее, прости... она ведь невинна, маленький ангелочек, маленький некрасивый русский ангелочек... но теперь она прекрасна...

— Нет,— крикнул мальчуган, размахивая руками,— я не крещен!

Монашка испуганно вскинула глаза. Она подбежала к умывальнику, стараясь ни на секунду не выпускать мальчика из виду, не нашла стакана, побежала обратно, погладила горячий лоб ребенка. Потом бросилась к белому столику и схватила какую-то пробирку. Пробир-

ка в один миг доверху наполнилась водой! Бог ты мой, как мало воды входит в такую пробирку...

— Счастье,— шептал мальчик,— наберите мне счастья в шприц, все, что у вас есть, и для малышей тоже...

Монашка торжественно, очень медленно перекрестилась, вылила воду из пробирки на лоб мальчику и сквозь слезы проговорила:

— Я совершаю над тобой обряд крещения...

Но мальчик, очнувшись от холодной воды, так порывисто поднял голову, что стеклянная пробирка выпала из рук сестры на пол и разбилась вдребезги. Мальчик посмотрел на испуганную сестру, слабо усмехнулся и чуть слышно сказал:

— Крещения... да...— и так внезапно рухнул навзничь, что голова его с глухим стуком упала на кушетку, и теперь, когда он лежал неподвижно, с судорожно растопыренными, как бы что-то хватающими, пальцами, лицо его было узеньким и старым, до ужаса желтым...

— Рентген сделали?— обрадованным голосом крикнул врач, входя с доктором Ломайером в комнату. Сестра только покачала головой. Врач подошел к кушетке, машинально взялся за стетоскоп, тут же выпустил его из рук и взглянул на Ломайера. Ломайер снял шляпу. Лоэнгрин был мертв...

1950

ТОРГОВЛЯ ЕСТЬ ТОРГОВЛЯ

Мой знакомый спекулянт стал теперь честным торговцем. Я с ним долго не встречался, наверное, несколько месяцев, и вдруг сегодня натолкнулся на него в другом конце города, на шумном перекрестке. У него там шикарный деревянный ларек, окрашенный добротной белой краской; прочная новая оцинкованная крыша защищает его от дождя и холода, и он торгует сигаретами и леденцами — теперь совершенно легально. Сначала я обрадовался — ведь это здорово, когда кто-нибудь снова находит себе место в жизни. В те времена, когда я с ним познакомился, ему приходилось туго, и оба мы были в унынии. Мы носили старые солдатские шапки, надвинутые на глаза; когда я был при деньгах, то приходил к нему и мы с ним разговаривали, о голоде и о войне, а когда у меня денег не было, он

угощал меня сигаретами. Однажды я принес ему хлебные карточки: я работал тогда для одного пекаря.

Теперь, казалось, дела его шли неплохо. Он выглядел прекрасно. Его щеки приобрели ту упругость, которая возможна только при регулярном потреблении жиров, выражение лица было самодовольным, и я видел, как он крепко обругал и прогнал маленькую, грязную девочку, у которой не хватило пяти пфеннигов на леденец. При этом он все время орудовал во рту языком, как будто вытаскивал застрявшие между зубами кусочки мяса.

У него было много забот — торговля сигаретами и леденцами шла бойко.

Может быть, не следовало этого делать, но я подошел к нему и сказал: «Эрнст». Я хотел с ним поговорить. Раньше мы все были между собой на «ты», и спекулянты тоже говорили нам «ты».

Он очень удивился, странно посмотрел на меня и спросил: «Что вы хотели сказать?»

Он явно узнал меня, но сам не желал быть узнаваемым.

Я замолчал и, сделав вид, что вовсе не называл его по имени, купил несколько сигарет — у меня как раз нашлись деньги — и отошел. Я наблюдал за ним еще некоторое время; мой трамвай долго не подходил, к тому же у меня не было желания ехать домой. Когда сидишь дома, всегда приходят люди, которые требуют денег: хозяйка — квартирную плату, сборщик — деньги за электричество. Кроме того, дома мне не разрешают курить; у моей хозяйки отличный нюх, и она очень злится и выговаривает мне за то, что на табак у меня денег хватает, а за квартиру почему-то платить нечем. Ведь грешно, когда бедняки курят или пьют водку. Я знаю, что грешно, и потому стараюсь курить тайком; я курю на улице и лишь изредка в своей комнате, когда лежу без сна, и кругом тихо, и я знаю, что до утра запах дыма выветрится.

Ужасно, что у меня нет специальности. В наше время необходимо иметь специальность. Все так говорят. Раньше считали, что это необязательно, что нужны лишь солдаты. Теперь говорят, что без специальности нельзя. Нельзя, и все тут. Если у тебя нет специальности, думают, что ты лентяй. Но это неверно. Я не ленив, у меня просто нет желания делать работу, которую они мне навязывают: убирать мусор, таскать

камни и прочее. Два часа такой работы — и я обливаюсь потом, все плывет перед глазами, а когда прихожу к врачам — они утверждают, что я совершенно здоров. Может быть, это нервы. Теперь много говорят о нервах, но я думаю, что грешно бедняку иметь нервы. Быть бедным и иметь нервы — для них это уж чересчур. Но у меня определенно расстроены нервы; слишком долго я был солдатом: девять лет, а может, и больше, точно не помню. В то время я охотно занялся бы делом, мне очень хотелось стать торговцем. Но зачем говорить о том, что было тогда, — теперь у меня нет никакого желания быть торговцем. Больше всего мне нравится лежать в кровати и мечтать. Лежа, я подсчитываю, сколько сотен тысяч рабочих дней нужно, чтобы построить мост или большой дом, и думаю о том, что этот мост и этот дом могут быть разрушены в одну минуту. Зачем же тогда работать? По-моему, все бессмысленно. Именно это и сводит меня с ума, когда я бываю вынужден таскать камни или убирать мусор, чтобы они имели возможность построить еще какое-нибудь кафе.

Я сказал, что дело в нервах, но нет, дело в том, что все бессмысленно.

В сущности, мне все равно, что они подумают. Но ведь это ужасно — никогда не иметь денег. Деньги необходимы, без них не обойтись. Имеется счетчик, а вы пользуетесь лампой (иногда ведь бывает нужен свет), щелкает выключатель, вспыхивает лампочка, и вот уже деньги текут из вашего кармана. Даже если вы не пользуетесь светом, приходится вносить плату за счетчик, плату за квартиру... Говорят, что нужно иметь комнату. Сперва я жил в подвале, там было недурно, у меня была печка, и я воровал угольные брикеты; но меня разыскали, пришли репортеры, сфотографировали и поместили статью с моим портретом: «Бедствия бывшего военнопленного». Мне пришлось попросту убраться оттуда. Чиновник из жилищного управления сказал, что для него это вопрос престижа, и я был вынужден снять комнату. Иногда мне удается заработать. Это ясно. Я выполняю поручения, таскаю угольные брикеты и складываю их аккуратно в углу подвалов.

Я умею отлично складывать брикеты, к тому же недорого беру. Конечно, зарабатываю я мало, этого никогда не хватает, чтобы заплатить за квартиру. Иног-

да удастся лишь внести плату за электричество, купить немного сигарет и хлеба...

Стоя на углу, я думал обо всем этом.

Мой знакомый спекулянт, который стал теперь честным торговцем, посматривал на меня недоверчиво. Эта свинья хорошо меня знает, ведь нельзя не знать друг друга, если в течение двух лет встречаешься чуть не каждый день. Может быть, он подумал, будто я хочу у него что-нибудь украсть. Но не так я глуп, чтобы воровать там, где полно народу и где каждую минуту останавливается трамвай и вдобавок на углу стоит полицейский. Я ворую в других местах. Иногда ворую уголь, иногда дрова. Недавно я украл даже хлеб в булочной. Это получилось легко и просто. Я спокойно взял хлеб, вышел на улицу и побрел не торопясь; только на следующем углу я бросился бежать. Ох эти нервы!

Я не ворую на людных перекрестках, хотя это иногда и нетрудно, нервы не выдерживают.

Прошло несколько трамваев, в том числе и тот, что мне нужен, и я ясно видел, как Эрнст покосился на меня, когда подошел мой номер. Эта свинья прекрасно знает, какой трамвай мне нужен! Но я бросил окурки, закурил вторую сигарету и не двинулся с места. Вот до чего я дошел — выбрасываю окурки! Но здесь бродит человек, который их подбирает, нужно же думать о других. Есть еще люди, которые собирают окурки. И разные люди. В плену я видел полковников, подбиравших окурки, но этот человек не был полковником. Я следил за ним. У него была своя система; как у паука, который прячется в паутине, у него была штаб-квартира где-то среди груды развалин, и когда подходил или уходил трамвай, он вылезал оттуда, шагал невозмутимо вдоль тротуара и собирал окурки. Я бы охотно подошел к нему и поговорил, я чувствую — мы одного поля ягода, но это бессмысленно, от таких ничего не добьешься.

Не знаю, что со мной случилось. Мне не хотелось ехать домой. Да и какой там дом! Мне теперь все было безразлично, я пропустил еще трамвай и закурил еще сигарету.

С нами происходит что-то непонятное. Может, какой-нибудь профессор растолкует нам это через газету: у них на все есть свое объяснение. Я хотел бы только, чтобы у меня хватило духу воровать, как на войне.

Там все легко сходило с рук. Во время войны, если было что воровать, нас заставляли воровать. Там говорили: «Этот справится», — и мы «справлялись».

Некоторые за компанию только жрали, пили и посылали домой посылки, но не воровали. У них нервы были безупречные и руки оставались чистыми.

А когда мы вернулись, они выскочили из войны, как из трамвая, замедлившего ход возле их дома, выскочили, даже не заплатив за проезд. Они сделали легкий поворот, вошли в дом и увидели: резной шкаф на своем месте, лишь чуточку пыли в библиотеке, у жены есть картофель в погребе, стоит варенье; жену слегка обнимали, как водится, и на следующее утро отправлялись узнать, не свободна ли старая должность, — и должность оказывалась еще свободной. Все шло прекрасно — они продолжали получать пособие, потом разрешали себя слегка денацифицировать, как позволяют парикмахеру сбрить бороду, которая стала стеснять, рассказывали об орденах, ранах, о своем героизме, и все кругом находили, что они славные ребята: в конце концов, они только выполняли свой долг. Им даже выдавали недельные трамвайные билеты — верный признак того, что все действительно пришло в норму.

А мы ехали дальше в том же трамвае и ждали, не будет ли знакомой остановки, где можно рискнуть выскочить, но остановки не было. Некоторые, проехав еще немного, где-то выскакивали, во всяком случае, делали вид, что достигли цели.

Мы же следовали все дальше и дальше, плата за проезд, само собой, повышалась, а кроме того, мы должны были платить за большой и тяжелый груз — свинцовый груз пустоты, который мы тащили за собой; и входило множество контролеров, которым мы, пожимая плечами, показывали свои пустые карманы.

Выкинуть нас они все равно не могли — трамвай шел слишком быстро, а мы ведь как-никак люди, — но нас брали на заметку, раз, другой, третий, нас постоянно брали на заметку, а трамвай шел все быстрее, более ловкие все же где-то выскакивали, нас становилось все меньше, и все меньше было у нас мужества и желания выскочить. Мы тайно решили, как только достигнем конечной остановки, оставить в вагоне свой груз, может, бюро находок пустит его с аукциона, но конечной остановки все не было. Плата за проезд становилась

все выше, темп все быстрее, контролеры все недоверчивей, мы ведь были крайне подозрительным сбродом.

Я швырнул окурок третьей сигареты и медленно пошел к остановке; теперь мне хотелось домой. У меня закружилась голова — нельзя на голодный желудок так много курить, я же знал это.

Я не смотрел больше туда, где мой бывший спекулянт вел теперь легальную торговлю. Конечно, у меня не было оснований злиться, ему тогда здорово повезло, он сумел выскочить в нужную минуту, но я не знаю, обязательно ли при этом обижать детей, которым не хватает пяти пфеннигов на леденец. Быть может, это и обязательно при легальной торговле?

Незадолго до того, как подошел нужный мне трамвай, тот, другой человек спокойно проследовал вдоль тротуара, обошел очередь ожидающих и подобрал окурки. Я заметил, что смотрели на него с неудовольствием. Было бы лучше, если бы таких, как он, не было, но они есть...

Только войдя в вагон, я бросил взгляд на Эрнста, но он отвернулся и громко выкрикивал: «Шоколад, конфеты, сигареты — свободная продажа!»

Не знаю, что произошло, но должен признаться, что раньше, когда он еще не прогонял тех, кому не хватает пяти пфеннигов, он мне нравился больше. Впрочем, теперь у него настоящая торговля, а торговля есть торговля.

1950

МОЕ ГРУСТНОЕ ЛИЦО

Когда я стоял в порту и смотрел на чаек, мое грустное лицо привлекло внимание постового полицейского, дежурившего в этом квартале. Я весь ушел в созерцание птиц, они то взмывали в воздух, то камнем падали вниз в тщетных поисках пищи. В порту было пусто, в густой, как бы покрытой пленкой, грязной от нефти зеленоватой воде плавали всякие отбросы; не было видно ни одного парохода, подъемные краны заржавели, складские помещения пришли в упадок, даже крысы, по-видимому, не водились в черных развалинах порта, тихо было вокруг. Много лет уже, как прекратилась всякая связь с внешним миром.

Я выбрал одну чайку и стал следить за ее полетом. Боязливая, словно ласточка, чующая грозу, она чаще всего держалась низко над водой и лишь изредка с криком отваживалась взлететь ввысь, чтобы присоединиться к своим товаркам. Если бы мне предложили загадать желание, то в эту минуту я пожелал бы только хлеба; я скормил бы его чайкам, я бросал бы крошки и белыми точками определял направление беспорядочных полетов птиц, сообщая им цель.

Мне хотелось, бросая кусочки хлеба, разрушать пронзительно стонущее сплетение беспорядочных полетов, вторгаться в него, как в пучок нитей, которые расчесываешь. Но я был голоден, как эти птицы, очень утомлен и все же счастлив, несмотря на свою грусть: хорошо было стоять здесь, засунув руки в карманы, смотреть на чаек и упиваться грустью.

Вдруг на плечо мне легла начальственная рука и я услышал:

— Следуйте за мной!—Дергая за плечо, рука пыталась повернуть меня.

Не оборачиваясь, я сбросил ее и спокойно сказал:

— Вы не в своем уме.

— Соплеменник,—произнес этот, все еще невидимый человек,—предупреждаю вас.

— Послушайте, господин...—откликнулся я.

— Какой еще господин?!—воскликнул он гневно.—

Мы все соплеменники.

Он встал рядом со мной, осмотрел меня сбоку, и я вынужден был отвести свой блуждающий по небу счастливый взор и погрузить его в добродетельные очи полицейского; он был серьезен, как буйвол, десятки лет не вкушавший ничего, кроме служебного долга.

— На каком основании...—начал было я.

— Оснований достаточно,—сказал он.—Ваше грустное лицо.

Я рассмеялся.

— Ничего смешного здесь нет!—Его гнев был неподделен.

Сначала я подумал, что он затеял все это со скуки, так как ему не попались на глаза ни одна незарегистрированная проститутка, ни один подвыпивший моряк, или вор, или дезертир, которых можно было бы задержать; но теперь я убедился, что он не шутит, он в самом деле намерен арестовать меня.

— Следуйте за мной!..

— Но почему?—спокойно спросил я.

Не успел я опомниться, как кисть моей левой руки обхватила тонкая цепочка, и в тот же миг я понял, что погиб. В последний раз я повернулся к парящим чайкам, взглянул в прекрасное серое небо и попытался внезапным движением вырваться и броситься в воду — мне казалось, что лучше самому утонуть в этой грязной жиже, чем быть удушенным где-нибудь на заднем дворе руками наемных палачей или снова оказаться брошенным за решетку. Но полицейский, сильно дернув цепочку, так близко подтянул меня к себе, что о побеге нечего было и думать.

— За что же все-таки?—еще раз спросил я.

— Есть закон, по которому все обязаны быть счастливыми.

— Я счастлив!—воскликнул я.

— А ваше грустное лицо...—Он покачал головой.

— Но ведь это новый закон,—сказал я.

— С момента его опубликования прошло уже тридцать шесть часов, а вам должно быть известно, что закон вступает в силу через двадцать четыре часа после его опубликования.

— Но я не знаю такого закона.

— Незнание закона не избавляет от наказания. Он был объявлен через все громкоговорители, напечатан во всех газетах, а для тех, кто не пользуется такими благами цивилизации, как печать и радио,— тут он окинул меня взглядом, полным презрения,— по всей империи были разбросаны листовки. Поэтому нам придется еще выяснить, где вы провели последние тридцать шесть часов.

Он потащил меня прочь. Только теперь я почувствовал, что холодно, а пальто у меня нет, только теперь услышал, как у меня в желудке урчит от голода, только теперь вспомнил, что я неумыт, оброс щетиной, оборван и что существуют законы, по которым все соплеменники должны быть чисто вымыты, выбриты, счастливы и сыты.

Полицейский толкал меня перед собой, точно пугало, изобличенное в краже и потому вынужденное покинуть места своих грез на полях и огородах.

Улицы были безлюдны, до полицейского участка было недалеко, и хотя я не сомневался, что меня лишат свободы, что повод для этого будет немедленно найден, мне все же слегка взгрустнулось, ибо полицей-

ский вел меня по местам моей юности, где я собирался побродить после того, как побываю в порту,—побродить по садам с густым, живописно растрепанным кустарником, по заросшим травой дорогам; увы!—все это теперь было разделено, подстрижено, разбито на четырехугольники, приспособлено для военных учений всякого рода союзов верноподданных, обязанных проводить учения по понедельникам, средам и субботам. Лишь небо да воздух оставались такими же, как раньше, в те дни, когда сердце еще полно было грез.

По дороге я заметил, что на некоторых казармах, предназначенных для любовных утех, вывешена официальная эмблема — напоминание тем, кому в среду пришла очередь приобщиться к гигиеническим радостям; кое-каким кабакам было, очевидно, также присвоено право вывешивать эмблему выпивки — штампованную жестяную кружку, выкрашенную тремя поперечными полосами в государственные цвета: светло-коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый. Радость, несомненно, царила в сердцах тех соплеменников, кто значился в официальном списке приобщаемых в этот день к пивной благодати.

Лица прохожих, попадавшихся нам навстречу, явственно выражали исключительное усердие, от них исходили тончайшие волны рвения, усиливавшиеся при виде полицейского; люди ускоряли шаги, на их лицах было выражение исполненного долга, а женщины, выходявшие из магазинов, старались смотреть на мир, как им и полагалось, сияющими от счастья глазами; закон повелевал женщине проявлять радость, веселье и бодрость уже только потому, что она хозяйка дома, призванная хорошим обедом восстанавливать по вечерам силы государственного работника.

Но все эти люди ловко уклонялись от непосредственной встречи с нами; всякое проявление жизни на улице исчезало за двадцать шагов от нас, каждый норовил быстро шмыгнуть в первый попавшийся магазин или свернуть за угол, а некоторые забегали даже в незнакомые дома и, стоя за дверью, боязливо выжидали, пока замрет звук наших шагов.

Только однажды, как раз в ту минуту, когда мы пересекали перекресток, нам повстречался пожилой человек, на груди которого я сразу заметил значок школьного учителя; старик никак не мог уклониться от этой встречи, и ему поневоле пришлось выполнить

свой долг: прежде всего он по всем правилам приветствовал полицейского, в знак полного смирения трижды хлопнув себя ладонью по голове; затем он трижды плюнул мне в лицо и обозвал обязательным в таких случаях ругательством: «Грязный изменник!» Он метко целился, но, видно, ему было жарко и у него пересохло во рту, так что до меня долетело лишь несколько жалких, почти невесомых, брызг, которые я, вопреки закону, невольно вытер рукавом, за что полицейский пнул меня ногой в зад и ударил кулаком между лопаток, пояснив спокойным голосом: «Первая степень», что означало: первая, наиболее мягкая мера наказания, применяемая любым полицейским чином.

Учитель поспешно унес ноги. Всем прочим удавалось вовремя свернуть в сторону; только одна женщина, совершавшая обязательную предвечернюю прогулку возле казармы для любовных утех, бледная, одутловатая блондинка, послала мне мимоходом воздушный поцелуй, и я благодарно улыбнулся в ответ; полицейский же постарался сделать вид, что ничего не заметил. Полиции не возбранялось разрешать этому сорту женщин вольности, за которые всякому другому пришлось бы дорого заплатить. Пресловутый закон их не касался, они больше, чем кто бы то ни было, содействовали подъему трудоспособности государственных работников; впрочем, эту льготу трижды доктор государственной философии Бляйгёт заклеил в официальном журнале по вопросам общеобязательной философии как признак зарождающегося либерализма.

Я прочел об этом накануне, по дороге в столицу, обнаружив несколько газетных листков в нужнике на одном крестьянском дворе. Какой-то студент, возможно сын этого самого крестьянина, снабдил рассуждения трижды доктора философии весьма глубокомысленными комментариями на полях.

К счастью, мы уже дошли до полицейского участка, когда завывли сирены, а это означало, что через несколько минут улицы наводнят тысячи людей, с лицами, сияющими тихим счастьем (именно тихим, так как бурное выражение счастья по окончании рабочего дня означало бы, что работа была в тягость; ликование же, песни и ликование должны были сопровождать начало рабочего дня), и всем этим тысячам пришлось бы плевать в меня. Так или иначе, но вой сирены означал, что до окончания рабочего дня осталось десять минут; все

работники обязаны были эти десять минут основательно мыться, согласно девизу нынешнего верховного правителя: «Счастье и мыло».

Дверь в здание полицейского участка, попросту говоря в бетонную глыбу, охранялась двумя часовыми, и когда я проходил, они применили ко мне положенную «меру телесного наказания» — сильно ударили прикладом по голове и дулами пистолетов по ключицам, — согласно преамбуле государственного закона № 1, гласившей: «Каждый полицейский чин обязан оставить на теле схваченного (так они именуют арестованного) документальный след своей власти; исключение составляет лишь тот, кто схватил преступника, ибо сему полицейскому предоставлена счастливая возможность применить необходимые меры телесного наказания во время допроса». Сам государственный закон № 1 гласил: «Каждый полицейский чин *может и должен* собственноручно наказывать любого, кто в чем-либо провинится перед законом. Не обязательна очередность в осуществлении наказаний. Существует только возможность такой очередности».

Мы прошли по длинному коридору с голыми стенами и множеством больших окон, и перед нами автоматически открылась дверь: часовые, стоявшие у входа, уже сообщили о нашем прибытии; так как в те дни все были счастливы, законопослушны, аккуратны и каждый старался вымылить предписанные полкилограмма мыла в день, то появление схваченного (арестованного) было событием.

В полупустой комнате, куда мы вошли, находился лишь письменный стол с телефоном на нем да два кресла; я должен был стоять посреди комнаты; полицейский снял шлем и сел.

Сначала царило молчание и ничего не происходило; так всегда делается, и это самое скверное; я чувствовал, как лицо мое с каждой минутой становится все несчастней, я устал и был голоден, теперь исчезли и последние следы моего грустного счастья — я знал, что гибну.

Через несколько секунд молча вошел долговязый бледный человек в светло-коричневой форме младшего следователя; также не говоря ни слова, он сел и окинул меня взглядом.

— Профессия?

— Рядовой соплеменник.

— Родился?

— Первого, первого... двадцать первого года,— сказал я.

— Занятие?

— Заключенный.

Следователь переглянулся с полицейским.

— Когда и где выпущен?

— Вчера, корпус двенадцать, камера тринадцать.

— Куда направлен?

— В столицу.

— Документ.

Я достал из кармана свидетельство об освобождении и передал его следователю. Он подколол его к зеленой карточке, на которой записывал мои показания.

— За что осужден?

— За счастливое лицо.

Следователь и полицейский переглянулись.

— Точнее!—сказал следователь.

— Мое счастливое лицо привлекло внимание полицейского в день объявления всеобщего траура — то была годовщина смерти верховного правителя.

— Срок?

— Пять.

— Поведение?

— Плохое.

— Точнее!

— Уклонение от трудовых обязанностей.

— Допрос окончен.

Младший следователь встал, подошел ко мне и одним ударом выбил три передних зуба в знак того, что я, как рецидивист, должен быть особо заклемен. Это была усиленная мера наказания, на которую я не рассчитывал. Осуществив ее, младший следователь вышел из комнаты, и на смену ему вошел толстый детина в темно-коричневой форме — следователь.

Все они меня били: следователь, старший следователь, главный следователь, судья и главный судья, а в промежутках полицейский применял все телесные наказания, предписанные законом. За мое грустное лицо они приговорили меня к десяти годам, точно так же как в прошлый раз приговорили к пяти годам за мое счастливое лицо.

Впредь, если мне удастся пережить ближайшее десятилетие в условиях всеобщего счастья и мыльной благодати, я уж постараюсь не иметь никакого лица...

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТСКОГО МЕШКА

В сентябре 1914 года в одну из красных кирпичных казарм города Бромберга явился молодой человек по имени Йозеф Стобский. Хотя по документам он числился германским подданным, языком своей официальной родины он владел слабо. Стобскому было двадцать два года, по профессии он был часовщик и «по причине общей слабости здоровья» воинской повинности раньше не отбывал. Он прибыл из сонного польского местечка под названием Нестронно; там в задней каморке отцовской халупы он день-деньской гравировал рисунки и надписи — да какие изящные! — на браслетах из накладного золота, чинил крестьянам часы, между делом задавал свинье корм, доил корову, а по вечерам, когда на Нестронно опускались сумерки, он, вместо того чтобы идти в трактир или на танцульку, трудился над каким-то своим изобретением, перебирал пальцами, измазанными машинным маслом, многочисленные колесики и скручивал одну за другой сигареты, почти все догоравшие на краю стола. Мать его тем временем подсчитывала снесенные курами яйца и жаловалась на большой расход керосина.

И вот он явился со своей картонкой в красные кирпичные казармы города Бромберга и стал изучать немецкий язык. Скоро он освоил его в объеме словаря воинского устава, приказов и инструкций по сборке оружия. Сверх того он овладел ремеслом пехотинца. На уроках «словесности» он произносил немецкие слова с польским акцентом, ругался по-польски, молился по-польски. По вечерам, открыв темно-коричневый шкафчик, меланхолически разглядывал хранившийся там небольшой сверток с промасленными колесиками и отправлялся в город — залить водкой сердечную тоску.

Стобский глотал пыль учебного поля, писал открытки матери, получал посылки с салом, уклонялся по воскресеньям от казенной обедни и тайно ускользал в один из польских костелов, где, распростершись ниц на каменных плитах, мог вволю поплакать и помолиться — как ни мало вязались такие сантименты с обликом человека в форме прусского пехотинца.

В ноябре 1914 года его нашли достаточно подготовленным, чтобы погнать через всю Германию во

Фландрию. Он-де бросил достаточно ручных гранат в песок бромбергского полигона и сделал достаточно выстрелов по мишеням на стрельбище. И вот Стобский отослал матери свой сверточек с промасленными колесиками, сопроводил посылку открыткой, погрузился в вагон для скота и начал путешествие через всю страну, официально значившуюся его родиной; язык ее он уже освоил настолько, чтобы понимать команды и приказы. И вот розовощекие немецкие девушки поят его кофе, суют цветы в дуло его винтовки, наделяют сигаретами; однажды какая-то престарелая дама подарила его даже поцелуем, а какой-то господин в пенсне, перевесившись через балюстраду перрона, очень отчетливо бросил ему несколько латинских слов, из которых Стобский разобрал только одно — «тандем»¹. В поисках разъяснения он обратился к своему непосредственному начальнику — ефрейтору Хабке. Тот пробормотал что-то невразумительное насчет «велосипедов», уклонившись от иной, более подробной информации по данному вопросу. Так, не успевая опомниться, принимая и раздавая поцелуи, щедро одаряемый цветами, шоколадом и сигаретами, Стобский переправился через Одер, Эльбу, Рейн и спустя дней десять, темной ночью, выгрузился на каком-то грязном бельгийском вокзале. Его рота собралась во дворе ближайшего крестьянского хутора, и капитан в потемках что-то прокричал; Стобский так и не понял, что именно. Потом появился суп с лапшой и кусочками мяса, который в тускло освещенной риге быстро переключался из походной кухни в котелки, а затем с великой поспешностью был вычерпан солдатскими ложками. Унтер-офицер Пиллиг еще раз обошел посты, провел беглую переключку, и через десять минут рота шагала в потемках на запад. Там, в этом западном небе бушевали знаменитые громовые раскаты и время от времени вспыхивали багровые зарницы. Начался дождь; рота сошла с мощеной дороги, почти триста пар ног зашлепали по грязи проселка. Все ближе подступало это подобие громовых раскатов, голоса офицеров и унтер-офицеров становились все более хриплыми, в них появились какие-то неприятные нотки. У Стобского разболелись ноги, очень разболелись, да и устал он, очень устал. И все же он тащился вперед, мимо темных деревень, по грязным дорогам, а громо-

¹ Наконец (лат.).

вые раскаты с каждым шагом казались все более несносными, все меньше походили на настоящую грозу. Неожиданно голоса офицеров и унтер-офицеров сделались на удивление мягкими, почти нежными, а слева и справа послышался топот бесчисленных ног, шагающих по невидимым в потемках дорогам и проселкам.

Вдруг Стобский понял, что его рота находится в самой гуще этого подобия грозы, так как грохот слышался уже и за спиной, а багровые зарницы вспыхивали со всех сторон; и когда раздалась команда: «Рассредоточиться!» — Стобский бросился вправо от дороги следом за ефрейтором Хабке. Он слышал крики, взрывы, выстрелы, и голоса офицеров и унтер-офицеров опять были хриплыми. Ноги у Стобского не переставали болеть, они очень, очень болели, и, предоставив ефрейтора самому себе, он опустился на сырой луг, сильно пахнувший навозом, и в голове у него мелькнула мысль, которая в переводе с польского соответствовала бы известному изречению Гёца фон Берлихингена. Он снял стальную каску, положил оружие возле себя на траву, ослабил ремни на выкладке, вспомнил свои любимые промасленные колесики и заснул под этот отчаянный грохот войны. Ему снилась родная мать — полька, она пекла в теплой кухне блины, и так странно ему было видеть во сне, что все блины, как только они начинали румяниться, с треском лопались и на сковороде от них ничего не оставалось. Матушка все быстрее и быстрее вылиwała черпаком на сковороду тесто, маленькие блины все сливались в один большой и лопались, только-только зарумянившись. Матушка вдруг как обозлится — Стобский даже улыбнулся во сне, ведь наяву она никогда не сердилась по-настоящему, — да как опрокинет все содержимое миски на сковороду! И он видит огромный, пухлый желтый блин во всю сковороду, блин растет, поджаривается, раздувается. Матушка, удовлетворенно ухмыляясь, берет длинный кухонный нож с широким лезвием, подводит его под блин, и вдруг бац! — страшный взрыв... И Стобский, так и не успев проснуться, приказал долго жить.

Через неделю в одном из английских окопов, в четырехстах метрах от того места, где прямым попаданием был убит Стобский, однополчане нашли его солдатский мешок с обрывком наплечного ремня — все, что осталось от Стобского на брэнной земле. А найдя

в английском окопе мешок Стобского, в котором оказались кусок копченой домашней колбасы — неприкосновенный запас — и польский молитвенник, решили, что Стобский проявил невероятный героизм в день атаки, вырвался за линию расположения английских войск и там был убит. Вот и получила польская мать в Нестроне послание от капитана Хуммеля, сообщавшего о великой отваге, проявленной рядовым Стобским. Она попросила своего священника перевести ей письмо, плакала, сложила письмо вчетверо, спрятала его между простынями и заказала три заупокойные обедни.

Но очень скоро англичане отбили свои окопы, и мешок Стобского попал в руки английского солдата Уилкинса Грейхеда. Тот съел копченую колбасу, выбросил, недоуменно покачивая головой, польский молитвенник во фламандскую грязь, скатал солдатский мешок и присоединил его к своей выкладке. Через два дня Грейхед лишился левой ноги, был отправлен на излечение в Лондон, спустя девять месяцев он демобилизовался из королевской армии, получил небольшую пенсию и, так как не мог теперь вернуться к своей почетной профессии водителя трамвая, поступил швейцаром в один из лондонских банков.

Как известно, доходы швейцара не бог весть как велики, а Уилкинс к тому же принес с собой с войны два порока: он нещадно пил и курил. Средств, разумеется, на такую жизнь ему не хватало, и он начал распродавать вещи, которые казались ему ненужными, а ненужным ему казалось почти все. Он продал мебель и пропил деньги, спустил все свое носильное платье, кроме одного-единственного истрепанного костюма, а когда уже нечего было продавать, вдруг вспомнил о грязном узле, который валялся в подвале со дня демобилизации. И тогда он сбыл с рук незаконно присвоенный и изрядно заржавевший армейский пистолет, плащ-палатку, пару ботинок и солдатский мешок Стобского. (В заключение два слова о судьбе Уилкинса Грейхеда; он окончательно опустился. Безнадежно пристрастившись к алкоголю, он потерял честь и службу, превратился в уголовного преступника, несмотря на потерянную и похороненную в земле Фландрии ногу, попал в тюрьму и, продажный до мозга костей, влачил до конца дней своих жалкое существование тюремного доносчика.)

А мешок Стобского преспокойно провалялся в мрач-

ном подземелье торговца старьем, где-то в Сохо, целых десять лет — до тысяча девятьсот двадцать шестого года; летом этого года старьевщик Луиджи Банолло чрезвычайно внимательно прочитал циркуляр некоей фирмы под названием «Хандсапперс лимитед», которая так подчеркивала свою крайнюю заинтересованность в любых военных материалах, что он даже руки потер от удовольствия. Вместе с сыном он тщательно обследовал все наличные запасы и в итоге насчитал 27 армейских пистолетов, 58 котелков, свыше 100 плащ-палаток, 35 ранцев, 18 солдатских мешков и 28 пар ботинок — все это образцов различных европейских армий. За все чохом Банолло получил чек на 18 фунтов стерлингов и 20 пенсов, выписанный на один из солиднейших лондонских банков. Банолло нажил на этой сделке, грубо говоря, 500 процентов. Юный отпрыск Банолло больше всего обрадовался ликвидации ботинок, для него это было прямо-таки неопишмым облегчением, так как в его обязанности входило разминать эту обувь, смазывать ее, — словом, радеть об ее сохранности. О том, как тяжела эта задача, может судить каждый, кому хоть когда-нибудь приходилось заботиться о своей собственной паре обуви.

Фирма «Хандсапперс лимитед» в свою очередь сбыла весь хлам, который ей продал Банолло, с надбавкой в восемьсот пятьдесят процентов (таков был обычный процент ее прибылей), правительству одной из южноамериканских стран, которое всего за несколько недель до этого неожиданно спохватилось, что соседнее государство угрожает ему, и решило предупредить возможность нападения. Что же касается солдатского мешка рядового Стобского, совершившего переезд в Южную Америку в чреве дрянного парохода (фирма «Хандсапперс» пользовалась только дрянными пароходами), то он попал в руки некоего немца-наемника по имени Райнхольд фон Адамс, который за мзду в сорок пять песет согласился считать дело южноамериканской страны своим делом. Не успел еще фон Адамс пропить и двенадцати из сорока пяти песет, как от него всерьез потребовали выполнить взятые на себя обязательства, и он с кличем «Победа и кошелек» выступил под командой генерала Лаланго к границам соседнего государства. Но немного спустя пуля прострелила фон Адамсу голову, и мешок Стобского попал в руки опять-таки немца, Вильгельма Хабке, который

всего за каких-нибудь тридцать пять песет согласился дело соседнего южноамериканского государства считать своим делом. Хабке присвоил солдатский мешок Стобского, найденные в мешке краюху хлеба, пол-луковицы и провонявшие луком бумажные денежные знаки — не израсходованные покойным Адамсом тридцать три песеты. Не слишком обремененный этическими и эстетическими предрассудками, он ко всему этому присоединил собственные сбережения и, как только его произвели в капралы победоносной национальной армии, потребовал аванса еще в тридцать песет. Рассмотрев как следует мешок, он обнаружил отпечатанный на нем черной штемпельной краской шифр «VII(2)II» и вспомнил своего дядю Иоахима Хабке, который служил в том же полку и пал смертью храбрых. Тут Вильгельмом овладела сильная тоска по родине. Он подал в отставку, получил в подарок портрет генерала Гублянеса и окольными путями добрался до Берлина; проезжая на трамвае с вокзала в Шпандау, он не подозревал, разумеется, что едет мимо тех самых цейхгаузов, где мешок, принадлежавший некогда Стобскому, пролежал в 1914 году целую неделю, пока не был отправлен в Бромберг.

Вильгельм Хабке был с распростертыми объятиями встречен родителями; он вернулся к своей исконной профессии экспедитора, но вскоре оказалось, что он склонен к политическим заблуждениям. В 1929 году он вступил в партию, присвоившую себе грязно-коричневую форму, снял со стены солдатский мешок, который повесил было над кроватью рядом с портретом генерала Гублянеса, и нашел мешку практическое применение: отправляясь по воскресеньям на учебное поле, он надевал его через плечо в дополнение к своей грязно-коричневой форме. На учениях Хабке блистал военными познаниями; малость приврав, он выдал себя за батальонного командира той самой южноамериканской армии, в рядах которой он воевал, и самым подробным образом описывал, где, как и почему он пускал в ход тяжелое оружие. Вильгельм начисто забывал, что, в сущности, он всего-навсего прострелил голову бедняге Адамсу, стащил его песеты и присвоил его солдатский мешок. В 1929 году Хабке женился, а в 1930-м жена его разрешилась от бремени младенцем, названным Вальтером. Вальтер рос хорошо, хотя первые два года его существования проходили в рамках

пособия по безработице, которое получал его отец; но уже в четырехлетнем возрасте он каждый день получал утром кекс, сгущенное молоко и апельсины, а как только ему исполнилось семь лет, отец вручил ему застиранный солдатский мешок и сказал:

— Береги эту реликвию как зеницу ока, она принадлежала твоему двоюродному дедушке — рядовому Иоахиму Хабке, дослужившемуся до капитана; он вышел живым из восемнадцати боев, а в 1918 году его прикончили красные бунтовщики. Мне этот мешок послужил верой и правдой во время южноамериканской войны, я мог тогда стать генералом, но мои услуги понадобились нашей родине, и я дослужился всего лишь до подполковника.

Вальтер берет мешок как зеницу ока. С 1936 по 1944 год он надевал его, когда облачался в свою грязно-коричневую форму, часто вспоминал о героических делах двоюродного дедушки, а также своего родного отца; ночуя где-нибудь в сарае, он осторожно подкладывал мешок под голову. В мешке он хранил хлеб, плавленый сыр, масло и песенник; он чистил мешок щеткой, стирал его и радовался, что желтоватый цвет все больше и больше переходит в приятный белесый. Ему и не снилось, что на самом деле легендарный и героический двоюродный дедушка, в чине ефрейтора, отдал богу душу на глинистых полях Фландрии, неподалеку от того места, где рядовой Стобский был убит прямым попаданием.

Вальтеру Хабке исполнилось пятнадцать лет, он усердно штудировал в шпандауской гимназии английский язык, математику и латынь, читал, как святыню, свой солдатский мешок и верил в героев, пока ему самому не пришлось побывать в их шкуре. Родитель его уже давно ушел в поход на Польшу, чтобы как-нибудь и где-нибудь навести порядок, а вскоре после того, как он, негодуя, вернулся из похода и, покуривая сигареты и брязжа что-то насчет «предательства», шагал взад и вперед по узкой гостинной шпандауской квартиры, — вскоре после этого Вальтер Хабке поневоле сам оказался в числе героев.

В одну из мартовских ночей 1945 года Вальтер лежал за околицей померанского села, вытянувшись у пулемета, и вслушивался в мрачные громовые раскаты, точь-в-точь такие же, как в кинофильмах про войну. Нажимая на спуск пулемета, он дырявил ночную тьму,

и его неудержимо тянуло всплакнуть. Ему слышались голоса в ночи, незнакомые голоса, и он стрелял и стрелял, сменил ленту, опять начал стрелять, и когда расстрелял вторую ленту, ему вдруг показалось, что вокруг очень тихо. Он остался один. Он поднялся, поправил поясной ремень, проверил, прочно ли закреплен его солдатский мешок, и пошел прямо в ночь, взяв направление на запад. И тут вдруг он занялся тем, что крайне губительно отзывается на героизме: он принялся размышлять. И вспомнилась ему узкая, но очень уютная гостиная — он даже не подозревал, что думает о том, чего уже нет на свете. Банолло-младший, который не раз держал в руках вальтеровский солдатский мешок, достиг тем временем сорока лет; покружив однажды на своем бомбардировщике над Шпандау, он открыл люк и разрушил узкую, но уютную гостиную, и папаша Вальтера шагал теперь взад и вперед по подвалу соседнего дома, покуривал сигареты, брюзжал что-то насчет «предательства» и как-то не совсем хорошо чувствовал себя, вспоминая замечательные порядки, которые он насаждал в Польше.

В эту ночь Вальтер шел в раздумье все дальше и дальше на запад, набрел наконец на покинутую ригу, уселся, перекинул на живот свой мешок, развязал его, поел солдатского хлеба с маргарином, пару конфет, и тут его застали русские солдаты — спящего, с заплаканным лицом пятнадцатилетнего мальчугана, с расстрелянными пулеметными лентами вокруг шеи, с чуть кисловатым от конфет дыханием. Они поставили его в колонну, и Вальтер Хабке ползлелся на восток. Шпандау ему уже не суждено было увидеть.

Тем временем селение Нестронно побывало в немецких руках, перешло к полякам, снова стало немецким, опять было занято поляками, и матери Стобского исполнилось семьдесят пять лет. Письмо капитана Хумеля все еще хранилось в бельевом шкафу, в котором давно уже не было никакого белья. Картофель — вот что держала в нем матушка Стобская. За картошкой, в глубине, висел большой окорок, в фаянсовой миске лежали яйца, еще глубже, в темном углу, стоял бидон с растительным маслом. Под кроватью сложены были дрова, а на стене, перед иконой ченстоховской божьей матери, красноватым светом теплилась лампадка. В хлеве за домом похрюкивала тощая свинья, коровы уже давно не было, и дом заполняли семеро шумных ребя-

тишек семейства Вольняков, у которых бомбой разрушило дом в Варшаве. А по улице то и дело тянулись колонны пленных с изъязвленными ногами и несчастными лицами. Они проходили тут почти ежедневно. Сначала Вольняк выходил за ворота, ругался, иной раз брал в руки камень и даже запускал им в солдат, но вскоре он засел в своей каморке, выходящей на задний двор, в той самой каморке, где некогда Йозеф Стобский занимался ремонтом часов, гравировал рисунки и надписи на браслетах, а вечерами возился со своими промасленными колесиками.

В 1939 году одни польские пленные проходили здесь на восток, другие — на запад; позже тут проходили в западном направлении русские пленные; а теперь уже продолжительное время тянулись на восток германские военнопленные. И хотя ночи еще стояли холодные и темные, а жители Нестронно спали крепко, они просыпались, когда с улицы доносился гул тяжелых шагов.

По утрам мамаша Стобская поднималась раньше всех в Нестронно. Набросив пальто на зеленоватую ночную рубашку, она разжигала огонь в печи, наливала масло в лампадку перед иконой божьей матери, выносила золу в мусорную яму, задавала корм тощей свинье и возвращалась в свои комнаты, чтоб приодеться к ранней обедне. Однажды утром, в апреле 1945 года, она увидела у порога своего дома светловолосого юношу — он лежал, судорожно сжимая в руках сильно выцветший солдатский мешок. Матушка Стобская даже не вскрикнула. Положив на подоконник черную вязаную сумочку, в которой она хранила польский молитвенник, носовой платок и несколько зернышек чебреца, она нагнулась над молодым человеком и сразу увидела, что он мертв. Даже теперь она не закричала. Рассвет еще не наступил, лишь сквозь церковные окна едва брезжила желтизна, и матушка Стобская осторожно вынула из рук покойника солдатский мешок, тот самый, в котором некогда хранились молитвенник ее сына и кусок домашней копченой колбасы, изготовленной из мяса ее собственного поросенка, втащила юношу через порог на каменный пол сеней, пошла к себе в комнату, захватив с собой невзначай солдатский мешок, бросила его на пол и стала рыться в пачке грязных, почти обесцвеченных бумажных злотых. Затем она пошла в деревню и разбудила могильщика.

Позднее, когда юношу похоронили, она обнаружила

у себя на столе мешок, подержала его в руках, помедлила, а потом достала молоток и два гвоздя, вбила гвозди в стенку, повесила на них мешок и решила хранить в нем свои запасы лука.

Если бы она чуть пошире раскрыла мешок и до конца отбросила закрывающий его клапан, она обнаружила бы под ним тот же отпечатанный штемпельной краской шифр, какой обозначен был и на служебном конверте капитана Хуммеля.

Но этого она так никогда и не сделала.

1950

ОСТАНОВКА В Х.

Когда я проснулся, меня охватило чувство полной потерянности: мне казалось, что я плыву в темноте, словно в лениво колышущейся, но никуда не текущей воде. Будто труп, который волны навсегда вытолкнули из глубин на безжалостную поверхность, меня несло, слегка покачивая, и я не находил опоры в этой крошечной тьме. Я не чувствовал ни рук, ни ног — они как бы не принадлежали мне; обоняние, зрение, слух тоже были как бы выключены; нечего было видеть, нечего было слышать, ни единый запах не предлагал мне своей поддержки; лишь нежное прикосновение подушки к затылку связывало меня с действительностью, я ощущал только свою голову; мысли были кристально ясные, но чуть заглушенные той мучительной головной болью, которая всегда приходит после скверного вина.

Даже ее дыхания я не слышал, она спала тихо, как ребенок, и все же я знал, что она лежит рядом. Бессмысленной оказалась бы попытка протянуть руки и коснуться ее лица или шелковистых волос — ведь рук у меня больше не было, воспоминание было только памятью мысли, но не чувств, призрачной конструкцией, не оставившей никакого следа в моей плоти.

Как часто шел я по самому краю бытия, бесстрашно, точно пьяный, с непостижимым равновесием шагающий по узкой тропинке над пропастью навстречу своей цели, красота которой озаряет его лицо; я брел по бульварам, скупо освещенным тусклым светом фонарей — нечеткий пунктир свинцово-серых огней едва обозначал контуры реальности, казалось, только затем, чтобы еще

упорнее ее отрицать. Точно слепец, брел я в непроглядной черноте улиц — они кишели людьми, но я знал, что я один, один.

Один со своей головой, даже не со всей головой — рот, нос, глаза и уши были мертвы; один со своим мозгом, который старался собрать воспоминания, подобно тому как ребенок складывает из простейших кубиков кажущиеся бессмысленными постройки.

Она должна лежать рядом со мной, хотя я ее совсем не ощущаю.

Накануне я сошел с поезда, который помчался дальше, через Балканы, к Афинам, а у меня тут была пересадка, и мне пришлось ждать другого поезда, чтобы добраться до карпатских перевалов. Когда я тащился по платформе, не зная даже названия станции, мне повстречался пьяный солдат; одинокий в своем сером мундире, среди пестро одетых венгров, мой соотечественник шел, шатаясь, и изрыгал чудовищные угрозы — они хлестали меня, как пощечины, которые потом всю жизнь жгут лицо.

— Суки продажные! — орал он. — Все до одного продажные суки!.. С меня хватит!.. Я сыт по горло!..

Под гогот венгров он громко выкрикивал ругательства, волоча свой тяжелый ранец к тому вагону, из которого я только что вылез.

В окне вагона показалась чья-то голова в каске.

— Поди-ка! Ха-ха! Поди-ка сюда!..

Тогда пьяный вытащил свой пистолет и прицелился в каску. Люди закричали, я схватил пьяного за руку, вырвал пистолет и сунул себе в карман; парень отбивался что было сил, но я крепко держал его. Все орало — каска, венгры, пьяный парень, но поезд вдруг тронулся и укатил, а против уходящего поезда даже каски в большинстве случаев бессильны. Я отпустил солдата и, вернув ему пистолет, толкнул к выходу; он растерянно побрел впереди меня.

Маленький городок выглядел пустынным. Люди быстро разошлись, на привокзальной площади не было ни души. Какой-то усталый, грязный железнодорожник указал нам на невзрачный кабачок, притаившийся в тени невысоких деревьев на той стороне пыльной площади. Мы скинули на пол наши ранцы, я заказал вино, то скверное вино, от которого сейчас, когда я проснулся, меня так мутит. Мой новый приятель сидел злой и молчал. Я предложил ему сигарету, мы заку-

рили, и я принялся его разглядывать: на груди обычный набор фронтовых наград; молод, моих лет; светлые волосы, прикрывая плоский белый лоб, падали на глаза.

— Вот такая штука, парень,— сказал он вдруг.— Всем этим я сыт по горло, понимаешь?

Я кивнул.

— Так сыт, что даже сказать не могу, понимаешь? Я решил смываться...

Я взглянул на него.

— Да,— сказал он уже совершенно трезвым голосом.— Я смываюсь. Двину в пушту¹. Я хорошо управляюсь с лошадьми и при нужде могу и суп сварить, пусть меня целуют в... Пойдешь со мной?

Я покачал головой.

— Что, боишься? Нет... Ну, дело твое. Я, во всяком случае, смываюсь. Будь здоров.

Он встал, но ранца почему-то не взял, бросил на стол смятую купюру, еще раз кивнул мне и вышел.

Я долго ждал его, я не верил, что он действительно смылся, ушел в пушту. Я стерег его ранец и ждал, пил это скверное вино и тщетно пытался завязать разговор с хозяином, глядел в окно на привокзальную площадь, по которой, вздымая клубы пыли, изредка проезжала телега, запряженная тощими клячами.

Потом я ел бифштекс, снова пил это скверное вино и курил сигару. Стало смеркаться. В распахнутую дверь ветер то и дело гнал пыль. Хозяин зевал и болтал с венграми, которые тоже пили вино.

Быстро темнело; мне никогда не вспомнить, что я успел передумать, пока я там сидел и ждал, пил вино, ел мясо, глядел на толстого хозяина, на привокзальную площадь и дымил сигарой...

Все это равнодушно воспроизвела моя память, извергнув мой мозг, пока меня до дурноты укачивала черная вода этой ночи, не знающей времени,— где-то в чужом доме, на неведомой улице, рядом с девушкой, лица которой я даже толком не разглядел...

Потом я быстро сбегал на вокзал и выяснил, что мой поезд уже ушел, а следующий будет только утром; я расплатился в кабачке, положил свои вещи рядом с ранцем того парня и в сгущающихся сумерках отправился шататься по улицам незнакомого городка. Со всех сторон на меня наступала серая, темно-серая

¹ Пушта — венгерская степь.

мгла, и лишь в кругах тусклых фонарей лица прохожих казались живыми. И я снова где-то пил вино, на этот раз лучшее, чем то, с тоской глядел на серьезное лицо женщины за стойкой, вдыхал какой-то уксусно-едкий запах, просачивавшийся из кухни, а потом, заплатив деньги, опять нырнул в темные улицы.

«Эта жизнь,— думал я тогда,— не моя жизнь. Я должен играть эту жизнь как роль, и я ее играю бездарно». Стало уже совсем темно, ласковое небо висело над летним городом. Где-то шла война, невидимая и неслышная здесь, на тихих улочках с приземистыми домами, которые спали рядом с невысокими деревьями; где-то в этой полной тишине таилась война. Я был совершенно один в маленьком городке, люди вокруг не имели ко мне никакого отношения, эти крошечные деревца, наверное, вынули из коробки с игрушками и наклеили на ровные серые тротуары, а над всем низко парило небо, словно бесшумный воздушный корабль, который вот-вот рухнет на землю...

Вдруг под деревом я увидел лицо — оно, казалось, неярко светилось изнутри. Печальные глаза под копной легких волос, должно быть каштановых, хотя в ночи они выглядели серыми; бледная кожа, детский рот, должно быть красный, хотя в ночи и он выглядел серым.

— Пошли,— сказал я.

Я схватил ее за руку, это была человеческая рука; моя ладонь коснулась ее ладони, наши пальцы нашли друг друга и сплелись, пока мы брели в этом незнакомом городе, по незнакомой улице.

— Не зажигай света,— сказал я,— когда мы оказались в комнате, в которой я теперь плыл, потерянный в кромешной тьме.

В темноте я ощутил прикосновение мокрых от слез щек, сорвался и полетел в бездну, полетел так, как летишь с головокружительно крутой лестницы, мягкой, бархатной лестницы. Я падал все глубже и глубже, и все новые бездны разверзались подо мной...

Моя память сообщила мне, что все это было и что теперь я лежу на этой подушке, в этой комнате, рядом с ней, хотя и не слышу ее дыхания: она спит тихо, как ребенок. Господи, неужели я теперь только мозг?

Иногда темный поток, круживший меня, казалось, затихал, и тогда во мне вспыхивала надежда, что я проснусь, вновь почувствую свои ноги, вновь буду слы-

шать и различать запахи, а не только думать; но стоило этой робкой надежде чуть возрасти и окрепнуть, как она снова начинала понемногу убывать, ибо черная вода опять принималась бурлить и, подхватив мое беспомощное тело, опять несла его вне времени и пространства, в омут полной потерянности.

Моя память сообщила мне также, что ночь имеет свои пределы, что ее неизбежно сменит день. Она сообщила мне, что я могу пить, целовать, плакать и даже молиться, но ведь молиться нельзя одним мозгом. Я знал, что уже проснулся, что лежу в постели венгерской девчонки, на ее мягкой подушке, в очень темную ночь; все это я знал и все же был уверен, что мертв...

Это напоминало рассвет, когда развидняется медленно, так несказанно медленно, что за ним нельзя уследить; сперва думаешь, что ты ошибся: стоя темной ночью в окопе, трудно поверить, что нежная светлая полоска где-то за невидимым горизонтом и есть забрезжившее утро; думаешь, что ты ошибся, что это мираж, рожденный твоими усталыми воспаленными глазами. И все же это и есть рассвет, который становится все явственней: воздух незаметно сереет, свет прибывает исподволь, но прибывает, белесые пятна за горизонтом все расширяются, и ты волей-неволей понимаешь, что наступает день.

Я вдруг почувствовал, что озяб; одеяло сбилось в сторону, моим голым ногам стало холодно, и я ощутил реальность этого холода; я глубоко вздохнул и услышал свое собственное дыхание; струя воздуха коснулась моего подбородка; я наклонился вперед, ощупью нашел одеяло и прикрыл им ноги. У меня снова были руки, снова были ноги, я ощущал свое собственное дыхание. Потом я опустил левую руку в пропасть, выловил на дне ее свои брюки и услышал, как в кармане хрустнул спичечный коробок.

— Пожалуйста, не зажигай лампу,— произнес возле меня ее голос, и она тоже вздрогнула.

— Дать сигарету? — спросил я шепотом.

— Да,— ответила она.

При свете спички она казалась совсем желтой: темно-желтый рот, круглые, черные, испуганные глаза, кожа цвета светло-желтого песка, а волосы словно янтарный мед.

Трудно было разговаривать, неизвестно, с чего на-

чать. Мы оба слышали, как течет время — удивительный густой гул, с которым уплывают секунды.

— О чем ты думаешь? — неожиданно спросила она.

Ее слова, подобно негромкому, но меткому выстрелу, попадающему точно в цель, прорвали какую-то преграду внутри меня, и я заговорил, прежде чем успел еще раз взглянуть ей в лицо, подсвечиваемое вспышками сигареты.

— Я думаю о том, кто будет лежать в этой комнате лет через семьдесят, кто будет сидеть или лежать там, где сейчас лежу я, и что он будет знать о нас с тобой... Ничего. Только то, что тогда была война, и все.

Мы оба швырнули наши окурки налево от кровати; они бесшумно упали на мои брюки; мне пришлось стряхнуть их на пол, они валялись рядом, будто тлеющие угольки.

— А еще я думал о том, кто жил здесь семьдесят лет назад и что здесь тогда было. Может, поле, и на нем росла кукуруза или лук, вот прямо тут, под моей головой, и ветер колыхал зеленые стрелки, и каждое утро над горизонтом пушты брезжил этот печальный рассвет. А может быть, уже тогда здесь был чей-то дом.

— Да,— сказала она тихонько,— семьдесят лет назад уже был дом.

Я промолчал.

— Да,— продолжала она,— кажется, как раз семьдесят лет назад мой дед построил этот дом. В тот год у нас проложили железную дорогу, дед стал на ней работать, накопил денег и построил себе домишко. Потом он ушел на войну, на ту, знаешь, в четырнадцатом году, и погиб в России. А здесь остался отец... у нас было немного земли, и, кроме того, он тоже работал на железной дороге. Он умер в эту войну...

— Его убили?

— Нет, он умер. А мать моя умерла еще раньше. Теперь здесь живет мой брат с женой и детьми. А через семьдесят лет будут жить правнуки моего брата.

— Возможно,— сказал я,— но они ничего не будут знать о тебе и обо мне.

— Да, ни один человек в мире не узнает, что ты был у меня.

Я взял ее маленькую руку, очень нежную маленькую руку, и поднес к своему лицу.

Проем окна был заполнен густо-серой мглой, чуть более светлой, чем ночная тьма.

Вдруг я почувствовал, что она встала с кровати, хотя она и не коснулась меня, и уловил легкие шаги ее босых ног; потом понял, что она одевается, хотя ее движения и все шорохи, которые их сопровождали, были почти неслышны; только когда она, заведя руки за спину, застегивала пуговицы на блузке, до меня донеслось ее прерывистое дыхание.

— Теперь ты должен одеться, — сказала она.

— Я еще полежу.

— Я хотела бы зажечь свет.

— Но тебе же надо поесть перед уходом.

— Я никуда не ухожу.

Я снова почувствовал, что она, так и не надев туфли, изумленно уставилась туда, где я лежал.

— Вот как, — только и сказала она тихо, и я не понял, испугана она или удивлена.

Повернув голову, я мог теперь уже различить на темно-сером фоне окна очертание ее фигуры. Неслышно двигаясь по комнате, она поднесла к печке дрова и бумагу, вынула коробок спичек из кармана моих брюк.

Эти шорохи доносились до меня, как тихий тревожный зов человека, стоящего на берегу, зов, обращенный к другому, которого течение несет в омут. И я теперь твердо знал, что, если я тотчас не встану, если не решусь немедленно покинуть этот мерно колыхающийся плот потерянности, я либо умру вот здесь на кровати, разбитый параличом, либо меня пристрелят на этой подушке неутомимые сыщики, от которых нигде не скроешься.

Я слышал, как она невнятно что-то напевала, стоя у печки и глядя в огонь, беззвучно трепетавший красными крыльями, и мне казалось, что между нами лежит больше, нежели целый мир. Она находилась где-то на самой кромке моей жизни, напевала что-то про себя и радовалась разгорающемуся пламени; я все это понимал, слышал, видел, вдыхал чад паленой бумаги, и все же нигде она не была бы дальше от меня, чем сейчас, когда нас разделяли всего несколько шагов.

— Ну вставай же! — сказала она, не отходя от печки. — Тебе надо идти.

Я услышал, как она поставила кастрюлю на огонь и принялась что-то размешивать; это были ласковые и тихие звуки — глухое поскребыванье деревянной ложки о днище, — и запах поджаренной муки заполнил комнату.

Теперь я уже все видел. Комната была очень маленькая. Я лежал на низкой деревянной кровати, рядом стоял шкаф, который занимал стену до двери, простой коричневый шкаф, без всяких украшений. Стол, стулья и печурка находились, видимо, где-то позади меня. Было очень тихо, густая предрассветная мгла еще затеняла комнату.

— Прощу тебя,— сказала она шепотом.— Мне надо уйти.

— Тебе?

— Да, на работу, и ты должен выйти вместе со мной.

— Работать? — переспросил я.— Зачем?

— О, что ты спрашиваешь!

— А где ты работаешь?

— На железной дороге.

— На железной дороге? Что же вы там делаете?

— Засыпаем щебень между шпалами, балласт, чтобы не случилось беды.

— И так не случится,— сказал я.— На каком ты участке? В сторону Гросвардайна?

— Нет, в сторону Сегедина.

— Это хорошо.

— Почему?

— Потому что тогда я не проеду мимо тебя.

Она тихо рассмеялась.

— Значит, ты все-таки собираешься встать?

— Да,— сказал я.

Я еще раз закрыл глаза и вновь опрокинулся в то зыбкое небытие, где нет запахов, где нет ничего, кроме тихого плеска, который я ощущал как слабое, едва уловимое дуновение. Потом я со вздохом открыл глаза и потянулся за брюками — они лежали теперь, аккуратно сложенные, на стуле возле кровати.

— Да,— сказал я снова и вскочил на ноги.

Она стояла у печки, спиной ко мне, пока я быстро, привычными движениями натягивал брюки, завязывал шнурки на ботинках, застегивал серый мундир.

С минуту я, не двигаясь, с незажженной сигаретой в губах глядел на теперь уже четко рисовавшуюся на фоне окна маленькую, тоненькую фигурку. Волосы у нее были красивые и пышные, как спокойное пламя.

Повернувшись ко мне, она улыбнулась.

— О чем ты опять думаешь? — спросила она.

Я впервые взглянул ей в лицо. Оно было таким бесхитростным, что я оторопел; круглые глаза, в которых страх был страхом, а радость — радостью.

— О чем ты опять думаешь? — спросила она еще раз, уже не улыбаясь.

— Ни о чем. Я не могу ни о чем думать, мне надо идти. Выхода нет.

— Да,— сказала она и кивнула.— Ты должен идти. Ничего не поделаешь.

— А ты должна остаться здесь.

— Да, я должна остаться здесь.

— Ты должна засыпать щебень между шпалами, балласт, чтобы здесь не случилось беды и поезда могли бы спокойно доехать туда, где беда уже случилась.

— Да,— сказала она,— я должна.

По очень тихой улочке мы спустились к вокзалу. Все улицы ведут к вокзалам, откуда отправляются на войну. Дорóгой мы зашли в какой-то подъезд и целовались, и там я почувствовал, когда мои руки лежали на ее плечах,— там я почувствовал, что она моя. И она ушла, опустив плечи, и ни разу не оглянулась.

Она совсем одна в этом городе, и хотя мне, как и ей, нужно добраться до вокзала, мы не можем идти вместе. Я должен ждать, пока она не скроется вон за тем углом, за последним деревом этой короткой аллеи, залитой теперь неумолимым светом. Я должен ждать и могу идти за ней только на большом расстоянии, и я никогда уже ее не увижу. Я должен поспеть на этот поезд, на эту войну...

Теперь, когда я иду на вокзал, мой единственный багаж — это руки, засунутые в карманы, и окурок последней сигареты в зубах, который я скоро выплону; но легче быть без багажа, когда медленно, нетвердой походкой снова идешь по самому краю и в какое-то мгновенье непременно сорвешься в пропасть, туда, где будем мы все...

Одно утешение, что поезд пришел вовремя и весело запыхтел между кукурузными полями и остро пахнущими грядками помидоров.

Я не могу ее забыть; всякий раз, стоит мне хоть на мгновение вынырнуть из водоворота повседневной жизни, которая своим постоянным давлением почти всегда удерживает меня в пучине человеческой реальности, не давая всплыть на поверхность, стоит мне хоть на секунду замедлить эту никогда не прекращающуюся, выматывающую, по-настоящему жестокую гонку, которую они называют жизнью, и остановиться где-нибудь, где до меня не донесутся их дурацкие крики, как я сразу вижу ее лицо, так близко, так ясно... она все так же упоительно красива, как и много лет назад, когда я увидел ее в белом халате без воротника, оставлявшем открытой ее нежную шею.

Тогда-то я и погиб для них. Капитан сказал, что мы должны немедленно идти в контратаку, и лейтенант повел нас в эту контратаку. А там и атаковать-то было некого. Мы вслепую бежали вверх по лесистому склону холма, был весенний вечер, и на предполагаемом поле боя царил тишина. Мы долго стояли на холме, озираясь по сторонам, и ничего не видели. Потом ринулись вниз, в долину, потом опять полезли вверх по склону другого холма, и опять ждали. Противника нигде не было видно. То тут, то там по краю лесочка попадались брошенные окопы, недостроенные укрепления наших, заваленные кинутым второпях, бессмысленным хламом войны. Но все еще было тихо, зловещее молчание под высоким сводом весеннего неба, медленно заволакивавшегося темнеющей пеленою сумерек, угнетало нас. Было так тихо, что голос лейтенанта заставил нас вздрогнуть:

— Вперед!— приказал он.

Но только мы собрались двинуться, как небо вдруг с грохотом обрушилось на нас и земля разверзлась.

Все наши попадали наземь или быстро спрыгнули в брошенные окопы; я успел заметить, как у фельдфебеля изо рта выпала трубка, а потом мне показалось, что мне отстрелили ноги...

Пять человек бросились бежать, едва утих первый шквал. Только лейтенант и с ним еще двое задержались, они подхватили меня на носилки и помчались вниз по склону, а наверху, там, где мы только что лежали, бушевал новый шквал.

Лишь много позже, когда они опустили меня в лесу на землю, я почувствовал боль. Лейтенант, отерев пот со лба, окинул меня долгим взглядом, но я сразу понял, что он не смотрит туда, где должны быть мои ноги.

— Не бойся!— сказал он,— мы отнесем тебя куда надо!

Лейтенант сунул мне в рот зажженную сигарету, а еще я запомнил: хотя боль и нарастала, я все-таки сознавал, что жизнь прекрасна. Я лежал на лесной дороге, у подножия холма, рядом с дорогой протекал ручеек, наверху, среди верхушек высоких елей виднелась лишь узкая полоска неба, теперь серебристого, почти белого. Стояла несказанно живительная тишина, только птицы пели. Я выпускал сигаретный дым длинными голубыми нитями, считал, что жизнь была прекрасна, и плакал...

— Успокойся,— сказал лейтенант.

Они опять понесли меня. Но путь был долг, почти два километра до того места, куда отступил капитан, а я был тяжелый. По-моему, все раненые очень тяжелые. Лейтенант шел впереди носилок, а те двое — сзади. Так мы, наконец, выбрались из лесу, шли полями и лугами, потом опять лесом, им приходилось часто опускать носилки наземь, утирать пот, а вечер все приближался. Когда мы дошли до деревни, все еще было тихо. Они отнесли меня в дом, где теперь находился капитан. Слева и справа по стенам громоздились одна на другой школьные парты, а учительская кафедра была завалена ручными гранатами. Когда меня внесли, там как раз распределяли ручные гранаты. Капитан кричал в телефон, угрожая кому-то расстрелом. Потом выругался и бросил трубку. Меня положили за кафедрой, где лежали еще раненые. Один, с простреленной рукой, сидел на корточках, вид у него был весьма довольный.

Лейтенант доложил капитану, как проходила наша контратака, капитан заорал, что расстреляет лейтенанта, а лейтенант сказал:

— Так точно!

Капитан еще пуще разорался, а лейтенант опять повторил:

— Так точно!

И капитан перестал кричать.

В цветочные горшки воткнули большие факелы и

зажгли их. Уже стемнело, а электричества, похоже, тут не было. Когда гранаты были розданы, класс опустел. Остались только два фельдфебеля, писарь и капитан с лейтенантом. Капитан сказал лейтенанту:

— Прикажите выставить посты, надо попытаться хоть немного поспать. С утра опять начнется...

— Отступление?— тихо спросил лейтенант.

— Вон!— закричал капитан, и лейтенант ушел.

Когда он ушел, я впервые взглянул на свои ноги и увидел, что они залиты кровью, я их совсем не чувствовал, чувствовал только боль там, где были ноги. Мне стало холодно. Рядом со мной лежал человек, раненный в живот, он был совсем тихий и бледный, почти не шевелился, только изредка осторожно проводил рукой по одеялу, накинутаго на живот. На нас никто не обращал внимания. Наверно, среди тех пятерых, что сразу дали деру, был и санитар. Внезапно и я ощутил боль в животе, она быстро поползла вверх и расплавленным свинцом прихлынула к сердцу, кажется, я закричал и потерял сознание...

Очнувшись, я сначала услышал музыку. Я лежал на боку и смотрел в лицо соседа, раненного в живот. Он был мертв. Одеяло стало черным от пропитавшей его крови. А я слушал музыку,— должно быть, где-то включили радио. Звучало что-то очень современное, наверно, иностранное, а потом эту музыку словно бы стерли мокрой тряпкой и раздался марш, потом классическая музыка. Вдруг чей-то голос надо мной произнес:

— Моцарт.

Я поднял глаза и увидел ее лицо, и тут же понял, что это не может быть Моцарт, и сказал, обращаясь к этому лицу:

— Нет, это не Моцарт.

Она склонилась надо мной и я увидел, что она врач или, может, студентка-медичка, она выглядела такой юной... но в руке у нее был стетоскоп. Теперь я видел лишь корону ее пышных мягких каштановых волос, ведь она склонилась над моими ногами и задрала одеяло так, чтобы я ничего не мог видеть. Потом подняла голову, посмотрела на меня и сказала:

— И все-таки это Моцарт.

Она закатала мне рукав, а я тихонько возразил:

— Нет, это не может быть Моцарт.

А музыка все играла, теперь я уж точно знал, что никакой это не Моцарт. Иногда музыка звучала совсем по-моцартовски, но были там некоторые пассажи, у Моцарта невозможные.

Рука у меня была совсем белая. Девушка мягкими пальцами нащупала пульс, и вдруг я ощутил укол — она что-то впрыскивала мне в руку.

Ее лицо было теперь совсем близко, и я шепнул:

— Поцелуй меня.

Она залилась краской, выдернула иглу, и в этот миг голос по радио произнес: «Мы передавали музыку Диттерсдорфа». Она улыбнулась, и я улыбнулся, теперь я видел ее всю, по-настоящему, поскольку единственный еще горящий факел стоял на кафедре, за ее спиной.

— Скорее,— сказал я уже громче,— поцелуй меня.

Она опять покраснела и стала еще красивее. Свет факела озарял потолок и отбрасывал на стены беспокойно кружащие красные блики. Она быстро оглянулась, наклонилась и поцеловала меня, за этот миг я успел разглядеть ее смеженные веки и ощутить нежность ее губ, а факел окружал ее тревожным светом... И вот опять капитан рычал что-то в телефон и уже другая музыка доносилась из репродуктора. Потом кто-то вскрикнул, меня вдруг подхватили и вынесли в ночь, положили в холодный кузов и я лишь успел заметить, что она стоит и смотрит мне вслед в свете факела, среди нагромождения школьных парт, они были как смехотворные руины гбнущего мира.

Наверное, все они вновь вернулись к своим исконным профессиям. Капитан теперь преподаватель гимнастики. Лейтенанта нет в живых, а о других мне ничего не известно, да и знал-то я их всего несколько часов. Разумеется, школьные парты стоят теперь на своих местах, электричество опять горит, а факелы зажигают лишь по каким-нибудь особенно романтическим поводам, и капитан теперь вместо: «Я вас расстреляю!» кричит что-нибудь безобидное, например: «Вы дурак!» или «Эй ты, трус» — если кто-то не справляется с

«мельницей». Ноги мои зажили, я опять хорошо хожу, и на всяких комиссиях мне сказали, что я могу работать, но у меня есть другое, куда более важное занятие: я ищу ее. Я не могу ее забыть. Люди говорят, что я помешанный, потому что я не желаю крутить «мельницу» или браво и верноподданно маршировать в команде гимнастов, рьяно и нетерпеливо ожидая похвалы.

К счастью, они обязаны платить мне пенсию, и я могу позволить себе ждать и искать, ибо знаю, что найду ее...

1951

ЗЕЛЕНАЯ ШЕЛКОВАЯ РУБАШКА

Я все сделал точно так, как меня научили: не постучавшись, я открыл дверь и вошел. Но все-таки испугался, неожиданно увидев перед собой высокую толстую женщину. В ее лице было что-то странное, и цвет его был какой-то удивительный: у нее было здоровое, абсолютно здоровое лицо, просто здоровое, спокойное и уверенное.

Глаза у нее были холодные. Она стояла у стола и чистила овощи. Возле нее на столе стояла тарелка с остатками омлета, которые обнюхивала большая жирная кошка. Кухня была тесной, с низким потолком, а воздух в ней спертый и каким-то жирным. Едкая горечь перехватила мне горло, покуда я робким взглядом тревожно окидывал тарелку с омлетом, кошку и здоровое лицо женщины.

— Что вам угодно? — спросила она, не глядя на меня.

Я дрожащими пальцами открыл замок своей сумки, стукнувшись при этом головой о низкую притолоку, и наконец вытащил то, что привело меня сюда: рубашку.

— Рубашка,— хрипло сказал я,— я думал... может быть... рубашка...

— Рубашек у моего мужа на десять лет!

Но она подняла глаза, как бы невзначай, и уставилась на зеленую, мягкую, шуршащую рубашку, а я, заметив вспыхнувшую в ее глазах неукротимую жадность, подумал, что надо бы не прогадать. Она схвати-

ла рубашку, даже не вытерев руки, приложила к плечам, так что зеленый шелк заструился вниз, она вертела рубашку и так и эдак, разглядывая каждый шовчик, потом издала какой-то невнятный бормочущий звук. С нетерпением и страхом следил я за нею, она опять взялась за капусту, потом подошла к плите, сняла крышку с котелка, шипевшего на слабом огне. По комнате распространился вкусный запах горячего жира. Кошка между тем долго обнюхивала омлет и, по-видимому, сочла его недостаточно свежим и аппетитным. Лениво и элегантно она спрыгнула на стул, со стула на пол и мимо меня шмыгнула к двери.

Жир кипел, мне казалось, что я слышу, как под крышкой, скворча, подпрыгивают кусочки сала, какое-то давнее, очень давнее воспоминание подсказало мне, что в этом котелке сало, именно сало. Женщина продолжала чистить капусту. Где-то негромко мычала корова, скрипела тачка, а я все стоял у двери, моя рубашка висела на грязной спинке стула, моя любимая, мягкая, зеленая шелковая рубашка, по этой мягкости я тосковал целых семь лет...

У меня было ощущение, будто я стою на раскаленной решетке, молчание безмерно, до ужаса, угнетало меня. Омлет тем временем черной тучей обсели вялые мухи. Голод и отвращение, чудовищное отвращение, едкой горечью стеснили мне глотку, я обливался потом.

Наконец я нерешительно протянул руку к рубашке.

— Вы,— я еще больше охрип,— вы не хотите?

— А что вы за нее просите? — поинтересовалась она холодно, не поднимая глаз. Ее проворные умелые пальцы разделали кочан капусты, она сложила листья в сито, поставила под струю воды, поворошила листья в сите, потом опять сняла крышку с котелка, в котором скворчало сало. Она сбросила туда капусту, и под упоительное шипение на меня вновь нахлынули воспоминания. Воспоминания о том давнем времени, тысячу лет назад... а ведь мне всего только двадцать восемь...

— Так что вы за нее хотите? — спросила она уже нетерпеливее.

Но я ведь не торговец, нет, хоть и побывал на всех черных рынках от мыса Гри-Не до Краснодара.

Я пролепетал, запинаясь:

— Сало... хлеб... может быть, муку, я думал...

Тут она впервые подняла свои голубые глаза, холодно взглянула на меня и тут же я понял, что погиб... никогда, никогда в жизни я уже не узнаю, каково на вкус сало, оно навсегда останется для меня лишь болезненным воспоминанием о запахах... мне все стало безразлично, ее взгляд ранил меня, пронзил насквозь, из меня словно весь воздух вышел...

Она засмеялась.

— Рубашки! — закричала она с издевкой, — рубашки я могу иметь за пару хлебных карточек.

Схватив рубашку со стула, я накинул ее на шею орущей бабы, затянул и как удушенную кошку подвесил на гвоздь под большим распятием, черно и грозно нависающим над ее лицом на желтой крашеной стене... но все это я проделал мысленно. В действительности же я схватил рубашку, скомкав, сунул в сумку и направился к выходу.

Кошка сидела в сенях и жадно лакала молоко из мисочки, но когда я проходил мимо, она подняла головку и кивнула, как будто хотела попрощаться и подбодрить меня, и в ее зеленых с поволокой глазах было что-то человеческое, что-то невысказанно человеческое... Да, меня ведь предупреждали, что я должен проявить терпение, и я почувствовал себя обязанным сделать еще одну попытку. Дабы не видеть гнетущей безоблачности неба, я прошел под корявыми яблонями, перешагивая через лужи навозной жижи, через клюющих кур, и вышел на просторный двор, расположенный несколько поодаль под сенью густых вековых лип. Горечь, должно быть, застлала мне глаза, так как я лишь в последний момент заметил здорового крестьянского парня, сидевшего на лавке перед домом и бросавшего какие-то ласковые слова двум мирно жующим лошадям. При виде меня он со смехом крикнул в открытое окно:

— Мама! Номер восемнадцатый идет!

Он с удовольствием хлопнул себя по ляжкам и принялся набивать трубку. В ответ на его смех в доме послышалось жирное воркованье и на секунду в окне появилось лоснящееся багровое лицо женщины, похожее на жирный блин. Я тотчас повернулся и бросился бежать, перепрыгивая на бегу через лужи, через

кур и гогочущих гусей, я мчался как полоумный, судорожно сжимая под мышкой сумку. Только добрав до проселка, я сбавил шаг и стал спускаться с горы, на которую взбирался каких-нибудь полчаса назад.

Я перевел дух лишь когда внизу опять увидел серую ленту шоссе, окаймленную дивными деревьями. Пульс мой стал спокойнее, и горечь отступила, едва я уселся на развилке, там, где каменистый, заброшенный, пропитавшийся запахом затхлости проселок вливался в простор шоссеиной дороги.

Я был весь мокрый.

И вдруг я улыбнулся, раскурил свою трубку, сорвал с себя старую, пропотелую и грязную рубашку и скользнул в прохладный мягкий шелк, который ласково заструился по телу, и вот вся, вся горечь мигом испарилась, ее как не бывало... Вскоре я уже шагал по шоссе к станции, и тут из самых глубин души поднялась вдруг тоска по бедному порочному лицу города, под ужасной маской которого я так часто видел человечность нужды...

1951

БЕЛЫЕ ВОРОНЫ

Мне явно предназначено судьбой позаботиться о том, чтобы белые вороны не перевелись и в нашем поколении. Ведь должен же кто-то быть белой вороной, и этот кто-то — я. Никто бы про меня такого не подумал, но тут уж ничего не поделаешь: я — белая ворона, и все. Мудрецы из нашей семьи утверждают, что это дядя Отто оказал на меня губительное влияние. Дядя Отто — белая ворона в их поколении и мой крестный отец. Ведь должен же был кто-то и тогда быть белой вороной, и этот кто-то был он. Конечно, дядя Отто стал моим крестным отцом задолго до того, как сбился с пути, точно так же, как и я стал крестным отцом одного маленького мальчика, которого в страхе прячут от меня с тех пор, как все поняли, кто я такой. А ведь именно нам, таким, как дядя Отто и я, наши родственники должны быть благодарны, ибо семья без белых ворон какая-то пресная и лишенная характера.

Моя дружба с дядей Отто началась давным-давно. Он часто приходил к нам в гости и приносил разных сладостей куда больше, чем мой отец считал разумным, долго говорил о том о сем и под конец всегда просил деньги в долг.

Дядя Отто знал все на свете; кажется, не было такой области, в которой бы он не разбирался: социология, литература, музыка, архитектура, короче говоря, что хотите... И в самом деле, он знал бездну всего, и знал досконально. Даже специалисты охотно разговаривали с ним, находили его интересным, интеллигентным и на редкость обаятельным человеком до той самой минуты, пока шок от неизбежно завершающей любую беседу попытки занять деньги не отрезвлял их, потому что это и было самым чудовищным: он свирепствовал не только среди родни, но расставлял свои коварные ловушки повсюду, где надеялся пожить.

Все считали, что знания дяди Отто — это золотое дно (так они выражались в том поколении), — но он, видно, считал золотым дном нервы своих родственников. До сих пор осталось тайной, каким образом ему удавалось всякий раз вселить в собеседника уверенность, что именно в данном случае он этого не сделает. Но он это делал. Неукоснительно. Неумолимо. Мне кажется, он просто не мог заставить себя упустить подходящий момент. Его речи бывали поистине вдохновенными, исполненными настоящей страсти, острого ума, тонкого юмора. Он беспощадно разил своих противников и возвеличивал друзей. Он так увлекательно говорил обо всем, что невольно думалось: нет, на этот раз он не обратится с... Но он обращался.

Он знал, как ухаживать за новорожденными, хотя никогда не имел детей. Занимал дам невероятно захватывающими разговорами о различных методах вскармливания, рекомендовал тот или иной сорт присыпки, тут же писал на бумажках рецепты мазей и притирок, советовал, как и чем поить младенцев, более того, он даже знал, как их укачивать: любой орущий малыш немедленно затихал у него на руках. От него словно исходил какой-то магнетизм.

С таким же знанием дела он анализировал Девятую симфонию Бетховена или составлял любые юридические документы, по памяти ссылаясь на соответствующие законы.

Но где бы и о чем бы ни вел он речь, к концу бе-

седы, когда наставал момент прощания, чаще всего в передней, а иногда даже стоя уже на лестничной площадке, он просовывал свою бледную физиономию с живыми черными глазами в щель еще не успевшей захлопнуться двери и говорил как бы между прочим, обращаясь к главе семьи и словно не замечая ужаса, сковавшего всех ее членов:

— Да, кстати, не мог бы ты мне...

Сумму, которую он просил, всегда колебалась между одной и пятьюдесятью марками. Пятьдесят марок были его пределом — с годами как бы установился некий неписанный закон, согласно которому он не мог претендовать на большее.

— ...На короткий срок! — добавлял он.

«На короткий срок» — было его любимым выражением. Изложив свою просьбу, он обычно возвращался назад, снова клал шляпу на подзеркальник, разматывал шарф и принимался пространно объяснять, на что ему нужны деньги. Он всегда носился с каким-нибудь блистательным проектом. Эти деньги он отнюдь не собирался тратить на личные нужды, а лишь на то, чтобы заложить солидный фундамент своему существованию. У него были самые разнообразные планы, начиная с покупки киоска для продажи лимонада стаканами — дело, которое, по его расчетам, должно было обеспечить ему постоянный солидный доход, — до учреждения новой политической партии в целях спасения Европы от грядущей гибели.

Фраза «Да, кстати, не мог бы ты мне...» стала жупелом в нашей семье, где жены, тетки, двоюродные тетки и даже плямняники при словах «На короткий срок!» едва не падали в обморок.

А дядя Отто — я полагаю, он бывал абсолютно счастлив, когда сбегал вниз по лестнице, — направлялся в ближайшую пивную еще раз тщательно обдумать свой проект. Чтобы лучше думать, он заказывал водки или три бутылки вина, в зависимости от того, какую сумму ему удалось на этот раз выколотить.

Я не хочу далее скрывать, что дядя Отто пил. Да, он пил, хотя никто никогда не видел его пьяным. Кроме того, у него явно была потребность пить в одиночку. Попытка напоить его, чтобы тем самым предотвратить его обычную просьбу, была обречена на неудачу. Целая бочка вина не удержала бы его от того, чтобы, уходя, в самую последнюю минуту не просунуть го-

лову в щель готовой вот-вот захлопнуться двери и не спросить:

— Да, кстати, не мог бы ты мне?.. На короткий срок...

Но я еще умолчал о его самом ужасном свойстве. Иногда он возвращал деньги. Время от времени дядя Отто, видимо, немного подрабатывал. Советник юстиции в прошлом, он, мне кажется, давал от случая к случаю какие-то юридические консультации. Получив деньги, он приходил к своему кредитору, вынимал из кармана смятую купюру, любовно, с тоской ее разглаживал и говорил:

— Ты был так добр, что выручил меня. Вот тебе твоя пятерка.

Вернув деньги, он тут же уходил и снова появлялся в этом доме не позже чем через два дня и просил займы сумму всегда чуть больше той, которую вернул. Тайной осталось и то, как ему удалось дожить почти до шестидесяти лет, так и не обзаведясь тем, что мы привыкли называть настоящей профессией, и он умер вовсе не от болезни, которую он, казалось, мог бы себе нажить от пьянства. Он был здоров как бык, сердце его работало безотказно, спал он, как младенец, который, вдоволь насосавшись молока, безмятежно посапывает, ожидая следующего кормления. Нет, он умер внезапно. Несчастный случай оборвал его дни, и то, что произошло после его смерти, объяснить, пожалуй, еще труднее, чем странности его жизни.

Итак, как уже было сказано, дядя Отто погиб от несчастного случая. Он попал под грузовик с тремя прицепами прямо в центре города, и еще счастье, что к бедняге первым подбежал честный человек; он тотчас вызвал полицию и известил семью. В кармане дяди Отто был обнаружен кошелек, в котором находился медальон с изображением девы Марии, проездной билет, наличные деньги в сумме двадцати четырех тысяч марок и копия расписки, данной им хозяину лотереи в получении выигрыша. Этим капиталом дядя Отто владел, должно быть, минуту, а может, и того меньше, потому что грузовик налетел на него метрах в пятидесяти от дверей лотереи.

Последующие события были для нашей семьи постыдными. Комната дяди Отто поражала бедностью: стол, стул, кровать, шкаф, несколько книг и большая записная книжка — в этой книжке были с поразитель-

ной тщательностью перечислены все его долги, в том числе и долг, сделанный накануне трагического случая, долг, составлявший четыре марки наличными. Кроме того, в записной книжке было короткое завещание, в котором он отказывал мне все, что имел.

Мой отец, как душеприказчик покойного, должен был заняться выплатой долгов. Список кредиторов дяди Отто заполнял почти все страницы записной книжки, причем первые фамилии туда были занесены еще в те далекие времена, когда он вдруг бросил работу в суде и посвятил себя обдумыванию всевозможных проектов, на что ушло так много лет и так много денег. Долги дяди Отто составляли почти пятнадцать тысяч марок, а число кредиторов — более семисот человек, начиная от кондуктора трамвая, одолжившего ему тридцать пфеннигов на билет, и кончая моим отцом, которому он задолжал за эти годы две тысячи марок, — видимо, у моего отца дяде Отто было легче всего брать займы деньги.

Странным образом день похорон дяди совпал с днем моего совершеннолетия, и тем самым я получил право распоряжаться оставшейся после раздачи долгов суммой — около десяти тысяч марок, — в силу чего немедленно прервал только что начавшуюся учебу в университете, решив посвятить себя иным делам. Несмотря на горькие слезы моих родителей, я бросил дом и переехал в комнату дяди Отто — меня туда влекло неудержимо, и я до сих пор там живу, хотя с той поры прошло много лет и волосы мои сильно поредели. Обстановка в комнате ничуть не изменилась — ничто в ней не убавилось и не прибавилось. Теперь я понял, что многие мои начинания были ошибочными. Так, например, было бессмысленно пытаться стать музыкантом, а тем более композитором — у меня нет настоящего таланта. Теперь-то я это знаю, но за это знание я заплатил тремя годами отчаянного труда, приобрел репутацию бездельника, да к тому же и просадил все свое наследство. А с тех пор прошло так много времени...

Я уже не помню точно последовательности всех моих начинаний — столько их было. К тому же срок, необходимый для того, чтобы понять всю их бессмысленность, становился все короче. Дело дошло до того, что каждый новый план жил не более трех дней, а это слишком мало даже для плана. Жизнеспособность моих проектов убывала с такой стремительностью, что в конце концов они превратились в смутно мелькавшие

мысли, о которых я не мог даже никому рассказать, потому что мне самому они были неясны! Подумать только, ведь было время, когда я три месяца кряду занимался физиогномикой, а потом дошел до того, что в течение одного вечера решал стать художником, садовником, механиком и матросом, засыпал, твердо убежденный, что рожден быть учителем, а просыпался с незыблемой верой в то, что работа таможенного инспектора мое единственное призвание.

Короче говоря, я не обладаю ни любезностью дяди Отто, ни его более или менее выдержанным характером, да и язык у меня не так хорошо подвешен. В гостях я обычно сижу как сыч и молчу, только скуку навожу на хозяев, а свою просьбу одолжить денег выпаливаю так неуклюже, что она звучит вымогательством.

Обходиться я умею только с детьми — это, пожалуй, единственное положительное качество, которое я унаследовал от дяди Отто. Попав ко мне на руки, младенцы немедленно замолкают и, глядя мне в лицо, начинают улыбаться, если только они уже умеют улыбаться, хотя люди говорят, что я настоящее пугало. Те, кто поехидней, советуют мне наняться в детский сад... воспитателем и тем самым покончить с моим бесконечным прожектерством, но я не иду в детский сад. Мне кажется, именно в этом и заключается то, что отличает нас, белых ворон: мы не умеем обращать в золото свое истинное призвание или, как принято теперь говорить, практически его использовать.

Во всяком случае, одно мне ясно: если я и в самом деле белая ворона — а я лично в этом еще не вполне уверен, — так вот, повторяю, если я — белая ворона, то представляю собой все же несколько иную разновидность, чем дядя Отто. Я не обладаю ни его легкостью, ни его обаянием, кроме того, меня угнетают мои долги, тогда как его они явно несколько не тяготили. И я сделал нечто совершенно ужасное — я капитулировал, я попросил найти мне какую-нибудь работу. Я умолял родственников помочь мне пристроиться на место, умолял пустить в ход все их связи, чтобы хоть раз, хотя бы один разок получить за определенную работу определенную сумму. И им это удалось. После того как я изложил им свою просьбу, после того как письменно и устно молил их, заклинал, торопил, я был в ужасе при мысли, что эту просьбу примут всерьез и, не дай бог, осуществят, однако же я

сделал то, чего до меня еще никто из белых ворон не делал: я не отступил, не обманул родственников и занялся на то место, которое они для меня подыскали. Я пожертвовал тем, чем никогда не должен был жертвовать, — своей свободой.

Каждый вечер, когда я, мрачный, плелся домой, я злился, что прошел еще день моей жизни, не принесший мне ничего, кроме усталости, раздражения и тех жалких грошей, которые необходимы, чтобы суметь завтра снова выйти на работу. Да и можно ли было вообще назвать мою деятельность работой? Я раскладывал счета по алфавиту, пробивал в них дырочки и в идеальном порядке подшивал в папки, где они терпеливо лежали, тщетно дожидаясь оплаты; либо я писал письма с призывом покупать наши изделия, которые потом бессмысленно блуждали по стране и лишь отягощали сумки почтальонов; иногда я писал какие-то счета, и некоторые, представьте, кто-то даже оплачивал наличными. В мои обязанности входило также вести дела с торговыми агентами, тщетно пытавшимися всучить кому-нибудь ту дрянь, которую им поставлял наш хозяин. Наш хозяин — это неутомимая скотина, ничего не делающая и вечно спешащая, — тратит на чепуху все бесценное дневное время. Существование его лишено всяческого смысла, и он не решается даже подсчитать сумму своих долгов. С трудом балансируя, идет он от блефа к блефу. Он — акробат с воздушными шариками. Едва лопается один, как он начинает надувать другой, а в руке у него остается отвратительный резиновый лоскут, который всего лишь секунду назад был полон жизни, блеска, великолепия. Наша контора находилась при маленькой фабричке, где человек двенадцать рабочих изготовляли ту самую мебель, которую покупают для того, чтобы потом всю жизнь огорчаться, если не хватает решимости выкинуть ее вон в течение первых трех дней; тумбочки, курительные столики, крохотные комодики, искусно разрисованные маленькие стульчики, рассыпающиеся под трехлетними детьми, этажерочки, жардиньерочки и тому подобный хлам, который издали кажется творением искусного резчика, а в действительности является поделкой дрянного маляра, краской и лаком придающего этим изделиям богатый вид только для того, чтобы оправдать высокую цену.

Итак, я проводил день за днем — всего их оказа-

лось почти четырнадцать — в конторе этого неинтеллигентного человека, который сам себя принимал всерьез; да еще считал себя художником, потому что время от времени — за мое пребывание в конторе это случилось всего один раз — он становился за чертежный стол и, орудуя карандашом и рейсшиной, проектировал одно из тех шатких сооружений — подставку для вазы или новый тип домашнего бара, которые словно специально предназначены для того, чтобы приводить в ярость грядущие поколения.

Он не отдавал себе отчета в абсолютной бессмысленности своих конструкций. Набросав на листе бумаги очередной шедевр — как я уже говорил, на моей памяти это произошло всего лишь один раз, — он укапывал на своей машине, дабы отдохнуть от напряженных творческих трудов, причем этот отдых затягивался на неделю, если не больше, хотя сама работа отнимала минут пятнадцать. А набросок тем временем передавался мастеру, который, положив его на свой верстак, долго изучал, наморщив лоб, потом изготавливал образец и налаживал массовый выпуск нового изделия.

Изо дня в день я наблюдал, как за пыльными окнами мастерской — хозяин всегда величал ее фабрикой — громоздились его новые творения: подвесные полки да столики для телевизоров, вряд ли стоившие того клея, который был на них затрачен.

Действительно нужные предметы изготавливались в мастерской только в отсутствие хозяина, когда рабочие твердо знали, что он исчез на несколько дней: подножные скамеечки и ящики для рукоделья, радующие своей добротностью и простотой; когда-нибудь внуки будут скакать верхом на этих скамеечках и прятать свои сокровища в ящики для рукоделья, а на сушильных козлах будут трепыхаться на ветру рубашки еще не одного поколения.

За время этой интермедии под названием «Моя производственная деятельность» единственной личностью, в самом деле мне импонировавшей, был трамвайный кондуктор, который своими щипчиками с печаткой внутри погашал день моей жизни. Он брал маленький клочок бумаги — мой недельный проездной билет, вкладывал его в разверстную пасть щипчиков и невидимо сочащейся краской перечеркивал клеточку в квадратный сантиметр — день моей жизни, драгоценный день жизни, не принесший мне ничего, кроме

усталости, озлобления и жалких грошей, необходимых для того, чтобы и дальше заниматься моей бессмысленной работой. Этот человек в простой форме трамвайщика обладал неумолимой властью судьбы — он каждый вечер признавал недействительными тысячи человеческих дней.

Еще и сегодня я злюсь на себя за то, что сам не объявил хозяину об уходе, прежде чем, можно сказать, был вынужден это сделать, что не швырнул ему в лицо все его причиндалы, прежде чем, можно сказать, был вынужден их швырнуть, ибо в один прекрасный день моя квартирная хозяйка привела в контору мрачного, не глядящего в глаза человека, который представился уполномоченным лотереи и объявил мне, что ежели я действительно такой-то и такой-то, и у меня находится лотерейный билет номер такой-то, то я отныне являюсь обладателем состояния в пятьдесят тысяч марок. А поскольку такой-то и такой-то действительно был я и билет номер такой-то находился у меня, то я, даже не предупредив об уходе, тотчас же бросил работу и взял на свою совесть не разложенные по алфавиту и не подшитые счета; у меня не было иного выхода, как отправиться домой, получить выигрыш и с помощью денежных переводов известить родственников о своем новом материальном положении.

Все теперь наверняка ожидают, что я скоро умру или стану жертвой несчастного случая. Но как будто ни одна машина не покушается на мою жизнь, да и сердце мое работает исправно, хотя и я не пренебрегаю бутылочкой. Теперь, после уплаты всех долгов, я обладаю состоянием в тридцать тысяч марок, не облагающимся налогами, и в силу этого стал весьма уважаемым дядей, который вдруг опять получил доступ к своему крестнику. Ведь дети меня вообще-то любят, и вот мне опять разрешили играть с ними, покупать им мячи, угощать их мороженым, даже мороженым со сбитыми сливками, одаривать их целыми гроздьями воздушных шариков и таскать веселую гурьбу ребят по качелям и каруселям.

Моя сестра тут же купила своему сыну, моему крестнику, лотерейный билет, а я тем временем углубился в размышления и все ломаю себе голову над тем, кто же в подрастающем поколении пойдет по моим стопам, кто из этих цветущих, веселых, красивых детишек, которых произвели на свет божий мои братья и сестры, станет белой вороной, ибо наша семья отнюдь

не пресная и вовсе не лишена характера. Кто из этих малышей будет примерным только до того дня, когда вдруг перестанет быть примерным, кто из них ни с того ни с сего решит посвятить себя осуществлению своих собственных планов, самых прекрасных и неотвратно влекущих? Я хотел бы знать, кто из них будет таким, хотел бы предупредить его об опасностях, таящихся на его пути, потому что и у нас, белых ворон, есть свой опыт и свои правила игры, которые я мог бы передать моему последователю, пока еще мне неведомому, пока еще резвящемся, словно лебеденок в стае утят, со всеми остальными.

Однако у меня есть смутное предчувствие, что я не проживу достаточно долго, чтобы его узнать и раскрыть ему свои тайны. Он объявится вдруг, выпорхнет, словно бабочка из кокона, когда я умру и когда кто-то срочно должен будет занять мое место. Он с пылающим лицом заявится к своим родителям и крикнет им, что не желает больше жить такой жизнью, что сыт ею по горло, и я втайне надеюсь, что к тому времени еще останется немного моих денег, потому что я изменил свое завещание и отказал все тому, кто первым обнаружит явные «беловороны» признаки и докажет свое намерение идти моей дорогой... Главное, чтобы он ничего им не остался должен.

1951

НЕ ТОЛЬКО ПОД РОЖДЕСТВО

I

У нас в семье наблюдаются признаки вырождения; мы долго пытались не замечать их, но теперь мы твердо решились взглянуть опасности прямо в лицо. Мне не хотелось бы пока употреблять слово «крушение», но вызывающих тревогу фактов накопилось так много, что угроза становится совершенно очевидной и вынуждает меня говорить о вещах, которые хоть и прозвучат несколько странно для ушей моих современников, зато в их подлинности никто не сможет усомниться. Разрушительный грибок, целые колонии смертоносных микробов, глубоко укоренившись под столь же толстой, сколь и твердой корой приличия, возвещают конец доброй славы целого рода.

Сегодня нам остается только пожалеть о том, что много ранее мы не вняли голосу нашего кузена Франца, когда тот весьма своевременно начал обращать наше внимание на ужасные последствия, которые может иметь событие, само по себе весьма безобидное. Событие это было столь незначительным, что теперь нас просто пугает размах последствий, Франц своевременно предостерегал нас, однако с ним, к сожалению, слишком мало считались. Он избрал себе профессию, которая до сих пор не встречалась, да и не должна бы встречаться в нашем роду: он стал боксером. Еще в молодости он был человеком, склонным к меланхолии, отличался набожностью, которую у нас в семье называли юродством, и рано вступил на путь, причинивший немало забот и огорчений моему дяде Францу, этому душевнейшему человеку. Кузен Франц до такой степени любил уклоняться от школьных обязанностей, что это выходило за пределы нормы. Он встречался с крайне сомнительными приятелями в отдаленных парках и густых кустарниках пригородной зоны. Там они усваивали суровые правила кулачного боя, нимало не заботясь о судьбах классического наследия. В этих юношах очень рано проявились все пороки их поколения, которое, как потом выяснилось, и в самом деле никуда не годится. Самые волнующие турниры умов прошлых столетий совершенно их не интересовали — они были слишком заняты сомнительными тревожениями своего века. Сперва мне казалось, что благочестие Франца находится в противоречии с его регулярными упражнениями в пассивной и активной жестокости. Но сегодня мне многое стало ясно. Впрочем, к этому я еще вернусь.

Итак, именно Франц своевременно предостерегал нас, именно он раньше других начал уклоняться от участия в некоторых празднествах, обозвал все это суеютой и безобразием, а главное, несколько позднее категорически воспротивился мероприятиям, которые оказались совершенно необходимыми для поддержания того, что он называл безобразием. Впрочем, как уже было сказано, он не пользовался авторитетом, и родня не прислушивалась к его словам.

Теперь же события настолько развернулись, что мы решительно не представляем себе, как приостановить их ход.

Франц уже давно стал известным боксером, но похвалы, которые теперь расточает ему вся семья, он от-

вергает с тем же равнодушием, с каким прежде отвергал всякую критику.

Брат мой, кузен Иоганн,— человек, за порядочность которого я поручусь головой, этот преуспевающий адвокат и любимый сын нашего дяди, якобы сблизился с коммунистами — слух, которому я долго отказывался верить. Моя кузина Люси, до этого времени вполне нормальная женщина, если верить слухам, каждую ночь в сопровождении своего безответного мужа посещает подозрительные заведения и предается там танцам, для определения которых я не могу подобрать более подходящего слова, чем экзистенциалистские, наконец сам дядя Франц, добродушнейший человек, заявил, будто он устал жить, и это он, прославившийся в нашей семье как образец жизнелюбия, как пример того, что принято называть «купец и христианин».

Растет гора всевозможных счетов, приглашаются психиатры и психоаналитики. И лишь моя тетя Милла, из-за которой началась вся эта кутерьма, чувствует себя превосходно, она улыбается, она весела и довольна, как была почти всю свою жизнь. Ее бодрость и свежесть мало-помалу начинают нас раздражать, хотя было время, когда мы очень беспокоились о ее здоровье. Дело в том, что в ее жизни произошел кризис, чреватый самыми тяжелыми последствиями. Вот об этом-то я и хочу рассказать подробнее.

II

Конечно, задним числом нетрудно обнаружить очаг роковых событий, и, как ни странно, лишь теперь, когда я трезво смотрю на вещи, все происходившее за последние два года у наших родственников кажется мне ни на что не похожим.

Нам бы надо раньше догадаться, что здесь что-то не так. Действительно, здесь что-то не так, и если даже когда-то было так — в чем я очень сомневаюсь, — все равно сейчас здесь творятся вещи, которые наполняют меня ужасом.

Тетя Милла славилась в семье своим пристрастием к украшению рождественской елки — безобидная, хотя и характерная слабость, которая очень распространена в нашем отечестве. Над ее слабостью все посмеивались, а сопротивление Франца, которое он с ранних лет ока-

звал этой «возне», всегда было предметом живейшего возмущения, ибо Франц и сам по себе был явлением отрицательным. Он отказывался украшать елку. До поры до времени все это сходило гладко. Тетка уже привыкла к тому, что Франц уклоняется от всяких приготовлений в период рождественского поста, уклоняется от участия в самом празднике и приходит лишь тогда, когда пора садиться за стол. Об этом просто перестали говорить.

Рискуя вызвать всеобщее негодование, я должен напомнить об одном факте, в защиту которого я могу только сказать, что это факт. С 1939 по 1945 год мы находились в состоянии войны. Когда идет война, принято петь, стрелять, произносить речи, сражаться, голодать и умирать, кроме того, на вас падают бомбы — все это вещи сплошь неприятные, и я никоим образом не хотел бы докучать современникам их перечислением. Мне только приходится упоминать о них, ибо война оказала решающее влияние на историю, которую я хочу рассказать. Так вот, тетя Милла восприняла войну лишь как некую силу, которая уже с Рождества 1939 года начала расшатывать устои ее рождественской елки. Правда, тетушкина елка отличалась повышенной чувствительностью.

Главным украшением елки были стеклянные гномы, в поднятых руках они держали пробковые молоточки, а у ног их висели наковальни в виде колокольчиков. Под ногами гномов были прикреплены свечи, и когда гномы нагревались до определенной температуры, приходил в движение скрытый механизм, гномами овладевало лихорадочное беспокойство, и вся дюжина как одержимая колотила по наковальням, производя мелодичный и нежный звон. А на верхушке елки висел румяный ангел в серебряных одеждах, который через равные промежутки времени раскрывал рот и шептал: «Мир, мир». Тайна ангельского устройства свято охранялась, и узнал я ее только много позже, хотя в тот период мог наблюдать ангела почти каждую неделю. Висели на елке, конечно же, сахарные крендельки, печенье, марципановые фигурки, золотой дождь и — чтоб не забыть — серебряная мишура; я помню, что развесить многочисленные украшения как следует стоило немало труда, требовалось участие всей семьи — и вся семья от волнения теряла к вечеру аппетит и настроение у всех, как говорится, становилось отвратительное, если

не считать моего кузена Франца, который — один из всех — не участвовал в приготовлениях и поэтому мог наслаждаться жарким и спаржей, сбитыми сливками и мороженым. Когда мы приходили на второй день Рождества и высказывали смелое предположение, что тайна говорящего ангела заключается в таком же механизме, благодаря которому куклы могут говорить «папа» или «мама», нам отвечали презрительным смехом.

Теперь вы легко можете себе представить, что бомбы, сыплющиеся неподалеку, в высшей степени вредили этому чувствительному дереву. Происходили ужасные сцены, когда с елки падали гномы, один раз свалился даже сам ангел. Тетка была безутешна. Не жалея сил, она после каждого воздушного налета старалась полностью восстановить украшение елки и сохранить его по крайней мере на время праздника. Но начиная с 1940 года об этом нечего было и думать. Еще раз рискуя вызвать нарекания, я должен бегло упомянуть, что число налетов на наш город было и впрямь очень велико, не говоря уже об их интенсивности. Так или иначе, тетюшкина елка пала жертвой современного способа ведения войны. Из вполне понятных соображений я не буду здесь упоминать о других жертвах. Иностранная авиация временно с ней покончила.

Тетка, славная и приветливая женщина, вызывала у нас искреннее сострадание. Нам было очень больно, когда после жестоких домашних боев, нескончаемых дискуссий, после сцен и слез ей все же пришлось отказаться от своей елки до конца войны.

К счастью — может быть, надо говорить, к несчастью? — это было единственное, в чем она пострадала от войны. Бомбоубежище, выстроенное дядей, было совершенно непробиваемо, кроме того, к услугам тетки все время находился автомобиль, готовый умчать ее гуда, где незаметны непосредственные следы войны; делалось все возможное, чтобы скрыть от нее ужасные разрушения. Обоим моим кузенам повезло — они так и не узнали, что такое военная служба в самых ее суровых формах. Иоганн быстренько вступил в дядину фирму, которая играла решающую роль в снабжении нашего города овощами. К тому же у него была не в порядке печень. А Франц хоть и стал солдатом, но ему поручили охранять пленных, и даже на этом посту он ухитрился не угодить военному начальству, обращаясь с русскими и поляками как с людьми. Кузина Люси еще не была

тогда замужем и помогала дяде в торговых делах. Раз в неделю она ходила на «добровольную службу в помощь армии» — вышивать свастики. Но мне не хотелось бы перечислять здесь политические прегрешения моих родственников.

Короче говоря, ни в деньгах, ни в продуктах, ни в необходимой безопасности недостатка не было, и тетя Милла страдала лишь из-за отсутствия елки. Дядя Франц, этот душевнейший человек, почти пятьдесят лет имел неплохие доходы — он покупал апельсины и лимоны в различных тропических и субтропических странах и пускал их в продажу с соответствующей наценкой. В годы войны дядя распространил сферу своей деятельности на менее ценные фрукты и овощи. Но после войны снова появились цитрусовые — плоды, которые больше всего занимали дядю, — и сразу стали предметом живейшего внимания всех слоев общества. Дядя Франц сумел тут же переключиться на цитрусовые, что принесло населению всевозможные витамины, а самому дяде — порядочное состояние.

Но ему уже было под семьдесят, и он сам захотел уйти на покой, передав дело своему зятю. Тут и произошло событие, над которым мы раньше посмеивались, но которое теперь кажется нам причиной всех дальнейших несчастий.

Моя тетка Милла вновь занялась своей елкой. Само по себе это было вполне безобидно, даже упорство, с которым она настаивала на том, чтобы «все было как раньше», вызывало у нас только усмешку. Да и на самом деле, сначала не было ровно никаких оснований принимать эту историю всерьез. Война, правда, разрушила много такого, что восстановить было несравненно труднее, но зачем — так говорили мы себе — отнимать у симпатичной старушки столь невинную радость?

Всем известно, как трудно было достать тогда масло или сало. Но раздобыть марципановые фигурки, шоколадные крендельки и свечи в 1945 году оказалось просто невозможным даже для моего дяди Франца, имевшего обширные связи. Лишь в 1946 году было собрано все, что требовалось. К счастью, сохранился еще целый комплект гномов с наковальнями и один ангел.

Я хорошо помню тот день, когда нас пригласили к дяде. Шел январь 1947 года. На дворе стоял мороз. Но у дяди было тепло, а стол ломился от разных угоще-

ний. И когда погасли лампы, зажглись свечи, гномы начали колотить молоточками, а ангел шептать: «Мир, мир», мне почудилось, будто меня перенесли в доброе старое время, которое — как я до тех пор думал — миновало безвозвратно.

Тем не менее все это не содержало в себе ничего из ряда вон выходящего, хотя и явилось для нас приятной неожиданностью. Из ряда вон выходящим оказалось то, с чем я столкнулся спустя три месяца. Моя мать — дело было в середине марта — послала меня разузнать, нельзя ли «чем-нибудь пожить» у дяди Франца. Речь шла о фруктах. Я отправился в соседний район города. Воздух был мягкий и чистый, смеркалось. Ничего не подозревая, шагал я мимо поросших травой развалин и заброшенных парков, открыл калитку в дядин сад и вдруг остановился от неожиданности. В вечерней тишине я отчетливо услышал пение, доносившееся из дядиной гостиной. Любовь к песням — хорошая черта немцев, и я знаю немало весенних песен, но здесь до меня совершенно отчетливо донеслось:

Родился мальчик весь в кудрях...

Признаюсь, я был ошеломлен. Я медленно подошел к дому и дождался конца песни. Занавески были задернуты, я наклонился к замочной скважине. И в этот момент моего уха достиг звон молоточков и шепот ангела.

У меня не хватило духу войти туда, и я медленно побрел домой. Дома мой рассказ вызвал веселое оживление. И только когда к нам заглянул Франц и рассказал подробности, мы поняли, что произошло.

В Сретение Господне — другими словами, когда в наших краях принято снимать с елки украшения и выбрасывать ее на свалку, где уличные ребяташки ее находят, таскают по золе и всякой грязи и используют для всевозможных игр, — итак, в Сретение случилось нечто ужасное. Когда вечером, после того как догорели последние свечи, мой двоюродный брат Иоганн начал снимать гномов, тетя Милла, обычно очень тихая, стала истошно вопить, да так неожиданно и громко, что Иоганн растерялся, выпустил из рук покачивающееся дерево, и тут-то все и произошло: раздался звон и треск, гномы и колокольчики, наковальни и ангел — все полетело на пол, а тетка тем временем кричала да кричала. Она кричала почти целую неделю. Приглашались сроч-

ными телеграммами невропатологи, приезжали в такси психиатры, но все, даже знаменитости, покидали дом, пожимая плечами и не без испуга.

Никто не мог прекратить этот пронзительный концерт. Самые сильнодействующие средства давали передышку лишь на несколько часов, но — увы! — доза люминала, которую может без всякой опасности для себя ежедневно принимать шестидесятилетняя старушка, очень незначительна. Зато представьте, какая мука жить в одном доме с женщиной, кричащей изо всех сил: уже на второй день семья находилась в состоянии полного распада. Увещания патера, который обычно присутствовал на рождественском вечере, не помогли — тетка кричала.

Франц вызвал бурю негодования, когда порекомендовал предпринять изгнание беса по всем правилам. Патер бранил его, семья была потрясена его средневековыми взглядами, возмущение жестокостью Франца на несколько недель затмило его боксерскую славу.

Меж тем были испробованы все средства исцелить тетку. Она отказывалась есть, не разговаривала, не спала. Применяли холодную воду и горячую ванну, ножные ванны, перемежающиеся ванны, врачи рылись в справочниках, пытались найти хотя бы название этого синдрома — и не находили. А тетка кричала. Она кричала до тех пор, пока моему дяде Францу — этому поистине душевнейшему человеку — не пришла в голову мысль украсить новую елку.

III

Идея была превосходной, но осуществить ее оказалось очень нелегко. Приближалась уже середина февраля, а в это время довольно трудно найти на рынке приличное дерево. Весь коммерческий мир уже давно — с быстротой, впрочем, чрезвычайно отрадной — перешел к другим делам. Приближался карнавал: маски и пистолеты, ковбойские шляпы и замысловатейшие головные уборы для королей чардаша заполнили витрины, где прежде радовали глаз прохожего ангелы, золотой дождь, свечи и игрушечные ясли. Кондитерские лавки давно уже спрятали до лучших времен рождественские лакомства, и на их месте красуются теперь хлопушки.

Короче говоря, в магазинах в это время года елок не продают.

Пришлось снарядить целую экспедицию грабительски настроенных внучат, вооружив их карманными деньгами и острым топором; те поехали за город и вернулись к вечеру в превосходном расположении духа и с великолепной пихтой. Но тем временем выяснилось, что четыре гнома, шесть наковален и ангел с верхушки погибли безвозвратно. Марципановые фигурки и печенье стали добычей все тех же грабительски настроенных внучат. Надо сказать, что и нынешнее подрастающее поколение никуда не годится, и если вообще существовало когда-нибудь поколение, которое куда-нибудь годилось — в чем я лично очень сомневаюсь, — то это поколение наших отцов.

Хотя у дяди не было недостатка ни в наличном капитале, ни в связях, прошло четыре дня, прежде чем подготовили все необходимое. А тетка тем временем кричала без передышки. Летели по проводам телеграммы, адресованные фирмам детских игрушек — эти фирмы как раз находились в стадии восстановления, — заказывались по телефону разговоры «молния». Запыхавшиеся мальчишки-почтальоны доставляли среди ночи срочные пакеты, благодаря взятке удалось в короткий срок добиться разрешения на ввоз товаров из Чехословакии.

Эти дни войдут в семейную летопись как дни, отмеченные чрезмерным расходом кофе, сигарет и нервов. А тетка тем временем сильно сдала: ее круглое лицо стало жестким и угловатым, выражение кротости сменилось выражением неумолимой строгости, она не ела, не пила, иступленно кричала, за нею ухаживали две сестры милосердия, и дозу люминала приходилось увеличивать каждый день.

Франц рассказал нам, что во всей семье царила мучительная тревога, пока наконец 12 февраля вся елка не была наряжена. Были зажжены свечи, задернуты занавески, тетку привели из спальни, среди собравшихся послышались рыдания и хихиканье. Как только тетка увидела зажженные свечи, лицо ее смягчилось. Когда же достаточно разогрелись гномы и будто одержимые начали колотить по наковальням, а ангел шепнул: «Мир, мир», чудесная улыбка озарила ее лицо, и вся семья затянула рождественскую песню «О, милая елка!». Для полноты картины пригласили патера, который обычно

проводил сочельник у дяди Франца, патер тоже облегченно улыбнулся и начал подпевать.

То, чего не могли добиться ни медицинские исследования, ни психиатрические экспертизы, ни компетентные поиски скрытых травм, совершило любящее сердце дяди. Елочная терапия, изобретенная этим душевным человеком, спасла положение. Тетка успокоилась и в общем — как мы тогда надеялись — исцелилась. После того как было пропето несколько песен, съедено несколько вазочек печенья, все устали и разбрелись во свояси. И тетка — представьте себе — уснула без снотворного. Сестер милосердия отпустили, врачи пожали плечами, и все казалось в полном порядке. Тетка снова ела, снова пила, снова стала приветливой и кроткой.

Но на другой день, когда начало смеркаться и дядя спокойно сидел с газетой в руках под елкой возле жены, она вдруг коснулась его руки и сказала:

— Пора звать детей, по-моему, уже время.

Позднее дядя признавался нам, что он очень испугался, но тем не менее встал, чтобы срочно созвать детей и внуков и послать за патером. Патер пришел несколько запыхавшийся и недоумевающий, но потом зажгли свечи, гномы начали стучать молоточками, ангел начал шептать, собравшиеся пели, жевали печенье, и казалось, что все в порядке.

IV

Вся растительность подчиняется определенным биологическим законам, и, согласно этим законам, ели, вырванные из родной почвы, испытывают прискорбную склонность терять иголки, особенно когда они стоят в теплом помещении, а у дяди было очень тепло. Век пихты несколько длиннее, чем век обычной ели, что ясно доказала популярная работа доктора Хергенринга «*Abies nobilis et Abies vulgaris*». Но и век пихты не бесконечен. Уже перед карнавалом выяснилось, что придется доставить тетке новое огорчение: дерево со страшной скоростью роняло иглы, и все видели, как слегка хмурится лоб тетки во время вечерних песнопений. По совету одного действительно выдающегося психиатра была предпринята попытка небрежно, вскользь намекнуть тетке о возможном окончании рождества, поскольку на деревьях уже начали распускаться почки,

что повсеместно рассматривается как признак весны, а в наших широтах с рождественской порой принято связывать всякие зимние представления. Искусный в такого рода делах дядя предложил как-то вечером спеть «Все птички прилетели» и «Приди, весна, скорее», но при первых же звуках первой же песни тетка сделала настолько мрачное лицо, что пришлось немедленно переключиться и затянуть «О, милая елка!». Три дня спустя моему брату Иоганну поручили предпринять легкую попытку разбора елки, но не успел он протянуть руку и снять одного гнома, как тетка испустила такой вопль, что пришлось приладить гнома на старое место, зажечь свечи и с несколько излишней поспешностью, но зато очень громко затянуть песню «Тихая ночь, святая ночь».

Но ночи перестали быть тихими: компании молодых гуляк с песнями, с барабанами и трубами шатались по городу, все было усыпано серпантинном и конфетти, днем на улицах резвились дети в масках, они кричали, стреляли, некоторые даже пели, и, по данным частной статистики, в городе насчитывалось минимум шестьдесят тысяч ковбоев и сорок тысяч королей чардаша. Короче говоря, наступил карнавал — праздник, отмечаемый у нас не менее, если даже не более, широко, чем Рождество. Но тетка оставалась глуха и слепа ко всему происходящему: она хаяла все без исключения карнавальные наряды, которых у нас обычно в это время полным-полно во всех шкафах; печальным голосом жаловалась она мне на страшное падение нравов, коль скоро даже в рождественские дни люди не могут отказаться от этой безнравственной суеты, а когда она нашла в комнате у своей дочери воздушный шар — правда, из шара вышел воздух, но дурацкий колпак, нарисованный на нем белой краской, был виден очень ясно, — тетка разразилась слезами и попросила дядю положить конец этому кошунству.

И тут все с ужасом констатировали, что моя тетка сошла с ума и воображает, будто у нас до сих пор сочельник. Дядя созвал семейный совет, на котором просил пощадить чувства тети и посчитаться с ее необычайным состоянием, после чего снарядили новую экспедицию, дабы сохранить мир по крайней мере на время вечернего торжества.

Пока тетка спала, все украшения сняли со старого дерева и перевесили на новое, и состояние тетки продолжало оставаться удовлетворительным.

Но вот и карнавал кончился, наступила самая настоящая весна, и вместо песни «Приди, весна, скорее» смело можно было петь «Весна пришла». Потом начался июнь. Четыре елки успели уже осыпаться, но ни один из вновь приглашенных врачей не подал ни малейшей надежды на исцеление. Тетка стояла на своем. Даже известный как мировое светило доктор Блесс пожал плечами и удалился в свой кабинет, получив предварительно в качестве гонорара 1365 марок, чем лишний раз доказал, что он не от мира сего. Несколько очередных, очень нерешительных попыток прекратить торжества или пропустить хотя бы один вечер были встречены такими воплями, что пришлось наконец оставить всякую мысль о подобном богохульстве.

Ужаснее всего было, что тетка требовала присутствия всех родных и близких. К их числу относились также патер и внуки. Даже ближайших членов семьи с большим трудом заставляли приходить вовремя, а с патером дело обстояло совсем плохо. Несколько недель он еще безропотно терпел из уважения к старой прихожанке, но потом заявил дяде, смущенно покашливая, что дальше так не пойдет. Правда, само торжество длится недолго — каких-нибудь тридцать восемь минут, но даже и эту краткую церемонию невозможно проделывать каждый день, утверждал патер: у него-де есть и другие обязанности — вечерние встречи с коллегами, заботы о спасении души своих прихожан, не говоря уже о субботних исповедях. Правда, он согласился потерпеть еще несколько недель, но в конце июня начал решительно бороться за свое освобождение. Франц бушевал, искал сторонников своего плана поместить мать в лечебницу, но наткнулся на всеобщее осуждение.

Так или иначе, трудности не замедлили сказаться. Как-то вечером не явился патер, его нигде нельзя было отыскать ни по телефону, ни через посыльного, и стало ясно, что он просто-напросто сбежал. Дядя страшно ругался и воспользовался случаем, чтобы обозвать всех служителей церкви такими словами, которые я решительно отказываюсь повторить. С горя пригласили какого-то капеллана, человека простого происхождения. Он пришел, но держал себя так ужасно, что чуть не разразилась катастрофа. Не надо забывать, что был уже июнь, следовательно, и без того жарко, да к тому

же задернуты занавески, чтобы было темно, как зимним вечером, вдобавок горели свечи. Потом начался собственно праздник; капеллан, правда, слышал уже о том, что здесь творится, но представлял себе все это очень смутно. Дядя дрожа подвел капеллана к тетке — он-де будет сегодня вместо патера. Тетка — ко всеобщему удивлению — восприняла перемену программы весьма спокойно. И вот гномы стучали молоточками, ангел шептал, семейство пропело «О, милая елка!», потом все ели печенье, потом запели еще раз, и вдруг капеллан стал давиться от хохота. Уже позднее он признался, что никогда не мог без смеха слышать слова: «Зимой, когда повсюду снег». Он фыркнул с поистине клерикальной бестактностью, выскочил из комнаты и больше не возвращался. Все взоры устремились на тетку, но она кротко пробормотала что-то о «пролетариях в сутане» и положила в рот кусочек марципана. Даже мы осудили тогда поведение капеллана, но сегодня я скорее склонен рассматривать его как приступ природной смешливости.

Я должен добавить — если намереваюсь и впредь строго придерживаться фактов, — что дядя пустил в ход все свои связи с церковными властями, чтобы обжаловать поведение как патера, так и капеллана. За дело принялись чрезвычайно корректно, был возбужден процесс о преступном забвении обязанностей духовного пастыря, но в первой инстанции его выиграли священники. Дело было передано во вторую инстанцию.

К счастью, по соседству удалось отыскать старого прелата, вышедшего на пенсию. Этот достойный старик с величайшей любезностью незамедлительно предоставил себя в распоряжение дяди Франца и согласился ежевечерне присутствовать на торжестве. Но я немного забежал вперед. Дядя Франц, человек достаточно здравомыслящий, чтобы понять, что усилия врачей ни к чему не приведут, но при этом не желавший помещать тетку в клинику, был в то же время достаточно деловым человеком, чтобы устроить все как надо на долгий срок, по-хозяйски рассчитав все издержки. Прежде всего, уже с середины июля были приостановлены экспедиции внучат — выяснилось, что они обходятся слишком дорого. Мой находчивый кузен Иоганн, который поддерживает прекрасные отношения со всеми деловыми кругами, отыскал бюро по сохранению свежих елок при фирме «Зёдербаум» — весьма солидное

предприятие, которое уже почти два года сберегает нервы моим родственникам. Спустя полгода фирма «Зёдербаум» выпустила абонемент на поставку елок по сниженным ценам и предложила всякий раз заранее устанавливать силами специалиста по хвойным иголкам доктора Альфаства срок годности елки, так чтобы уже за три дня до того, как старая елка окончательно выйдет из строя, доставлять новую и без спешки украшать ее. Кроме того, предосторожности ради был создан резервный фонд численностью в две дюжины гномов и три ангела для верхушки.

По-прежнему уязвимым местом остаются сладости. Они проявили разительную склонность таять и стекать с дерева быстрее и бесповоротнее, чем воск. По крайней мере в летние месяцы. Все попытки сохранить их при помощи скрытых холодильных приспособлений в состоянии рождественской твердости до сих пор оканчивались неудачей, равно как и попытка добиться возможности сохранить дерево путем бальзамирования. Тем не менее семейство будет очень тронут и признательно за всякое предложение, которое удешевит этот непрекращающийся праздник.

VI

Тем временем вечерние торжества в доме дяди приобрели отпечаток бездушности почти профессиональной. Все собираются под елкой или вокруг елки. Входит тетка. Зажигают свечи. Гномы начинают стучать молотками, ангел шепчет: «Мир, мир», потом исполняют несколько песен, жуют печенье, немного болтают и, зевая, расходятся с пожеланием «весело провести праздник», после чего молодежь предается удовольствиям, соответствующим данному времени года, а мой добрый дядя Франц с тетей Миллой ложатся спать. В комнате остается дымок от погашенных свечей, легкий аромат разогретой хвои и запах пряностей. Гномы неподвижно застыли, излучая в темноте слабое сияние, их руки угрожающе подняты, серебряные одежды ангела тоже начинают слабо светиться.

Нет нужды сообщать, что радость, которую принято испытывать во время настоящего Рождества, у членов нашей семьи значительно померкла: мы можем любоваться рождественской елкой, когда захотим; бы-

вает и так, что мы сидим летом на веранде, утомленные дневной суетой, и попиваем дядюшкин апельсиновый крушон, а из дома доносится нежный перезвон стеклянных колокольчиков, и видно, как гномы, словно маленькие проворные чертики, колотят молотками, а ангел все шепчет: «Мир, мир». И до сих пор нам кажется диким, когда дядя среди лета вдруг зовет детей: «Пора зажигать свечи, сейчас придет мать». Потом, почти всегда точно в назначенное время, появляется прелат — симпатичный старик, к которому мы уже давно относимся как к родному за то, что он отлично играет свою роль, если, конечно, он вообще понимает, что играет какую-то роль, и какую именно. Но так или иначе, он играет роль, седовласый, улыбающийся, лиловая кайма, выглядывающая из-под воротничка, придает картине завершающий оттенок благородства. А что вы скажете, услышав прохладным вечером взволнованный крик: «Скорее несите гасильник! Где гасильник?» Уже случилось, что во время сильной грозы гномы решали ни с того ни с сего устроить концерт сверх программы — они начинали без всякого нагрева размахивать руками и дико стучать молотками, а мы, люди, лишённые воображения, пытались объяснить это прозаическим словом «электричество».

Немаловажную сторону дела составляет сторона финансовая. Пусть даже семья не испытывает недостатка в наличных средствах, но такие чрезмерные и непривычные расходы пробивают в капитале солидную брешь. Ибо, несмотря на все меры предосторожности, естественная убыль гномов, наковален и молотков не знает границ, а тонкий механизм, при помощи которого говорит ангел, нуждается в постоянном уходе и заботе и должен время от времени подвергаться ремонту. Кстати, я открыл тайну — оказывается, ангел подключен к микрофону в соседней комнате, а перед микрофоном все время крутится пластинка и через определенные промежутки времени повторяет: «Мир, мир». Поскольку эти вещи нужны всего лишь несколько дней в году, за них берут очень дорого, а у нас их употребляют круглый год. Я был немало удивлен, когда дядя однажды признался мне, что гномов хватает не больше чем на три месяца и что полный комплект гномов стоит не меньше 128 марок. Он просил одного знакомого инженера покрыть гномов для прочности резиновой оболочкой, но так, чтобы при этом не повредить кра-

соте звона. Однако попытка не удалась. Расход свечей, имбирных пряников, марципанов, елочный абонемент, счета от врачей и внимание, вот уже три месяца оказываемое прелату, — на все это, вместе взятое, ежедневно уходит, как сказал дядя, в среднем около одиннадцати марок, не говоря уже о страшном расходе нервов, о ежедневном подрыве здоровья, каковой начал заметно сказываться. Но тогда была осень, и все заболевания приписали повсеместно наблюдаемой осенней восприимчивости.

VII

Обычное Рождество прошло вполне благополучно. В дядиной семье свободно вздохнули, когда увидели, что и другие семьи собрались возле елок, что и другие поют и едят имбирные пряники. Но облегчение миновало вместе с Рождеством. Уже в середине января у моей кузины Люси началась странная болезнь: завидев елку на улице или в мусорной куче, она раздражалась истерическими рыданиями. Потом с нею случился настоящий приступ безумия, который врачи пытались замаскировать под истощение нервной системы. Когда подруга, к которой Люси была приглашена на чашку кофе, начала, любезно улыбаясь, угощать ее имбирными пряниками, Люси выбила у подруги вазу из рук. Моя кузина принадлежит к числу тех, кого обычно называют темпераментными женщинами: короче, она выбила у подруги вазу из рук, потом набросилась на елку, сорвала ее с подставки и начала топтать ногами стеклянные бусы, ватные грибы, свечи и звезды, сопровождая все это диким воем. Предоставив Люси бушевать в одиночестве, гости бросились наутек вместе с хозяйкой и до прихода врачей не покидали передней, где им волеяневолей пришлось слушать, как Люси расправляется с фарфором. Мне нелегко говорить об этом, но я обязан сообщить, что Люси увезли от подруги в смиренной рубашке.

Длительное лечение гипнозом принесло некоторые результаты, но окончательное исцеление продвигалось очень медленно. Больше всего помогло Люси требование врача освободить ее от участия в вечерних торжествах; уже через несколько дней она просто расцвела. Спустя десять дней врач рискнул заговорить с ней

об имбирных пряниках, но съесть хоть один пряник она категорически отказалась. Врачу пришла в голову гениальная мысль кормить ее солеными огурцами, салатами, пикантными мясными блюдами. И это спасло бедную Люси. Она снова научилась улыбаться и приправлять бесконечные медицинские беседы, которые обычно вел с ней врач, ядовитыми замечаниями.

Хотя тетка очень болезненно восприняла отсутствие Люси на вечерних собраниях, это отсутствие объяснили причиной, которая считается уважительной для всех женщин,—беременностью.

Однако случай с Люси создал то, что называют прецедентом. Люси доказала, что хотя тетка страдает, когда кто-нибудь не является, но вопить так уж сразу она не начинает. И тогда мой кузен Иоганн и его зять Карл попытались нарушить строгую дисциплину, ссылаясь на различные болезни, деловые встречи или прибегая к другим, столь же прозрачным уловкам. Но здесь дядя оказался крайне неподатлив: с железной твердостью он настоял, что только в самых исключительных случаях члены семьи могут предъявлять справки и получать краткосрочные отпуска. Дело в том, что тетка замечала отсутствие любого человека и принималась плакать, правда тихо, но без остановки, что наводило всех на страшные мысли.

Спустя четыре недели Люси вновь присоединилась к ежедневным торжествам, но врач потребовал, чтобы перед ней ставили тарелку с солеными огурцами и острыми бутербродами, ибо «имбирная травма» оказалась неизлечимой. Итак, дяде, проявившему неожиданную для всех твердость, удалось справиться на некоторое время со своими затруднениями.

VIII

Едва минул год с тех пор, как у наших стали постоянно справлять Рождество, всех потрясли тревожные слухи: мой кузен Иоганн побывал якобы у знакомого врача и спросил того, сколько еще может прожить тетка. Этот поистине мрачный слух бросает странный свет на все семейство, мирно собирающееся ежевечерне за рождественским столом. Мнение врача, по слухам, совершенно убило Иоганна. Внутренние органы моей тетки, всегда отличавшейся завидным здоровьем, нахо-

дятся в прекрасном состоянии, отец ее прожил семьдесят восемь лет, мать — восемьдесят шесть, самой тетке сейчас шестьдесят два, следовательно, нет никаких оснований предсказывать ей скорый конец. И того меньше оснований — на мой взгляд — желать ей скорой смерти. Когда тетка летом после всего этого заболела — у бедняжки начались рвота и понос — поползли слухи, что ее попросту отравили, но я должен со всей решительностью заявить, что это от начала до конца выдуманно злопыхательствующими родственниками. Было неопровержимо доказано, что болезнь вызвана инфекцией, которую занес в дом один из внучат. Медицинские анализы не обнаружили в тетушкиных фекалиях ни малейших признаков яда.

В то же лето у Иоганна впервые начали проявляться антиобщественные устремления: он вышел из певческого общества и письменно заявил, что не желает больше принимать участия в культивировании немецкой песни. Не могу не упомянуть, что Иоганн всегда был и оставался человеком крайне необразованным, невзирая на полученную им академическую степень. Для «Виргимнии» было большой потерей лишиться такого баса.

Мой зять Карл начал вести тайные переговоры с бюро путешествий. Страна, о которой он мечтал, была обязана отвечать следующим требованиям: там не должно быть никаких елок и ввоз таковых должен быть либо категорически запрещен, либо обложен огромными пошлинами; кроме того — это уже ради жены, — там должен быть неизвестен рецепт приготовления имбирных пряников и запрещено исполнение немецких рождественских песен. Карл изъявил готовность заняться в этой стране любым самым тяжелым физическим трудом.

Он мог уже не держать в тайне свои попытки к бегству, ибо с дядей произошла за это время внезапная и полная перемена, и совершилось это при таких неприятных обстоятельствах, что у нас были все основания перепугаться. Этот порядочный человек, о ком я могу лишь сказать, что он столь же тверд духом, сколь добродушен, был уличен в поступках, которые считались, считаются и будут считаться безнравственными, пока стоит свет. О нем стали известны такие подтвержденные свидетелями вещи, которые можно назвать лишь словом «прелюбодеяние». Ужаснее

всего, что сам он не только перестал опровергать эти слухи, но даже, ввиду особых условий, в какие он поставлен обстоятельствами, претендует на право нарушать обычные законы. И надо же так случиться, чтобы все это произошло как раз в те дни, когда был назначен второй пересмотр дела двух священнослужителей нашего прихода. Дядя Франц в качестве свидетеля и закулисного истца произвел, очевидно, такое неблагоприятное впечатление, что только этому и можно приписать победу священников при втором разбирательстве. Но дяде Францу было теперь все равно, его падение свершилось.

Он же был первым, кому пришла в голову чудовищная мысль послать вместо себя на ежевечерние торжества какого-нибудь актера. Он отыскал безработного бонвивана, который две недели подряд так хорошо изображал дядю, что даже собственная жена не заметила подмены. Дети тоже ничего не заметили. И только один из внучат вдруг закричал в промежутке между двумя песнями: «А на дедушке дешевые носки!» — и с торжеством задрал штанину бонвивана. Сцена вышла крайне неприятная для злополучного актера, семейство тоже было потрясено, и чтобы избежать дальнейших осложнений, все — как это уже не раз бывало в подобных обстоятельствах — дружно затянули новую песню. Когда тетка легла спать, личность актера была тотчас же установлена. И это послужило сигналом к полной катастрофе.

IX

Не надо забывать: полтора года — это очень долгий срок, и снова был разгар лета, то есть тот период, когда участие в семейных торжествах особенно тяжело для моих родственников. Безрадостно жуют они коржики, грызут пряничные орешки, улыбаются застывшими улыбками, щелкая высушенный миндаль, слушают неутраченный стук молотков и вздрагивают, когда румяный ангел над их головами начинает шептать: «Мир, мир»; но они терпят, хотя с них, несмотря на летние платья, градом льет пот, а рубашки прилипают к спине. Точнее сказать, они притерпелись.

Денежный вопрос пока еще не играет никакой роли — скорее наоборот. Прошел слушок, что дядя

Франц позволяет себе и в делах прибегать к таким методам, которые вряд ли совместимы с понятием «купец и христианин». Он твердо решил не допускать уменьшения состояния, и эта решимость наполняет нас одновременно радостью и страхом.

После разоблачения бонвивана произошел форменный бунт, результатом которого явилось следующее соглашение: дядя Франц выразил готовность нанять за свой счет небольшой ансамбль для подмены его самого, Иоганна, моего зятя Карла и Люси, причем решено, что кто-нибудь из четверых обязательно должен присутствовать на семейных торжествах собственной персоной, чтобы держать детей в страхе. Прелат, по счастью, до сих пор еще не открыл обмана, который вряд ли можно назвать словом «благочестивый». За исключением тетки и детей, он единственное подлинное лицо в этой игре.

Разработан точный план, известный всей родне под названием плана спектакля, а благодаря тому, что один из членов семьи должен каждый вечер присутствовать лично, актерам обеспечен, так сказать, выходной день. Кроме того, замечено, что актеры весьма охотно посещают торжества и не прочь подработать, на основании чего актерам снизили жалованье: в безработных актерах, по счастью, нет недостатка. Карл рассказывал мне, что есть надежда снизить жалованье еще больше, поскольку актеры получают даровой ужин, а искусство, как известно, становится дешевле, когда оно продается за кусок хлеба.

Х

О роковых переменах в характере Люси я уже рассказывал: теперь она почти все время проводит в ночных кабаке, а в те дни, когда ей приходится дежурить за праздничным столом, она становится как одержимая. Она расхаживает в вельветовых брючках, пестром пуловере, сандалиях, она обрезала роскошные волосы и носит примитивную челку, совсем недавно я узнал, что эта прическа называется «пони» и уже неоднократно входила в моду под этим названием. Пусть я не вправе пока обвинить Люси в открытой распущенности, пусть это пока скорее некоторая экзальтированность, которую сама Люси называет экзистен-

циализмом, но все же я не могу радоваться тому, что с ней произошло, лично я предпочитаю нежных женщин, которые вполне благопристойно кружатся под звуки вальса, умеют читать благозвучные стихи и пища которых не состоит из одних только соленых огурцов и переперченного гуляша. Планы бегства, вынашиваемые Карлом, будут, кажется, скоро осуществлены: он открыл какую-то страну поблизости от экватора, которая, судя по всему, отвечает его требованиям. Люси пребывает в полном восторге: жители этой страны носят костюмы, мало чем отличающиеся от ее костюмов, там любят острые приправы и танцуют в таком ритме, без которого Люси якобы уже не может существовать. Неприятно, конечно, что они не желают последовать правилу «Живи на земле и храни истину», но, с другой стороны, я понимаю, почему они хотят бежать.

А вот с Иоганном дело обстоит сложнее. Страшные слухи оказались справедливыми. Он стал коммунистом. Он окончательно порвал с семьей, ничем больше не интересуется, и на вечерах его постоянно заменяет дублер. В глазах у него появился фанатический блеск, он страстно, как дервиш, выступает на партийных собраниях, забросил адвокатскую практику и пишет гневные статьи в партийных газетах. Как ни странно, он теперь гораздо чаще встречается с Францем, и оба тщетно пытаются обратить друг друга в свою веру. При всем духовном отчуждении они заметно сблизились лично.

Самого Франца я давно не видел, только слышал о нем. Он, говорят, совершенно упал духом, посещает какие-то сумрачные церкви, и я думаю, что такое благочестие можно смело назвать чрезмерным. С тех пор как над семьей разразилось несчастье, он забросил свою профессию, а недавно я видел на стене разрушенного дома выгоревший плакат: «Последняя встреча нашего ветерана Ленца с Лекоком. Ленц вешает на гвоздь боксерские перчатки». Плакат был вывешен в марте, а сейчас уже конец августа. Франц очень опустился, — мне кажется, он находится в таком состоянии, какого до сих пор не знал никто из членов нашей семьи: у него нет денег. К счастью, он остался холостяком и социальные последствия его безответственного благочестия касаются только его самого. С неожиданным для него упорством он пытался перепоручить

детей Люси Обществу защиты малолетних, ибо считал, что участие в ежевечерних торжествах их окончательно погубит. Но все его усилия оказались тщетны: дети состоятельных родителей, слава богу, покуда избавлены от всяких благотворительных учреждений.

Меньше других отошел от семьи, несмотря на ряд ужасных проступков, дядя Франц. Дело в том, что, невзирая на преклонный возраст, он завел себе любовницу, да и деловая практика его приобрела такой характер, что мы можем ею только восхищаться, но никак не одобрять. Недавно он раздобыл где-то безработного надсмотрщика и поручил ему присутствовать на вечерних торжествах и следить за тем, чтобы все шло гладко. И все действительно идет очень гладко.

XI

Между тем прошло почти два года — долгий срок. Я не мог отказать себе в удовольствии пройти во время вечерней прогулки мимо дядиного дома, где нельзя уже искать естественного гостеприимства, с тех пор как там собираются каждый вечер посторонние актеры, а сами члены семьи предаются сомнительным удовольствиям на стороне. Был прохладный летний вечер, когда я вышел пройтись. Завернув за угол, в каштановую аллею, я услышал песню «Сверкает лес под Рождество».

Проехавший мимо грузовик заглушил последние слова, я тихо подкрался к дому и заглянул в окно между неплотно задвинутыми занавесками. Сходство актеров с родственниками было настолько разительным, что я не сразу мог разобраться, кто из них лично осуществляет руководство на этом вечере — это у них так называлось. Гномов я не видел, но зато слышал. Их стук передается на такой волне, которая проникает сквозь все стены. Шепот ангела до меня не доходил. Тетка, казалось, была счастлива от души: она болтала с прелатом, и лишь позднее я узнал зятя Карла — единственное, если можно так выразиться, реальное лицо. Узнал я его по тому, как он выпячивал губы, задувая спичку. Что ни говори, а неповторимые черты индивидуума все-таки существуют. При этом я подумал, что актеров угощают сигарами, сигаретами и вином, к тому же каждый вечер им подают спаржу. Если

у них нет совести — а когда и у кого из актеров была совесть?—это означает лишней и очень значительный расход для дяди. Дети играют в углу — у них куклы и деревянный грузовик, они все бледненькие и очень усталые. Пожалуй, о них действительно следует подумать. Меня осенила мысль, что детей можно бы заманить восковыми куклами, какие я видел в витринах аптек, где их используют как рекламу молочного порошка или питательного крема. На мой взгляд, эти куклы выглядят вполне естественно.

Когда-нибудь я непременно обращу внимание всей родни на то, как это необычное и ежедневное напряжение может искалечить детские души. Хотя некоторая доля дисциплины им не повредит, здесь, по-моему, дисциплины больше чем надо.

Я покинул свой наблюдательный пост, когда в доме затянули «Тихую ночь». Я просто не выношу эту песню. Было довольно прохладно, и мне на мгновение показалось, будто я присутствую на сборище призраков. Вдруг мучительно захотелось соленых огурцов, и я впервые, хоть и отдаленно, представил себе, как, должно быть, страдала Люси.

ХII

Со временем мне удалось добиться подмены детей восковыми куклами. Запросили очень дорого, и дядя Франц долго сопротивлялся,—но нам никто не простил бы, если бы мы и впредь продолжали ежедневно пичкать детей марципанами и заставлять их петь такие песни, которые надолго нарушат их психику. Приобретение кукол оказалось полезным: Люси и Карл действительно смогли уехать, а Иоганн забрал своих детей из отцовского дома. Окруженный со всех сторон всякими заморскими грузами, я прощался с Карлом, Люси и детьми. Все выглядели страшно счастливыми, хотя и несколько взволнованными. Иоганн тоже уехал из нашего города. Он реорганизует отделение своей партии где-то в другом месте.

А дядя Франц устал от жизни. На днях он горько жаловался мне, что прислуга вечно забывает смахивать пыль с кукол. И вообще, у него большие затруднения с посылными, а актеры понемногу отбиваются от рук. Они пьют куда больше, чем полагается, а некоторых

даже поймали на том, что они таскают сигары и сигареты. Я посоветовал дяде ставить на стол вместо вина подкрашенную воду и подавать бутафорские сигары.

По-прежнему благонадежны моя тетка и прелат. Они весело болтают друг с другом про доброе старое время, хихикают, судя по всему, очень довольны собой и прерывают разговор лишь тогда, когда надо затянуть очередную песню.

Короче — праздник продолжается.

А с моим кузеном Францем произошло что-то странное. Он поступил послушником в соседний монастырь. Когда я впервые увидел Франца в рясе, я просто испугался: высокая фигура, нос расплюсчен, толстые губы и мрачный взгляд. Он напоминал скорее арестанта, нежели монаха, и, казалось, угадал мои мысли.

— Мы приговорены к жизни,—тихо сказал он.

Я последовал за ним в приемную комнату. Наша беседа прерывалась долгими паузами, и он облегченно вздохнул, едва колокол позвал его на молитву. Я задумчиво глядел ему вслед, когда он ушел: он очень спешил, и эта поспешность показалась мне искренней.

1951

КАРЛИК И КУКЛА

Маршруты нам заранее предписаны. Каждое утро мы, отряд из шести агентов, собирающих сведения для статистического бюро, выезжаем из города в различных направлениях. Была еще ночь, когда я в Кёльне сел в поезд. Собор показался мне слишком расчлененным, расчлененным и разбросанным, и словно какая-то невеселая игра была в том, что на остановке в Дойце, где никто не сел и никто не сошел, кондуктор, начальник станции и машинист все-таки обменялись сигналами: они поднимали вверх фонари, выкрикивали что-то, давали свистки, пока паровозный шатун не задвигался вновь.

Только проехав Мюльгейм, я увидел, как за горами, к востоку от Кёльна, начинает светать; какой-то шпиль, внезапно освещенный брызнувшим лучом солнца, резко выступил из полумрака; было только шесть часов.

Мы старались проводить обследования, прибегая

к самым разнообразным приемам, отметили все формальное, всяческие анкеты. Записная книжка и карандаш, да еще план, которым мы обязаны были руководствоваться, — вот и все, чем мы располагали. Новейшая идея шефа заключалась в том, чтобы посещать людей как можно раньше, заставить их, так сказать, «в обстановке повседневности», что было неблагоприятной и довольно тяжелой задачей.

Вот почему мне очень скоро пришлось застегнуть шинель и потянуться за фуражкой — на перроне чей-то голос выкрикнул: «Опладен! Опладен!»

От вокзала до красного кирпичного домика, адрес которого значился в моем списке, было около десяти минут ходу.

Я нажал кнопку звонка и стал ждать. Я ждал долго. В домике все было тихо. По улице мимо меня проходили люди, я ловил на себе странные взгляды, но внутри домика не раздавалось ни звука, и пожелтевшая гардина на окне не шевельнулась: только фарфоровый карлик с гармонью на коленях сидел между стеклом и гардиной и тупыми пальчиками словно подбирал какую-то мелодию, а она ему не давалась. Он неопределенно ухмылялся в пространство, и только присмотревшись, я увидел, что сидит он на пепельнице и в его шапке торчит сигарета.

Я вторично позвонил, но тут ко мне подошла женщина с молочным бидоном, та самая, которая только что прошла мимо. У женщины было усталое лицо.

— Кто вам нужен?

— Мейкснер, — сказал я.

Она покачала головой:

— Да ведь он умер.

— А жена его?

— В больнице.

Качая головой, она пошла прочь, но, сделав несколько шагов, оглянулась, так как я все еще стоял и смотрел в лицо карлика. Наконец я отвел глаза и медленно побрел к вокзалу. В таких случаях мы не имеем права проявлять инициативу и идти по неуказанным адресам. Мертвый остается мертвым, и против его фамилии в определенной графе списка ставится определенный значок.

Я сел в поезд на Дюссельдорф, осторожно вывел крестик против фамилии адресата в Опладене и развернул газету, но вместо строчек видел перед собой

безнадежное фарфоровое личико карлика, и усмешка его мне казалась не случайной.

В Дюссельдорфе я быстро покинул здание вокзала. Ошибки в нашей работе почти исключены. Нам указывают даже номера трамваев, доставляющих нас на место. Я вскочил в трамвай, сунул кондуктору монету и через десять минут сошел у табачной лавки. Когда я открыл дверь, из-за горы ящиков с сигарами поднялась женщина, высокая, очень медлительная, во всей ее фигуре было что-то неестественное; руки двигались только от локтей, верхняя их половина была прижата к туловищу. Я посмотрел ей в лицо.

— Что вам угодно? — спросила она.

Я набрал полную грудь воздуха, собираясь произнести свою формулу, одновременно вынул из кармана удостоверение и, держа его в руках, заговорил. Стараясь усилить впечатление личной незаинтересованности, я усвоил себе манеру скороговоркой произносить вводные фразы и вслед за ними так же быстро отбарабанивать вопросы. И кроме того, я не смотрю на своего клиента. Поэтому я устремил взор через ее плечо на турка в феске, который бессмысленно мял в пальцах догорающую сигарету и ухмылялся, уставившись на мечеть.

— Я представитель института общественной информации, — сказал я. — Наша цель — путем опроса всех слоев населения, производимого в разное время дня, в городе и деревне, выяснить общественное мнение по поводу некоторых проблем. Мы будем очень признательны, если вы разрешите задать вам несколько вопросов. Излишне заверять вас, что полное сохранение тайны...

— Спрашивайте, — спокойно сказала женщина. Рот ее приоткрылся, и на лице у нее словно мелькнула улыбка, вызвав выражение усталости.

— Вы верите в бога? — спросил я.

Руки ее отделились от стойки, она прижала их к сердцу, к голове, высоко вскинула веки, так, что я увидел большие серые глаза, и кивнула.

— Как вы представляете себе бога?

— Бог в скорби, — тихо сказала она. — Мы должны его утешить.

Я молчал с минуту, затем сказал: «Благодарю», — и ушел.

Те же вопросы я задал двадцать минут спустя че-

ловеку по фамилии Балум, который неподвижно стоял за гардиной и смотрел на улицу. Его отупевшее лицо отливало синевой; он перебирал волосатыми руками бахрому занавеси, и желтая его лысина казалась смертельно грустной. Он повернулся ко мне и ответил:

— Когда-то был бог, но его убили, и он не воскрес.

Третий дом оказался наполовину разрушенным. В подъезде стояла лужа, не просохшая еще с прошлого дождя, и в ней играл ребенок. Ребенок был бледный и тихий. Поднимаясь по лестнице, я услышал поющий женский голос. Женщина хорошо пела. Ребенок тихо подпевал ей. Я осторожно ступал со ступеньки на ступеньку. На втором этаже дверь стояла открытой: я увидел спину женщины, нагнувшейся над столом и месившей тесто. Это и была та, которая пела. Услышав шум шагов, она умолкла, обернулась и взглянула на меня: ее бледное лицо, обрамленное черными пушистыми волосами, было спокойно.

— Фрау Дитц?— спросил я.

Она кивнула, и я отбубнил свою формулу, сам за-гипнотизированный ритмом нарочитой монотонности.

Некоторое время женщина молчала. Она вытерла фартуком руки и, полуоткрыв рот, уставилась на меня.

— Бог? Единого бога нет,— сказала она,— есть бог богатых и бог бедняков.

У меня стеснило дыхание; я задал второй вопрос.

Она думала недолго.

— Один бог жестокосердый и могучий, другой кроткий, но взыскующий... взыскующий...

— Благодарю вас,— сказал я, но не ушел. Мы поглядели друг на друга, с минуту было очень тихо, потом оба улыбнулись, и я спустился вниз по лестнице.

На вокзал мне пришлось бежать, чтобы не пропустить нужный поезд. Вероятно, я слишком долго улыбался и прошло много времени. Я нашел место, сел, вынул блокнот и записал результаты опроса в Дюссельдорфе. Наш шеф доверяет писаному слову еще меньше, чем устному,— ему хотелось бы снабдить нас портативными аппаратами для звукозаписи, которые передавали бы диалог слово в слово, а нам оставалось бы только давать краткое описание среды. Но, очевидно, хозяева нашего шефа боятся больших расходов.

Около двенадцати я приехал в Гельзенкирхен. Начался дождь, и я медленно побрел по городу. Даже в

отдаленных от центра районах стоял все тот же терпкий воздух, пахло как будто железной дорогой, горько и едко. На развалинах густо разросся одуванчик, и в поисках нужного мне номера дома я остановился перед бакалейной лавкой; ее вывеска уныло блестела под дождем, а товары за мокрыми стеклами витрин точно плавали в аквариуме. Я вошел в соседний дом; это была парикмахерская. Здесь царили тишина и сумрак. В глубине светлел плакат, расхваливавший резиновые изделия, а рядом удовлетворенно улыбался элегантный мужчина, восхищенный кремом для бритья. В зеркале над умывальником я увидел собственное отражение: вид у меня был беспомощный. Я крикнул: «Алло!» — подождал, но никто не появился. Где-то в соседней комнате играли дети, их визг приглушенно доносился сюда. Я сел, набил трубку, закурил и снял с крючка иллюстрированный журнал. Журнал оказался почти трехнедельной давности. Первую страницу украшала фотография киноактрисы, давно уже забытой, но здесь, видимо, все еще слывущей самой красивой женщиной нашего столетия, а со второй страницы смотрело гуманное лицо генерала, уверявшего, что он невиновен; в чем — не было сказано.

Вдруг дверь стремительно распахнулась, и в парикмахерскую влетела молодая девушка. Мне показалось знакомым ее веселое, энергичное лицо. Записная книжка в ее руках мне сразу все объяснила.

— Здравствуйте, хозяин! — звонко приветствовала она меня. — Я представительница института общественной информации, разрешите задать вам несколько вопросов?

— С удовольствием, — сказал я, взял в рот трубку, раскурил ее и окутал себя густым облаком дыма.

— Вы верите в бога?

— Да, — сказал я.

— Как вы представляете себе бога?

— Я христианин.

— О, — воскликнула она. — Как хорошо вы сказали, не правда ли?

— Правда, — сказал я.

— Благодарю вас.

Она убрала свою записную книжку, устремилась вверх по ступенькам и хлопнула дверь. Я медленно поднялся с места и к ужасу своему увидел перед собой хозяина парикмахерской. Он был молод, чем-то разго-

рячен, волосы его растрепались и торчали во все стороны. Он улыбался.

— Простите,— сказал он.— Вы давно ждете?

— Нет, нет,— ответил я и тоже улыбнулся.

— Что вам угодно?

— Бритвенные лезвия. Десяток, пожалуйста,— сказал я.— Но только побыстрее. Я тороплюсь.

Он бросился к полкам, дал мне маленький пакетик, я положил на прилавок деньги и выбежал на улицу. Я догнал свою сослуживицу и пошел за ней по пятам. Я долго ходил за ней, чуть ли не через весь город — мимо сталелитейных мастерских, мимо огромных складов и заводов, по оживленным улицам и большому парку. Она заходила по тем адресам, которые даны были мне на вторую половину дня. Очевидно, в отделе «План поездок» что-то напутали.

Было уже поздно, когда я, усталый, поплелся наконец за ней на вокзал. Но у меня не было никакого желания возвращаться домой. Я зашел в кино, неподалеку от вокзала, там было тепло и тихо, и как только начался главный фильм, я заснул. Когда я вышел из кино, дождь все еще лил.

Я сел в поезд, шедший в южном направлении, тут же заснул и проснулся только на остановке. Так я засыпал, просыпался и вновь засыпал, пока вдруг не услышал в темноте: «Опладен!.. Опладен!..» Я вскочил, взял фуражку из сетки и быстро сошел с поезда. Только когда я уже стоял на станции и поезд медленно, в полном мраке прополз мимо, я спохватился, что мне нечего делать в Опладене. Следующий поезд был только через час, и единственное, что я мог предпринять,— это медленно пройти к дому, где был утром. Еще издали я увидел, что дом освещен. Я ускорил шаги, подошел и сразу же заметил: фамилия Мейкснер на табличке уже заклеена. С противоположного тротуара я посмотрел на карлика: освещенный сзади, он казался почти живым. По комнате прошла молодая женщина в красном пальто; вдруг кто-то откинул занавесь, маленькая девочка в ночной рубашке прислонилась к подоконнику и плотно прижала свою куклу к стеклу. Кукла была старая и грязная, но я поднял руку и помахал ей. Ребенок испугался, порывисто отпрянул, толкнул карлика, и тот упал на пол. Я слышал, как он разбился: только еле-еле звякнуло. Ребенок исчез, кукла — облезлая замухрышка — по-прежнему стояла в окне, при-

жатая к стеклу. Я снова помахал ей рукой и медленно пошел прочь. Из соседней комнаты послышался плач, и я понял, что мать бьет девочку. Детей всегда бьют, и почти всегда незаслуженно, всегда ни за что, я только надеялся, что этой девочке не очень сильно достанется.

Я снова остановился. Было уже тихо, и я молил бога, чтобы еще и отец не побил ребенка. Быть может, он умер или работает в ночной смене, а может быть, он поверит своей дочурке, что на улице в самом деле стоял черный человек и этот черный человек помахал ей рукой. Что-нибудь непременно должно случиться, чтобы маленькое дитя никто больше не бил.

Очень медленно возвращался я на вокзал.

1951

СМЕРТЬ ЭЛЬЗЫ БАСКОЛЕЙТ

Подвал дома, где мы прежде жили, занимал лавочник по фамилии Басколейт; в коридоре у него всегда стояли ящики из-под апельсинов, и пахло гнилыми фруктами, которые он оставлял там для мусорщика, а сквозь дверь с матовым стеклом до нас доносился его зычный голос: на своем восточнопрусском говоре он клял тяжелые времена. Но в глубине души Басколейт был человеком веселым: мы знали, знали твердо, так твердо, как могут знать только дети, что его проклятья — это всего лишь игра, так же как и его переругивание с нами, и когда он подымался по ступенькам, ведущим из подвала на улицу, его карманы были набиты яблоками или апельсинами, которые он кидал нам, словно мячики.

Но нас Басколейт интересовал главным образом из-за своей дочки Эльзы, которая хотела стать балериной. А быть может, она и была уже балериной: во всяком случае, она постоянно упражнялась в подвале, в комнате с желтыми стенами, рядом с кухней. Белокурая, тоненькая девочка в зеленом трико, очень бледная, — то она застывала на носках, то парила, словно лебедь, то кружилась и прыгала, то изгибалась. Из окна своей комнаты я мог наблюдать за ней, когда темнело: в желтом прямоугольнике оконного проема я видел ее обтянутое ядовито-зеленым трико худое тело

и бледное напряженное лицо, обрамленное белокурыми волосами: иногда она задевала головой электрическую лампочку, болтавшуюся прямо на шнуре, без абажура, и тогда лампочка начинала раскачиваться, и от этого на какое-то мгновение расплывалось желтое пятно света на сером асфальте.

Всегда находились люди, которые кричали на весь двор: «Шлюха!» — но я не знал, что это значит, а другие кричали: «Что за свинство!» — и хотя я знал — во всяком случае, так мне казалось, — что такое свинство, я не мог поверить, что слово это имеет какое-то отношение к Эльзе. Тут уж окно распахивалось настежь, в облаке кухонного чада появлялась тяжелая лысая голова Басколейта, и вместе с новым потоком света в темный двор врвался поток бранных слов, из которых я ни одного не понимал. Но все же вскоре окно Эльзы завесили — завесили толстым зеленым бархатом, сквозь который едва пробивался свет, но я каждый вечер по-прежнему, не отрываясь, глядел на этот тускло мерцающий прямоугольник и, хотя уже не мог ничего увидеть, все же видел, как Эльза Басколейт в ядовито-зеленом трико — бледная, белокурая — то парила, то застывала под раскачивающейся лампочкой без абажура.

Но вскоре мы переехали на другую квартиру, я стал старше, узнал, что значит «шлюха», считал, что хорошо знаю, что такое свинство, повидал других балерин, но ни одна из них не нравилась мне так, как когда-то нравилась Эльза Басколейт, о которой я больше ничего не слышал. Потом мы перебрались в другой город, началась война, долгая война, и я больше не думал об Эльзе Басколейт. Не вспомнил я о ней и тогда, когда мы вернулись в родной город. Я перепробовал немало самых разных профессий, но ни на чем не мог остановиться, пока не поступил шофером к оптовому торговцу фруктами: водить грузовик было, собственно говоря, единственное, что я действительно умел делать. Каждое утро мне вручали маршрутный лист, ставили в кузов ящики с яблоками, апельсинами, грушами, корзины со сливами, и я ехал в город развозить товар.

Однажды, когда я стоял у склада и проверял по накладной, сколько чего грузят на мою машину, из конторы, обклеенной плакатами, призывающими есть бананы, вышел бухгалтер и спросил заведующего складом:

— Мы можем выполнить заказ Басколейта?

— А что он заказал?.. Синий виноград?

— Да,— подтвердил бухгалтер, удивленно посмотрел на заведующего и даже вытащил карандаш, заткнутый за ухо.

— Время от времени,— объяснил заведующий,— он заказывает синий виноград, всегда только синий виноград, уж не знаю зачем, но мы никогда не выполняем его заказов. Ну, поживей! — крикнул он грузчикам в серых халатах.

Бухгалтер вернулся в свою контору, а я... я перестал проверять, действительно ли они грузят в машину то, что значится в накладной. Я вновь видел ярко освещенный прямоугольник подвального окна, видел, как танцует Эльза Басколейт в ядовито-зеленом трико, тоненькая, бледная, и в то утро я отклонился от предписанного мне маршрута.

Из наших уличных фонарей — тех, у которых мы играли, сохранился только один, да и он стоял без стекла, а большинство домов было разбито, и мой грузовик прыгал по рытвинам. На улице, когда-то наполненной гомоном детских голосов, я увидел только одного ребенка: бледный темноволосый мальчуган понуро сидел на развалинах каменной стены и что-то рисовал пальцем в белесой пыли. Когда я проехал мимо, он поглядел мне вслед, но тут же снова опустил глаза. Я затормозил у дома, где жили Басколейты, и вылез из машины. Витрина его лавочки была покрыта слоем пыли, выставленные в ней пирамиды из картонок завалились, а зеленоватая вывеска почернела от грязи. Я окинул взглядом стену дома, пестреющую свежештукатуренными выбоинами, нерешительно открыл дверь и спустился по ступенькам в лавку: меня обдал резкий запах отсыревших кореньев, которые прели в картонном ящике у дверей, а потом я увидел спину Басколейта, седые пряди, выбивающиеся у него из-под кепки, и сразу заметил, что ему трудно наливать уксус из бочонка в бутылку покупательницы. Он явно никак не мог сладить с воронкой, кислая жидкость текла по его пальцам, и на полу тут же образовалась лужица, от половиц несло кисловатой гнилью, и они поскрипывали под тяжестью его шагов. У прилавка стояла худощавая женщина в буро-красном пальто и равнодушно следила за возней Басколейта. Наконец он все-таки ухитрился наполнить бутылку и заткнуть ее пробкой,

и тогда я повторил еще раз то, что уже раз сказал, как только открыл дверь, я тихо сказал: «Доброе утро», но мне никто не ответил. Басколейт поставил бутылку на прилавок — я увидел его лицо, бледное, небритое, — и сказал, обращаясь к женщине:

— Моя дочь умерла, Эльза...

— Я знаю, — раздраженно сказала женщина, — знаю вот уже пять лет. Еще мне дайте песку для чистки посуды.

— Моя дочь умерла, — повторил Басколейт. Он вновь поглядел на женщину, словно сообщил ей новость, поглядел с беспомощным отчаянием, но она сказала:

— Килограмм развесного.

И Басколейт выдвинул из-под прилавка темную лохань, разрыхлил песок жестяным совком и принялся дрожащими руками накладывать желтоватые комочки в серый бумажный кулек.

— Моя дочь умерла, — сказал он.

Женщина промолчала, а я огляделся вокруг и ничего не обнаружил, кроме запыленных пакетов макарон, бочонка с уксусом, из крана которого медленно падали крупные капли, лохани с песком и плаката, изображающего белобрысого улыбающегося мальчишку с куском шоколада, которого уже давным-давно нет. Женщина поставила бутылку в сетку, туда же сунула кулек с песком, кинула на прилавок несколько монет и направилась к двери; проходя мимо меня, она постучала себя пальцем по лбу, подмигнула мне и усмехнулась.

Я думал о многом — о том времени, когда был еще настолько мал, что только на цыпочках дотягивался до прилавка, а вот теперь я с легкостью гляжу поверх стеклянного ящика из-под конфет с броским названием кондитерской фирмы, но теперь в нем лежат лишь запыленные пакетики панировочных сухарей; и вдруг на какое-то мгновение мне почудилось, что я вновь стал маленьким, я почувствовал, как упираюсь носом в грязный край прилавка, ощутил в сжатом кулаке два пфеннига на конфеты, увидел, как танцует Эльза Басколейт, и услышал, как жильцы во дворе кричат: «Шлюха!» и «Что за свинство!» — и вдруг голос Басколейта вернул меня к действительности.

— Моя дочь умерла, — сказал он.

Он говорил это механически, почти без всякого чувства, стоя у витрины и глядя на улицу.

— Да, — сказал я.

— Она умерла,— сказал он.

— Да,— сказал я.

Он стоял ко мне спиной, засунув руки в карманы своего засаленного халата.

— Она любила виноград — синий виноград, но ее уже нет в живых.

Он не спросил меня: «Чего вы желаете?» или «Чем могу служить?»; он стоял у витрины, около бочонка с капающим из крана уксусом, и все повторял, не глядя на меня: «Моя дочь умерла» или «Ее уже нет в живых».

Мне казалось, что я стою так бесконечно долго, потерянный и всеми забытый, а мимо меня бурно струится время. Я смог вырваться, только когда в лавку вошла покупательница. Она была маленькая, пухленькая, держала сумку перед собой, прикрывая живот, и Басколейт обернулся к ней и сказал:

— Моя дочь умерла.

И женщина сказала:

— Да,— и вдруг начала плакать и проговорила сквозь слезы: — Пожалуйста, песку для чистки посуды. Развесного, килограмм.

Басколейт вновь зашел за прилавок и стал размельчать комья жестяным совком. Женщина все еще плакала, когда я вышел из лавки.

Бледный черноволосый мальчуган, который прежде сидел на разбитой ограде, залез теперь на подножку моего грузовика и то внимательно разглядывал все внутри кабины, то вертел «дворники» на стеклах. Мальчишка испугался, вдруг обнаружив, что я стою за его спиной. Но я схватил его за плечи, заглянул в его бледное испуганное лицо, взял большое яблоко из ящика в кузове и сунул ему. Мальчуган изумленно на меня взглянул, когда я его отпустил, так изумленно, что мне стало страшно, и тогда я взял еще одно яблоко, и еще одно, и еще, и засунул их ему в карманы, за пазуху — много-много яблок, а потом сел в кабину и уехал.

1951

ДЯДЯ ФРЕД

Только благодаря дяде Фреду я теперь без отвращения вспоминаю первые послевоенные годы. Как-то летним днем 1945 года он вернулся с войны. Он при-

шел не в парадном мундире, и единственной его регалией была консервная банка на веревке, болтавшаяся у него на шее, а единственным багажом, не обременявшим тяжестью, — несколько окурков, которые он заботливо хранил в портсигаре. Он обнял мать, расцеловал нас с сестрой и, пробормотав: «Хлеба... спать... курить...» — завалился на диван — нашу семейную реликвию, так что запечатлелся в моей памяти таким верзилой, которому наш диван оказался короток, и дяде приходилось поджимать коленки либо, если он хотел вытянуться во весь рост, свешивать ноги с дивана. И то и другое вызывало его страшный гнев, и он клял на чем свет стоит наших деда и бабу, стараниями которых был приобретен этот ценный предмет, а все их достойное поколение называл вонючим и был исполнен глубочайшего презрения к едко-розовой диванной обивке, выбранной ими по своему вкусу, однако это ему несколько не мешало с вожделием предаваться сну.

В то время мне было четырнадцать лет, и на мне лежала неблагодарная обязанность осуществлять связь между нашей добропорядочной семьей и тем памятным местом, которое называли черным рынком. Отец мой был убит на войне, мать получала крошечную пенсию, и моя задача заключалась в том, чтобы чуть ли не ежедневно загонять жалкие остатки того немногого, что у нас уцелело, или выменивать их на хлеб, уголь и табак. Впрочем, уголь тогда был, пожалуй, главным поводом для нарушения понятия «частная собственность», того самого нарушения, которое ныне определяют жестким словом «кража». Итак, чуть ли не каждый день я отправлялся воровать уголь или загонять барахло, и хотя моей матери была очевидна необходимость подобной сомнительной деятельности, она не могла без слез глядеть на меня, когда по утрам я отправлялся выполнять свои сложные обязанности. Мне поручали, к примеру, превратить подушку в хлеб, фаянсовую миску в манную крупу, а трехтомник Густава Фрейтага в пятьдесят граммов кофе — задачи, которые я выполнял хоть и со спортивным азартом, но не без страха и горечи. Дело в том, что понятие стоимости — так это тогда называли взрослые — было сильно сдвинуто, и время от времени меня несправедливо подозревали в мошенничестве, потому что цена того или иного предмета, подлежащего продаже, не соответствовала той, которую назначала мать. Нелегкая задача

быть посредником между двумя мирами, ценности которых только кажутся равнозначными.

Появление в нашем доме дяди Фреда вселило в нас всех надежду на энергичную мужскую помощь, однако поначалу он нас разочаровал. Уже с первого дня его аппетит внушил мне ужас. И когда я без колебаний поделился своей тревогой с матерью, она попросила дать дяде Фреду возможность «сперва прийти в себя». Приходил в себя он почти восемь недель. Несмотря на проклятья по адресу короткого дивана, дядя Фред отлично спал на нем ночью да частенько подремывал и днем, а в редкие минуты бодрствования страдальческим голосом объяснял нам, какое положение для сна он все же предпочитает. Насколько мне помнится, он считал в то время наилучшей позу спринтера на старте. Дядя Фред любил после обеда удобно улечься на диване и, подтянув колени к подбородку, с аппетитом сжевать здоровенный ломоть хлеба, а потом, выкурив самокрутку, дрыхнуть до самого ужина. Он был долговяз, очень бледен, на подбородке у него темнел шрам в форме венчика, который придавал ему сходство с поврежденным мраморным памятником. И хотя аппетит дяди Фреда и его потребность во сне меня просто пугали, я его все-таки очень любил. Только с ним мог я обсуждать проблемы черного рынка без риска нарваться на скандал. Видимо, дядя Фред был в курсе дела и знал, какая глубокая пропасть пролегла между двумя мирами в понимании стоимости.

Он никогда не поддавался на наши просьбы рассказать о войне. «Не стоит того»,—говорил он. Единственное, что он еще иногда рассказывал, это как он проходил медкомиссию. Освидетельствование заключалось главным образом в том, что какой-то человек в форме громко приказал ему помочиться в пробирку, однако этот приказ дядя Фред не сумел тотчас же выполнить, в силу чего его военная карьера с самого начала не задалась.

Дядя Фред уверял, что живой интерес великой Германии к его моче вселил в него глубокое недоверие к рейху, которое за шесть лет военной службы полностью оправдалось.

В мирное время он был бухгалтером, и когда истекла четвертая неделя его пребывания на нашем диване, мать с сестринской кротостью попросила его узнать, как идут дела у фирмы, где он прежде служил, однако

это задание дядя Фред втихую перепоручил мне, а я после долгих и утомительных поисков в разрушенной части города не обнаружил ничего, кроме груды битого кирпича метров в восемь высотой. Дядю Фреда явно успокоили результаты моей разведки. Он откинулся на спинку дивана, свернул самокрутку, с торжеством взглянул на маму и попросил достать его вещи. В углу нашей спальни издавна стоял аккуратно заколоченный ящик. Сгорая от любопытства, мы открыли его с помощью клещей и молотка; в ящике оказалось: штук двадцать романов среднего формата и среднего достоинства, золотые карманные часы, запыленные донельзя, но на ходу, две пары подтяжек, несколько записных книжек, диплом торговой палаты и сберегательная книжка на 1200 марок. Сберегательную книжку передали мне, чтобы я получил по ней деньги, а остальное добро было решено продать, в том числе и диплом торговой палаты, на который, однако, не нашлось покупателя, потому что имя дяди Фреда было там обозначено черной тушью.

Таким образом, целый месяц мы были избавлены от забот о хлебе насущном, угле и табаке — обстоятельство, которое не могло меня не радовать, тем более что к тому времени школы гостеприимно распахнули свои двери и мне было предложено продолжить свое образование.

Даже теперь, когда я уже давно его завершил, я сохраняю самое нежное воспоминание о тех супах, которыми нас кормили в школе, потому что это дополнительное питание доставалось нам почти без боя и придавало всему учебному процессу веселую и остро-современную нотку.

Но основным событием тех дней было то, что по прошествии двух месяцев со дня своего радостного возвращения домой дядя Фред взял бразды правления в свои руки.

Как-то утром — дело было в конце лета — он встал со своего дивана, побрился так тщательно, что мы даже испугались, потребовал чистую сорочку, взял мой велосипед и укатил.

Вернулся он домой поздно, и его возвращение было отмечено страшным грохотом и сильным запахом вина. Вином несло от дяди, а грохот производили полдюжины ведер из оцинкованного железа, которые были связаны между собой толстой веревкой. Наше недоумение рас-

сеялось, лишь когда дядя Фред объявил, что намерен открыть в нашем разбомбленном городе торговлю цветами. Мать, исполненная недоверия к миру новых ценностей, решительно отвергла этот план, уверяя, что на цветы здесь не будет никакого спроса. Но она ошиблась.

В одно достопамятное утро мы притащили к трамвайной остановке, где дядя Фред решил открыть торговлю, ведра, полные цветов. И сейчас еще я отчетливо помню эти желтые и красные тюльпаны и влажные гвоздики и никогда не забуду, как великолепен был мой дядя, когда он стоял посреди серой толпы и груд битого кирпича и во весь голос орал: «Цветы без карточек!..» О том, как пошли его дела, и говорить нечего. Через месяц он был уже владельцем трех дюжин оцинкованных ведер и открыл две новые торговые точки, а спустя еще месяц стал налогоплательщиком. Мне казалось, что весь город изменил свой облик: на многих углах появились лотки с цветами — спрос превышал предложение; все больше и больше ведер из оцинкованного железа стояло на тротуарах, люди строили киоски из досок, мастерили небольшие тележки.

Так или иначе, у нас в доме отныне всегда были не только свежие цветы, но и свежий хлеб, а также уголь, и мне не надо было больше посредничать между двумя мирами, промышляя на черном рынке,— обстоятельство, к слову сказать, содействовавшее моему нравственному самоусовершенствованию. Дядя Фред давно уже стал человеком с положением: его торговля по-прежнему процветает, он обзавелся машиной, прочит меня в свои наследники, и я получил экономическое образование, чтобы еще до вступления в права наследования вести все налоговые дела фирмы.

И когда я теперь вижу этого грузного человека за рулем красной сверкающей машины, мне странно, что в моей жизни было такое время, когда его аппетит стоил мне многих бессонных ночей.

1951

Я НЕ КОММУНИСТ

Автобус останавливается всегда в одном и том же месте. Шофер должен проявлять сугубую осторожность, ведь улица очень узкая, и тот изгиб в тротуаре, где

должен останавливаться автобус, очень невелик. Всякий раз он резко тормозит на этом месте, я просыпаюсь от толчка, смотрю налево в окно и вижу всегда одну и ту же вывеску: «Стремянки любого размера, цена — три марки двадцать пфеннигов за ступеньку». И всякий раз, хоть это и бессмысленно, я смотрю на часы, чтобы удостовериться, что сейчас без четырех минут шесть, а если на моих часах ровно шесть или шесть с минутами, значит, мои часы спешат. Автобус точнее часов. Вот и на сей раз я поднимаю глаза и вижу вывеску: «Стремянки любого размера, цена — три марки двадцать пфеннигов за ступеньку». Это вывеска над витриной хозяйственного магазина, где среди стеклянных банок для консервирования, кофейных мельниц, вальков для отжима белья и фарфоровой посуды выставлена маленькая трехступенчатая стремянка; теперь там стоят еще садовые стулья и шезлонг. В шезлонге лежит женщина, высокая женщина из картона или воска, я не знаю, из чего делают этих витринных кукол. На кукле солнечные очки, в руках она держит роман под названием «Отдых от своего «Я». Фамилии автора я не вижу, глаза не те. Я смотрю на этот манекен, и он повергает меня в уныние, в еще большее уныние, чем обычно, и я задаюсь вопросом — имеют ли право на существование подобные манекены? Картонные или восковые куклы, читающие романы под названием «Отдых от своего «Я»? Все и так уныло — слева от витрины груды развалин, залитые солнцем горы золы и мусора. Такая картина рядом с этой куклой — поневоле впадешь в уныние.

Но все-таки больше всего меня интересует стремянка. Нам в доме очень нужна была бы стремянка. В подвале у нас есть полки, где стоят банки с домашними консервами, и полки очень высокие, так как подвал тесный, и надо с умом его использовать. Полки эти никудышные, я сам их сколотил из дощечек и толстой веревкой привязал к газовым трубам, проходящим через наш подвал. Если бы я не привязал их накрепко, они бы опрокинулись, когда на них поставили банки.

Моя жена много чего заготавливает на зиму. Летом у нас всегда пахнет свежесваренными фруктами и овощами: вишнями, сливами, ревенем, огурцами. Целые дни запах горячего уксуса стоит в нашей квартире — я от него почти заболеваю, но понимаю, однако, что

нам все это необходимо. Полки очень высокие, и на самом верху стоят банки вишен и персиков, которые мы едим зимою по воскресеньям. По субботам моей жене приходится лезть за ними, и чтобы дотянуться, она обычно влезает на старый деревянный ящик. Весной ящик под нею проломился, и у нее случился выкидыш. Меня, конечно, дома не было, и она довольно долго пролежала в подвале, крича и истекая кровью, пока кто-то не нашел ее там и не отвез в больницу.

В субботу вечером я отправился к ней в больницу с букетом цветов. И только мы взглянули друг на друга, как моя жена заплакала, горько заплакала. Это должен был быть третий ребенок, и мы все обсуждали, как нам жить с тремя детьми в двух комнатах. Даже и с двумя в двух комнатах плохо. Я знаю, бывает и похуже. Есть люди, которые живут шестером или даже восьмером в одной комнате. Но и с двумя детьми в двух комнатах, на площадке, где живут три бездетные семьи, тоже плохо. Я не хочу жаловаться, я не коммунист, боже избави, но это и в самом деле плохо.

Я прихожу домой усталым, мне хочется полчаса отдохнуть, всего лишь полчаса, поесть спокойно, но именно когда я прихожу, дети не желают сидеть тихо, я их шлепаю, а потом, когда они ложатся спать, я в этом раскаиваюсь. Иногда я стою перед кроватками, смотрю на них, и в такие минуты я иногда становлюсь коммунистом. Только никому не говорите, я ведь всего на минутку.

Каждый вечер, когда автобус останавливается, я просыпаюсь от толчка и смотрю влево: загорелое лицо витринной куклы в купальнике полускрыто темными очками, но название романа видно отчетливо: «Отдых от своего «Я». Может, мне как-нибудь сойти с автобуса и посмотреть, кто же автор. А над витриной красуется вывеска: «Стремьянки любого размера, цена — три марки двадцать пфеннигов за ступеньку». Нам нужна трехступенчатая, значит, это будет девять марок шестьдесят пфеннигов. Я прикидываю и так и сяк, но никогда у меня нет девяти марок шестидесяти пфеннигов. К тому же сейчас лето, а моя жена только в ноябре начнет опять по субботам влезать на ящик, чтобы достать на воскресенье банку вишен или персиков, только в ноябре, а до ноября еще есть время. Но жена моя опять в положении. Только не говорите это никому из нашей родни, и уж тем более никому из наших соседей.

Обязательно будет скандал, а я не люблю скандалов. Мне нужно всего полчаса покоя в день. Родственники будут ругаться, если узнают, что моя жена опять в положении, а соседи тем паче, я опять начну шлепать детей и опять буду раскаиваться и стоять по вечерам у их кроваток, и на минутку становиться коммунистом. Все это не имеет никакого смысла, и я хочу попытаться до ноября об этом не думать. Я хочу просто смотреть на куклу, лежащую в шезлонге и читающую роман под названием «Отдых от своего «Я», на эту куклу рядом с грудой развалин и кучами золы, от которых в дождь бежит к водостоку грязно-желтый ручей.

1952

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА

Никто из людей, знавших меня, не поймет, почему я так бережно храню клочок бумаги, который в сущности не представляет собой никакой ценности и вынуждает подозревать меня в сентиментальности, отнюдь не свойственной людям моей профессии. Я — доверенный текстильной фирмы. Бумажка эта — всего лишь воспоминание об одном-единственном дне моей жизни. Но я всегда решительно отвергаю упреки в сентиментальности, пытаюсь представить этот клочок бумаги как ценный документ. Вот он, маленький бумажный четырехугольник, похожий на почтовую марку — правда, только по размеру, а не по форме. Он уже и длиннее, и хотя, так же как и марка, клеится на почте, не представляет собой никакого интереса для филателиста.

По краям бумажки проведена четкая красная черта, и такая же красная черта делит ее на два неравных прямоугольника. В меньшем из прямоугольников стоит жирная черная буква «Р», а в большем черным же шрифтом напечатано слово «Дюссельдорф» и цифра «634». И это все. Клочок бумаги пожелтел и почти совсем истрепался. И теперь, когда я уже подробно описал его, можно, пожалуй, выбросить эту простую почтовую наклейку от заказного письма. Такие наклейки любое почтовое отделение ежедневно расходует целыми рулонами.

Но эта наклейка напоминает мне об одном из дней моей жизни, который мне никогда не забыть, хотя я

уже много раз пытался вычеркнуть его из своей памяти. К сожалению, у меня слишком хорошая память.

Вспоминая об этом дне, я прежде всего ощущаю запах ванильного крема — теплое сладкое облачко, проникающее через дверь моей комнаты и напоминающее мне о добром сердце моей матери. Я попросил ее тогда, чтобы она приготовила по случаю первого дня моего отпуска ванильное мороженое. И лишь только я проснулся, как сразу же услышал запах ванили.

Было пол-одиннадцатого. Я закурил сигару, положил повыше подушку и представил себе, как проведу время после обеда. Мне хотелось поплавать; днем я поеду на пляж, немножко поплаваю и покурю, дожидаясь моей маленькой сослуживицы, которая обещала встретиться со мной там после пяти.

В кухне мать отбивала мясо. Когда она на минутку остановилась, стало слышно, как она что-то напевает тихонько. Это была какая-то церковная песня. Я чувствовал себя таким счастливым. За день до этого я прошел испытания на помощника мастера. На текстильной фабрике мне дали хорошее место, которое сулило возможности продвижения. Но теперь я отдыхал, в моем распоряжении было целых четырнадцать дней отпуска.

Стояло жаркое лето, а в то время я еще любил жару. Через щели в ставнях я ощущал то, что называют горячим маревом; я видел зелень деревьев, росших перед нашим домом, слышал звонки трамваев. Я радовался в предвкушении завтрака. К двери моей комнаты подошла мать, чтобы узнать, проснулся ли я. Она осторожно прошла по коридору и остановилась; на секунду в квартире стало совсем тихо. Только я хотел сказать: «Мама!» — как раздался звонок. Мать пошла открывать входную дверь. Я услышал, как внизу, в парадном, дребезжал звонок — четыре, пять, шесть раз, а в это время, выйдя на лестницу, мать уже разговаривала с нашей соседкой фрау Курц, жившей на той же площадке. После этого до моего слуха донесся мужской голос, и я сразу понял, что пришел почтальон, хотя я редко слышал его голос. Почтальон вошел к нам в переднюю. Мать сказала:

— Что?

А почтальон ответил:

— Вот здесь раснишитесь, пожалуйста.

Потом на мгновение снова стало очень тихо, и почтальон сказал:

— Спасибо.

Мать закрыла за ним дверь, и я услышал, как она вернулась на кухню. Вскоре после этого я встал и пошел в ванную. Я побрился, долго и старательно мылся и, закручивая кран, услышал, что мать мелет кофе. Все было так, как будто сегодня воскресенье. Только я не пошел в церковь.

Хотя этому и трудно поверить, но на сердце у меня вдруг стало тяжело. Не знаю почему, но мне действительно стало тяжело. Я больше не слышал, как мать мелет кофе. Я вытерся полотенцем, надел рубашку и брюки, носки и ботинки, причесался и пошел в столовую. На столе стояли цветы — красивая розовая гвоздика. Стол был празднично накрыт, и на моей тарелке лежала красная пачка сигарет.

Вошла мать, и я сразу же понял, что она плакала. В одной руке она держала кофейник, а в другой свежую почту — ее было совсем мало. Глаза матери покраснели. Я пошел ей навстречу, взял у нее из рук кофейник, поцеловал в щеку и сказал:

— Доброе утро!

Она посмотрела на меня и ответила:

— Доброе утро! Как ты спал?

При этом она попыталась улыбнуться, но это ей не удалось.

Мы сели. Мать налила кофе. Я взял с тарелки красную пачку, распечатал ее и закурил сигарету. Я почувствовал, что мне расхотелось есть. Я долго размешивал сахар в своей чашке и несколько раз пытался взглянуть на мать, но тут же быстро опускал глаза.

— Прибыла почта? — спросил я, хотя это был бессмысленный вопрос, потому что маленькая красная рука матери лежала как раз на небольшой стопке писем и газет.

— Да, — сказала она и пододвинула их ко мне.

Я развернул газету, а мать в это время намазывала мне маслом хлеб. На первой странице я увидел жирный заголовок: «Притеснения немцев в Польском коридоре продолжаются». Уже много недель пестрели такими заголовками первые страницы газет. Они публиковали сообщения о перестрелках на польской границе и о немцах, которые бежали в «рейх» от преследований. Я отложил газету в сторону. Потом просмотрел проспект винной фирмы, у которой мы иногда покупали вино, пока был жив отец. Фирма рекламировала какой-

то рислинг, продававшийся на чрезвычайно выгодных условиях. Я отложил в сторону и проспект.

В это время мать уже намазала мне хлеб, положила его на тарелку и сказала:

— Поешь же что-нибудь!

И тут она разрыдалась. Я опять не смог заставить себя посмотреть на нее. Я не могу смотреть на человека, который действительно страдает. Только теперь я понял, что рыдания матери были как-то связаны с приходом почтальона. Да, дело было именно в этом. Я смял в пепельнице сигарету, откусил кусочек хлеба и взял следующее письмо. И когда я его взял в руки, то заметил, что под ним лежит еще почтовая открытка. Но наклейку — этот маленький клочок бумаги, который я храню до сегодняшнего дня и из-за которого слышу сентиментальным,—я увидел не сразу и поэтому не сразу понял, что открытка заказная. Сначала я прочел письмо. Письмо было от дяди Эди. Дядя Эди был учителем. Он писал, что наконец, после многолетней службы, его повысили в чине. Но в связи с этим ему пришлось согласиться на переезд в захолустную дыру; поэтому в денежном отношении им не стало легче; жить в этой дыре очень трудно. И дети у него болели коклюшем. Нас тошнит от всего, что происходит, писал он. От чего именно, вы, наверное, сами догадываетесь. И мы действительно догадывались, потому что самих нас в эти годы тоже тошнило. Тогда многих тошнило.

Когда я протянул руку за открыткой, то увидел, что ее уже не было. Открытку взяла мать. Она поднесла ее к глазам. А я смотрел на свой хлеб с маслом, от которого уже откусил кусочек, помешивал кофе и ждал. Я никогда не забуду, как все это происходило. Я только раз слышал, чтобы мать так рыдала. Это было, когда умер отец. И тогда я тоже не осмеливался взглянуть на нее. Чувство смущения, которое я сам не знаю чем объяснить, мешало мне утешать ее. Я попробовал опять откусить кусочек хлеба, но у меня сдавило горло, потому что я вдруг понял, что на свете существует только одна причина, которая может так взволновать мою мать. И эта причина была связана со мной. Мать сказала что-то, чего я не понял, и протянула мне открытку. Только теперь я увидел: это была заказная открытка. Увидел обведенную и разделенную красной чертой на два прямоугольника наклейку, в меньшей части которой стояла жирная

черная буква «Р», а в большей — слово «Дюссельдорф» и цифра «634». В остальном открытка выглядела совершенно обычно.

Она была адресована мне, и на оборотной стороне было написано: «Господин Бруно Шнайдер! Вам надлежит явиться 5/VIII-39 в казарму имени Шлиффена в Аденбрюке для прохождения восьминедельного обучения». Слова «Бруно Шнайдер», дата и слово «Аденбрюк» были написаны на машинке, а остальное отпечатано типографским способом. В конце стояли какие-то каракули и после них было напечатано слово «майор».

Сейчас я знаю, что майору не было надобности расписываться, его подпись с тем же успехом могла бы воспроизвести машина. Имела значение только маленькая наклейка. Подписав квитанцию, мать должна была подтвердить, что мы получили открытку.

Я тронул руку матери и сказал:

— Это ведь только на восемь недель.

И мать ответила мне:

— Да, конечно.

— Только на восемь недель, — сказал я, зная, что говорю неправду.

И, вытерев слезы, мать подтвердила:

— Да, конечно.

Мы лгали друг другу, сами не зная зачем. Казалось, что мы тогда никак не могли подозревать, что говорим неправду. Тем не менее мы хорошо знали, что обманываем друг друга.

Я опять принялся за свой бутерброд, но вдруг вспомнил, что сегодня уже четвертое число и что на следующий день, в десять часов, мне надо быть за триста километров к востоку. Я почувствовал, что бледнею, положил обратно хлеб и встал из-за стола, не обращая внимания на мать.

Я вошел к себе в комнату, встал около письменного стола, открыл ящик и вновь задвинул его обратно. Я огляделся вокруг и почувствовал: что-то произошло. Но что именно — я не знал. Эта комната уже не была больше моей. Вот в чем все дело. Сейчас я понимаю, что суть была именно в этом. Но тогда я делал бессмысленные вещи для того, чтобы убедить себя, что эта комната все же принадлежит мне. Мне вовсе не к чему было перебирать письма в коробке, приводить в порядок книги. Но еще не осознав, что я делаю, я

уже начал укладывать свой портфель — положил туда рубашку, кальсоны, полотенце и носки, а потом пошел в ванную, чтобы взять бритвенный прибор.

Мать все еще сидела за столом. Она больше не плакала. Кусок хлеба с маслом, который я так и не съел, и остатки кофе в чашке еще были на столе.

Я сказал матери:

— Пойду к Гисельбахам. Узнаю по телефону, когда отходит поезд.

Когда я вернулся от Гисельбахов, пробило двенадцать. В коридоре пахло жарким и цветной капустой. Мать разбивала в мешочке лед, чтобы уложить его в нашу маленькую мороженицу.

Поезд отходил в восемь вечера. Около шести часов утра следующего дня я должен был прибыть в Аденбрюк. До вокзала было всего пятнадцать минут ходу, но я ушел из дому уже в три часа. Я обманул мать, которая не знала, сколько езды до Аденбрюка.

Последние три часа, которые я пробыл дома, показались мне почти такими же долгими и тяжелыми, как и все те долгие годы, которые последовали за ними. А эти годы тянулись бесконечно. Я уже не помню, что мы в тот день делали. Еда казалась нам невкусной. Мать очень быстро отнесла обратно на кухню жаркое, цветную капусту и картошку. Потом мы пили кофе, который остался от завтрака; чтобы он не остыл, мать накрыла его желтым колпаком. Я курил сигареты, и время от времени мы обменивались скудными словами.

— Восемь недель, — сказал я.

И мать повторила:

— Да, да, конечно.

Она больше не плакала.

Три часа подряд мы лгали друг другу, пока мне стало уже совсем невмоготу.

Мать благословила меня, поцеловала в обе щеки, и когда я закрыл за собой дверь, я знал, что она плачет.

Я пошел на вокзал. На вокзале царило оживление. Было время каникул: всюду сновали загорелые веселые люди. Я выпил пива в зале ожидания и в половине четвертого решил позвонить своей маленькой сослуживице, с которой собирался встретиться на пляже.

Пока я набирал номер — никелированный диск

с дырочками уже пять раз вернулся в свое первоначальное положение,— я уже почти пожалел, что начал звонить. Но все же я набрал и шестую цифру. Услышав в трубке ее голос,— она спросила: «Кто говорит?» — я с секунду помолчал, а потом медленно произнес:

— Бруно... Не смогла бы ты прийти? Я должен уехать, меня призывают.

— Сейчас? — спросила она.

— Да.— Она на секунду задумалась, и я услышал в трубке чьи-то голоса — по-видимому, кто-то собирал деньги на мороженое.

— Хорошо,— сказала она.— Я приду. На вокзал?

— Да,— сказал я.

Она очень скоро приехала, но даже сейчас, хотя с тех пор как мы поженились, прошло уже десять лет, я не знаю — сожалеть ли мне об этом телефонном разговоре. Во всяком случае, она позаботилась о том, чтобы за мной сохранилось мое место на фабрике; когда я вернулся домой, она вновь разожгла во мне потухшее честолюбие, и по существу только ей я обязан тем, что возможности продвижения, которые сулила в то время моя работа, осуществились.

Но и с ней я пробыл не все время, которое мог бы оставаться. Мы пошли в кино, и в пустом темном зале, где было очень жарко, я ее целовал, но, по правде говоря, мне этого не очень хотелось. Я целовал ее много раз, но уже в шесть часов вернулся на вокзал, несмотря на то что до восьми еще оставалось много времени. На перроне я еще раз поцеловал ее и сел в первый попавшийся поезд, который шел на Восток.

С тех пор я не могу видеть пляжа, не ощущая боли. Солнце, вода и зелень кажутся мне фальшивыми. Я предпочитаю один бродить по городу в дождливую погоду и ходить в кино в одиночестве, чтобы никого не надо было целовать. Мои возможности продвижения по служебной лестнице еще не исчерпаны. Я могу получить должность директора и, наверное, даже получу ее, потому что все удастся, когда тебе это не нужно,— так шутит над нами жизнь. Все почему-то убеждены, что я предан фирме и сумею для нее что-то сделать. Но в действительности она мне совершенно безразлична, и я не намерен что-либо делать для нее...

В глубоком раздумье я часто разглядываю старую наклейку, которая внезапно изменила всю мою жизнь.

Но летом, когда сдают испытания на помощника мастера и ученики приходят ко мне с сияющими лицами, чтобы принять от меня поздравления, я по долгу службы говорю им краткую речь и, как полагается по традиции, всегда напоминаю им о «возможностях продвижения».

1952

СМЕХАЧ

Когда меня спрашивают о моей профессии, мне становится неловко: я краснею, заикаюсь, хотя вообще я не робкого десятка. Я завидую людям, которые могут сказать: я каменщик. Завидую бухгалтерам, парикмахерам, писателям, потому что все эти профессии говорят сами за себя и не требуют дополнительных разъяснений.

Я же вынужден отвечать на подобные вопросы: я — смехач.

Такое признание влечет за собой дальнейшие, так как и на второй вопрос: «Вы живете на это?» — я правдиво отвечаю: «Да».

И я действительно живу за счет своего смеха, и живу хорошо, так как на мой смех, выражаясь коммерческим языком, есть спрос.

Я — хороший, ученый смехач, никто не смеется так, как я, никто не владеет настолько тонкостями этого искусства.

Долгое время, во избежание тягостных разъяснений, я выдавал себя за актера, но мои мимические и разговорные способности столь незначительны, что это объяснение кажется неправдоподобным, а я люблю правду, правда же заключается в том, что я — смехач.

Я не клоун, не комик, я не веселю людей — я изображаю само веселье. Я смеюсь, как римский император или как чувствительный выпускник средней школы, смех XVII столетия для меня столь же доступен, как смех XIX, и если это нужно, я могу смеяться смехом любого столетия, любого класса общества, любого возраста: я этому научился так же, как учатся подбивать подметки к башмакам. Смех Америки живет в моей груди, смех Африки, белый, крас-

ный, желтый смех — и за соответствующую мзду я показываю, как он звучит, согласно предписанию режиссера.

Я стал необходим, мой смех записывают на пластинки, на пленку, и звукорежиссеры крайне предупредительны со мной. Я смеюсь печально, сдержанно, истерически, смеюсь, как кондуктор трамвая и как ученик из продуктового магазина; смех утренний, вечерний, ночной, смех в сумерки — короче говоря, где бы и когда бы люди ни смеялись, — я воспроизвожу любой смех.

Легко поверить, что такая профессия очень утомительна, тем более что я владею и заразительным смехом. Я просто необходим комикам третьего и четвертого разрядов, которые не без оснований дрожат за свои остроты, и я сижу каждый вечер в каком-нибудь варьете как своего рода клакер, чтобы в слабых местах программы заразительно засмеяться.

Это тонкая работа: мой искренний, неудержимый смех не должен начаться ни слишком рано, ни слишком поздно — он должен прозвучать в нужное мгновение, тогда весь зал гогочет вместе со мной, и острота спасена. Я же устало пробираюсь к гардеробу и надеваю пальто, довольный тем, что наконец-то кончил работу.

А дома меня обычно ждут телеграммы:

«Крайне нуждаемся вашем смехе. Звукозапись вторник». И несколько часов спустя я сижу в душном вагоне скорого поезда и оплакиваю свою судьбу.

Каждому понятно, что в свободные часы и во время отпуска я не чувствую желания смеяться: доильщик радуется, когда может забыть о корове, каменщик — о своей известке, в доме столяра чаще всего плохо прилажены двери и ящики открываются с трудом. Кондитеры любят соленые огурцы, мясники — марципаны, пекари предпочитают колбасу хлебу, тореадоры любят возиться с голубями, боксеры бледнеют, когда у их детей идет носом кровь; все это я отлично понимаю, так как я никогда не смеюсь в свободные вечера. Я предельно серьезный человек, и люди — быть может, они и правы — считают меня пессимистом.

В первые годы нашего супружества моя жена нередко просила: «Посмейся же!» Но с тех пор она поняла, что я не могу выполнить это ее желание. Я бываю счастлив, когда в состоянии дать покой своим

напряженным мускулам, своей утомленной душе. Да, даже чужой смех раздражает меня: он напоминает о моей профессии.

Итак, мы ведем тихую, мирную жизнь, потому что моя жена тоже разучилась смеяться.

Иногда я ловлю улыбку на ее лице, и тогда улыбаюсь и я. Мы беседуем друг с другом вполголоса, я ведь ненавижу шум варьете, шум, царящий в студиях звукозаписи. Люди, мало знающие меня, считают, что я очень скучный человек. Возможно, так оно и есть — ведь я слишком часто вынужден смеяться. С бесстрастным, неподвижным лицом прохожу и по жизни, лишь иногда позволяя себе кроткую улыбку, и часто спрашиваю при этом: «Да смеялся ли я когда-нибудь?»

Вероятно, нет. Мои сестры и братья могут подтвердить, что я всегда был серьезным мальчиком.

Так я смеюсь на все лады, но собственного смеха не знаю.

1952

ВЕСЫ БАЛЕКОВ

На родине моего дедушки почти все зарабатывали себе на жизнь обработкой льна. Уже пять поколений моих земляков, задыхаясь от пыли, трепали лен и давали этой пыли медленно убивать себя. Это были терпеливые и веселые люди: они ели козий сыр и картошку, а иногда лакомились кроликом. По вечерам они сидели у себя дома — пряли, вязали, пели, пили мятный чай и были счастливы; днем в мастерской они допотопными орудиями превращали льняные стебли в волокно, не имея возможности защититься от пыли и от жара сушильных печей. В домах у них стояла одна-единственная кровать, напоминающая шкаф. На ней спали родители, а дети укладывались на скамьях, выстроившихся вдоль стен. С утра комнату наполнял запах супа. По воскресеньям на столе появлялась птичья гузка, а по большим праздникам, когда мать, улыбаясь, наливала в черный желудевый кофе молоко и он становился все светлее и светлее, на лицах детей появлялся румянец радости.

Родители рано отправлялись на работу; в их отсутствие дома хозяйничали дети. Они подметали, приби-

рали, мыли посуду и чистили картошку — драгоценные желтоватые клубни, тонкие очистки от которых они должны были предъявлять родителям, чтобы снять с себя подозрение в расточительности или легкомыслии.

После возвращения из школы дети отправлялись в лес, где они, смотря по времени года, собирали либо грибы, либо травы: мяту, тмин, чебрец, ячменник, а также наперстянку. Летом, когда на тощих лугах уже была скошена трава, дети собирали ромашку. За килограмм ромашки им давали один пфенниг, а в городской аптеке ее продавали нервным дамам по двадцать пфеннигов. Особенно ценились грибы: за них платили двадцать пфеннигов за килограмм, а в городе, в магазине, продавали за одну марку двадцать пфеннигов. Осенью, когда сырость выгоняла грибы из земли, дети забирались далеко в зеленую глушь лесов. Почти каждая семья имела «свои» грибные места. Старики по секрету рассказывали о них сыновьям, а те — своим детям.

Леса принадлежали Балекам. Поля, где рос лен, также принадлежали им. Балеки жили в замке. Там, рядом с помещением, где кипятили молоко, находилась каморка, в которой жены глав семейства Балеков взвешивали грибы, травы, ромашку и платили за них. На столе возвышались большие весы Балеков — старинные, с завитушками, выкрашенными блестящей бронзовой краской. Перед этими весами стояли еще прадеды моего деда. В грязных детских ручонках они держали корзинки с грибами и бумажные кульки с ромашкой. Они напряженно следили за тем, как фрау Балек клала гирьки на весы, до тех пор пока колеблющаяся стрелка не останавливалась на черной черте — этой тонкой черте справедливости; каждый год черту эту приходилось рисовать заново. Потом фрау Балек брала толстую книгу в коричневом кожаном переплете, и прежде чем платить деньги — пфенниги, гроши и лишь очень, очень редко марку, — она записывала в книге вес своих покупок. И уже тогда, когда еще мой дед был маленьким, рядом с весами стояла большая стеклянная банка, наполненная кислыми леденцами, теми самыми, которые продавались по марке за килограмм. И если та фрау Балек, которая в то время хозяйничала в каморке, была в хорошем настроении, она опускала руку в банку и наделяла каждого ребенка конфеткой. Лица детей розовели от

радости, как в те дни, когда по большим праздникам мать наливала им молоко в кофе, молоко, которое делало его все светлее и светлее, до тех пор, пока он не становился таким же белесым, как косы девочек.

Один из непреложных законов, которые установили Балеки, гласил: никому в деревне не разрешается держать весы. Этот закон был установлен так давно, что никто уже не размышлял над тем, когда и почему он появился. Но каждый, кто посмел бы нарушить его, немедленно терял работу, и от него уже не стали бы принимать впредь грибы, чебрец, тмин, ромашку. Власть Балеков простиралась так далеко, что и в соседних деревнях никто не помог бы моим землякам и никто не взял бы у них лесных трав. Но еще в те времена, когда прадедушки моего дедушки были маленькими, когда еще они собирали и продавали грибы, из которых в городе делали приправу к мясу или начинку для паштета, с тех незапамятных времен никто никогда не помышлял о том, чтобы нарушить этот закон. Муку насыпали мерками, яйца продавали поштучно, холст мерили локтями, а что касается остального, то старинные, с золотыми завитушками весы Балеков не вызывали никаких подозрений. И пять поколений, сменявших друг друга, доверяли черной колеблющейся стрелке все, что они собирали с детским усердием.

Правда, среди этих тихих людей были и такие, которые пренебрегали законами. То были браконьеры, стремившиеся в одну ночь заработать больше, чем они могли бы получить за целый месяц, обрабатывая лен. Но даже у них никогда не возникала мысль купить или сделать себе весы. Мой дедушка был первым смельчаком, решившим проверить справедливость Балеков, тех самых Балеков, которые жили в замке, имели два выезда и оплачивали одному из деревенских парней учение в духовной семинарии; тех самых Балеков, у которых каждую среду играл в карты священник, к которым приезжал с новогодним поздравлением сам окружной начальник в своей коляске, украшенной гербом кайзера, и которым в новом, тысяча девятисотом году сам кайзер пожаловал дворянство.

Мой дедушка был умный и старательный: он уходил в лес дальше, чем кто-либо из детей в нашей семье. Он даже добирался до самой чащи, где, по преданиям, обитал великан Билган, охранявший там сказочные

сокровища. Но мой дедушка не страшился Билгана. Когда он был еще совсем маленьким, он забирался в чашу и возвращался домой с богатой добычей. Он находил даже трюфели, за которые фрау Балеке платила по тридцати пфеннигов за фунт. На чистом листке календаря дедушка записывал все, что он приносил Балекам: у него был записан каждый фунт грибов, каждый грамм тмина. А справа, рядом, он писал, сколько ему заплатили за все это. Своими детскими каракулями он записывал каждый пфенниг, который получал с тех пор, как ему минуло семь лет. А когда ему исполнилось двенадцать, наступил тысяча девятисотый год, и Балеки в честь того, что кайзер присвоил им дворянство, подарили каждой семье в деревне четверть фунта настоящего кофе, того, который привозят из Бразилии. Мужчинам дали бесплатно пиво и табак, а в замке устроили большое празднество; множество колясок стояло в тополевой аллее, ведущей к замку.

Кофе начали раздавать еще за день до праздника в той же маленькой каморке, в которой уже почти сто лет стояли весы Балеков, звавшихся теперь Балеки фон Билган, потому что, по преданию, дворец великана Билгана стоял как раз на том месте, где находился дом Балеков.

Дедушка часто рассказывал мне, как он после школы пошел к Балекам, чтобы получить кофе для четырех семей: для семьи Чехов, Вейдлеров, Фоласов и для своей семьи — для Брюхеров. Это было после обеда, в канун Нового года. Соседи хотели прибраться, испечь что-нибудь к празднику и поэтому решили, что не стоит посылать сразу четырех мальчиков за четвертушкой кофе. Вот почему пошел один только дедушка. И вот он уже сидит на маленькой узкой деревянной скамейке в знакомой каморке, а служанка Гертруда отпускает ему готовые пакетики кофе, четыре пакетика по четверть фунта. Дедушка посмотрел на весы. На левой чашке еще лежала фунтовая гиря. Фрау Балеке фон Билган не было, как обычно, в каморке, она занималась приготовлениями к празднику, и Гертруда захотела угостить дедушку конфетой. Но когда она опустила руку в банку с леденцами, то заметила, что банка пуста. Эта банка наполнялась раз в год, и в ней помещался ровно килограмм конфет того сорта, которые стоили одну марку.

Гертруда засмеялась и сказала:

— Обожди, я принесу новую порцию.

И мой дедушка остался один со своими четырьмя пакетиками весом в четверть фунта каждый, которые были запечатаны на фабрике. Он стоял перед весами, где лежала оставленная кем-то фунтовая гиря. И дедушка взял четыре пакетика кофе и положил их на пустую чашу весов. Его сердце сильно забилося, когда он увидел, что черная стрелка весов справедливости остановилась слева от черты, а чаша с фунтовой гирей оказалась внизу, в то время как чаша с фунтом кофе поднялась довольно высоко. Сердце у него билось сильнее, чем в то время, когда он лежал в лесу, спрятавшись в кустах, и ждал, что появится великан Билган. Он вынул из своего кармана камешки, которые носил с собой, чтобы стрелять из рогатки в воробьев, клевавших в их огороде капусту. Три, четыре, пять камешков должен был он положить рядом с четырьмя пакетиками кофе, чтобы чаша, где лежала фунтовая гиря, поднялась и стрелка сравнялась наконец с черной чертой. Дедушка снял кофе с весов, завернул пять камешков в свой носовой платок, и когда Гертруда вернулась с большим килограммовым пакетом леденцов, которых опять хватило бы на целый год,— ведь время от времени лица детей должны были покрываться румянцем,— когда Гертруда с шумом начала высыпать эти леденцы в банку, худенький бледный мальчуган стоял перед ней так, словно ничего не произошло.

Но дедушка взял только три пакета кофе, и Гертруда удивленно и испуганно посмотрела на бледного мальчугана, который бросил на землю кислую конфетку, растоптал ее и сказал:

— Я хочу поговорить с фрау Балек.

— Ты хочешь сказать, Балек фон Билган,— поправила его Гертруда.

— Хорошо, пусть будет фрау Балек фон Билган. Но Гертруда просто высмеяла его.

В наступивших сумерках дедушка пошел обратно в деревню, отнес Чехам, Вейдлерам и Фоласам их кофе и сказал, что он должен еще пойти к священнику. И хотя уже наступила ночь, он ушел из деревни. Пять камешков, завернутых в носовой платок, он нес с собой. Ему пришлось проделать немалый путь, пока он нашел человека, которому разрешалось иметь весы. В деревнях Блаугау и Бернау никто не имел весов, это он знал. И дедушка шел мимо этих деревень, не останавливаясь,

пока после двухчасового пути не достиг маленького городка Дильхейм, где жил аптекарь Хониг.

В доме Хонига пахло свежими блинами, а от самого Хонига, открывшего дверь замерзшему мальчику, пахло пуншем. В своих тонких губах Хониг держал толстую сигару. Задержав на секунду холодные руки мальчика, он сказал:

— Ну что, твоему отцу стало хуже? Опять что-нибудь с легкими?

— Нет, я пришел не за лекарством, я хотел... — Дедушка развернул платок, вынул пять камешков, показал их Хонигу и сказал: — Я хотел бы взвесить вот это.

Он испуганно посмотрел в лицо Хонига, но, убедившись в том, что Хониг не возражает ему, не рассердился и ничего не спросил, дедушка сказал:

— Они весят столько, сколько недостает справедливости.

Лишь тогда, когда дедушка вошел в теплую комнату, он почувствовал, что совсем промок. Снег набился в его худые ботинки. Ветки в лесу обсыпали его одежду снегом, который теперь растаял. Дедушка устал и проголодался. Вдруг он заплакал, потому что ему вспомнилось, сколько грибов, трав и ромашки было взвешено на весах, которым, чтобы быть справедливыми, не хватало веса пяти камешков. И когда Хониг, качая головой и держа в руке пять камешков, позвал жену, дедушка вспомнил о своем отце, деде и прадеде, которые взвешивали грибы и травы на тех же весах, и он почувствовал, как его захлестывает громадная волна несправедливости. Он заплакал еще сильнее, сел без спросу на стул в комнате Хонига, не заметив даже, что добрая толстуха фрау Хониг поставила перед ним блины и чашку горячего кофе. Он перестал плакать лишь тогда, когда сам Хониг вернулся из аптеки, потрясая камешками, которые он держал в руке, и тихо сказал своей жене:

— Ровно одна десятая килограмма...

Дедушка проделал двухчасовой путь обратно через лес, вытерпел побои дома, не отвечал, когда его спрашивали про кофе. Все это время он не произнес ни единого слова. Весь вечер он считал, сидя над бумажкой, где было записано все, что он когда-то приносил фрау Балек. А когда часы пробили полночь и в поместье раздался праздничный салют, когда в деревне послы-

шались приветственные крики и затрещали трещотки, когда вся семья обнялась и поцеловалась, в наступившей новогодней тишине прозвучали слова моего дедушки:

— Балеки должны мне восемнадцать марок и тридцать два пфеннига.

И опять он вспомнил обо всех деревенских ребятах, вспомнил о своем брате Фрице, который приносил так много грибов, о своей сестре Людмиле, о многих сотнях детей, которые собирали грибы, травы, ромашку для Балеков. Но на этот раз он не заплакал, а рассказал родителям, братьям и сестрам о своем открытии.

Когда Балеки фон Билган в первый день нового года пришли в церковь к обедне — их коляску уже украшал новый сине-золотой герб, на котором был изображен великан, расположившийся под сосной, — они увидели обращенные к ним ожесточенные худые лица людей. Балеки ожидали, что жители вывесят в их честь гирлянды, что утром деревенская капелла проиграет гимн, что они услышат возгласы «Хох!» и «Хайль!». Но когда они проезжали через деревню, она казалась вымершей. А в церкви лица бледных людей глядели на них молча и враждебно.

Сам священник, выйдя на амвон, чтобы произнести праздничную проповедь, почувствовал холод, исходивший от этих людей, обычно столь тихих и мирных. И он с трудом, спотыкаясь и запинаясь, произнес свою проповедь и, весь взмокший, вернулся к алтарю.

А когда Балеки фон Билган после мессы покинули церковь, они прошли через шпалеры молчаливых, суровых людей. Молодая фрау Балеков фон Билган остановилась около детских скамеек, разыскала глазами моего дедушку — маленького бледного Франца Брюхера — и спросила его громким голосом, прозвучавшим на всю церковь:

— Почему ты не взял кофе для своей матери?

И мой дедушка встал и ответил:

— Потому что вы должны мне столько денег, сколько стоят пять килограммов кофе.

Он вынул из своего кармана пять камешков, показал их молодой женщине и сказал:

— Вот столько — одной десятой килограмма — не хватает на каждый килограмм вашей справедливости.

И прежде чем женщина смогла что-либо ответить на это, мужчины и женщины в церкви запели:

— «Земная справедливость, о господь, убила тебя...»

В то время как Балеки находились еще в церкви, Вильгельм Фола — браконьер — проник в маленькую каморку и унес весы и большую толстую книгу в кожаном переплете, в которой был записан каждый килограмм грибов, каждый килограмм ромашки и все, что Балеки скупали в деревне. И всю вторую половину первого дня нового года мужчины из деревни просидели у моих предков, присчитывая к каждому десяти килограммам еще один килограмм, тот, на который их обвешивали Балеки. И когда выяснилось, что их обсчитали таким образом на много тысяч талеров,— а конца счету все еще не было видно,— прибыли жандармы, посланные окружным начальником. Стреляя, они ввалились с саблями наголо в комнату моего прадедушки и захватили весы и книгу. Они убили сестру дедушки, маленькую Людмилу, и ранили нескольких мужчин. Одного из жандармов заколол Вильгельм Фола — браконьер.

Взбунтовалась не только наша деревня, но и Блаугау и Бернау. Почти целую неделю не работали льняные мануфактуры. Прибыло много жандармов, которые угрожали мужчинам и женщинам тюрьмой, и Балеки вынудили священника продемонстрировать в школе перед всем народом весы, чтобы доказать, что стрелка справедливости правильно показывала вес. Мужчины и женщины снова отправились трепать лен, но никто не пошел в школу, чтобы поглядеть на священника: он стоял совсем один со своими гирями, весами и пакетиками с кофе, беспомощный и грустный. Дети вновь собирали грибы, ромашку, тмин и травы. Но каждое воскресенье, как только Балеки выходили из своего замка, они слышали:

— «Земная справедливость, о господь, убила тебя...»

Так продолжалось до тех пор, пока окружной начальник не приказал объявить во всех деревнях, что петь это запрещается.

Родители моего дедушки вынуждены были покинуть деревню, покинуть свежую могилу своей маленькой дочери. Они стали корзинщиками, но никогда не жили подолгу на одном месте, потому что им

было больно видеть, как повсюду стрелка весов отклонялась от черты справедливости. Они брели за повозкой, которая медленно двигалась по шоссе, таща за собой худую козу. И тот, кто проходил мимо, слышал иногда, как они пели запрещенный стих. И если их спрашивали, то они рассказывали о Балеках фон Билган, чья справедливость на одну десятую не дотянула до полного веса. Но почти никто не хотел слушать моих предков.

1952

АНГЕЛ

Большой мраморный ангел безмолвствовал, хотя священник смотрел на него и словно бы даже обращался к нему; ангел лежал лицом в грязь, и при виде его отбитого затылка — а именно затылком он был раньше прикреплен к колонне — казалось, что его убили, а может, прогнали на землю — плакать или пить.

Он лежал, уткнувшись лицом в грязную лужу, его крутые локоны были заляпаны грязью, на округлую щеку налипла глина, и только голубоватое ухо было безукоризненно чистым; рядом валялся обломок его меча: длинный кусок мрамора, словно выброшенный им за ненадобностью.

Впечатление было такое, будто он прислушивается, и никто не мог бы сказать, что выражает его лицо: боль или насмешку. Он безмолвствовал. На спине его мало-помалу собиралась лужица, подошвы влажно блестели. Иногда священник, переминаясь с ноги на ногу, приближался к нему, и тогда всем казалось, что ангел целует священнику ноги, но это только казалось, он не поднимал лица из грязи. Он лежал, как положено по уставу, под прикрытием земляного вала, ни дать ни взять солдат.

— И вот теперь,— кричал священник,— теперь нам хочется думать, что это мы достойны скорби, а не она,— он простер свои белые руки к склепу, где между двух ионических колонн стоял гроб под черным покровом, по золотым кистям которого стучали капли дождя.— Нам хочется думать, что смерть — это начало жизни.

Служка, стоявший позади священника, судорожно сжимал роговую ручку зонта, изо всех сил стараясь

так держать зонт, чтобы поспевать за движениями священника, но риторические повороты были иной раз столь внезапны, что служка промахивался. Тогда дождевые капли падали на голову священника и тот оборачивался, бросая уничтожающие взгляды на бледного юношу, державшего над ним зонт, как балдахин.

— Мы полагаем,— кричал священник мраморному ангелу,— что мы всегда стоим на пороге смерти. Так обратимся же мыслями к ней, нашей дорогой покойнице, одаренной всеми земными благами, жившей в крепкой христианской семье, которой наш город стольким обязан: как внезапно настиг ее зов господя, пославшего ей незримого вестника...

На мгновение он умолк, пораженный. Ему почудилось, что голубоватая, безукоризненно чистая мраморная щека дрогнула, словно от улыбки, и священник поднял испуганный взгляд, ища в скоплении зонтов самые дорогие, шелковые зонты.

— Как поразила всю семью весть о ее внезапной кончине.

Глаза его блуждали по зонтам, пока не приметили группу людей, головы которых поливал дождь.

— Как скорбят о ней бедняки, потерявшие в ней верную и чуткую помощницу. Так не преминем же всегда молиться за упокой ее души, все мы, которых в любой момент может настичь незримый вестник, которого нам пошлет господь. Аминь. Амины! — прокричал он еще раз над мраморным ухом ангела.

— Амины! — возгласила толпа, и глухой ропот эхом донесся из маленькой церкви.

Медленно погружался в грязь мраморный ангел, его округлые щеки вдавились в глину, а его безукоризненно чистое ухо залепило жидкой грязью.

Псаломщик в церкви тихо отозвался на латинские песнопения священника, и все увидели, что священник на мгновение растерялся, не зная, куда следует бросить первую лопату раскисшей земли. Он швырнул землю на гроб, и комья глины рассыпались по мраморным плитам.

Ангел безмолвствовал. Под тяжестью двух мужчин он еще глубже ушел в землю, его роскошные локоны тонули в чавкающей грязи, а обломки рук все больше впивались в глину.

Мне исполнилось тринадцать лет, когда меня провозгласили королем Капоты. Я как раз сидел в своей комнате и в отметке «неудовлетворительно» под сочинением стирал буквы «н» и «е». Мой отец Свин Ин I Капотский уехал на месяц охотиться в горы, и я должен был послать ему свое сочинение с королевским гонцом. Я надеялся на плохое освещение охотничьего домика и усердно тер, когда внезапно услышал перед дворцом выкрики: «Да здравствует Свин Ин Второй».

Вскоре в комнату влетел мой камердинер, бухнулся у порога на колени и подобострастно зашептал: «Ваше Величество, соблаговолите не держать на меня зла за то, что я в прошлый раз, когда Ваше Величество закурили, доложил об этом господину премьер-министру».

От чрезмерной преданности камердинера мне стало не по себе, я выставил его за дверь и стал тереть дальше. Мой домашний учитель имел обыкновение ставить отметки красными чернилами. В тот самый момент, когда в тетради образовалась дырка, меня снова оторвали от дела: вошел премьер-министр, опустился в дверях на колени и выкрикнул: «Свин Ину Второму ура! Трижды ура!» И добавил: «Ваше Величество, народ жаждет Вас лицезреть».

Я засмутился, положил резинку, отряхнул с ладоней ошметки и спросил: «Почему народ жаждет меня лицезреть?»

— Потому что Вы король.

— С каких это пор?

— Почти полчаса. Вашего всемиростивейшего баяшку застрелил на охоте бесак (бесак — это сокращенно бешеный садист Капоты).

— Ох, эти бесаки! — закричал я, после чего последовал за премьер-министром и показался с балкона народу.

Я улыбался, размахивал руками и очень смущался.

Эта стихийная манифестация продолжалась два часа. Народ разошелся только вечером, когда стемнело, а через несколько часов люди снова прошли вокруг дворца в факельном шествии.

Я вернулся в свою комнату, порвал тетрадь для сочинений, а клочки выбросил во внутренний двор королевского дворца. Там — как я узнал позже —

их подобрали коллекционеры и продали за границу, где они теперь хранятся под стеклом, как доказательство моей слабости в правописании.

Наступили трудные месяцы: бесаки попытались бунтовать, но их усмирили косаки (кроткие садисты Капоты) и войска. После погребения моего отца я должен был принимать участие в заседаниях парламента и подписывать законы, но в общем и целом мне понравилось быть монархом, так как теперь я смог применять против домашнего учителя другие методы.

Например, на утреннем уроке он спрашивал меня: «Не соблаговолит ли Ваше Величество рассказать мне правила обращения с неправильной дробью?» Я отвечал: «Нет, не соблаговолю», и он ничего не мог со мной поделаться. Или же он говорил: «Сочтет ли Ваше Величество невозможной мою просьбу к Вашему Величеству изложить мне — на двух, трех страницах — обстоятельства, побудившие Телля убить Гесслера?» Я отвечал: «Да, сочту невозможной» и требовал, чтобы он сам рассказывал мне об этих обстоятельствах.

Таким способом, не слишком утруждая себя, я получил некоторые знания, сжег все без исключения учебники и тетради и предался своим излюбленным занятиям: гонял мяч, бросал перочинный нож в дверную филенку, читал детективные романы и подолгу беседовал с директором королевского кино. Я повелел приобрести мои любимые кинофильмы и выступил в парламенте в поддержку школьной реформы.

Это были восхитительные времена, хотя заседания в парламенте и утомляли меня. Мне удалось прикинуться печальным юным королем-подростком, и я во всем доверился премьер-министру Пельцеру, который был другом моего отца и двоюродным братом умершей матери.

Но через три месяца Пельцер потребовал, чтобы я женился. Он сказал: «Ваше Величество, Вы должны служить примером для народа». Женитьбы я не боялся, плохо было только то, что Пельцер навязывал мне свою одиннадцатилетнюю дочь Ядвигу, худенькую, невысокого роста девочку, часто игравшую во дворе в мяч. Она слыла дурочкой, второй год сидела в пятом классе, эдакая злючка без кровинки в лице. Я попросил Пельцера дать мне время на обдумывание, не на шутку загрустил, часами лежал в своей комнате на подоконнике и глядел на Ядвигу, игравшую или в мяч, или

в классы. Она чуть принарядилась, то и дело посматривала в мою сторону и улыбалась. Но улыбка ее казалась мне неестественной.

Когда время на обдумывание истекло, Пельцер в парадном мундире предстал передо мной, здоровенный детина с желтым лицом, черной бородой и сверкающими глазами. «Ваше Величество,— сказал он,— соблаговолите сообщить мне Ваше решение. Не окажется ли Ваше Величество честь моей дочери?» Стоило мне без обиняков произнести «нет», как произошло нечто ужасное: Пельцер сорвал с мундира эполеты и позументы, швырнул мне в ноги портфель — из искусственной кожи — и заорал: «Вот она — благодарность королей Капоты!»

Что тут было делать? Без Пельцера я не мог и шагу ступить. Решившись, я произнес: «Я прошу у вас руки Ядвиги».

Пельцер упал на колени, пылко облобызал мои ботинки, подобрал эполеты, позументы и портфель из искусственной кожи.

Нас обвенчали в гульдебахском кафедральном соборе. Народ получил пиво и колбасу, каждому досталось по восемь сигарет и, по моему личному настоянию, по два бесплатных билета на карусели; восемь дней вокруг дворца не прекращалось веселье. Теперь я помогал Ядвиге делать уроки, мы играли в мяч, играли в классы, вместе совершали прогулки верхом, заказывали, стоило нам только захотеть, марципаны из королевской кондитерской, ходили в королевский кино-театр. Мне все еще нравилось быть монархом, но одно пренеприятное происшествие навсегда положило конец моей карьере.

Когда мне исполнилось четырнадцать, меня произвели в полковники и назначили командиром 8-го кавалерийского полка. Ядвигу произвели в майоры. Мы должны были снова и снова объезжать верхом фронт полка, посещать вечеринки в казино, а по великим праздникам вешать ордена на грудь отличившихся солдат. Я сам получил уйму орденов. Но потом случилась эта история с Поскопекком.

Поскопек, рядовой четвертого эскадрона моего полка, в один из воскресных вечеров дезертировал, чтобы удрать за границу вслед за цирковой наездницей. Его поймали, посадили под арест, а военно-полевой суд вынес ему смертный приговор. Я, как командир

полка, должен был утвердить приговор, но вместо этого просто сделал внизу приписку: «Помиловать, посадить под арест на четырнадцать суток. Свин Ин II».

Ужас, что тут началось, все офицеры полка сорвали с себя эполеты, позументы и ордена и приказали молоденькому лейтенанту разбросать их в моей комнате. Вся армия Капоты присоединилась к мятежникам, и к вечеру этого же дня моя комната была завалена эполетами, позументами и орденами сверху донизу. Это выглядело отвратительно.

Казалось, совсем недавно народ восторженно приветствовал меня, но уже ночью я получил сообщение от Пельцера, что вся армия перешла на сторону бесаков. Взрывы, стрельба, дикий стук пулеметов разрывали тишину вокруг дворца. Правда, косаки прислали мне личную охрану, но Пельцер этой же ночью переметнулся на сторону бесаков, и я вместе с Ядвигой вынужден был бежать.

Мы наспех собрали одежду, деньги и другие ценности, с трудом добрались на реквизированном косаками такси до пограничного вокзала соседнего государства, сели, изнемогая от усталости, в спальный вагон второго класса и покатали на запад.

С капотской границы доносились выстрелы, дикие вопли — страшная музыка восстания.

После четырех дней пути мы вышли в городе, который назывался Викельхайм. Смутные воспоминания об уроках географии говорили мне, что это столица соседнего государства.

В пути Ядвига и я открыли для себя и начали ценить такие вещи, как запах железной дороги, горький и ароматный, вкус колбасок на незнакомых станциях; я курил сколько моей душе было угодно, а Ядвига хорошела час от часу, потому что освободилась от груза школьных заданий.

На второй день нашего пребывания в Викельхайме по всему городу расклеили афиши, привлечшие наше внимание: «Цирк Хунке — знаменитая наездница Хула и Юрген Поскопек». «Свин Ин, — разволновалась Ядвига, — подумай о нашем будущем, Поскопек тебя выручит».

В нашу гостиницу каждый час поступали телеграммы из Капоты о победе косаков, расстреле Пельцера, реорганизации армии.

Новый премьер-министр — вождь косаков Шмидт —

призывал меня вернуться и снова принять из рук народа стальную корону королей Капоты.

Несколько дней я колебался, но в конце концов страх Ядвиги перед школьными заданиями взял верх, я пошел в цирк Хунке и спросил Поскопека, он обрадовался мне от всей души: «Спаситель мой,— кричал он, стоя в дверях своего вагончика,— что я могу для вас сделать?» — «Раздобудьте мне работу»,— скромно сказал я.

Поскопек был тронут, он похлопотал за меня перед господином Хунке, после чего я продавал в цирке Хунке сначала лимонад, потом сигареты, а через некоторое время гуляш. Я получил жилой вагончик, а вскоре — должность кассира. Я принял фамилию Тюк, Вильгельм Тюк, и телеграммы из Капоты больше не нарушали мой покой.

Меня посчитали умершим, пропавшим без вести, в то время как мы с Ядвигой, а она все хорошела и хорошела, колесили землю в жилом вагончике цирка Хунке. Я вдыхал ароматы чужих стран, изучал их, радовался искреннему доверию ко мне господина Хунке. И если бы Поскопек то и дело не заходил ко мне и не рассказывал о Капоте, а Хула, красавица-наездница, не переставала бы меня уверять, что ее муж обязан жизнью мне, я и вообще не вспоминал бы больше о том, что был когда-то королем Капоты.

Однако недавно я обнаружил подлинное подтверждение моей прежней королевской жизни.

Как-то раз на гастролях в Мадриде мы с Ядвигой бродили утром по городу и обратили внимание на большое серое здание с надписью «Национальный музей». «Давай зайдём»,— предложила Ядвига, и мы вошли в музей, а там и в большую отдаленную залу, на дверях которой была надпись: «Графология».

Ничего не подозревая, мы рассматривали рукописи разных президентов и королей, пока не добрались до стеклянной витрины с приклеенной к ней узкой белой полоской бумаги: «Королевство Капота, последние два года — республика». Я увидел рукопись моего деда Вука XL, отрывок из знаменитого капотского манифеста, изданного им собственноручно, обнаружил листок из охотничьих дневников моего отца и, наконец, клочок своей школьной тетради, кусок грязной бумаги, на котором стояло: «Дождь приносит благодать». Мне стало стыдно, я обернулся к Ядвиге, но она

только улыбнулась и сказала: «С этим теперь покончено, навсегда».

Мы быстро ушли из музея, был уже час дня, в три часа начиналось представление, в два часа я должен был открывать кассу.

1953

БЛЕДНАЯ АННА

С войны я вернулся только весной 1950 года и не нашел в нашем городе ни одного знакомого. К счастью, родители оставили мне в наследство немного денег. Я снял комнату и целые дни лежал на кровати, курил и ждал, а чего ждал, сам не знаю. Работать мне не хотелось. Я давал хозяйке деньги, она покупала продукты и готовила еду. Всякий раз, когда она приносила кофе или обед, она оставалась в моей комнате дольше, чем мне хотелось бы. Ее сын был убит в деревушке, которая называлась Калиновка, и когда она входила ко мне, она ставила поднос на стол и направлялась в тот темный угол, где стояла моя кровать. Обычно я лежал в каком-то полусне, много курил и тушил докуренные сигареты прямо о стену, и поэтому стена над кроватью вскоре оказалась вся в черных пятнах. Хозяйка моя была на редкость худая, и когда ее бледное изможденное лицо вдруг возникало в полумраке над моей кроватью, я пугался. Сперва я думал, что она сумасшедшая, потому что у нее были какие-то странные, белесые и очень большие глаза и она всякий раз спрашивала меня о своем сыне.

— Вы уверены, что не знали его? Деревня называется Калиновка, неужели вы там не были?

Но я никогда не слышал о деревне, которая называется Калиновка, и я неизменно поворачивался лицом к стене и отвечал:

— Нет, я в самом деле не помню такого места.

Но хозяйка моя не была сумасшедшей, напротив, она любила порядок, и мне было больно, когда она задавала мне вопросы о сыне. А спрашивала она о нем по два-три раза в день, и когда я заходил к ней на кухню, она мне всегда показывала его портрет, вернее, цветную фотографию, которая висела над диваном: смеющийся белобрысый парень в парадной форме пехотинца.

— Его фотографировали в гарнизоне,— объясняла она мне всякий раз,— перед самой отправкой на фронт.

Это был поясной портрет: солдат в каске на фоне бутафорского замка, увитого бутафорским плющом.

— Он работал трамвайным кондуктором,— в который раз рассказывала мне моя хозяйка,— старательный был парень.

И затем она всегда протягивала мне картонную коробку с фотографиями, которая стояла у нее на ночном столике, заваленном лоскутками для заплат и моточками штопки. И мне приходилось одну за другой перебирать очень много карточек ее сына: групповые снимки, сделанные в школе — в первом ряду всегда кто-нибудь сидел, зажав между коленями грифельную доску, на которой было написано сперва «VI», потом «VII» и, наконец, «VIII»; перехваченные красной резинкой, отдельно хранились фотографии сына во время причастия: мальчик в черном, похожем на фрак сюртуке, с гигантской свечой в руках стоял перед транспарантом, на котором была изображена золотая чаша; потом шли фотографии, где он был запечатлен у токарного станка: чумазый парнишка — ученик слесаря — с напильником в руках.

— Эта работа была для него слишком тяжелой,— неизменно заключала хозяйка и показывала мне его последний снимок, перед тем как он стал солдатом: он был в форме трамвайного кондуктора и стоял у вагона девятого маршрута на конечной остановке, там, где трамвай делает кольцо, и я узнавал ларек, где продают лимонад и где я до войны много раз покупал сигареты; узнавал я и тополя, которые все еще там стоят, и виллу с золотыми львами у входа, которых уже нет, и я вспоминал девушку, о которой думал на войне: красивую, с узкими глазами и бледным лицом. Она часто садилась в девятый номер на конечной остановке.

Я всегда подолгу разглядывал фотографию, которая изображала сына моей хозяйки на конечной остановке девятого, и думал в это время о многом: о девушке и о мыловаренной фабрике, на которой я тогда работал, и я словно слышал лязг трамвая, видел красный лимонад, который пил в жару в том самом ларьке, и зеленую рекламу сигарет, и снова девушку.

— Может быть,— допытывалась моя хозяйка,— может быть, вы все-таки знали его?

Я качал головой и прятал этот снимок в картонную

коробку. Он был отпечатан на глянцевой бумаге и казался еще новым, хоть ему уже было восемь лет.

— Нет, нет,— повторял я.— И Калиновку я не знаю. В самом деле, не знаю.

Мне часто приходилось бывать у нее на кухне, а хозяйка часто заглядывала ко мне в комнату, и так уж получалось, что целый день я думал о том, что хотел забыть,— о войне, и я стряхивал пепел за кровать и гасил окурки о стену.

Иногда по вечерам, лежа на кровати, я прислушивался к шагам девушки в соседней комнате или к брани югослава, жившего в каморке при кухне, который, входя, всегда искал выключатель.

Я прожил там уже недели три и за это время по меньшей мере раз пятьдесят разглядывал фотографию Карла на конечной остановке девятого трамвая, как вдруг заметил, что вагон, перед которым он стоял с кондукторской сумкой на боку и улыбался, не был пуст. Я впервые внимательно взгляделся в карточку и увидел, что в вагоне сидит смеющаяся девушка. Это была та самая красивая девушка, о которой я так часто думал на войне. Хозяйка подошла ко мне, внимательно посмотрела мне в лицо и сказала:

— Теперь вы его узнали, да?

Затем она встала за мой стул и через мое плечо уставилась в фотографию, а из ее передника — она его придерживала одной рукой — подымался и обдавал меня сзади запах зеленого горошка.

— Нет,— тихо ответил я.— Я узнал девушку.

— Девушку? — переспросила она.— Это была его невеста, но, может быть, оно и к лучшему, что он ее больше не увидел...

— Почему? — спросил я.

Она не ответила, отошла от меня, села на стул у окна и стала лущить стручки гороха. Потом, не глядя на меня, спросила:

— Вы знали эту девушку?

Крепко сжимая в руке фотографию, я поглядел на хозяйку и рассказал ей о мыловаренной фабрике, о конечной остановке девятого номера и о красивой девушке, которая там всегда садилась.

— И это все?

— Да,— ответил я.

Она высыпала горошек из передника в сито, открыла

кран и долго стояла, повернувшись ко мне своей узкой спиной.

— Когда вы ее увидите, вы поймете, почему я сказала: к лучшему, что он ее больше не видел.

— Я ее увижу? — переспросил я.

Она вытерла руки о передник, подошла ко мне и осторожно взяла у меня из рук фотографию. Лицо хозяйки, казалось, стало еще уже, а глаза глядели куда-то мимо меня; она тихонько положила мне руку на плечо.

— Анна живет в соседней с вами комнате. Мы зовем ее Бледная Анна — у нее лицо белое как полотно... Вы действительно ее еще не видели?

— Нет, — сказал я, — я ее еще не видел, только несколько раз слышал ее шаги. Что же с ней случилось?

— Я не люблю об этом говорить. Но уж лучше вам это знать. Ее лицо изуродовано — оно все в шрамах. Взрывной волной ее швырнуло на стеклянную витрину. Вы ее не узнаете.

Вечером я долго ждал. Наконец я услышал шаги в прихожей. Но на этот раз меня постигло разочарование — долговязый югослав удивленно поглядел на меня, когда я как угорелый выскочил ему навстречу. В смущении я сказал: «Добрый вечер», — и вернулся к себе в комнату.

Я пытался представить себе Анну, изуродованную шрамами, но у меня ничего не получалось, а когда я мысленно видел ее лицо, оно было, как и прежде, красивое, хотя и пересеченное шрамами. Я думал о мыловаренной фабрике, о родителях и о другой девушке, с которой я в то время часто встречался. Ее звали Элизабет, но она называла себя Мути, и когда я ее целовал, она всегда смеялась, и я казался себе болваном. С фронта я писал ей открытки, а она посылала мне посылки с коржиками, которые сама пекла, но дорогой коржики всегда превращались в труху, а еще она посылала мне газеты и папиросы, а в одном из своих писем написала: «Вы победите, и я так горжусь, что ты в этом участвуешь». Но я сам ничуть не гордился тем, что в этом участвую, а когда приехал в отпуск, не написал ей, а стал встречаться с дочкой папиросника, который жил в нашем доме. Я давал ей мыло, которое получал на фабрике, а она давала мне за это сигареты, и мы вместе ходили в кино и на танцы, а однажды, когда ее родителей не было дома, она разрешила мне

подняться к ней в комнату, и в темноте я повалил ее на кушетку, но когда я склонился над ней, она повернула выключатель и лукаво мне улыбнулась, и в вспыхнувшем резком свете я увидел на стене цветной портрет Гитлера, а вокруг него на розовых обоях в форме сердца были приколоты кнопками фотографии мужчин с непреклонными лицами. Все они были в касках, все явно вырезаны из иллюстрированных журналов. Я поднялся с кушетки, на которой лежала девушка, закурил и ушел. Потом, уже снова на фронте, я получил открытки от обеих девушек, обе они писали, что я плохо себя вел, но я им не отвечал...

Я долго ждал Анну, выкурил много сигарет в темноте, многое передумал, а когда наконец услышал, как щелкнул ключ в замке, у меня не хватило духа встать и выйти в переднюю, чтобы увидеть ее лицо. Я слышал, как она отперла дверь, слышал, как она, напевая, ходила взад-вперед по комнате, а потом я вышел в прихожую и принялся ждать. Вдруг у нее стало тихо, она больше не ходила взад-вперед и не напевала больше, а я боялся постучать к ней. Я слышал, как долговязый югослав, что-то бормоча, шагал у себя, слышал, как в кухне у хозяйки кипел кофейник, но в комнате Анны была полная тишина, и сквозь открытую дверь своей я видел на обоях черные пятна от несметного количества потушенных сигарет.

Долговязый югослав, видимо, прилег, я больше не слышал его шагов, слышал только, что он продолжает что-то бормотать, вода на кухне перестала кипеть, и я услышал, как звякнула крышка кофейника, когда хозяйка его закрывала. В комнате Анны было по-прежнему тихо, и мне вдруг пришло в голову, что она, наверное, потом мне расскажет, о чем она думала, пока я стоял перед ее дверью, и она в самом деле потом мне это рассказала.

Я глядел на картину, висевшую возле двери. На ней было изображено серебристое сверкающее озеро, из которого вынырнула русалка с мокрыми белокурыми волосами и завлекающе улыбалась крестьянскому пареньку, притаившемуся за очень зелеными кустами. Я видел половину левой груди русалки, у нее была очень белая и чуть-чуть слишком длинная шея.

Не могу сказать точно когда, но потом я коснулся дверной ручки и, прежде чем я нажал на нее и толкнул дверь, я уже знал, что выиграл Анну. Ее лицо было

покрыто мелкими, голубовато мерцающими шрамами. Из ее комнаты потянуло запахом грибов, которые тушились на сковородке; я широко распахнул дверь, положил ей руку на плечо и попытался улыбнуться.

1953

СТАНЦИЯ ТИБТЕН

Бессердечные люди не в силах понять, почему я с таким старанием и смирением исполняю работу, которую они считают недостойной меня. Быть может, эта работа и в самом деле не соответствует моему образованию и ее не прославляла ни одна из тех песен, которые мне пели, когда я еще лежал в колыбельке, зато мне она по душе, да и кормит меня: я сообщаю людям, где они находятся. Моим современникам, которые садятся вечером в своем родном городе в поезд, уносящий их в чужие края, и которые потом просыпаются среди ночи на нашем вокзале и растерянно вглядываются во тьму, не зная, проехали ли они нужную станцию, а может быть, еще не доехали, или как раз находятся у цели (ведь в нашем городе есть разные достопримечательности, привлекающие немало туристов), — всем им, находящимся в пути, я сообщаю, куда они прибыли. Я включаю микрофон и, как только поезд подходит к перрону и паровоз затихает, медленно бросаю в ночь одни и те же слова: «Город Тибтен — вы прибыли в Тибтен. Желающие посетить гробницу Тибурта, выходите здесь!» Эхо моего голоса раскатывается под сводами вокзала и возвращается к моей кабинке: гулкий голос, громыхающий из тьмы, — кажется, что он вещает нечто весьма сомнительное, хотя в действительности все, что я говорю, сущая правда.

Услышав мое сообщение, некоторые пассажиры поспешно хватают чемоданы и впопыхах выскакивают на тускло освещенную платформу, ибо Тибтен — цель их путешествия; мне видно, как они по лестнице спускаются в тоннель, а потом снова появляются уже на платформе номер один и у входа в город отдают билеты заспанному контролеру. По делам люди редко приезжают ночью, и среди моих пассажиров почти нет представителей фирм, прибывших сюда для закупки

свинца на местных рудниках. Ночные путешественники в большинстве своем туристы, которых привлекает в нашем городе гробница Тибурта, римского юноши, покончившего с собой 1800 лет тому назад из-за любви к одной здешней красавице. «Он был еще мальчик, — начертано на его надгробье, которое выставлено в нашем краеведческом музее, — но любовь свела его в могилу». Он приехал в Тибтен из Рима по поручению своего отца, поставщика римского войска, чтобы закупить свинец.

Конечно, мне незачем было учиться на пяти факультетах и получать два университетских диплома, чтобы из ночи в ночь вещать в темноту: «Город Тибтен — вы прибыли в Тибтен». И все же моя работа дает мне удовлетворение. Я говорю эту фразу тихо, так, чтобы не разбудить спящих, но все же достаточно громко, чтобы бодрствующие ее не прослушали, и голос мой звучит с той настойчивостью, которая необходима, чтобы все дремлющие очнулись и подумали, не следует ли им сойти в Тибтене.

Около полудня, когда я просыпаюсь и гляжу в окно, я вижу путешественников, последовавших ночью моему зову, — они идут группами по нашим улицам, до зубов вооруженные проспектами и путеводителями, которые наше рекламное бюро щедро рассылает по всему свету. Во время завтрака они уже успели прочесть, что название нашего города произошло от латинского слова «Тибуртинум», видоизменившегося на протяжении веков до своего нынешнего звучания «Тибтен», и теперь они направляются в краеведческий музей, чтобы полюбоваться надгробным памятником, который соорудили римскому Вертеру 1800 лет назад: барельеф из красноватого песчаника, изображающий мальчика, тщетно простирающего руки к удаляющейся возлюбленной. «Он был еще мальчик, но любовь свела его в могилу...» О его нежном возрасте свидетельствуют и те предметы, которые были найдены в гробнице: фигурки из слоновой кости — два слоника, лошадка и дог, — которые, как утверждает Бруслер в своем труде «Гипотеза о гробнице Тибурта», были чем-то вроде шахматных фигур. Однако эта гипотеза не представляется мне убедительной, я уверен, что маленький Тибурт просто играл ими: эти фигурки из слоновой кости как две капли воды похожи на те, что дают нам в придачу, когда мы покупаем не менее полфунта мар-

гарина, да и назначение у них одно и то же: это игрушки для детей...

Быть может, мне следовало бы здесь сослаться на выдающееся произведение нашего земляка, писателя Фолькера фон Фолькерсена, который написал великолепный роман, озаглавленный: «Тибурт, или Судьба римлянина, погибшего в нашем городе». Однако я считаю, что роман Фолькерсена вводит читателей в заблуждение, поскольку автор его придерживается точки зрения Бруслера на назначение найденных фигурок.

Пора мне наконец сделать это признание — я являюсь владельцем тех фигурок, которые нашли в могиле Тибурта; я выкрал их из музея, заменив другими, каждую из которых получил в придачу при покупке полфунта маргарина: двумя слониками, лошадкой и догом — они того же цвета, что и звери Тибурта, у них тот же вес и те же размеры, и они — а это представляется мне самым важным — имеют то же назначение.

Итак, к нам приезжают путешественники со всего света, чтобы поглядеть на надгробье Тибурта и на его игрушки. Рекламные плакаты с текстом: «Come to Tibten» висят в залах ожидания всего англосаксонского мира, и когда я ночью твержу одни и те же фразы: «Город Тибтен! Вы прибыли в Тибтен. Желаящие посетить гробницу Тибурта, выходите здесь!» — я выманиваю из поезда всех, кого соблазнили наши рекламные плакаты, украшающие вокзалы провинциальных городов. Правда, любопытные осматривают надгробье из песчаника, историческая подлинность которого не вызывает сомнений, любят трогательным профилем отрока-римлянина; любовь свела его в могилу — он бросился в затопленную штольню на свинцовом руднике. А потом их взгляд скользит по фигуркам зверей: двум слоникам, лошадке и догу — они-то и могли бы помочь моим современникам постигнуть мудрость мира. Но, увы, этого не происходит. Взволнованные дамы, и наши и иностранки, засыпают могилу Тибурта розами, поэты посвящают ему стихи. Мои фигурки: слоники, лошадка и дог (мне пришлось съесть два фунта маргарина, чтобы заполучить их) — тоже стали предметами лирических излияний: «Играл он, как все дети, с малюткой догом и конем-малюткой...» — звучит в памяти строчка из стихотворения одного неизвестного лирика. Итак, они лежат на красном

бархате витрины под толстым стеклом в нашем краеведческом музее — бесплатные сувениры фирмы «Яичный маргарин Клуksеннера», вещественные доказательства потребления мною этого продукта. Часто после обеда, перед тем как отправиться на работу, я захожу на минутку в краеведческий музей и смотрю на них; они выглядят совсем подлинными, потемневшими от времени и решительно ничем не отличаются от тех, что валяются в ящике моего письменного стола, ибо настоящие фигурки я сунул туда же, где хранил подарки фирмы «Яичный маргарин Клуksеннера», и теперь тщетно пытаюсь отличить их друг от друга.

Из музея я в глубокой задумчивости иду на работу, вешаю на вешалку шляпу, снимаю пиджак, прячу бутерброды в ящик, раскладываю на столе папиросную бумагу, коробочку с табаком, газету и, когда к перрону подкатывает поезд, говорю те фразы, которые обязан говорить в микрофон по долгу службы: «Город Тибтен... Вы прибыли в Тибтен. Желающие посетить гробницу Тибурта, выходите здесь!..» Я произношу эти фразы тихо, так, чтобы не разбудить спящих, но все же достаточно громко, чтобы бодрствующие ее не прослушали, а те, кто дремлет, очнулись и подумали, не следует ли им сойти в Тибтене.

И я не понимаю тех людей, которые считают эту работу недостойной меня...

1953

ВЫРАСТИЛ ГРУШУ У СЕБЯ В САДУ

Особые обстоятельства вынуждают меня выдать тайну, которую я намеревался хранить до конца дней своих: я состою членом общества, вернее сказать, тайного союза, хоть я и зарекался вступать в подобные организации. Меня это очень мучает, но интересы подрастающей молодежи и та нечеловеческая серьезность, с которой мой сосед охраняет свои груши, побуждают меня к этому признанию, которое я и делаю, краснея. Я — риббекианец, и в соответствии с уставом нашего союза я беру чернила, перо и бумагу, открываю старую школьную хрестоматию и начинаю писать:

«Господин фон Риббек из поместья Риббек вырастил яблоню у себя в саду...» До чего же приятно иногда писать от руки, это требует терпения, заставляет медленно и вдумчиво вчитываться в стихи, а это, в свою очередь, заставляет меня улыбаться, а кому же повредит лишний раз улыбнуться.

Итак, я медленно переписываю балладу и внизу ставлю печать, которой мы — члены Союза риббекианцев — должны были обзавестись: «Вступайте в наш Союз! Мы ни к чему вас не обязываем. Вы должны только десять раз переписать прилагаемые стихи и разослать людям, у которых есть фруктовые деревья. Тогда вы сможете называться риббекианцем. Мы надеемся, что вы окажетесь достойны этого звания».

Я пишу на конверте адрес моего соседа, наклеиваю марку и направляюсь к почтовому ящику. Но ящик висит как раз на заборе этого самого соседа, и когда я открываю желтую пасть ящика, я вижу, как он, мой сосед, стоит на стремянке и указательным пальцем тычет по очереди в каждую висящую на дереве грушу. Нет сомнения, он их пересчитывает!

На следующее утро мы стоим рядом, мой сосед и я, и поджидаем почтальона, этого очень плохо оплачиваемого херувима, чьего очарования не портит даже явное плоскостопие.

Лицо моего соседа, кажется, еще больше пожелтело, губы дрожат, а покрасневшие глаза свидетельствуют о бессонной ночи.

— Это просто неопишимо,— говорит он мне,— какое сейчас происходит падение нравов. Вся нынешняя молодежь — воры и разбойники. Что же будет?

— Будет катастрофа.

— Правда? Вы тоже так считаете?

— Разумеется, ничем хорошим это не кончится. Мы неизбежно скатимся в пропасть. Эта безнадзорность, эти вечные поиски наслаждений.

— И никакого уважения к чужой собственности! Следовало бы... но полиция не спешит вмешиваться. Вы только представьте себе, вчера вечером у меня на дереве было сто тридцать пять груш, а сколько сегодня утром, угадайте?

— Сто тридцать две?

— А вы оптимист. Нет, сто тридцать. Пять спелых груш! Вы только представьте себе! Мне просто страшно.

— Нам остается лишь посыпать голову пеплом.

Добрые нравы ушли в прошлое. Наступают времена...

Но появление почтальона не дает мне закончить фразу. Письмо, вчера опущенное мною в ящик, завершило свой путь, и пройдя через руки тех, кто вынимает почту, сортирует ее, и наконец, разносит, оно попало в руки моего соседа.

Для меня писем не было. Да и кто будет мне писать? Ведь я не активный, а пассивный риббекианец, у меня нет фруктовых деревьев, даже кустика смородины нет, и единственный, кто знает мое имя, это владелец лавки колониальных товаров на углу, который с большой неохотой предоставляет мне кредит, печально наблюдая, как исчезают в моей сумке хлеб из кооперативной пекарни, маргарин и табак мелкой резки; в кредите на настоящие сигареты и красное вино он мне упорно отказывает.

Но пора уже взглянуть на лицо моего соседа: он вскрыл конверт, надел очки и, наморщив лоб, начал читать письмо. Он читает, читает, а я удивляюсь, до чего же длинная эта баллада. Напрасно я жду улыбки на его лице, какое там! Видимо, у него нет ни литературного вкуса, ни чувства юмора. Он снимает очки с таким видом, словно прочел какое-то ничего не значащее объявление, складывает письмо, опять разворачивает, протягивает его мне через забор и говорит:

— Послушайте, ведь вы же этот... как его...

— Писатель,— говорю я.

— Ну да, конечно, вот взгляните, что это такое?

Я немного испугался, так внезапно увидев свой собственный почерк. Может, подумалось мне, он из тех людей, которые все воспринимают только на слух, а визуальные впечатления им недоступны. И я начинаю громко читать: «Господин фон Риббек из поместья Риббек вырастил яблоню у себя в саду...»

— Ах, да я знаю, что там написано!

— А печать внизу вы заметили? Тут же стоит печать: «Вступайте в наш Союз...»

— Да знаю, знаю,— говорит он нетерпеливо, и лицо его становится еще на тон желтее,— но это же бессмыслица, посылать мне такое, когда у меня только груши растут. А тут речь идет о яблоках. И на что люди время тратят!

Ах, вот в чем дело, говорю я себе и складываю письмо. Теперь надо подумать, не должен ли я хода-

тайствовать об изменении устава нашего Союза. Правда, баллада тогда утратит свою мелодию, ведь тут годятся только трехсложные фрукты...

1953

И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО...

Только в середине дня он подумал, что может сдать рождественские подарки для Анны в камеру хранения на вокзале. Он обрадовался мысли, которая позволяла ему не сразу идти домой. С тех пор как Анна перестала с ним разговаривать, он боялся возвращения домой: едва он переступал порог, ее молчание наваливалось на него, как гробовая плита. Раньше он радовался возвращению, так было все два года после свадьбы; он любил ужинать вместе с Анной, разговаривать с ней, потом ложиться спать; но больше всего он любил то время, когда они уже легли, но еще не заснули. Анна засыпала раньше, чем он, потому что она теперь всегда уставала, а он лежал в темноте рядом с ней и прислушивался к ее дыханию; время от времени автомобильные фары бросали лучи света на потолок, свет скользил вниз, когда машины начинали спускаться по улице, полосы яркого желтого света на мгновение очерчивали на стене профиль его спящей жены, потом комната снова погружалась в темноту и оставались только нежные завитки на потолке; узор занавесей, отброшенный светом уличного фонаря.

Он любил этот час больше других часов, потому что чувствовал, как день постепенно отдаляется от него и он медленно погружается в сон, словно в теплую воду.

А сейчас он все еще нерешительно бродит около окошка камеры хранения и видит, что его пакет по-прежнему лежит между красным кожаным чемоданом и оплетенной бутылью. Открытый грузовой лифт, спускающийся с перрона, пуст и покрыт белым снегом; он погружается в серый-серый бетонный колодец камеры хранения, как белый лист бумаги, а человек, обслуживающий этот лифт, шагнув вперед, говорит приемщику багажа:

— Вот теперь наступило настоящее рождество. Снег выпал, то-то ребятишкам раздолье...

Приемщик молча кивнул, наколол на гвоздь корешки квитанций, пересчитал деньги в выдвижном ящике и с подозрением взглянул на Бренига, который сначала достал из кармана багажную квитанцию, а потом снова сложил ее и спрятал. Брениг уже третий раз подходил сюда, доставал квитанцию и снова прятал ее. Его смутил недоверчивый взгляд приемщика, и он побрел к выходу, остановился там и стал смотреть на пустую площадь. Брениг любил снег, любил холод; мальчиком он упоенно вдыхал чистый морозный воздух; вот и сейчас он бросил сигарету и подставил лицо ветру, который нес к вокзалу пушистые и легкие снежные хлопья.

Брениг не закрывал глаз, ему доставляли удовольствие снежинки, налипавшие на ресницы; одни налипали, а другие таяли и, растаяв, стекали по его щекам мелкими каплями.

Мимо него быстро прошла девушка, и, пока она перебегала площадь, он увидел, как ее зеленая шляпка покрылась снегом, и только когда девушка была уже на трамвайной остановке, он заметил у нее в руках красный чемоданчик, который стоял в камере хранения рядом с его пакетом.

«Нет, не следует людям жениться,— подумал Брениг.— Сначала тебя поздравляют, дарят цветы, шлют дурацкие телеграммы, а потом бросают тебя одного. Они спрашивают, обо всем ли вы позаботились: проверяют кухонную утварь, начиная от солонки и кончая плитой, проверяют даже, стоит ли в кухонном шкафу бутылка с патентованной приправой для супа. Они подсчитывают, сможешь ли ты содержать семью, но, что это значит быть семьей, тебе не объясняет никто. Они присылают цветы, по двадцать букетов, в квартире пахнет, как на похоронах, потом бьют на счастье посуду перед дверью, уходят и оставляют тебя одного».

Мимо Бренига прошел мужчина, он был пьян и распевал «Каждый год все снова будет». Брениг не повернул головы и только потом заметил, что пьяный несет в правой руке оплетенную бутылку. Теперь Брениг знал, что его пакет лежит на верхней полке камеры хранения в полном одиночестве.

В пакете — зонтик, две книги и большое пианино из шоколада: белые клавиши из марципана, черные — из грильяжа.

Шоколадное пианино было величиной с большой словарь, и продавщица сказала, что шоколад продержится полгода.

«Может быть, я был слишком молод для женитьбы,— подумал Брениг.— Может, нужно было подождать, пока я стану более серьезным, а Анна не такой серьезной». Но он знал, что и теперь достаточно серьезен, а уж серьезность Анны именно такая, как нужно. Поэтому он и любил ее. Ради часа перед сном он отказывался от кино, от танцев, пропускал деловые свидания. Вечером, когда он лежал в постели, на него нисходил мир и покой, и он часто повторял фразу, которой уже не помнил в точности: «Бог сотворил землю и луну и дал им властвовать над днем и ночью, отделил свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро».

Он даже решил, что заглянет в Библию Анны, чтобы проверить, как там это написано, но все забывал. То, что бог создал день и ночь, казалось Бренигу не менее значительным, чем создание цветов, зверей и человека. Больше всего он любил это время перед сном. Но с тех пор как Анна перестала с ним разговаривать, ее молчание лежало на Брениге, как давящий груз. Если бы она сказала хотя бы «Похолодало» или «Будет дождь», он уже почувствовал бы облегчение. Даже если бы она просто промолвила «Нет! Нет!» или «Да! Да!», даже что-нибудь еще более пустяковое, он был бы счастлив и мысль о возвращении домой не пугала бы его.

Но ее лицо мгновенно становилось каменным, и однажды он вдруг увидел, какой она будет в старости; он испугался, он увидел и самого себя брошенным на тридцать лет вперед в будущее, как в каменную пустыню; он увидел себя старым, с таким лицом, какие наблюдал у пожилых мужчин: изрезанные морщинами горечи, сведенные судорогой подавляемой боли, слегка окрашенные желчью; не лица, а маски, разбросанные в пустыне будней, как черепа.

А иногда Брениг, хотя он знал Анну всего три года, мог представить ее себе девочкой; он видел ее десятилетней девочкой, замечтавшейся над книгой при свете лампы, серьезным подростком с темными глазами под светлыми ресницами; видел, как она с полуоткрытым ртом жмурится над страницей...

Часто, когда она сидела напротив него за столом,

ее лицо вдруг изменялось, как изменяются от потряхивания узоры в калейдоскопе, и он знал, что, когда она была ребенком, она вот так же сидела за столом, осторожно разминая картошку вилкой, с которой медленно капал соус.

Снег совсем залепил ему ресницы, но он еще смог различить цифру «4» на вагоне трамвая, который тихо, как сани, скользил по снегу.

«Может быть, позвонить ей,— подумал Брениг,— попросить, чтобы Мендесы позвали ее к телефону, тогда ей придется поговорить со мной. Сразу же после «четверки» должна прийти «семерка» — последний трамвай в этот вечер». Ему стало холодно. Он медленно пошел по площади, увидел издалека ярко освещенную синюю цифру «7» на номере, нерешительно остановился у будки телефона-автомата, заглянул в витрину, где декораторы заменяли дедов-морозов и рождественских ангелов другими куклами: в витрине появлялись декольтированные дамы с голыми плечами, засыпанными конфетти, серпантин вился у них вокруг запястьев.

Декораторы проворно рассадили у стойки бара фигуры кавалеров с проседью в волнистых волосах, разбросали по полу пробки от шампанского, у одной из кукол сняли крылья и локоны, и Брениг подивился, как быстро можно превратить ангела в бармена. Достаточно надеть ему темный парик, приклеить усы, а на стену повесить рекламу: «Что за Новый год без шампанского?» Рождество еще не успело начаться, а здесь оно уже кончилось.

«А может быть,— подумал Брениг,— Анна тоже слишком молода, ей ведь только двадцать один год». Разглядывая свое отражение в витрине и заметив, что снег покрыл его голову, как маленькая корона — раньше он видел такие снежные короны на столбах заборов,— он подумал, как не правы старые люди, когда говорят о веселой поре юности: нет, в молодости все, что случается, очень серьезно и тяжело, и никто тебе не приходит на помощь. И он вдруг удивился, что не возненавидел Анну из-за ее молчания, не подумал, почему не женился на другой. Все фразы, приготовленные окружающими для подобных случаев: «Попроси прощения», «Разведитесь», «Попробуй все сначала», «Стерпится-слюбится», — все эти фразы ничем не могли ему помочь.

С этим нужно справиться самому, самому, потому что ты не такой, как все, и Анна не такая женщина, как жены других.

Декораторы быстро прибили к стенам карнавальные маски, подвесили гирлянды из хлопушек; уже давно ушла последняя «семерка», а его пакет с подарками для Анны все еще стоял в одиночестве на верхней полке.

«Мне двадцать пять лет,— подумал Брениг,— и за маленький обман — за пустяковый обман, который миллионы мужчин совершают каждый месяц или каждый день, я должен расплачиваться таким тяжелым наказанием: я вижу пустыню своего будущего, я вижу Анну, превратившуюся в сфинкса на краю этой окаменелой пустыни, я вижу себя самого, с окрашенным желтизной горечи лицом, превратившегося в старика».

Да, конечно, бутылка с патентованной приправой для супа будет стоять в шкафу, и солонка будет стоять на своем месте, и его самого сделают заведующим канцелярией, и у него будет возможность содержать свою семью как подобает, но семья его превратится в камень, и он уже никогда не будет, лежа в постели, перед тем как заснуть, благодарить бога за то, что он создал вечер, завершающий день трудов, и он, Брениг, будет посылать молодоженам такие же дурацкие телеграммы, какие посылали когда-то ему...

Других жен такой глупый обман с жалованьем просто насмешил бы; другие женщины знали, что все мужья обманывают своих жен: наверно, это что-то вроде необходимой самообороны, против которой жены изобретают свои собственные обманы; но лицо Анны окаменело. Есть книги о семейной жизни, и он разыскал в этих книгах, что нужно делать, если в браке не все идет так, как следует; но ни в одной из этих книг ничего не было написано о женщине, которая превращается в камень. В этих книгах было написано, что делать, чтобы рождались дети, и что делать, чтобы они не рождались, а кроме этого, в книгах было много прекрасных и торжественных слов, но не хватало самых простых.

Декораторы закончили работу. Серпантин укрепили на проволоке, концы которой тщательно скрыли. Брениг разглядел в глубине магазина декораторов; один уходил, держа под мышкой двух ангелов, другой высыпал еще один пакетик конфетти на голые плечи манекенов

и слегка поправил плакат с надписью: «Что за Новый год без шампанского?»

Брениг стряхнул снег с волос, снова перешел через площадь к вокзалу и, в четвертый раз вынув багажную квитанцию и разгладив ее, вдруг пустился бежать, как будто не мог больше потерять ни одного мгновения. Но окошко выдачи багажа было закрыто, на решетке висело объявление: «Открывается за десять минут перед прибытием или отправлением поезда».

Брениг засмеялся, засмеялся первый раз за все то время, что прошло после полудня, и поглядел на свой пакет, который лежал на верхней полке за решеткой, словно в тюрьме. Расписание висело рядом с окошечком, и он увидел, что следующий поезд прибывает только через час.

«Так долго ждать я не могу, — подумал он, — и сейчас уже поздно, нигде не купишь даже цветов, даже плитки шоколада, какой-нибудь книжки, и последняя «семерка» тоже ушла». Впервые в жизни он решил взять такси; и когда он перебежал через площадь к стоянке, ему вдруг показалось, что он совершает ужасно взрослый, хотя и немного глупый поступок.

Он сидел в машине сзади шофера и держал в руках деньги: 7 марок 10 пфеннигов, все, что у него осталось; он сохранил эти деньги, чтобы купить Анне еще какой-нибудь особенный подарок, но не нашел ничего интересного, и теперь он сидит в машине, держит деньги в руке и смотрит на счетчик, а счетчик выбивает через короткие, через очень короткие, как кажется Бренигу, промежутки времени все новые и новые цифры, и каждый раз, когда счетчик щелкает, Брениг ощущает это где-то в сердце, хотя счетчик показывает всего 2 марки 80 пфеннигов. Я приду домой голодный, усталый как дурак — без цветов, без подарков; а ведь, наверное, в зале ожидания можно было купить по крайней мере плитку шоколада.

Улицы опустели, машина катилась по снегу почти бесшумно, и Брениг видел в домах за освещенными окнами огни на рождественских елках. Рождество, то, чем оно для него было в детстве, то, что он всегда ощущал в этот день, все это казалось ему теперь таким далеким; важное и значительное происходило независимо от календаря, и в ожидающей его каменной пустыне рождество будет таким же днем, как все

остальные, и пасха ничем не будет отличаться от какого-нибудь промозглого дня в ноябре. Если сразу не принять мер, тогда всего-то и останется тридцать, сорок старых календарей, металлические подставки с бумажными корешками от сорванных листков, больше ничего.

Он вздрогнул, когда шофер сказал: «Приехали», а потом почувствовал облегчение, увидев, что счетчик остановился на цифре 3.40. Он нетерпеливо дождался сдачи со своей бумажки в 5 марок, и у него отлегло от сердца, когда он увидел, что наверху в комнате, где рядом с его кроватью стояла кровать Анны, горит свет. Он обещал себе никогда не забывать этот миг облегчения и, доставая ключ от квартиры и вставляя его в замок, снова испытал то же странное чувство, которое охватило его, когда он садился в такси: он показался себе и очень взрослым и немного глупым.

На кухне на столе стояла рождественская елка, а рядом с ней лежали подарки, приготовленные для него: носки, сигареты, авторучка и красивый пестрый календарь, который он сможет повесить в учреждении над своим письменным столом. Молоко было налито в кастрюльку на плите, нужно было только зажечь под ним газ, а рядом на тарелке лежали приготовленные бутерброды. Но так было каждый вечер с тех пор, как Анна с ним не разговаривала, а убранная елка и приготовленные подарки — это было то же самое, что намазанные бутерброды — это был выполненный долг, а Анна всегда выполняет свой долг.

Ему не хотелось молока, и аппетитные бутерброды его не соблазняли. Он вышел в прихожую и сразу же увидел, что Анна погасила свет. Но дверь в спальню была открыта, и он тихо, без особенной надежды спросил, обращаясь в темную комнату: «Анна, ты спишь?»

Он стал ждать, ему показалось, что он ждет долго, что его вопрос упал куда-то в бесконечную глубину и что молчащая темнота в спальне предвещает все то, что ему придется испытать за тридцать или сорок предстоящих лет, и когда он услышал, что Анна сказала: «Нет», он подумал, что ослышался, что это ему показалось, и он заговорил быстро и громко:

— Я сделал ужасную глупость. Подарки для тебя я оставил в камере хранения на вокзале, а когда хотел

их забрать, там было закрыто, и я не стал дожидаться. Ничего, что так получилось?

На этот раз он мог с уверенностью сказать, что действительно услышал ее «Нет», но он услышал, что это «Нет» доносится не из того угла комнаты, где стояли их кровати. Наверное, Анна отодвинула свою к окну.

— Там зонтик, две книги и маленькое пианино из шоколада. Оно размером с большой словарь, и клавиши сделаны из марципана и грильяжа.

Он замолчал, подождал ответа — темная комната молчала. Но когда он спросил: «Ты довольна?» — ответ «Да» прозвучал гораздо быстрее, чем оба прежних «Нет».

Он погасил свет на кухне, разделся в темноте и лег в свою постель: сквозь занавески ему были видны рождественские елки в доме напротив, внизу пели. А он снова чувствовал, что наступил его любимый час, он услышал два раза «Нет» и один раз «Да», и фары автомобилей, поднимавшихся по улице, выхватывали для него из темноты профиль Анны.

1954

В ПОИСКАХ ЧИТАТЕЛЯ

У моего друга своеобразная профессия: не стесняясь, он решил именовать себя писателем на том лишь основании, что ему удалось приобрести некоторые навыки в расстановке знаков препинания и усвоить, хотя и не очень твердо, несколько синтаксических правил, и теперь он целыми днями стучит на машинке, заполняя страницу за страницей литературными упражнениями, а когда страниц набирается достаточно пухлая пачка, он важно называет ее рукописью.

Этой чахлой травой, произрастающей на ниве культуры, он питался много лет, пока не отыскался наконец издатель, напечатавший его книгу. После этого лексикон моего друга пополнился новыми словами: гранка, лицензия, корректура, гонорар и некоторые другие; он произносил их с опасным воодушевлением, они целиком заполнили его мысли, и так нахо-

дившиеся к тому времени в некотором смятении, поскольку жена его ждала первого ребенка. Однако вскоре после выхода книги я застал его в глубоко подавленном состоянии, и то, что он рассказал мне, было действительно печально: за полгода издательство разослало на рецензию бесплатно 350 экземпляров, получило несколько одобрительных отзывов, 13 экземпляров было продано, после чего в активе моего друга оказалось 5 марок 46 пфеннигов. При таких темпах продажи книги он смело мог рассчитывать на то, что взятый в издательстве аванс в размере 800 марок будет погашен в течение ближайших 150 лет.

Я посоветовал ему написать вторую книгу; по выходе она была тепло встречена специалистами, более 400 бесплатных экземпляров послали на рецензию и за полгода продали 29. Предложение написать третью книгу мой друг воспринял как насмешку и, обидевшись, отверг.

Между тем он вошел в историю литературы, и книга, которую написали о нем, разошлась гораздо быстрее, чем его собственные произведения.

Мы не встречались почти полгода. Однажды он снова зашел ко мне и покаялся, что начал писать третью книгу. Я посоветовал напечатать ее на гектографе тиражом 30—50 экземпляров и разослать в книжные магазины. Но запах типографской краски явно вскружил ему голову, кроме того, он уже успел взять в издательстве аванс, на подходе был второй ребенок, и мой друг утверждал, что не может принять на себя ответственность за рост безработицы среди наборщиков, упаковщиков и печатников (он всегда отличался большой чуткостью в социальных вопросах).

Тем временем его литературная деятельность оказалась в поле зрения доброй сотни критиков, вследствие чего было продано более 90 экземпляров его первых двух книжек. Однако в его переписке с критиками, издателями и известными литераторами, принимавшей все больший размах, полностью отсутствовали письма читателей, и мой друг признался мне, что он жаждет услышать голос публики. Вместе с издателем он принял акцию, названную им «В поисках читателя». Во все книжные магазины были посланы письма, содержавшие настоятельную просьбу брать на строгий

учет каждого, кто купит книгу моего друга, и немедленно сообщать об этом издательству с тем, чтобы автор мог наконец установить личный контакт с читателями.

Успех этого мероприятия не заставил себя долго ждать. Спустя четыре недели после начала кампании на севере страны был обнаружен человек, купивший в магазине книгу моего друга. Владелец книжного магазина немедленно телеграфировал в издательство: «Появился покупатель, как быть?» До получения ответа он постарался задержать посетителя, завязать с ним беседу, велел подать кофе и сигареты; покупатель был крайне удивлен, но покорился без сопротивления. К тому времени от издателя поступила ответная «молния»: «Покупателя направьте ко мне, все расходы оплачу». К счастью, было время каникул, и покупатель, оказавшийся школьным учителем, не возражал против бесплатной поездки на юг Германии. Он немедленно отправился в путь, в тот же день прибыл в Эссен, переночевал в лучшей гостинице, на следующее утро заказал обильный завтрак и двинулся далее вдоль берегов прекрасного Рейна через Кёльн, Бонн и Кобленц в Майнц. Будучи натурой художественного склада, он пришел в восторг от Майнца, остался в нем на ночь и лишь в середине следующего дня с удовольствием продолжил свое путешествие. Особенно сильное впечатление произвели на него горы, которые он видел впервые, хотя позднее он признался моему другу, что они вызвали в нем ощущение беспокойства и тревоги. В четыре часа пополудни он добрался наконец до цели, взял на вокзале такси и прибыл в издательство, где за чашкой кофе с пирожными в оживленной беседе с очаровательной супругой издателя очень приятно провел время. Затем его снабдили новой суммой денег и свезли на вокзал, откуда в комфортабельном вагоне второго класса он проследовал в тихий городок, где мой друг отдавался служению музам.

У него уже давно появился на свет второй ребенок. Жена моего друга в этот вечер ушла в кино — развлечение, которое при всей ограниченности средств может время от времени позволить себе жена писателя, — и покупатель застал супруга в ту минуту, когда он подогревал детям молоко к ужину и мурлыкал для их успокоения песенку, в которой довольно часто повто-

рялось не слишком оригинальное словечко «дерьмо». Мой друг восторженно приветствовал гостя, сунул ему в руки кофейную мельницу и быстро покончил со своими родительскими обязанностями. Закипела вода для кофе, и можно было начать беседу. Но оба были крайне застенчивы и долго в молчаливом удивлении рассматривали друг друга, пока наконец мой друг не воскликнул:

— Вы гений, законченный гений!

— Что вы,— мягко отвечал тот,— я полагаю, гений — это вы!

— Ошибаетесь,— возразил мой друг и налил кофе.— Отличительный признак гения — его редкость, а вы — подлинная редкость среди людей!

Гость попытался почтительно возражать, но встретил решительное сопротивление.

— Да, да,— сказал мой друг,— нетрудно написать книгу, судя по тому, как это делают; суший пустяк — найти издателя, но купить книгу — вот, на мой взгляд, поступок истинно гениальный! Прошу вас, берите молоко и сахар.

Гость положил в кофе сахар, подлил молока, после чего вытащил из правого внутреннего кармана пальто книгу, купленную на севере Германии, и попросил автограф.

— При одном условии,— твердо сказал мой друг,— только при условии, что вы, в свою очередь, поставите свой автограф на страницах моей рукописи.

Он снял с полки толстую папку, вытащил оттуда связку исписанных листов, положил перед посетителем и умоляющим голосом произнес:

— Доставьте же мне эту радость!

Гость растерянно вытащил ручку и дрожащей рукой вывел на последней странице: «С искренним уважением — Гюнтер Шлегель».

Но полминуты спустя, пока мой друг еще просушивал чернила перед раскрытой дверцей горящего камина, гость вытащил, на этот раз из левого внутреннего кармана пальто, толстую рукопись и попросил рекомендовать издательству написанный им роман, являющийся, по его мнению, ценным вкладом в современную художественную литературу.

Мой друг говорил мне, что он был глубоко разочарован, на несколько минут лишился дара речи и с чувством большой душевной горечи думал о сидевшем

перед ним человеке. Длительное время они пребывали в молчании, затем мой друг тихо сказал:

— Прошу, очень прошу вас, не делайте этого, вы потеряете присущую вам оригинальность.

Гость упрямо молчал, судорожно обхватив свою рукопись обеими руками.

— Подумайте только,— продолжал мой друг,— никто не даст вам больше денег на дорогу, не предложит вкусный, тающий во рту пирог. Жена издателя встретит вас с кислой миной на лице. Исходя из ваших же интересов, умоляю — оставьте эти мысли!

Но гость лишь озлобленно покачал головой, а мой друг, обуреваемый горячим желанием спасти человека, решился на крайнюю меру и предъявил все издательские счета, к которым, однако, Шлегель не проявил ни малейшего интереса.

На данном эпизоде мой друг обычно заканчивал рассказ. Я полагаю, они тогда крупно поспорили, потому что в этом месте мой друг прерывал повествование и мрачно сжимал кулаки, бормоча себе под нос что-то невнятное. Мне удалось лишь узнать, что Шлегель наспех простился и отбыл, оставив свою рукопись на столике, за которым пил кофе.

Роман Шлегеля «Горе тебе, Пенелопа!» привлек внимание специалистов. Шлегель покинул поприще педагогики, расставшись таким образом с настоящей профессией и посвятив себя другой, о которой я до сих пор думаю, что она таковой не является.

1954

ДАНИЭЛЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ

Было еще темно, и женщина, лежавшая рядом, не видела его лица, поэтому вынести все это было легче. Она уже больше часа говорила, не замолкая, и ему не стоило никакого труда время от времени вставлять «да», или «да, конечно», или «ты совершенно права». Женщина, лежавшая рядом с ним, была его жена, но когда он думал о ней, он мысленно всегда называл ее «женщина». Она была даже красивая, и многие мужчины заглядывались на нее. Будь он ревнивцем, он мог бы ее ревновать, но он не ревновал. Он радовался темноте, которая скрывала от него ее лицо и

позволяла ему ничего не изображать на своем. До чего утомительно день-деньской, до темноты, ходить с чужим выражением лица, быть на людях словно в маске!

— Если Ули провалится,— говорила она,— это будет просто катастрофа. Мари этого не переживет. Ты же знаешь, сколько ей пришлось выстрадать, верно?

— Да, конечно,— сказал он.

— Она сидела на одних сухарях, она... я просто не представляю себе, как все это можно вытерпеть... Неделями спать без простыней!.. К тому же, когда родился Ули, Эрик считался пропавшим без вести... Не знаю, что будет, если мальчик провалится на экзамене. Разве я не права?

— Ты совершенно права,— сказал он.

— Ты непременно должен повидать мальчика перед тем, как он войдет в класс, и как-нибудь ободрить его. Ты ведь сделаешь, что сможешь, правда?

— Да,— сказал он.

Таким же вот весенним днем тридцать лет назад он сам приехал в город, чтобы держать вступительный экзамен в гимназию; вечером пылающий закат багровым отсветом залил улицу, где жила его тетка, и ему, одиннадцатилетнему мальчишке, казалось, будто кто-то рассыпал по крышам домов жар из печки и вместо стекол вставил в рамы сверкающие листы раскаленного металла.

Потом, когда они сели ужинать, окна как бы подернулись зеленоватой ряской сумерек, но это длилось недолго, полчаса, не больше, те самые полчаса, когда женщины никак не могут решиться зажечь электричество. Тетка тоже долго не решалась, а когда она наконец повернула выключатель, из сотен домов, словно отвечая ее сигналу, хлынул на улицу, разрывая зеленоватую тьму, ослепительный желтый свет. Электрические лампочки, похожие на диковинные твердые плоды с острыми шипами, раскачивались в темноте.

— Ты не провалишься? — спросила тетка, а дядя, сидевший с газетой в руках у окна, недовольно покачал головой, видимо сочтя этот вопрос оскорбительным.

Потом тетка постелила ему в кухне на скамье. Вместо матраца положила стеганое одеяло. Дядя отдал ему свою перину, тетка — подушку.

— Ничего, скоро у тебя здесь будет своя постель, — сказала тетка. — А теперь спи. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал он. Тетка погасила свет и ушла в спальню.

Дядя задержался в кухне, делая вид, будто ищет что-то в темноте. Пальцы его словно невзначай коснулись лица мальчика и тут же двинулись дальше, к подоконнику, а потом эти пальцы, пахнувшие квасцами и шеллаком, вернулись назад и снова скользнули по его лбу и щекам. В кухне свинцом повисла его робость, и он скрылся в спальне, так и не сумев сказать того, что хотел.

«Нет, я не провалюсь», — подумал мальчик, когда остался один. Он представил себе мать, как она сидит сейчас дома у печки, вяжет, и время от времени роняет на колени руки, и шепчет молитвы, обращаясь к одному из тех святых, которых особенно чтит, — наверно, к Иуде Фаддею, хотя, быть может, он, крестьянский мальчонка, поехавший в город, чтобы поступить в гимназию, находится под опекой блаженного Боско.

— ...Есть вещи, которых просто нельзя допустить, — продолжала женщина, лежавшая рядом с ним, и так как она явно ждала ответа, он устало сказал: «Да, конечно», и с отчаянием в сердце заметил, что начало светать: неумолимо надвигался день, неся с собой самую трудную из всех его обязанностей: обязанность ходить в маске.

«Нет, — думал он, — часто, слишком часто происходят вещи, которых нельзя допустить».

Тогда, тридцать лет назад, лежа на скамье в темной кухне, он был полон надежд: он думал об арифметической задаче, которую завтра решит, о сочинении, которое напишет, и был уверен, что не провалится. Сочинение, наверно, дадут на тему: «Интересный случай из твоей жизни», и он точно знал, о чем будет писать — о посещении того дома, где находится дядя Томас: полосатые, зеленые с белым, стулья в приемной, и дядя Томас, который на все, что бы ему ни сказали, отвечает всегда одной и той же фразой: «Если бы в этом мире царила справедливость».

— Я связала тебе красивый красный свитер,— сказала мать дяде Томасу,— ты всегда любил красный цвет.

— Если бы в этом мире царила справедливость. Они говорили о погоде, о коровах, немножко о политике, а дядя Томас все твердил одну и ту же фразу: «Если бы в этом мире царила справедливость».

Когда они уже собрались домой, он увидел в вестибюле с зелеными стенами узкогрудого человека со странно опущенными плечами, который стоял у окна и смотрел в сад.

Почти у самой калитки им повстречался приветливый господин и сказал матери с любезной улыбкой:

— Сударыня, прошу вас, не забывайте, что ко мне следует обращаться «ваше величество».

И мать тихо сказала ему:

— Ваше величество.

А потом, на трамвайной остановке, он еще раз поглядел на зеленый особняк, притаившийся за деревьями, и снова увидел стоящего у окна человека с опущенными плечами, и до него донесся странный смех — будто резали жесь тупыми ножницами.

— Кофе остынет,— сказала женщина, которая была его женой.— И съешь хоть что-нибудь, прошу тебя. Он отхлебнул кофе и что-то съел.

— Знаю,— сказала женщина и положила ему руку на плечо,— знаю, тебя опять терзают твои вечные сомнения — справедливо ли будет так поступить, но сам подумай, что может быть несправедливого в желании помочь ребенку? Ведь Ули тебе нравится.

— Да,— ответил он, и это «да» было искренним. Ули ему нравился: хрупкий, приветливый мальчик, по своему не глупый, но учиться в гимназии было бы для него мукой. Даже занимаясь с репетитором, он, несмотря на подстегивание честолюбивой матери и покровительство директора, все равно никогда, как ни старайся, не сможет подняться над посредственностью. Жизнь будет ему всегда в тягость, ибо карьера, которую ему выбирают, явно не по нем.

— Ты обещаешь помочь Ули, да?

— Да,— ответил он,— я помогу ему.

Он поцеловал в щеку свою красивую жену и отправился в гимназию. Шел он медленно, зажав в губах сигарету,— он сбросил маску и наслаждался покоем, чувствуя, что лицо больше не сковано чужим выражением. Он остановился перед витриной мехового магазина, чтобы посмотреть на себя. Между серыми тюленьими и полосатыми тигровыми шкурами, на фоне черного бархата, которым была задрапирована витрина, он увидел свое отражение — бледное, слегка одутловатое лицо человека за сорок, лицо скептика, быть может, даже циника, а вокруг этого бледного, одутловатого лица белесым облачком вился дымок сигареты. Альфред, его друг, умерший год назад, все говорил ему: «Ты никогда не мог справиться с тем, что я бы назвал *ressentiment*¹, да и все, что ты делаешь, слишком уж подвластно эмоциям». Альфред не имел в виду ничего плохого, напротив, он думал, что нашел точное слово, но разве можно одним словом определить человека, а *ressentiment* к тому же одно из самых дешевых, самых удобных слов.

Тогда, тридцать лет назад, лежа на скамье в теткиной кухне, он думал: «Такого сочинения, как я, никто не напишет; ни у одного из мальчиков наверняка в жизни не было такого интересного случая». А перед тем как заснуть, он думал еще и о другом: на этой скамье ему теперь спать девять лет, а за этим столом — учить уроки целых девять лет, и всю эту вечность его мать дома, в деревне, будет сидеть у печки, вязать и шептать молитвы. Он слышал, как в соседней комнате разговаривают дядя и тетка, но уловить смог только одно слово — свое имя: Даниэль. Значит, они говорили о нем, и хотя он не слышал, что они говорят, знал, что говорят только хорошее. Они любили его, своих детей у них не было. И вдруг его охватил страх. «Через два года,— подумал он в смятенье,— скамья эта станет для меня слишком короткой. Где же я тогда буду спать?» Несколько минут эта мысль терзала его, но потом он успокоился: «Два года — это так бесконеч-

¹ Злопамятность (фр.).

но долго... Впереди столько времени... Столько неведомого, которое будет проясняться с каждым днем...» И он вдруг погрузился в то неведомое, которое подступило вплотную в ночь перед экзаменом, а во сне его преследовала картина, висевшая на стене, между буфетом и окном: мужчины с суровыми лицами толпятся у заводских ворот, у одного из них в руке рваное красное знамя. Во сне мальчик легко прочел надпись, которую лишь с трудом разобрал бы наяву, в полутьме, царившей в комнате: «ЗАБАСТОВКА».

Он оторвал взгляд от своего бледного лица, которое, навязчиво мерцая, словно его нарисовали серебром на черном полотне, висело где-то между серыми тюленьими и полосатыми тигровыми шкурами; оторвал с трудом, нерешительно, потому что видел за этим лицом того мальчика, которым когда-то был.

— Забастовка,— сказал ему тринадцать лет спустя школьный инспектор.— Неужели вы считаете, что забастовка — это подходящая тема для сочинения в старших классах?

Он не дал в старших классах этой темы для сочинения, да и картина уже тогда, в 1934 году, давным-давно не висела в теткиной кухне. Правда, еще можно было навестить в больнице дядю Томаса, посидеть там на полосатом стуле, выкурить сигару и послушать, как он твердит одну фразу, будто отвечает на жалобы, которых никто, кроме него, не слышит. Томас сидел весь обратившись в слух, но он не слышал того, что ему говорил посетитель,— он слышал только причитания невидимого хора, скрытого в кулисах мироздания, хора, исполнявшего печальный псалом, на который мог быть только один ответ, ответ Томаса: «Если бы в этом мире царила справедливость».

Тот человек с опущенными плечами, который всегда стоял у окна и глядел в сад, так исхудал, что в один прекрасный день пролез между прутьями оконной решетки и бросился вниз: его жестяной смех в последний раз огласил сад и навеки замер. Но «его величество» все еще был жив, и Хемке никогда не упускал случая подойти к нему и с улыбкой шепнуть: «Ваше величество».

— Такие вот живут до ста лет,— объяснил санитар.— Черт их не берет.

Однако семь лет спустя «его величества» не стало, и дяди Томаса тоже уже не было в живых, их умертвили, и хор, скрытый в кулисах мироздания, хор, исполнивший свой печальный псалом, тщетно ожидает ответа, который мог дать только Томас.

Хемке свернул на улицу, где находилась школа, и испугался, увидев, как много детей пришло сдавать вступительный экзамен: они стояли группками вместе с родителями, и все были охвачены тем фальшивым и нервным оживлением, которое, как болезнь, обычно нападает на человека перед экзаменом; это оживление, словно румяна, прикрывало отчаянное волнение на лицах матерей и равнодушие, такое же фальшивое,— на лицах отцов.

Но его внимание привлек мальчик, который сидел один, в стороне от всех, на ступеньке разрушенного дома. Хемке остановился и почувствовал, что страх пропитывает его, как вода губку. «Осторожно! — подумал он.— Если я дам себе волю, то в один прекрасный день тоже окажусь там, где был дядя Томас, и, быть может, буду твердить его же фразу». Мальчик, сидевший на ступеньке, был настолько похож на него самого, каким он сохранил себя в памяти, что ему показалось, будто эти тридцать лет слетели с него, как пыль со статуи.

Шум, смех; солнце играло на влажных крышах, с которых уже стаял снег,— он лежал еще только в развалинах, где всегда была тень.

Тогда, тридцать лет тому назад, дядя привез его сюда слишком рано. Они сели в трамвай, проехали по мосту и за весь путь не произнесли ни слова.

«Робость,— думал Хемке, глядя на черные чулки мальчишки. — Это болезнь вроде коклюша, и ее тоже надо было бы лечить».

Робость дяди и его собственная робость сковали его настолько, что он едва дышал; с красным шарфом, обмотанным вокруг шеи, с бутылкой кофе, торчащей из правого кармана пиджака, дядя молча стоял рядом с ним на еще совершенно пустынной улице, а потом вдруг ушел, пробормотав что-то насчет работы, а он, оставшись один, сел на ступеньку; мимо него,

грохоча по булыжной мостовой, катились тележки с овощами, потом пробежал разносчик с корзинкой, полной булочек; оставляя после себя у каждой двери голубоватый ручеек молока, девушка с большим бидоном стучала во все дома — дома эти наглухо закрыты ставнями, словно в них никто не жил, поразили его тогда своим великолепием, и сейчас еще на разрушенных стенах сохранилась та желтая краска, которая когда-то показалась ему такой благородной.

— Доброе утро, господин директор,— сказал ему кто-то, проходя мимо, он не заметил, кто именно, только успел рассеянно кивнуть в ответ, но знал наперед, что тот, войдя в учительскую, скажет: «Старик наш опять того...»

«У меня есть три возможности,— думал он,— я могу как бы впасть в детство, снова стать тем мальчишкой, который сидит на ступеньке, могу остаться человеком с бледным, одутловатым лицом и могу превратиться в дядю Томаса». Малозаманчивым казалось остаться самим собой и до конца дней нести свой тяжкий крест — быть на людях словно в маске; вновь стать мальчишкой тоже не очень соблазняло: примостившись за кухонным столом, без разбору глотать книги, книги, которые любил, которые ненавидел,— он их просто пожирал,— и каждую неделю вести борьбу за бумагу и черновые тетради, которые исписывал какими-то заметками, расчетами, набросками сочинений; каждую неделю ему нужны были тридцать пфеннигов, и он воевал за них до тех пор, пока учителю не пришлось в голову дать ему старые тетради, с незапамятных времен валявшиеся в подвале школы, чтобы он вырвал из них все чистые страницы, но он вырвал и те, что были исписаны только с одной стороны, и дома сшил из них черными нитками толстые тетради, а теперь он ежегодно посылал в свою деревню цветы на могилу учителя.

«Никто так и не узнал,— думал он,— какой ценой мне все далось, никто, разве что Альфред, но Альфред выразил это глупым словом «ressentiment». Бессмысленно говорить об этом, бессмысленно пытаться что-либо объяснить, и меньше всех это способна понять женщина с красивым лицом, которая всегда лежит рядом со мной в постели».

Он постоял еще несколько мгновений в нерешительности, весь во власти прошлого: соблазнительней всего было выбрать судьбу дяди Томаса и все твердить одну-единственную фразу в ответ на печальный псалом, который пел хор, скрытый в кулисах мироздания.

Нет, только не стать снова ребенком, это чересчур тяжело: какой мальчик согласится теперь ходить в черных чулках? Компромиссным решением было бы остаться человеком с бледным, одутловатым лицом, а он всегда выбирал компромиссные решения. Он подошел к мальчику, и когда его тень упала на мальчишку, тот поднял голову и испуганно взглянул на него.

— Как тебя зовут? — спросил Хемке.

Мальчик поспешно встал, залился краской и с трудом выдавил ответ:

— Виерцек.

— Скажи, пожалуйста, по буквам, — попросил Хемке и вынул блокнот. Мальчик медленно повторил:

— В-и-е-р-ц-е-к.

— Ты откуда?

— Из Воллерсхейма, — ответил мальчик.

«Слава богу, не из моей деревни, — подумал Хемке, — и фамилия у него не моя. А ведь он мог вполне оказаться сыном одного из моих бесчисленных кузенов».

— А у кого ты будешь жить в городе?

— У тети, — ответил Виерцек.

— Что ж, хорошо, — сказал Хемке. — Экзамены выдержишь, я уверен. У тебя, наверное, хорошие отметки и хорошая характеристика.

— Да, у меня всегда были хорошие отметки.

— Не бойся, — сказал Хемке. — Все будет в порядке, ты... — Он запнулся, ибо то, что Альфред называл *ressentiment* и эмоции, сдавило ему горло. — Смотри не простудись, камни холодные, — добавил он тихо, резко повернулся и направился в школу через квартиру привратника, потому что хотел избежать встречи с Ули и его матерью. Притаившись за занавеской вестибюля, он еще раз поглядел на детей и их родителей, ожидавших на улице, и, как всегда в день экзаменов, на него напала тоска: ему казалось, что он ясно читает на лицах этих десятилетних ребят их печальное будущее. Они толпились перед школьными воротами,

как стадо перед хлевом: только двое или трое из этих семидесяти детей поднимутся над посредственностью, а все остальные так и останутся на задворках жизни. «Альфред заразил меня своим цинизмом», — подумал он и беспомощно, с мольбой поглядел на Виерцека, который все-таки снова сел на ступеньку и, склонив голову, углубился, видно, в свои мысли.

«Я тогда серьезно простудился, — думал Хемке. — Этот мальчик выдержит, даже если я, если я... если я что? Ressentiment и эмоции, нет, дорогой мой Альфред, этими словами не выразить того, что меня раздирает».

Он вошел в учительскую, поздоровался с коллегами, которые уже ждали его, и сказал привратнику, снявшему с него пальто:

— Пора впускать детей.

По лицам педагогов он понял, что вел себя очень странно.

«Быть может, — подумал он, — я целых полчаса стоял на улице и глядел на Виерцека», — и он с испугом посмотрел на часы; но было всего лишь четыре минуты девятого.

— Господа, — сказал он громко, — помните, прошу вас, что для некоторых детей предстоящий экзамен куда более важен и окажет большее влияние на их судьбу, чем для многих из вас защита докторской диссертации через пятнадцать лет.

Педагоги ждали, что он что-нибудь еще скажет, а те, кто его знал, ждали, что он произнесет то слово, которое не устают повторять при каждом удобном случае, слово «справедливость». Но он ничего больше не добавил, только тихим голосом спросил у одного из своих коллег:

— Какая тема сочинения?

— «Интересный случай из моей жизни».

Хемке остался один в учительской.

Его страхи тогда, тридцать лет назад, насчет того, что через два года скамья в теткиной кухне станет ему коротка, оказались напрасными, потому что он провалился на экзамене, хотя сочинение и было на тему «Интересный случай из моей жизни». Он был уверен в себе до той самой минуты, пока

их не впустили в школу, но едва он переступил порог класса, эта счастливая уверенность разом улетучилась.

Он начал было писать сочинение, тщетно пытаясь ухватиться за дядю Томаса. Но Томас почему-то вдруг оказался ему очень близким — слишком близким, чтобы о нем можно было написать сочинение. Он вывел заглавие: «Интересный случай из моей жизни», под ним написал: «Если бы только в мире царил справедливость» и поставил в слове «справедливость» «и» вместо «е», потому что смутно помнил, что есть какой-то закон проверки гласных,— на ум почему-то сразу пришел пример, увы, неверный: месть — мстить.

Больше десяти лет ушло на то, чтобы, думая о справедливости, отучиться тут же думать о мести.

Самым тяжелым из этих десяти лет был первый год после провала на экзамене: те, от кого хочешь уйти в новую жизнь, которая кажется, только кажется, лучше старой, бывают не менее жестокими, чем те, кто не знает, почем фунт лиха, кто ни о чем не имеет понятия и кого отец телефонным звонком избавляет от всего, что другим дается ценой долгих месяцев напряжения и страданий. Улыбка матери, рукопожатие, которым обмениваешься в воскресенье после мессы, торопливо оброненное слово, только и всего — вот в чем выражается справедливость этого мира, а другая справедливость, к которой он всегда стремился, но никогда не мог достичь,— это та, которую столь настойчиво требовал дядя Томас. Даниэль так одержимо мечтал о ней, что ему дали прозвище «Даниэль справедливый».

Он вздрогнул, когда вдруг открылась дверь и привратник ввел в комнату мать Ули.

— Мари,— произнес он,— что?.. Почему?..

— Даниэль,— сказала она,— я...

Но он прервал ее:

— У меня нет ни минуты времени... Нет,— сказал он жестко, вышел из комнаты и поднялся на второй этаж: гул голосов из вестибюля, где ждали матери, доносился туда приглушенно. Он подошел к окну,

выходящему во двор, и сунул в рот сигарету, но забыл ее зажечь. «Мне понадобилось тридцать лет, чтобы все преодолеть и получить представление о том, чего я хочу. Я освободил справедливость от мести, зарабатываю я прилично, хожу с суровой маской на лице, и большинство людей поэтому считает, что я достиг своей цели. Но я еще не достиг ее, только теперь я могу снять с лица и убрать, как убирают старую шляпу, стертую, но суровую маску, у меня теперь будет другое лицо, быть может, мое собственное...»

Он пощадит Виерцека, избавит его от года унижений; ни один ребенок не должен пережить то, что ему пришлось пережить, ни один, а меньше всего — этот, встреча с которым была встречей с самим собой.

1954

В ЗАЩИТУ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗВАЛИН

Первые писательские опыты нашего поколения после 1945 года кое-кто обозначил как «литературу развалин», попытавшись тем самым отмахнуться от них. Мы этому обозначению не противились, ибо оно было вполне уместно: люди, о которых мы писали, и в самом деле жили в развалинах; они вышли из войны, мужчины и женщины, израненные в равной мере; и дети тоже. И взгляд у них был острый: они всё примечали. Жизнь их никак нельзя было назвать мирной, ни малейшего намека на идиллию не было ни в их окружении, ни в их самочувствии, ни в чем-либо, что было в них или рядом с ними, и нам, пишущим, они были так близки, что мы отождествляли себя с ними. Со спекулянтами и с их жертвами, с беженцами и со всеми, кто по иным причинам лишился родины, но прежде всего, разумеется, с людьми нашего поколения, многие из которых оказались в необычном, примечательном положении: они вернулись домой. Это было возвращение из войны, в окончание которой вряд ли еще кто-то верил.

Итак, мы писали о войне и о возвращении домой, о том, что мы увидели на войне, и о том, что нашли дома, когда вернулись: о развалинах; это породило три ярлыка, которые поспешили навесить на молодую словесность: «литература о войне», «литература вернувшихся» и «литература развалин».

Сами по себе эти обозначения справедливы: была война, она длилась шесть лет, с войны мы вернулись домой, нашли развалины и об этом писали. Но странным, даже настораживающим был тон, каким произносились эти обозначения,— укоризненный, чуть ли не обиженный: нет, на нас, вроде бы, не возлагали ответственность за войну и за разруху, однако как будто

бы обижались за то, что мы все это видели прежде и видим теперь, но ведь у нас на глазах не было повязки, мешавшей смотреть, а зоркий глаз — это одно из орудий писательского ремесла.

Уводить современников в царство идиллии будет, так считали мы, жестокостью: слишком страшным окажется пробуждение; или, может, прикажете нам в жмурки играть?

Когда разразилась Французская революция, для большей части дворянства страны это было столь же неожиданно, как иногда бывает неожиданной гроза; трудно сказать, чего было больше — страха или удивления: ничто до той поры не предвещало свершившегося. Почти целое столетие было прожито под знаком идиллической уединенности; дамы рядились в платья пастушек, господа наряжались пастухами; погрузившись в искусственно созданную атмосферу сельской жизни, они пели, играли, устраивали любовные свидания на лоне природы и, скрывая свое нутро, пожираемое пороком, словно неумолимой болезнью, создавали видимость деревенской свежести и невинности. И играли друг с другом в жмурки. Эта мода, приторная развращенность которой вызывает у нас сегодня тошноту, явилась порождением особого рода литературы: буколических романов и пасторалей. Повинные в этом писатели отважно играли в жмурки.

Но французский народ ответил на эту идиллическую игру революцией, последствия которой мы ощущаем и поныне, хотя с тех пор прошло более полутора столетия; мы все еще пользуемся принесенными ею свободами, не слишком задумываясь над тем, какого она происхождения.

Но в начале XIX столетия в Лондоне жил один молодой человек, у которого за плечами была не слишком радостная судьба: отец его обанкротился и попал в долговую тюрьму, и тогда молодому человеку, прежде чем он сумел восполнить вынужденные пробелы в своем образовании и стать репортером, пришлось пойти работать на фабрику, где изготавливали ваксу. Вскоре он стал сочинять романы и в этих романах писал о том, что увидел собственными глазами, а глаза его заглянули и в тюрьмы, и в богадельни, и в английские школы, и то, что молодой человек там увидел, было безрадостно, но он писал об всем этом, и вот что удивительно: книги его читали, читали очень

многие, и к молодому человеку пришел успех, какой редко выпадает на долю писателя — тюрьмы были преобразованы, богадельни и школы удостоились основательного изучения и переменялись.

А звали этого молодого человека Чарлз Диккенс, и у него были очень хорошие глаза, которые обычно бывают не совсем сухими и не совсем мокрыми, а лишь слегка влажными, а по латыни влага обозначается словом *humor*¹. У Чарлза Диккенса были очень хорошие глаза, и у него было чувство юмора. И глаза его видели так хорошо, что он мог себе позволить описывать вещи, которые и не попали в поле зрения — он не пользовался лупой и не приставлял к глазам бинокль обратной стороной, чтобы с помощью такого трюка увидеть вещи очень четкими, хоть и на большом расстоянии от себя; не было у него и повязки на глазах, и он был не из тех людей, кто живет, вечно играя в жмурки, хотя чувство юмора и позволяло ему время от времени играть в эту игру со своими детьми. А ведь именно это, кажется, требуется от писателя в наши дни: жмурки не как игра, а как вечное состояние. Но я повторяю: зоркий глаз — это одно из орудий писательского ремесла, глаз, позволяющий ему увидеть и такие вещи, которые еще не возникли в пределах его оптики.

Представим себе, что глаз писателя заглядывает в какой-то подвал: там стоит у стола человек и месит тесто, человек с лицом, обсыпанным мукой, пекарь. Он видит этого человека таким, каким его видел Гомер, каким он не ускользнул от глаз Бальзака и Диккенса, — человека, пекущего для нас хлеб, старого, как мир, человека, чье будущее простирается до скончания века. Но этот человек из подвала курит сигареты, он ходит в кино, его сын погиб в России и похоронен за три тысячи километров отсюда, у околицы какой-то деревни, но над его могилой нет креста, и ее вообще сровняли с землей; плуг, которым прежде пахали эту землю, сменили трактора. Все это неотделимо от бледного и очень тихого человека, выпекающего там, в подвале для нас хлеб — эта боль, как и некоторые радости, неотделима от него.

А за пыльными стеклами небольшой фабрики глаз

¹ *Humor*, означающее в латинском языке «влага», в немецком — значит «юмор».

писателя видит маленькую работницу, штампующую на машине пуговицы, те самые пуговицы, без которых наши платья перестали бы быть платьями, а превратились в свисающие с нас куски материи, никого не грсящие и не украшающие; эта девушка, закончив работу, красит губы и тоже идет в кино и тоже курит сигареты; она гуляет с молодым человеком, вагоновожатым или рабочим из мастерской, где ремонтируют автомобили. И от этой маленькой работницы тоже неотделимо то, что мать ее погребена под грудой развалин, под горою грязных, обмазанных известкой камней; где-то там в глубине лежит мать этой девушки, и не украшает крест ее могилу, как не украшает он и могилу сына пекаря. Лишь иногда — раз в год — девушка идет к этим грязным развалинам, под которыми лежит ее мать, и кладет на них цветы.

Оба они — и пекарь, и девушка — неотделимы от нашего времени, они вросли в него, четырехзначные цифры, обозначающие годы, оплели их своими сетями; вызволить их из этих пут все равно что отнять у них жизнь, но писателю нужна жизнь, и кто же еще сохранит ее им обоим, как не «литература развалин»? Писатель, вечно играющий в жмурки, смотрит в свое нутро, он строит собственный мир. В начале XX века в одной тюрьме на юге Германии жил некий молодой человек, написавший очень толстую книгу; молодой человек не был писателем и никогда потом им не стал, но он написал очень толстую книгу, надежно защищенную своей неудобочитаемостью, однако книга эта разошлась в нескольких миллионах экземпляров, она даже соперничала с Библией! Это была книга человека, чьи глаза не видели ничего и в чьей душе было место лишь для ненависти и истязаний, пакостей и всяких мерзостей, — он написал свою книгу, и теперь стоит нам только поднять глаза, как мы увидим, куда бы ни бросили взгляд, разрушения; ими мы обязаны этому человеку, человеку по имени Адольф Гитлер, человеку, у которого не было глаз, умеющих видеть: его картины были лживы, а стиль невыносим — все вокруг он видел не глазами, а своим нутром, где создавалось искаженное представление о мире.

Имеющий глаза да видит! А в нашем прекрасном родном языке понятие видения не исчерпывается категориями оптики: для тех, у кого есть глаза, умеющие видеть, вещи станут прозрачными и их можно будет видеть насквозь, а для этого надо воспользоваться средства-

ми языка, чтобы заглянуть в суть вещей. Глаз писателя должен быть человеческим и неподкупным; можно даже и не играть в жмурки, а лишь надевать очки разных цветов: розовые, голубые, черные — они окрасят действительность в тот цвет, который требуется в данный момент. Розовый цвет оплачивают хорошо, на него обычно бывает большой спрос, и возникает много возможностей для подкупа, но и на черный порою появляется спрос, и когда такое случается, за черный тоже платят большие деньги. Мы же хотим видеть вещи такими, какие они есть, видеть их человеческим глазом, который обычно бывает не совсем сухим и не совсем мокрым, а лишь слегка влажным, и давайте вспомним, что по-латыни влага обозначается словом *humor*, и не будем забывать, что глаза наши могут стать сухими или мокрыми и что есть вещи, не дающие никакого повода для юмора. Наши глаза многое видят каждый день: они видят человека, выпекающего для нас хлеб, видят девушку на фабрике — и глаза наши вспоминают кладбища, и глаза наши видят развалины; разрушенные города, города-кладбища, и повсюду наши глаза видят, как вырастают здания, похожие на кулисы, здания, где люди не живут, а где ими управляют — управляют как подданными своего государства, как жителями своего города, как плательщиками страховых и разных прочих взносов, как чьими-то должниками — есть бесчисленное количество поводов, по которым можно управлять человеком.

Это наша задача напоминать о том, что человек существует не только для того, чтобы им кто-то управлял, что бывают в нашем мире и такие разрушения, которые глазами не увидеть и которые не столь незначительны, чтобы можно было взять на себя смелость залечить эти раны всего за несколько лет.

Имя Гомера остается незыблемым для всей культуры Запада: Гомер — родоначальник европейского эпоса; но Гомер рассказывает о Троянской войне, о разрушении Трои и возвращении Одиссея. Все это «литература о войне», «литература развалин» и «литература вернувшихся» — так что нет у нас оснований стыдиться этих обозначений.

1952

Часто при слове «действительность» нас охватывает неприятное чувство: будто пахнуло кабинетом зубного врача, того самого, визит к которому мы все время оттягиваем, хотя прекрасно понимаем, что откладывать его бессмысленно. Действительность, так считает современник, всегда безобразна и мучительна, а посему не следует ее подпускать к себе,— ведь и так к нам непрерывно подбираются собственные заботы и нужды, действительность будней. К чему же еще подпускать к себе далекие, чужие реальности? Но такими — далекими и чужими — они только кажутся. Нет ничего такого, что нас никак не касалось бы, иными словами, в какой-то степени нас касается все.

Действительность подобна письму, которое адресовано нам, но которое мы оставили нераспечатанным, потому что нам просто лень его распечатывать или же нас мучает мысль, что содержание письма не доставит радости, и это предположение чуть ли не перерастает в уверенность. Действительность — это послание, которое должно быть вручено, в нем содержится задание человеку, и его он обязан выполнить. Отрекаться от действительности — это все равно что прогуливать школьные уроки, а быть вечными прогульщиками, к сожалению, никому не удастся. Мы сидим на секундной стрелке, отделяющей прошлое от будущего, а она движется так быстро, что этого движения мы почти не замечаем, как не замечаем движения Земли, хотя сомневаться в нем не приходится; время — это карусель, вращающаяся с такой большой скоростью, что мы уже этого вращения не замечаем и думаем, будто застыли на месте, застыли в современности, тогда как время продолжает течь; все, что находится позади секундной стрелки,— прошлое, все находящееся впереди нее,— будущее; и мы сидим на этой узенькой стрелочке и уходим вместе с потоком времени. Действительность переживаемого момента — это нечто преходящее, то, чем наши дети наслаждаются с такой завидной жадностью; подобная действительность кажется им вечной — бесконечной в боли и бесконечной в радости: трава, и ветер, вода, и мяч, и раскрашенный леденец на палочке, и яркий воздушный шарик — это действительность всего преходящего, совершающего вместе с нами свой путь на кончике секундной стрелки. Такова

магия времени, которой мы можем предаться, даже сознавая, что прогуливаем уроки в школе, и сознавая также, что скрыть такое все равно не удастся, тогда как дети все еще могут верить, будто огласки не произойдет и будто раскрашенный леденец вечен, воздушный шарик бессмертен, а ярмарку с гуляньями никогда не закроют.

Но леденец растает, шарик лопнет или улетит, а ярмарку закроют. Мы это знаем и, стало быть, отданы во власть действительности, отданы с того самого хорошо нам знакомого момента, когда мы перестаем быть детьми.

Мы должны распечатать письмо и постараться выполнить задание.

Может статься, что кто-нибудь будет перелистывать старый школьный атлас и равнодушными пальцами коснется похожего на пустыню, выкрашенного бледно-зеленым цветом пространства в северной части России. О слабой заселенности этих мест можно судить по многим не очень большим черным точкам. Каждый из нас когда-то слышал что-то о тундре и что-то о тайге, но действительным это бледно-зеленое, похожее на пустыню пространство становится, лишь когда мы читаем о нем следующее: «Это территория с самой низкой температурой — примерно 70 градусов ниже нуля. Каждый год на Колыму отправляют от четырехсот до пяти-сот тысяч рабов и поселенцев, не считая тех, кого привозят туда через Северный Ледовитый океан. Смертность достигает ежегодно 20—25 процентов. По осторожным подсчетам речь идет о десяти миллионах заключенных».

Эта коротенькая — в шесть-семь строк — цитата дает нам возможность увидеть на далекой и чужой части земли население, равное населению Швеции, Норвегии и Дании, притом здесь приведено сообщение пятилетней давности. Мы можем предположить о существовании кое-кого из пропавших без вести, и вполне возможно, что действительность части Земли, которой коснулись, перелистывая школьный атлас, наши равнодушные руки, проникнет и в наш собственный дом, что человек, живший в квартире под нами, *не умер и живет* там, как, быть может, и тот, кто когда-то пользовался ванной, все еще висящей между небом и землею в соседнем разрушенном доме.

Действительна и наша фантазия, реальный дар,

полученный нами для того, чтобы мы научились расшифровывать факты и за ними видеть действительность. Фантазия не имеет ничего общего с фантазированием и ничего общего с фантомами; фантазия — это сила воображения, это наша способность создавать себе образ чего-то, а образ — соединение ванны в соседнем разрушенном доме, отданной девять лет назад в распоряжение дождя, с похожим на пустыню, бледно-зеленым пространством, которого коснулась равнодушная рука, перелистывающая атлас.

Действительность нам никогда не дарят, она требует от нас внимания, активного внимания, не пассивного. Мы получаем лишь знаки, шифры, коды; пропуска для прохода к действительности не существует: книги, факты — все они в лучшем случае всего лишь части реальностей или ключи к ним, ключи, которыми их открывают, как открывают двери комнат, чтобы входящий мог осмотреться в них. Итак, нам нужно войти в незнакомое помещение и там осмотреться. Действительное всегда лежит на некотором отдалении от злободневного — чтобы попасть в летящую птицу, нужно стрелять наперерез ей, учитывая при этом скорость ее полета и полета заряда, а еще силу и направление ветра, и атмосферное давление, и разные прочие многочисленные факторы, которые необходимо вычислить, а если мы допустим ошибки в наших подсчетах, то там, куда полетит птица, она окажется недостижимой для заряда. Действительность тоже находится в движении.

Сейчас уже почти забыты японские рыбаки, которые несколько месяцев назад подверглись поражению во время атомных испытаний, а нам бы следовало вырезать из газет и журналов их фотографии и наклеить их на стены наших комнат, ибо рыбаки эти были первыми мучениками новой действительности, действительности смерти. Несколько дней их история была злободневна — волна ужаса окатила планету, и люди вдруг начали догадываться о том, что там произошло, впервые стала явью возможность коллективного самоубийства человечества. Рыбаки с их печальной судьбой были злобой дня, но, как во многих случаях, эта злободневность оказалась кратковременной. Однако то, что *действительно* произошло в тот день, еще не стало ясным вполне: что дождь, падающий на нас, и воздух, которым мы дышим, могут нести нам эту *новую смерть*.

Пекарь может, сам того не ведая, запечь ее в хлеб, почталъон — занести ее к нам в дом вместе с почтой.

Папа Пий XII сказал: «Перед взором ужаснувшегося человечества стоит картина чудовищных разрушений, картина целых стран, ставших непригодными для жизни и потерявшими всякую ценность для человека».

А Роберт Оппенгеймер, руководитель комиссии по атомной энергии США, сказал: «Физики познали грех, и такое познание с себя не стряхнешь. Нет ничего на свете — никакого права и никакого дела, — что могло бы оправдать применение атомной бомбы. Президент должен был объявить народу, что эта бомба по самой своей сути и с этической точки зрения противоречит справедливости».

Потрясают эти слова, слетевшие с уст ученого: «Физики познали грех». Тем самым физика вошла в сферы, где считаются не только с научными, но и с теологическими понятиями.

Злободневными — какая страшная злоба дня! — были рыбаки, находившиеся за пределами зоны безопасности и пораженные *новой смертью*; действительной опасностью стала смерть, которая может упасть на нас вместе с дождем или оказаться запеченной в нашем хлебе насущном.

Чтобы в злободневном увидеть действительное, нужно привести в движение нашу фантазию, силу воображения, дающую нам способность создать образ. Злободневное — ключ к действительному.

Те, кто принимает злободневное за действительное, на самом деле очень далеки от познания действительности. А какой-нибудь очень далекий от злобы дня, близорукий, рассеянный человек, которого можно считать карикатурой на профессора, иной раз окажется ближе к действительному, нежели тот, кто, высунув язык, гоняется за злободневностью, принимая ее за действительность. Кто хочет поразить летящую птицу, должен целиться хладнокровно, спокойно сидеть на секундной стрелке, отделяющей прошлое от будущего, и уверенно стрелять ввысь, чтобы птица столкнулась с зарядом и чтобы действительное упало стреляющему в руки.

Современника можно сравнить с пассажиром, севшим в поезд с платформы родного вокзала и отправившимся в ночь навстречу станции, находящейся на

неизвестном расстоянии. В темноте он, этот пассажир, не раз впадет в полудремотное состояние и не раз очнется, вздрогнув и услышав, как с незнакомого вокзала доносится из динамика голос диктора, сообщающего ему, где он сейчас находится; он услышит названия, ему ничего не говорящие и как бы недействительные, названия из чужого мира, который вроде бы и не существует — явление фантастическое, но без сомнения действительное. Ведь действительное *и есть* фантастическое, и надо помнить, что наша человеческая фантазия всегда совершает свое движение в пределах реального.

Итак, письмо нам написано, задача перед нами поставлена, ключи нам вручены. Мы можем прогуливать школьные уроки, можем еще раз отложить визит к зубному врачу, можем не открывать шлюзы, хотя на них напирает действительность. Сидя на секундной стрелке, все время держащей нас между прошлым и будущим, мы можем считать воздушные шарики бессмертными и раскрашенный леденец вечным (нашим детям это пока еще разрешается), но мы ведь знаем — знаем, к великому сожалению,— что вечных прогульщиков в школе не бывает, что мы должны подстрелить птицу и что существовать мы можем только в действительности — речь идет о жизни и смерти.

КОММЕНТАРИИ

ПОЕЗД ПРИШЕЛ ВОВРЕМЯ

Г. Бёлль называл «Поезд пришел вовремя» («Der Zug war pünktlich») романом, но для точного определения жанра этого произведения, вероятно, больше подходит термин «повесть», отсутствующий в немецком, как и во многих других языках.

Произведение это вышло в свет в 1949 году в небольшом городе Опладене (ФРГ).

В обширном интервью Г. Бёлля французскому журналисту Рене Винтцену писатель сообщил, что с 1946 по 1950 год он написал несколько (три-четыре, как «уточнил» Г. Бёлль) романов, оставшихся неопубликованными, так как они не удовлетворяли самого автора и имели для него лишь экспериментальное значение. Таким образом, повесть «Поезд пришел вовремя» была первым крупным из тех произведений писателя, с которыми читатель получил возможность познакомиться. Момент ее опубликования — это в сущности точка отсчета роста популярности Г. Бёлля, ибо до сих пор его фамилия встречалась лишь на страницах периодических изданий, где печатались рассказы, первый сборник которых вышел в свет через год после повести.

В ней, как и в ранних рассказах, главной, или, правильной даже будет сказать, единственной, темой является война. Во всей повести нет ни одной батальной сцены, но читатель как бы все время слышит то гром артиллерийской канонады, то тихий предательский свист пули. Он слышит их вместе с главным героем, солдатом Андреасом, уже не раз глядевшим в глаза смерти и теперь в эшелоне вновь спешащим ей навстречу.

Психология этого человека — вот что привлекает прежде всего внимание писателя, и проникновением в его мысли, по существу, исчерпывается содержание повести. Лейтмотивом здесь становятся мрачные предчувствия Андреаса, более того — его твердая уверен-

ность в том, что ему предстоит погибнуть. Эта уверенность приобретает провиденциально-мистический характер: мысленно, а затем и склоняясь над картой, он «намечает» тот отрезок пути, который должен оказаться для него последним, и устанавливает день и час своей гибели.

В связи с этим в повести большую роль играют географические названия — немецкие, польские, украинские, — то мелькающие перед глазами едущих в эшелоне, то хаотически сменяющие друг друга в голове Андреаса. Этот список начинает уже в первом абзаце польский город Пшемысль и завершает Стрый, город в Львовской области, короткое название которого звучит зловеще, предвещая трагическую развязку и как бы вызывая ассоциацию с мгновенным ударом кинжала.

Композиционно «Поезд пришел вовремя» отчетливо делится на две части: первая повествует о пути Андреаса и его обоих спутников до Львова, вторая посвящена их пребыванию в этом городе.

Говоря с Р. Винтценом об этой повести, Г. Бёльль рассказывает, что материалом для нее послужили его собственные впечатления от службы в оккупационных войсках. Он, правда, упоминает при этом только Польшу, однако вполне возможно, что такую же роль могло сыграть его пребывание в странах, куда он был послан после Польши: во Франции и в Советском Союзе. Это ощущается в воспоминаниях героя о Париже, а особенно во львовских эпизодах.

Одно заявление Г. Бёльля в том же интервью вызывает на первых порах удивление. «Поезд пришел вовремя», говорит он, это, «по сути дела, любовная история». Вдумавшись в это высказывание, мы постигаем мысль автора, показавшуюся вначале странной, и осознаем, что где-то за главной, военной темой и в самом деле таится и по мере развития действия все более вступает с нею в конкуренцию тема любви. Она возникает несколько раз в связи с воспоминаниями Андреаса о мимолетной встрече «в какой-то французской дыре за Амьеном» с девушкой, которую он даже не успел как следует разглядеть, но которая, несмотря на свою призрачность, три с половиною года неотступно витает перед его мысленным взором как некий идеал женственности. Любовь выступает здесь как единственное противоядие, помогающее пережить ужасы войны.

С особой силой тема любви врывается в конец львовской «части» повести, во встрече героя в публичном доме с проституткой Олиной, использующей свое «ремесло» для сбора разведывательных данных о немецких оккупантах и сообщаемой их бойцам польского Сопротивления. Взаимная любовь, вспыхивающая в затхлой комнате публичного дома, исполнена энергии, но болезненна и безысходна: на ней лежит печать страха обоих перед неотвратимо приближающейся гибелью.

Добавим также, что это произведение Г. Бёльля отличается не-

досказанностью, особенно возрастающей к концу повествования, где автор предоставляет читателю решать различные сюжетные загадки.

Стр. 31. *Пшемысль* — польское название города Перемышль.

Стр. 35. *Лемберг* — немецкое название города Львова до 1944 г. *Черновицы* — прежнее (до 1944 г.) название города Черновцы (УССР).

Стр. 38. *Бреслау* — немецкое название города Вроцлав (ПНР).

Стр. 55. «*Арчибалд Дуглас*» — историческая баллада немецкого писателя Теодора Фонтане (1819—1898), главный герой которой является представителем могущественного рода шотландских графов, проведшим в изгнании семь лет.

Стр. 75. *...сделали Судетский орден с крошечным изображением Градчан. В тридцать восьмом.*— Имеются в виду события 1938 г.: отторжение Судетской области Чехословакии, явившееся началом оккупации всей страны гитлеровской армией. *Градчаны* (Пражский Град) — историческое ядро чехословацкой столицы, изображение которого здесь выступает как символ Праги и всей Чехословакии.

...в тридцать третьем.— Речь идет о фашистском перевороте в Германии 30 января 1933 г.

Стр. 96. *...изящный нос... фрагонаровский носик... фрагонаровский рот... невинно-порочной, как пастушки у Фрагонара...*— Произведения французского живописца и графика Жана-Оноре Фрагонара (1732—1806), особенно галантные и бытовые сцены, представляют собою образцы утонченно-эротического искусства в стиле рококо.

Стр. 112. *Гуигнггмы у Свифта* — сообщество разумных и добродетельных лошадей, к которым после долгих странствий попадает главный герой романа Джонатана Свифта (1667—1745) «Путешествия Гулливера».

Стр. 113. *Первитин* — лекарственный препарат, действующий возбуждающе на нервную систему и кровообращение.

Стр. 126. *...говорится о человеке, которого изгнали из родной страны...*— См. примеч. к с. 55.

Лёве Карл (1796—1869) — немецкий композитор, особенно прославившийся как автор музыки к балладам, в частности к «Лесному царю» Гёте.

Стр. 127. *Капо* — на полицейско-тюремном жаргоне — заключенный, выполняющий задания начальства по надзору за прочими узниками. Здесь это слово употреблено в смысле «секретный агент».

ГДЕ ТЫ БЫЛ, АДАМ?

Роман «Где ты был, Адам?» (Wo warst du, Adam?) был впервые опубликован в 1951 году в Опладене.

Именно этому произведению Г. Бёлль был обязан взлетом своей популярности, причем не только в Германии,— роман был вскоре переведен во многих странах. Г. Бёлль занял едва ли не самое видное место среди писателей «Группы 47», объединения сравнительно молодых западногерманских литераторов, для которых общей платформой являлось резко отрицательное отношение к нацистской идеологии, милитаризму и великогерманскому шовинизму. Кстати, в том же самом году был опубликован рассказ Г. Бёлля «Белые вороны», за который автору была присуждена премия этого объединения.

Ключом к пониманию концепции романа является до некоторой степени его заглавие. «Где ты был, Адам?» — вопрос этот мы находим в первом из двух эпиграфов, предпосланных роману. Г. Бёлль цитирует книгу Теодора Хеккера (1879—1945), немецкого критика и публициста, автора ряда работ о философии родоначальника экзистенциализма Сёрена Кьеркегора (1813—1855). Перефразируя то место из Библии (Бытие, III, 9), в котором после грехопадения Господь, взывая к Адаму, вопрошает: «Где ты?», Хеккер переводит этот вопрос в прошедшее время и заставляет Адама ответить на него, что он был на войне. Такой ответ в этом гипотетическом диалоге должен, по мысли отвечающего, как бы служить алиби, снимающим с человека ответственность за состояние дел в мире, за мировую катастрофу. По мысли отвечающего, но не писателя, что становится ясным, если мы прочтем слова, идущие у Т. Хеккера вслед за теми, что цитируются в эпиграфе: «Но такой способ доказательства груб. Кое-кто пытается найти алиби в собственной совести: «Где ты был, Адам?» — «Я был в своей совести — разве она не принадлежит мне?!» Это самый хитроумный способ доказательства своей невиновности».

Г. Бёлль солидарен с Т. Хеккером. Он тоже озабочен вопросом о личной ответственности человека за все происходящее в обществе. Этот вопрос с особенной остротой встал и горячо дебатировался после войны и разгрома гитлеризма. И с этой точки зрения писатель подвергает многочисленных (в отличие от повести «Поезд пришел вовремя») персонажей романа испытанию на нравственность.

«Где ты был, Адам?» — это прежде всего роман о войне. Читая его, мы (опять-таки в отличие от повести) погружаемся в самую гущу событий, происходящих на передовой, во втором эшелоне и в госпиталях в последний год, а вернее даже в последние месяцы войны, начиная с лета 1944 года. Вместе с отступающими немецкими

войсками действие, начавшись на земле Румынии, Венгрии и Чехословакии, «откатывается» в Германию, стоящую на пороге капитуляции. Кровавые будни воспроизведены здесь с поразительной достоверностью.

Но было бы неверно смотреть на автора этого романа лишь как на баталиста. Изображение военных действий и армейской повседневности дает писателю возможность подвергнуть тому самому испытанию на нравственность, о котором говорилось выше, гитлеровское государство в целом, особенно существовавшую в нем систему разращения человека. Зримые плоды этой системы — и полковник Брессен, равнодушно посылавший на убой людей, а теперь пытающийся спасти свою жизнь при помощи симуляции психического заболевания; и начальник концентрационного лагеря Фильскайт, чья маниакальная любовь к хорам не мешает ему хладнокровно совершать массовые убийства; и безымянный генерал, для которого целью очередной операции является получение столь недостающего ему «Рыцарского креста» (кстати, тема военных наград проходит сквозь весь роман).

Таковы «герои». А жертвы? Они встречаются на каждом шагу. Но из общей массы лиц в первую очередь выделяются двое: архитектор, а ныне ефрейтор Файнхальс и его возлюбленная, венгерская еврейка-католичка Илона. Испытание на нравственность выдерживают оба, но первый, пройдя через горнило войны, погибает фактически уже после ее окончания на пороге родительского дома, а вторая находит смерть в концентрационном лагере.

Роман «Где ты был, Адам?» состоит из девяти глав, почти каждая из них сохраняет в какой-то мере самостоятельное значение. Более того, некоторые из них были еще до написания романа опубликованы в виде рассказов или радиопьес. Но все это не свидетельствует о фрагментарности романа как его композиционной особенности. Напротив, ощущение цельности не покидает нас при чтении книги. В значительной степени этому способствует фигура Файнхальса: она появляется во всех главах за исключением четвертой. И кроме того, различные эпизоды и образы романа роднит единая авторская концепция и единый подход писателя к своим художественным задачам.

Стр. 133. *Хеккер*. — См. с. 687.

Сент-Экзюпери Антуан де (1900—1944) — французский писатель, летчик, участник второй мировой войны. Погиб в воздушном бою с немецкой авиацией. В цитируемой повести «Военный летчик», изданной впервые на английском языке в Нью-Йорке под заглавием «*Полет в Аррас*» (приведенном в эпиграфе), и вслед за тем дважды во Франции (один раз подпольно), Сент-Экзюпери рассказывает об одном дне из своей боевой биографии.

...на шею, под воротником никакого ордена не было. — Здесь содержится намек на то, что генерал не был награжден «Рыцарским крестом», представляющим собою высшую степень ордена «Железный крест»: в отличие от «Железного креста» 1-й и 2-й степени, который полагалось носить на груди, «Рыцарский крест» носили под воротником.

Стр. 135. ...крест у полковника был особенный — с дубовыми листьями... — «Рыцарский крест с дубовой листвой» — более высокая степень данного ордена, чем просто «Рыцарский крест», и менее высокая, чем «Рыцарский крест с золотой булавкой».

Стр. 147. КП — командный пункт.

Михай, (р. 1921), упомянутый здесь как наследник румынского престола, в 1940 г. после вынужденного отречения его отца Кароля II был провозглашен королем; в августе 1944 г. способствовал разрыву Румынии с гитлеровской Германией; в декабре 1947 г. после установления в стране народно-демократического строя эмигрировал.

Антонеску Йон (1882—1946) — румынский маршал, военно-фашистский диктатор (1940—1944 гг.). Казнен по приговору народного трибунала.

Стр. 149. «Стальной шлем» — т. н. Союз фронтовиков, профашистская милитаристская организация, основанная реакционно настроенным офицерством сразу же после Ноябрьской революции 1918 г. с целью ее подавления. В годы Веймарской республики (1918—1933 гг.) активно участвовала в террористических акциях против рабочего движения и в пропаганде шовинистических взглядов, сотрудничала с национал-социалистской партией. В 1934 г., через год после прихода последней к власти, была объявлена резервом штурмовых отрядов, с которыми впоследствии слилась.

Стр. 150. ...не слышал, что в Румынии есть католики. — Некоторые из верующих румын являются протестантами, большинство же исповедует православие; число католиков весьма незначительно.

Стр. 181. Пенгё — денежная единица, имевшая хождение в Венгрии до 1946 г.

Стр. 236. Пикнический тип — тип телосложения, характеризующийся широкой, коренастой фигурой, короткой шеей и большим животом.

«Тангейзер» — опера Рихарда Вагнера (1813—1883), в основу которой положена легенда о немецком поэте Тангейзере (ок. 1205 — 1270). Как и многие другие произведения Вагнера, опера эта демагогически интерпретировалась немецко-фашистской критикой в националистическом духе.

Стр. 246. Прессбург — немецкое название города Братислава.

Стр. 259. Бауфюрер — производитель работ (нем).

И НЕ СКАЗАЛ НИ ЕДИНОГО СЛОВА...

Роман «И не сказал ни единого слова...» (Und sagte kein einziges Wort») вышел в свет в 1953 г. в Кёльне.

Произведение это ознаменовало новую веку в творчестве писателя.

Его новаторство по отношению к собственному творчеству сказалось уже в форме произведения: это как бы два романа от первого лица, посвященные одним и тем же событиям, только один из них преподнесен от имени Фреда Богнера, другой — его жены Кэте. Главы обоих романов строго чередуются.

В этом романе Генрих Бёлль впервые (если не считать некоторых немногочисленных рассказов) не касается военной темы, а переходит к изображению мирной жизни в Федеративной Республике Германии. Но дыхание войны все еще ощущается и в городских руинах, и в условиях существования персонажей книги, и еще больше в их душах, где продолжают взрываться мины замедленного действия.

Это прежде всего относится к Фреду Богнеру. Он принадлежит к потерянному поколению, испытавшему ужасы фронтовой жизни, морально изувеченному и утратившему вкус к нормальному существованию. Неспособный на вполне осознанные действия, он превращается в автомат, механизм которого не налажен и часто дает сбой. Поступки Фреда отличаются лихорадочной судорожностью. Сам он при этом понимает нелепость, бессмысленность своих шагов, и в первую очередь бунта, который он затеял, не находя сил для борьбы с бытовыми трудностями, подстерегающими на каждом шагу его и его семью.

Конкретность как одна из особенностей стиля Г. Бёлля может быть хорошо продемонстрирована на материале этого романа. Конкретность во всем: в описании деталей, в изображении движений героев, даже жестов, на первый взгляд незначительных, но на самом деле характерных. Она сказывается и в едва заметном вкраплении в повествование сведений о героях книги. Мы как бы невзначай узнаем, например, что Фреду Богнеру около сорока четырех лет, что на Кэте он женился пятнадцать лет тому назад, когда ей было двадцать три года, или что познакомились они в библиотеке, и т. п.

Та же конкретность распространяется на определение времени и места действия. Все описанные события протекают в течение трех сентябрьских дней 1951 года. Что же касается места действия, то «прототипом» большого рейнского города, так наглядно воспроизведенного писателем, является его родной Кёльн. Г. Бёлль даже не переименовывает его улицы и площади: и Бенекамштрассе, и Герстенштрассе, и Эшерштрассе, и Билдонерплатц, как и остальные шесть упоминаемых в романе улиц и две площади, — «подлинно» кёльнские.

Кёльн издавна считался одним из оплотов немецкого католицизма, и это отражено в романе, где так много места уделено проблемам религии и где среди персонажей встречаются священнослужители разных рангов; их фигуры возникают и в церкви, в во время ярко написанной католической процессии, и в церковном учреждении, где Фред работает телефонистом.

Во вступительной статье к этому Собранию сочинений подробно рассматривается вопрос об отношении Г. Бёлля к религии, и в частности к католицизму. Содержащаяся в ней мысль о том, что религиозные чувства писателя были основаны на человечности, что он непримиримо относился к ханжеству, бюрократизму церковников и гнету, которому они подвергают верующих, находит подтверждение на многих страницах романа. Достаточно хотя бы вспомнить епископа, бывшего офицера, мимолетно, но безжалостно изображенного писателем, «схватившим его на лету» во время процессии, или злобствующую богомолку фрау Франке, или интриги, которые плетут по телефону чиновники церковного учреждения и о которых волей-неволей узнает Фред, и многое другое.

Неудивительно, что роман вызвал отрицательную реакцию в католических кругах ФРГ. «Для этих кругов,— вспоминал впоследствии Г. Бёльль,— роман «И не сказал ни единого слова...» был, так сказать, невыносим — в большей мере, чем кое-что из написанного мною потом». Реакция эта объяснялась антиклерикализмом Г. Бёлля, а также тем, что в книге затронута проблема упадка института брака. «Были дискуссии,— продолжает свой рассказ писатель,— и в некоторых из них принял участие я. Помню, как однажды произнес слова: «Не могу представить себе брак без иронии». Какой тут шум поднялся! Словно бомба разорвалась. Ведь я большого места коснулся, да к тому же поднял руку на господство мужа, и, скажем так, посеял семена мятежа в стане жен».

Что же противопоставляет Г. Бёльль явлениям, которые он критикует? В отношении этого произведения окажутся, по-видимому, тщетными поиски того, что принято называть «положительным идеалом», и все же нельзя игнорировать то, что, по мнению автора, представляет собою непреходящие ценности. Он находит их в душах людей, как, например, молодой девушкой из жалкой закуской. То, как она при первом знакомстве героя и читателя с нею горячо молится в церкви, как помогает инвалиду отцу, как заботится о своем брате, как доброжелательно, с неизменной искренней улыбкой обходится с посетителями закуской, не может не покорить и Фреда, и Кэте (кстати в том, что они оба независимо друг от друга попадают к ней, ощущается значение, которое автор придает этому образу), и в конечном счете читателя.

Кроме доброты, кроме гуманности, Г. Бёльль прославляет душевную стойкость. Она, считает писатель, может стать якорем спасе-

ния для человека, находящегося в бедственном положении, каким оно становится и для девушки из закуской, и для Кэте Богнер.

С этим связан своеобразный девиз романа. Им стали слова о распятом Христе, который, как поется в одной из спиричуэлс (духовных песен чернокожих рабов в Америке), стойко перенес муки казни «и не сказал ни единого слова».

Стр. 302. *Ферейн* — союз, объединение (нем.).

Стр. 305. *Литургия* — богослужение, во время которого совершается причащение.

Стр. 306. *Литания* — вид католической молитвы. Поется или читается во время торжественных религиозных процессий.

...репродукциями с картин Ренуара, с изображениями слащавых женских лиц.— Во многих произведениях французского живописца, графика и скульптора Огюста Ренуара (1841—1919), близкого к импрессионистам, воспеваются чувственная красота.

Стр. 313. *Прелат* — звание высокопоставленного, обладающего особыми полномочиями священнослужителя в католической (на юге Германии и в евангелической) церкви.

Стр. 314. *Месса* — главное богослужение в католической церкви.

Стр. 325. *Каритас* — любовь, милосердие (лат.).

Стр. 327. *Сугана* — одеяние, которое католические священнослужители носят вне службы.

Стр. 328. *Каноник* — член капитула, т. е. коллегии руководящих лиц в католической церкви.

Викарий — помощник протестантского священника.

Дароносица — сосуд, в котором хранится облатка, круглая лепешка из пресного теста, употребляемая при причащении.

Стр. 332. *Кафка* Франц (1883—1924).— Имя этого австрийского писателя, чье творчество представляет собою одну из вершин мировой литературы XX в., вплетено Г. Бёллем в отрывки уличных разговоров как свидетельство небывалого взлета интереса к нему после войны, в частности в Западной Германии.

Стр. 342. *Мона Лиза дель Джокондо* — жительница Флоренции, послужившая моделью для хранящегося ныне в Лувре полотна Леонардо да Винчи (т. н. Джоконды; ок. 1503), воплотившего представление людей эпохи Возрождения о красоте и ценности человеческой личности.

Стр. 351. *Епитрахиль* — расшитая узором длинная полоса ткани, надеваемая священником на шею и свешивающаяся спереди.

Стр. 368. *Макс и Мориц* — озорные мальчишки, заглавные персонажи весьма популярных в Германии и за ее пределами иллюстри-

рованных рассказов немецкого писателя-юмориста и художника-карикатуриста Вильгельма Буша (1832—1908).

Стр. 369. *Пресуществление* — часть мессы, во время которой, согласно религиозным представлениям, хлеб превращается в тело Христа, а вино — в его кровь.

Стр. 370. *Блюхер* Гебхард Леберехт фон, князь фон Вальштатт (1742—1819) — прусский полководец (генерал-фельдмаршал), успешно действовавший в войне с Наполеоном (1813—1815 гг.), особенно во время сражения при Ватерлоо.

Стр. 378. *Нефертити* (конец XV — начало XIV в. до н. э.) — египетская царица, супруга фараона Аменхотепа IV, Эхнатона. Здесь речь идет о раскрашенном бюсте Нефертити в головном уборе, найденном в 1912 г. при раскопках в Тель-эль-Амарне и хранящемся ныне в музее Далема (Западный Берлин).

Изенгеймский алтарь — выдающийся памятник немецкого Возрождения, алтарь в церкви Изенгейма (Верхний Эльзас), расписанный в 1512—1515 гг. Его автор Матиас Нитхардт (Нейтхардт; ок. 1460 или 1480—1528) известен более под именем Матиаса Грюневальда, которое было ошибочно присвоено ему историками искусств в конце XVII в.

«Подсолнухи» — одно из наиболее известных произведений голландского живописца Винсента *Ван Гога* (1853—1890), натюрморт, изображающий стоящие в вазе цветы подсолнуха. Существует в нескольких вариантах.

Бойронская школа — художественная школа, основанная архитектором, скульптором и живописцем Дезидериусом Ленцем (1832—1928) при бенедиктинском монастыре Бойрон в Вюртемберге. Ставила своей целью создание нового церковного искусства под знаком строгой торжественности и цельности формы.

Стр. 391. *...лейтенант читал по телефону своей девушке стихи Рильке.* — Подтекст данной ситуации заключается в том, что исполненные любви к человечеству стихи австрийского поэта Райнера Марии Рильке (1875—1926) вступают в противоречие с кровавой обстановкой войны, в разгар которой их читает офицер. Известная парадоксальность состоит также в чтении этих утонченных стихов по телефону.

Стр. 419. *Декан* — здесь: духовное лицо, возглавляющее капитул (см. примеч. к с. 328).

РАССКАЗЫ

Вниманию читателя настоящего тома предложены рассказы, опубликованные Г. Бёллем в первые послевоенные годы — с 1946 по 1954 год.

Новеллистика всегда занимала прочное место в его творчестве. Как уже говорилось, знакомство читателя с Г. Бёллем началось именно с рассказов, которые он опубликовал в западногерманских журналах и газетах вскоре после окончания войны. В 1950 году вышел первый новеллистический сборник Г. Бёлля, куда вошли двадцать пять рассказов. Один из них, получивший наибольшую известность — «Путник, придешь когда в Спа...», — дал название всему сборнику.

Военная тематика, которой посвящены первые крупные произведения писателя «Поезд пришел вовремя» и «Где ты был, Адам?», преобладает и в ранней его новеллистике, зачастую, как, например, в рассказе «Тогда в Одессе», носящей автобиографический характер. В некоторых рассказах («Балаган!», «Моя дорогая нога», «Я не могу ее забыть» и др.) перебрасывается мост от войны к послевоенному времени, но постепенно автор рассказов все чаще и чаще начинает обращаться к современной ему жизни в Западной Германии («Смерть Лознгринга», «Торговля есть торговля», «Дядя Фред» и др.).

В «малой» прозе Г. Бёлля, как и в «большой», ощущается тесная связь писателя с критико-реалистической традицией, причем не только в немецкой, но и в мировой литературе. К этой же традиции примыкает гротеск, к которому часто прибегает Г. Бёлль, например, в новеллистическом шедевре «Мое грустное лицо» или в рассказах «Поставщик смеха», «Станция Тибтен», «Воспоминания юного короля» и др. Некоторые рассказы близки к жанру притчи («История одного солдатского мешка», уже упомянутое «Мое грустное лицо» и др.).

Большую роль в рассказах Г. Бёлля (может быть, даже большую, чем в романах) играет юмористическое начало. В интервью Рене Винтцену, говоря о себе и других западногерманских новеллистах первой послевоенной поры, писатель вспоминает: «Быть может, юмор, или цинизм, или ирония вообще были единственным, что нам еще оставалось». В этом перечислении не хватает сатиры, большим мастером которой был Г. Бёлль и которая зачастую также принимала гротескный характер, как, в частности, при изображении религиозного ханжества в рассказе «Не только под Рождество». В некоторых рассказах сказалась любовь Г. Бёлля к мистификации: вымышленные персонажи выдаются за исторические и им присваиваются придуманные автором имена («История одного солдатского мешка», «Станция Тибтен» и др.).

Как явствует даже из этой краткой аннотации, рассказы Г. Бёлля отличаются разнообразием и по содержанию и по форме.

ЧЕЛОВЕК С НОЖАМИ

Стр. 451. ...изображали Икара, стремящегося взлететь.— Герой античного мифа, юноша Икар, сын искусного строителя Дедала, вместе

с отцом смастерил крылья из перьев, скрепленных воском, улетел на них с острова Крит, спасаясь от царя этого острова Минаса, но поднялся слишком высоко, так что солнце растопило воск и юноша упал в море.

Стр. 452. *Джонки* — грузовые суда с четырехугольными парусами, имеющие особое распространение в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.

Стр. 454. *Дорическая колонна* — элемент дорического архитектурного ордера; отличается от двух других ордеров — ионического и коринфского — большей строгостью, торжественностью и монументальностью.

СЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС ЧЕТЫРЕ

Стр. 457. «*Семнадцать плюс четыре*» — немецкое название азартной карточной игры «Двадцать одно» (жаргонное обозначение — «Очко»).

Пенгё — см. примеч. к с. 181.

ДЕТИ ТОЖЕ ГРАЖДАНСКИЕ ЛИЦА

Стр. 483. *Кухен* — пирог; пирожное; торт; печенье (нем.).

Стр. 484. ...и *выглядел я как Теодор Кёрнер*. — Немецкий поэт Теодор Кёрнер (1791—1813) был участником и певцом Освободительной войны против Наполеона и погиб в бою. Г. Бёльль имеет, по-видимому, в виду портрет Кёрнера в военной форме, нарисованный сестрой поэта Эммой Кёрнер.

ТОГДА В ОДЕССЕ

Стр. 481. *Гренадеры*. — Так в вермахте называли рядовых моторизованной пехоты.

ПУТНИК, ПРИДЕШЬ КОГДА В СПА...

Стр. 486. «*Медея*» *Фейербаха*. — Имеется в виду одно из главных произведений немецкого художника Ансельма Фейербаха (1829—1880), написанное, как и многие его работы, на античный сюжет: Медея — персонаж из греческой мифологии, царица-волшебница.

«*Мальчик, выгаскивающий занозу*» — древнеримская скульптура, созданная предположительно в V в. до н. э. и ставшая предметом многих подражаний в античном и западноевропейском искусстве.

Фриз Парфенона. — Парфенон — храм в Афинах на Акрополе, памятник классической архитектуры Древней Греции (447—438 до н. э.). Назван в честь богини Афины Парфенос. Был сильно разрушен в 1687 г.; позднее частично восстановлен. Скульптурный

фриз, т. е. средний (между архитравом и карнизом) элемент верхней части этого храма, является одним из лучших образцов античного искусства.

Великий курфюрст — прозвище Фридриха Вильгельма (1620—1688), курфюрста Бранденбургского (с 1640 г.) из династии Гогенцоллернов, основателя бранденбургско-прусского централизованного государства.

Старый Фридрих (Старый Фриц) — прозвище прусского короля и полководца Фридриха II (1712—1786), сыгравшего значительную роль в истории Германии.

Стр. 487. *Колонна Гермеса*, точнее герма — в античном искусстве четырехгранный, широкий сверху и суживающийся книзу столб, увенчанный скульптурными изображениями головы бога или героя, первоначально лишь бога Гермеса (отсюда название). Иногда на герме бывали двойные изображения, например, Гермеса и Афродиты, Аполлона и Афродиты и т. п. Герма использовалась также, как дорожный и межевой знак.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ-иррационалист, чье учение в его реакционных чертах использовали идеологи немецкого фашизма.

Стр. 488. ...*написать на банане «Да здравствует Того!»* — С конца XIX в. Того (ныне Тоголезская Республика) вместе с частью территории современной Ганы стало колонией Германии, а в результате поражения последней в первой мировой войне было объявлено мандатной территорией под управлением Франции. Таким образом, надпись на банане имеет реваншистский подтекст — призывает к повторной колонизации Того Германией.

Стр. 493. *«Путник, придешь когда в Спа...»* — незаконченный текст, начало знаменитой надписи в Фермопилах (горном проходе, соединяющем Север и Юг Греции), гласящей: «Путник, придешь когда в Спарту, поведай народу, что видел лежащими здесь нас, как закон повелел всем спартамцам». Надпись увековечивает сражение, разыгравшееся у Фермопил в 480 г. до н. э. в эпоху греко-персидских войн. Отряд спартамцев численностью 300 человек во главе с царем Леонидом (508/507—480 гг. до н. э.), прикрывавший отступление греческих войск, погиб геройской смертью.

ПО МОСТУ

Стр. 494. ...*как грудь Бисмарка у сотен памятников...* — В националистических кругах Германии издавна существовал культ князя Отто фон Шёнхаузена-Бисмарка (1815—1898), первого рейхсканцлера Германской империи (1871—1890 гг.), осуществившего объединение страны на прусско-милитаристской основе и укрепившего господство юнкерско-буржуазного блока.

Стр. 519. ...они протянут по меньшей мере до восьмидесяти, как Гинденбург.— Гинденбург Пауль фон (1847—1934), президент Германии с 1925 г., прожил без двух месяцев восемьдесят семь лет.

СМЕРТЬ ЛОЭНГРИНА

Стр. 522. *Ломайер сядет из-за строфантина...*— В первые послевоенные годы строфантин, препарат растительного происхождения, применяемый при острой сердечной недостаточности, был одним из объектов продажи на черном рынке.

Стр. 524. *Его звали, собственно, Лознгрин...*— Лознгрин — легендарный рыцарь, герой ряда произведений средневековой немецкой литературы и заглавный персонаж оперы Рихарда Вагнера, в честь которого был назван мальчик.

...на вагнеровских торжествах в Байрейте... показывали портреты Гитлера.— В баварском городе Байрейте, где Р. Вагнер жил с 1871 г. и где по его замыслу был создан оперный театр, в котором ставились произведения композитора, в том числе оперный цикл «Кольцо нибелунга»; с 1882 г. в этом театре ежегодно проводятся Байрейтские фестивали. Об отношении гитлеровской критики к Вагнеру см. примеч. к с. 236.

Стр. 526. *Янки, томми* — прозвища американцев (уроженцев США) и англичан.

Стр. 527. *Центнер*.— В Германии в обиходе один центнер равен 50 килограммам.

ТОРГОВЛЯ ЕСТЬ ТОРГОВЛЯ

Стр. 533. ...разрешили себя слегка денацифицировать...— Денацификация — термин, появившийся в Германии в первые годы после второй мировой войны и означавший официальную процедуру идеологической проверки лиц, подозреваемых в активном участии в осуществлении политики нацистов. Здесь содержится иронический намек на использование этой процедуры для выгораживания гитлеровцев.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТСКОГО МЕШКА

Стр. 541. *Бромберг* — немецкое название города Быдгощ (ПНР).

Стр. 542. ...пробормотал что-то невразумительное насчет «велосипедов»...— Латинское tandem (наконец) по звучанию совпадает со словом «тандем», означающим в немецком и некоторых других языках, в том числе русском, двухместный двухколесный велосипед с двойной заблокированной передачей.

Стр. 543. ...соответствовала бы известному изречению Гёца фон Берлихингена.— Речь идет о бранных словах, которыми в третьем акте трагедии И.-В. Гете «Гец фон Берлихинген с железною рукою» главный герой, рыцарь, принявший на себя командование восставшими крестьянами, отвечает на предложение сложить оружие (в первоначальной редакции эти слова приводились полностью, в окончательной заменены многоточием). Перифразы, подобные примененной Г. Бёллем, получили в немецком языке характер фразеологизмов. См., например, в романе Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен»: «Тьяден раздражается бранью и вновь цитирует знаменитое место из гетевского «Геца фон Берлихингена», которое у него всегда на языке».

Стр. 545. *Сох* — район Лондона, в котором имеется много заведений с сомнительной репутацией.

Стр. 546. *Шпандау* — один из районов Берлина (ныне Западного Берлина).

...вступил в партию, присвоившую себе грязно-коричневую форму...— то есть в национал-социалистскую (фашистскую) партию.

Стр. 548. ...перед иконой ченстоховской божьей матери — то есть перед копией знаменитой иконы XIV в., хранящейся в костеле монастыря секты паулинов в старинном польском городе Ченстохове.

Я НЕ МОГУ ЕЕ ЗАБЫТЬ

Стр. 562. *Диттерсдорф* Карл Диттерс фон (1739—1799) — австрийский композитор и скрипач, автор оркестровой и камерной музыки, а также комических опер («Доктор и аптекарь» и др.).

ЗЕЛЕНАЯ ШЕЛКОВАЯ РУБАШКА

Стр. 565. *Мыс Гри-Не* расположен в северной части Франции, вдается в пролив Па-де-Кале.

БЕЛЫЕ ВОРОНЫ

Стр. 571. *Физиогномика* — в узком смысле слова учение о проявлении человеческого характера в чертах лица и формах тела, в широком — искусство толкования внешнего облика наблюдаемого явления.

НЕ ТОЛЬКО ПОД РОЖДЕСТВО

Стр. 577. ...танцам, для определения которых я не могу подобрать более подходящего слова, чем экзистенциалистские...—иронический намек на широкое распространение послевоенного варианта экзистенциализма — иррационалистической «философии существования», ока-

завшей значительное влияние на умонастроение западногерманской интеллигенции.

Стр. 578. ...*раскрывал рот и шептал: «Мир, мир».*— По мнению некоторых исследователей творчества Г. Бёлля, здесь пародируется ежегодное рождественское послание папы римского с пожеланием мира.

Стр. 581. *Родился мальчик, весь в кудрях...*— Слова из упоминаемой ниже распространенной рождественской песни «Тихая ночь, святая ночь».

Сретение Господне — один из главных христианских праздников. Отмечается второго (в православной церкви пятнадцатого) февраля в ознаменование внесения младенца Иисуса в храм.

Стр. 582. *Патер* — католический священник или монах в сане священника.

...*головные уборы для королев чардаша...*— то есть для участниц карнавала, облачившихся в костюм Сильвы, главной героини оперетты Имре Кальмана (1882—1953) «Королева чардаша».

Игрушечные ясли — миниатюрные гипсовые или восковые изображения яслей, в которые, согласно евангельской легенде, был положен новорожденный Иисус.

Стр. 586. *Капеллан* — католический священник при капелле (часовне) или домашней церкви, а также помощник приходского священника.

Стр. 587. *Сутана* — см. примеч. к с. 327.

Прелат — см. примеч. к с. 313.

Стр. 592. «*Виргимния*» — ироническое обозначение мужского хора, составленное из латинских слов *vir* (мужчина) и *hymnus* (песнопение).

Стр. 594. ...*экзальтированность, которую сама Люси называет экзистенциализмом...*— См. примеч. к с. 577.

ДЯДЯ ФРЕД

Стр. 609. *Фрейтаг Густав* (1816—1895) — немецкий писатель, автор исторических и нравоописательных романов.

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА

Стр. 617. *Польский коридор*, или Данцигский коридор — принятое после первой мировой войны наименование узкой полосы земли, полученной по Версальскому договору Польшей и открывшей ей доступ к Балтийскому морю. Служил постоянным источником конфликтов между Польшей и Германией, стремившейся к его захвату и использовавшей вопрос о Коридоре в качестве повода для нападения на Польшу.

Стр. 619. 5/VIII—39.— Напомним, что гитлеровская Германия развязала вторую мировую войну меньше чем через месяц после этой даты.

Шлифен Альфред фон (1833—1913) — граф, генерал-фельдмаршал германской армии, один из идеологов германского милитаризма, военный теоретик, разработавший, в частности, планы молниеносной войны.

ВЕСЫ БАЛЕКОВ

Стр. 625. ...*платить деньги — пфенниги, гроши и лишь очень, очень редко марку*...— Пфенниг — одна сотая марки, грош — в данном случае разговорное обозначение десятипфенниговой монеты.

АНГЕЛ

Стр. 632. *Ионические колонны* — см. примеч. к с. 454.

ВОСПОМИНАНИЕ ЮНОГО КОРОЛЯ

Стр. 635. ...*обстоятельства, побудившие Телля убить Геслера?* — Имеются в виду действующие лица драмы Ф. Шиллера «Вильгельм Телль»: главный герой и его антипод, имперский наместник Герман Геслер.

СТАНЦИЯ ТИБТЕН

Стр. 645. *Римский Вертер*.— Рассказчик называет так Тибурта, поскольку он, как и герой романа И.-В. Гете «Страдания юного Вертера», тоже покончил с собой из-за несчастной любви.

И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО...

Стр. 652. «*Бог сотворил Землю и Луну*» и т. д.— краткий пересказ начала Библии (Бытие, I, 1—9). Дословно воспроизведены лишь слова: «...и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро...»

ДАНИЭЛЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ

Стр. 663. *Иуда Фаддей* — один из двенадцати апостолов, упоминающийся только в Евангелии от Марка.

Боско Джованни (1815—1888) — итальянский священник и педагог, основавший конгрегацию, целью которой являлось воспитание безнадзорных детей в духе католицизма. В 1934 г. был причислен к лику святых.

Одним из проявлений активной общественной, гражданской позиции, которую всю жизнь занимал Г. Бёлль, была его исключительно плодотворная публицистическая деятельность. До самых последних дней писатель выступал с речами, интервью, статьями и эссе, которые были посвящены самым разным вопросам политики, литературы, искусства, международных контактов, человеческих взаимоотношений, быта. Эти волновавшие его вопросы затрагивали как западногерманскую, так и мировую проблематику и очень часто вызывали бурную реакцию общественности, втягивавшей автора в дискуссии.

Различными западногерманскими и зарубежными издательствами было выпущено несколько сборников публицистических произведений Г. Бёлля.

Два эссе, воспроизведенных в настоящем томе, были опубликованы в 1952—1954 годах.

В ЗАЩИТУ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗВАЛИН

Стр. 676. *...человеку по имени Адольф Гитлер...*— Написанная в тюрьме «очень толстая книга» (около восьмисот страниц!), которую в предыдущих строках в памфлетном стиле характеризует Г. Бёлль,— «Моя борьба» (*Mein Kampf*). В тюрьму Гитлер был заключен за организацию (совместно с генералом Людендорфом) в Мюнхене в 1923 г. путча, окончившегося провалом. В апреле 1924 г. он был приговорен к пяти годам, но уже в декабре того же года выпущен на свободу.

СОВРЕМЕННОК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Стр. 681. *Пий XII* (1879—1958) — папа римский с 1939 г.

Оппенгеймер Роберт (1904—1967) — выдающийся американский физик; в 1943—1945 г. руководил созданием атомной бомбы в США, но впоследствии выступил против производства водородной бомбы. В 1953 г., то есть в год написания данного эссе, был обвинен в «нелояльности» и лишен допуска к секретной работе.

Г. Бергельсон

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. М. Фрадкин. Генрих Бёлль — писатель, и больше чем писатель</i>	5
* ПЕИЗД ПРИШЕЛ ВОВРЕМЯ. Повесть. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	31
ГДЕ ТЫ БЫЛ, АДАМ? Роман. <i>Перевод М. Гимпелевич и Н. Португалова</i>	133
И НЕ СКАЗАЛ НИ ЕДИНОГО СЛОВА. Роман. <i>Перевод Д. Мельникова и Л. Черной</i>	289
РАССКАЗЫ. ЭССЕ	
* Неизвестный солдат. <i>Перевод Н. Литвинец</i>	429
Весть. <i>Перевод И. Горкиной</i>	434
С тех пор мы вместе. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	439
* Убийство. <i>Перевод Н. Литвинец</i>	443
Человек с ножами. <i>Перевод Н. Португалова</i>	446
* Семнадцать плюс четыре. <i>Перевод Н. Литвинец</i>	457
* Причина смерти: нос крючком. <i>Перевод Н. Литвинец</i>	460
* <i>Vive la France!</i> <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	467
* Тогда в Одессе. <i>Перевод Ю. Архипова</i>	478
* Дети — тоже гражданские лица. <i>Перевод Ю. Архипова</i>	482
Путник, придешь когда в Спа... <i>Перевод И. Горкиной</i>	485
По мосту. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	494
Балаган! <i>Перевод М. Подляцук</i>	499
Прощание. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	502
В темноте. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	505
«Метлы бы тебе вязать!» <i>Перевод И. Горкиной</i>	512
Моя дорогая нога. <i>Перевод И. Горкиной</i>	517
Смерть Лознгринa. <i>Перевод И. Горкиной</i>	519
Торговля есть торговля. <i>Перевод П. Печалиной</i>	529
Мое грустное лицо. <i>Перевод И. Горкиной</i>	534
История одного солдатского мешка. <i>Перевод И. Горкиной</i>	541
Остановка в X. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	550
* Я не могу ее забыть. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	559

* Зеленая шелковая рубашка. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	563
Белые вороны. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	566
Не только под Рождество. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	575
Карлик и кукла. <i>Перевод И. Горкиной</i>	598
Смерть Эльзы Басколейт. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	604
Дядя Фред. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	608
* Я не коммунист. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	612
Почтовая открытка. <i>Перевод Л. Черной</i>	615
Смехач. <i>Перевод М. Подляцук</i>	622
Весы Балеков. <i>Перевод Л. Черной и Д. Мельникова</i>	624
* Ангел. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	632
* Воспоминания юного короля. <i>Перевод И. Городинского</i>	634
Бледная Анна. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	639
Станция Тибтен. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	644
* Вырастил грушу у себя в саду. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	647
И был вечер, и было утро... <i>Перевод Э. Львовой</i>	650
В поисках читателя. <i>Перевод И. Зильбермана</i>	657
Даниэль справедливый. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	661
* В защиту литературы развалин. <i>Перевод Г. Бергельсона</i>	673
* Современник и действительность. <i>Перевод Г. Бергельсона</i>	678
Комментарии Г. Ю. Бергельсона	684

Бёлль Г.
Б43 **Собрание сочинений.** В 5-ти т. Т. 1. Романы; Повесть; Рассказы; Эссе. 1947—1954: Пер. с нем. /Редкол.: А. Карельский, Н. Павлова, И. Фрадкин; Сост. и вступ. статья И. Фрадкина; Комментар. Г. Бергельсона.— М.: Худож. лит., 1989.— 703 с.
ISBN 5-280-00824-9 (Т. 1)
ISBN 5-280-00825-7

В первый том Собрания сочинений всемирно известного западногерманского писателя Генриха Бёлля (1917—1985) вошли его известные романы «Где ты был, Адам?», «И не сказал ни единого слова», повесть «Поезд пришел вовремя», а также рассказы и эссе, написанные автором за период с 1946 по 1954 год.

Б 4703010100-297 подписное
028(01)-89

ББК 84.4Ф

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Собрание сочинений в пяти томах

Том 1

Редактор *И. Солодунина*

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

В. Нефедова

Корректоры *Н. Пехтерева, О. Левина*

ИБ № 5518

Сдано в набор 10.01.89. Подписано к печати 18.08.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,96+1 вкл.=37,01. Усл. кр.-отт. 37,17. Уч.-изд. л. 39,47+1 вкл.=39,5. Тираж 200 000 экз. Изд. № VI-3С26.

Заказ № 404. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диaposитивы изготовлены в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валуевая, 28. Отпечатано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

